РОМАН
ЛОРДА БАЙРОНА

ДЖОН КРАУЛИ

СТИЛЬНЫЙ ГИБРИД ПЛУТОВСКОГО РОМАНА И ГОТИЧЕСКОЙ ФЕЕРИИ.
NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР-ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Что, если бы великий поэт Джордж Гордон Байрон написал роман "Вечерняя земля"? Что, если бы рукопись попала к его дочери Аде (автору первой в истории компьютерной программы — для аналитической машины Бэббиджа) и та, прежде чем уничтожить рукопись по требованию опасающейся скандала матери, зашифровала бы текст, снабдив его комментариями, в расчете на грядущие поколения? Что, если бы послание Ады достигло адресата уже в наше время и над его расшифровкой бились бы создатель сайта "Женщины-ученые", ее подруга-математик и отец — знаменитый кинорежиссер, в прошлом филолог и специалист по Байрону, вынужденный в свое время покинуть США, так же как Байрон — Англию?

- Джон Краули
  -
  - Глава первая,
  - К читателю
  - Примечания к первой главе
  - Глава вторая,
  - Примечания ко второй главе
  - Глава третья
  - Примечания к третьей главе
  - Глава четвертая
  - Примечания к четвертой главе
  - Глава пятая,
  - Примечания к пятой главе
  - Глава шестая,
  - Примечания к шестой главе
  - Глава седьмая,
  - Примечания к седьмой главе
  - Глава осьмая
  - Примечания к осьмой главе
  - Глава девятая,
  - Примечания к девятой главе
  - Глава десятая
  - Примечания к десятой главе
  - Глава одиннадцатая,
  - Примечания к одиннадцатой главе
  - Глава двенадцатая,
  - Примечания к двенадцатой главе
  - Глава тринадцатая,

- Примечания к тринадцатой главе
- Глава четырнадцатая,
- Примечания к четырнадцатой главе
- Глава пятнадцатая,
- Примечания к пятнадцатой главе
- Глава шестнадцатая,
- Примечания к последней главе
- Предисловие
-
- Примечания
  -
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава осьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Предисловие

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59

- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103

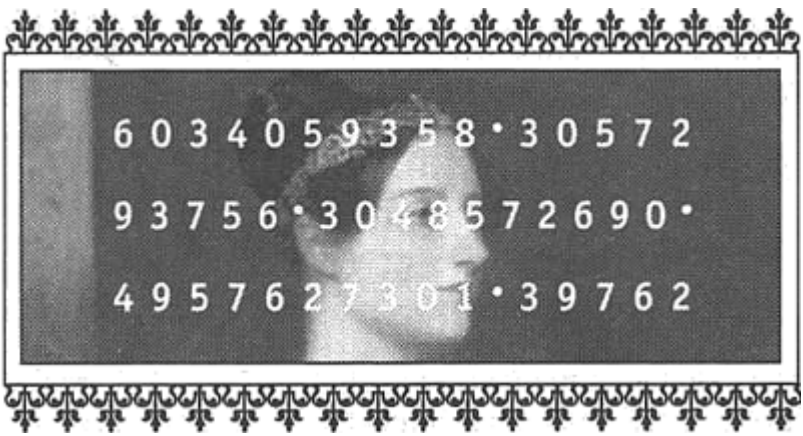
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143

Джон Краули
Роман лорда Байрона

Начал писать комедию и сжег ее, потому что сюжет возвращался к действительности; роман — по той же причине. В стихах я могу держаться несколько дальше от фактов, но мысли эти проходят через всё… да, через всё.

Байрон. Дневник, 17 ноября 1813.

(Пер. М. Богословской)



www.strongwomanstory.org/brit/lovelace.html

Ада Байрон, графиня Лавлейс
10 декабря 1815 — 27 ноября 1852
Первая компьютерная программа,
1842–1843

Ада Байрон — дочь поэта-романтика Джорджа Гордона, лорда Байрона, и Анны Изабеллы Милбэнк, расставшейся с мужем через месяц после рождения Ады. Спустя еще четыре месяца Байрон навсегда покинул Англию. Ада воспитывалась матерью, леди Байрон, и не имела никаких связей с отцом (скончавшимся в Греции в 1824 г.).

Леди Байрон питала пристрастие к математике и позаботилась о том, чтобы в обучении Ады предпочтение отдавалось точным наукам — в противовес литературе и поэзии, — дабы подавить склонности, которые девочка могла унаследовать от отца, прослывшего «дурным, дрянным и опасным для близких». Ада развивала свое воображение в научных областях — от теории электричества до биологии и неврологии — и снискала известность в ученых кругах. По общему мнению, ее перу принадлежал анонимный бестселлер Викторианской эпохи «Начатки естественной истории мироздания», автором которого она, однако, не являлась.

В 1835 г. Ада вышла замуж за Уильяма Кинга, который был десятью годами старше ее, и в 1838 г. получила титул графини Лавлейс. У Ады было трое детей: старший сын, названный Байроном, позднее стал виконтом Оккамом.

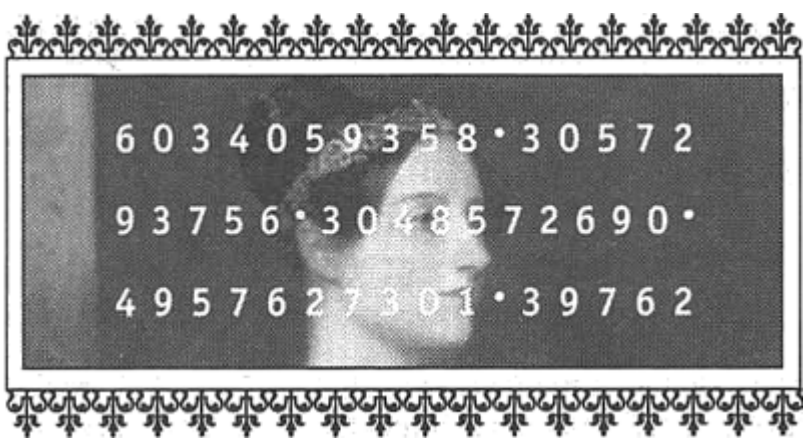
На протяжении многих лет другом Ады был Чарльз Бэббидж, кембриджский профессор математики, изобретатель разностной машины. Это громоздкое механическое устройство, на разработку и сооружение которого потребовались годы, представляло собой не столько компьютер, сколько калькулятор, использующий «метод конечных разностей» для составления таблиц логарифмов

и производства вычислений. Ада познакомилась с Бэббиджем в 1833 г., когда ей было всего 17 лет.

В 1834 г. Бэббидж задумал создать новый тип вычислительного устройства — аналитическую машину, ставшую (как и провидела Ада) предтечей современного компьютера: в нее можно было закладывать программы для получения (и распечатки!) множества разнородных результатов. Ада заметила, что аналитическая машина способна ткать алгебраические узоры подобно тому, как ткацкий станок Жаккара сплетает узор из птиц и цветов. (Ткацкий станок Жаккара сплетал узоры, определяемые последовательностью перфокарт.) В 1842 г. итальянский математик Луис Менебреа опубликовал на французском языке рассуждение об аналитической машине. Бэббидж попросил Аду перевести эту работу, к которой она добавила пространные комментарии, по объему превысившие сам текст: Ада подробно описала огромные потенциальные возможности подобной машины и приложила небольшую программу, представлявшую собой набор пошаговых инструкций, следуя которым названная машина решала бы определенную задачу. При всей краткости и примитивности, это первая работоспособная компьютерная программа — предписанная машине инструкция, направленная на достижение некоего результата.

Ада скончалась от рака в 1852 г., не дожив до 37 лет, и похоронена рядом с отцом, которого при жизни не видела никогда. [АН]

[ПРИМЕЧАНИЕ: Страница находится в стадии разработки]



Глава первая, *в которой Человека приманивает Медведь, и о событиях, предшествовавших этому*

Всмотритесь — но нет! Некому, кроме бесчувственной Луны, недвижно плывущей сквозь облака, всмотреться в юного лорда, который в столь поздний час несет стражу на бастионе своего полуразрушенного обиталища. У юноши, закутанного в шотландскую накидку, немногим отличную от той, что во все времена носили его предки — и не только по шотландской линии, — к поясу пристегнут небольшой изогнутый меч, усыпанный драгоценными камнями: выделки он явно не здешних, полнощной страны мастеров. При юноше также и два карманных пистолета, изготовленные Ментонами, — ибо текущий год принадлежит нынешнему столетию, хотя перед взорами юноши простирается картина, на протяжении последних семи-восьми веков заметных изменений не претерпевшая. Стоит он на старинной зубчатой стене, обращенной к северу, опершись рукой на камни, из которых она сложена. Впереди юноша видит поросший вереском и утесником скалистый кряж, уходящий к горам, и — зоркостью он обладает сверхъестественной — извилистую тропу, которая испокон века ведет на его вершину. Та же тропа упирается в отдаленную сторожевую башню, чернеющую на фоне взбаламученного неба. Еще дальше, во тьме, расстилаются тысячи акров каледонской земли, где селения перемежаются пустошами, принадлежащими по праву наследования молодому наблюдателю. Зовут его (имя это, надо полагать, покажется читателю неожиданным) Али.

Против какого же врага выступил он вооруженным? По правде говоря, никакие враги ни ему, ни слугам, спящим в зале внизу, неведомы: не приходится ждать нападения из темноты банды разбойников или каких-либо соперников его клана и лэрда — владельца поместья, его отца.

Лэрд — его отец! Нашему читателю — если он внимал пересудам в лондонских театральных ложах; если он свой человек на ипподроме и в игорных домах; если он завсегдатай вечерних клубов или заведений с менее эвфуистическими названиями; если ему случалось бывать в небезызвестных залах или в залах судейских — имя этого лэрда вспомнится непременно. Джон Портьюс — унаследовавший, по смерти растерянного и

беспомощного родителя, на редкость неподобающий титул лорда Сэйна (что значит «здравый») — являл собою полный перечень смертных грехов, включавший не только малые, вроде Похоти и Чревоугодия, но и куда более тяжкие — Гордыню, Гнев и Зависть. Растратив свое состояние, он расточил затем и состояние жены, пустил по миру арендаторов, после чего прибег к займам — а вернее, к вымогательству денег у запуганных знакомцев, ясно сознававших, что лорд не погнушается ничем для разоблачения проступков, к совершению которых не кто иной, как он, и подстрекал их. Лорд утверждал, что слово «вымогательство» заставляет его содрогаться: на *«вы» мог* ли он обратиться к приятелям? Куда уходил прибыток, неважно каким образом полученный, казалось, интересовало его меньше, чем сама трата; он всегда был готов за минуту расшвырять все, чем сумел завладеть. После одного из столь вопиюще разорительных поступков он и снискал себе прозвище «Сатана», ибо тот век был горазд на прозвища. Да, лорд Сэйн обладал злодейской натурой — и, следуя ей, находил в этом дьявольское наслаждение, если только его не обуревал гнев и он не впадал в бешенство при столкновении с помехой на пути своих желаний; слыл при этом отличным малым, с самыми широкими связями. Он много путешествовал, повидал Порту, прогуливался под пирамидами и произвел на свет (подтверждений слухам не приводилось) целый выводок темнокожих отпрысков в разных уголках Востока и Юга.

Последние годы «Сатана»-Портьюс проводил главным образом в шотландских владениях супруги, которые в равной степени и улучшил, и разорил. К древним башням и зубчатым стенам с обрушенной часовней кто-то из прежних лэрдов пристроил громадное, мрачного вида палладианское крыло, вследствие чего рухнуло и его благосостояние: там нынешний лэрд держал леди Сэйн в отдалении от светской жизни — а по сути, и от мирской. Поговаривали, что она повредилась в рассудке, и, насколько известно наследнику лорда Сэйна, здравомыслие ей и вправду не слишком свойственно. Приданое супруги «Сатана» промотал давно: испытывая недостаток в средствах, он всячески притеснял арендаторов и продавал на сруб лес в парках и угодьях, что усугубило общую картину разорения гораздо больше, нежели вид заброшенной часовни с выбитыми окнами, ставшей прибежищем сов и лисиц. Деревья росли сотню лет; деньги исчезли быстро. Лэрд содержит ручного медведя и американскую рысь: когда он вызывает сына к себе, звери находятся подле.

Да, своего отца, лорда Сэйна, — вот кого страшится Али, хотя сейчас, ночью, лорда нет поблизости: Али собственными глазами

видел, как карету его светлости умчала на юг четверка вороных, нахлестываемых кучером. Страх Али соизмерим только с его храбростью; само существование представляется ему пламенем свечи, которую ничего не стоит задуть.

Луна минована половину небесного пути, когда Али (его бил озноб, но вызванный не холодом) удалился на ночлег. Огромный пес-ньюфаундленд, по кличке Страж, лежавший на полу возле его постели, спал так крепко, что почти не шевельнулся, заслышав знакомую поступь хозяина. Старейший — и единственно верный друг! Али на миг прижался лицом к шее собаки, затем допил остаток вина из чаши, куда было добавлено несколько капель Кендала. Однако раздеваться не стал: только плотнее завернулся в накидку — положил пистолеты рядом — подпер полную беспокойных мыслей голову холодными подушками и — в уверенности, что проведет ночь без сна, — уснул.

Очнулся он в густой темноте, почувствовав на себе тяжесть чьей-то руки. Пробуждался Али всегда мгновенно и мог бы тотчас вскочить на ноги, схватив пистолет, — но не сделал этого, а продолжал лежать недвижно, словно все еще спал: в упор на него смотрело лицо, ему знакомое, но не человеческое. Черное лицо с желтыми глазками и слабо поблескивающими зубами, длинными как кинжалы. Это был *ручной медведь его отца*, и легла на него медвежья лапа!

Удостоверившись, что Али пробудился, бурый зверь повернулся и зарысил к выходу. У приоткрытой двери он оглянулся, что недвусмысленно означало одно: приглашение следовать за ним.

Молодой лорд встал с постели. Что случилось с его псом Стражем? Кто и как отпер дверь? Вопросы возникли и пропали без ответа, подобно пузырям на воде. Он взял свой изогнутый меч, отбросил клетчатый плед, а медведь — заметив, что Али намерен идти следом, — выпрямился в человеческий рост, распахнул дверь настежь, потом снова опустился на четыре лапы и устремился вниз по темной лестнице. Странно, что в доме никто не проснулся, но и эта мысль в голове Али, едва успев мелькнуть, бесследно исчезла. Медведь то и дело поворачивал назад свою крупную голову и, убедившись, что молодой лорд идет за ним, продолжал свой путь. Бурый медведь, хотя и способен встать на задние лапы с тем, чтобы ошеломить и напугать врага или же дотянуться до плода на высокой ветке, обычно предпочитает передвигаться на всех четырех; хотя зубы и когти его не уступают львиным, по натуре он довольно кроткий малый и склонен к вегетарианству.

Думая об этом — ничто другое не шло ему на ум во время

удивительной прогулки, — Али пробрался через опустошенный парк и вступил на арку узкого мостика, перекинутого в былые времена через быстрый поток, затем свернул в сторону от дороги и вступил на белоглинистую тропу, которую и прежде различал в лунном свете: она вела к сторожевой башне. Но Луна — непостижимо! — ничуть не переменила своего положения на небе и продолжала сиять на прежнем месте; дул холодный ветер, пронесшийся через Атлантику и через ирландские острова из Америки, — так размышлял Али, никогда не видавший тех краев, шагая вслед за маячившим впереди чернильным пятном, своим косолапым проводником, с такой легкостью, словно плыл по воздуху и взбираться наверх не стоило ни малейших усилий.

Башня высилась впереди, и медведь, вновь поднявшись на ноги по-человечьи, указал на нее кривым желтым ногтем. Дверь в башню давно обрушилась, и в проеме виднелся слабый, гаснущий свет.

«Мне дальше нельзя, — произнес медведь, и Али ничуть этому не удивился. — То, что пребывает в башне, должен найти ты один. Не печалься: я же точно скорбеть не буду, ибо со мной — да нет, со всеми безответными существами — он обходился не менее жестоко, чем с тобой. Прощай! Если когда-нибудь ты меня еще увидишь, знай, что время твое пришло и тебе предстоит иное путешествие».

Али хотел было вцепиться в зверя, умоляя — нет, требуя — сказать больше, но медведь уже словно бы растаял в темном воздухе — раньше своих слов. Али обернулся к освещенной башне.

Тут по ночному миру пробежала дрожь, подобная ряби на безмятежной морской глади или подергиванию лошадиного бока; и как если бы стены здания вдруг обрушились вокруг него от подземного толчка, Ночь распалась на куски, Сон сотрясся — и Ани очнулся. Выходит, он спал — и видел сон! И однако — самое странное — он оказался на тропе, ведущей к сторожевой башне, которая высилась впереди — куда как дальше, нежели во сне, и куда как прочно сложенная из камня, скрепленного известковым раствором, — но башня была та же самая — та же земля вокруг, тот же воздух — и он сам был тем же, самим собой. Али понятия не имел о подобных, как их называют, сомнамбулических состояниях; он не мог представить, каким образом во сне ему удалось вооружиться, покинуть Жилище, взобраться на Холм — и не сорваться вниз, не сломать себе шею. Удивление обдало его словно бы ледяной волной — удивление, смешанное с ужасом, который льдом сковал и его сердце, поскольку оттуда, где он стоял, хорошо был виден, в точности как во сне, огонек внутри

башни.

Теперь Луна почти опустилась за горизонт. Али ощущал, а не только наблюдал лежащую перед ним дорогу. Не раз он подумывал повернуть назад — и позднее размышлял, почему этого не сделал: — потому что ему велено было идти, — потому что путь вел вперед, — потому что не мог поступить иначе.

Не только двери, но и пола не было в этом обветшалом сооружении: от плит не осталось и следа, башня была пуста, как побелевшая мозговая кость. Сверху в нее глядело несколько звезд, а так всюду было черно — и только в единственном источнике света, фонаре, догорали, слабо вспыхивая, будто от недостатка воздуха, последние капли масла. Он, Али, должен повернуться и взглянуть туда, куда падает дрожащий луч фонаря — куда он направлен, несомненно, с умыслом! — и Али видит в воздухе, на высоте трех футов, нечто похожее на человека: почерневшее лицо; устремленные на него глаза, выкатившиеся из орбит; высунутый как бы в насмешку язык. Крепкая веревка, на которой висит это подобие человека, перекинута через каменный выступ верхнего этажа и обвивает тело подобно паутине. Нет, это не дьявол, явившийся из Преисподней и уловленный в собственные тенета (хотя это все, что нам известно о них в нашей земной жизни), — имя же ему Легион. Человек в петле — «Сатана»-Портьюс, отец Али, лорд Сэйн — МЕРТВ!

О том, почему и как юноша, носящий имя зятя Пророка, — смуглолицый, с ониксовыми глазами — оказался жителем отдаленной страны по соседству с Фулой, где под низким солнцем произрастает скудная поросль голубоглазых отроков с волосами цвета пакли или соломы, можно строить различные предположения: кораблям и дилижансам нет дела до того, кого они перевозят — и тем более, откуда и куда; не в одном лондонском доме кичатся темнокожим привратником или индусом в тюрбане, застольным прислужником. Но то, каким образом подобный юноша не только поселился в доме шотландского тана, но и сделался его Наследником — а теперь, о чем неопровержимо свидетельствует жуткое зрелище, повергшее его внутри башни в оцепенение, стал законным правопреемником связанного и удушенного лорда, устремившего на него недвижный взор, обладателем всех его титулов и владельцем всех его поместий, — требует, по-видимому, некоторого объяснения.

Хотя привезли его сюда в раннем возрасте — а возможно, и благодаря этому, поскольку в области Воспоминаний Сердце повинуется собственной логике и никакой иной, — Али сохранил ничем не замутненное представление о стране своего детства.

Ребенком он доподлинно не знал, что за мать его родила, кто его отец и жив ли он: мальчик считался сиротой и сызмала жил с престарелым опекуном в простой лачуге (называвшейся *хан*) в провинции Охрида в высокогорной Албании — посреди местности, которая (а он с ранних лет задавался этим вопросом) существовала всегда, от Начала Времен; и воистину об этих гористых краях, как о немногих других людских обиталищах, можно было сказать, что они пребывают неизменными со времен если не Адама, то Авраама.

Али пас стадо, чем всегда занимались и его предки: козы снабжали его молоком и мясом, из козьих шкур были выделаны и его широкий албанский пояс, и его сандалии — хотя надевал он их нечасто. Особого внимания козы не требовали; в тех краях предоставляют полную свободу их капризам, каковых множество: козы забредают и в самую глубокую чащу, и, как описано у Вергилия, забираются на вершину утеса; и только по вечерам, когда их собирают вместе и дети с помощью палок загоняют гурт в хлев, они и в самом деле кажутся прирученными. Весной Али с товарищами отправлялся со стадом в горы, а летом возвращался на более теплые равнины; после осенней страды и сбора винограда коз пускали в виноградники, где они кормились, состязались и резвились — с благословения Вакха — должным образом, к умножению достатка хозяев. Свою родословную наш будущий тан вел от старика-пастуха, день ото дня терявшего зрение из-за открытого очага внутри лачуги, едкий дым от которого выходил — а чаше всего нет — через отверстие в крыше. Немногие албанцы доживают до преклонных лет, не страдая в той или иной мере от воздействия этого дыма. Али преданно ухаживал за стариком: подавал ему пресные лепешки, чашку кофе, а по вечерам — его *чубук*. Общение с этим слепым стариком — простое и грубоватое, словно тот был старшим из стада, которое они пасли, — вот так Али и представлял себе любовь; однако он знал и любовь иную.

Ибо рядом был и другой ребенок, тоже отданный на попечение старика, — девочка по имени Иман, всего лишь годом старше Али, сирота, как и он: они считали и называли себя сиротами, когда — очень нечасто — заговаривали о своем происхождении; детям не свойственно задаваться вопросами, почему и зачем они явились на свет такими, какие есть; им достаточно было сознавать себя и знать друг друга, как они знали солнечное тепло и вкус горных родников. Волосы у Иман были черные как вороново крыло, а глаза — что в тех краях не редкость — голубые, но не как у англосаксонских блондинок; они отливали голубизной морской Пучины, и в этих глазах, широко и

бесхитростно распахнутых, Али тонул без остатка. Поэты в рассуждениях о глазах юных дев постоянно отклоняются от предмета в сторону, давая тем самым понять, что под влажным взором подразумеваются вся прелесть и все совершенства возлюбленной — о которых мы вольны гадать сколь угодно. Однако Али вряд ли задумывался о прочих чарах, какими обладала его маленькая богиня: в ее глазах он поистине растворялся целиком и не волен был, когда их взгляды встречались, отвести свой.

В новом, более суровом климате Али исподволь забывал язык, на котором лепетал младенцем, а подросши, выучился говорить; но ни того, что сказала ему Иман, ни того, что он ей ответил, Али не забывал никогда; ее слова не походили на все прочие: они, казалось, были отчеканены в золоте, и много спустя, даже просто повторяя их про себя, Али словно бы вступал в крохотную сокровищницу, где ничему иному места нет. О чем же они говорили? Обо всем — и ни о чем; молчали — или она говорила, а он не отвечал; бывало, он ударялся в похвальбы, впиваясь в нее глазами — убедиться, что рассказ ее захватил, — и она слушала. «Иман, иди лучше в обход — поранишь ноги о камни». — «Али, возьми хлеб — у меня его хватит на двоих». — «На что, по-твоему, похоже это облако? Я вижу коршуна с громадным клювом». — «А я — дурачину, который превращает облака в коршунов». — «Я должен идти по воду. Давай вместе — это недолго. Бери меня за руку — и пойдём!»

В тех краях, кроме них двоих, не было ни души: для каждого из них другой составлял единственный предмет размышлений. Как два лебедя, поочередно расправляя широкие крыла, бьют ими в воздухе и ступают по воде для того, чтобы порадовать друг друга, — и неважно, о чем они перекликаются, — так и двое детей сообщались между собой постоянно и непрерывно. Иман — властная как королева, хотя и босоногая, — могла заставить страдать и порой заставляла, если ей приходила фантазия, — пускай лишь для того, чтобы удостовериться в своем могуществе: так проверяют трость, сбивая несчастный цветок; но очень скоро ее охватывала жалость, и они вновь заключали мир, подкрепляя его ласками и знаками привязанности.

Могут заявить, что пылкая страсть невероятна в столь юном возрасте, — Али едва пошел тогда второй десяток, — и это звучит вполне здраво для тех, кто никогда ничего подобного не испытывал: этих особ мы не переубедим, и потому не станем к ним обращаться; тот же, кому довелось в ранние годы пережить влюбленность, изведал необычайную ее власть и сохранит память о ней в потаенной глубине сердца; память эта — несоизмеримая

ни с какой позднейшей — навсегда станет Пробирным Камнем, которым будет проверяться истинное или фальшивое золото сходных чувств.

Долгое время Али — хотя ему это было почти безразлично — явно находился на особом положении: неизвестно за какой счет его и кормили получше, и делали подарки вроде яркой головной повязки — что дополнялось благожелательным вниманием старших. В некую годовщину — хотя какой рубеж своей короткой жизни он перешагнул, Али понятия не имел, поскольку и точная дата появления на свет, и подлинное родословие оставались для него загадкой — из того же источника благодеяний поднесли ему старый пистолет, который он горделиво заткнул за пояс, сожалея только о том, что присоединить к этому атрибуту было нечего, тогда как все мужчины вокруг, включая нижайших и беднейших, носили не менее двух и, помимо того, еще и кинжал или же короткий меч. Али ни разу не выпало случая сделать хотя бы один выстрел: пороха к пистолету не прилагалось — что, вероятно, следует почесть за удачу, так как в той стране у столь древнего оружия — несмотря на искусную отделку серебряной рукоятки — часто неисправен механизм, и ствол, бывает, разрывается при стрельбе, опаляя руку владельца.

Итак, вооруженный подобно истинному мужчине и заручившись твердой договоренностью с Иман, Али отправился к старику-пастуху, воплощавшему в его глазах всю мирскую власть и мудрость, и, найдя его в окружении соседей близ общего костра, объявил о своем намерении взять эту девушку себе в жены.

«Нельзя, — столь же веским тоном ответствовал старик. — Она твоя сестра».

«Возможно ли это? — воскликнул Али. — Мой отец неизвестен, а кто моя мать, значения не имеет». На самом деле, кто его мать, для Али значило многое: при столь смелом заявлении в горле у него запершило — и, чтобы скрыть это, ему пришлось положить руку на пистолет, пошире расставить ноги и вздернуть подбородок; однако в юридическом смысле он был прав, что и подтвердил кивком его собеседник: по одной материнской линии наследство не передается.

«И все же она из твоего клана и в родстве с тобой, — продолжал старик. — Она твоя сестра». Ибо у жителей албанских гор мужчина и женщина, связанные кровным родством и принадлежащие к одному поколению, считаются братом и сестрой; пускай степень их родства десятая или даже двенадцатая, союз между ними строго воспрещен. Сидевшие вокруг огня — и на мужской стороне, и на противоположной, где

пряли пряжу, — смехом отозвались на сватовство Али.

«Другой жены у меня не будет, Иман то же говорит», — выкрикнул Али, отчего общий смех только усилился; мужчины закивали, пуская из трубок дым, словно были удовлетворены тем, что этакий юнец готов лезть на рожон; а возможно, почли за великую потеху заявленное во всеуслышанье притязание, которому никогда не суждено сбыться. Али, впервые почувствовав себя предметом насмешек — мирские обычаи были ему неведомы, и он их чурался, — гневно оглядел присутствующих и — дабы не заплакать — стремительно повернулся и бросился прочь, провожаемый новыми вспышками веселья; замолчал он надолго: не произносил ни слова и не отвечал на вопросы, даже если их задавала сама Иман.

Вскорости он получил отличительную мету иного свойства, нежели те, какие уже имел. Однажды вечером Али позвали к женщинам: старшая из них обнажила его правую руку до локтя и тончайшей иглой — по указаниям старого пастуха — множество раз проколола кожу. Каждая из ранок наполнилась темной кровью: юноша стиснул зубы — не издав, однако, ни звука, — а на коже постепенно образовался круг в лучах, внутри которого находился змееподобный знак, напоминавший *сигму,* — о чем не знавшие грамоте горцы, конечно же, не могли догадаться. Старуха, бормоча слова утешения и прицокивая языком, время от времени промокала рисунок клочком овечьей шерсти: подобно мастеру, изучая свою работу оценивающим взглядом, она где-то углубляла проколы, где-то их добавляла — до тех пор, пока Али едва не лишился чувств — хотя с губ его не сорвалось ни единой жалобы. Под конец мучительница взяла щепотку пороха и втерла его в нанесенные на кожу крошечные проколы: пусть всякий, кому на незажившую рану случайно попадала даже крупица пороха, представит, что мог почувствовать при этом Али, поскольку старуха, с силой вдавливая в кожу большой палец, старательно растерла порох вместе с кровью так, чтобы плоть навсегда сохранила новую окраску. И так на правой руке Али — мы видим нечто подобное у моряков всех наций, не исключая и нашу, наиболее *цивилизованную,* — был запечатлен знак, который (при условии, что рука останется неотделенной от тела, хотя среди жителей тех краев поручиться нельзя ни за что) вытравить невозможно. Для горцев это было делом вполне обычным: рисунок на коже, а то и два, имелся почти у всякого — однако у Али он ничем не походил на другие, и всяк его видевший это понимал.

Избавленный от жестокой печатницы, Али устремился к своей маленькой возлюбленной: они гуляли рука об руку, и,

возможно, только в ее обществе он позволил себе пролить слезы боли — или же сумел сохранить прежнюю отвагу. Наверняка Иман его утешала — и удивленно рассматривала свежую мету, прикасаясь к ней с его разрешения; но какой бы глубокой, мучительно и навсегда въевшейся в плоть ни была эта печать, еще мучительней и глубже была другая — там, куда не способен проникнуть ничей взор: Али знал об этом, однако не мог сказать!

В последнее десятилетие прошлого века у российской императрицы, пресловутой Екатерины, и у ее советников возник замысел (схожие с ним и по сей день упорно вынашивают ее коронованные наследники): овладеть Константинополем и уничтожить Порту; для осуществления плана царица вступила в сговор с сулиотами и жителями горных областей Иллирии и Албании, обещая им свободу и самоуправление после того, как будут разгромлены их угнетатели — турки. Откликнувшись на этот призыв, горцы — и без того привычные к мятежам — подняли восстание, на сей раз еще более ожесточенное и охватившее большее число сторонников. Спустя недолгое время Екатерина Великая, — которая, при всем Монаршем Величии, оставалась, тем не менее, женщиной, — переменила свои намерения, военная кампания против султана была отменена — и по заключении мирного договора стороны обменялись многочисленными знаками, свидетельствовавшими о прочном мире и дружеском согласии. Следственно, восставшие горцы оказались брошены российскими союзниками на произвол судьбы, и султан отомстил им попросту тем, что отозвал с этих земель своих правителей и военачальников, развязав руки предводителям разбойничьих шаек, которые не испытывали теперь ни малейшего стеснения при обычных своих занятиях — состоявших в грабеже, убийствах, захвате в рабство, вымогательстве дани и постоянном соперничестве, где побеждал сильнейший. Такова была хитроумная кара: султан лишь наблюдал за междоусобной борьбой противников, громоздивших на поле битвы груды черепов, — победителю же Великий и Всемилостивый даровал титул паши.

Тигр, пожравший всех других тигров, носил то же имя, что и наш юный герой: он сделался властителем огромных просторов, обосновавшись в Янине; его пашалык по величине превосходил все учрежденные раньше, и армия была столь многочисленной, что сам константинопольский султан охотно именовал его своим вассалом, не решаясь призывать к более основательному исполнению долга. Слава о нем широко распространилась: в Официальной Печати и в иностранных газетах его порой

именовали *Буонапарте Востока*; о нем даже отозвался с одобрением *другой* Буонапарте, с которым янинский паша сравнялся деяниями: в своих пределах он *пропорционально* срубил не меньше голов, пролил не меньше крови, столько же расплодил Сирот и Вдов, столько же вырвал глаз, сжег деревень, угнал скота и разорил виноградников — хотя его войны и его войска ничуть не более европейских были способны осушить даже одну-единственную слезинку или исцелить самое малое горе; перечисленных выше свершений — что в большей мере, что в меньшей — для снискания Величия было довольно.

Этот паша снаряжал свои армии, готовясь напасть на земли, где обитал клан нашего Али: суровое племя отказалось подчиниться и ему, и его сюзерену — властителю Порты. Послам перерезали глотки — обычный ответ в том случае, когда требование отвергалось, — и это вывело пашу из терпения. У него был внук — пленительный юный паша, увешанный драгоценностями и накрашенный, будто хозяйка мейфэрского салона: владыки Востока любят таким образом украшать своих обожаемых отпрысков, и это не портит их характер; внук паши, во всяком случае, испорчен не был, поскольку он столь же неистово, как и батюшка, жаждал покорять земли, сносить головы и поджаривать врагов, насадив на кол. Войско было собрано, и сотни бойцов в тюрбанах толпились внутри и за пределами обширного двора дворца паши в Тепелене, где слышался звон литавр и с Минарета разносились завывания: тогда-то и явился некий бей — гость из северных стран, завоеванных пашой ранее: он пришел просить о милости — и намеревался что-то рассказать; после того, как в верхнем зале были востребованы и зажжены трубки, рассыпаны пространные любезности и выпит кофе, он поведал свою историю.

Двенадцатью годами ранее, рассказал бей, он проезжал по тем краям, которые (как всем было известно) паша намеревался теперь покорить и присоединить к своему пашалыку. Цель предпринятого беем путешествия состояла в том, чтобы найти, если случится, и подстрелить любого мужского отпрыска семейства, с которым его собственное смертельно враждовало: *кровная месть* между ними брала начало с давних времен, о каких даже старейшие в роду ничего не помнили, и конца ей не предвиделось; если безрассудно отчаянным головам одного семейства удавалось отправить на тот свет представителя другого (неважно, какой степени родства — ближайшей или десятой) — обычно первым же выстрелом, поскольку прицеливаются там тщательно; или же при помощи *ятагана*, внезапно полоснувшего по горлу; ночью на пустынной тропе или в разгар полдня на

многолюдном базаре — противной стороне вменялось в долг возобновить отмщение.

(Ввиду нескончаемых междоусобиц, когда за кровь должны платить кровью, албанцы, как и в прочих отношениях, почитаются нами «не признающими закона», однако по сути, подобно грекам у Эсхила, они подчинены суровейшему из Законов, не допускающему апелляции. Убийство внушает им не меньший ужас, чем другим народам, и душегуба — когда он изобличен — настигает быстрая и жестокая кара, но высший закон Чести не признает исключений, и отступника ждет всеобщий и несмываемый позор. Наши законы — когда мы соглашаемся им следовать — ложатся на нас куда менее тяжким бременем.)

Свершив возмездие и восстановив тем самым свою Честь, бей, по его словам, бежал в горы от преследования со стороны родичей убитого, полных решимости продолжить охоту и ответным ходом устранить фигуру противника с доски. Лошадь бея споткнулась и охромела, и ему пришлось тащиться пешком — в полубреду, терзаясь голодом и жаждой. Он укрылся от настигавших его врагов в Пещере, не в силах двинуться дальше, — топот копыт слышался все ближе, голоса выкликали его имя, — так что он изготовился к недолгой обороне и почти неминуемой гибели. Но тут до него донесся другой шум: какие-то всадники скакали с другой стороны — и вскоре появились перед ним, преградив дорогу его преследователям. Конный отряд возглавлял англичанин, хотя сыны Британии столь редко в те времена встречались в укреплениях албанцев, что испуганный бей не сразу его признал: расшитый золотом красный мундир, сапоги и белые перчатки, хотя запачканные и продранные, были чужеземными; сопровождала же англичанина смешанная группа, состоявшая из сулиотов-наемников, нескольких солдат в алом наряде (правда, не столь великолепном, как у их предводителя) и турок-сипахи. Что побудило их встать на защиту загнанного одиночки, и сам бей толком не знал, но объединенные силы оружных сулиотов и британских солдат взяли верх, заставив преследователей обратиться в бегство. Исполненный благодарности бей, склонившись перед англичанином в глубоком поклоне, почувствовал, что его подняли с колен и рассматривают Взглядом ни теплым, ни холодным — ни ободряя, ни внушая тревогу — взглядом бесстрастным, словно у зверя или каменного изваяния; и сердце у бея сжалось. Тем не менее он дал знать своему спасителю, что тому теперь принадлежит все, чем бей обладает: его Жизнь и его Имущество отныне в распоряжении англичанина, и единственное его желание — принести клятву вечного Братства, на каковое предложение англичанин отозвался

видимым согласием. Итак, в тот вечер воспрянувший к жизни бей и знатный англичанин сделались Братьями, в знак чего — согласно с известным обычаем, кольнув иглой указательные пальцы (бей с радостью убедился, что кровь англичанина такая же красная, как и у него, и он, следовательно, тоже человек, а не *джинн*), — растворили по нескольку капель в чаше с вином, которую оба и осушили.

«А теперь скажи, — спросил бей своего нового родственника (ибо совершенный ритуал связал их узами, столь же тесными, как у единокровных братьев), — скажи, если возможно, что привело тебя в нашу страну и куда ты направляешься». — «Нет, не скажу, — ответил англичанин (слова его переводил турок, который один свободно владел обоими языками), — поскольку знать о причинах, которые привели меня сюда, чести тебе не прибавит. А куда я направляюсь — неизвестно мне самому, поскольку не знаю, где нахожусь», — «На этот счет, — отозвался бей, — я могу тебя просветить; и отныне мой дом, расположенный в двух днях пути отсюда, принадлежит тебе; отправляйся туда, вручи моему дворецкому вот это кольцо — и получишь все, что потребуется. Что до меня, то я должен скрываться, ибо недруги будут поджидать меня там в засаде; но когда они обманутся в ожиданиях и уйдут, мы с тобою встретимся вновь». — «Согласен», — ответил англичанин, и на рассвете их пути разошлись.

Какое-то время спустя, когда бей счел безопасным вернуться к себе в дом, он обнаружил его не таким, каким оставил. Англичанин со своим отрядом отбыл, опустошив кладовые и конюшни бея. Жена бея — младшая из трех, голубоглазая, самая красивая и самая любимая — пряталась от супруга (не то от страха — не то от стыда — или того и другого вместе), и причина этого вскоре совершенно объяснилась: силой или уговорами знатный *Красномундирник* присвоил себе ту собственность своего Брата, которой не следовало касаться, и теперь ожидалось появление на свет плода его посягательства.

Несчастный бей, из уважения к братству с англичанином, которое он поклялся нерушимо блюсти, не расправился с женой на месте, как поступил бы всякий и на что он имел полное право, — тут паша кивком дал знать о полнейшем своем согласии, — но вместо того сдержал гнев и дождался рождения ребенка — славного, хорошо сложенного малыша, после чего несчастную женщину, лишенную защиты, вскорости постигло столь надолго отсроченное супружеское возмездие. Ее сына отослали в отдаленный угол страны под кров старого Пастуха, единственного его покровителя; при сем бей препроводил некий

знак, которым надлежало отметить мальчика, буде тот выживет.

С тех пор протекли годы: сыновья бея пали жертвой неустанной вражды — один за другим были умерщвлены сыновьями и внуками тех, с кем давным-давно расправились их отцы, дядья и деды; и теперь бея охватило раскаяние за свою былую суровость — он начал лелеять память о любимой супруге, так походившей на газель и так нежно любимой. Вот почему он просил позволения паши сопровождать его войска или даже предшествовать им в походе на те земли, где он искал бы юношу, которого узнает по знаку (для сведения паши он начертал его на полу) и которого намеревался взять к себе в дом и назвать своим наследником. Если же кому-то из воинов паши случится наткнуться на него первым, а тот будет вооружен, бей умолял пощадить жизнь юноши и возвратить под родной кров.

Паша выслушал просителя — задал несколько каверзных вопросов — и погрузился в раздумье, теребя и поглаживая свою дивную бороду, которую подносил к носу, как бы вдыхая исходившую из нее мудрость; потом хлопнул в ладоши, призывая слуг — набить трубку гостя и вновь налить его чашу, — и объявил, что просьба будет исполнена по возможности, о чем бею своевременно доложат; и с тем повелитель заговорил о другом.

Достойный бей простился с пашой и отправился в путь. Паша немедля выслал вслед за ним кое-каких доверенных лиц — и если бею удалось бы добраться до дома и своего гарема, то его преследователи более не дерзали бы показываться нигде во владениях паши, кои, по их представлениям, простирались до самого края света. Вскоре после того полчища паши устремились на земли, где усыновившее Али племя обитало веками и пасло скот: им велено было подчинить Вождей власти паши и передать собранную дань в его Казну.

Есть в людских сердцах — и не только в сердцах тех, кто вникал в исторические Хроники или слушал речи Политиков, — чувство, ставящее любовь к Свободе превыше любви к Жизни; оно только возрастает по мере усиления гнета, ибо «ромашка растет тем гуще, чем больше ее топчут», — в отношении ромашки, это, наверное, вполне справедливо, хотя по собственному опыту я и не могу об этом судить; что до Свободы, то, как известно, сулиотки, преследуемые в былые времена воинами паши, в отчаянии, лишь бы не попасть к ним в руки, кидались с младенцами в руках с вершин залонгских скал в пропасть, почитая это высшим благом; и ничто не могло заставить их предпочесть тиранию этому страшному и последнему выбору.

Жители Охриды, свободолюбивые, как и сулиоты, но не столь прославленные необузданностью, заранее бежали от воинства

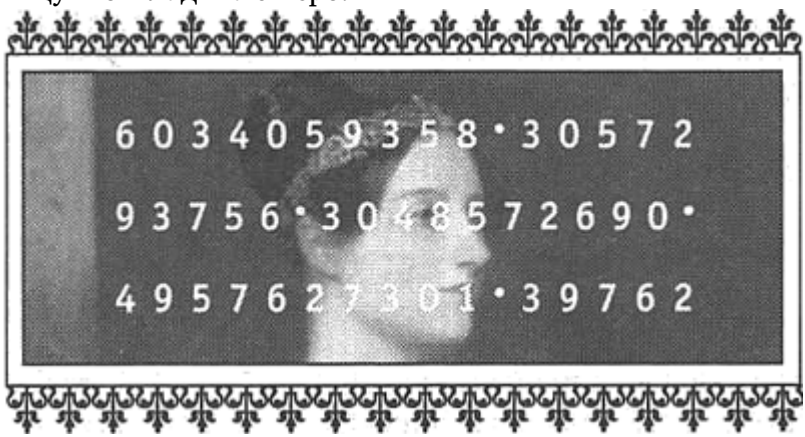
паши — куда, что и говорить, влилось теперь немало сулиотов-наемнмков, — унося пожитки, какие могли захватить с собой, на спинах или на деревянных телегах и поджигая свои неказистые лачуги. Али и Иман, гоня жалобно блеющих коз, поспешили перебраться через долины на север, однако бегство это было столь же тщетно, как попытка спастись в рыбачьей лодке от готового обрушиться на нее штормового вала; еще не видя настигавшего их врага, они ощущали босыми подошвами отдаленный топот копыт. Их соплеменники-мужчины, занявшие возвышенность, пытались отразить натиск неприятеля криками и ружейными выстрелами (крики раздавались куда чаще выстрелов, поскольку запасы оружия были не менее скудны, чем все прочие запасы) только ради того, чтобы дать женщинам и детям время для бегства, но — пустые надежды! — конница налетела вихрем; Али, обернувшись, видит, что к нему и Иман скачет громадный жеребец: всадник размахивает в воздухе сверкающим кривым мечом, ветер развевает его накидку, зубы оскалены наподобие волчьих, словно и они станут орудиями расправы. Али выхватывает пистолет, заряженный одной-единственной пулей и щепоткой пороха, которую он смог раздобыть; заслонив грудью свою даму, он целится — только тот, кто противостоял наезднику-сулиоту, способен оценить его отвагу! — пистолет дает осечку — однако враг на полном скаку осаживает жеребца так круто, что едва не валится вместе с ним на землю. Волчьи зубы скалятся теперь в радостной улыбке: он хватает Али за руку, в которой тот все еще сжимает никчемный пистолет; увидев на руке знак, довольно хохочет (паша обещал награду — теперь она его!) и резким рывком кидает Али (юноша при сильном и соразмерном телосложении навсегда останется худощавым) на круп своего жеребца. Иман, видя это, не дрогнув и ни секунды не колеблясь, бесстрашно бросается на всадника и молотит его своими кулачками — сущая тигрица; на мгновение кажется, что гогочущий противник лишится трофея: ему разом не справиться с разъяренной девчонкой и не удержать мальчишку — что за бес их обуял, раз им никак не расстаться? — но наконец он пришпоривает лошадь и уносится с беспомощным Али быстрее ветра. Иман бежит вслед и зовет Али, который тянется к ней свободной рукой (другая стиснута мощной хваткой воина), словно желая уничтожить разрыв, все более широкий: сердце Али, его душа — там, с Иман, несется к ней вместе с обращенным к ней криком, и навсегда, навсегда должна с ней остаться. Горестные возгласы детей — они не смолкают! Наверняка эти призывы осаждают Небо, и даже самые жестокосердные разбойники внимают им и смягчаются сердцами: такое порой

случается — немногим чаще, чем Небеса отвечают на мольбу.

Воин, захвативший Али, оглянулся на разгар сражения — если оно заслуживало такого имени — и пустил коня вскачь; Али, изо всех сил пытавшийся спрыгнуть с валкого лошадиного хребта, теперь в страхе должен был крепче прильнуть к всаднику, дабы не оказаться сброшенным на камни или раздавленным копытами. Когда от все еще наступавших отрядов паши их отделило несколько миль, воин осадил коня, пустил его медленным шагом, и Али — который находился теперь от дома и знакомых мест дальше, чем когда-либо, — ничего не оставалось, как держаться на конском крупе, направляясь в неизвестность. Оба не обменялись еще ни единым словом — возможно, они и не поняли бы наречия друг друга — да и разговора не получилось бы: Али не знал, о чем спросить, а всадник вряд ли ответил бы на его вопрос. Когда день сменился наконец зеленоватыми вечерними сумерками, был сделан привал: похититель протянул пленнику еду и с прежней улыбкой жестами принудил его съесть свою долю, а укладываясь на ночлег — они расположились на земле под накидками и черным покрывалом мерцавшей бессчетными звездами ночи, — привязал запястья Али к своей руке кожаным ремнем. Тут Али решился узнать, что его ожидает и почему он один избавлен от участи, постигшей его племя и его возлюбленную; однако воин в ответ (понял ли он мольбу Али — неизвестно) согнал с лица улыбку и, выразительно погрозив юноше длинным грязным пальцем, что означало Запрет на Расспросы, смежил очи. Али лежал с похитителем бок о бок; уверившись, что его не услышат, он тихо заплакал: плакал об Иман — о старом наставнике — о козах, чьи привычные имена повторял шепотом; плакал он и в предчувствии будущей рабской жизни, поскольку не имел оснований надеяться на иное.

Но вместо того (и читатель, добравшийся до этой страницы, удивлен не будет) Али, после многих перегонов, доставлен был в тепеленскую резиденцию паши — нечто невиданное им прежде по размаху и роскоши — не как невольник, а как почетный Гость. Али привели к самому паше, который милостиво ему улыбнулся и потрепал по темным кудрям — взял его руку в свои и с жадным вниманием всмотрелся в нанесенный на нее знак — затем усадил юношу на шелковую софу справа от себя и принялся угощать засахаренными орехами и сладостями; а его родной внук глядел потрясенно и обиженно. Если нам совершенно ничего не известно о внешнем мире, лежащем за пределами одной-единственной долины с ее склонами и виноградниками, то, вероятно, нас не слишком поразит все с нами происходящее после того, как нас внезапно и мгновенно переместят в другой край, ибо мы попросту

лишены будем возможности возбудить в себе какие-либо ожидания. Али ничуть не протестовал против знаков внимания со стороны престарелого улыбчивого деспота: они не вызвали в нем ни сердечного отклика, ни благодарности; он безмолвно облачился в поднесенное ему богатое одеяние, состоявшее из длинной белой накидки тончайшей шерсти, отделанного золотом плаща, вышитой рубашки, плотной как нагрудник, широкого пояса и головной повязки, разноцветной наподобие одежд Иосифа. И только меч, который паша вложил ему в ладони — изогнутый и сверкающий, будто улыбка Сатаны, и столь же погибельный, не оставил его равнодушным: Али поклялся вслух, что *никогда с ним не расстанется*; он и в самом деле не расставался с ним, пока по прошествии лет не потребовал его отдать суровый мировой судья, — однако этому предстояло случиться еще очень нескоро, в далекой стране, о которой Али и понятия не имел. Как он туда попал, что там с ним приключилось — об этом еще предстоит поведать; а сейчас, изложив сведения в объеме, более чем достаточном для одной Главы, дописываю страницу и откладываю перо.



От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Привет

Милая,

вот я и на месте, тут как тут. Господи, путешествие то еще. Помнится, ты меня предупреждала — так оно и вышло. Видно, вместо валиума ты сунула мне не ту таблетку: я приняла ее где-то над Атлантикой, запила глотком-другим вина, проспала двадцать минут, а потом уже НИ РАЗУ не сомкнула глаз, дергалась и психовала — ты уверена, что это не был какой-то стимулянт? Очутилась я в Лондоне утром следующего дня, хотя по

моим часам было только часа два ночи, в гостиницу раньше полудня никак не вселиться — и что тут прикажешь делать? Ну, оставила вещи на станции в камере хранения и пошла прогуляться. ПОД ДОЖДЕМ. Плащ-то у меня был, а вот с зонтиком незадача. Пошла в бюро находок — помнишь, Фрэнки нам твердил, что есть, мол, такая офигительная контора? Я тогда взяла да и записала адрес. Что да, то да — офигительная: у них там сотни зонтиков, забытых в вагонах, а еще портфели, шляпы, ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ (?что с младенцами-то сталось?), книги, свертки и т. д. За стойкой там такой милый парнишка в помочах (т. е. в подтяжках), галстук заправлен в рубашку, усики вроде зубной щетки. Показал мне зонтики. Я взяла «Суэйн Эйдни». Верх совершенства. По его словам. С большой толстой ручкой, вроде как из бамбука. Может заменить кастет: это парнишка мне пояснил и даже показал замах.

Словом, я сейчас в Блумсбери; Джорджиана заказала для меня чудный номер, но не знаю, как дальше бороться со сном: вот-вот уткнусь носом в клавиатуру. Тебе звонить еще рано. Встречаюсь с Джорджианой в пять. Будем ПИТЬ ЧАЙ и обсуждать дальнейшие планы. Слегка волнуюсь. Ни разу не видела ее даже на фотографии, но вполне представляю, как она должна выглядеть. Случалось с тобой такое: отправляешься в поход, предвкушаешь удовольствие, а потом вдруг бац — падаешь со скалы или прицепится к тебе какая зараза, от которой уже не избавиться, и хочется только поскорее вернуться домой? Когда бы милая моя со мной в постели здесь была. Дождем здесь туча пролилась. Пиши мне. Я тебя люблю.

Смит

* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm,edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Привет

малышка здорово получить от тебя весточку и узнать что ты не запила да ладно можешь пропустить рюмочку нормально слушай а ведь ты первый раз написала вот это я т л раньше только пару раз говорила это важно а

может и нет но вот что я расскажу я обедала с барб и ее знакомыми мастеровыми приятные люди только вот говорить с ними не о чем ну какие там темы шерсть древесина и в том же духе расспрашивали чем я занимаюсь я говорила о тебе сказала эта женщина моя партнерша первый раз вслух партнерша само вырвалось а потом мучилась надо ли было говорить

в любом случае я тоже т л

я

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: Re: Привет

Приветик, портнерша,

Чаепитие с Джорджианой прошло не совсем так, как я ожидала. Живет она в Сент-Джон-Вуде: это вовсе не лес, а часть города, причем славная; квартира старая и запущенная, сама Джорджиана — не престарелая матрона в кружевах, а сухощавая жилистая женщина (немного похожа на мать Джессики), из потрепанной касты истинных англосаксов (здесь, конечно, они все такие), в джинсах и свитере. Но и вправду славная. Квартира у нее вся забита книгами, газетами и журналами — я с трудом нашла, где присесть; Джорджиана показала мне спальню — там просто к постели не пробраться, вот она и спит в другой комнате, крохотном таком логове. В каждой комнате камин с искусственными углями, электрический. Она говорит: электрический огонь. Забавно. Джорджиана упорно называет меня Александрой. Когда она говорит, голова у нее малость трясется, точно у глупых собачонок, которых сажают в машинах на спинку заднего сиденья. Мне она очень нравится.

За чаем мы немного поели (потому что в «чаепитие» не только чай входит), угощение довольно простое — печенье из коробки и бутерброды, но с чаем Джорджиана хлопотала долго, и он получился крепким и вкусным. Я сидела на кушетке, она пошла ответить на телефонный звонок и долго что-то бубнила в трубку на английский лад, я пыталась вслушаться, потом вдруг открываю глаза,

а она стоит рядом и с улыбкой на меня смотрит. Это я задремала. Минут на десять, говорит. Смутительно, как говорит Рокки. Я ей доказывала, что со мной все нормально, но она все равно усадила меня в такси. Ну и ладно.

Вот, сейчас два часа ночи, а я как огурчик. Пиши мне, пиши

С

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Джорджиана

10 утра. Снова у Джорджианы. Она хотела бы закрыть сайт на время реконструкции, но мне эта идея не нравится. Всплывающие окна и рекламу она ненавидит. Говорит, это все равно что читать статью в энциклопедии посреди Пикадилли-серкус, «вы бы сказали — на Таймс-сквер». Сколько денег уйдет на переделку всего сайта и устранение рекламы, она не говорит, но замыслы у нее широкие. Я ей, конечно, не могу заявить: ну ладно, покажите мне денежки, — да и что мне, в общем, до этого? Пускай об этом заботятся разные Сондры (Лилит) Маккей. Я просто делаю свое дело. Но теперь, похоже, работаю на Джорджиану. Судили-рядили с ней о сайте.

Оказывается, когда-то давно она хотела поступать на матмех (она говорит «мехмат») в американский университет, но родичи ее отговорили. Вот где первичная сцена-то. Теперь она сама глава семейства и может делать что вздумается. Конечно, она этого прямо не сказала.

Вау. Вконец выдохлась. Пробуду здесь по крайней мере месяц, обработаю Мэри Сомервилл, Шарлотту Ангас Скотт, Розалинду Франклин, Аду Лавлейс и еще парочку, о ком в жизни не слыхивала. Видишь, как я потираю руки? От радости, а не потому, что озябла. (Жуть: кроме как от «электрического огня», тепла тут вообще нет, и стоит немного отойти — хоть в туалет, — и холод адский.)

Самый длинный мейл в мире. Пиши мне, пиши.

С

* * * * *

Мамочка — Надеюсь, тебе понравится эта сирень — она цветет в Кью-Гарденз — помнишь, «В Кью приходи, как сирень зацветет»; я там еще не была, но такие открытки продают повсюду. Сирень, впрочем, еще не цветет. Я занимаюсь здесь исследованиями для вебсайта. Постоянного адреса у меня пока нет — скоро позвоню тебе и сообщу.

С любовью Алекс

PS Привет Марку

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Поразительно

Вот угадай, что началось на другой день после того, как я взялась за письма и бумаги Ады Байрон Кинг, графини Лавлейс. Просто поразительно. Такое со мной случается, оно за мной ходит. И тогда я тебе говорю: нет, мир не таков, каким представляется. А ты только закатываешь глаза, математичка.

Вчера к Джорджиане обратились с предложением. Нашлись какие-то бумаги, и этот человек (его имени Джорджиана так и не называет) желает их Джорджиане продать, поскольку она вроде как коллекционер, а ему известно, что бумаги наверняка ее заинтересуют, поскольку принадлежат Аде! Что это за бумаги, сама Джорджиана толком не знает, однако ее заверили, что там их «целая груда» — и, во всяком случае, находка серьезная. Обнаружены они в сундуке, который принадлежал, как утверждают, сыну Ады. Звали его Байрон. (Имя такое. Отцом Ады был Джордж Гордон, лорд Байрон, поэт.) Этот сын тоже был лордом — Оккамом. Ну и Джорджиана собирается пойти взглянуть на эти бумаги и хочет взять меня с собой. Она совсем не уверена, что там что-то стоящее, — говорит, смешно даже надеяться, но ведь «забавно будет убедиться»? Да,

это точно. Я готова.

Вот видишь? Твою любовницу и портнершу осаждают всякие чудеса. Не говори, что все это случайности. В жизни бывает такое, чему НАЗНАЧЕНО случиться.

Смит

* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Ничего поразительного

страсти какие удачи тебе с этой женщиной лучше уж ты чем я

если чтото важно или интересно это еще не значит что оно не случайно были бы все явления единообразны не осталось бы случайностей если действует чистый случай можно ожидать сплошной полосы удач тебе ничего особенного не выпало ты просто глазастая а может и правда везет по теории вероятностей должны же быть такие люди но и при таком раскладе распределение остается случайным над последним совпадением надо подумать но так или иначе оно тебя поразило только потому что лично тебя коснулось

так же и встреча с тобой она тоже меня поразила потрясающая удача ничего не было назначено просто поразительный случай и поражаюсь до сих пор

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: Ничего поразительного

Тea, я знаю — совпадения важны, только если они важны для меня — или для тебя, к примеру, — но я историк (вроде того), а вся история состоит из совпадений — но ты историю не любишь и важной ее не считаешь, потому как в прошлом люди только и делали, что заблуждались насчет науки, вот и все.

Ада и Байрон, и я и эти бумаги, и Джорджиана — и

все это сейчас: вот я о чем.

C

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Re: Ничего поразительного

ладно я не прониклась Байрона сроду не читала и браться за него сейчас не собираюсь насчет ады знаю только то что есть на сайте и что когдато слыхала первая компьютерная программа и все такое но это меня заинтересовало ты говоришь я не люблю историю потому что значения для науки она не имеет наука это одностороннее движение ничего подобного только не математика в ней история это часть современного состояния дел мне просто не приходило в голову что ада к ней относится так что объясни мне это все кто такой байрон и кто сын ады только не пиши многабукофф и я попытаюсь осилить

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: История

Теа,

Вот что я знаю об этой истории — не очень много, но, кажется, придется в ней разобраться получше.

Байрон (1788–1824; только что навела справку, специально для тебя, не стоит благодарности) был знаменитым поэтом и нищим лордом, когда женился на Аннабелле Милбэнк. Ему 24 года, ей — 18. Он был вроде рок-звезды — типа Мика Джаггера: женщины просто в обморок брякались; Байрон тоже был новатором, тоже создавал что-то ни на кого не похожее и стихи тоже писал главным образом о себе любимом. Бисексуал к тому же. Такая вот демоническая натура (по слухам) — и одна из его любовниц назвала Байрона «дурным, дрянным и опасным для близких». Ну, фраза известная.

Аннабелла была единственным ребенком в семье — скрытная, настороженная, характер надменный, чувство юмора на нуле. Она изучала математику, а Байрон это считал делом неженским и даже комичным. Никакого будущего у этой пары быть не могло, и я не могу понять, почему они друг друга вообще выбрали. Ада родилась через год после свадьбы — нелегкий был год, — и брак распался. Мужем Байрон был жутким: принимал опиум, пил, закатывал скандалы на всю ночь — ну и конечно, интрижки с актрисами. Мало того: Аннабелла обнаружила, что у него роман со своей единокровной сестрой Августой. А может, узнала вдобавок и о том, что в Греции он имел дело с мальчиками; или — все это вместе взятое, да еще пытался учинить с ней в постели нечто греховное и преступное (сама догадайся). В ночь рождения Ады он напился, а когда все кончилось, вошел с вопросом: «Что, оно умерло?»

Леди Б. терпела еще месяц, а затем бежала с ребенком и потребовала развода, который получила, а лорд покинул Англию навсегда и Аду больше не видел. Мать Ады (неизменное именование — леди Байрон) об отце ей почти ничего не рассказывала и постоянно опасалась, что дочь унаследует его безумные наклонности. (Тебе это кого-то напоминает? Мне тоже.) Вот, а потом Байрон умер в Греции в 1824-м, когда Аде было девять лет. Она встретилась с отцом, только когда его тело доставили на родину — заспиртованным в бочке. Папин корабль, сказала девочка. Скорбели о Байроне все — как о принцессе Ди: епископ отказался его хоронить в Вестминстерском аббатстве (ну да, безнравственный тип), и останки Байрона отправили конной упряжкой в родовое поместье на севере; на всем пути процессию сопровождали огромные толпы: цветы, скорбные подношения, слезы и т. д. Ада запомнила это на всю жизнь.

Она выросла, вышла замуж за другого лорда — Уильяма Кинга, лорда Лавлейса — и подружилась с Чарльзом Бэббиджем: см. на сайте, ленивая портнерша. Аде принадлежит описание его вычислительной машины (см. на сайте), куда входило и то, что можно назвать компьютерной программой (см. там же); умерла она от рака, не дожив до 37 лет. Мать ее пережила. И сохранила все полученные Адой письма, все бумаги дочери и половину отправленных ею писем — или сделала копии,

или затребовала их у адресатов. Весь этот архив хранится в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде; имеется полный каталог. Комната 132. Там работают исследователи, но об этой находке не знает никто. Я увижу бумаги, которые не видела ни одна душа, с тех пор как Ада их написала и спрятала.

Что тебе привезти отсюда? Чего тебе больше всего хочется (кроме меня самой)? Могу посетить могилу Дианы, раз уж о ней заговорила, и привезти цветок. Помню, как ты плакала. Была бы ты здесь — или я там.

C

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Ди

да ну и ревела же я но я помню и как они поженились пышная была свадьба мы смотрели по телевизору я была маленькая дружила тогда с рокки и мы решили будем не спать всю ночь и смотреть рокки просто пищала да здравствуют чак и ди мы всю ночь так и повторяли да здравствуют чак и ди и заснули на кушетке вместе я и рокки до сих пор помню это было задолго до тебя и даже до того как мы с рокки ревнуешь теперь уж надеюсь

приходил сегодня кабельщик так что я теперь могу смотреть каналы для взрослых всю ночь

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spaiml33@ggm.edu›
Тема: Мертвые

Теа,

Бумаги у нас в руках.

Договорились о встрече в большом новом отеле на другом берегу реки. Там сплошь новостройки. Похоже на Кливленд — ну, или что-то такое не очень старое. Сердце у меня колотилось — не спрашивай почему, и

Джорджиана в такси взяла меня за руку — не то чтобы приласкать, а просто успокоить, словно почувствовала, что я не в себе. Может, так оно и было. Отель вроде «Хилтона», всюду стекло, мрамор и позолота; этот тип зарегистрировался под фамилией Уилк (Роан Дж. Уилк) — даже не притворяется, что это настоящее имя. Его номер (люкс) оказался на самой верхотуре, откуда кругом виден весь Лондон, башня Би-би-си, собор Святого Павла и все церковные шпили.

Не знаю, о чем рассказать, что важнее. Начать с того, что он американец! Может, из Новой Англии, а может, и нет. Невысокий, с отросшим седоватым ежиком и седой бородкой. Лет ему около шестидесяти — выглядит, во всяком случае, примерно как Дерек или твой отец. Зачем я тебе это все пишу? В ухе у него небольшая золотая серьга. На нем было длинное черное пальто, и за все время, что мы у него пробыли, он его так и не снял. А на кофейном столике из золота и стекла стояло ЭТО. Так странно: все вокруг новехонькое, а ОНО такое старое — будто экспонат в только что открытом музее.

Он назвал это морским сундучком. Матросы держат в таких свои пожитки. Размером с рюкзак — может, побольше, или с детский гробик (вот чего не видела, того не видела), или как бочонок вина. Так понятнее? Поставь перед собой руки и обведи воображаемый бочонок. Я вымоталась, и голова кругом идет. Верх у этой штуки округленный, она то ли сделана из кожи, то ли обита кожей, которая подгнила по краям — ну знаешь, как с кожей бывает, — шелушится, будто при псориазе, и запах от нее такой сухой, сладковатый. Этот самый Уилк ходил вокруг да около, сундучок не открывал, а только разъяснял, откуда и как он попал к нему в руки: по-моему, сплошное вранье, но он хочет, чтобы никому об этом не рассказывали — такое он поставил условие, и у меня рот на замке, даже для тебя: нельзя подвести Джорджиану.

Потом он отпер сундучок.

Все находки лежали внутри, на своих местах — хотя, конечно, Уилк их оттуда не раз доставал. Думаю, он хотел разыграть для нас миг открытия. Не умолкая, начал вынимать оттуда то одно, то другое. Морские документы и письма — доказательства того, что сундучок действительно принадлежал лорду Оккаму, внуку Байрона. Еще какие-то бумаги в папке,

перевязанной ленточкой. И огромная пачка, обернутая плотной бумагой, такой лоснящейся, будто промасленной; он развернул ее, и там… не знаю, что там такое. Пачка листов, напечатанные пронумерованные строки, в которые кто-то вписал цифры. Сотни страниц. Красивый старомодный почерк, и цифры, цифры. Как будто заполненные бланки, или письменные тесты, или какие-то счета. Тьма-тьмущая.

Что-то со мной происходит, когда я вижу старые бумаги и притрагиваюсь к ним: их касались люди, уже умершие, писали на них, складывали и убирали, потом доставали и снова развертывали, а потом снова прятали. Я чувствую себя так, будто сумела доказать, что человек, давно умерший, был некогда по-настоящему жив, а это означает, что мертвые — живы. Джорджиану била дрожь. Возможно, от холода, не знаю, или это нервное, но я думаю, причиной тут мертвые — понимание того, что мертвые живы. Когда ты доказываешь теорему, такое же чувство? Не знаю.

Смит

* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spamil33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Мертвые

спасибо за письмо ты даже не сообщила проданы ли вам эти бумаги и во сколько это обошлось и что там за чертовщина буду ждать новых вестей что бы там ни оказалось

m

* * * * *

От: "Смит" ‹ariovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: Re: Мертвые

Тea,

Он не знал, что это за бумаги. Сказал (думаю, тут я вправе проговориться), что их нашли в Бристоле, в старинном здании, которое он купил. Некогда там

размещался банк: сундук «вытащили на свет божий» (его слова) при перестройке дома, из старого подвала, о котором никто не знал. Но он уверен, что это собственность того самого лорда Оккама. Понятия не имеет, что это за листы с цифрами, но бумаги в папке, перевязанной ленточкой, по всей видимости, написаны Адой. В сундучке, помимо прочего, лежал медальон, а в нем — миниатюра (как будто Адин портрет) и локон. Владелец дал его нам подержать. Волосы холодные на ощупь. Джорджиана сказала, что хотела бы установить подлинность бумаг и определить их стоимость, на что получила довольно странный ответ. Владелец заявил, что у нас единственный шанс оставить бумаги в Британии, поскольку он очень скоро отбывает в Америку — чуть ли не завтра, и уже навсегда. Торговаться он не собирается, и деньги не так уж важны (это точно). Джорджиана взглянула на меня — вид у нее был растерянный до отчаянья, сигарету она выставила перед собой, словно ею оборонялась, — и спросила: дорогуша, ты не против отлучиться в спальню, пока я с ним переговорю. Вот тогда финансовый вопрос и был улажен. Я постояла в спальне: слышала их голоса, но неразборчиво. Меня подмывало порыться в его чемоданах, пошарить по полкам и по карманам брюк, но в комнате было пусто. Просторно и пусто. Подумывала, не прилечь ли на кровать. Как девочка в сказке о трех медведях. Вспоминала тебя. Тут меня позвала Джорджиана: она уже надевала пальто, а он стоял у окна, и толком его лицо было не разглядеть, но он как будто бы улыбался. Джорджиана сказала: «Спасибо, завтра увидимся», а он ответил: «Вам тоже спасибо, но не увидимся». И мы ушли. Архив Джорджиане доставят в обмен на чек.

Мне показалось, что в такси она всплакнула. Так, засопела слегка. Я не отважилась взять ее за руку и спросить, в чем дело.

Смит

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›

Тема: Притронулась

Теа, я сегодня взялась за изучение бумаг и даже притронулась к ним. Ощущение странное и щемящее. Запах бумаги и пыли — совершенно особый запах: печальный, слабый и сладкий одновременно, запах кладбища — притом, что кладбища запаха не имеют. Ничего нет — ни боли, ни жизни, ни надежды, и все же что-то осталось. Таковы, должно быть, призраки: они могут бушевать, требовать возмездия или справедливости, но их ярость — все равно что старые бумаги, и ничего больше. Самая объемная часть — это математические записи, очень взволновавшие Джорджиану: похоже на руку Ады, хотя определить трудно, там сплошь одни цифры. Что все это такое, зачем оно Аде понадобилось? И зачем это было нужно ему? То есть лорду Оккаму, ее сыну. Почему он хранил эти записи у себя в сундуке? Неизвестно.

История Байрона — этого Байрона, сына Ады, лорда Оккама — очень необычная. Я о нем раньше ничего не знала. Он явно ненавидел свое лордство. Всю жизнь старался от него избавиться. Ребенком любил проводить время с рабочими в поместье, брался за их инструменты. Отец, чтобы направить его на путь истинный, определил сына по военно-морскому ведомству (в 14 лет!), но тот вскоре сбежал и нанялся на судно простым матросом. Позднее стал портовым рабочим или корабелом, назвался как-то вроде Джона Оуки, жил и умер на пристани. Умер довольно молодым. Подозреваю, что за сундуком он так и не явился: положил его в банк, как подобает лорду. И вот что он позаботился сохранить: бумаги Ады, ее записи и вычисления, если это и вправду ее рука, свои моряцкие документы и еще кое-что. Все это сильно озадачивает.

Ой, батарея садится, я так и знаяа, а зарядка в гостинице. Отправляю, чтобы не пропало. Боже, благослови вайфай

С

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.sparnil33@ggm,edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›

Тема: RE: Притронулась

что озадачивает

не думала что ты на этом зациклишься ну и сколько это времени займет ты же знаешь я без тебя такая нищасная нет я вовсе тебя не достаю ты же меня не доставала когда я уехала в стэнфорд я за это всегда буду тебе благодарна но господи боже вчера вечером пошла на комедийное лесби шоу пригласила барб но она опять ударилась в депрессию ну что тебе сказать на такие представления мне одной лучше не ходить было в общем забавно но немного устаешь от шуточек насчет тампонов ну все равно когда в толпе хохочешь со всеми это здорово заводит может изза феромонов может это я чтото такое источаю сильнодействующее хорошо бы закадрить какуюнибудь малышку с шипованными браслетами и цепью вместо пояса от похоти окосевшую не удивляйся если я ее не отважу лол

трикси (да она вернулась йо)

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›

Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›

Тема: ну да

Теа (ой, то есть Трикси),

не думала, что тебе нравятся такие вот бутчи-металлистки. Думала, тебе по вкусу сердитые неприкаянные девицы. Так я ошибалась? Ух, ты меня пугаешь.

Озадачивает вот что: длинная (50 страниц) рукопись Ады в сундуке посвящена, судя по всему, роману, написанному лордом Байроном (ее отцом, поэтом). Он, то есть роман, был утрачен или похищен, затем нашелся и, по словам Ады, попал к ней. Она там описывает, как так вышло, что она узнала о романе раньше всех, и как им завладела. Дальше идут разрозненные замечания, кажется, в связи с этим романом. Записи сделаны карандашом, они поблекли и трудно читаются. Тружусь над ними.

И еще одна страница. Написана не Адой — и чернилами. Одна-единственная. На обороте какое-то печатное извещение на итальянском, и прочитать его

мне не по зубам — ведь я не доктор наук, как некоторые. Здесь почерк еще хуже. Чтобы его разобрать, надо быть женой или любовницей писавшего. Говорю «женой или любовницей», потому как вроде бы догадываюсь, что это может быть. Джорджиана просто дергается, когда я на ее глазах трогаю эти бумаги, поэтому плотно поработать с ними не удается. Мы с ней — как те ребята из фильма, которые нашли украденный миллион долларов, а заодно и труп: рассказать никому нельзя, думать ни о чем другом не получается — словом, ужас, а не жизнь — по крайней мере, до последних эпизодов.

Забыла, что такое лол, — люблю очень ласково или лопаюсь от любопытства

C

* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Ну да

я не говорила что она в моем вкусе это я могу прийтись ей по вкусу лол лопаюсь от любопытства

что там с адиной математикой объясни

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Лилит" ‹smackay@strongwomanstory.org›
Тема: Джорджиана

Лилит:

спешу коротко отчитаться о том, как идут дела с Джорджианой. Я уже сказала по телефону — изумительная женщина. Понимаю, почему ты считаешь все это столь важным. Она твердо намерена полностью реконструировать сайт и сделать его лучшим в сети из числа тех, что посвящены биографиям женщин-ученых. Мы немало времени просидели, бродя по сайтам, которым не грех и позавидовать (Архив еврейских женщин и др.), и она постоянно твердила — мол, нет проблем. Впрочем, она говорит не так, а на английский

лад: «Какая прелесть» и «Вот было бы мило», и часто повторяет: «Конечно-конечно», а что при этом подразумевает, мне не совсем понятно. Я говорю, к примеру: «С движком нужно будет сделать то-то и то-то», а она поддакивает: «Конечно-конечно», словно она уже это продумала и дело делается.

Я ведь говорила тебе, что не собираюсь заводить с Джорджианой речь о деньгах? Точно говорила. Она-то все сворачивает на эту тему, а я стараюсь ее отвлечь. Ты черкни ей записку и объясни, что с деньгами тебе будет хана. Ух, как дела обернулись — отбиваемся от баксов! Так непривычно, правда? Пора уже забеспокоиться? Что, Папаша Уорбакс на нас из-за угла напал или как? Дареный конь может обернуться троянским?

Между тем Джорджиана горит желанием, чтобы я тут подзадержалась, провела кое-какие разыскания, собрала материалы и вникла в суть дела — еще до всяких решений насчет перемен на сайте, — и если ты согласна, то я и подавно. Возможно, ради экономии перееду к ней на квартиру — жилище, как она ее называет. (Видишь: карманы у нее не бездонные, просто довольно глубокие.) Она освобождает для меня комнату. Там не очень уютно, но годится вполне.

Итак, буду держать тебя в курсе. Передавай всем привет и скажи, что я припасла всем в подарок чайные полотенца в виде британского флага и кукол-королев.

Пока!

Смит

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Разностная машина

Теа,

ту, единственную страницу написал Байрон, поэт. Я так и думала. Это легко определить, если взглянуть на образцы его почерка в книгах. Целиком страницу мне не прочесть, даже большую ее часть. Помнишь, как долго я возилась с письмами Королевского общества и наконец справилась, к твоему изумлению, потому что для тебя это выглядело сплошными каракулями, — вот и эта

страница кажется мне просто каракулями. Но я знаю, что она написана его рукой. Почему только одна страница, что в ней такое, почему она тут?

Насчет математических выкладок непонятно. Я уже говорила, что это — пачка печатных страниц: в правом верхнем углу проставлен номер страницы, затем в четыре столбца идут пронумерованные строки, по пятьдесят строк в каждом столбце. Нечто вроде бланка, и строки заполнены рядами цифр. Математические таблицы? Известно, что разностная машина, над которой Ада работала вместе с Бэббиджем, предназначалась для распечатки логарифмических таблиц: машина должна была прежде всего производить вычисления и распечатывать их, но до принтера дело так и не дошло. Что, если эти цифры имеют какое-то отношение к разностной машине? Это будет уже кое-что!

В одном из здешних музеев есть копия — вернее, реконструкция разностной машины. Пожалуй, наведу там справки. Со всей осторожностью.

C

* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory,org›
Тема: Фильм

таблицы логарифмов распознать нетрудно могу помочь пришли мне страничку другую

знаешь что я смотрела вчера вечером по тв по историческому каналу ты удивишься показывали фильм о кинокомпании где же это было в барухистане фарухистане или как его там 1920 годы трава да ты помнишь это фильм твоего папаши жуть я уснула не досмотрев

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: Фильм

Т,

Да это его первый фильм. «Трава». Он написал сценарий еще до моего рождения. Суть в том, что он раскопал старый фильм целиком — ну, не совсем целиком, но часы и часы — все, что режиссеры, которые потом сделали «Кинг-Конга», сняли в двадцатые годы в Белуджистане: их фильм так и должен был называться — «Трава». Отец написал сценарий о тех съемках и в нем использовал старый материал. Грандиозная приключенческая история. Фильм я не видела. Ну и каков он? Иногда встречаю людей, которые знают об этом фильме буквально все. Кто-то мне сказал, что фильм культовый. Лучше других, снятых, когда он прославился.

Об отце я давно не вспоминала. Хм.

Завтра иду в Музей науки, если сумею удрать от Джорджианы. Не думаю, что она такая уж прилипчивая. Не нравится мне такое говорить — будто нарушаю клятву верности, — только вот что-то она темнит. Идет дождь, но у меня есть мой «Суэйн Эйдни».

Смит

* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›

Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›

Тема: о нем

что ты ни разу не заглядывала на его сайт то есть на сайт кинокомпании я бы на твоем месте обязательно туда зашла даже если бы мне было страшновато а мне сегодня и было ты не говорила что он красавчик но у него и вид такой будто прекрасно об этом знает вылитый дэвид боуи а глаза проницательные ну и ну впрочем может всё липа знаю он мерзавец я его ненавижу но он правильными делами занимается знаешь он сейчас снимает фильм о восточном тиморе насчет жуткой бойни когда восточный тимор потребовал независимости вот спорим ты все это и без меня знаешь

да ладно он все равно не вернется

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strong womanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: о нем

Это он. Извращенец. Нет, я заглядывала. Просто не говорила тебе.

Разностная машина — потрясающая вещь. Весит она тонны — я не преувеличиваю. Когда стоишь перед ней, нельзя отделаться от мыслей, до чего насыщенно жили когда-то люди — чего стоило придумать, разработать, а потом построить такую тяжеловесную штуку и такую совершенную: то есть все в ней подогнано так искусно, что механизм запускается одним движением. Служащий мне показал. Выставляешь колеса, на которых красиво так выгравированы крошечные циферки, потом поворачиваешь ручку — и колонки цифр вращаются, а рычаги вращают другие колонки, переносят цифры и складывают их (ничего, кроме сложения, машина делать не умеет!) с мерным постукиванием, которое захватывает ум, сердце, всю тебя — если кому нравится постукивание машины во время работы.

Но машину эту построил, конечно, не Бэббидж, а сотрудники Музея науки: Бэббидж не закончил работу и переключился на конструирование лучшего устройства — аналитической машины, которую можно программировать с помощью перфокарт, как старые компьютеры. Тебе все это известно, я просто размышляю вслух, ничего? Я спросила: и как же выглядела бы длинная программа из перфокарт? Если бы тогда, в те времена, кто-нибудь ее написал бы? Сотрудник не знал. Сказал — да как угодно, поскольку до этой стадии дело не дошло.

Он довольно едко отозвался об Аде как математике: мол, ее вклад в разработку аналитической машины практически ничтожен, однако все же добавил, что именно она, а не Бэббидж увидела ее возможности — в том, что машина способна манипулировать символами, а не только цифрами, сделаться «обобщающей алгебраической машиной». В том-то и заключалась важность ее догадки: аналитическая машина могла бы комбинировать алгебраические построения точно так же, как жаккаровский ткацкий станок комбинировал узоры из птиц и цветов. (Ткацкий станок Жаккара сплетал

узоры, которые определялись последовательностью перфокарт — вот откуда Бэббидж заимствовал идею.) Все зависит от инструкций. Так, собственно, и родилась концепция компьютера.

Видишь, до чего я пытаюсь дознаться? Джорджиана рвется напролом, не задумываясь; она уверена, что у нас в руках компьютерная программа, составленная Адой Августой, графиней Лавлейс. Но что, если она права?

Посылаю тебе по факсу пару страниц. Напиши, что ты о них думаешь.

C

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Логарифм

окей факс получила нет это не таблица логарифмов гадай дальше почему мы вообще уверены что это ее рук дело

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: Логарифм

Что значит — гадай дальше? Это ты гадай, ты же у нас математическая голова. Если это не логарифмы, тогда что? Имеет ли оно какое-либо отношение к аналитической машине? Если зайдешь на сайт, там есть линк на Адино описание аналитической машины и крохотный набор примерных для нее инструкций — «первая компьютерная программа», как мы считаем.

Я не знаю, Ада это сделала или нет. Думаю, что да — и надеюсь на это. Надеюсь, очень надеюсь, что тут что-то есть. Сундучная рукопись Ады, если это и вправду ее рука, совсем выцвела и читается с трудом. Речь умершей: надо вслушиваться и помалкивать.

C

* * * * *

От: "Лилит" ‹smackay@strongwomaristory.org›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Все путем
Смит:

Красота! Рада, что ты там и что все идет как по маслу! Как здорово было услышать твой голос! Правда, Джорджиана классная? Не сомневаюсь, что у вас прекрасные отношения. Я знала, что только тебе это по плечу, такое у меня было чувство — ты ведь знаешь, как на меня находит? Ну вот и нашло. А теперь послушай. Она склонна немного распыляться. Когда она была здесь и все только начиналось, она то и дело перескакивала с одного на другое. Набирала, к примеру, множество историй, которые казались ей по-настоящему важными, и за деревьями пропадал лес, понимаешь? Прежде чем закончить одно, хваталась за другое. Но главное, что я хочу сказать, — слушала она старательно. Я твердо верю, что тебе удастся довести с ней дело до конца, но ты же знаешь, на сайте всегда уйма рутинной работы, с которой только ты способна совладать, а мы все бегаем вокруг, будто цыплята с отрубленными головами, — и хотим, чтобы ты поскорее вернулась. Однако нисколько на тебя не давим: закончи с Джорджианой все, что нужно. Люблю тебя, детка.

Лилит

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Цыпленок

Теа — ты никогда не задумывалась вот о чем: люди пользуются сравнениями, которые для них ничего не значат, потому как они в жизни не видели того, с чем что-то сравнивают. Вот тебе пример. Говорят: «мы все бегаем, будто цыплята с отрубленными головами», — а что, видал кто-нибудь из нас хоть одного цыпленка с отрубленной головой? Скорее, сравнение должно показать, кого пресловутый цыпленок напоминает. «Этот цыпленок с отрубленной головой бегал вокруг, будто

Сондра (Лилит) Маккей после двойного эспрессо и неудачного звонка». Понятно, о чем я?

C

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Цыпленок

угу чтото вроде этого я слышала по тв ктото про когото сказал что тот шальной как мокрая курица я в жизни не видела мокрую курицу наверное похожа на мою мамочку ну ты понимаешь ой забавно эта мокрая курица ну совсем такая же шальная как моя мамочка когда коп задержал ее второй раз за день нужно составить список

кстати мамочка звонила позавчера мало что смогла из нее вытянуть уф до чего ж ненавижу после разговора с ней бросать трубку когда рядом никого нет

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Пришлю

Так вот что я собираюсь сделать. Я тут совсем запуталась, да и Джорджиана вроде бы сбита с толку. Она по-прежнему против того, чтобы привлечь специалистов. Начинаю думать, что она с большим прибабахом — какой бы разумной и уверенной ни казалась. Я должна узнать, что такое в этих чертовых бумагах. Отсканирую математическую часть, перешлю ее тебе на компакте, а ты мне растолкуешь, что к чему.

А еще я собираюсь написать отцу и попросить о помощи. В конце концов, он когда-то преподавал в университете и как раз в этой области разбирался. Вот мои планы.

C

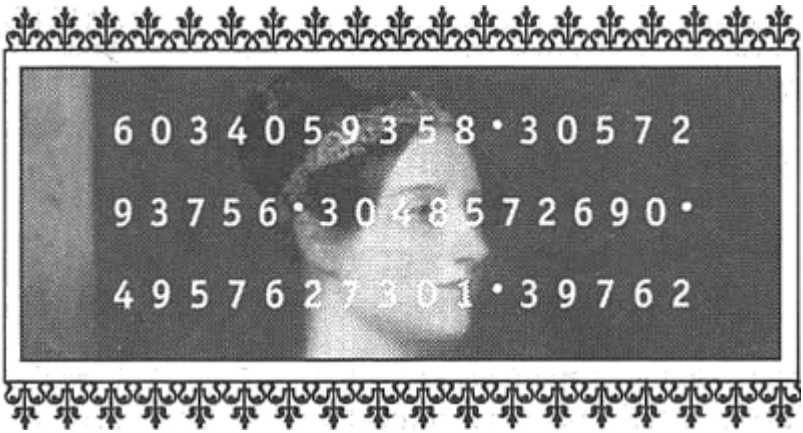
* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Пришлю

СМИТ НЕ ПИШИ ЭТОМУ ПОДОНКУ ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ВЫПИСАТЬ ПРОПУСК В АД ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ АВТОГРАФ У КУРТА К0БЕЙНА ИЛИ ХУЖЕ ТОГО А КАК ЖЕ ВСЯ ЭТА ТЕРАПИЯ ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ ДАЖЕ ЕСЛИ ОН И ВПРАВДУ СМОЖЕТ ЧТОТО ПОДСКАЗАТЬ А СКОРЕЙ ВСЕГО НЕТ ТЫ НИКОГДА НЕ ПИСАЛА ЕМУ РАНЬШЕ КОГДА ДЕЛА БЫЛИ КУДА СЕРЬЕЗНЕЙ И СЕЙЧАС НЕ ПИШИ

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

Т



К читателю

Поскольку публика с давнего времени питает величайший интерес к любому клочку бумаги, связанному с именем моего отца, — интерес, который нимало не уменьшился по прошествии двадцати лет, минувших со дня его кончины; и так как всякий, кому случилось хотя бы однажды с ним беседовать или подслушать его замечания, охотно спешил предать свои памятные записи печати (вне зависимости от того, насколько случайным было это знакомство и насколько ничтожным — их содержание), — может показаться удивительным, что столь объемная его рукопись сохранилась, не обратив на себя внимания вплоть до настоящего дня; вследствие этого более чем вероятны сомнения насчет ее подлинности и уж во всяком случае естественно любопытство относительно ее происхождения. Посему почитаю своим долгом коротко изложить историю того, каким образом нижеследующая повесть оказалась у меня в руках и почему только сейчас она предстает перед читателем — если читатель этот воистину когда-нибудь облечется плотью и устремит взгляд на мои строки и строки моего отца, да уверится он в том, что какие бы интересы ни вовлекли меня в это предприятие, они далеки от стремления извлечь выгоду или снискать известность; если когда-нибудь наши строки и увидят свет, я к тому времени уже буду мертва.

В самом деле, могут задаться вопросом: заслуживает ли быть сбереженным Сочинение, подобное этому, содержащее эпизоды — и даже повороты сюжета, — которые не только не упрочат репутации Автора, но и, вполне возможно, оскорбят вкус читающей публики. Возникают, однако, и другие вопросы: связано ли содержание этой Книги с биографией Автора; подтверждает ли оно упорные и столь широко обсуждавшиеся слухи, уличавшие отца в неких прегрешениях, которые он совершил на том или ином жизненном повороте (чему я сама была однажды свидетельницей, хотя и пребывавшей в счастливом неведении). Следует напомнить, что некоторые лица, близкие отцу, включая его супругу — леди Байрон, собравшись после смерти поэта, сообща приняли решение предать огню Мемуары Байрона, содержавшие его собственную трактовку событий, а также историю рискованных похождений в пору заграничных странствий. Записки эти, хоть и были начертаны пером по доброй воле автора, неминуемо нанесли бы ущерб памяти поэта и опорочили особ, попавших на страницы рукописи. Быть может, незавершенный и неотделанный Манускрипт, оказавшийся в

моем распоряжении, должна была постичь та же участь? Ответить могу только одно: вероятно, да, — однако сама я не в силах решиться на подобный поступок, как не решилась бы собственноручно отправить в огонь Мемуары отца: те, кто сильнее меня духом, отважились (и не должны уклоняться впредь) сослужить лорду Байрону эту последнюю службу, буде это действительно служба.

Возвращаюсь к своему рассказу.

Незадолго до и какое-то время после потрясений 1848 года я имела честь составить знакомство — через любезное посредничество моего высокочтимого друга Чарльза Бэббиджа — с несколькими лицами, входившими в близкое окружение столь священной фигуры, как Мадзини. Мистер Бэббидж — всегдашний поборник Свободы и прогресса Человечества — испытывал огромную радость, общаясь с этими сынами Италии, которые, будучи изгнаны из отечества единственно за то, что всем сердцем служили высшим его интересам, временами находились под подозрением и подвергались преследованиям со стороны и нашего правительства. Синьор Сильвио Пеллико, граф Карло Пеполи и человек, ставший моим задушевным другом, — синьор Фортунатто Пранди: из их уст я слышала о величайшем почтении, с которым относились и по сей день относятся к моему отцу в их родной стране, и о действиях, предпринятых им ради блага Италии, когда он там проживал. Именно от одного из завсегдатаев этого кружка — чье имя я не назову даже после того, как он скончался, — не оттого, что покров анонимности скрывает некие постыдные поступки, но потому только, что с самого начала мне было предписано хранить тайну об этом деле, и данное слово я не нарушу, — именно от этого человека я впервые узнала о существовании рукописи, якобы представлявшей собой сочинение Байрона, хотя и не стихотворное, а прозаическое и сохранившееся в одной-единственной копии. Согласно услышанной мною истории — истинность или ложность которой я не в силах должным образом установить — рукопись эту приобрел (как подарок или же иным путем) некий итальянец, изредка составлявший общество лорду Байрону, когда тот жил в Равенне; позднее рукопись была передана другому человеку, и этот-то второй владелец не столь давно дал знать о ее существовании тому самому джентльмену, от которого я о ней и услышала. Я спросила, находится ли до сих пор рукопись у второго владельца. Да, это было так. Далее я осведомилась, не обдумывал ли нынешний обладатель рукописи о передаче ее на хранение душеприказчикам лорда Байрона — фирме Джона Меррея, его издателя, или же его наследникам и

правопреемникам. Да, владелец подумывал о такой возможности — и воспользовался бы ею, если бы не многие трудности. Цепочку событий, приведших к получению им рукописи, можно было истолковать как сознательное приобретение похищенной собственности, и обвинение в укрывательстве таковой становилось еще более серьезным ввиду продолжительности срока, на протяжении которого он располагал ею, никого не ставя об этом в известность. Более того, владелец (по словам моего друга) полагал, что ценность манускрипта велика, деньги, которые за него можно выручить, остро необходимы для республиканского дела, а посему он не хотел бы привлечь к рукописи внимание тех, кто вправе притязать на нее без компенсации. Вот в этом, как признался мой собеседник, и заключалось главное препятствие. Он заверил меня, что готов любыми доступными способами приобрести реликвию, сохранившуюся от моего отца (которая, согласно всем законам — Божьим и человеческим — принадлежит мне и моим детям), не испрашивая при этом никакого вознаграждения ни для себя, ни для какого-либо сообщества, ни ради служения делу, даже в высшей степени достойному; но он умолял меня до того, как я заручусь его содействием, задуматься прежде о шумихе, каковая незамедлительно поднимется вслед за любой попыткой насильно отторгнуть рукопись — причем неизвестного содержания — от нынешнего ее обладателя.

Я и в самом деле не преминула взвесить все обстоятельства. Какова, к примеру, стоимость подобного манускрипта? Мой отец относился к своим рукописям с аристократической беспечностью и нередко (удостоверившись в наличии беловой копии) дарил оригинал любому, кто оказывался тогда подле него. Хотя нынешний век почитает архивы наших прославленных авторов достойными бережного хранения (иные собиратели даже выкладывают за них весьма солидные суммы), в большинстве случаев приносимый ими доход нельзя назвать сколько-нибудь существенным. Много ли пользы принесет та сумма, которую предполагают запросить с меня, борьбе за освобождение Италии? Не исключено, предположила я, что не столько происхождение рукописи, сколько ее содержание придает ей в глазах обладателя столь большую ценность; но сказать об этом со всей определенностью без внимательного и самоличного ее изучения было нельзя. Далее, могла ли я полагаться на то (об уверенности и речи не было), что требуемая сумма действительно пойдет на благо делу, которому посвятили себя мои друзья? Заручись я относительно этого полными гарантиями, приобретение рукописи можно счесть просто-напросто средством для достижения цели,

желанной самой по себе, даже если вырученная сумма была бы несоизмерима с ценностью покупки. Все эти расчеты — которые были проведены моим рассудком, подчинявшимся строжайшим законам логики, на что, берусь утверждать, способны лишь немногие умы, — сходствовали с рассуждениями завсегдатаев ипподрома, когда они мысленно взвешивают свои шансы, исходя из программы скачек.

Придя к заключению, которое представлялось мне в достаточной степени обоснованным, я обратилась к моим друзьям с настоятельной просьбой о помощи и заявила о своем желании — если уж неблагоразумно самой вести переговоры о сделке — хотя бы издали взглянуть на нынешнего владельца бумаг, а это, по словам моего посредника, нетрудно было устроить: если угодно, я могу осмотреть названные документы в каком-либо общественном месте, оставаясь инкогнито. Деньги на приобретение рукописи я могла выделить из собственных средств, и после переговоров, в которых сама я участия не принимала, мне назвали сумму, показавшуюся приемлемой. Местом встречи и первого знакомства с бумагами назначили выставочные павильоны Хрустального дворца, а именно Храм Открытий, где демонстрировался «Предсказатель бурь» доктора Мерриуэзера — инструмент, увидеть который я во всяком случае весьма любопытствовала. В сопровождении моего надежного приятеля и спутницы — не осведомленной касательно наших намерений, — под вуалью, не привлекая к себе ничьего внимания, я в условленный час вошла в упомянутую галерею. Не смогу в точности описать, что мне удалось усвоить из наблюдений над занимательным устройством доктора Мерриуэзера, поскольку все мое внимание было сосредоточено на встрече, происходившей на небольшом расстоянии от места, где находилась я со своей спутницей, между джентльменом, представлявшим мои интересы, и собственником архива. Последний оказался не слишком привлекателен: худощавый и седовласый, с золотой серьгой в левом ухе — единственной приметой авантюрного склада. Более ничего добавить о нем не могу: передав моему другу потертый чемоданчик, содержимое которого позволил бегло осмотреть, он поднялся со скамьи и растворился в толпе. Больше я никогда его не видела и о дальнейшей судьбе его ничего не знаю.

Удостоверившись в подлинности рукописей — в той степени, в какой мой друг имел возможность ее установить, — я дала согласие на оплату, и на условиях, продиктованных владельцем (они были теми же — общественное место и анонимность), тот самый чемоданчик (или саквояж) перешел в мою собственность. У меня нет сомнений, что переданная мной в тот день сумма была

использована по назначению, однако и на этот счет я не вправе сообщить никаких подробностей. Когда саквояж был наконец доставлен мне, я обнаружила внутри сверток в пергаментной бумаге — роман, в чтение которого ты, благосклонный Читатель (в чье существование я продолжаю верить), можешь теперь погрузиться, как поступила тогда и я, — надеюсь, с меньшими трудностями, нежели те, с какими я поначалу столкнулась. Многие листы выцвели и покрылись бурыми пятнами, другие были перепутаны, да и почерк лорда Байрона всегда мне давался нелегко (ребенком я ни разу не держала в руках ни единого из его писем, адресованных как мне, так и моей матери; я впервые увидела отцовский почерк, когда мистер Джон Меррей презентовал мне рукопись поэмы «Беппо» — я была тогда уже замужем, и предполагалось, что это сочинение не нанесет ущерба моей нравственности). Наверху первой страницы имелся, как я решила, заголовок — хотя даже при самом беглом взгляде он показался мне странным; заинтригованная, я всмотрелась пристальней и определила, что эти слова написаны другим пером и другими чернилами, а возможно, и в другое время, что заставило меня строить дальнейшие догадки.

О моем приобретении я не обмолвилась ни словом ни супругу, ни матери и, конечно же, не оповестила о нем свет — по причинам, хорошо понятным тем, кто занят изучением истории нашей несчастливой семьи (а эти люди составляют теперь целую армию, и в нее день ото дня рекрутируются все новые добровольцы). Написанное моим отцом принадлежало в то время только мне одной. Освоившись с почерком, я взялась за изготовление беловой копии. Не стану описывать, какие чувства меня при этом обуревали.

В ту пору для меня, можно сказать, наступила новая эпоха в моем отношении к предкам со стороны отца. Незадолго до того мой муж Уильям, лорд Лавлейс, и я получили приглашение посетить Ньюстед, родовое поместье Байронов в Ноттингемшире, которым ныне владеет полковник Уайлдмен, некогда школьный товарищ лорда Байрона по Харроу. Там — среди картин природы, где мой отец, которого я никогда не знала, бродил и предавался беспечным играм; там, где его предки — и беспутные, и почтенные — прожили свой век и промотали в былые времена свои состояния; там, где невдалеке стоит небольшая приходская церковь со склепом, в котором покоятся среди родительских гробов останки моего отца, — там (не понимаю, каким образом) все, что я, как мне казалось, знала об этой кипучей, порывистой натуре; все, что мне внушили касательно его личности — и приучили ставить ему в вину, — все исчезло, рассеялось подобно

облаку, и я ощутила себя, со всеми своими несовершенствами, также принадлежащей роду Байронов, как принадлежал ему *он* — с несовершенствами своими, — и мне стало ясно: если я не смогу любить его безоговорочно, не отягчая его душу новыми обвинениями, то не смогу любить и себя, не смогу любить и его внуков — моих детей. Томас Мур в биографии поэта цитирует письмо, где лорд Байрон высказал мнение, что женщина не любит мужчину по-настоящему, если не любит и за его прегрешения. Всякая иная любовь, по его словам, недостойна своего имени. Способна или нет моя душа возвыситься до столь величественного идеала любви, я неизменно держусь его в моей любви и к дочери, и к супругу; и ничто не положит преграды моему стремлению его достичь.

Осознав необходимость сопроводить нижеследующий текст Предисловием или Предуведомлением, я, помимо того, набралась смелости присовокупить ряд замечаний, призванных, в меру моих сил, прояснить, где возможно, содержание этой необычной рукописи и соотнести отдельные детали повествования с подробностями жизни моего отца, которая, должна признаться, недостаточно известна мне из личного опыта. И тем не менее поиск подобного рода связующих звеньев, когда мне удавалось их обнаружить и истолковать, поглощал все мое внимание и становился, даже в трудные и мучительные времена, источником радости и утешения; потому я обращаюсь с просьбой к тем моим читателям, кто сочтет эти сопутствующие заметки излишними и не в меру самонадеянными, попросту обойти их вниманием, как пропускают мимо ушей назойливые пояснения проводника по собору или замку, чье присутствие оправдано единственно его страстной увлеченностью и преданностью.

Примечания к первой главе

1. Лэрд — его отец: Порочность Байронов, живших в былые времена, вошла в легенду, которая, как всякая легенда, во многом недостоверна. Говорят, что лорд Б. наслаждался, приводя в ужас своих друзей рассказами о своем предке — Уильяме, пятом лорде, который разорил свое имение и убил противника на дуэли вопреки правилам; отец самого лорда Б., «Полоумный Джек», промотал состояние своей первой, а затем и второй супруги (матери лорда Б.) в ошеломляюще короткий срок. Спасаясь от кредиторов, он бежал на континент спустя два года после рождения сына и больше с ним не увиделся, ибо скончался за границей в возрасте тридцати четырех лет, без гроша в кармане (возможно, покончил с собой). Мой отец навсегда покинул Англию, когда мне было два года; он умер в Греции в возрасте тридцати шести лет.

2. шотландские владения супруги: Лорд Б. не без удовольствия открывает действие своей повести в обиталище, сходном с родовым Ньюстедским аббатством в Ноттингемшире, однако переносит его в страну, откуда, как он любил утверждать, происходит его род: действительно, оборот «мы, шотландцы» употреблялся им довольно часто. Его мать, Катарина Гордон, в самом деле была шотландкой и владела поместьями в Гайте (проданными ее супругом за долги); с младенчества до десяти лет лорд Б. жил в Абердине и плавал в реке Ди. Его мать, как он вспоминал, чрезвычайно гордилась своим происхождением от Стюартов и свысока смотрела на «южан» Байронов.

3. капли Кендала: Известно, что в последние годы жизни в Англии лорд Байрон прибегал к лауданому — в сочетании с такими горячительными напитками, как кларет и бренди. Опий широко применялся при физических и психических расстройствах, тогда как в наши дни взамен устарелых черных капель предпочтение отдается морфину. Мои лечащие врачи рекомендуют чередовать опиаты со стимулянтами, что временами оказывало благотворное действие, хотя сознательное снижение воспарившей мысли посредством наркотика бывает порой отвратительно даже тому, кто знаком с последствиями слишком высокого и слишком стремительного взлета.

4. положил пистолеты рядом: Лорд Байрон был великолепным стрелком, хотя и признавался сам, что рука у него дрожала и ему пришлось специально упражняться, чтобы спускать курок в нужный момент. Когда я была ребенком, считалось вероятным, что мой отец способен подослать в дом матери

лазутчиков и выкрасть меня или же лично вернуться в Англию с этой целью. Моя бабушка, леди Ноэль, держала на прикроватном столике заряженные пистолеты — пресекать подобные поползновения: мысль о том, что эта добрейшая и кроткая особа пустила бы их в ход, представляется мне не менее забавной, нежели ее убежденность в существовании зловещих планов.

5. ручной медведь его отца: Байрон держал медведя, когда учился в Кембридже, а также в пору своего пребывания в Ньюстедском аббатстве, где медведь развлекал его друзей. Лорд Б. всегда обзаводился животными всюду, где устраивался на житье: его любимцами были собаки, однако поэт Шелли вспоминал, что в пизанском доме Байрона видел не только собак, но также журавля, козла, обезьяну и кошек. Любовь и почтительное отношение к животным — черта, которую я заметила в себе задолго до того, как узнала, что разделяю ее с отцом. Когда-нибудь станет ясно, что животные, которых Декарт считал простыми автоматами, способными чувствовать не более, чем заводные механизмы, гораздо ближе к нам — или мы ближе к ним — нежели кто-либо сейчас предполагает.

6. сомнамбулические состояния: Лорд Байрон не мог знать рассуждений доктора Эллиотсона и других специалистов касательно того, что медики именуют «болезненным сном». Поэтам и святым праведникам, когда они впадают в подобное состояние, предстают необычайно яркие картины: так, в Незер-Стоуи Кольриджу виделись дворцы и красавицы, пока его не разбудил человек из Порлока. (Эти края, поэтические сами по себе, хорошо мне знакомы. Видения Кольриджа были вызваны к тому же и приемом опиума.) Выдающиеся успехи доктора Эллиотсона в использовании методики особого рода сна, некогда именовавшегося «месмерическим» (я же предпочитаю термин «гипнотический»), широко известны. Поверхностная и фантастическая трактовка предмета на последующих страницах данного сочинения обусловлены понятным неведением автора относительно поразительного развития науки в наше время; тем не менее, как это свойственно поэтам, автор далеко провидел будущие ее возможности.

7. Албания: Путешествие юного лорда Байрона в Албанию, описанное в «Паломничестве Чайльд-Гаролъда», — и предпринятое в те годы, когда немногие англичане отваживались на подобное, — положило начало его шумной славе. Поэт любил странствовать и был невосприимчив к дорожным неудобствам, обладая, по определению доктора Джонсона, «готовностью получать удовольствие», что является признаком настоящего путешественника. Насколько достоверны сделанные им описания

этой страны, ее жителей, их обычаев и пр.; откуда он их заимствовал, если не из собственного опыта, довольно-таки беглого — со всей определенностью мне неизвестно, однако я продолжаю свои разыскания.

8. паша: Али-паша (1741–1822, насколько я смогла установить), которого Байрон, путешествуя по Албании, посетил в его столице Тепелене. В письмах к матери Байрон описывает эту персону и накрашенных внуков паши весьма сходно.

9. одеяние, состоявшее из длинной белой накидки тончайшей шерсти и проч.: Точное описание албанского костюма, приобретенного моим отцом в этой стране: в нем он изображен на портрете работы Филлипса. Этот портрет висел над камином в доме моей бабушки — Киркби-Мэллори, где некоторое время после моего рождения проживала со мной моя мать. Картина была затянута зеленым сукном, и мне не дозволялось под него заглядывать: мало ли какие пагубные токи, ею источаемые, могли повлиять на юное существо? Подобное святилище — с полотном, скрывающим святая святых, в точности как завеса пред Ковчегом Завета в иудейском храме, — должно было скорее завораживать, нежели отвращать, соблазнять, нежели спасать; верно, так и произошло — но я всего этого совершенно не помню, и лишь когда портрет был передан мне после моего бракосочетания, я узнала, как его утаивали. Непостижимы пути ревностных и заботливых родителей.

Глава вторая, *в которой Отец и Сын воссоединяются, и о последствиях этого*

Как Али проводил последующие месяцы при дворе паши — как обучался ратным навыкам и искусству верховой езды; как сопровождал сторожевой дозор в не самых опасных вылазках — ибо драгоценной жизнью рисковать было воспрещено, что ему и пришлось усвоить; как он научился распознавать завистливые или враждебные взгляды иных своих сотоварищей, охранников паши, и как ему удалось расположить к себе недругов скромностью, чистосердечием и великодушием; как он проводил дни в деятельных занятиях, отрадных для любого юноши, а ночами бодрствовал или предавался мечтам и печалям, о которых никому не следовало знать, — все это не требует обстоятельного изложения. Однажды, когда Али упражнялся на холмах со своими товарищами в стрельбе из пистолета, превосходя даже тех, кто был старше и опытней, его призвали к паше — явиться перед гостем, горячо желавшим с ним увидеться.

Едва Али ступил во двор дома паши, в глаза ему бросился экипаж гостя, окруженный свитою: лошади в непривычной упряжи и слуги в иноземной одежде, включая двух-трех турок с высоченными тюрбанами и в шароварах невиданной ширины. Наверху, в парадном зале, паша по обыкновению восседал на софе — за его спиной стоял походивший на ястреба визирь, — а рядом, на почетном месте, расположился человек, незнакомый Али, при виде которого все его существо мгновенно пронизал страх, почти что ужас. Чему это можно приписать? Человек оказался огромен — даже при том, что он скрючился на низком сиденье, это было очевидно, — но Али знавал бойцов и покрупнее; его чалма была свернута на турецкий манер — однако точно такая же красовалась и на голове визиря; из-под плаща выглядывал алый мундир с медными пуговицами — но сам плащ мало отличался от того, какой носил и Али. Охватило ли юношу, стоило ему завидеть этого человека, предчувствие всего, что предстояло пережить и свершить в будущем? Нет — его потрясло прежде всего то, что лицо незнакомца было чисто выбрито. Али никогда раньше не видел взрослых безусых мужчин — истинный жупел для албанцев: в сказках, которые бабушки рассказывают на ночь внукам, у бабая, приходящего за детьми, чтобы их съесть,

точно такое же бледное и безволосое лицо, какое возникло перед Али, — и лицо это было обращено к нему с выражением живейшего интереса.

Незачем и говорить, что этим человеком был Джон Портьюс, лорд Сэйн, — он устремил на Али пристальный взор — и будет уместно (по крайней мере, момент удобный) описать здесь более подробно внешность того, кому суждено было столь глубоко повлиять на юношу, безмолвно застывшего сейчас под его сосредоточенным взглядом. Кичливые и беспощадные персонажи, что ступают страницами отечественных романов (но также, надо признать, и поэм) и творят чудовищные деяния, чаще всего изображаются словно бы ради того, чтобы побудить мистера Кина дать им сценическое воплощение: мощные, тугие мускулы; огромные, мрачно сверкающие глаза; лицо, искаженное судорогой; орлиный, с горбинкой нос; грубо вырезанный алый рот, презрительный и чувственный одновременно, — и прочая, и прочая. Внешность «Сатаны»-Портьюса была иной: по правде говоря, его круглая пухлая физиономия напоминала пудинг, но в небольших глазках, при крытых бледными веками, таилась некая блестка, делавшая их еще более ужасными, — ибо выражали они настороженную готовность, свойственную сонной рептилии, подбирающейся к жертве; они заставляли холодеть, усыпляя бдительность и внушая жуткое бессилие тем — а таких было множество, — против кого обладатель этих глаз замыслил недоброе.

Паша подозвал оцепеневшего юношу и велел ему сесть на диван между собой и странным безбородым чудищем, которое положило на плечо Али руку, тяжелую, как у свинцового изваяния, и обратилось к нему и к паше со словами на непонятном для Али языке. Паша улыбнулся, кивнул и довольно хмыкнул; он взял гостя за правую руку, вложил в нее руку Али и накрыл обе своею рукой. «Мой доблестный Али! — сказал он. — Волей Аллаха в твоей жизни произошло великое чудо. Взгляни: рядом с тобою сидит твой отец!»

Потрясение Али было столь велико, что он выдернул руку, точно она едва-едва не угодила в крысоловку. Это вызвало у старших смех: они в ту минуту не были расположены к обидам, и замешательство юноши их только развеселило. Когда же к ним вернулась серьезность, Али услышал, что он и в самом деле сын англичанина: Знак, носимый им на руке, в точности соответствовал знаку на Перстне с Печаткой гостя и обозначал имя, им унаследованное. Более того — и еще удивительнее (с улыбкой добавил паша): англичанин намерен взять Али с собой в страну Британию; это невеликий сумрачный остров,

расположенный в далеких краях, однако богатый кораблями и оружием; там Али сделается законным наследником англичанина и обладателем громадного состояния, ему будут воздавать неописуемые почести — и разве это не великолепно, и не следует ли вознести хвалу велениям Аллаха?

Пораженный изумлением Али порывисто вскочил с дивана, где сидел бок о бок с пашой, — и, упав на колени перед седым нечестивцем, умоляюще воздел руки. «Но ты — мой отец, ты один! — вскричал он. — Я твой сын, если подвластно то любви и преданности. Не отсылай меня со своих глаз — разве не был я тебе верен, разве не отказался от всех прежних привязанностей и не поклялся тебе оружием и душою?»

Однако слово паши сомнению не подвергалось, да Али и помыслить не мог его оспаривать: легче поверить, что он кошачий отпрыск, если бы паша объявил об этом, нежели бросить слово «нет» в лицо длиннобородому воителю!

Какое соглашение заключил паша с английским искателем фортуны; откуда и каким образом впервые узнал он о его новом появлении в подвластных паше краях, а равно и о цели его прибытия; что за выгоду извлек для себя и чем рассчитывал, идя навстречу его желаниям, досадить соперникам, — мне неизвестно, как неизвестно и то, посильно ли было милорду, которому паша жаждал угодить, осуществить Намерения, открытые им паше. Несомненно, впрочем, одно: сделка была совершена — и отмене не подлежала. И поскольку в албанской земле нет нерасторжимей уз, чем те, которые связывают Сына с Отцом (сыновний долг — последнее, что может преступить человек чести и здравого смысла), Али был лишен права протестовать: он должен наконец преклонить колено перед этим призраком — своим Отцом, поцеловать ему руку и выразить готовность исполнять свой Долг.

«Хорошо! — произнес тогда лорд Сэйн, обращаясь к Али, словно тот мог его понять. — Ты плоть от моей плоти, и отсюда, где у тебя нет ничего, я заберу тебя туда, где ты обретешь многое. И покончим все разговоры. Сегодня же мы отбываем к побережью. Брать с собой ничего не нужно: тебя снабдят всем».

И это было исполнено на глазах. У дворца паши царила большая сумятица; звенели колокольцы, украшения, бряцало оружие: сулиоты — охранники лорда Сэйна — садились верхом, оглашая двор протяжными криками и паля из ружей в воздух. Юноша вывел для Али великолепного жеребца — каких он в жизни еще не видывал, — покрытого роскошной попоной, с богатой сбруей. Взмахом руки англичанин дал Али понять, что этот конь отныне принадлежит ему — вместе с юношей, который

тотчас поспешил помочь Али взобраться в седло, к растерянности молодого Сэйна. Тем временем слуга вывел из конюшни громадного арабского скакуна, отливавшего чернотой, будто ночь в пустыне, — гордого и взбешенного, о чем свидетельствовали вращающиеся глаза и оскаленные зубы, — и тут все лошади в загоне, по шкурам которых пробежала мелкая дрожь, вскинув головы, рванулись вперед и поднялись на дыбы, словно в присутствии Царя Зверей, отличного от их собственной породы. Лорд Сэйн окликнул скакуна по имени, прозвучавшем резко, точно проклятие, — похлопал по морде, чтобы утихомирить, — взялся за поводья — вскочил ему на спину; и, хотя животное продолжало бесноваться, порываясь встать на дыбы, сумел подчинить его своей воле. Вскинув руку, он подал знак свите и охранникам следовать за ним; ворота растворились, и лорд выехал со двора.

Вороной конь стал первым из скакунов лорда Сэйна, которых Али мысленно сравнивал со своим отцом, — созданий диких — неукротимых — шальных — свирепых и опасных. Лишь к таким его отец питал подлинную и неподдельную любовь, безо всякого заднего умысла, — к тем, кто отзывался лишь на силу, обладателям нрава столь же недюжинного и своевольного, — с кем он мог посостязаться и одержать победу. Конь ни на минуту не переставал яриться под ним, а если и успокаивался хотя бы немного, Сэйн вновь бросал ему вызов, вонзая в его лоснящиеся бока крохотные кружочки на каблуках, острые и больно ранящие, какие в стране у Али неизвестны: эти орудия пытки его отец задумал и изготовил сам.

Пока они спускались с каменистых вершин, лорд Сэйн хранил молчание; или же напротив — тихим, скрипучим и ровным голосом что-то подолгу втолковывал сыну, словно рассчитывал монотонными пространными речами принудительно обучить его своему языку и языку праотцев единственно силой произносимого слова; но слов Али не понимал и вслушивался только в интонацию, властно принуждавшую слушать, хотя содержание сказанного оставалось для него недоступным на протяжении многих недель и месяцев. Некогда, говорил лорд, он явился в эти края в поисках приключений, увлеченный повествованиями о Стране Золота на юге, ради которой многие претерпевают жесточайшие лишения и с безрассудной отвагой идут на немыслимые подвиги, не отдавая себе отчета в том, что ни одно Эльдорадо из тысячи не принесло и шиллинга, тогда как кости бесчисленных авантюристов белеют в пустынях и лесных дебрях по всему свету. Золота он не нашел — сотоварищи (если можно их так назвать) погибли или покинули его — сам он по

возвращении в полк был уволен со службы за самовольную отлучку и лживые отговорки (в чем только мы не признаемся, если слушателю непонятен наш язык! И о каких только наших прегрешениях не наслушались собаки и лошади!), — так что он вернулся на родину, где мало кто надеялся увидеть его вновь, а иным его возвращение и вовсе не доставило никакой радости.

Но отнюдь не золото влекло его повторно в эти горы. Нет! Явился лорд Сэйн сюда с тем, чтобы обрести наследника: брак его оказался бездетным, и потомства он более не мог ожидать: рана в бедро, полученная на дуэли, лишила его надежд на отцовство, что сделало ненужными и замышлявшийся развод — здоровье супруги, чье имение и состояние он промотал, было непоправимо подорвано, — и последующую женитьбу на девице, способной к деторождению. Посему — хотя и не зная, жив ли ребенок, которого он походя зачал в этих краях, и был ли он мужского пола, — а также не имея понятия о судьбе Матери и ее Мужа, — лорд, твердо вознамерившись поспешить с осуществлением своего плана (невзирая на то, сколь сумасбродным посчитали бы его в свете, подозревай о замысле хоть кто-нибудь), вновь высадился на берегу Эпира и отправился в небезопасную экспедицию. Возможно, единственный проблеск чувства делал честь лорду-великану: он никоим образом не желал допустить пресечение своего рода; и кто скажет, не испытывал ли в тайном уголке души угрызений совести хотя бы за одно: поступи он в далеком прошлом иначе — и теперь законный Наследник готовился бы заступить его место.

Целые сутки длился этот рассказ — со всеми подробностями, иные из которых куда ужаснее приведенных здесь, хотя следствия поступков, обойденных теперь молчанием, могут обнаружиться в дальнейшем повествовании; Али, впрочем, осведомленнее прежнего не стал. Назавтра конь, которого лорд Сэйн безжалостно принуждал спуститься вниз по тропе, усыпанной мелкими камнями и слишком крутой, оступился и упал, повредив берцовые кости и растянув сухожилия. Когда ярость лорда Сэйна, вызванная предательством — так он это расценил, — улеглась, слуге было велено позаботиться о коне, увечье которого нашли излечимым при должном уходе, и повести его следом — однако ни в коем случае не седлать. Лорд Сэйн сел на другую лошадь, и путники двинулись дальше. Достигнув города, достаточно большого, чтобы принять такое количество приезжих, они спешились, и стоило лорду Сэйну предъявить фирман, полученный от визиря, как ему и всей его свите предложили разместиться на верхнем этаже просторного, хорошо защищенного дома. Услужливый хозяин, надеявшийся, по всей

видимости, на нечто большее, нежели одобрение Аллахом его гостеприимства, — сбылись ли его надежды, Али так и не узнал, — перебрался в другой дом на заросших лесом холмах, вывезя туда своих жен в закрытых повозках. Сулиоты, разложив во дворе костры, приготовили ужин и устроили себе ночлег на земляном полу вместе с живностью — однако бодрствовали до глубокой ночи, передавая из рук в руки бурдюк с вином и нестройно распевая песни, пока не пустились в пляс, мужчина с мужчиной, выступая поначалу важно и неспешно, как в менуэте, но постепенно оживляясь и кружась проворнее, подгоняемые стуком барабанов и перепевом струн, натянутых на высушенные тыквы, — нашим любителям вальсов нечего и думать за ними угнаться! Первым среди танцоров — выше всех остальных на голову, будто Вельзевул среди подручных, — был английский лорд, в распахнутом алом мундире, размахивающий — как принято при этой галлопаде — носовым платком в правой руке.

Вечером другого дня во двор пришли двое охранников, отправленных на разведку, а с ними конюх, на попечение которого был оставлен обожаемый лордом Сэйном вороной жеребец. На этого незадачливого прислужника наткнулись, когда тот пытался сбежать — к тому же верхом на лошади, хотя бедному животному, едва хромавшему, сделалось гораздо хуже, и его увечье не поддавалось теперь излечению. Виновного подвели к владельцу коня — слуга, дрожа от понятного ужаса, кричал, вернее, душераздирающе подвывал, умоляя разобраться, снять с него вину, смилостивиться, — Сэйн молча взирал на преступника сверху вниз — затем обронил два-три слова, заставившие того разразиться громкими воплями: его связали и оттащили в конюшню для *бастинадо*; отнять у заморского лорда право на ужасающую кару слуги, преступившего долг, не мог никто, включая, видимо, и того, кто должен был ей подвергнуться. Когда все приготовили, лорд Сэйн устроился поодаль на принесенном для него сиденье. Али — ему было особо приказано стать свидетелем — встал рядом с отцом. Лорд велел подать трубку — что исполнили со всей поспешностью — и горячий уголь для разжигания; раскурив ее, как того хотелось, Сэйн подал знак — жестом чуть заметным, однако недвусмысленным — приступить к экзекуции.

Человеческая изобретательность в способах пытки неистощима — понадобилось, надо думать, немало терпеливых экспериментов, чтобы установить: удары тонкой палки по пяткам, даже не очень сильные, с течением времени делаются непереносимыми — самый выносливый человек не в состоянии удержаться от крика, а этот прислужник к числу стойких не

относился — несомненно, ему доводилось видеть воочию то, что сейчас предстояло вытерпеть, — и его жалобные вопли стали громче и пронзительней еще до того, как был нанесен первый удар. Пока длилось избиение, лорд Сэйн бесстрастно покуривал трубку, не дрогнув, даже когда выяснилось, что от мучений кишечник несчастного непроизвольно опорожнился. И в этот час Али осознал, сколь ему ненавистна жестокость: он понял, что отныне никогда в жизни, если только тому не воспрепятствует честь, не совершит и не даст совершиться деяниям, подобным тому, которому был свидетелем, по отношению к существам, неспособным оказать сопротивление, — будь то человек или животное. Как все, живущие в людском обществе, он выучился мириться с жестокостью, когда не в силах был ее предотвратить, — по большей части так оно и случалось, ибо во все времена мир полнился ею через край, — он научился даже обращать жестокость в шутку, отзываться о ней с беспечностью, как принято в свете, — однако так и не смог заставить себя оставаться хладнокровным ее очевидцем и каждый раз порывался положить ей конец, если имел для того возможность: но в тот день такой возможности у него не было.

По окончании экзекуции лорд Сэйн передал трубку мальчику и покинул конюшню, где наказанный слуга все подвывал от боли и позора, — направился во двор, к некогда горделивому коню, понурившему голову, вынул из-за пояса пистолет, зарядил его, взвел курок и, без единого слова, пристрелил злополучное животное.

Дальнейший путь из горного края лежал к морю — через местность, почти лишенную дорог, хотя отряд и миновал группу рабочих, занятых починкой одной из немногих троп: это были женщины, поскольку в той стране, в отличие от турецких владений, женщин не отстраняют от участия в мирских делах — напротив, они выполняют всякую мужскую работу — и даже более того, — с ними обращаются как со скотом, крайне пренебрежительно. Одна из этих женщин, дробивших камень, — самая юная и миловидная — подняла на странных проезжих голубые глаза, и Али, словно пораженному в сердце ударом кинжала, на миг почудилось, будто Иман каким-то чудом оказалась здесь; иллюзия тут же рассеялась, но Али ощутил — впервые со всей остротой переживая ужасную непривычность и неизбежность происходящего, — что он оставил дом навеки и все, что знакомо и любимо, ему уже никогда не суждено увидеть вновь.

Но затем глазам предстало море: голубой простор, усеянный алмазными искрами, вначале блеснул между пиками, а потом

развернулся во всю необъятную ширь: на первых порах Али никак не мог поверить, что он целиком состоит из воды, в чем — со смехом — уверяли его более искушенные в странствиях спутники; и Али, охваченный ужасом и восторгом, поскакал вниз навстречу слабому прибою, однако, натянув поводья, удержал коня перед наползавшей на песчаный берег пенистой волной, в точности как девушка, опасаясь запачкаться, подбирает юбки. Лорд Сэйн, подъехав ближе, повелительными жестами приказал сыну войти в воду, на что Али не решался — возможно, не веря, что его родитель и в самом деле этого хочет. «Вперед, сударь! — вскричал лорд Сэйн на своем наречии — и уж смысл этой фразы был для Али ясен. — Вперед, говорю!» — «Мальчик не умеет плавать, милорд», — откликнулся по-новогречески предводитель отряда, на что лорд Сэйн ответил: «Конечно, не умеет! Зато умеет его лошадь!» С этими словами он ударил лошадь Али кнутовищем по холке и, когда она шарахнулась, ударил еще раз. Али — стараясь уберечь коня — обернулся и вперил в мучителя яростный взгляд — но лорд Сэйн, разом взбешенный и обрадованный отпором, опять указал на море. Растерянный юноша помедлил, словно колеблясь перед выбором — противостать отцу или Пучине; затем резко натянул поводья, развернул коня, хлопнул его пятками по бокам — и конь, пустившись по берегу вскачь, с готовностью ринулся в волны! У Али перехватило дыхание от холода — хотя англичанам это море представлялось столь же теплым, что и чашка чая на светском рауте, — и от того, что влага, мгновенно пропитавшая его одежду, словно бы намеревалась завладеть им и стащить в глубину, — однако он в беспричинном неистовстве понукал лошадь, не заботясь, утонет ли он или выберется на другой берег — если есть такой! Конь поплыл уверенно и безбоязненно, пока все четыре его ноги не оторвались от дна (да, он умел плавать, как и все млекопитающие, от кошек до слонов, — но только если они сами на это решаются или же испытывают надобность). В лицо Али полетели брызги, он почувствовал вкус соли — невероятно! — и чуть не соскользнул с мокрого хребта, однако удержался — и странный восторг охватил его! Когда большая волна, девятая по счету (известно — во всяком случае, поверье широко распространено, — что каждый девятый вал превосходит величиной предыдущие), едва не накрыла бесстрашного коня с головой, Али, с трудом удерживаясь в седле, повернул его обратно к берегу. Выбравшись на берег — подобно Тесееву быку, — он с удивлением обнаружил, что стоит ярдах в пятидесяти от того места, где вступил в воду: читателю понятно, вследствие чего он там оказался, но Али об этом понятия не

имел. По отмели к нему скакали сулиоты: восхищенные его отвагой, они вскинули в воздух и разрядили свои ружья — принятый у них способ выражения сильных чувств. Лорд Сэйн оставался там, где был; из-за морской соли, разъедавшей глаза, Али плохо различал выражение его лица и потому не мог узнать, что на нем читалось — довольство, презрение или же предвестие новых суровых требований.

Далее путешественники спустились к югу по берегу до Салоры, к порту Арта в Амбракийском заливе, чтобы морем добраться до более крупного порта Патры, откуда, по сведениям лорда Сэйна, военный бриг вскоре должен был отплыть к Мальте, а затем отправиться к острову Альбион — новой и в то же время наследственной отчизне Али. Однако между Салорой и Патрами пролегало морское пространство, которое предстояло пересечь, и лорд Сэйн провел день в уютном садике при гостинице в Салоре, где капитаны имели обыкновение подкреплять свои силы и обмениваться новостями; там лорд угостил сына пловом, приправленным соком из лимона, который он сорвал с дерева, нависшего над столом, и парой зажаренных на рашпере восьминогих морских гадов — осьминогов: их он не позволил сыну отослать прочь. Успешно — как тогда казалось — завершив переговоры, лорд Сэйн на следующий день взошел с сыном и командиром своих солдат на борт небольшого греческого сайка, чья команда насчитывала сорок человек, арсенал же составляли четыре пушки. При благоприятной погоде и легком ветерке судно к полудню покинуло гавань.

Греческие корабли держатся в непосредственной близости от хорошо знакомых берегов, и греческие моряки, при всем своем умении, испытывают беспокойство, если не видят суши, — возможно, это же чувство посещало и тех, кто вел многовеслые корабли к Илиону, — и потому наши путники смогли проплыть невдалеке от развалин Никополя, а позже созерцать белесую Луну в голубом небе над бухтой у Акциума — там, где был завоеван и утрачен Древний Мир, — там, где Клеопатра, вопреки своей *блистательности, не блеснула* полководческим талантом, — но о событиях этих Али не имел ни малейшего понятия, а его отец не питал к ним ни малейшего интереса. С наступлением ночи поднялся ветер, и море заволновалось; ввиду столь сильного ветра, который — как судовая Команда решила демократическим большинством голосов — вскоре должен был перерасти в бурю, постановили убрать паруса, закрепить штурвал и отдаться капризам Эола, пока непогода не стихнет; однако лорд Сэйн сумел настоять на своем и, хотя ураган крепчал, распорядился опередить его. Капитан судна, будучи не в силах противиться,

велел европейцам покинуть палубу и настоятельно посоветовал им молиться — чем и занялись его подопечные, каждый на своем языке. Али, не бывавший ранее на корабле ни при какой погоде, вообразил, что настал его смертный час, — обычный страх свежеиспеченных путешественников, в тот час разделявшийся иными Матросами, от которых можно ожидать большей опытности; но, когда Али изрядно пошвыряло от стены к стене в душной каюте, он не выдержал и вновь поднялся наверх. На палубе, которую полировали волны, хлеставшие через планшир, и где рулевой был крепко привязан к Штурвалу, сидел лорд Сэйн, облаченный в широкий черный плащ; прислонясь к Мачте, он с улыбкой устремил в простор недвижный взгляд и упивался неистовством Посейдона так, словно сам его вызвал.

В Патрах, куда судно прибыло, едва не опоздав, путников подняли на борт британского военного брига едва ли не в ту же минуту, как он отчаливал от пристани в открытое море и далее — мимо Миссологи, через врата, образованные двумя высокими Мысами, Араксом и Скрофией, — унося с собой благородного лорда и его трофей — Сына; подобно тому, как лорд Элджин увозил с собой мраморные детища этой прекрасной, несчастливой страны. Привет тебе, Эллада, привет без меры и счета! Все, что было у тебя похищено — твоя Свобода, плоды твоего Гения — непременно будет тебе возвращено, когда созреет Пора — и гораздо скорее, нежели мыслит твой Угнетатель!

На борту брига, направлявшегося теперь в открытое море, находился еще один пассажир-англичанин — ученый лингвист, обладавший кроткой пытливостью, присущей лучшим представителям этой породы. Это был невысокий и округлый человечек — с круглой головой, круглым брюшком и круглыми глазами за стеклами круглых очков; лорд Сэйн договорился с этим джентльменом, чтобы тот во время плавания наставлял Али в Английской Речи. «Уроки должны продолжаться и на дне морском, случись нам туда попасть», — добавил развеселившийся лорд. Али оказался способным учеником, с природным даром к языкам, который, не переселись юноша в другие края, несомненно, пропал бы втуне; скоро Али начал кое-что понимать из речей отца, обращенных к нему за бокалом портвейна, а также из его жестокого подтрунивания над округлым лингвистом — к примеру: «Сэр, ваша комплекция так напоминает пузырь, что, держу пари, свались вы по несчастью за борт, прекрасно удержались бы на поверхности — не испытать ли нам эту теорию на практике — что на это скажете, сэр? Не желали бы споспешествовать прогрессу Науки подобным экспериментом? Мы письмом сообщим Королевскому обществу, *увенчался наш опыт*

успехом или же нет», — и многое другое в том же духе, а коротышка-доктор в ответ лишь кланялся — улыбался — и покрывался испариной, словно ему были памятны похожие шуточки его сиятельства.

Так оно и шло, пока голубая пучина не приобрела наконец зеленый цвет и перед удивленными глазами Али не возникли призрачные утесы Дувра. Юноша достиг края света — куда более далекого, чем представлялось воображению! — и, мнилось ему, целый год волшебным образом миновал за время путешествия: ведь здесь наступила уже настоящая Зима, о чем свидетельствовали и тучи, катившиеся по небу так низко, что, казалось, можно до них дотронуться, и эта сырая прохлада, и этот туман; ничуть не бывало! — воскликнул его Наставник: Лето в самом разгаре — так пусть Али подождет и увидит, что принесет с собою Зима! Молодому человеку поневоле пришлось пересесть в шлюпку — выбора не было! — которая и доставила его в Плимут, где прибытия хозяев ожидал камердинер и мажордом лорда Сэйна.

Этот человек оказался, как подумалось Али, самым что ни на есть надлежащим проводником по стране, куда он прибыл, — иссохшим как Труп, белым как Кость и безмолвным как Могила. В невзрачной гостинице, куда он их привел, — албанский костюм Али привлек внимание всех уличных зевак — камердинер (далее именуемый фактотумом) разложил на кровати одежду, предназначенную для юного Сэйна, а именно: сапоги, чулки, штаны, льняную сорочку, жилет из буйволовой кожи и бутылочно-зеленый сюртук, — чтобы облачиться во все это должным образом, Али, испытывая мучительный стыд, вынужден был просить содействия у костлявого спутника. Полностью привести себя в порядок времени, впрочем, не было, даже если бы Али владел всеми тонкостями этой процедуры, — как не было времени и подкрепить силы закуской или отдыхом: ибо нанятый экипаж уже стоял у ворог, и лорд Сэйн в неистовой спешке распорядился погрузить в него багаж и велел своим Спутникам поместиться внутри. Причина для скорейшего отъезда была, вероятно, связана с договоренностью между ним и Капитаном Брига, который добрался до той же Гостиницы, как раз когда экипаж лорда Сэйна вырвался из города на серые английские просторы. Несчастный Али, туго стиснутый панцирем из шерсти и кожи, был в довершение зажат между отцом и труповидным фактотумом — оба, к его изумлению, немедля погрузились в сон, несмотря на то, что карета колыхалась из стороны в сторону, — и, пока экипаж мчался на север, юноше ничего не оставалось, как только размышлять о своем положении.

«Я стал тенью себя самого, — думал он. — Нет у меня страны, кроме этой, облачной и туманной; нет одежды, кроме чуждого мне платья отцовских соплеменников. Единственное существо на земле, меня любящее, — та, кто истинно знает меня и мое сердце, отделена безбрежным океаном; у меня отнят язык — а с ним и то, что он один мог выразить, — и новый забивает мне рот, точно прахом. Не доподлинно ли я мертвец — и не в стране ли я мертвецов?»

Однако же, пока мы исследовали происхождение нашего героя и его предысторию, сам он (едва только покинувший детский возраст) продолжал сидеть в старинной шотландской башне перед чудовищной загадкой — убийством его отца; продолжал сидеть, поскольку ноги отказывались ему повиноваться! Что за беседу, оставаясь недвижим, ведет он со вздернутым телом, устремившим на него безжизненный и бессмысленный взор, сказать невозможно: есть такие мгновения в жизни, которые слова могут лишь оболгать, будучи всего лишь словами, плодом осознанной мысли — а мыслить Али был тогда совершенно неспособен.

Немного опомнившись, он встает, берется за подвешенный на поясе острый ятаган (подарок, как сказано, его покровителя — паши) и перерезает веревки, которые опутывали тело его отца подобно тому, как паутина обвивает беспомощную жертву. Али крепко сжимает ужасный груз в сыновнем объятии — или его подобии, — чтобы громадный труп не рухнул на пол; и со всей возможной осторожностью опускает его на каменный пол — пытается освободить мертвеца от пут, не понимая, зачем это делает, но зная, что должен хоть как-то действовать, — и тут слышит и видит, как по тропе поднимаются к нему люди.

Впереди — Дозор: два Стражника (только двух в состоянии представить Старинный Королевский Город, в пределах которого находятся дом и башня) и арендаторы лэрда с факелами, которыми они освещают дорогу. Али не приходит в голову задуматься, почему они собрались вместе — и откуда узнали о случае, требующем их вмешательства, — он ничего не понимает — и долгое время неспособен узнать своих соседей, не в силах даже поверить, что перед ним существа из плоти и крови.

Первым на крохотной малорослой лошади, сивой от старости, ехал стражник постарше и важнее с виду, в такой же сивой треуголке; пешком он передвигался бы живее, но полагал, что это умалит его достоинство. При нем были кинжал и палаш; его пеший сотоварищ нес мушкет и веревки. У входа в башню все остановились, долговязый стражник спешился — взял у

Горожанина факел — и просунул его в дверь, чтобы осветить Али, склонившегося над телом отца.

Лэрд! — раздается возглас. *Это лэрд! Это мальчишка-турок! Это он!* — Новости передаются из уст в уста, и стоны ужаса перемежаются гневными выкриками. Еще мгновение Али неподвижен: он словно бы оказался на сцене, явившись зрителям при свете факелов. Когда он, поднявшись, делает шаг навстречу незваным гостям, прокатывается тревожный гул, и высокий стражник хватается за оружие.

«Как вы здесь оказались?» — спрашивает Али: только сейчас до него начинает доходить поразительная своевременность появления в этом мрачном углу Дозора, явно готового встретить беду.

«Мы получили известие, сэр», — веско заявляет старший.

«Известие! Вот как, и что же в нем?»

«Такое известие, сэр, что оно привело нас сюда. Но слишком поздно, слишком поздно».

«Что ж, — отвечает Али. — Тогда поспешите. Не стойте как чурбаны. Мы должны отыскать того — или тех, — кто совершил это деяние». Но стражники стоят, широко раскрыв глаза и даже не шевельнувшись — точно они и вправду колоды, да еще стоеросовые, — и он понимает, что преследовать никого не собираются и не станут никого искать где-то на стороне.

«Я ничего об этом не знаю», — говорит Али, однако стражник будто не слышит: глаза его устремлены на место преступления. «Сэр, — произносит он, — вы должны сдать оружие. Требую этого именем Закона». И только теперь Али замечает, что в руке у него меч — подарок паши. Им овладевает безумный порыв: дать отпор, изрубить эти бессмысленные лица. Но что-то его удерживает — хотя и не скажешь, что он передумал, ибо он не думает ни о чем, словно сон все еще не покинул его, — и Али протягивает меч стражнику, который со значительным видом принимает его. «Следуйте за нами, юный господин, — говорит он. — И не вздумайте сопротивляться, иначе худо вам!»

Несправедливость! Есть ли что ужаснее — знать о собственной невиновности и все же быть обвиненным — нет, видеть свою вину доказанной столь неопровержимо, что вы чуть ли не готовы поверить в нее сами, несмотря на чистую совесть? И насколько сильнее ваш ужас, если именно это преступление вы тысячу раз совершали во сне — и даже наяву, где-то в темных закоулках сердца?

Али позволил взять себя под стражу — не оказав сопротивления. Голову он держал высоко, но лицо его покрывала смертельная бледность. Стражник в треуголке не без усилия

взобрался на свою клячу; его сотоварищ распорядился, чтобы шесть или восемь человек забрали труп — что они с великой неохотой и исполнили, привязав его к шесту наподобие подстреленной косули и взвалив шест на плечи; и так мрачный кортеж двинулся от приюта смерти: опутанный веревками лэрд и его связанный сын в сопровождении стражи, при свете факелов начали спуск. В конце тропы, ведшей от башни, толпа разделилась: одни направились к дому хозяина, чтобы возложить бренные останки в его Обиталище для должного осмотра и, возможно, оплакивания — по крайней мере, собаками; остальным предстояло препроводить сына в город, расположенный возле пристани, где — как ему было сообщено — его закуют в кандалы. Луна спустилась к черному морю, когда процессия достигла города и выяснилось, что кто-то уже поторопился разбудить Мирового Судью: тот уже стоял в дверях Острога — так в здешних краях называют караульное помещение, которое служит и зданием суда.

По приказанию судьи двери отворились, и Али ввели внутрь; светильники не рассеивали древний мрак, и судья, привычно сняв с удобного крючка потрепанную мантию, надел ее, поднялся на Скамью, с суровым видом, выражавшим сознание великой ответственности, оглядел собрание и потребовал, чтобы главный стражник дал показания; тот с подобающей краткостью поведал, как получил известие о том, что на холме затевается неладное; как собрал силы, вполне, на его взгляд, достаточные; как блюстители порядка поднялись по тропе — и проч., и проч. — и лэрд был простерт на полу, а молодой лэрд стоял над ним, вооруженный. Глаза всех присутствующих обратились на Али.

«Вы получили известие?» — вопросил судья.

«Да, если угодно вашей чести. О том, что чудовищнейшее злодеяние творится сию минуту в месте, именуемом Старой Сторожевой Башней на лесистом склоне холма».

«И это известие, по вашему мнению, было достоверным?»

«Достовернее некуда, ваша честь».

«Прошу позволения, но мне хотелось бы узнать, — заговорил Али, и судья, а также все, кто теснился у входа, пораженно застыли, словно не считали его способным к человеческой речи, — мне хотелось бы услышать из уст вашей чести и вашей милости, каким образом мне удалось замыслить подобное злодеяние и одновременно же послать — послать — послать *известие* о нем вот этим дозорным».

«Не шутите над правосудием, сэр! — прервал его судья. — Вы обвиняетесь в страшном грехе отцеубийства! В тех краях, сэр, откуда вы родом, оно, возможно, почитается всего лишь мелким

правонарушением — и, насколько мне известно, вполне заурядным, — однако в нашей стране полагают, что оно противоречит всем законам естества — и будет рассмотрено со всей надлежащей твердостью — ручаюсь вам! — и покарано по всей строгости закона!»

«Я ни в чем не виновен, что и будет доказано», — ответил Али, однако голос его при этих словах дрогнул.

«Пятнадцать честных и верных людей, а также Суд Королевской Скамьи будут арбитрами в этом деле», — заявил судья. Шотландское жюри состоит из пятнадцати присяжных, хотя к югу от Чевиот-Хилс считают достаточным количеством двенадцать, ибо апостольское число не должно превышаться; на Севере же полагают, что чем больше — тем веселее. Судья поднял кривой ятаган, который Али передал служителям закона: «Если это не подсудное деяние *prima facie*[1], то я не знаю, чем это еще может быть».

«Я просил бы вернуть мою собственность», — произнес Али со всем достоинством, на какое был способен со связанными руками.

«Нет, сэр, ваше оружие — существенная улика для следствия, и оно будет представлено королю в качестве деоданда. *Докажите свою невиновность* — и тогда сможете обратиться с просьбой к его величеству. — Он выпустил ятаган из рук и кликнул стражников: — Немедля займитесь узником! Заприте его вон в той камере и проследите, чтобы не забыли о кандалах!»

Оба пособника закона — низенький и повыше — приступили к Али. «Постойте, — возразил тот. — Если предстоит судебное разбирательство, то до начала его прошу оставить меня на свободе».

«На свободе? — протянул судья, словно впервые услышал это слово и прикидывал, что оно может означать. — А под чье же поручительство вы обращаетесь к суду с такой просьбой?»

«Как же, под мое собственное, — ответил Али. — Даю вам слово чести».

Лицо судьи ясно выразило его мысли, и, минуту-другую пожевав губами с выражением неудовольствия, он поинтересовался, какой еще залог обвиняемый мог бы представить, Али же ответил, что одного его слова, бесспорно, вполне достаточно, но если это не так, он готов представить любой угодный суду залог — земельную собственность или же долговые обязательства. Услышав это, судья стиснул кафедру, над которой нависал, и бросил на несломленного юношу гневный взор. «Если, — промолвил он, — будет доказано, что преступление совершено вами, в чем я нимало не сомневаюсь, то

все ваши угодья и все ваше имущество будут конфискованы — с тем, чтобы вы не могли извлечь выгоду из убийства: закон, да будет вам известно, на этот счет совершенно недвусмыслен. И если бы когда-либо вся эта собственность принадлежала вам или же вы имели бы прочное основание на нее притязать — относительно чего позвольте усомниться, — в настоящее время вы не располагаете ничем, что можно отдать в залог.

Уведите его! — заключил судья, — и пускай он задумается над своим деянием и над Его Величеством Законом!»

Ибо Закон воистину обладает Величием — и его не умаляют ни парик, скошенный набок, ни криво застегнутый жилет; не умаляется оно, и когда Закон предстает пьяным вдрызг хоть на Ярмарке, хоть на большой дороге; не в ущерб ему и наша осведомленность о кое-каких барышах, которые Закон извлекает из Контрабанды, столь распространенной у наших скалистых берегов; разве может умалиться величие Закона, коль скоро он располагает неограниченной властью (виновны мы или нет) захлопнуть за нами кованую железом дверь, повернуть ключ в замке и положить его в карман!

Примечания ко второй главе

1. бастинадо: В ответ на мой запрос мистер Джон Кэм Хобхауз, ныне лорд Бротон, сопровождавший Байрона во время его юношеского путешествия, сообщил мне, что автор дает совершенно точное описание этого вопиющего и отвратительного обычая, детально воспроизводя сцену, свидетелями которой были в Турции оба англичанина.

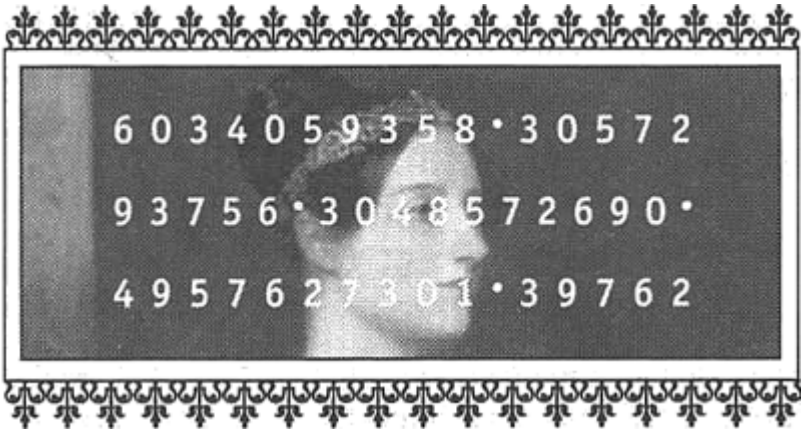
2. это были женщины: Мистер Томас Мур опубликовал в биографии поэта письмо Байрона к матери, отправленное из Албании, в котором он описал именно такое зрелище: женщины дробят камень на торной дороге; с ними обращаются как с вьючным скотом и заставляют работать, тогда как мужчины посвящают время войне и охоте. Байрон, еще очень молодой человек, способен был осудить этот обычай, однако, не вполне осознавая тогда его несправедливость, заметил, что подобное занятие — «не столь уже тяжкий труд при здешнем благодатном климате»; можно представить, как сами женщины отозвались бы на это мнение — и как впоследствии автор сожалел о нем.

3. он умел плавать: Лорд Байрон прав, утверждая, что лошади умеют плавать и порой делают это просто ради удовольствия. Сужу об этом по собственному опыту. После затяжной болезни, перенесенной в детстве, которая не только исключала верховую езду, но и не позволяла ходить без сторонней поддержки, я сделалась страстной и, возможно, даже безрассудной наездницей — и не однажды направляла любимого коня в морские волны, к его очевидной радости.

4. Тесеев бык: Подразумевается бык, явившийся из моря вследствие кровосмесительной связи Федры с пасынком. Бык убил, конечно же, не Тесея, а его сына — Ипполита: редкая ошибка лорда Б., весьма сведущего в классической мифологии. Мне приятно ее отметить, поскольку мои познания далеко не столь обширны.

5. Миссологи: Именно в греческом городе Миссолонги лорд Байрон, мученик за свободу Греции, испустил свой последний вздох. Странно, что он провел персонажей романа в такой близости от этого рокового места. Быть может, тайна подобных совпадений спустя столетия будет сведена к математическому описанию посредством приемов, о которых мы пока что не имеем

понятия.



От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Вопрос

Привет. Это Александра (твоя дочь).

У меня есть вопрос, задать который, кроме тебя, некому, — вернее, не знаю больше никого, кто мог бы на него ответить. А ты не мог бы?

PS Понимаю, что времени прошло немало.

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Вопрос

Александра,

Какое чудо, самое настоящее чудо получить от тебя весточку после всех этих лет.

«После всех этих лет» обычно говорят, желая упрекнуть своего корреспондента, но я-то знаю, что не ты, а я виноват в такой задержке. Я мог бы отделаться привычными отговорками: дескать, не знал твоего адреса, все время чертовски был занят, отдалился от всего и прочее. Но твой адрес ведь я мог узнать — узнала же ты мой; мог бы даже спросить у твоей матери, хотя для этого мне пришлось бы сначала разыскать ее адрес: с тех пор, как тебе исполнилось восемнадцать и наши с нею юридические отношения сошли на нет, я потерял ее из виду; но, конечно же, я никогда не бываю настолько занят, чтобы не делать то, что хочется. Во всяком случае

теперь, когда я начал заново, пойду вперед. Есть перспектива.

Да, я мог бы. И что же у тебя за вопрос? Как ты, как поживаешь?

С любовью

Ли

PS А что такое strongwomanstory.org? Наверное, мне следовало бы сообразить, как найти это в Сети, но я так много времени провел в краях, где часто не было ни телефонов, ни пишущих машинок, не говоря уж о компьютерах и подключении к интернету, что перед Всемирной Паутиной — или как ее там? — я начал и робеть и заноситься.

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: RE: Re: Вопрос

Окей,

Я знаю, ты очень занят, и не хочу отнимать у тебя время. Вопрос такой. Байрон когда-нибудь писал роман? Я рылась в сети и ходила в библиотеку, но выяснить это наверняка довольно сложно. То есть, если не писал, это надо доказать — а как? Во всяком случае, прозой он особо не занимался, иначе я бы на нее обязательно наткнулась, так ведь? Когда узнаю, объясню, зачем мне нужно это знать. Нахально звучит, правда?

Найти сайт, на который я работаю, очень просто: скопируй адрес — т. е. strongwomanstory.org — в окно Гугла или какой там поисковик тебе больше нравится. Или помести в адресную строку наверху и нажми ENTER. Не нужно печатать http:// и всякое такое. Один клик — и никто тебя не укусит и ничего такого не сделается; в худшем случае запутаешься или тебе надоест.

Александра

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›

Тема: RE: RE: Re: Вопрос

Александра:

Что ж, получилось — в конце концов. Думаю, можно тебя поздравить. Судя по списку участников проекта, ты редактор. Не знаю, правда, что это значит в Сети. Скорее монтажер, чем редактор текста? Просмотрел кое-какие страницы. О большинстве этих женщин я в жизни не слышал — наверное, в том и смысл? Лучше всего — это факсимильное воспроизведение рукописей. Когда я их разглядывал, то чувствовал, что становлюсь ближе к тебе — или дальше, не знаю.

Вернемся к твоему вопросу. О Байроне я давно уже и не вспоминал. Никаких справочников под рукой у меня нет. Совсем скоро переберусь вместе со всей группой из этой глухомани в Токио на отдых; там найдется множество справочных материалов (японские библиотеки не уступают лучшим американским университетам). Но с ходу никак не возьму в толк, о чем ты ведешь речь. Лорд Байрон романов не писал. Ни одно повествование в прозе даже не закончил. Его приятель Эдвард Трелони побуждал поэта написать роман, и Байрон ответил, что охотно бы за него взялся, если бы не труды Вальтера Скотта, и в любом случае никто не должен браться за роман, пока не стукнет 40, — а этого возраста, как тебе, вероятно, известно, Байрон не достиг.

С другой стороны, писать роман он, бесспорно, начал. Это одно из известнейших событий в истории английской литературы. Случилось оно на вилле Диодати, которую Байрон арендовал в Женеве. Шелли, Мэри Шелли и Байрон собрались однажды темной и бурной ночью — и Мэри предложила: «Пусть каждый из нас сочинит страшную историю!» Что все они и сделали. Мэри написала «Франкенштейна». Шелли со своим рассказом далеко не продвинулся, а Байрон набросал несколько страниц о вампире, которые позже передал еще одному участнику этой компании — некоему доктору Полидори, а тот без ведома Байрона переделал отрывок в пространную повесть собственного сочинения — одно из первых сочинений о вампирах на английском языке — и опубликовал ее анонимно, предоставив всем и каждому думать, что принадлежит она перу Байрона. Полидори к тому же дал главному герою — вампиру — имя заглавного персонажа из романа Каролины Лэм, одной из бывших любовниц Байрона; герой ее книги,

написанной из мести, — воплощение чудовищной порочности, легко узнаваемым прототипом которого послужил Байрон (улавливаешь, что к чему?), и это Байрона безмерно уязвило: я имею в виду поступок Полидори, да и Каролины тоже. На деле, впрочем, не столь уж безмерно: долго таить злобу Байрон был неспособен, разве только его честь задевали всерьез или он сталкивался с настоящим предательством; так что он просто обратил всю эту историю в шутку.

Я поражен тем, что ты забрела на мою давнюю территорию. Чуть ли не первое, что мне сказала твоя мать, было: «Мне он никогда не нравился». Я едва разговорился с ней на факультетской вечеринке — господи, сколько же воды утекло с тех пор, как я на них бывал, — и помянул, что занимаюсь Байроном. Я ответил ей: «Конечно, он вам не нравится. Это потому, что вы его не знаете». Может, мне нужно повторить то же самое и тебе — нет?

Очень хотелось бы узнать, отчего у тебя возник такой вопрос (догадываюсь, что это как-то связано с Адой), и, конечно, узнать о тебе самой. Обещаю без задержки ответить на любые вопросы или же переадресовать их тем, кто сумеет это сделать, если только кого-нибудь вспомню: из прежних академических связей поддерживаю очень немногие.

Люблю тебя, Алекс.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Секрет

Не знаю, можно ли назвать то, чем я занимаюсь, «редакторством». Я оказалась в это замешана, так как (почти) получила ученую степень по истории науки, приняла участие в проекте по публикации всей переписки одного научного общества XVIII столетия — и научилась разбирать старинный почерк по скверным фотокопиям. Спонсоры сайта «Сильные женщины» — вовсе не историки науки, да и не историки вообще: они выдвинули идею — не воспроизводить письма и

документы из книг, но обратиться к архивам и воспроизвести рукописи в первоначальном виде — особенно если обнаружатся ошибки или купюры, ты понял, — что, в общем-то, не слишком необходимо, но здорово затягивает: ты видишь перед собой рукопись со всеми диаграммами, уравнениями и прочими вставками и вычерками — обожаю, когда вычеркивают, — и пометами на полях; причем одни рукописи аккуратны до маниакальности, а другие — беспорядочны и сумбурны.

И вот, я — одна из тех, кому поручено отыскивать и перечитывать всякие такие письма и прочие рукописи; кроме того, я обучилась основам веб-дизайна, так что размещаю материалы в сети и пишу кое-какие комментарии. Я не одна — нас целая команда.

Ты прав: мой вопрос имеет отношение к Аде. Я сейчас в Англии, ищу материалы для сайта — пополнить ее биографию и ввести в оборот новые данные. Нашлись новые документы, и мы пытаемся понять, что они из себя представляют. Несколько страниц с заметками Ады, а также отчет о том, как она приобрела рукопись романа Байрона; там она упоминает, что намерена составить примечания к роману, — вот это они и есть. А вот самой рукописи ни следа: есть только одна страница — возможно, из нее. Только одна страница. Если взять оттуда любую фразу и поискать ее в сети, среди текстов Байрона — ничего не выйдет (я пробовала). И вот вопрос: что это за отрывок и откуда он, если это и в самом деле фрагмент. Есть какие-то соображения? Прилагаю страницу найденного текста. Я ее отсканировала, чтобы ты на нее посмотрел. Читается с трудом, но ты разберешь.

Бумаги попали на сайт частным порядком, и огласка пока нежелательна. Так что вот.

Александра

Вложенный файл: Onepage.doc

великого — неважно — сам я равным образом ничего не ведаю об этих громадных просторах и наслаждаюсь своим неведением, ибо порвал с миром, который слишком мне ведом. Быть может, мы направимся на неисследованный Запад или же вниз по Миссисипи, как лорд Эдвард Фицджералъд — единственный подлинный герой, какого я знаю или о котором знал, — и, подобно ему, двинемся еще дальше: на Юг, к Дарьенскому

перешейку, в Бразилию, на Ориноко — не знаю куда.

Итак, прощай. Я не настолько безрассуден, чтобы принимать Америку за Лекаря или Священника, — знаю, что не все недуги там излечатся и не все грехи будут отпущены. И все же сегодня утром я чувствую себя так, будто ночь напролет боролся с врагом и, очнувшись наконец, увидел, что руки мои свободны

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Страница
Алекс,

это поразительно: конечно, не мне спрашивать, но ты наверняка гадаешь, не подделка ли это, особенно если учесть таинственное происхождение рукописи; о подобных открытиях трубят на весь мир во все трубы, и огласка взвинчивает цену — как в случае с оцененным в миллион долларов сундуком с письмами и бумагами Мелвилла, который несколько лет тому назад обнаружили в старом беркширском сарае, не то еще где. Так что первым делом необходимо установить подлинность бумаг, а я для этого определенно не гожусь. Трудно представить, что рукопись байроновского романа пролежала в архиве незамеченной.

Все-таки очень странно. Америка. Байрон в последние годы жизни, пока не решил пуститься в греческое предприятие, часто заговаривал о том, чтобы отправиться в Америку — чаще всего речь шла о Южной (особого различия он не проводил) — и начать там новую жизнь как плантатор. Джордж Вашингтон — один из немногих исторических деятелей, которыми он восхищался без тени иронии; другим был упомянутый на этой странице Фицджералъд.

Можно ли взглянуть на заметки, сделанные Адой, если ты их тоже отсканируешь? Вреда ведь им не будет? Это в высшей степени ценные бумаги (и я уверен, ты это понимаешь), коль скоро они подлинные. Что, если и вправду так? Ну, тогда — уxx… Собираешься ли ты обратиться к архивам Лавлейсов — вдруг там найдется нечто, со всем этим связанное? Кажется невероятным, что где-то в ее бумагах завалялся без внимания роман

Байрона, но будем надеяться.

А сейчас у меня к тебе два (неотложных) вопроса. Первый: почему ты вспомнила обо мне, когда потребовался ответ на твой вопрос? Вокруг тебя много куда более знающих людей. Второе: почему в адресной строке ты называешь себя «Смит» — это что-то интернетное?

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Смит и пр.

Думаю, что обратилась я к тебе потому, что это — секрет. Не представляла себе, как у кого-нибудь спросить и ничего не выдать. Вот и все. Я ведь на самом деле не вполне ученый и не вполне историк. Адины заметки пришлю тебе, как только отсканирую. Им это не повредит. Я работаю в тонких белых перчатках.

Почти все знакомые зовут меня Смит. Отчасти это в честь колледжа. Через много лет после школы я проходила там специальную программу для получения степени магистра (учебная программа АДЫ Комсток — как тебе это нравится?). А отчасти потому, что однажды я пошутила, что хотела бы иметь вместо имени фамилию, как у кинозвезд: Паркер, Дрю или Риз. Почему бы не Смит? Ну, так оно и прилипло.

И думать не хочется, что бумаги поддельные. Скоро начну архивные поиски. Спасибо — я буду держать тебя в курсе.

Александра

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Смит и пр.

Знаешь — в последние полгода твоей дородовой жизни мы хотели назвать тебя Гайдэ, по имени девушки из байроновского «Дон-Жуана». Твоя мать согласилась,

но потом передумала. Я не мог ничего с ней поделать. Смит — это здорово. Александрой для меня ты никогда не была. Александра — это холодная царственная красота. Алекс — мужланка. Сэнди — смазливая девчушка с косичками (и с собачонкой по кличке Энни…). Не знаю, почему твоей матери это имя понравилось.

Должен заметить, что ни один человек — не историк с головы до пят; точно так же, как не бывает ни писателей, ни святых. Речь можно вести только о том, чем ты занимаешься, а не кто ты есть: пишешь, проводишь исторические разыскания или творишь добрые дела — и так далее. Громкие слова оставь для других: Роберт Фрост говорил, что титулом «поэт» тебя могут лишь наградить.

Поверь, можно прожить всю жизнь без всякой уверенности, годится ли для тебя — для твоего подлинного «я» — подобный титул: Поэт. Звезда. Гений. Преступник.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Привет

Теа

Я отсканировала математические таблицы, скинула на компакт и отослала тебе Федэксом — загружать и скачивать пришлось бы до новых веников: сканировать и копировать пришлось целые сутки. Нельзя никого попросить, чтобы на них взглянули, — бред, по-моему, но Джорджиана ужас как трясется, лишь бы никто ни о чем не пронюхал, пока мы с помпой не объявим во всеуслышание. Больно уж она преувеличивает: вряд ли кому до этого столько дела. Она даже и на твой счет тревожилась, но я ей сказала, что ты моя сексуальная рабыня и бояться нечего.

Ли мне написал. Я ответила. Пока все нормально. Да, это чуднО, но не так, как ты думала. Вот это-то и чуднО. Думаю, со временем нам будет что сказать друг другу. А если не скажем, вот это и будет чуднее всего.

* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Привет

скажешь скажешь поверь мне тогда и посмотрим мне все это не нравится но его электронный адрес посылать в фбр не стану у них он и без того есть или им наплевать мне тоже насчет него я только хочу чтобы тебе не было больно

в университете весенние каникулы ОНЕ все разъехались по домам или по квартирам и я целые вечера одна только с моим в ух ты черт

m

* * * * *

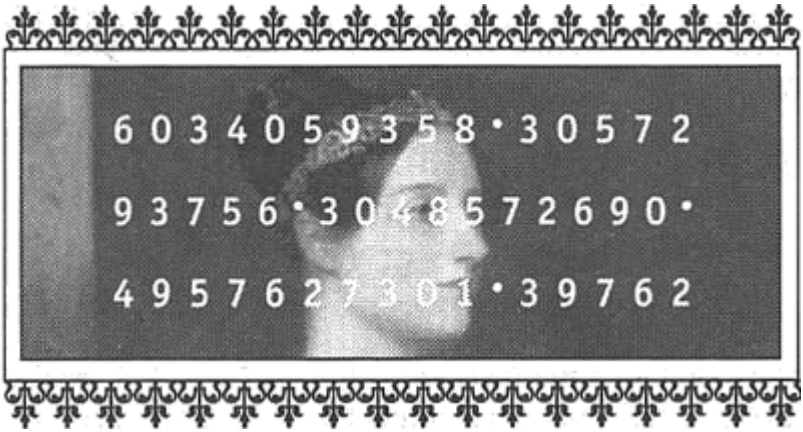
От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: в

Милая, я привезу тебе новый в. Особо Оригинальный с Отдушкой.

Собираюсь взглянуть на бумаги Ады в Оксфорде. Джорджиана хотела поехать со мной — «отправимся вместе, дорогуша», — но семейные дела ее отвлекли. Не особо сожалею. Но немного боязно ехать одной. Оксфорд. Чувствую себя Сельской Мышью, только без Городской, которая показала бы мне все блага и все опасности. Чтобы меня не съели живьем. Вчера ночью мне это и приснилось: будто я вхожу внутрь чего-то огромного, темного и сердитого (во сне места могут быть сердитыми) и не могу найти выхода, и некому мне подсказать, и вообще никому до меня нет дела. Наверное, такие сны приходят из детства, когда взрослые не обращают на тебя внимания, а ты не можешь объяснить, почему тебе страшно.

Пиши мне. Скажи мне, что я храбрая — и я такой буду.

Смит


6034059358·30572
93756·3048572690·
4957627301·39762

Глава третья
О Воспитании Али: чему он обучался

На юго-западном берегу Шотландии, между океаном и горами — в несуразном соседстве с домом, построенным в прошлом столетии, — стоят руины Аббатства, перед которыми простирается Парк, где некогда смыкались кронами могучие деревья, а олени щипали траву и поедали яблоки. Из середины небольшого озера в гранитном обрамлении, служившего местом забав для прежнего лорда, который любил пускать по нему игрушечные флоты и разыгрывать потешные сражения, не извергается больше блистающий водяной столб. Этот прелестный водоем составлял меньшее звено в цепи озер: там в урочную пору собиралась Водная Дичь, а окружал его обширный дубовый лес, что с одинаковым равнодушием давал приют мелкой дичи и питал желудями свиней. Лес вырубили, озера вышли из берегов, и вода затопила местность, ставшую болотистой пустошью, безрадостной и труднопреодолимой.

Сюда, в этот дом, после месячного путешествия по южным краям, прибыли лорд Сэйн и его сын Али — отныне его сын не только в соответствии с законами Природы, но и с законами Англии: задержавшись в Лондоне, Сэйн позаботился о том, чтобы заручиться всеми необходимыми документами об усыновлении и прочими бумагами с надлежащими Пунктами и Параграфами, снабженными всеми печатями и заверенными свидетельствами, должным образом подписанными и зарегистрированными. Тем самым был устранен — как представлялось лорду Сэйну — изъян его брачного союза с Владелицей поместья. Ибо, частенько бывая навеселе в краткую пору Ухаживания за своей избранницей, руки которой он в итоге добился, лорд Сэйн не вполне уяснил, что все ее земли перейдут к ее наследникам без права отчуждения — и, буде он сам наследника не породит, вся собственность, по смерти владелицы, возвратится ее дальним Родичам, еще не вышедшим из младенческого возраста, а за супругом сохранится лишь небольшая денежная часть (под залог которой им были взяты в долг деньги — и уже потрачены). Лорд Сэйн, изучив на трезвую голову и с помощью юристов эти сложные обстоятельства, установил, что наследнику рода, *законному отпрыску* леди, вовсе не обязательно быть ее *прямым отпрыском*; и таким образом, согласно письменным свидетельствам и удостоверениям, сын его светлости становился наследником владений приемной матери, учрежденных в качестве заповедного имущества. Сколь часто мы

невольно запутываемся в лабиринтах нашего неведомого будущего — единственно вследствие того, что рассеянно читаем присланные нашими посредниками документы и беспечно-равнодушны к мольбам внимательно выслушать разъяснения! Жизнь — вся наша жизнь — заключена в этих бумагах, как в романах заключен сюжет; и если мы бегло пробежим страницы, на последней нас поджидает гибель!

С другим препятствием на пути к свободе действий лорду Сэйну справиться было труднее: все названные земли и права собственности, совокупно взятые, не приносили прибытка, достаточного, чтобы поддерживать старинное поместье в надлежащем состоянии — особенно когда доход сократился после оплаты с процентами прежних долгов его светлости, а также благодаря евреям и комиссионерам (и комиссионершам, хуже всех прочих), которые держали его долговые обязательства, позволив погашать их ежегодными Выплатами, хотя средств на них уже не было. Итак, лорд Сэйн, когда не впадал в расточительность, волей-неволей принужден был выколачивать деньги на покрытие расходов, причем достичь баланса ему удавалось далеко не всегда. Продать вековую усадьбу он не мог — однако в его власти было распродать все, что в ней содержалось: этому он и посвятил несколько последних лет. В былые времена дом изобиловал золочеными зеркалами и пуховыми перинами, книжными шкафами с множеством томов, огнестрельным оружием в витринах, китайским фарфором и фарфором из Франции — лорд Сэйн разницы между одной чашкой и другой не видел или не желал видеть, зато господа Кристи видели — они-то и распродали домашних рейнольдсов, каналетто и неллеров, пренебрегши прочими. Наконец, расставшись со всеми излишествами, хозяин приступил к распродаже медных дверных замков, свинцовой облицовки оконных рам, каминных досок и потертых ковриков из-под спящих собак.

Али застал дом опустошенным и оголенным, однако едва это заметил: юноше не доводилось жить в окружении изящных вещей — даже в обиталищах его крестного отца паши обстановка никаким роскошеством, помимо ковров и оружия, не отличалась: он жил, словно в шатрах своих Предков, готовый в любой момент сняться с места; картины у достойного властителя отсутствовали, ибо Кораном воспрещено изображать прародителей (даже имей он о них понятие). Если Али что-то и почувствовал, когда перед ним распахнулись тяжелые двери и немногие слуги, все еще остававшиеся в поместье, выступили вперед, чтобы поприветствовать своего лэрда, а затем препроводили его в

Большой Зал, где когда-то одновременно садилась за трапезу сотня Монахов, — если Али и почувствовал что-то, то лишь благоговейный трепет — и это движение души, отразившееся у него на лице, замечено было его отцом не без удовольствия.

Лорд Сэйн провел сына по пустым галереям и необитаемым монастырским помещениям — мимо келий, где некогда молились или не молились благочестивые насельники, — на их стародавней кухне, ныне пребывавшей в полном запустении, очаг превосходил размерами многие албанские хижины. Они спустились и к тесным коридорам с обрушенной кирпичной кладкой, в подвалы, взломанные лэрдом в поисках клада, местонахождение которого, как известно, Небеса указывают только праведникам. Сокровища так и не были найдены, а стены остались с пробитыми в них брешами; тут же валялись и брошенные инструменты. Часовня лишилась крыши, сквозь высокий карниз и стрелку свода в нее проникла растительность, и ноги спотыкались о разбросанные каменные обломки — головы и тела святых и ангелов. Все эти картины, представшие глазам Али в предзакатных лучах, когда сумрак начинал окутывать старинные владения и уханье совы доносилось из ее укрытия в потрескавшейся каменной стене — душу англичанина они заставили бы содрогнуться в самом что ни на есть *готическом* трепете и наполнить ее возвышенным благоговением, — возбудили в юном албанце разве что любопытство и некую опустошенность: он не вполне отдавал себе отчет в том, где стоит и кто он такой, если он вообще кто-то, а не слабый огонек пропащего духа.

«А теперь, — объявил лорд Сэйн после того, как оба они подкрепились «шотландским вальдшнепом» (закуской из яиц — ничего другого на кухне не нашлось) и бутылкой отборного кларета (винный погреб, в отличие от всех прочих помещений, остался в неприкосновенности), — теперь, коли желаешь сделать мне любезность, пойди наверх, в покои своей матушки и засвидетельствуй ей почтение. Мой слуга проводит тебя».

«Но эта леди — не моя мать», — проговорил Али.

«Что вы сказали, сэр?» — изумленно переспросил его отец, до сего времени не встречавший со стороны юноши никаких возражений: все, что Али приходилось терпеть, он сносил молча, но промолчать теперь почел невозможным.

«Эта леди — не моя мать, — повторил Али. — Я охотно засвидетельствую ей свое почтение, но не как матери; у меня была другая мать».

«Она мертва, — заметил Сэйн. — Давно мертва».

«Я буду чтить ее память, — продолжал Али, — и никого не

назову именем, которое сберегу только для нее одной».

«Ты чересчур привередлив. — Лорд Сэйн налился краской. — Ее смерть неразрывно связана с твоим явлением на свет и с тем, что ты здесь; она сделала все, что могла; а для большего тебе лучше всего поискать другую».

«Что это значит, — спросил Али, — *неразрывно связана*?»

«А то, что твое рождение ее сородичи сочли преступлением, которое карается смертной казнью. — Лорд Сэйн ударил кулаком по столу. — Как только о тебе стало известно, ее смерть была предрешена; скорее небо обрушилось бы на землю, нежели на родовой чести красовалось бы пятно позора. Обречен был и я, не случилось мне, по решению твоих соплеменников, состоять в кровном братстве с мужем твоей матери, что делало меня неприкосновенным».

Али, чья юная душа сохраняла один лишь ребяческий изъян — ей слишком трудно было поверить в порочность окружающих и, следственно, сделать правильные, то есть худшие выводы из их поступков, — только теперь уяснил свое положение, а равно и то, в каком оказалась его мать. «Так выходит, вы понимали, — обратился он к отцу, — что обрекаете ее на смерть».

«Ба! Откуда знать, куда заведет приключение? Но довольно с нас этой старой истории».

«Вы понимали, что опозорили ее супруга и он должен будет лишить ее жизни — а она, если бы не ваше принуждение, могла бы жить и по сей день!»

«Твои сожаления неуместны, — ответствовал лорд Сэйн. — Там это мало что значило. В среде твоих соплеменников женщины почитаются наравне со скотом; не умри она в тот день, и очень скоро заработалась бы до смерти: беспросветный труд — вот все, что ее ожидало. — Он осушил бокал и добавил: — Если рассказ паши правдив, то мой "брат" собственноручно перерезал ей горло».

Али, словно движимый невольным порывом, схватился за меч паши, висевший на поясе, — не снимать этот меч во время долгого путешествия на Север через края, по-прежнему разбойные, ему настойчиво велел отец, — и, сверкнув глазами, стиснул рукоятку.

«Вы мне угрожаете, сэр? — Лорд Сэйн поднялся с места, и гнев в его голосе странным образом мешался с довольством. — Это так? Что ж, давайте! Видите, в руке у меня только палка, но если вы на меня нападете, я вас сокрушу!»

Долгую, нескончаемую минуту оба они стояли недвижно, впившись глазами друг в друга через разделявший их стол — могучий, тяжеловесный лорд и его стройный, худощавый сын; не

смели пошевелиться в дверях ни лакей с камердинером, ни служанка.

Как же теперь он поступит, наш юноша? Ясно видя свое положение — рожденный в Грехе, сопряженном с Убийством, оторванный от дома, привеченный одним-единственным человеком, который стоял теперь перед ним, полный такой же готовности его уничтожить, с какой взял под свой кров, — что мог он поделать? Не говоря ни слова, хотя и не склонив головы, Али убрал руку с эфеса и принял спокойную позу. Он подчинится просьбам и даже приказам: в эту минуту у него нет выбора, однако он не признает за собой более никакого долга перед человеком, стоящим напротив.

«Позволь мне назвать тебе подходящий час, — проговорил Сэйн, в полном осознании своего торжества. — Ее светлость рано ложится в постель и поздно встает. Лучше всего, если ты отправишься к ней прямо сейчас. Она будет ждать тебя. — Кивком он подозвал камердинера, который степенно приблизился к Али, чтобы его сопроводить. — Можешь передать ей мои наилучшие пожелания, но не обещай, что я ее навещу, и даже не намекай на это. Ни сегодня вечером, ни завтра утром».

Итак, Али покинул зал вместе с сумрачным фактотумом, проследовал за ним через покои, а затем по лестнице наверх, На площадке слуга остановился, чтобы зажечь свечу в фонаре, а затем двинулся вверх по ступенькам; у расписной двери он обернулся к Али и как будто собрался заговорить — губы его искривились и в сонных глазах мелькнул огонек, — однако вместо того он постучал в дверь и в ответ на голос, которого Али не услышал, ступил за порог и тусклым шепотом возвестил о госте.

Комната, куда вошел Али, казалась пустой. Здесь, по сравнению с другими комнатами и галереями, которые он только что миновал, обстановка сохранилась полнее — на окнах висели шторы, обои на стенах не были покрыты водяными разводами, ковры на полу не изъела моль, и над огромной кроватью, застеленной постельным бельем, сохранился балдахин. Из недр постели до Али донесся слабый голос, и одновременно дверь позади него захлопнулась.

«Ты тот самый мальчик?» — повторил свой вопрос неясный голос, и Али, шагнув в сумрачную глубину спальни, различил сквозь драпировку простертое на постели обширное белое очертание, бледностью лица почти неотличимое от простыней: рука поднялась не то в знак приветствия, не то в попытке робкой защиты — Али так и не разобрал.

«Мадам», — произнес он, склонив голову, как на глазах у

него это делал отец.

«Лорд Сэйн прислал тебя ко мне, — заговорила леди (ибо это была она — или же ее огромный призрак), приподнимаясь на подушках. — Чтобы я дала тебе свое благословение».

«Буду рад этому», — ответил Али.

«Подойди ближе — хочу увидеть, что у меня теперь за сын. Ближе, сюда».

Али повиновался и встал у постели леди Сэйн: вблизи она оказалась, при всей бледности и неопределенности облика, особой улыбчивой и оживленной, со множеством кудряшек, выбивавшихся из-под сетки для волос.

«Как тебя зовут?»

«Али».

«Али! Так разве он не дал тебе христианского имени?»

«Нет, мадам, хотя советники лорда побуждали его меня окрестить — так это называется? Лорд Сэйн другого мнения. Его — как он выразился — потешит, если его сын всегда будет носить имя, данное ему при рождении»

«А он был добр к тебе? — спросила леди так, словно имела основания думать иначе. — По меньшей мере, обеспечил ли он тебя всем необходимым?»

«Мадам, — ответил Али, — я получил от него все, о чем просил».

Тут леди ненадолго умолкла, верно, призадумавшись, какой смысл вложил Али в эти слова. Затем, скорее с удивлением, нежели с протестом, заключила: «Итак, теперь у меня сын — турок».

«Нет, мадам, — возразил Али. Он впервые увидел свою причудливую судьбу с комической стороны, а нынешнее положение нашел смехотворным. — Нет, я не турок. Если рассказ отца правдив, то наполовину я англичанин, а наполовину принадлежу охридскому народу, истребившему немало турок. По сути, никто; часть того и часть этого. И все же не думаю, что состою из частей, — считаю себя цельным и единым — или стану таким».

При этих словах постельные покрывала вокруг леди Сэйн заволновались наподобие пенистых океанских валов, взбаламученных подводными течениями. Она отняла голову от подушек, глаза ее — юные и кроткие как у фавна, к восхищению Али, — расширились и пристально оглядели юношу. «О да, конечно же, дорогое дитя, — выговорила она. — Ты сам по себе, единое целое. И все же, — тут леди Сэйн задумчиво коснулась подбородка, — если ты не турок и у тебя нет христианского имени, христианин ли ты?»

«Нет, не христианин. Я только-только начал изъясняться по-английски и носить английскую одежду — но другими свойствами англичанина не обладаю».

«Что ж, — кивнула леди Сэйн, — я не считаю, что быть христианином — это свойство английское (тем более, что сейчас ты не в Англии), но ведь у тебя есть душа, не так ли?»

Али не знал, какой дать ответ: по-видимому, его спрашивали о том, что таится у него внутри, помимо плоти, — о том, что было или быть могло его истинной сутью, им самим. «Наверное, да», — ответил он.

«Тогда ее можно спасти. — С этими словами леди Сэйн взяла с прикроватного столика книгу в черном переплете, которую любой из нас — живущих по сю сторону Средиземного моря — узнал бы немедленно. Леди протянула книгу Али — не для того, чтобы он ее взял, но только лицезрел: как многие из тех, кто глубоко чтит Книгу Книг, она верила, что благодать проистекает из нее, открыта она или нет, — возможно, даже легче и действенней, если закрыта. — Подойди ко мне, и мы будем читать вместе».

«Мадам, но я не умею читать».

«Так научись, — оборвала его леди, приподнимаясь в постели. — Нет спасения для того, кто не умеет читать и слушать».

«Спастись?» — переспросил Али, удивленный повтором слова, столь насыщенного значением — или даже значениями, многообразными и противоречивыми. Леди Сэйн положила ладонь на покрывало, указывая, где присесть на широкой постели, и, когда Али не без трепета устроился рядом, всмотрелась в него слезящимися глазами. «Я вижу, тебе нужен друг, — сказала она, — и мне тоже; давай же уговоримся поддерживать друг друга и защищать».

«Если вы так желаете», — со всей сердечностью отозвался Али. Он понятия не имел, как эта дама может его защитить — и чем он сможет ее отблагодарить — чего, вероятно, она и потребует; однако защитник ему и вправду был необходим, тем более что других не появлялось и не предвиделось — рассчитывать он мог единственно на свою душу, хотя и не отваживался всецело на нее полагаться. Произнося задушевное обещание, Али взял леди за руку — упитанную, как ощипанная перепелка, и столь же холодную — и пожалел мачеху, как никогда не пожалел бы себя. Вскоре леди Сэйн отослала его, пообещав, как только почувствует себя крепче, позвать его к себе снова.

Вот так Али попал в ученики к леди Сэйн, дабы усвоить смысл значков и символов, с какими впервые познакомился в обществе Округлого Наставника на борту военного Брига, что доставил его на берега Альбиона. Известие, что сын получил от супруги приглашение проводить с ней так много времени, восторга у лорда Сэйна не вызвало: он окинул Али пристальным взглядом сонной рептилии — однако не возразил ни словом — и вскоре покинул родное гнездо, если только это скромное, но дорогое сердцу именование применимо к Дому, в котором он проживал. Лорд провел там всего лишь месяц: прикармливал и дразнил обитателей своего Зверинца — днем предавался бешеной скачке по полям несчастных Арендаторов или вел споры с Управляющим — ночами же распивал рейнвейн и Кларет из собственного погреба, сшибая горлышки бутылок кочергой: усилия, связанные с вытаскиванием пробок, он почитал низменными, а вызов камердинера — трудом слишком обременительным. «Довольно!» — вскричал он однажды, велел готовить Карету своему звероподобному Кучеру, рослому словно патагонец (тот один мог справиться с отборной четверкой вороных), — и отправился на Юг к Злачным Местам и желанной компании.

Али каждое утро поднимался по ступеням, ведшим из древнего Аббатства, где главенствовал лорд Сэйн — даже в отсутствии, — к новейшему строению, где обитала леди Сэйн — она временами тоже пребывала не здесь, ибо ее мысли часто отвлекались от книг и листков, которые Али испещрял неуклюжими буквами, и устремлялись к минувшим дням, в мечты, либо к Небесам, куда ей желалось проложить путь для отпрыска своего супруга. Но порой, витая в краях столь отдаленных, воображение леди рисовало прямую противоположность Небесам, и она содрогалась при виде того, о чем не могла и словом обмолвиться, — и страшилась повести, которую не в силах была поведать. Когда встревоженный Али принимался расспрашивать, чем она так обеспокоена, леди Сэйн отвечала только: «О, быть проклятой и терпеть вечную муку!» — не поясняя, какие основания побудят Божественного Судию распорядиться подобным образом. Али, не расположенный задумываться над собственным посмертным уделом, хотя леди Сэйн настоятельно его к этому и призывала, все же гадал, печалясь, о причине страданий его кроткой наставницы.

Среди живых душ, населявших этот дворцовый Лимб, были горничные, пугливыми ланями бежавшие от Али (опыт научил их опасаться знаков внимания со стороны Владельца дома и всякого, кто заступал его место), Повар, судомойки и два-три угрюмых

лакея — а также служанка леди, почти столь же неосязаемая, что и ее хозяйка. Али, не имевший понятия о том, как надлежит обращаться со слугами, вызывал в их сообществе тревогу тем, что молча просиживал на кухне и в подсобных помещениях — где научился многому такому, чему в школе пришлось бы разучиться, хотя и забыть было невозможно, — и невольно оскорблял слуг, не позволяя себе прислуживать, но справляясь своими силами. Куда счастливее чувствовал он себя вне дома, в одиночестве, с единственным своим спутником — черным ньюфаундлендом, которого сам выбрал из помета любимой суки отца. Пес казался частью самого Али — лучшей его частью: он всегда держался с юношей бок о бок — ходил, бегал, даже спал — и был неизменно предан всем своим стойким сердцем, беспричинно и безоговорочно. «Твой страж» — так называла леди Сэйн спутника своего сына, которого тот приводил к ней в спальню, и когда Али вполне уяснил себе значение этого слова, оно стало кличкой собаки, отвечающей ее природе. Вместе со Стражем Али исходил вдоль и поперек голые холмы и заново выросшие леса; нередко его видели вдали от Аббатства, где он, равнодушный к стихиям, бродил бездельно и — хотя бы на время, на час, на краткий счастливый Миг! — бездумно, ощущая только усталость в суставах да свежий воздух в груди; наконец ему чудилось, будто он вернулся к холмам Албании (шотландские, казалось Али, отличаются от тех только влажностью) и вновь следует за своими козами, своими сородичами, своей любимой.

Иман! Она не могла изгладиться из его сердца, но ее образ — ничем не затуманенный — не мог и перемениться, превратившись в живописный портрет: одно лишь настроение — один жест — или немногие движения — и голос звучал неизменно, однако и приглушенно, словно она уходила вдаль, не оборачиваясь. В Парке, неподалеку от Аббатства, стоял раздвоенный Вяз — два расщепленных ствола произросли из одного корня, но с каждым годом все более отдалялись. На двух воздетых ветвях Али острием меча, привезенного из отчего края, вырезал — буквами, принятыми в этой стране, — два имени, свое и Иман, единственно ему дорогое.

Лишь один домочадец проявил участие к Али, неизменно выказывая ему всяческое радушие. «Старина Джок», как все его именовали, был в оны дни ближайшим слугой «старого лэрда», отца леди Сэйн, и воистину являл собой — краснощекий, улыбчивый, с курчавыми волосами и вьющимися бакенбардами, тронутыми инеем, — дух прежних, светлых времен, и дома, куда более счастливого, чем нынешний. Дымок длинной трубки и касания заскорузлых ладоней напоминали Али о преклонных лет

козопасе, его воспитавшем, и расположили его к старику. От Старины Джока Али научился изготовлять пули, чистить и содержать в готовности пистолеты и ружья, а когда настала для него пора покинуть Аббатство и расстаться с его духом-хранителем, он уже умел гасить свечу пистолетным выстрелом с сорока шагов. У камелька Старины Джока, забравшись на «сидульку» — шаткий табурет, Али слушал рассказы, восходившие к веку ковенантеров, а поскольку повторялись они неоднократно, перенял картавый шотландский говор, который все позднейшие старания так и не смогли вытравить. Из уст Старины Джока узнал он о своенравных лордах и благородных воителях: они, хотя и не связанные с ним кровным родством, вставали за спиной у наследника фамильного гнезда, подобно череде сыновей Банко в ведьмином зеркале.

«А другого наследника нет, — говорил Старина Джок. — И не будет никого, кроме тебя; на дом издавна пало проклятие, будет он пуст — и никто тут не родится».

«Проклятие?»

«У госпожи родился один ребенок. — Старина Джок понизил голос до шепота, словно кто-то — а кто, и называть было незачем — мог подслушать. — Роды были тяжкие, и младенец вскоре умер. И с тех пор госпожа заперлась от мира — или ее запрятали, разница, как говорится, невелика».

«На проклятие это не тянет. Мало ли младенцев умирает при рождении».

«Эх! — вздохнул Старина Джок. — Эх, молодой сэр, если с нами что случается, а мы доподлинно знаем, что этого не миновать, — вот оно проклятие и есть. Слышали, как на смертном ложе старый лэрд, Боже благослови его душу, сказал, что от замужества его единственной дочери и выйдет падение дому».

«Но дом стоит, как стоял», — возразил Али.

«Так ведь и ты здесь. — Взгляд Старины Джока лучился добротой, но заметна в нем была и умудренность. — Да-да, ты-то здесь!»

Однако, чтобы стать английским джентльменом, недостаточно выучиться грамоте у благочестивой Леди и перенять жизненные умения у Сельского Жителя. Для Али настала пора отправиться в школу — он и без того вышел из возраста. Лорд Сэйн и его супруга придерживались на этот счет мнений различных: леди Сэйн желала оставить мальчика где-то поблизости, лорду Сэйну это было решительно все равно, лишь бы тот усовершенствовался в заведении, где сотоварищи его должным образом наставят и отшлифуют, будто он самоцвет,

найденный на обочине. Назначенная для Али школа (невзирая на слабое сопротивление леди Сэйн) находилась далеко на Юге — почти так же далеко, как Лондон.

Ида — назовем ее так — слыла в те годы первой (возможно, второй) Школой, куда помещались юноши, слишком взрослые, чтобы учиться в Родительском Доме, и еще не достигшие лет, когда учит сама Жизнь: там их наставляли трезвомыслящие, хотя и не всегда трезвые Учителя, но по преимуществу (и отнюдь не возвышенным материям) — их однокашники. Али запоздало явился туда в четырнадцатое лето своей жизни, совсем не готовый к предстоящей ему новой участи, описать которую его покровительница леди Сэйн не могла — а отец не озаботился. Али сразу же влился в сборище подростков в цилиндрах и фраках, однако ему немедля дали понять, сколь он несхож с ними — и в пережитом опыте, и в усвоенных знаниях; его травили и за малолетство и старшинство, за слишком высокий рост и хрупкость сложения, за неведение о том, что ему негде было узнать. Али потрясло, что, как младшему ученику, ему придется не просто зависеть от других, но и прислуживать им, исполняя любое требование. Только взрывчатый нрав и неукротимая воинственность при всегдашней готовности к стычкам — часто кровопролитным с обеих сторон — избавляли Али от худших унижений, навлекать которые на него старшие почли занятием слишком хлопотным. Нашлось куда более легкое, но не менее опасное оружие — насмешка, хотя и не всегда откровенная — тут они быстро обучились осторожности; а пищи для издевок находилось предостаточно.

«Они прозвали меня Турком и, того хуже, Бастардом, — писал Али отцу, — хотя я ни то ни другое — и лучше бы они покушались на мою жизнь, чем на честь. К Наставникам я не обращусь: все мои обидчики пользуются большим фавором, чем я, недавний пришелец, на которого учителя смотрят с подозрением, словно на какое-то Чудище, хотя я отвечаю им в классе и на экзаменах не хуже любого, а значит, я такой же Человек, как и все. Прошу меня защитить, чего вы до сих пор не делали, и оповестить Наставников, пальцем не шевельнувших, чтобы поддержать меня перед лицом противников, о нанесенных мне Оскорблениях, а также потребовать Действий, от них зависящих. Я нуждаюсь также в Деньгах на небольшие подарки тем, кто может встать на мою сторону, так уж заведено — мне самому ничего не нужно, но я, к стыду своему, ничем не могу ответить на подношения».

Отец Али не сразу, но ответил: «Как! — писал он. — Тебя кличут Турком и глумятся над твоим выговором? Что ж, поделом

— а ведь нас ранят только заслуженные насмешки; принимай, что тебе подобает, коли тебе это по нраву, а коли нет — плати той же монетой: правдой, если она на твоей стороне, или подобием правды, когда истина не отвечает твоим замыслам, — но если ничто не принесет удовлетворения и не обратит в бегство мучителей, имеется средство более разительное: его ты привез из родных мест. Вот тебе самая суть моего совета; не проси ни о чем, пока не испробуешь все средства. Что касается Денег, то я выскреб дом до последнего; можешь запросить у леди Сэйн, не найдется ли у нее монетки — в противном случае сумей обойтись без них — или же укради».

Али, прочитав (и разорвав в клочья) отцовское послание, написал снова: «Милорд — если мне назначено подвергаться оскорблениям и осмеянию *за то, что мне не по силам было предотвратить* или изменить, даже если бы я захотел, но я не хочу — отлично: я принимаю вашу помощь — пускай лишь словесную — и никакой другой не попрошу. Это мало что значит. Иные начинали с нуля и завершали великими делами. Я пробью себе дорогу к славе, но не смирюсь с Бесчестьем. — Остаюсь, милорд, покорным и любящим сыном вашей светлости — АЛИ».

Так он написал, однако его лорду-отцу не дано было знать, что если при свете дня Али смело бросал вызов Сотоварищам и даже насмехался над ними, завоевав кое-какие сердца своей отвагой и дерзостью, и как держал речь перед Наставниками, всерьез или шутя, — то в одинокой темноте он лил слезы, и некому было его утешить. Неведома ему была материнская ласка, и не осмеливался он испрашивать у Небес того, что жаждал больше всего — Друга! Существо Али было столь же чутко и ранимо, как улиткины рожки, и — по той же причине, что улитка, — он оградил себя прочным панцирем. Нередко ускользал он от однокашников и их занятий, одиноко бродя прославленным старинным кладбищем — не ради общения с почившими (Юность нечасто задумывается о своей бренности и, даже скорбно возглашая о ней, в действительности отказывается в нее верить) — но для того, чтобы сложить там с себя бремя напускной (он это сознавал) беззаботности и дерзости, подобно тому как рыцарь снимает с себя тяжелые доспехи в шатре — там, где его не видит ничей глаз.

Тому, кто ищет уединения, безмолвие и замшелые надгробия составляют лучшее общество, но однажды Али, спешивший на встречу с гранитными компаньонами, обнаружил еще одного отшельника, вполне живого: тот, завладев чужим владением, простерся на излюбленном могильном камне Али. Пришелец — знакомый нашему герою — весело его приветствовал и

подвинулся, освободив место на просторной груди того, кто лежал погребенным глубоко в земле. Али потребовал у юноши объяснений, чем он тут занят, — получил вместо ответа этот же вопрос — и на минуту растерянно отвернулся к обширной панораме полей и долин, которую он тоже привык считать своей собственностью.

«Иди сюда, — услышал он захватчика. — Здесь хватит места для двоих».

«Я предпочитаю сам выбирать общество, — не оборачиваясь, ответил Али. — А именно, собственное».

«Полно, вздор!» — воскликнул юноша. Али в ярости обернулся к пришельцу, но увидел, что тот беспечно улыбается — а насмешкой своей хотел освободить однокашника от напыщенной Скованности. Али все еще силился сохранить суровость лица, однако понял, что это ему не под силу — и вместо того, рассмеявшись, принял приглашение юноши, пожал протянутую руку и положил свою ему на плечо.

Лорд Коридон — такое имя мы дадим этому мальчику — был потомком обедневшего рода и, несмотря на неблизкое совершеннолетие, уже обладал титулом (отец его недавно погиб при падении с лошади). Али был старше лорда Коридона — как и большинства одноклассников — и редко замечал его, разве что только в часовне, когда тот пел в хоре — и пел изумительно, словно преображенный полетом души, которая, покидая его (согласно поверьям древних) в образе песни, проникала в души плененных слушателей, и среди них не было никого восторженней Али. Верно, что первейшим — и единственным — источником наслаждения для Али служило одиночество; однако существуют на свете и другие радости — менее доступные, менее надежные — и насколько же они бывают превосходней! Тот памятный день оба юноши числили началом истинной и нерушимой Дружбы, которой, как они верили, не суждено прерваться никогда.

Как передать здесь юношеские разговоры — пылкие, хотя и отрывочные? Остроты и шутки жили не дольше мига и давным-давно утратили свою соль — бахвальство и дерзкие притязания растворились в воздухе — Соученики и Наставники, о которых они отзывались презрительно либо с пламенным восхищением, исчезли или рассеялись по свету; и все — все переменились: мальчики перестали быть мальчиками, а иные сошли в могилу. Али — читатель, вероятно, это уже усвоил — остро чувствовал несправедливость, к чему имел немалые основания, — однако сердце его оставалось чистым, неиспорченным и до сих пор не омраченным; он неизменно стоял на страже своей чести, под

которой понимал свою сокрытую личность, что вечно пребывала под угрозой, всегда готова была испариться и с трудом удерживалась в путах плоти постоянной бдительностью. Лорд Коридон был его противоположностью, или же дополнением; они разительно отличались друг от друга окрасом, да и всем прочим: лорд Коридон был гораздо светлее сотоварищей, тогда как Али — темнее; глаза у него были светло-голубые — у Али темно-синие; оба бедны, но лорд Коридон отличался веселостью и беспечностью; никогда не церемонился и не кичился превосходством, что, как он хорошо знал, было слишком больным местом для Али; он был уступчив и легко прощал обиды, однако легкомыслен в своих Привязанностях, и Али — который если и вверял кому-то свое сердце, то уж навеки — порой мучительно это ощущал.

И все же, нет спора, отрадно было найти в таком месте, как Ида, того, кто утешал тебя и пестовал в горестях; оборонял тебя или сам вставал под твою защиту; бок о бок раздевался и вместе принимал ледяную ванну, а потом укладывался рядом в теплую постель (единоличная стоила дороже, и ни один из друзей не мог себе этого позволить); отрадно было веселиться, держась за руки, и сообща противостоять всему миру!

По окончании семестра друзья не захотели расставаться, и младший пригласил старшего к себе — пробыть у него в доме, сколько тому заблагорассудится. Впрочем, об ожидавшем Али гостеприимстве лорд Коридон отозвался иронически: «Там нет ни аббатства, ни замка, — рассмеялся он, — и никаких тебе развлечений: остается одно — лазать по холмам, распевать на три-четыре голоса или глазеть в окно; но я честно выполнил свой долг — предупредил тебя!» Однако свой долг сотоварищ выполнил лишь отчасти: не все рассказал, что следовало, о своем доме и семействе — о чем Али догадывался по пляшущим в его глазах искоркам, но более не допытывался; только написал леди Сэйн, что длительное путешествие в Шотландию и обратно за столь короткое время не совершить и что он будет прекрасно устроен, — лорд Коридон в почтительной приписке подтвердил его слова — и друзья устремились на Запад в пассажирском дилижансе чуть ли не с единственным шиллингом на двоих — и Али с изумлением ловил себя на мысли, что еще ни разу в жизни не отправлялся он в путешествие, исполненный лишь добрыми надеждами и счастливыми ожиданиями!

Примечания к третьей главе

1. руины Аббатства: Лорд Байрон изображает на этих страницах наследственное поместье в Ноттингемшире — Ньюстедское аббатство, проданное им в юности за долги, о чем впоследствии (как я предполагаю) он неизменно сожалел. За всю историю аббатства не часто в нем царило счастье. Состояние, которое позволило бы роду Байронов сохранить фамильное гнездо, реквизировали аудиторы Кромвеля, впоследствии же так и не восстановилось; предка лорда Байрона — пятого лорда, известного миру как «Злой Байрон», — нельзя всецело винить за ущерб, причиненный имению, за распродажу предметов обстановки и проч., и проч., поскольку угрюмый пэр не имел иных средств для поддержания в жилом виде собственности, которую не мог продать, и ее-то, несмотря на всю к ней любовь, мой отец уже не был в состоянии содержать.

Сама я лишь недавно возвратилась из тех мест, которые прежде не видела никогда и куда была вместе с мужем любезно приглашена нынешним владельцем аббатства — полковником Уайлдменом, совершенно чуждым дикости, на какую намекает его фамилия[2], радушным хозяином, страстным поклонником моего отца, преданным его памяти: придавая дому великолепие, невиданное во все прежние времена, он, тем не менее, бережно сохранил все реликвии, связанные с жизнью моего отца под этим кровом. Признаюсь, что поначалу, проходя пышными залами и оглядывая заново разбитый парк, я испытала некий упадок духа: передо мной лежала Усыпальница моего рода, где прошлое заключено в гробницу и его более нельзя коснуться ни рукой, ни мыслью. Я будто сама обращалась в камень — и не могла избавиться от чувства, что *все это должно было принадлежать МНЕ:* меня охватила не радость и уж никак не зависть, но бесконечная печаль, словно от упущенной возможности или от неисполненного долга, к которому уже никогда не вернуться.

Однако на другой день, рано покинув дом, я, подобно юноше Али, пошла одна в так называемый «Дьяволов лес», где «Злому» пятому лорду вздумалось воздвигнуть каменные изваяния сатиров и фавнов, словно бы устроивших вакханалию, — ныне они покрылись мохом, заросли травой и неспособны оскорбить ничей взор. Там меня и нашел полковник Уайлдмен — угадавший, что я чем-то расстроена, — и мы долго говорили о Байронах, о его привязанности к своему давнему однокашнику, обо мне — и он слушал терпеливо и с величайшим участием. То, что цепко держалось за меня, — то, за что я ошибкой крепко

держалась, — там, в те минуты, словно улетало, уносилось прочь. Я почувствовала себя потомком рода, который оставил мне в наследие не просто земли и камни — нет, саму природу, которой я живу, будто в обители со множеством комнат: иные обветшали и обрушились, другие подновлены чужаками на свой лад, но не все еще мною обследованы — даже и до сих пор.

2, цепь озер: Ныне осталось только одно, темное, глубокое и очень холодное; оно недвижно и сейчас, и на глади его все еще дремлют дикие птицы.

3. каналетто и проч.: Интересно сравнить это изображение разоренного и заброшенного аббатства с картиной «норманнского Аббатства» в последних песнях «Дон-Жуана». В этой поэме Ньюстед явился воображению поэта таким, каким лорду Б., вероятно, желалось его видеть — полным удобств и роскоши, на стенах портреты предков, в залах толпы гостей, знаменитых и именитых, — а вокруг простираются еще не тронутые леса. «Норманнское Аббатство» настолько же лучше подлинного дома, насколько аббатство, изображенное в романе, его хуже. Так жизнь рождает легенды.

4. черный ньюфаундленд: Пес лорда Байрона, нежно любимый им в юности, звался Боцман — а почему, не могу сказать. Он испустил дух в припадке бешенства, и лорд Байрон заботливо ухаживал за ним в последней агонии, своею рукой отирая с морды слюну.

5. раздвоенный Вяз: Это громадное дерево, еще более разросшееся, до сих пор стоит в Ньюстедском парке. На коре его вырезаны имена моего отца и его единокровной сестры, достопочтенной Августы Ли. Ее имя — часть моего собственного, но это не все. Леди скончалась недавно, и мне ни разу не довелось общаться с ней настолько близко, чтобы получить право говорить о ее личности. *De mortuis nil nisi bonum*[3].

6. Старина Джок: Лорд Байрон питал глубокую привязанность к престарелому ньюстедскому слуге по имени Джо Меррей. На портрете, висящем ныне в аббатстве, он розовощек, добродушно улыбается и в руке держит длинную глиняную трубку — атрибут описанного здесь шотландского двойника. Байрон не знал отца, и старый Джо Меррей, возможно, отчасти восполнил это зияние.

7. Ида: Лорд Байрон учился в школе Харроу с 1801 по 1805 год: по его словам, в первые годы она была ему ненавистна, а в последний год он ее полюбил. Доктор Джозеф Друри — директор, с которым лорд Байрон вначале вел борьбу, а позднее проникся восхищением и любовью, — оставил воспоминания об отданном под его опеку «диком горном жеребенке». Хромота была для

мальчика источником тяжких волнений: не только из-за того, что мешала принимать участие в играх и спортивных занятиях, но главным образом из-за насмешек и жестоких выходок однокашников; ему всегда приходилось доказывать, что он никому не уступает ни силой, ни храбростью. Острое чувство *amour-propre*[4] заставляло его состязаться со всеми вокруг, включая наставников, которые тоже мнились обидчиками, и порой его вынужденно отделяли от соклассников, поселяя в доме директора. Нетрудно соотнести физический изъян лорда Байрона с отчужденностью персонажа, созданного его фантазией. Харроу-скул, которую мне однажды довелось посетить и время от времени — проезжать мимо, представляет собой высокое, строгое здание на холме: оно всегда — не знаю почему — вызывало во мне чувство заброшенности и одиночества.

8. излюбленный могильный камень: Упомянутое надгробие находится на кладбище Харроу-на-Холме, близ церкви, где некогда юные ученики посещали богослужения: это плоский камень, близ которого открывается вид на долину. Его называют «камнем Пичи» — несомненно, по имени того, кто, предположительно, под ним погребен. В наши дни посетителям указывают на него как на место, где юный поэт любил искать уединения и впервые обратился к стихотворству. Как нередко случается с достопримечательностями, надгробие, в силу недоразумения, порой именуют ошибочно «могилой Байрона»; тогда как подлинная могила поэта находится в приходской церкви Хакнолл-Торкард — в его родном графстве Ноттингемшир, рядом с его предками (о чем см. далее).

9. лорд Коридон: В образе этого персонажа соединены портреты лорда Клэра, ставшего в Харроу ближайшим другом Байрона, и Джона Эдльстона — певчего в Кембридже: ему было всего пятнадцать лет, когда Байрон проникся к нему глубочайшей привязанностью. Позднее он в письме к Муру писал о лорде Клэре, что «всегда любил его (с тринадцати лет, еще в Харроу) сильнее, чем кого-либо на свете (из мужчин)». Эдпьстон был беден, и Байрон, вероятно, попытался совместить в одном лице двух юношей, наиболее близких его сердцу.

10. а иные сошли в могилу: Джон Уингфилд, соученик Байрона по Харроу, погиб в сражении. Его образ и скорбь Байрона об утрате присутствуют в рассказе о лорде Коридоне и его судьбе.

Глава четвертая
Видение Любви и ее последствия — Брака; а также о Деньгах и об их последствиях

Поместье Коридонов мало походило на поместье Сэйнов. Нетронутые дубы простирали сень над розово-красным домом, увенчанным скоплением башенок, — над арками, окнами, дымовыми трубами, цветниками и колоннадами, которые со времен Славной Королевы Бесс то добавлялись, то удалялись, то добавлялись снова. Покойный лорд — оптимист самого пылкого разбора, вплоть до полной неразборчивости, — отдал изрядную долю своего первородства Бирже, где она неимоверно возросла, обогатив его «сверх всяких алчных грез» — по крайней мере, на неделю, после чего рынок захлестнули новые известия, и богатство, чудесным образом взбухшее, не менее чудесным образом сникло (чудом это не представлялось лишь тому избранному кругу, который усердно раздувал враз лопнувший пузырь). От капитала не осталось решительно ничего: он исчез настолько бесследно, что — и в этом состояло главное чудо! — первоначальный вклад, в виде наличных Фунтов Стерлингов и золотых Гиней, словно бы испарился. Незадачливый лорд, вообразив страдания, которые навлечет его разорение на детей и обожаемую супругу, подумывал о том, не пустить ли пулю в грудь, — однако же оптимизма, в отличие от Денег, он до конца не утратил, и потому взял да и отправился домой, где в семейном кругу обрел утешение: все согласились с ним, что какой-то выход непременно подвернется, — а на следующий день, пустив лошадь вскачь следом за гончими (позднее проданными), жизнерадостный джентльмен вылетел из седла головой вперед и более уже не ведал ни о Ценах, ни об Удаче, ни о Счастливых Случайностях.

И все же опустевшее Поместье, казалось, радостно приветствовало появление визитеров — возвращение сыновей, которые, пройдя по «прихотливой светотени», приблизились к двери дома. Хозяйка — неизвестно откуда узнавшая о приезде сына — уже стояла на крыльце и, сияя улыбкой, чуть не слетела со ступеней, чтобы его обнять. Лорд Коридон подтолкнул вперед своего друга — который, не желая мешать семейной встрече, пытался со стороны понаблюдать за этой сценой, совершенно для него новой и потому достойной внимания. Леди К. обернулась к

Али, раскинув руки, точно Ангел, и со всем радушием пригласила его в дом. Вслед за ней из распахнутых настежь дверей выскочили малыши: мальчик с обручем, второй — с луком и стрелами (оба светлокожие, золотоволосые), а затем, словно по зову вооруженного забавника Купидона, возникла Фигура, облаченная в белые одежды и в ослепительное сияние своих шестнадцати лет.

«Позволь мне представить мою сестру, Сюзанну, — небрежно, будто о сущем пустяке, обронил Коридон, хотя тон этот и был напускным. — Сюзанна, мне доставляет удовольствие познакомить тебя с моим другом Али, сыном лорда Сэйна».

«Добро пожаловать, — обратилась девушка к Али нежным голоском, «что так прекрасно в женщине». — Я очень рада видеть твоего друга, о котором столько читала в письмах».

Легкое прикосновение ее руки, мимолетный взгляд темно-синих глаз, обычные слова приветствия, на которое гость не сумел найти даже самый заурядный ответ, — чувство, охватившее при этом Али, незачем и называть: оно известно даже тем, кто ни разу его не испытал, имя этого чувства вечно на устах у всех живущих. Однако смущение Али объяснялось не одной только чудесной, вековечной причиною: сходство Сюзанны с братом было столь велико, что оставалось только диву даваться. Лорд Коридон подошел к сестре, взял ее под руку, поцеловал в щеку — и оба они с улыбкой посмотрели на Али. Перед ним стояли Эрот и Антэрот, или же попросту близнецы — брат и сестра из комедии: вылитые Виола и Себастьян, неотличимые друг от друга. Это была — как Али впоследствии уяснил — их излюбленная забава: притвориться, будто они вовсе не замечают сходства между собой и не придают ему никакого особого значения; напустив на себя беспечный вид, они наслаждались замешательством Али.

«Входите, входите! — призывала леди Коридон. — Входите, вам нужно подкрепиться!» Эта восхитительная дама погнала молодежь впереди себя, точно гусыня своих гусят, и, прежде чем они переступили порог, принялась излагать ведомости домашних происшествий за время отсутствия обожаемого Сына.

Обнищание дома ничуть не уменьшило ни гостеприимства, ни веселости внутри его стен: леди Коридон, поразив соседей, недолго проносила траур, который, как она считала, был ей не к лицу, — она перестала завешивать окна шторами, изгоняющими благотворные солнечные Лучи, — и никакое сокращение Доходов не мешало ей в изобилии наполнять дом фруктами и сладостями — а также отличными восковыми свечами — и давать простор Музыке, посредством Фортепиано и детских голосов. Лорд Коридон пел под аккомпанемент сестры, Али же сидел рядом с

Сюзанной и, по ее кивку, переворачивал ноты (хотя значки оставались для него китайской грамотой): он жаждал, чтобы пьеса длилась вечно — лишь бы всегда сидеть рядом, не чувствуя за собой обязанности говорить — с чем, как он думал, справиться ему будет трудно. «Любовь питают музыкой: играйте», — сказано в помянутой комедии; и если это так, тогда оба — Коридон и Сюзанна — служили ее истинными поставщиками — вернее, бакалейщиками, — а если это не так, тогда сладости, которыми питается любовь, не нужно и перечислять — право, не нужно.

Верно, других развлечений в доме не находилось — но то, что для одиночки оборачивается источником *ennui*[5] и недовольства, в компании переживается совершенно иначе — все зависит от обстоятельств, — и дни, проведенные Али среди обитателей Коридон-холла, слились для него в сплошной блаженный праздник. Втроем они взбирались на холмы и бродили по лесу, рука об руку, — глазели, как было обещано, из окон, но поскольку делали это вместе, щека к щеке, то увиденное обладало нескончаемой притягательностью. Увлеклись и Ловлей Рыбы — бессмысленнейшим из занятий, — с удочками и сетью просиживая на берегу час, и два, и даже три в ожидании какой-нибудь несъедобной добычи, достаточно тупоумной, чтобы клюнуть на приманку, — но чаще всего ускользавшей для мирного плавания в родной стихии.

Пока они коротали досуг за ужением, Сюзанна выразила желание узнать историю Али — как он оказался среди англичан и сделался учеником Иды; но расспрашивала она столь ненавязчиво, с такой готовностью принять любой рассказ, что Али — впервые со времени прибытия на Остров — поведал все, что мог, о себе и о своей жизни среди албанских гор, о своем воинском служении у паши, умолчав только о жутких и кровавых сценах, которые, он не сомневался, оттолкнут от него это прекрасное существо. Но и без того «она его за муки полюбила», не переставая дивиться и печалиться, а «он ее за состраданье к ним». Брат Сюзанны, не менее отзывчивый сердцем, однако неизменно старавшийся теперешними отрадами вытеснить былые горести — или же попросту над ними позабавиться, — то и дело заливался смехом, тем самым не позволяя своим спутникам надолго предаваться сантиментам.

«Ты не турок и не албанец, — говорил Коридон, — и не чужеземец; твои похождения превратили тебя в пустое место: ты ни плох, ни хорош — ни рыба, ни мясо — ты чистая доска, на которой можно начертать любое имя — нанести и стереть. Вот так бы со мной!»

Али не знал, прав ли его веселый сотоварищ, но на обратном

пути к дому в душе у него затеплилась странная новая надежда. И думал он: «Если сам я — ничто, поскольку право рождения у меня отняли, тогда пусть я буду кем угодно. Выберу себя сам — и переменюсь по собственному усмотрению, когда сочту нужным».

Давать он мог любые обеты — ибо Юность смотрит незамутненным взором — хотя прозревает главным образом, какой могла бы стать. Однако же свет настойчиво усматривал в Али только одно — не дозволяя, впрочем, ни единого наглядного тому подтверждения ни в одежде, ни в манере держаться и оставляя за Али одно только Имя — имя Турка.

Ученики вскоре вернулись в школу, вместе со своими попутчиками — черными дроздами. Лорд Коридон вне дома отдыхал душой, однако Али бросал взгляды назад, словно изгнанник из Эдема, о котором прежде и не подозревал, — Эдема, где осталась Ева, с которой он разлучился. Но что же, разве не думал он о далекой Иман — не вспоминал, охваченный новыми пылкими чувствами, об этом ребенке? Ничуть — а если и вспоминал, то лишь поражаясь тому, что не вспоминает: ему еще неведомо было, что самому верному сердцу не по силам вместить два прекрасных образа (тем более, если один вдалеке, а другой поблизости). К тому же его постоянным спутником был Брат Сюзанны, Коридон, — и Али казалось, будто Личность его двоится: столь явно проступала Сюзанна в своем Брате, что юноша словно бы видел ее перед собой, слышал в его голосе ее голос, а в рукопожатии ощущал ее касание.

Ида вновь увлекла своих питомцев привычными занятиями и развлечениями, стычками и раздорами. В конце семестра Али постарался избежать посещения своего дома — где, находился там Отец или нет, единственной его заступницей была слабая громада, официально именуемая Матерью, — и вместо того вновь ступить на холмы ставшего отрадным для него графства друзей. В разгар приготовлений к визиту, когда Али слушал лорда Коридона, перечислявшего будущие забавы и празднества (близилось Рождество — а значит, невзирая на стесненные денежные обстоятельства, вполне возможными представлялись жареный Гусь и пудинг, а также катание на коньках и полено, сжигаемое в камине в сочельник), к Али явился Наставник и, отозвав его к себе в кабинет, наедине сообщил ему новость (и, надо отдать ему должное, сделал это с участливой предупредительностью) о том, что его матушка, после долгих лет болезни, покинула нашу юдоль слез и переселилась в лучший мир. Али не нашел слов в ответ, а наставник, озадаченный странным бессердечием, изобличавшим, как ему представилось, подлинную натуру и характер Али, ни словом, впрочем, об этом

не обмолвился, но предложил только всячески способствовать скорейшему, согласно полученным от лорда Сэйна инструкциям, отъезду юноши в Шотландию — в Аббатство, где Али, заверил он, «пораженный скорбью, обретет любовь и утешение»; и юноша, все еще не в силах говорить, отправился в путь.

Когда присланная лордом Сэйном карета приблизилась наконец к Аббатству, встретил наследника не отец, а Старина Джок, со слезами на глазах поведавший Али о последних днях леди Сэйн— как она молилась за пасынка — какие страхи на пороге Смерти ее терзали — и какие одолевали страдания: Старина Джок по складу своему не считал полезным или нужным скрывать эти тяжкие подробности. В самом деле, природа стирает различия между Лэрдом и его Вассалом — и шотландцы не замалчивают общий удел смертных, тогда как на Юге телесные невзгоды джентльмена и сама бренная его сущность (даже фурункулы или простуды, коли на то пошло) возводятся в особый, высший ранг: их не подобает поминать наравне с хворями слуги или трубочиста.

Оставив Старину Джока у очага, Али бросился к отцу: тот был одет в дорожное Платье и явно не имел времени отвечать на расспросы сына о женщине, проведшей долгие годы затворничества на верхнем этаже Аббатства, единственным властителем которого он теперь стал. «Могу ли я, — спросил Али, — посетить место ее погребения? Не думаю, что прошу слишком многого. Она, в конце концов, была моей Матерью».

Лорд Сэйн на минуту вгляделся в сына, словно желая установить, не делают ли из него посмешище. «У меня неотложное дело вдалеке от дома, — помедлив, ответил он, — и задерживаться мне некогда. Но, если ты настаиваешь, я пройдусь с тобой до склепа, где она упокоена со всем удобством, бок о бок со своими предками. Однако поспешим: усопшие не противятся краткости Похорон — впрочем, как я полагаю, и ничему другому они не прекословят. Ха! *Живенько, покойники!* — да тут у меня, похоже, сложился презанятнейший каламбур».

Лорд Сэйн велел оседлать лошадей — и вскоре мчался впереди во весь опор по невспаханным полям, перемахивая через живые изгороди, словно желал вышибить Али из седла или же вышибить из юноши дух — не произошло ни того ни другого, — пока наконец они не достигли старинной церквушки — столь крохотной и древней, что с первого взгляда она казалась случайным нагромождением камней, хотя на деле была творением набожных рук, построивших ее в давно минувшие времена — с алтарем, сводчатым окном и лестницей, ведущей в склеп. Церковный сторож их не встретил; Отец и Сын вдвоем

сошли в темноту, где острое зрение — одна из немногих черт, унаследованных Али, — позволило им различить изваяния прародителей леди Сэйн и новый гроб, втиснутый между прочими. Простояли они там и вправду недолго — не молились и не говорили, — хотя Али чувствовал, как в горле поднимается комок, а к глазам подступают нежданные слезы: ему вспоминались доброта покойной и ее долгое заточение в разлуке со всем, что она любила, — и вот теперь ее тусклая Свеча погасла навсегда. Неужели жизнь — только это, и ничего больше? Ждет ли нас за смертным порогом новое начало — там, где только свет, движение, сила, любовь? Она в этом не сомневалась; Али желал, чтобы для нее это сбылось.

Когда оба вновь оказались на морозном солнце, лорд Сэйн устремил взгляд на простершиеся вокруг поля, завел руки за спину и стиснул в перчатках набалдашник кнута, подрагивавшего, будто хвост (которого лорд был лишен). «Не воображай, кстати, — заговорил лорд Сэйн, — что кончина этой леди принесет тебе существенную выгоду. Ты и в самом деле законный наследник ее земель, хоть и неухоженных, но избавиться от них у тебя не больше власти, чем у меня. Сохраняя их для будущих поколений, барышей ты не наживешь, а скорее растратишь последнее».

«Мне это понятно, — отвечал Али, — и обсуждать условия я не собираюсь».

«Буду с тобой откровенен, — продолжал его Родитель, — как был во всем остальном. Когда я лягу в этом или ином склепе (хотя подобного исхода и стараюсь всячески избегать), унаследованный титул не принесет тебе собственности— вся она растрачена. У тебя за душой нет ни шиллинга, а ренты и прочих денежных сумм, что причитаются тебе с материнского поместья, окажется недостаточно для покрытия даже нынешних долгов, которые начнут поступать, как только ты достигнешь совершеннолетия. Ты заложил свое будущее ради оплаты насущных нужд, поступив необдуманно, и теперь стоишь перед лицом быстрого разорения. Не вижу для тебя другого выхода, как только препоясать чресла, отправиться в людные светские края и найти там золотую Куколку, женитьба на которой разом восстановит наше семейное благополучие».

«Не понимаю, о чем вы», — пробормотал Али.

«Очень просто: девушка на выданье с двумя или тремя тысячами годового дохода, — пояснил лорд Сэйн. — Не обманываю себя насчет успеха твоей охоты на этом поле: несомненно, что даже наименее подходящие особи этого золотоносного племени предпочтут видеть мужем англичанина

или, по крайней мере, представителя народа, им ближе знакомого. Однако охотник смышленый и находчивый найдет чем поживиться. По возвращении я предложу тебе Список, и ты сможешь присмотреться, с какой мишени начать».

С этими словами его светлость взялся за уздечку, с камня у церковной двери вскочил в седло — и ускакал, не попрощавшись с сыном и не дожидаясь, что тот за ним последует; Али не слишком был задет подобным прощанием — на большее он и не рассчитывал.

В этот раз Али ничего не возразил отцу, но отправляться в погоню за фортуной ни малейшего намерения не имел. Если он и решился бы помыслить о женитьбе — которая в его представлении была равносильна путешествию на Луну или обмену головами, — то единственным предметом его мечтаний стала бы Сюзанна. Однако Али никак не в силах был вообразить себя перед алтарем — или за переговорами о приданом — или его получающим, — хотя и знал, что все это дела самые обычные и заурядные, которые происходят повседневно. Ему известно было, что Державы заключают между собой Договоры, Короли отрекаются от Престолов, Морские Ведомства вербуют Матросов — но все это никак не касалось ни его самого, ни его дорогих друзей. Али не догадывался — не мог и вообразить! — что кроткая девушка, о которой он не переставал думать, с легкостью рисовала себе картину, для него немыслимую, — правда, не отваживаясь ни намеком, ни действием приблизить ее воплощение. Она не менее точно, чем лорд Сэйн, знала, какую цену дадут на рынке ей и ее приданому, и ясно понимала, что союз с нею мало чем поправит финансовое положение Али, о котором также была осведомлена (даже чистейшие женские души способны на подобные расчеты, как способны сыграть сонату Скарлатти или спеть песню Мура — это умение весьма часто входит в число их достоинств). Брат Сюзанны мог подтрунивать над тем, что Али с ней неразлучен, рассуждать о неминуемом обмене кольцами, о долгой супружеской жизни — ежеутреннем завтраке в неугомонном кругу мал мала меньших детей — и прочее, и прочее, но Али и Сюзанна отмахивались от его шуток и продолжали гулять вместе, «в раздумье девственном», хотя, возможно, и не «чуждые страстям». Али не желал, чтобы время остановилось и его Эдем пребывал вечно (ибо не таков удел Эдемов): душе его было еще неведомо, что неостановимое течение Времен захлестывает самые драгоценные наши достояния. У него не было оснований предполагать, что нынешнее его состояние переменится: он вовсе не желал, чтобы оно менялось. Потому и вечна Юность: это тихий вертоград,

всеобщий исток — и таким мы помним его, когда поток уносит нас далеко-далеко.

Так медленно сыпался песок в клепсидре Али — если сменить водяную метафору на земную, — и юноша не считал песчинок. Он вытянулся, сделавшись стройным как тростинка: ужинать он забывал, если его не звали к столу или не ставили перед ним тарелку. В Иде он обучился спортивным состязаниям, знакомым его сотоварищам с малолетства, и стал первенствовать во многих. Али научился плавать и почитал себя первым из охридского племени, кто овладел этим искусством: в холодном потоке, протекавшем мимо подножия Иды, он превзошел даже Коридона, который ранее обгонял всех. Один за другим он одолел и школьные семестры — и однажды, 6-го июня, в последний раз декламировал перед Наставниками и Гостями: Али, выбрав монолог Эдмунда из «Короля Лира», искусно подражал манере Юного Росция, блиставшего тогда на лондонских подмостках. «Побочных сыновей храните, боги!» — воскликнул он нараспев, завершая тираду, что во всеуслышание провозглашает намерение бастарда покончить со своим законным двойником, отобрать у брата земли и присвоить исключительно себе любовь Отца.

Случилось так, что в тот самый день подлинный, или природный, Отец Али спасался из Лондона бегством вследствие провала его планов.

Мы уже замечали, что «Сатана»-Портьюс, преследуя свои желанья, едва ли перед чем останавливался, — однако душа его была устроена так, что, после долгих раздумий над преступным замыслом или вымогательством, он вполне был способен в коротком приступе ярости или из-за вспышки гордости мгновенно все разрушить. По Сити гулял рассказ (Али слышал его — и не однажды, и не из единственных уст) о том, как лорд подговорил некоего бедствующего авантюриста изобразить внезапно объявившегося наследника немалого состояния; натаскивал его месяцами, приучая к новой роли, — без устали хлопотал, занимаясь подделкой документов и привлечением лжесвидетелей, — и, когда затея уже готова была вот-вот увенчаться успехом, его — из-за какого-то ничтожного пустяка — охватил гнев на подопечного — в поведении которого он усмотрел непочтительность — спор вышел то ли за карточным столом, то ли в борделе — тотчас же обнажились шпаги, и Сэйн уложил малого на месте, к собственной крайней невыгоде, что сознавал прекрасно; однако, уверяли самовидцы, во взгляде лорда читалось жуткое упоение содеянным — кровь застыла у них в жилах и вовек уж не согрелась — словно крах надежд доставлял лорду ничуть не меньшее наслаждение, нежели гибель

противника, — словно он упивался именно своим крахом. Да — перешептывались его приспешники, пока, повинуясь его приказу, скрывали следы преступления, — да, пред нами сам Сатана, вечный отрицатель!

Неизвестно, каким планам, удачно или нескладно задуманным, не пришлось созреть в настоящем случае, но лорд Сэйн устремился на далекий Север, к своему логовищу. Сначала, впрочем, он остановил карету в Иде, чтобы забрать оттуда сына. Он застал его среди Соучеников, все еще облаченных в костюмы персонажей, которых изображали на дневном празднестве: они разбрелись по зеленым лужайкам подобно блаженным в Элизиуме, — удивительное зрелище, на которое лорд, впрочем, внимания не обратил. Его сын стоял в костюме Эдмунда бок о бок с лордом Коридоном, не принимавшим участия в спектакле, рядом стояла Сюзанна — и вот на них, в сиянии ясного дня, упала длинная тень лорда Сэйна. Али со странной неохотой представил друзей отцу: те откликнулись на приветствие, словно не замечая набежавшей тени, — а лорд Сэйн пожал им руки с оживлением и интересом, от которого, как Али почувствовал, повеяло еще большим холодом. «Нам пора, — обратился затем лорд к сыну. — Прочь этот маскарадный наряд, надень дорожное платье. По дороге нам нужно многое обсудить».

Хотя во время знакомства лорд Сэйн и не выказал особого интереса к спутникам Али, в карете, катившей на Север, он очень скоро с озабоченным видом принялся за расспросы об этом семействе.

«Лорд Коридон еще не достиг совершеннолетия, — пояснил Али. — Его сестре Сюзанне всего семнадцать». Сюзанна! Одно упоминание ее имени в присутствии отца казалось Али делом рискованным, хотя он и не смог бы объяснить почему.

«Коридон, — повторил лорд Сэйн таким тоном, словно вытаскивал это имя из глубокого колодца. — Его отец был пятым лордом».

«В этих числах я не силен», — заметил Али.

«Я знал его немного. Он держал деньги в Фондах и ирландских закладных, довольно надежных; но послушался дурного совета и вложил состояние — почти целиком — в вест-индские акции и разорился дотла. Не так давно погиб от несчастного случая. Это он?»

«Понятия не имею о его делах, — отозвался Али, — но это он».

«Что ж, семейство на краю полной нищеты, — заключил Сэйн. — Они бедны как церковные мыши; девушка не получит и

шиллинга. Нет-нет, это нелепость. Я тебе ясно изложил, что твоей избраннице нужно обладать значительным приданым, а иначе ты в ее сторону и смотреть не должен. Нет необходимости повторять это дважды».

«Прошу прощения, — негромко произнес Али. — Однако не вижу смысла следовать этим предписаниям. Я их отвергаю. И не намерен выбирать из вашего Списка».

Лорд Сэйн столь же ровным голосом осведомился у сына, отчего он так уверен и не сделал ли выбор сам. Али ответил отрицанием и устремил взгляд за окошко. Оспаривать очевидную истину он не мог: богатства в его дом Сюзанна не принесет, зато она принесла бы нечто куда более ценное — свет, веселость и доброту, которых хватило бы, чтобы разогнать давящую мрачность, нависшую над Аббатством со всеми землями и службами, — вытряхнуть, словно из пыльного ковра, веками копившуюся угрюмость.

Сэйн поинтересовался также, чем намерен заняться молодой Коридон, которого он с холодной иронией назвал *нынешним* лордом. Собирается поступить в Университет? Али полагал иначе: амбиции юноши были обращены к Армии, где не одному представителю его рода удалось сделать карьеру и где у него были неплохие виды на будущее. Сэйн умолк и Али, которому начало казаться, что тот задремал сидя, встрепенулся от неожиданного вопроса: какой из двух Университетов выбрал он сам? Али ответил, что над этим еще не задумывался: втайне он полагал, что вряд ли такой выбор придется по нраву отцу — скорее наоборот; и что его тоже отправят в Армию, по стопам отца и деда, снискавшего там репутацию, которую сыну не до конца удалось опорочить.

«Нет, — заявил лорд. — В ожидании крупного барыша на расходы мы не поскупимся. Основательное образование — это хорошее Вложение Капитала. Лучше покупки акций на Бирже. Получи степень — она во многих делах сослужит тебе добрую службу». При этих словах лорд как будто улыбнулся сыну, хотя у «Сатаны»-Портьюса это обычнейшее из проявлений чувств слишком отличалось от привычной улыбки и производило совсем иной эффект. Лорд, однако, более ничего не добавил, сложил свои громадные руки на поясе и наконец-то погрузился в сон.

Примечания к четвертой главе

1. Виола и Себастьян: В комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» — брат и сестра, выброшенные кораблекрушением на побережье Иллирии, иными словами — по странному совпадению — Албании, хотя Бард наверняка об этом не подозревал. Лорд Б. обладал обширным, но, возможно, не слишком глубоким знанием Шекспира: в письмах он постоянно цитировал шекспировские строки (или части строк); однако в прозе это может показаться недостатком.

2. о последних днях леди Сэйн: Для доказательства того, что данная рукопись является черновой, достаточно указать на то, что леди, о смерти которой здесь сообщается на первой странице романа — в ночь, когда был убит ее супруг, — здравствует, хотя лишена рассудка и живет в насильственном уединении. Лорда Б. обычно считают торопливым и даже небрежным автором, но даже беглый взгляд на начальные страницы обнаружил бы этот вопиющий промах — из чего становится ясно, что к строкам, написанным ранее, он не возвращался. И все же писал он хотя и быстро, но обдуманно. В моей чистовой копии многочисленные поправки, пометки и вставки оригинала не сохранены, но в остальном я ничего не меняла — не исправляя даже грамматические погрешности.

3. старинная церквушка: Байроны похоронены в склепе Хакноллской церкви, поблизости от Ньюстеда. Лорд Б., явно утрируя, изображает ее нагромождением камней, однако церковь и на самом деле пребывает в плачевном состоянии и лишена особой привлекательности. Я сошла вниз под своды, как и герой лорда Б., — взглянуть на лежащих в полумраке бок о бок его и моих предков. Возложила на него руку — вернее, на вместилище его земной оболочки. Смерти я никогда не страшилась — как и он.

4. не принесет тебе собственности: Получить старинный титул, не имея средств поддерживать его на должной высоте, — незадача существенная: лорд Б. не единственным испытал это на собственном опыте. Нынешнему лорду Байрону, адмиралу и камергеру Ее Величества, не досталось в наследство ровно ничего из собственности моего отца, целиком перешедшей к моим матери и тетке (сводной сестре лорда Б., миссис Ли); вся недвижимость была потеряна задолго до этого. В юности я питала глубокую признательность к нынешнему лорду: моя мать, изнуренная частыми болезнями, не всегда могла уделять внимание моим нуждам, и лорд, не жалея времени, заботливо

меня опекал. В его характере нет ни одной родовой черты: ровно ничего от двоюродного брата — моего отца — и от его отца, «Полоумного Джека» Байрона.

5. золотая Куколка: В свете поговаривают, будто мой отец пытался упрочить состояние и поправить свои финансовые дела, крайне запутанные, посредством брака по хладнокровному расчету с моей матерью, которая обладала небольшим капиталом и имела виды на будущее. Однако, если верны мои выводы из собственного расследования, я склонна утверждать, что лорд Б. полагал себя более обеспеченным, думая, что продаст Ньюстедское аббатство за сотню тысяч фунтов или выше и, следственно, будет располагать значительной суммой перед женитьбой на мисс Милбэнк. Лишь позднее, когда продажа Ньюстеда оказалась куда менее выгодной, а после кончины матери леди Байрон ее наследство было разделено между супругами, лорд Б. ощутил, насколько укрепилось после женитьбы его положение. Для вступления в брак он руководствовался иными причинами, хотя какими именно — мне объяснить затруднительно.

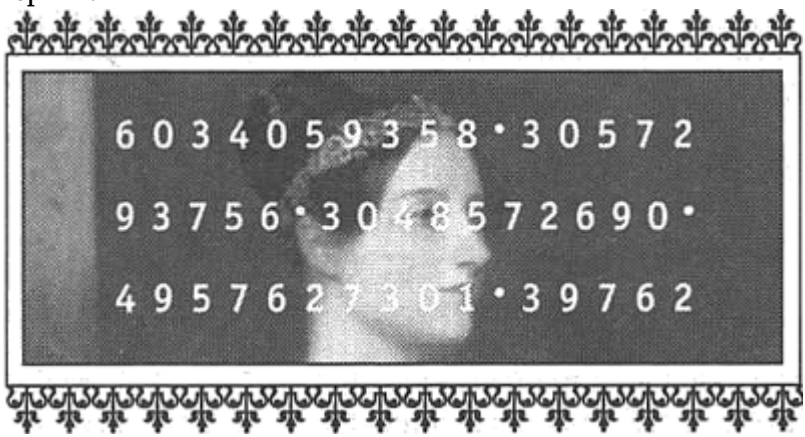
6. «в раздумье девственном»: «Сон в летнюю ночь» Шекспира. О цитатах см. примечание выше. Не исключено, что некоторые строки Барда ускользнули от моего внимания, другие же настолько у всех на слуху, что, видимо, не нуждаются в комментировании.

7. стройный как тростинка: Лорд Байрон, по рассказам людей, близко его знавших, имел склонность к полноте, которой страшился, и для борьбы со своим природным свойством придерживался строгой диеты, питаясь салатами из холодных овощей, залитых уксусом, и запивая их некрепкими винами, смешанными с содовой водой и пр. Многие современные девицы, преследуя ту же цель, вряд ли сумели бы выдержать столь суровый режим.

8. стал первенствовать: Мне известно, что лорд Байрон, несмотря на хромоту, играл однажды в составе команды Харроу из одиннадцати человек против Итона на собственной площадке для крикета и показал себя с лучшей стороны. К широкой молве о его способностях пловца добавить здесь нечего: более знаменит один лишь Леандр, чей подвиг лорд Б. повторил, переплыв Геллеспонт. Мне на воде не удержаться — и, если я в ней окажусь, меня ждет участь Офелии, однако я с легкостью умею скользить по поверхности той же воды, когда она находится в другом физическом состоянии, — и не уступаю в этом признанным мастерам.

9. Юный Росций: Говорили, что Уильям Бетти, актер-ребенок

(в действительности — подросток), красота и талант которого столь очаровывали наших бабушек и дедушек, имел внешнее сходство с моим отцом, хотя спектакль с его участием в Лондоне оставил лорда Байрона, по его собственному признанию, равнодушным. Лорд Байрон, несомненно, отличился на прославленных выступлениях в Харроу, в актовый день. Можно сказать, что он всю жизнь играл самого себя и остался в этой роли непревзойденным — хотя многие впоследствии пытались ее примерить.



От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Романа нет
Ли:

Вот, плохая новость. Романа нет — уже нет.

Похоже (почему так говорят, когда есть новости, особенно плохие? «Похоже» — а на самом-то деле так оно и есть? «Похоже, ваш отец скончался». «Похоже, вы проиграли». Ну, как в старых анекдотах: «Этот лев, похоже, пошел в бар». Ладно, проехали) — похоже, что, умирая, Ада сдалась и все отдала матери. И, судя по письму, которое я обнаружила в архиве Лавлейсов, тогда роман и сожгли. Письмо я для тебя отсканировала: почерк трудный, но наберись терпения и подумай: как, по-твоему, то ли это значит, что я думаю.

Вложенный файл: adal2.tif

Любимая моя Квочка я не могу больше писать пером и чернилами возьму карандаш твои преданные глаза прочтут что я написала хотя никто другой не сможет. Дорогая моя я противилась глупо и так долго а теперь больше не могу и не должна. Ты говоришь что не поверишь

мне (если не убедишься собственными глазами что рукопись сожжена) но Уильяму-то поверишь. Я попрошу его присутствовать. Он тоже настрадался из-за моего упрямства и я раскаиваюсь хотя и не только из-за этого. Теперь я понимаю что так и надо и ты права что этого у меня требуешь просишь Ты рукописи не читала и не надо т. к. в ней нет ничего что нужно знать будущему и я почти уверена что и не следует О как же я устала и какая страшная боль Я противилась твоей заботе обо мне но больше не стану поверь мне не стану Ты говоришь что в моих страданиях есть некий смысл ионе том чтобы я не сожалела о потере того что составляет эту жизнь а не ту. Не знаю в этом ли причина того что выпало на мою долю но дорогая моя Квочка я не могу найти никакой другой причины и под конец смиренно соглашаюсь с тобой. Только хотелось бы думать что я уже выучила свой урок и м.б. отпущена на свободу

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Романа нет

Я думаю, письмо именно то и означает: Ада сожгла рукопись романа, так как этого хотела ее мать. Квочка — прозвище, которое она дала матери. Ада, ее мать и ее муж (Уильям, помянутый в письме) в порыве нежности давали друг другу птичьи прозвища. Ада, как тебе известно, умерла от рака матки и, очевидно, жестоко страдала. Охотно верю, что мать внушала ей мысль, будто страдание послано ей для душевного блага.

Не знаю, что и сказать. Надеюсь только, что рукопись не представляла собой ничего серьезного — так, несколько разрозненных страниц. Хотя примечания Ады, которые ты прислала, если я правильно их прочитал, указывают на нечто довольно основательное. У меня такое чувство, будто ждал ребенка, а он родился мертвым.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹ariovak@strorigwomanstory.org›
Кому: tnovak@metrognome.net.au
Тема: RE: RE: Романа нет
Ли,

Судя по письму, мать Ады даже и не читала рукописи. Так? Стала бы она просить Аду сжечь роман, если даже его не прочитала? Откуда ей было знать — а вдруг он вполне безвреден? И вообще, рукопись ей не принадлежала. Может, мы ошибаемся? Ада пишет — ее мать не поверит, что рукопись сожжена, пока не убедится в этом собственными глазами, так как подозревает, что Ада ее спрячет. Может, Ада так и сделала.

С

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема:
С,

Нет, мы не ошибаемся.

Тебе ведь известно, что леди Байрон — мать Ады — вступила в сговор с издателем Байрона Джоном Мерреем, его другом Джоном Кэмом Хобхаузом, еще одним другом и биографом Томасом Муром, и они вместе сожгли записки лорда Байрона, которые она даже не читала — читал, собственно, один только Мур. Юридически рукопись принадлежала Августе Ли, сводной сестре Байрона; однако леди Б. запугала ее и вынудила дать согласие: она уже убедила Августу, что второй такой черной грешницы свет еще не видел — впрочем, первое место занимал сам Байрон. Заговорщики собрались у Меррея и, якобы ради самого автора, сообща предали огню рукопись человека, которого, по собственным словам, любили, — рукопись, прочитанную только одним из них: самый вопиющий литературный вандализм столетия (у меня он, во всяком случае, вызывает наибольшие сожаления). А все из-за леди Байрон: она опасалась, что муж изложил историю брака со своей точки зрения, а значит — лишил ее возможности и дальше подтасовывать факты.

И вот что я тебе скажу. Один из родителей Ады и в

самом деле был чудовищем, но это не отец — это ее мать. Достойных сравнений я не подыщу — разве только вспомню кого-нибудь из персонажей готических романов. Впрочем, она из породы злодеев не романтических, а викторианских: гроб повапленный; благообразная особа в черных шелках, с тихим голосом, не терявшая самообладания ни при каких обстоятельствах — воплощение самодовольства, лицемерия и чудовищной душевной жестокости, маскируемой словами о религии, нравственности, «возвышенных» чувствах и «чистых» помыслах. Деньги ей были нужны, чтобы держать под контролем тех, кто от нее зависел или хоть раз принял ее помощь, — хотя себе она в этом никогда не признавалась. Она доверительно сообщала десяткам своих конфидентов о мнимых пороках и склонностях Байрона — и каждый из них, независимо от пола, почитал себя единственным, кто посвящен в эти тайны. Поразительно, скольких людей она заставила ползать перед собой на коленях, скольких довела до самоуничижения. И вот что еще замечательно. Леди Байрон питала острый интерес к образованию (черта, и прежде и теперь свойственная подобной породе) и с большой охотой учреждала исправительные школки, где на детях «достойных бедняков» проверялись новейшие теории, а те в ответ должны были всячески выказывать нижайшую благодарность; интересовала ее и тюремная реформа: она ухватилась за идею Паноптикона Иеремии Бентама — чудовищное соединение общественного контроля и высокой нравственности. Паноптикон — это тюрьма (да ты, вероятно, знаешь — у социологов это притча во языцех): круглая башня, в которой одиночные камеры расположены по внешнему кольцу и находятся под постоянным наблюдением из центрального пункта. Охранники могут видеть заключенных, а узники, благодаря специальному освещению и особой системе жалюзи, тюремщиков не видят: они знают, что в любую минуту за ними могут наблюдать — но не имеют понятия, происходит ли это прямо сейчас, и поневоле делают вывод, что наблюдают за ними неусыпно. Заключенные не могут видеть друг друга и общаться между собой, а вот тюремщики все время могут держать в поле зрения каждого. По мысли Бентама, для контроля более ничего не требуется. Нечто вроде ока Господня: Он видит нас всегда, пребывая

невидимым. Или, по словам Эдмунда Берка, ненавистника рационалистических схем, подобных этой: так паук сторожит паутину. Око Всевышнего, паук: понятно, почему идея пришлась леди Байрон по душе. Так она и жила: каждый узник у себя в одиночке, и все под надзором. Так она и карала преступления или пороки, в том числе — своего супруга: давний, незабытый, непростительный.

Мы не ошибаемся. Ада пишет, что поручит Уильяму подтвердить сожжение рукописи. Почти что до самого дня смерти Ады — когда ужасная душевная жестокость леди Байрон в конце концов отвратила даже его — Уильям был заворожен тещей и делал все, чтобы только ей угодить. Прочитай книгу Дорис Лэнгли Мур «Покойный лорд Байрон». Прочти не откладывая. Она надрывает сердце.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Неверно

Т

Ну вот — то, что я тебе рассказала о супружеской жизни Байрона — не совсем верно. Неверно, в сущности, от начала и до конца. Я прочитала книгу по рекомендации Ли. Это просто Бастинда какая-то. Она так ужасна, что ее просто нельзя не простить: человек не может быть настолько ужасным, если у него нет какого-то психического вывиха. Не знаю какого.

* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Неверно

Насчет кого неверно ада байрон мамаша байрон все чохом кто ужасный

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: RE: Неверно

Не Ада. Леди Байрон, ее мать. После развода она только и делала, что разыгрывала праведницу. Подчиняла и калечила всех, кого любила (думаю, что по-своему действительно любила), лишь бы склонить на свою сторону. Ада с первого дня была при ней, и она всячески старалась держать ее в неведении насчет отца, пока не пришло время посвятить и дочь в тайны его непотребств. Более всего она боялась потерять Аду — не физически, а духовно — если та перейдет на сторону отца. Знаю, о чем ты сейчас подумала, Теа, но ведь ты-то знаешь, что у меня все не так: моя мама не может ничего замышлять против кого-то или ради кого-то — даже себя, даже меня.

Понимаешь, чем больше я узнаю про Аду, тем меньше мне кажется, что она чего-то достигла, и тем сильнее я ее люблю. Не думаю, что она была Сильной Женщиной. Вот ее мать — да. Ада не так уж много сделала из того, что, как она полагала, могла бы сделать, только ведь в конце концов неважно, что ты хотела сделать или думала, что могла: важно лишь то, что тебе удалось, и не имеет значения, что ты думаешь о своем труде, — важно только то, что есть на самом деле. Господи, мне ли не знать, — и ты понимаешь, о чем я.

Но я ее люблю. Трудно ее не любить. За тщеславие, за ошеломительные надежды, за предвидения того, что станет возможно в будущем, — проницательные и точные, хотя никаких доказательств у нее не было, настоящие ученые говорили совсем другое.

И за ее сумасбродство. И за ее ужасные страдания, и за то, как она держалась. Она была чокнутая. И напоминает мне тебя.

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: полегче
Приоритет: Нормальный

напоминает мне тебя с чего бы это мне она меня не напоминает помоему ты от меня отрываешься ну как

воздушный шарик вырывается из руки так и со мной было в Стэнфорде да ладно просто пиши мне обо всем

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: полегче
Приоритет: Нормальный

Да нет, она вовсе тебя не напоминает — и никого, кто на тебя похож. Не знаю, почему я так написала. Может, она мне напомнила меня саму. Когда она была совсем маленькой, то выдумала науку Летологию. Ей не давали читать ни рассказов, ни сказок, ни — тем более! — поэзии: а вдруг разовьется (предполагаемая) склонность к умственным отклонениям, психопатии или чему там еще, которую Ада могла унаследовать от отца. И вот, вместо мечтаний о всяком таком, Ада мечтала о науке. Об Искусстве Летания. Изучала крылья мертвых птиц, чтобы выяснить, как у них все получается, устроила лабораторию под названием «Летучая Комната» — натянула там веревки с блоками и поставила какой-то «треугольник». Делала чертежи и рисунки, мастерила крылья из бумаги, хотела соорудить летающую лошадь на паровой тяге (она любила лошадей), чтобы внутри сидел водитель-пилот, — и тогда она, вроде почтового голубя, собирала бы и доставляла бесчисленную корреспонденцию матери. Одно время она подписывала письма «Аннабелла Почтовый Голубь». Почему, когда я это читаю, хочется плакать?

Как раз подумала о тебе. Ты взялась за математику, когда все были против, но тебе было наплевать. Может, и не наплевать, но ты все равно взялась. Теа, я люблю тебя. Вот сейчас мне ужасно хочется уткнуться тебе в шею и поплакать. Знать бы, отчего, но это неважно.

фСмит

* * * * *

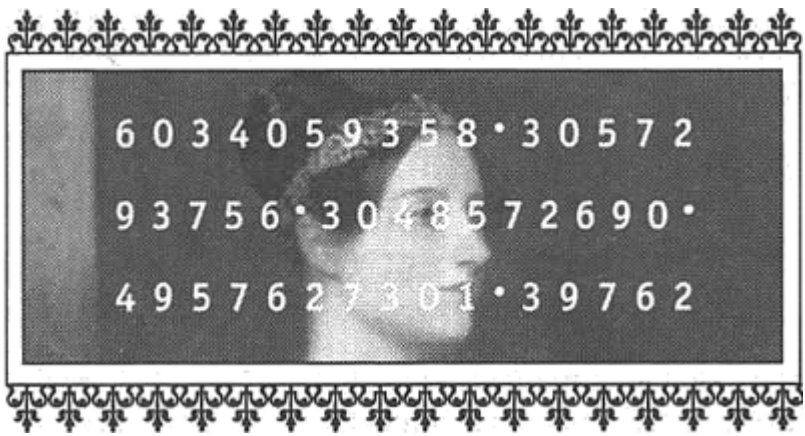
От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: плакать

хочешь уткнуться мне в шею или еще куда ну не плачь ты же знаешь что тогда со мной творится

она тебе напоминает тебя потому как у тебя отняли отца поделом ему и то что с ним связано нельзя было обсуждать а надо бы теперьто мне ясно надо бы

ну вот я же с тобой с тобой и останусь а потом ты вернешься и обнаружишь что я такая как и была просто я вот круто будет надеюсь потому как все что у меня есть это я

m



Глава пятая,
в которой все надежды рушатся, а любовь гибнет

Над выбором Университета, в котором Али должен был *завершить свое образование,* размышлять почти не пришлось, и потому ходу его занятий в этих Афинах на Болотах не стоит уделять внимания больше того, какое он уделял им сам — или, лучше сказать, нежели уделяет им обычный родовитый студент, поскольку Али временами с удовольствием узнавал то, чего не знал в Иде, — хотя порой отличался в навыках механического запоминания, умении выучить заданное «назубок» (на какой именно зубок, впрочем, неясно) — а где потом сохраняется выученное с неохотой, сказать не берусь. Среди однокашников Али выделялся не одной только занятной привычкой то и дело заглядывать в том древнего или современного Автора — но тем не менее эта его странность бросалась в глаза.

Что касается обычных предметов курса, предложенного Родовитым студентам, то Али, раз уж ему выпало ступить на тропу, дотоле ему не знакомую, отнюдь не был в числе отстающих. Говорят, что Тюремное Заключение пагубно влияет на личность: узник, постоянно общаясь с другими Сидельцами и беседуя на вполне определенные темы, может выйти на свободу куда более закоренелым Преступником, нежели до ареста. То же справедливо и в отношении наших университетских Выпускников — по крайней мере, тех, кто явился туда лишь слегка развращенным, но уже готовым пуститься во все тяжкие. Али скоро овладел всевозможными искусствами: откупоривать Бутылки и расшвыривать Пробки; просыпаться — после не удержавшихся в памяти похождений — в чужой комнате; быть единственной опорой молодых женщин, обитавших по соседству под покровительством пожилых особ и остро нуждавшихся в Благотворительности, понимаемой в самом широком смысле. Главным изъяном Али при этих занятиях — в особенности последнем — оказалась сила чувства, которое, помимо его воли, не распылялось, а сосредоточивалось на чем-то одном, что причиняло ему больший урон: он готов был чуть ли не вселенной пожертвовать ради того, что вдруг представилось ее средоточием, и эта-то преданность (прямая, в сущности, противоположность Либертинизму) грозила порой перейти в одержимость, которую сотоварищи наблюдали с почтительной насмешливостью,

принимая во внимание, на какие Предметы он обращал свой пыл.

Тогда Али, после разгульного и слишком уж затянувшегося пирования в кругу сотрапезников (а им, равно как и сотрапезникам, дела до него было мало), отправлялся верхом в уединенное место — к тихой заводи, образованной змеистым потоком, который пересекал округу, — и там, в холодных струях, обретал очищение своей запятнанной души — и лишь тогда позволял себе вспоминать о далекой Сюзанне и о ее брате: вестей от них он почти не получал, поскольку руке юного лорда шпага и пистолет сделались к тому времени гораздо привычней пера. Но и в переписке с Сюзанной случился перерыв: сначала Али это мучило, а потом все подзабылось под наплывом новых занятий, поглотивших его с головой, — разрываемый ими, он почел за лучшее не предаваться мыслям о таком существе, каким была Сюзанна, или даже вовсе отгонять их от себя. И когда Али было доставлено послание, начертанное ее рукой, он, прежде чем распечатать, смутился от укора совести за проявленное, по меньшей мере, небрежение.

«Дорогой мой Али, — начиналось это письмо. — Вы многими сердечными словами и поступками выказали самые добрые чувства к моему брату и ко мне, а также, надеюсь, к моей семье, и потому я пишу вам о наших незадачах и о тяжелых временах, выпавших нам на долю, — в надежде, что рассказ мой не слишком больно ранит вашу *чуткую и отзывчивую душу,* — хотя боязнь именно этого, думаю, и удерживала меня до сих пор от пера. О Господи — вижу, что все еще вожусь с *предисловием,* а вы, наверное, уже ищете страницу, на которой изложены мои новости. Должна сообщить, что Коридон-холл сдан в аренду Банкиру, обуреваемому желанием сделаться Лендлордом, а на каких условиях сдан — не стану делать вид, что они понятны мне до конца. Мой дорогой брат мог бы это предотвратить или же заключить сделку, связанную с нашим родным гнездом, более выгодную (или хотя бы менее *рискованную*), нежели мы с моей бедной матушкой, но он сейчас далеко от дома. О мой дорогой Друг, вам известно столь немногое, и для того, чтобы вы вполне могли уяснить нашу участь, мне, видимо, нужно вернуться к *дальним истокам* нынешних событий. — Начну с того, кого мы так нежно лелеем в наших сердцах: Мой брат, поступая на службу в Полк, рекомендованный ему всеми друзьями и наставниками, имел все основания ожидать, что полк будет расквартирован неподалеку, дабы он и впредь нес двойное служение — я бы сказала даже, *тройное:* как сын, брат и глава Дома — выполняя одновременно свой воинский долг; среди его однополчан, а также среди высших чиновных Кругов, причастных к армейским

Ведомствам — уточнений у меня не спрашивай, — нашлись те, кто знал о нашем положении и желал посодействовать. Поначалу так оно и вышло — однако потом — понятия не имею, как, и до причины доискаться не в силах — прежнее сочувствие постепенно улетучилось. Полку брата было предписано направиться на Полуостров (разумею Пиренейский): он обратился к Начальству, где прежде встречал поддержку, однако обнаружил, что все переменилось. Брат просил, нельзя ли сделать для него исключение и освободить от общей повинности — принимая во внимание трудности, какие навлечет на нас и на младших братьев его отъезд, — но его никто не захотел слушать — двери, прежде распахнутые перед ним настежь, захлопнулись — прежних доброжелателей не оказывалось дома или же они были заняты другими делами — словом, все обращения разбивались о глухую стену. И вот его нет с нами, дорогой Али, — наше Солнце, источник тепла и света, ныне где-то на Юге — а мы, оставшиеся здесь, твердо намерены исполнять свой Долг, как он исполняет свой. Но в чем наш Долг состоит? — Что ж, теперь, выходит, в Развлечениях — в том, что 1500 обитателей душных комнат (тут я подразумеваю Светское Общество) полагают Развлечением, — а по мне это тяжкий и утомительный труд, ежедневно причиняющий тем, кто его на себя взвалил, столь же непосильные муки, что и Землекопам или чистильщикам Конюшен. — Сказать проще: мы с Матушкой сняли домик в Бате на сезон и каждый день отправляемся на прогулку — людей посмотреть и *себя показать*. — Дорогой мой Друг, позвольте не вдаваться в описание этого предприятия, цели которого должны быть вам очевидны, если вы вспомните о нашем положении — моем и нашего Дома, сохранить который — моя обязанность, как и обязанность всякого. Уповаю, что ваше мнение обо мне пребудет неизменным, к чему бы ни принудила меня Необходимость, — хотя я и опасаюсь обратного. — Помните, *о вас* я самого высокого мнения, как и прежде, и оно навсегда останется таким, что бы ни случилось. И кто знает — я все же дочь своего Отца — я верю, что, как он любил повторять, какой-нибудь выход да подвернется и переменит нашу судьбу к лучшему».

Письмо Сюзанны заканчивалось задушевнейшими из пожеланий, однако постскриптум поразил Али острее ножа: «Не знаю, как так оказалось и что это предвещает, но имя *лорда Сэйна* неоднократно упоминалось в связи с братниными мольбами, а равно и с претензией Банкира на аренду нашего дома. Как странно!»

Лорд Сэйн! Али не более, чем Сюзанна, способен был взять в толк, что означало имя отца, проникшее, подобно червю в бутон,

в семейные дела Коридонов, если вообще что-то значило; однако с ответом на письмо он медлил и медлил. Много дней подряд он терзался раздумьями — брался за перо, начинал писать и тут же рвал бумагу — корил себя, проклинал, обзывал дурнем — и все-таки не мог связать двух фраз. Али понимал, что у него нет ничего, кроме слов, — а поскольку за ними стояла пустота, они были никчемнее песка для просушки чернил. *Мужайтесь*, писал он — или: *Я никогда вас не покину*; или: *Мое сердце, как и моя рука, навеки принадлежат вам,* — а потом комкал лист с этими беспомощными признаниями, которым не в силах был противиться, и швырял его в огонь. Так длилось довольно долго, пока Али не впал в отчаяние и — рискуя быть отчисленным на время или окончательно исключенным из Университета — вскочил в седло и помчался через всю страну, чтобы предложить Сюзанне — но что? При каждой остановке он задавался вопросом: что должен он ей предложить? Преданное сердце и надежная рука — на свете нет ничего нужней и бесценней — однако не всем бедам способны они противостоять. На полдороге, потерпев поражение от самого себя, Али повернул назад. Вновь оказавшись в своем углу, он довольствовался письменным ответом — но душа его была неспокойна. Писем от Сюзанны не приходило, и миновала не одна неделя, прежде чем он уверился, что их и не будет, что из-за своего бессилия другого он и не заслуживает, — Али уже готов был по окончании семестра покинуть Университет, и тут из Бата доставили новое письмо.

«Дорогой мой Али, — прежним обращением начиналось послание Сюзанны, и при этом приветствии краска горячего стыда прилила к щекам Али, так что с минуту он не в состоянии был читать дальше. — Порой и впрямь случается, что горчайшие скорби настигают нас, когда *Счастье* кажется ближе всего — или даже сбывшимся: так, видимо, произошло и со мной. Не знаю, как написать вам то, что должна: скажу прямо — хотя и думала, что умру на месте, узнав эту новость. Али — мой брат Коридон мертв. Едва добравшись до Тахо и еще не успев послужить королю и стране, он свалился в лихорадке, сгубившей немало наших воинов, которые ступили на землю той страны — *проклятой* страны… Нет! Мне нельзя жаловаться, мне надо запастись терпением и выдержать это испытание, иначе умру! Его нет — мы не увидим его больше — и от меня осталась только половина, а *одной половине* вряд ли суждено выжить. Надеюсь только, что мое новое положение — а прежнее должно вскоре перемениться — хоть отчасти поможет мне забыться, пусть ненадолго. Это и есть то Счастье, о котором я говорила: я выхожу замуж. И это *наверняка* счастье: именно так описывают

замужество — и я уверена, что, хотя будущее и не влечет меня отрадными предвкушеньями, все-таки само *положение* может принести удовлетворенность — вернее, *должно*, поскольку выбора у меня нет. Джентльмен, которому я отдала свою руку, — тот самый, кто занимал Коридон-холл все эти месяцы, — имя его, вероятно, вам известно…» Чуть не ослепнув от слез, Али различил имя человека, действительно ему знакомого, — отца его сокурсника по колледжу, с которым однажды Али напился допьяна, — пожилого вдовца, уже похоронившего одну жену, — причем повстречал он его в обществе лорда Сэйна, когда впервые ехал по Лондону. Да, финансист был богат, однако ни недвижимой собственностью, ни знатностью не обладал — все это должна была доставить ему Сюзанна! Вне себя от горя, сменявшегося отчаянием, Али продолжал чтение: «О мой дорогой, дорогой Али! — заключала Сюзанна. — Когда будете думать обо мне, вообразите — если не *угадаете* сердцем тотчас же — скорбь моей бедной матушки, злосчастье моих младших братьев, лишенных руководства и примера для подражания! Более всего мне хотелось бы, чтобы вы сохранили память, какой я была — какими были мы — до того, как разверзлась пропасть, на дне которой я сейчас стою. И все же мне кажется: ваша рука, ваш голос даже сейчас подле меня. Мне так нужны ваши добрые пожелания — ваше заботливое внимание — особенно ваши молитвы, если вы их возносите, — и ваша драгоценная и нерушимая Дружба: ее, верю, не лишусь никогда — *никогда* — на Стезе, куда я только вступаю!»

Ниже стояла одна лишь подпись — так скоро и бегло начертанная, словно Сюзанна давала понять, что вряд ли написала бы больше без усилия над собой, даже если бы нашлось что добавить, и Али долго вглядывался в нее с чувством, будто дверь перед ним захлопнулась наглухо и опустился тяжелый засов. Мертв! Солнце скрылось — и никогда более не взойдет! Али ощутил, что мертвые неотвратимо подступают к нему все ближе и ближе, словно желая обрести над ним вечную власть: его мать — и леди Сэйн — его праотцы — лорд Коридон, еще не остывший в могиле, — они выпьют из его жил теплую кровь, высосут силу мышц, но утаят единственное, что бы он у них попросил — их сон, их благословенное неведение! Али, в порыве гнева и смятения, его переполнивших, сунул письмо в карман и распорядился погрузить немногие свои пожитки в почтовую карету, которая отправлялась на Север, и уже через час катил в ней по дороге в Шотландию. Но колеса этой повозки, казалось ему, вращались медленно, точно в колеснице Сисары, и Али, непрерывно ерзая и вертясь на сиденье, пытался ускорить ее

движение, лишь бы оказаться подальше от себя, своей жизни и всего, что он знал. Все его мысли были устремлены к одной цели — конечной точке путешествия, цитадели его Отца.

Когда в закатный час вдалеке выросла эта громада, не представлялась она местом, притягательным для чьего-либо сердца, — скорее, предостережением не приближаться. Мрачные стены и дальняя сторожевая башня пришли в еще большее запустение, нежели раньше, и придавали округе вид крайне заброшенный (я иногда спрашиваю себя, отчего столько слов, обозначающих печаль и поругание, падение и порчу, начинаются с буквы П. Что за проклятие пало на нее, что с нею связано так много *плачевных понятий*?). Широкими шагами Али пересек опустелые залы, миновал потемневшие стены, на которых светлые квадраты обозначали места, где прежде висели картины, — испуганным слугам, с которыми сталкивался, он без предисловий задавал один лишь вопрос: где сейчас лэрд, — слуги путались с ответами — однако в конце концов Али нашел хозяина дома в бильярдной, склоненным над столом — чуть ли не единственным предметом обстановки, который он счел нужным сохранить.

«Ты, однако, не промедлил пуститься в путь, — холодно заметил лорд Сэйн, пустив шар в лузу. — Я ожидал тебя увидеть только через несколько дней».

«Сэр, — заговорил Али. — Мне сообщили новость, которая меня потрясла и огорчила до крайности. Я склонен полагать, что вы об этом деле осведомлены, хотя надеюсь, вы не замешаны в кознях, направленных против меня и на погибель моего счастья и счастья тех, которых так высоко ставлю в мыслях».

«Довольно странный способ ко мне адресоваться, — заметил лорд, не выказав ни малейшего признака неуместного волнения. — Будьте со мной откровенней, сэр, и объяснитесь без обиняков. О каких таких лицах вы ведете речь?»

Али изложил отцу новости, которые не покидали его мыслей с той минуты, как он о них прочитал: о смерти лорда Коридона в Португалии, о загадочной отмене приказа, что освобождал его от службы вне Англии, — и о предстоящем браке Сюзанны с человеком, который неспособен составить ее счастье, не говоря уж о гибели чувств и надежд Али — правда, ни разу не высказанных; во время рассказа Али пристально следил за лицом лорда Сэйна, стараясь уловить хотя бы проблеск участия.

«Сожалею о кончине твоего друга, — отозвался лорд Сэйн, изучая расположение шаров на зеленом сукне. — Тем не менее, *dulce et decorum est*[6], это бесспорно. Я и сам был Солдатом и не выпрашивал освобождений, каких он без труда добился. Что

касается его сестры, то мои поздравления. Отличная Партия: богатый старик, который особых требований не предъявит и всячески постарается как можно лучше выглядеть в ее глазах. Сколько помнится, старикан туговат на ухо — мало что заметит и ни чего не услышит. Супруга сможет делать все, что ей заблагорассудится, — так уж в мире заведено».

«Возьмите свои слова назад! — вскричал Али. — Они оскорбительны, а я этого не потерплю!»

Лорд Сэйн, сосредоточенно натирая кий мелом, казалось, пропустил это мимо ушей и взглянул на Али с таким видом, будто ничего не было сказано. «Рекомендую и тебе последовать ее примеру, — произнес он. — Ты погряз в долгах глубже прежнего: твои расходы на обучение значительно превысили мои нынешние возможности, и потому я вынужден был поставить подпись от твоего имени под рядом документов, предложенных мне лицами из Сити, с которыми я предпочел бы не иметь никакого дела, но к кому, однако, мне приходилось ранее обращаться. Эти суммы будут добавлены к прочим, затраченным на тебя до твоего Совершеннолетия, а они (как я уже указывал) весьма существенны».

«Вы повесили на меня долги без моего ведома? Допустимо ли это?»

«Вы понятия не имеете, сэр, что допустимо. Возможно, однако, что, поразмыслив, вы решите прислушаться к моим давним наставлениям и подыщете себе жену, способную облегчить ваше бремя. Не столь давно мною было замечено появление на светских подмостках новых, только что оперившихся пташек, и среди них — некой мисс Делоне, Катарины Делоне; о ней говорят, что она целомудренна, скромна, обладает и здравым смыслом, и состоянием; загляни завтра ко мне в кабинет — узнаешь о ней поподробней».

«Ни за что».

Лорд Сэйн, не спеша, отложил кий и повернулся к Али с видом человека, решившегося наконец на неприятное объяснение. «Тогда обращайся в кирху за лицензией на нищенство, и тебе дадут синюю робу — кое-кто в нашем приходе весьма преуспел в этом призвании — не исключено, что и у тебя обнаружится талант». Он придвинулся к сыну вплотную и внезапно, сунув руку ему за сюртук, вцепился в рубашку: «Уж нет ли у тебя опасений иного рода перед супружеской жизнью — телесного Изъяна — что ж, если так, обследование поможет их рассеять… — Тут руки совсем уж вольно заскользили по телу сына. — Позволь удостовериться, что ты ничем не отличаешься от прочих мужчин… А ну-ка! Не сметь противиться!»

«Прочь! — выкрикнул Али, отталкивая отца. — Прочь, или я…»

«И что ты сделаешь? *Что ты сделаешь*? Осторожней, сэр! Попомни: я дал тебе жизнь в один миг, не задумываясь о последствиях — и в один миг могу ее отнять. "Бог дал — Бог взял"».

«Дьявол!»

«Ага! — воскликнул лорд Сэйн. — Как известно, этот достойный Джентльмен умеет ловко ввернуть цитату из Писания ради собственных целей. Вот еще одна: "Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его" — итак, не искушайте меня, сэр, коли вы не перестаете быть зеницей моего ока!»

«Не искушайте меня и вы, — Али поднес к лицу лорда сжатый кулак, — иначе я просто не знаю, что сделаю. Я вынес больше того, что способна вынести плоть, а я всего лишь телесное существо — и только».

«Не вздумай поднять на меня руку! — загремел лорд Сэйн. — Это тяжелейший грех — к тому же, пользы никакой не выйдет — оружие не причинит мне вреда — именно так — вижу, ты содрогнулся — и вешать меня бесполезно — ибо знай: *я не могу умереть*!»

Мощная туша нависла над куда более хрупким юношей, а пламя в очаге отбросило громадную тень на стену — лорд громогласно провозгласил: *«Я не могу умереть!»* — и расхохотался в лицо сыну — и смех не прекращался, словно над тщетным людским отпором глумился тот, кто дал лорду свое прозвание; Али, потрясенный, вне себя от бешенства, отступил и ринулся прочь за дверь.

Той ночью лорд Сэйн велел кучеру снарядить карету и, не оповестив сына, направился в ближний Город с целями, о которых никому не обмолвился. Больше Али ничего об отце не узнал — ни о его планах, ни о прошлых делах, ни о чем — ибо на следующий вечер он, как описано выше, нес под Луной дозор на зубчатой стене Аббатства — а в глухую полночь покинул жилище крепко спящим с тем, чтобы обнаружить «Сатану»-Портьюса мертвым, повешенным внутри сторожевой башни — прямым и неоспоримым опровержением похвальбы покойного лорда: *«Вешать меня бесполезно — я не могу умереть!»*

Примечания к пятой главе

1. Афины на Болотах: Лорд Байрон недолгое время учился в Кембриджском университете, однако степени не получил. Там, в числе прочих, он познакомился с мистером Скропом Бердмором Дэвисом и мистером Джоном Кэмом Хобхаузом, которые сделались его преданнейшими друзьями. Мистер Дэвис позднее появится в повествовании в образе Питера Пайпера, эсквайра, — одного из самых чудных персонажей романа, хотя насколько этот портрет близок к жизни, мне сказать затруднительно.

2. тихая заводь: Выше Гранчестера по течению реки Кэм есть водоем, который все еще называют «Запрудой Байрона». Мне кажется, следовало бы собрать в единый Альманах все места, связанные с Байроном, — и те, которые он посетил доподлинно, и те, где он лишь мог бывать, от Англии до Константинополя, — для удобства желающих совершить паломничество. Насколько мне известно, подобный путеводитель существует, однако мне не удалось его разыскать.

3. моя семья: Кажется примечательным, что во всем романе не найдется ни одна полная семья, с обоими родителями и детьми. Авторы, разумеется, имеют право — и к тому же обладают властью — упрощать сюжет, обрезая ветви генеалогического древа, ими взращенного, при помощи своевременного падения с лошади или внезапного приступа лихорадки поворачивая события в нужном направлении. Но я задумываюсь: а способен ли был мой отец вообразить семью целостной, не распавшейся и не эксцентричной.

4. колесница Сисары: Аллюзия эта мне непонятна, и ни один справочник из тех, что находятся в моем распоряжении, подсказки не дает. Когда автор использует сравнения, которые ничего не говорят обыкновенному читателю, вряд ли он достигает задуманного эффекта.

5. буква П: Позор, предательство, плен, прощание, провал, потеря, пагуба; паралич, пропажа, промах, поломка, пустота, поминки (но также и праздник!); проводы, пепелище, плач, погибель, погребение.

Глава шестая,
в которой Читатель избавлен от неизвестности, Али же — из заточения

Итак, благосклонный Читатель этих неблагонравных страниц, кем бы ты ни был (тут я простираю к тебе призрачную Руку и шлю бесплотное Приветствие твоему чуткому вниманию — вкупе с признательностью за долготерпение!), история Али поведана от начала и до конца — вплоть до его взятия под Стражу жестокосердым (и не вполне трезвым) мировым Судьей и заключения в тюрьму Толбут, высившуюся у моря в Старинном Королевском Городе, близ стен которого стояло Аббатство Сэйнов — и, вне сомнения, стоит по сей день, Стоит ли удивляться тому, что Али, запертый один в каменном Узилище, в предрассветные часы, когда властвовала тьма, непроглядней которой он еще не видел, мог счесть возможным, что во сне воистину совершил то, в чем его обвинили! Не он ли в воображении тысячу раз лишал лорда Сэйна жизни? Не он ли поднялся с постели — вооружился — и спящим взобрался на верхушку горы, прежде чем его пробудил некий добрый ангел? И не могло ли случиться так, что если во сне он только направлялся к роковой башне, то наяву он спускался от нее, уже свершив… О! — но нет! Невероятно! Как это — во сне бороться с человеком, чья сила куда как превышала обычную, одолеть его, удушить, связать — подвесить, будто тушу в лавке мясника, — нет! И однако все эти картины проносились в голове Али, густая тьма словно бы водила по его лицу ледяными пальцами, и ночи не было конца. Порой, в зловещую минуту, нам кажется: *все это лишь сон;* но хотя сновидение порой и кажется былью до самого мига пробуждения — наяву мы плачем в бессильной ярости, зная наверняка, что окружает нас, увы, не греза. Холодные влажные стены вокруг Али были настоящими — его отец по-настоящему мертв — все вокруг слишком, слишком подлинно — шаги Надзирателя за дверью — отдаленный рокот прибоя на скалах. Подавленный ужасом действительности, Али громко застонал: тяжелые шаги на минуту затихли, потом послышались снова.

Наконец Али бросился на отведенное ему убогое ложе и уснул — но во сне еще ожесточенней боролся с отцом — наступал на него — разил насмерть; во сне он очнулся и обнаружил, что ему ухмыляется отец, «в таком же виде, как при жизни»; затем и

вправду очнулся — и, объятый страхом, не сразу понял, где находится: в могиле — в Аду — или в корабельном трюме (ближе к рассвету начался прилив, и волны бились о фундамент тюрьмы) — или же нигде — в небытии — слепота, биение сердца. Мы бы, верно, не согласились повторить нашу жизнь заново — разве что час-другой, и то, если прожили насыщенный век, — однако же, коли в уплату за счастливые минуты придется провести хотя бы одну такую ночь, мы скорее оставим все наши дни во владении Сатурна — и не станем их доискиваться.

Но вот какой-то шум в коридоре снаружи окончательно стряхнул с Али остатки болезненного сна. Оковы, прикрепленные к массивному крюку в стене, не позволяли ему дотянуться до зарешеченного окошка в дубовой двери, за которой раздались испуганные вопли Надзирателя — треск и грохот сломанного стула или какого-то орудия — крики смолкли — молчание. Прямо за дверью послышался звон ключей из громадной связки, и Али совершенно отчетливо услышал, что замок пробуют отпереть, неторопливо и методично пробуя ключи один за другим. Али настороженно ждал; дверь распахнулась.

Тусклая лампа высветила на пороге человеческую фигуру — это был мужчина, но кто именно, различить не удавалось. Он вошел уверенным шагом, хотя и наугад, и Али отшатнулся в изумлении: при слабом лунном луче, сочившемся сквозь узкую оконную прорезь, он увидел перед собой *Негра геркулесового сложения*, без рубашки, облаченного в длинную рваную хламиду черного цвета.

«Кто ты? — спросил Али у вошедшего. — Кто послал тебя?» Ответа не последовало: чернокожий был глух или таким казался — но также и слеп: огромные желтые глаза на темном лице смотрели в никуда — хотя и видели, словно посредством иного чувства. После недолгой заминки — когда он будто прислушивался к тому, что ожидал найти в камере, — негр опустился перед Али на колени и принялся, как он уже проделал с входной дверью, поочередно примерять ключ за ключом из громадной связки к кандалам Али, пока наручники не упали на пол.

Прежде чем Али успел потребовать объяснений от своего диковинного избавителя, черный великан шагнул к распахнутой двери и босыми ногами ступил за порог; там он оглянулся — или, вернее, обернулся, словно невидящие глаза могли сообщить, следует ли за ним узник, — в точности как медведь, сопроводивший юношу (во сне) к телу отца, — однако Али не сразу двинулся с места. Разум в ту минуту обретался где-то далеко от него; благоразумия и осторожности он был лишен;

впереди, куда направлял его темный вожатый, маячила свобода — но неведомое чувство, которое он не мог объяснить, его удерживало: он смутно ощущал, что бегством утвердит себя в глазах общества убийцей лорда Сэйна. А разве — подсказал тот же непонятный внутренний голос — он уже не заклеймен обществом как преступник? И если об этом всему миру пока не известно, то разве объявленной вины не достаточно, чтобы взять его и повесить? И хоть кто-нибудь питает к нему дружеские чувства? Не вдаваясь в долгие размышления — на которые он сейчас был и неспособен, — Али нашел правильный ответ на эти вопросы и все им подобные; и потому вскочил на ноги, словно объятый пламенем, вспыхнувшим в груди, и ринулся к выходу.

Они с проводником устремились по мрачному коридору прочь. Тюремный Сторож недвижно лежал в углу — оглушенный ударом, не то скованный Страхом: вникать Али не стал. Босые черные ноги ступали по плитам бесшумней кошачьих лап; вожатый шагал широко и уверенно, однако слегка вытянув руки перед собой — словно чтобы избегать препятствий. Широкие ворота Толбута, сквозь которые недавно прошел Али, стояли приоткрытые; беглецы тотчас же оказались на улице, где не горело ни одно окно. «Куда ты ведешь меня? — шепнул Али вожатому на ухо. — Кто твой хозяин?» Но тот — даже не повернув головы, хотя это и не казалось дерзостью — продолжал идти по направлению к гавани, где прилив поднял скопище мелких парусников, которые покоились на мягкой зыби, точно стадо спящих коров. Там чернокожий без колебания, не дожидаясь Али, шагнул с пристани в открытую лодчонку и — явно припомнив былые навыки — взялся за весла, вставил их в уключины и взмахнул ими, едва Али прыгнул следом.

Последние яркие утренние звезды! Беззаботно раскинутые белоснежные бедра Авроры, ежедневно создаваемые заново взором Аполлона из-за края вселенной! Судно устремилось к устью гавани, ветер посвежел, и Харон (ну, значит, Харон — Али о том не волновался) оставил весла, поднял парус и взялся за румпель. Али понял свою задачу — хотя можно было ожидать, что роли распределятся совсем иначе, — взялся за весла и с охотой начал грести; наверное, только размеренная работа рук смогла успокоить его сердце и наполнить радостью. Вскоре они обогнули мыс, покинув пределы Гавани, и день еще только начинался, когда вдали возник Корабль, стоявший на якоре в удаленной бухте — куда и направил судно их кормчий. Едва они приблизились, на баке мигнул огонек — и мигнул снова.

Али еще не успел толком осознать, что корабль дожидался его прибытия, как паруса взвились, натянулись под напором

ветра — залязгала якорная цепь, наматываясь на ворот, — а с планшира со стуком был сброшен трап, как раз когда суденышко, доставившее Али, коснулось борта. Что предпринять дальше — не стоило раздумий: лодка плясала на воде, и Али, ухватившись за веревочную лестницу, увидел над собой два лица, увенчанные шляпами: незнакомцы жестами его приветствовали. Али живо — душа его теперь ожила — взобрался по шаткой лестнице наверх, где крепкие руки тотчас ухватили его и подтянули на палубу. Оглянувшись, он увидел, как недвижный негр — бесстрастно смотревший перед собой, точно резная фигура на водорезе, — лишь только Али оказался в безопасности, повернул румпель, переставил парус и двинулся к берегу, ни разу не оборотив головы. Али готов был его окликнуть, однако не знал как — да и зачем, — и не был уверен, что его услышат. Повернувшись к Джентльменам, принявшим его на борт, он пробормотал только «Благодарю вас», не находя, что добавить.

«Не нас, юный сэр, — отозвался один, а другой добавил: — Мы получили вознаграждение, и весьма щедрое; а значит, вас должны благодарить за столь прибыльный *detour*[7], и потому…» Тут второй, словно по отмашке, поддакнул: «Благодарствуем, сэр, благодарствуем!»

Один был долговяз и длиннолиц, другой — приземист и круглощек, и оба весьма напоминали Али Судебных Исполнителей, которые передали его в руки Правосудия. Однако эти молодцы были родом ирландцы — и по этой причине, вероятно, изъяснялись и держали себя наподобие персонажей, что выведены в восхитительных произведениях мисс Эджворт, — впрочем, не исключено, что и не так, — но я надеюсь, меня простят, если я откажусь от попытки воспроизвести их речь и ухватки: для первой задачи у меня под рукой не найдется вдоволь апострофов, а для второй — недостает решимости.

«Я рад встрече с вами, — сказал Али. — Но кем вы вознаграждены?»

«Тем, кто пожелал дать вам надежное пристанище», — заявил один из гибернийцев.

«И, — подхватил другой, — нашел для этого средства».

«Скажите же о нем хоть что-нибудь!»

«Человек, который вас интересует, весьма недвусмысленно просил нас этого не делать».

Али устремил взор в морское пространство: барка его чернокожего избавителя направлялась к отдаленной бухте, тогда как корабль, на палубе которого стоял теперь Али, взял курс в открытое море, и расстояние между ними быстро увеличивалось: «А *он*…»

«На службе у того же человека? Да, это так, и так нам было передано».

«Нам особо наказали — вернее, нас предостерегли — не брать его на борт. Я, признаться, о том не сожалею».

О чем спрашивать дальше, Али не знал, разве что как называется корабль, кто его владельцы — ими, судя по всему, были его собеседники — и куда лежит их Путь, а значит, и его тоже; однако, с учетом обстоятельств, все эти вопросы выглядели в высшей степени неуместными, и Али в замешательстве умолк — но тут оба ирландца вывели его из затруднения, хором умоляя сойти вниз и подкрепиться Стаканчиком: отказать им в этом он не мог.

«Этот арап, который сопроводил вас на корабль, привел мне на память другого, характером совсем несхожего», — проговорил Капитан «Гибернии», именем Патрик, а его старпом и брат Майкл кивнул в знак согласия. «Верный Тони», — молвил он. «Само совершенство, — продолжал господин Патрик. — Кроткий нравом, прекраснейший человек: все, кто его знал, это подтвердят».

У Али — который осторожно, словно пробуя на вкус головокружительную свободу, прихлебывал по глоточку из стакана золотого ирландского виски, приправленного медом, — вертелись на языке вопросы, но он предпочел от них воздержаться.

«Тони, — подхватил рассказ господин Майкл, — иначе его, пожалуй, и не называли. Он не один год провел на службе — а вернее сказать, был товарищем и напарником покойного, да упокоит его Господь, лорда Эдварда Фицджеральда». При упоминании этого имени братья сорвали с голов шляпы, припали к стаканам и только потом водрузили шляпы обратно. «Лорд Эдвард — впрочем, вам, наверное, известна его история? — Тут Али покачал головой. — Лорд Эдвард был тогда еще юношей, младшим офицером в армии Его Британского Величества, а его Полк сражался тогда, во время последней войны, с американскими повстанцами в Каролине. Обуреваемый жаждой славы и горя желанием обагрить кровью свой девственный меч, он, так сказать, грыз удила и в каждой схватке рвался на передовую. В столкновении с войском генерала Гарри Ли, способнейшего из американских полководцев, юный лорд Эдвард был так тяжело ранен, что потерял сознание и остался на поле битвы среди убитых. Однако на него наткнулся один негр — Тони по имени, — обнаружил, что он еще дышит, — перетащил к себе в хижину, где, приложив все свое умение, выходил с величайшей

заботливостью. Когда юноша достаточно окреп, чтобы вернуться в ряды соратников, то мог предложить своему отважному спасителю одну лишь награду — быть его слугой столь долго, сколько тот пожелает. Верный Тони (это станет его прозвищем) предложение принял — и с тех пор лорд и чернокожий сделались неразлучны».

Тут Али — возможно, под влиянием виски, хотя отхлебнул он всего ничего — набрался храбрости и спросил, куда направляется корабль и каков порт его назначения. Увидев на добрых лицах братьев снисходительные улыбки, он поспешил с раскаянием добавить: «Я вовсе не хотел вас перебивать, если вы намерены продолжать рассказ».

«Мы торговцы, — произнес Патрик. — Путешествуем на нашем скромном Судне, живем на прибыль — если что останется после того, как рассчитаемся с Командой — починим протечки и пробоины — и залатаем паруса. Люди мы безобидные и хотим вам только добра».

«Но почему вы так со мной обошлись? Поверьте, для вас я не могу сделать ничего полезного — к сожалению, у меня за душой ничего нет — одно только обвинение в отцеубийстве, подтвержденное побегом».

«О нет, юный сэр, — возразил младший брат, — мы увели вас от длани Закона с тем, чтобы вы смогли, как говорится в пословице, *дожить до новой битвы*».

«Это не значит, — пояснил старший, — что мы хотим сказать, будто вы из тех воинов, кто спасается бегством. Нет-нет».

Али понял, что не дождется ответа ни на один вопрос касательно лица, подрядившего их для его освобождения. Кто бы мог это быть? Кто? О его заключении в тюрьму не знала ни одна душа — никто, кроме горожан, которые никак не могли замыслить, а тем более осуществить побег, даже если бы кто из них этого пожелал. Тысяче врагов лорда Сэйна, если они и вправду не пожалели денег на его убийство, не в силах были противостоять немногие друзья Али — да у него и не осталось покровителей после смерти леди Сэйн.

В замешательстве Али поднял стакан за здоровье добродушно улыбавшихся ирландских коммерсантов (если это были коммерсанты) и попросил их, буде они пожелают, возобновить свой рассказ.

«Достойно удивления, — заговорил господин Майкл, сцепив пальцы на животе и продолжая прерванную нить повествования, — каким образом человек, доказавший свою приверженность делу Свободы — и Свободы для всего человечества, а не только для собственной Нации, мог служить в

армии, которая была призвана подавить справедливые чаяния американцев, добивавшихся права решать самим за себя. Что ж! Лорд Эдвард был британским солдатом, и в природе его — в природе солдата — заложено стремление подчиняться приказу и вступать в бой, не задумываясь о правоте дела, порученного его Армии, — или, скорее, прочно заперев сомнения в груди, дабы, вступив в противоречие с Долгом, они не ослабили его решимости и не смягчили удары, что подвергло бы опасности и его самого, и тех, кто находился у него в подчинении. Нелегкая по временам задача, хотя и выпадает она многим.

Нет сомнения, и разум лорда Эдварда, и его сердце тянулись к американцам — но Рука повиновалась другим командам. Ему нравились эти люди, и он признавал их правоту. Он презирал нескончаемую озабоченность британцев рангами и соблюдение мельчайших оттенков субординации: американцы подкупали его отсутствием всякого неравенства — тем, что не считали одних выше, а других ниже, судя по одному только имени или происхождению, — ему по душе была страна, где любой житель, будь то мужчина или женщина, владея топором, ружьем, парой волов и запасом энтузиазма, мог построить для семьи дом, взрастить детей, жить по своему усмотрению — свободно и открыто — и не быть никому обязанным за это, разве что взаимному соглашению. И, как только с победой Вашингтона война закончилась, лорд Эдвард вознамерился вернуться на западный Континент — в Канаду, где все еще была расквартирована Британская Армия, — не только службы ради, но и чтобы путешествовать, узнавать новое — словом, чтобы оглядеться.

«Призываю вас, юный сэр, — воскликнул господин Майкл, вскочив с места в порыве воодушевления, — вообразить себе просторы Канады, какими они были тогда и какими, конечно же, остаются и сейчас, — широкие реки и высокие горы, безымянные и доступные глазу одних дикарей — Ниагарский водопад — целые флотилии Каноэ, в которых путешествуют первобытные Народы, — снега…»

«Сами мы о снеге почти что ничего не знаем, — вмешался его брат. — Он схож с сахарной пудрой на пирожном. Там снег выпадает в ноябре и громоздится сугробами выше головы, которые не тают до самого лета, — однако дикари-охотники бродят по сверкающей глади в снегоступах, волочат за собой повозки, нагруженные шкурами убитых Бобров и Лосей, — и ухитряются двигаться с большей легкостью, чем в летнем лесу!

Лорд Эдвард странствовал так не один месяц — спал под звездами — стелил себе постель из еловых веток — или

выкапывал в сугробе нору — и нередко ел *пеммикан* (сушеное мясо лося) в обществе знаменитого индейского Вождя, которого англичане звали Джозеф Брант, а также своего единственного спутника — Верного Тони».

Теперь и его брат поднялся на ноги, словно описанные картины развернулись перед его вдохновенным взором. «Выпадало ли на долю хоть одному уроженцу Африки, — вскричал он, — или рабу из Каролины видеть края столь разнообразные и диковинные, в каких побывал Верный Тони? Кому еще из них доводилось целыми днями преследовать лося, пока тот не падал в изнеможении, — стоять среди грохота и брызг Ниагарского водопада — делить со своим Другом и Хозяином все тяготы — и каждую победу? Никакому американскому рабовладельцу не удалось бы завоевать подобной преданности — не говоря уж о любви, — но ирландскому поклоннику Свободы это удалось!»

«У истоков великой реки Миссисипи, — продолжил господин Майкл, — Вождь Джозеф принял лорда Эдварда в свой клан племени могавков — клан Медведя. Там путешественник и расстался с величавым дикарем, к которому проникся не только восхищением, но и любовью, — хорошо понимая при том, как много тот перерезал глоток у бледнолицых, как много сжег поселений, — и направился вниз по течению к Новому Орлеану, откуда намеревался вернуться домой. Именно там он узнал — из писем, давно его догонявших, что некая ирландская дама, к которой он долгое время питал сердечные чувства…

А она, как лорд Эдвард имел основания полагать, отвечала ему взаимностью, невзирая на стойкое противодействие ее отца — человека жестокого или, по крайней мере, тупоумного и упрямого, — который, по мнению лорда Эдварда, воспрепятствовал их помолвке…

Теперь же выяснилось, что эта дама, за время долгого его отсутствия, вышла замуж — показав тем самым, что лорд Эдвард заблуждался относительно причин, мешавших ей заключить с ним союз.

И вот, когда последняя нить, связывавшая его с отчей страной, оказалась разорванной — лорд Эдвард, стоя на береговой кромке Континента, почувствовал, что не слишком стремится отбыть в Старый и далекий Свет. Вместо возвращения на угнетенную родину или в армию угнетателей ему пришло на мысль отправиться — и путь этот представлялся бесконечным — к горам Мексики, в Южную Америку, к берегам Ориноко или Амазонки — на самое днище мира, где вновь появятся снег и лед — а оттуда уже никогда не возвращаться!

Однако же — нашло его и письмо от матери — женщины, которой он был предан всей душой и которая воистину была достойна такого преклонения. Ее желание вновь увидеть обожаемого Сына растрогало лорда Эдварда и подкосило его решимость: с тяжелым сердцем и без особых ожиданий, он начал собираться в обратный путь.

«Взгляните же, что происходит, когда Время и Случай вступают в борьбу с волей человека, подобно тому как Иаков боролся с ангелом, — и увидите, кто придает очертания его судьбе! Спустя месяц после возвращения из Америки лорд Эдвард направился из материнского дома в Париж, где учреждена была Директория, — напомним, что год тогда шел 1792-й, — и где вооруженная Революция готовилась отразить натиск врагов — европейских Монархов, среди которых еще не числился, но вскоре к ним присоединится, его нарицательный монарх — слабоумный король. Однажды вечером в парижском отеле Уайта собрались британские подданные, которые сочувствовали Революции и желали ей успеха; в приливе необузданных надежд приносились клятвы, распевались песни, поднимались тосты, и лорд Эдвард — потомок древнейшего и славнейшего Рода, каким мог гордиться его родной остров, *отказался от своего титула* взамен на простое звание — *citoyen, frere, camarade!*[8]»

«Той ночью, — подхватил брат Майкла, — во всяком случае, я верю, что это случилось той самой ночью, бывший лорд посетил бал и там приметил красивую юную женщину: его сердце — которое он почитал лишенным жизни — подало о себе весть, забившись в груди. Эта женщина была незаконной дочерью человека, который прежде именовался великим герцогом Франции, и прославленной писательницы…»

«Той, кто возглавляет племя пишущих дам, — самой мадам де Жанлис!»

«Эдвард просил руки девушки, получил согласие — и спустя несколько недель был с ней обвенчан. За это время его отправили в отставку по причине клятвы, произнесенной в отеле Уайта. Теперь он оказался ни холостяком с разбитым Сердцем — ни английским солдатом — ни ирландским лордом (хотя все по-прежнему называли его так), и перед ним лежали открытыми все пути. Едва введя Супругу под свой кров, он появился в стенах дублинского Парламента и вступил на ту тропу — неведомую и полную опасностей не меньших, нежели любая тропа в Америке! — на которой сделался мучеником во имя Свободы и блага своей Нации и навеки снискал почетное место в сердцах тех, кто ставит их превыше всего!»

«Так что видите, — заключил господин Майкл (одушевление,

вызванное рассказом, пошло на спад), — мы сами не знаем, что ожидает нас в будущем и какой предстоит выбор, когда мы окажемся на распутье».

«Ступишь на палубу, — добавил Патрик, — и корабль может доставить тебя из порта в порт — но помни, что на нем можно попасть из одной Жизни в Другую».

«А теперь, — заметил его брат, — нам пора вернуться к нашим обязанностям, но рук у нас не хватает — и потому я прошу вас оказать нам посильную Помощь — морские навыки не требуются — нужны только крепкие Руки — и сильное Желание».

Али заверил обоих добряков, что готов сделать все от него зависящее, и скоро приступил к работе, до того ему незнакомой: смолил канаты, тянул бессчетные ярды парусины, забирался на головокружительную высоту и учился языку, которого на суше в жизни не слышал; порой, качаясь на мачте над Ирландским морем, он раздумывал над тем, что еще недавно был лордом — или хотя бы сыном лорда, раньше был пастухом, а теперь ни тем ни другим, поскольку матросом еще не стал, — кем же может стать в будущем, понятия не имел, да это и не слишком его заботило. Он почел за лучшее не рассказывать свою историю братьям, которые, впрочем, не допытывались ни о чем, хотя и приглядывались к нему с благодушным интересом. Такое же молчание они хранили и о собственном промысле, так что Али представления не имел об их целях: знал только, что, огибая родной Остров, судно брало на борт некие товары, хотя нигде их не выгружало, — все сделки совершались по ночам, подальше от крупных портов и удобных гаваней, где располагались королевские таможни. И лишь когда «Гиберния», потушив огни, взяла курс в открытое море с тем, чтобы (как оказалось), миновав Корнуолл, торчащий подобно большому пальцу ноги, направиться к Бискайскому заливу и западной Франции, — Али убедился наверняка в том, кем были ее владельцы и каким родом коммерции они занимались.

Происходило все это еще в те дни, когда Буонапарте «шагнул над тесным миром, возвысясь, как Колосс» и поражая народы небывалыми деяниями, — а он сбрасывал наземь Короны, раздирал древние хартии Привилегий, освобождал узников, даровал право голоса отверженным, — и, в числе прочего, сковал Европу «Континентальной Системой», которая воспрещала каждой из стран, находившихся у него в подчинении, вести торговлю со странами за пределами его владений. В ответ английское правительство — куда более задетое ударом по торговле, чем если бы император оскорбил национальную честь или религию, — возбранило всем прочим Нациям торговать с

французами и тем самым разорило собственное государство, подтолкнуло американцев к бесплодной войне и более не добилось почти ничего. И все же торговля процветала — причем не облагаемая никакими пошлинами — хотя и связанная с немалыми трудностями, да еще под покровом ночи — и вкладчики бывали нередко обескуражены, когда чье-то каперское судно пускало торговые корабли на дно или же конфисковывало их, — особого значения это не имело: подобно воде, Торговлю нельзя ни сжать, ни разрушить; прегражденная на поверхности, она будет течь под землей. Так что для этого занятия требовались отвага и незаурядная выдержка, и какими бы кроткими ни казались Али братья Ханниган (или Фланниган — имя это записано у меня неразборчиво), немного нашлось бы преград, способных их остановить — или уже останавливавших — на пути к завершению торгового предприятия с выгодой для себя.

«Мудрость, — говорил господин Майкл, — заключается в том, чтобы выбрать правильный груз. Нам сопутствует удача: этот груз не задержат — он поступает с нашего судна к высшим представителям власти».

Сумрак лежал на океанском лике, и легкий ветерок доносил ароматы с берегов Франции, что простирались за далекой линией белесых волнорезов, шум от которых еще не был слышен. Али умоляюще попросил открыть ему, что это за драгоценный груз.

«Бритвы Смитфилда, — объявил Майкл, удовлетворенно сцепив руки за спиной. — Его Величество Император может презирать англичан, английских солдат и моряков, английского Короля и английских Принцев крови — всю "нацию Лавочников", которой они правят. Однако он не допустит, чтобы его щек касались бритвы, помимо смитфилдовских, лучших в мире, изрядное количество которых мы везем в трюме. А в придачу зерно, деготь, колесную мазь и *отличные белые картохи*».

Взгляд Али был прикован к бледному горизонту, где как раз появилось темное пятнышко. «Не к нам ли направляется этот корабль?» — спросил он. При этих словах помощник капитана устремился к борту — с тем, чтобы несколько сократить расстояние между собой и двигавшим навстречу судном, — и перегнулся, пристально всматриваясь вдаль.

«Судя по поданным знакам, — проговорил он, — нам разрешен свободный вход в порт, если мы будем держаться скромно, не привлекая к себе особого внимания. Повторяю трижды подряд, — он вытянул перед собой скрещенные пальцы, — у нас Договоренность». Но тут на французском судне мигнула сигнальная лампа, явно оповещая о намерении задержать «Гиберию».

«Что это значит?» — спросил Пат.

«Дьявол его разберет, — отвечал ему брат, — но выяснять я не собираюсь. Полный вперед!»

«Я думаю, Майкл, — продолжал Пат, — что договоренность, которой ты только что похвалялся, вероятно, временно приостановлена».

«Так-так, Пат, — Майк перекрестился с особой тщательностью, — быть может, отчасти ты и прав. Если хорошенько поразмыслить, то лучшей отвагой сейчас будет проявить немного благоразумия и лечь в дрейф».

На близившемся одномачтовике вспыхнула алая точка — почти тотчас же раздался грохот, а мгновение спустя через нос корабля, чуть не над самыми головами, пролетело ядро — и таким образом судьба Али подтвердила простую Истину, высказанную ирландцами: «Ступишь на палубу — и корабль может доставить тебя не только из порта в порт, но также из одной Жизни в Другую».

Примечания к шестой главе

1. Негр геркулесового слржения: Читателям, которые заглянут в примечания, еще не дойдя до конца повествования, пока неизвестно, что этот персонаж — выходец из Вест-Индии, наделенный (в наказание или, наоборот, во благо) искусственной жизнью: согласно поверьям народов карибских стран, труп возможно превратить в бессмертного, хотя и лишенного души, исполнителя чужой воли. (Кто его оживил, если такое состояние можно назвать жизнью, выяснится позднее!) О причудливом суеверии впервые оповестил англичан Роберт Саути в книге по истории Бразилии — откуда, возможно, лорд Байрон и заимствовал эту легенду; странно, если так: ведь Саути был для моего отца чем-то вроде *bete-noire*[9], а его жизнь и политические взгляды — неиссякаемым источником острот и саркастических насмешек, с лихвой отплаченных, надо заметить, громами и анафемами тогдашнего Поэта-Лауреата в адрес Байрона, всех дел его и гордыни его. Все это в прошлом; оба они в могиле; но я помню, как Саути выражал некогда желание совместно с поэтом Кольриджем создать в Америке, на берегах Саскуиханны, колонию, где царила бы идеальная гармония; о том же мечтала и я, еще ребенком.

По моему мнению, феномен *зомби* может быть объяснен как одна из разновидностей Гипнотического Сна, детально описанного на последующих страницах этого романа с такой проницательностью: мне кажется, что человек, погруженный в подобное состояние сведущими специалистами или могущественными знахарями, может представляться окружающим и мертвым и живым одновременно.

2. Мисс Эджворт: Лорд Б., по собственной оценке, был ненасытным читателем романов и признался однажды, что к тому времени прочитал их пять тысяч — хотя мистер Хобхауз считает это невозможным — разве что лорд Байрон полагал книгу прочитанной, даже если только бегло ее пролистал. Он также не особенно стеснялся преувеличений — недостаток, мною унаследованный и в детстве каравшийся, когда оказывалось, что старшие не могут одобрить мой порыв, будь то дочерняя почтительность, религиозное рвение или горе от страданий тех, кто вызывал у меня жалость. Я более чем уверена, что у лорда Б. круг чтения был самый широкий: заносчивости литератора он был лишен и даже собственным сочинениям придавал не так уж много значения, хоть они и приносили наслаждение многим читателям.

3. Лорд Эдвард Фицджеральд: Вставная история не вымышлена: ирландский патриот, погибший во время восстания 1798 года, в самом деле имел черного слугу и пережил в Америке описанные приключения. История эта рассказана в биографии лорда, написанной вездесущим мистером Томасом Муром: порой он, к вящему беспокойству, кажется тенью лорда Байрона, без которого не существовал бы, — однако это несправедливое утверждение опорочило бы имя автора «Лаллы Рук» и многих очаровательных песен. Тем не менее следует отметить, что лорд Б., задолго до знакомства с Муром — задолго до того, как получил представление об ирландских делах из первых рук, — проникся восхищением перед рыцарской (в его глазах) фигурой Фицджеральда и во время ирландского восстания 1798 года заявил, что будь он взрослым, сделался бы английским лордом Эдвардом Фицджеральдом. Эту любопытную подробность из запаса анекдотов, сообщенных ей покойным мужем, передала мне леди Байрон.

Лорду Б., вне сомнения, пересказанная здесь история стала известна позднее, во времена его длительной дружбы с мистером Муром. Причины же, побудившие включить ее в роман, не совсем ясны. Возможно, что причиной тому — только видение Америки. Я не знаю.

4. Мадам де Жанлис: Графиня де Жанлис была воспитательницей детей в семье герцога Шартрского: по крайней мере одна из ее дочерей, по общему мнению, была его отпрыском. Она хорошо известна как автор романа «Madame de Maintenon», «Memoires»[10] и других сочинений. Подобно многим представителям своего поколения, лорд Б. провозглашал презрение к писательницам — «синим чулкам»: в те времена «толпу пишущих женщин» часто и открыто третировали. Для мадам де Сталь он делал исключение; предполагаю, что в данном случае, как и во многих прочих, его снисходительная насмешливость была не слишком прочувствованной — скорее, лорд Б. без особых размышлений принял на веру чужие взгляды.

5. Буонапарте: Обычное для лорда Б. написание. Мальчиком, как и многие из его сверстников, он был страстно увлечен Наполеоном, однако впоследствии разочаровался в мнимом освободителе Европы, который стал Диктатором более жестоким, нежели им свергнутые, и вместо того, чтобы стереть Королей с лица земли, просто-напросто возложил короны на головы своих бездарных родичей. Стихи и письма Байрона изобилуют упоминаниями кумира его восторженной юности, и всякому, кто усомнится в сложности взглядов поэта и тонкости его суждений, достаточно собрать их воедино, чтобы убедиться, сколь

многообразно и последовательно изображен им Наполеон — как соискатель славы; провозвестник надежды и справедливости; желанный вызов застойному миру; образ курьезного самообмана; и наконец — как обагренный кровью тиран. Я с готовностью отдала бы все стихотворные драмы Байрона за одну — посвященную Наполеону.

6. палуба: Ничто он не любил так сильно, как оказаться на борту корабля, оставляя позади отвергнутое им или отвергнувшее его и устремляясь к неизвестному. Только в эту минуту он мог вновь пылать любовью к утраченному или брошенному — и не питать заранее разочарования перед грядущим. Я была среди тех, кого он покинул. Выбор зависел не от него одного — но им был совершен. Он не отрицал бы этого, спроси я его; но я не могу этого сделать: так он распорядился — и так распорядилась Смерть.

Глава седьмая, *в которой дается отчет о знаменитом Сражении, отличный от прежних*

Среди равнин восточной Испании — этой пропитанной кровью земли, где менее десятилетия назад могущественные державы вступили в столь ожесточенную схватку, — высится древний город Саламанка, огражденный прочными стенами, над которыми возносится купол старинного прославленного Университета, издавна обучавшего мирным Искусствам. В составе союзнических сил, осадивших город во время недавней войны, служил и некий британский лейтенант, штабной Военный Хирург в бригаде португальской армии. Среди бригадных офицеров преобладали англичане, относившиеся к своим пиренейским союзникам с некоторой долей презрения — несомненно, полагая, что имеют на то основания, — и потому лейтенант неустанно стремился через повышение в чине добиться перевода в высшие сферы.

Союзники — Британия, Испания и Португалия — после нескольких лет разочарований и неудач начали наконец успешно вытеснять французов с просторов Иберии, и теперь их продвижение замедлилось перед Саламанкой. Французы не взяли город, однако же овладели на дальних высотах тремя мощными укреплениями — одним из которых был Монастырь, откуда монахини бежали, причем в большинстве своем весьма своевременно, — из артиллерийских батарей, оборудованных на монастырских стенах, захватчики могли при желании обстреливать Город ядрами. Главнокомандующий союзническими Армиями — еще не Герцог, но уже Железный — хмуро взирал на Саламанку: город был изображен также на картах, развернутых перед ним офицерами, точно таким, каким его видели сверху черные вороны, терпеливо кружившие в потоках горячего ветра. Сражение ожидалось со дня на день, однако никто не знал, что предпримет французский военачальник — и каких действий, в свою очередь, ожидает от военачальника английского. Меж тем французы палили по уютному городу из пушек: господа и дамы, заслышав свист ядер, кидались врассыпную под домашний кров, но вскоре возвращались на улицы — так вновь прилетают к зерну птицы, которых хлопком в ладоши отогнала старуха, — возобновлялись прогулки, а также флирт и Коммерция (если меж

ними есть разница) — и все развлечения шли прежним порядком.

Наш Военный Хирург (о котором, я думаю, вы уже успели забыть) часто присоединялся к тем, кто вкушал городские удовольствия, пока его не отзывали в Полк — готовить Госпиталь и персонал к грядущей работе: предстояло отпиливать руки и ноги, зашивать раны, извлекать мушкетные пули и закрывать глаза мертвецам (впрочем, выполняют ли на войне эту службу хирурги — мне, по счастью, неизвестно). Пока что, однако, он усиленно занимался другими делами, отнимавшими у каждого офицера большую часть времени: надо было найти и отстоять лучшее место для устройства Палатки, оборудовать ее с наибольшим удобством и обеспечить всем необходимым — а это требовало неустанного поиска услуг и одолжений, за которые приходилось платить. Лейтенант Апворд — уроженец валлийского Пограничья, статный и добронравный молодой человек — обзавелся недурной походной кроватью, над изголовьем которой с живописной небрежностью свисала его шпага; искусно сработанным комодом, спиртовкой и противомоскитной сеткой, бесценным сокровищем в краях, где от куска марли зависит, терзаться Мукой или блаженствовать, когда ни одной твари не удается впиться ядовитым жалом тебе в кожу (как, например, в мою). Лейтенанту Апворду прислуживал паренек-испанец: готовил и подавал еду, наливал вино, следил за Мундиром и чистил Сапоги. Цвет кожи у этого мальца отличался тем изысканным оттенком, какого в других странах не встретишь — назвать его оливковым нельзя, оливковый чересчур темноват; волосы у него были темнее шоколада, хотя и не черные, и точно такие же глаза. Еще большую отраду и удобство доставляло, полагаю, хирургу то обстоятельство — почитавшееся тайной, хотя однополчане отлично ее знали и немало над тем потешались, — что *паренек* на самом деле был *девушкой* — вернее, оставался ею до того, как поступил к лейтенанту в услужение, — сеньоритой, зеницей хирургова ока и первейшим украшением его скромного поместья на испанской земле. Эта сеньорита, натерпевшись обид и резкостей со стороны лейтенанта, которые он помимо воли ей причинял, и в душе ставя себя куда выше его, решила в тот вечер поменять штаны на юбку и поискать счастья где-нибудь в другом месте, о чем военный хирург, как и о многом прочем, совершенно не подозревал.

В тот вечер, однако, как раз когда темнобровая Долорес (ибо звали ее именно так) предавалась раздумьям о теперешних несчастьях и будущих надеждах, в палатку ее хозяина доставили новость: в лагерь принесли человека — смертельно, по-видимому, раненого — в одежде испанского крестьянина — но по-испански

не говорящего: он называет себя британским подданным, хотя с Мавром схож куда более, нежели сама Долорес. Где — спросили у нее — обретается лейтенант Апворд?

Лейтенанта нашли в тени одного из немногих окрестных деревьев: он сидел на пустом зарядном ящике, погруженный в размышления. В часы, свободные от исполнения медицинских обязанностей или от еще более насущных хлопот по продвижению Карьеры, — а также если он не осматривал различные Памятники, уцелевшие на пути армии (поскольку не было военной необходимости их разрушить) — или не посещал балы ради знакомства со знатными дамами — лейтенант Апворд любил посиживать, созерцая какой-нибудь вид, с пером в одной руке, а другой подперев подбородок: он был склонен к литературным занятиям и надеялся, не слишком затягивая вынашивание плода, явить на свет Роман или Эпическую Поэму — что именно, не очень его заботило.

Поспешив в полковой госпиталь — место, где он избегал, без особой на то надобности, подолгу задерживаться, — лейтенант увидел принесенного туда человека в испанском одеянии, который к тому времени уже перестал говорить на каком бы то ни было языке — и даже, кажется, дышать. Рана его была неглубокой, однако не свежей — и нанесенной не огнестрельным, а холодным оружием. «Перенесите его ко мне в палатку, — распорядился лейтенант, — а я приду следом», — ибо кто-кто, а он прекрасно знал, что для человека в тяжелом состоянии худшего места, чем полковой госпиталь, нельзя и сыскать. Собрав необходимые, по его мнению, инструменты и лекарственные средства, а также предупредив вопросы Старшего Хирурга (весьма некстати появившегося), лейтенант поспешил к себе в палатку, где найденного молодого человека уже уложили в лейтенантову постель, а на горячий лоб раненого прикладывала смоченную в лейтенантовом одеколоне тряпку лейтенантова Долорес, которая, несмотря на недвусмысленный намек лейтенанта, явно не желала удалиться. Хирург собрался было устроить ослушнице должный разнос — прибегнув к скудному запасу усвоенной ею англосаксонской лексики, в данном случае по большей части как нельзя более уместной, — но тут юноша, простертый на постели, заговорил. Сначала и в самом деле по-английски — потом по-французски (которым лейтенант владел), — а затем на каком-то другом языке, ни ему, ни Долорес непонятном, сколько они ни прислушивались, склонясь к потрескавшимся губам и трепетавшим векам юноши. «Не смотри на меня, — жарко зашептал он — и далее: — Я не причинил тебе зла — нет — исчезни, или я… я!..» Что намеревался он сделать, осталось

неизвестным: юноша замотал головой, и его блуждающий взор наполнили иные видения. «*Rangez votre epйe*[11], — выкрикнул он, словно в лицо противнику, и выставил перед собой руку. — Je ne me battrai avec vous — Non! Non! — Vous vous trompez — Vous avez mal compris![12] — Тут юноша вновь лихорадочно забормотал что-то бессвязное, и только глоток бренди помог ему придти в себя: содрогнувшись всем телом, он приподнялся на постели и громко воскликнул: — МЕДВЕДЬ!» Юноша огляделся по сторонам, однако вряд ли заметил присутствие лейтенанта и его прислужницы — горевшим, затуманенным взором он видел иных людей, невесть где находящихся, — грудь его бурно вздымалась, будто он спасался бегством от чего-то ужасного или же пытался высвободиться. Потом он со стоном упал на подушку, шаря рукой по одежде, как если бы пытался нащупать рану, — однако рана была с другой стороны. Впрочем, через сутки заботливого ухода лихорадка пошла на убыль: дыхание юноши выровнялось — сон стал спокойнее — и, хотя лейтенант вместе со своей Долорес (которую не то любопытство, не то, возможно, иная причина удерживали от дезертирства) очень хотели бы выведать у юноши, кто он, однако опасались, что рассказ может его уморить, — и потому отложили расспросы до времени, когда он сам начнет говорить разумно.

Итак, Али все же рассказал о себе, хотя и сбивчиво: о своих странствиях и приключениях — назвал свое настоящее имя — описал причины бегства — матросскую службу у Контрабандистов — рассказал и о том, как его (вместе с прочими членами команды — не ирландцами и потому не Союзниками французов) завербовали во Французскую Армию, где он служил рядовым. История на деле была рассказана не столь гладко — и не в строгой последовательности — она изобиловала подробностями, о которых Али охотно бы умолчал (как это чувствует всякий Рассказчик), однако Здравый Смысл и слушатели побуждают не обходить их вниманием и непременно включать в повествование (как многие Рассказчики и поступают).

«Служил я с неохотой, — признался Али, и полковой хирург высказался в том смысле, что многие в британской армии к этим словам присоединятся — если будут уверены, что их не подслушивают. — И все-таки служил. Многие месяцы носил синюю форму, маршировал туда и обратно, заходил и выходил с фланга — вместе со своими сослуживцами, рядовыми *en masse*[13] — и убедился, что один народ мало чем отличается от другого — и Пороками, и Добродетелью».

Тут Али поглядел в темные глаза стоявшего рядом *паренька*,

чью руку он крепко сжимал, точно спасательный трос, связующий его с жизнью; и ответом ему был встречный взгляд, причем заинтересованный. «Пожалуйста, сэр, — попросил Али, — дайте мне немного воды», — и Долорес резво метнулась за чашкой, которую с нежностью поднесла к его губам.

«Но, сэр, — проговорил военный хирург с некоторым недовольством, — расскажите же, каким образом вы оказались у стен этого города, в такой близости от армии вашей страны, если так ее можно назвать, и что с вами произошло. Право же, вам неудобно все повторять и повторять предисловие».

«Сержанты обнаружили, что я знаю французский язык, — ответил Али, — и также английский, о чем доложили старшим офицерам; далее выяснилось, что я джентльмен и хорошо владею речью — приемы, что помогают создать нужное впечатление, я усвоил от настоящих знатоков! — и вот меня сделали адъютантом *chef de bataillon* (по-вашему, видимо, капитана), который вскоре был направлен императором в эту страну — и теперь командует батальоном у городских стен — но нет! Даже сейчас… Нет! Ни слова больше! Не спрашивайте меня ни о чем!» Али отвернулся и некоторое время молчал, хотя его слушатели с нетерпением дожидались окончания этого *Entr'acte*[14].

За сутки, опекаемый полковым хирургом и (с большею лаской) Долорес, которую никак было не отогнать от ложа ее пациента, — Али закончил свою историю. Капитана, к которому он был прикомандирован, сопровождали Домочадцы — молодая жена и компаньонка: поиски удобного Жилья со всей обстановкой составляли предмет главных забот капитана, который посвящал им почти все время и ради присутствия Супруги истощил свои запасы. Обязанности Али сводились, в основном, к содействию этим заботам, что не вызывало особой к нему симпатии со стороны других офицеров — более проникнутых воинским духом и холостых; но те же причины вели к частому общению с женой капитана: Али должен был выполнять ее поручения и снабжать всем необходимым. Довольно скоро эта леди — столь же красивая, сколь и заносчивая — начала зависеть от Али и заметно расширила круг его обязанностей — а также постаралась придать встречам более интимный характер. Не поможет ли он ей распустить вон ту завязку — или подвязать вон то-то — не прочесть ли им вместе сборник английской поэзии — не сварит ли он ей кофе, ведь никто лучше с этим не справится? Никакие увертки и отговорки Али — диктуемые почтительностью, Честью и (паче всего) Страхом — не могли спасти его от знаков внимания со стороны мадам, чьи намерения день ото дня делались все

очевиднее — даже для нашего неопытного героя. И вот наступил вечер, когда по самому пустячному поводу она вызвала Али к себе в покои; Али знал — и знал, что она тоже знает, — что ее супруг надолго задержится на заседании штаба. Никаких предлогов для встречи на сей раз не находилось: не нужно ничего и никуда доставлять — не было новых, непрочитанных Книг — никаких штор, которые следовало повесить, — и даже насекомых, которых следовало изгнать, — была только мадам, что никаких объяснений не требовало.

Недвижим был теплый воздух, ночь пахла апельсином и китайской розой — алели разгоряченные щеки мадам — а исходивший от нее аромат еще более помутил разум Али. Непривычный к подобным осадам, он мгновенно сдался, едва сознавая капитуляцию и принятые условия. Правда, леди прошептала *«Non, non»*[15] — однако монета была фальшивой и купить на нее было ничего нельзя — да этого и не предполагалось — и скоро настал миг, когда осторожность отбрасывают прочь — вкупе с прочими, более осязаемыми преградами — так что леди и Али оказались неопровержимо *en dishabille*[16], когда занавеси вдруг раздернулись и капитан (чьих шагов они не слышали) предстал перед ними, пылая гневом и стискивая рукоять шпаги.

«Что же предприняла дама? — спросил хирург. — Вот так — захваченная врасплох на месте преступления?»

«Выставила виновником меня, — ответил Али. — Закричала, будто я учинил насилие, а она не воспротивилась из боязни перед моими угрозами.»

«Плакала?»

«Плакала. Отворотилась от меня с выражением ужаса на лице — и стыда — все это казалось вполне искренним — как и ее прежние чувства, совсем иного рода: страх, я думаю, можно разыграть, смятение тоже — но только не ту ненависть, какую она изобразила».

Тут Али запнулся, с видом крайнего замешательства, словно не решался высказать свои мысли. «Нет, это исключено, — проговорил он наконец. — Ни одна женщина не может задумать такое — и все же я почти убежден: ей прекрасно было известно, что муж вернется и когда именно — и тем не менее она позволила мне вольности у себя в Спальне — и все прочее. Когда капитан и в самом деле явился и обнаружил меня там, куда она меня пригласила, — и я увидел его лицо, побагровевшее от гнева, и шпагу, которую он выхватил из ножен, пока я пытался привести себя в порядок, — что ж — мне вдруг почудилось, будто они мгновенно обменялись какими-то сигналами непонятного мне

свойства — и все же — все же…»

Али оборвал на этом рассказ, но лейтенант Апворд, обладавший куда более широким опытом касательно мира Женщин — и в особенности жен, — нежели тот, какой Али суждено приобрести, вовсе не был столь же озадачен. Среди великого разнообразия представителей падшего рода человеческого есть и такие, чьи побуждения мы хоть и не способны понять, но вполне можем систематизировать, а уж полное их описание заняло бы многие тома; и полковой хирург знал, что раз существуют мужчины, готовые вызвать кого угодно на дуэль единственно из желания утолить смутную ненависть ко всему живущему, то найдутся и женщины, готовые подтолкнуть супруга к дуэли или к убийству — с мужнего согласия, немого или высказанного — при обстоятельствах, которые по видимости разрывают, а в действительности, будто жар горнила, только крепят союз между ними — союз, явно заключенный не на Небесах и не освященный свыше.

«Капитан был готов убить меня, и хотя я умолял его жену рассказать правду, она только заливалась слезами — а он подступил ко мне, невооруженному, со шпагой».

«Так шпага была при нем?»

«Да, и это меня удивило — не тогда, а позже: это вопреки обычаю — вечером, в лагере, носить при себе шпагу».

«Верно», — подтвердил полковой хирург, мысленно заключив: капитан с женой затеяли непростую игру; время, надо полагать, было тщательно выбрано: жертва, интереса ради, не столь уж беспомощна, однако не сможет и оказать должного отпора, который мог бы привести к нежелательной развязке — а она-то, похоже, как раз и случилась.

«Он нанес мне удар, и я почувствовал, что ранен, — продолжал Али. — Для обороны я схватил первое, что попалось под руку — это оказался сапог; ответный удар застиг капитана врасплох, мне удалось вышибить его шпагу и завладеть ею прежде него. Вооруженный, я повернулся к нему лицом — но он рванулся за пистолетом, которого я не видел, — и, пятясь от меня, стал взводить курок — я был напуган, он растерян — и я проткнул его насквозь».

«Вы его убили? Его же шпагой? Офицера французской армии? Ч… возьми!»

«И все же я это сделал, — отозвался Али. — Он рухнул наземь и испустил дух. Супруга в слезах бросилась на его залитую кровью грудь — но, как ни странно, не произнесла ни слова и не подняла тревоги. Больше я ничего не видел — и кинулся прочь. Никто меня не остановил — бегая по поручениям капитана, я

многим примелькался — да и ночь была темной. Скоро я оказался за пределами лагеря, среди костров и обиталищ людей, которые сопровождали армию. По правде говоря, я понятия не имел, что со мной станется в их обществе, — разоблачат меня и возвратят в лагерь за вознаграждение или еще как, укроют меня или спокойно дадут умереть, — а это, если никто не окажет помощь, было неминуемо: рана оказалась небольшой и уже запеклась, но крови я потерял много».

Тут Али вновь откинулся на подушку — ведь он не был итальянским тенором, способным, даже умирая от раны, изложить пространную историю, — и только к вечеру пришел в себя. Открыв глаза и вспомнив, где находится (Долорес держала руку на его лбу), он судорожно вцепился в свой наряд — жест, который нередко за ним замечали. Полковой хирург поинтересовался, что же он ищет. Сначала Али отмалчивался, но, когда вопросы сделались настоятельными, попросил нож — распороть швы — и вытащил из подкладки пачку бумаг, которую не без опаски передал лейтенанту для изучения.

«Еще до поединка, — пояснил Али, — капитан, как только возвратился к жене, швырнул на столик кипу бумаг, перевязанную лентой. Мне их содержание неизвестно, однако раньше я видел сходные пачки депеш и потому предположил, что эта связка состоит из писем и документов, имеющих отношение к вечернему военному совету. Прежде чем ринуться за дверь, я забрал их с собой — и вот они, перед вами».

Осмотр подтвердил, что бумаги действительно являются донесениями и протоколами, прямо излагающими стратегические планы французского главного штаба. Лейтенант Апворд пожелал узнать, полагает ли французское командование, что эти бумаги все еще находятся в руках капитана; Али ответил, что уверенности в этом у него нет, однако, вполне вероятно, французам до сих пор неизвестно, что ни в палатке капитана, ни среди его вещей этих бумаг больше нет — и это обстоятельство придаст им еще большую ценность, если полномочные офицеры обратят эти документы к надлежащим целям.

«Надлежащим целям, — призадумался лейтенант Апворд. — Да, вот именно: надлежащим!»

Лишь на краткий миг полковой хирург испытал соблазн объявить начальству эти секреты добытыми им самим — что, без сомнения, значительно повысило бы его Репутацию и, возможно, помогло бы достичь заветнейшей цели, Производства в чин столь высокий, который позволил бы оставить службу и с триумфом возвратиться в Англию. Однако, поразмыслив, лейтенант счел этот шаг ошибочным и бесчестным — а кроме того, сколько он ни

ломал голову, ему никак не удавалось сочинить правдоподобную историю, каким образом эти бумаги могли попасть к нему в руки. Посему он решил довольствоваться отраженной славой, которая, несомненно, его осенит, когда он представит Али и похищенные бумаги совету Богов, в чьей власти тогда было вершить человеческие судьбы.

Поначалу верховные распорядители склонялись к мнению, что представленные документы надлежит отклонить, — доклад Али показался им неубедительным, и на него самого, узнав, чей он сын, взирали с недоверием: даже в Иберии было кое-что известно о смерти его отца и последовавшем за ней бегстве — к тому же Али сражался на стороне французов, разве нет? Был он и вправду, как утверждал, насильно завербован или же поступил на службу добровольно — кто знает? Да особого значения это, собственно, и не имело: ведь он, оказавшись у французов, очевидным образом предпочел Смерти низкое Бесчестие (на что никто из них, как они были твердо уверены, не пошел бы). Им хотелось знать: «Как, прежде всего, он попал из Шотландии на берега Франции?» — «Как получилось, что из пешего Новобранца он сделался Адъютантом французского офицера?»; Али мог бы понурить голову или хранить молчание, однако отвечал он с таким прямодушием и бесспорной искренностью, что привел судей в некоторое замешательство. Между тем разложенные перед ними бумаги были подвергнуты рассмотрению — и постепенно суть дела начала проясняться. Французские военачальники невысоко ставили своего противника. «Il est evident, — говорилось в протоколе, — que les anglais pusillanimes préferent ramper comme des vers á travers la terretrainant leurs bagages, leurs animaux et leurs chariots plutôtque de se lever et de se batter. Une fois provoqués, ils sont susceptibles á se batter en retraite á plat ventre. C'est done l'objectif de sa gracieuse Majesté Joseph d'Espagne ainsi que de I'Empereur, de provoquer une bataille qui reglera la questuin une fois pour toutes»[17] и проч. — вкупе со множеством прочих оскорблений и язвительных насмешек над трусостью англичан и их выжидательной тактикой. В заключение заносчивые французские вояки заявляли, что их *pusillanime*[18] противник должен быть вовлечен в сражение посредством «une faiblesse apparente de notre part de sorte б tenter cet ennemi, si timide soit-il!»[19] Члены генерального штаба по очереди просматривали бумаги — хмыкали — бормотали что-то невнятное — взвешивали мысленно, насколько драгоценны неопровержимые сведения о том, что думает о них противник и какие выводы он сделает, наблюдая их действия, — и благодаря этому утвердится в собственном заблуждении — и таким образом

совершит опаснейшую из военных оплошностей: без веских оснований исполнится презрением к врагу. (Так говорится в книгах — моем единственном источнике познаний в этом предмете; такой способ изучения материала является наилучшим — в отличие от непосредственного опыта, что охотно подтвердит любой безногий или ослепший Ветеран, а равно и любой из Королевских Советников.)

Штабным оставалось только укрепить тыл — не Армии, а свой собственный: нельзя же представить дело таким образом, что основа стратегии — свидетельства перебежчика и беглого отцеубийцы, который сообщил военные секреты противника в обмен на покровительство. Нет! В сердце событий должен быть тот, кто пожертвовал всем ради триумфа Нации, — Патриот — Герой с незапятнанным именем. Ради такой цели французский Солдат (кем он и был), Капер (этого он не признавал) и убийца (что он горячо отрицал) посредством *полевого повышения в звании* молниеносно превратился в британского воина и младшего офицера: о подобной стремительности полковой хирург мог только мечтать. Лейтенант, в душе добрый малый, был обрадован таким взлетом по службе своего пациента почти как собственной удаче и сиял его отраженным светом.

«Выпьем за ваше здоровье, — воскликнул он, похлопав юношу по плечу, — отпразднуем ваше продвижение и Восстановление в Правах — вполне оно заслужено или нет — но кто из нас допустит, чтобы его путь наверх изучали чересчур придирчиво? И, надеюсь, вы возвратите мое нынешнее поздравление в какой-нибудь другой счастливый день».

«Конечно, — отвечал Али, — если мой прибыток не окажется вымыслом или призраком — в чем, думаю, не могу полностью поручиться. А сейчас, хотя немного вина будет очень кстати, поскольку я чувствую жажду и хотел бы успокоиться, — я все же разбавлю его водой: голова у меня и без того идет кругом и меня шатает из стороны в сторону, даром что я не брал в рот ни капли».

Тут полковой хирург, как и подобает солдату, в смятении покачал головой при мысли о том, что к крепкому напитку будет подмешан «смиряющий Тибр», и предложил своему подопечному опереться на его руку.

Вскоре французы уже наблюдали в подзорные трубы, как англичане перемещают возимое имущество в тыл, словно готовясь к отступлению, а когда, желая продемонстрировать силу, произвели из твердынь несколько вылазок, дабы побудить малодушных англичан ввязаться в бой, те никак на это не ответили — и только отдалились от врага, будто Дева от

докучливого Соискателя или Кларисса от Ловласа. И даже когда французские генералы, забыв о Правилах военной стратегии, слишком широко развернули свои войска на подступах к городу, англичане воздержались от атаки, вследствие чего французы уверились в легкой победе — к позднейшему своему изумлению. В ночь перед сражением разразилась небесная битва: Юпитер устремил свой гнев на земные армии, предвосхитив их взаимные намерения, и примерно две дюжины доблестных англичан поразила молния, прежде чем это сделал противник. Поистине незадача, если дурная погода рушит наши замыслы насчет убийств и увечий, и особенно досадно, что его Железная Светлость воспретил офицерам носить в таких условиях зонтики как слишком явный признак изнеженности. Однако наутро день выдался совершенно ясным — как по заказу; орудия извергли в голубое небо белые клубы дыма; весело прогалопировали Кавалеристы, позвякивая уздечками, — а рядовые солдаты громко и восторженно их приветствовали — хотя почему, они и сами не знали.

Что стало бы с Али, окажись его сведения ложными — или же из них сделали ложные умозаключения — или на пути к победе волей Судьбы и Случая возникло бы хоть одно из тысячи непредвиденных превратностей — гадать незачем, ибо общеизвестно, что французы, обуянные нетерпеливой гордыней, обрушились в тот день на англичан у деревни Арапилес с величественной мощью и с тем же успехом, как если бы умудренный годами Орел кинулся на Паровой Двигатель. До сего времени никакую другую битву, выигранную Железной Светлостью, не провозглашают столь же безупречной и столь же изящной, словно военное сражение может иметь сходство с теоремой Евклида или параллелограммом. Во всяком случае, это была победа, восторженно встреченная далекими соотечественниками герцога: за эти месяцы к ним доходило немного новостей, способных вызвать ликование. В газетах стоял шум — Оппозиция безмолвствовала; его светлости были пожалованы титул маркиза, а также 100 000 фунтов и, сверх всего, архиепископ Кентерберийский (по распоряжению принца-регента) составил и вознес Благодарственную Молитву Господу Воинств, призвав оказать особенную Милость победоносному лорду. Был выпущен Экстренный Бюллетень, в котором упоминался Али, причем с похвалой, среди множества других, кто внес свой вклад в победу: те, кому была известна его история, встретили его имя в этом списке, потрясенные недоумением.

Итак, солнечным летом, когда французские Орлы и Штандарты вернулись на родину, а Лондон по вечерам сиял

огнями (каждое окно, где не был зажжен свет, патриотическая Толпа забрасывала камнями), Али вновь ступил на британский берег и мостовые британской столицы, однако теперь Героем (в сопровождении полкового хирурга, чье участие в деле помогло исполниться его заветному желанию — получить должность в Лондоне) — и тем самым предал себя в руки королевского правосудия, дабы предстать перед судом (и, по всей вероятности, угодить на виселицу) за преступление, которого он не совершал!

Проницательный Читатель (если Бог пошлет мне читателей) может здесь возразить, что ему не доводилось ни читать, ни слышать о подобных обстоятельствах знаменитой битвы при Саламанке; также он не имеет ни малейшего понятия ни о громкой славе, выпавшей затем на долю одного из (предположительно) главных Творцов этой победы; ни о щедрых похвалах ему из уст Командования и Двора, ни обо всех подробностях, что им предшествовали, — и я отвечу, что могу сослаться на самый надежный и авторитетный источник, тогдашнего Британского Консула в Испании — на выдающегося и достопочтенного Джона Хукэма Фрира, эсквайра, человека безупречной честности, который, вне всякого сомнения, не снизойдет до небылиц или хотя бы до приукрашивания подлинных историй.

Примечания к седьмой главе

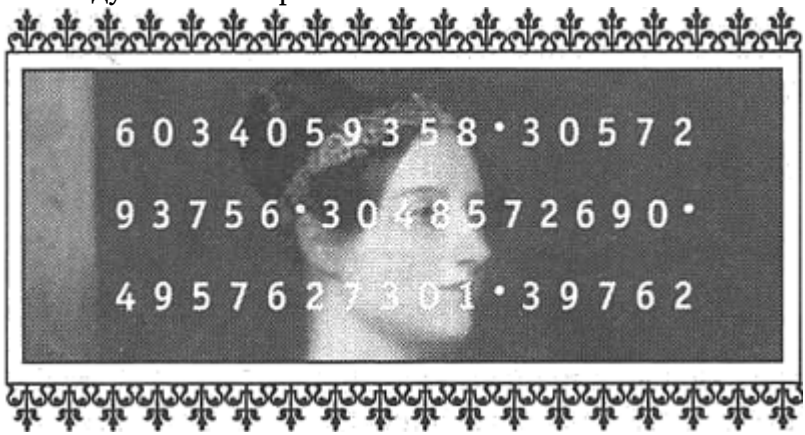
1. недавняя война: Когда Байрон в 1809 году путешествовал по Испании, британцы только начинали вторжение на Иберийский полуостров; описанные события автор относит к позднейшим годам войны, которых уже не застал. Отметим, что битву при Саламанке (1812) он датирует словами «менее десятилетия назад», которые хотя и не столь точно, как хотелось бы, но определяют время написания главы — незадолго до 1822 года. В конце 1821 года Байрон покинул Равенну и поселился в Пизе, откуда позднее отплыл в Грецию. Мне представляется, что работа над рукописью романа (вполне бессистемная) началась во время пребывания лорда Байрона в Швейцарии вслед за разрывом с леди Байрон, продолжалась приблизительно до его пребывания в Равенне, и роман был утрачен (или похищен) при отъезде из нее. Впрочем, это всего лишь мое предположение.

2. еще не Герцог: Мог ли лорд Б. думать об издании романа, в котором герцог Веллингтон, выведенный как один из персонажей, одерживает славную победу отчасти благодаря сведениям, полученным от перебежчика, — что, разумеется, вымышлено? Полагаю, к седьмой главе лорд Б. осознал невозможность печатанья романа, каков он есть, и оказался волен творить, как заблагорассудится, предназначая итог либо для пламени камина, либо для потомства — но только не для современной Публики. Этим, вероятно, объясняется и то, что, насколько я могу судить по свидетельствам биографов, Байрон ни разу не упомянул об этом романе, тогда как начало, ход и окончание работы над другими своими произведениями он постоянно обсуждал в письмах к издателям и прочим лицам.

3. зонтики: Судя по прочитанной мною книге Напьера «Война на Полуострове», лорд Б. в высшей степени скрупулезно описывает передвижения войск, ход сражения, погоду и даже такую подробность, как офицерские Зонтики. Мне говорили, что он гордился точностью приводимых сведений и любил безошибочно перечислять мельчайшие детали корабельной оснастки, досконально описывать государственное устройство других стран, одежду и обычаи народов. Это не самое великое достоинство, и он не слишком часто им похвалялся. Однако та же черта свойственна и мне, и я равно стараюсь ее не проявлять при каждом случае. И не в полную силу.

4. Фрир: Джон Хукем Фрир, точно, состоял в должности британского консула в Испании во время битвы при Саламанке. Он занимал этот пост и раньше, когда лорд Байрон в 1809 году

совершил путешествие по Испании на пути к Гибралтару, чтобы морем отправиться оттуда в Грецию. Какие причины побудили лорда Б. подобным образом представить этого человека в своем романе, мне неизвестно, поскольку сведениями о каких-либо связях между ними я не располагаю.



От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spanril33@ggm.edu›
Тема: Чайльд

Сроду не думала, что до такого доживу. Засиделась допоздна, перелистывая стихи Байрона. У Джорджианы нашелся огромный том — на полке, где сплошь книги в кожаных переплетах: не думаю, чтоб она многие брала в руки — да хоть и одну. Я начала с его первой большой поэмы, «Паломничества Чайльд-Гарольда», той самой, что имела такой огромный и мгновенный успех, и он «проснулся знаменитым» — или как там это обстояло. Что ж, вещица занятная. Вот, прочитай-ка (да-да, я знаю, но все же прочти). Это из начала поэмы: Гарольд путешествует по Испании и отправляется на бой быков:

Трубят протяжно трубы, и мгновенно
Цирк замер. Лязг засова, взмах флажком —
И мощный зверь на желтый круг арены
Выносится в пролет одним прыжком.
На миг застыл. Не в бешенстве слепом,
Но в цель уставясь грозными рогами,
Идет к врагу, могучим бьет хвостом,
Взметает гравий и песок ногами
И яростно косит багровыми зрачками.

Правда ведь, точно сценка из старых мультиков, где

в роли матадора Багз Банни или Даффи Дак: двери распахиваются, выскакивает бык, пар из ноздрей и т. д. и т. п.? Ну, копия. Поэма в целом — совсем другая, но то и дело такие вот кадрики попадаются.

Раз он писал о всякой экзотике (по тем временам) — так, наверное, людей это увлекало, как фильмы о путешествиях, и не казалось банальностью. Может, это даже неплохо написано. Ему было только 23. Но долго читать я не могу. Глаза слипаются. Шрифт очень мелкий. Страница пожелтелая. Все это было давным-давно. Пойду спать.

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Ада Примечания
Ли:

Занимаюсь примечаниями Ады к роману. Я посылала тебе несколько отсканированных страниц. Разобрать их трудно (особенно в оцифровке — ты, наверное, уже махнул на них рукой). Может, она временами была под наркотой. Но я пытаюсь понять, о чем могла быть сожженная книга. С некоторыми темами понятно: о них, как я уже знаю, речь в ней точно идет (или шла) — во всяком случае, какое-то значение они имели. Албания. Греция. Шотландия. Поместье Байрона в Ньюстеде. Томас Мур. Зомби (!). Ирландский лорд по имени Фицджеральд, реальная личность (?). Битва при Саламанке (Испания). Герцог Веллингтон. Некто по имени Фрир (?). Особого смысла я не улавливаю, да и вряд ли смогу — без самой книги.

Сама не понимаю, почему я на этом так зациклилась. Ада потратила на книгу уйму времени, а она умирала, и я чувствую, что нельзя это бросать. Но если книга утрачена — ничего не поделаешь.

Буду посылать тебе все примечания Ады по мере оформления. Сообщи, если что-то сможешь из них извлечь.

С

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Лилит" ‹smackay@ strongwomanstory.org›
Тема: Процесс

Лилит,

По-моему, не совсем справедливо с твоей стороны думать, будто я не занимаюсь делом, о котором мы с тобой условились. Понимаю, мои отчеты — это не совсем то, что ты ожидала увидеть, но думаю, самое главное — что я ничем не подрываю отношений с Джорджианой, которые только складываются. Она послала мне копию своего письма к тебе: признай — она с головой втянулась в работу, и, судя по тому, что она пишет обо мне, я все делаю правильно, так что наш проект и его задачи — постоянно в ее поле зрения.

Сознаю, что без меня труднее продолжать разработку сайта, но если ты взглянешь на кое-какие старые страницы (скажем, о Кюри), то убедишься, что я их подчистила и сократила твой список багов. Здесь, у Джорджианы, найти место для работы не так-то просто. Жилище не ахти какое просторное. Она много говорит по телефону и при этом имеет привычку расхаживать по дому. Но вспомни, сколько денег мы экономим: к тому же сегодня я иду в лондонский Музей науки, а в понедельник снова поеду в Оксфорд просматривать архив Лавлейсов. Кстати, не найдется ли кого в конторе (а Кэтлин еще работает?), кто мог бы кое-что поискать для меня в нью-йоркской публичке? Там тоже полно бумаг, связанных с Адой.

Лилит, я изо всех сил стараюсь, чтобы Джорджиана поддерживала нас и наш проект. Мы постепенно продвигаемся. Не могу всего объяснить, но очень прошу тебя просто поверить, что скоро все обернется к лучшему. Награда близка.

Привет

Смит

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: математика

ну ты меня и запрягла сижу до полуночи уставясь в

эти таблицы что ты мне прислала пока могу только сказать что с точки зрения математики это сущая бессмыслица

пришлось пойти и почитать насчет бэббиджа и всех его дел выяснила что бэббидж и ада интересовались еще и статистикой а о ней я мало что знаю двину сейчас на факультет может кто что и подскажет вообще это малость унизительно да ладно все ради науки ятл

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strong womanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Пиявки
Копия: "Теа Спанн" ‹thea.spannl33@ggm.edu› Ли,

Вот что я обнаружила (в сети и вправду можно найти все, что угодно, и какой после этого интерес в разысканиях — правда, половина из того, что находишь, полная чушь) — да, так вот что я нашла насчет «Предсказателя бурь» доктора Мерриуэзера. Если помнишь, это устройство или «прибор», который Ада пошла смотреть, когда ее друг изучал рукопись. Может, ты решил, что это шутка[20], но нет — был такой доктор Мерриуэзер, и он в самом деле соорудил аппарат для предсказания внезапных перемен — чего? — погоды, конечно; все чистая правда. И вот что он сделал: он выяснил, что пиявки (ну, знаешь, кто такие) сильно возбуждаются, когда падает атмосферное давление. Так он соорудил прибор — несколько стеклянных банок, в каждой пиявка, а к каждой пиявке прикреплена серебряная цепочка — бог его знает, почему серебряная, — а наверху к этим цепочкам были привязаны колокольчики, тщательно сбалансированные; когда давление падает, к непогоде или грозе, пиявки извиваются, как бешеные, цепочки тянут за колокольчики — и те оповещают звоном. На картинке банки из граненого стекла, а вся штука выглядит как огромная люстра. Вот так вот.

C

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Пиявки

Ого. А тебе известно, что мать Ады — супруга Байрона — увлекалась пиявками? Постоянно их применяла — прикладывала ради «кровопускания». Всякому доктору (а перевидала она их множество), кто выражал сомнение в пользе пиявок, отказывала в доверии. При головной боли прикладывала пиявок ко лбу и к вискам, если болело что-то еще — к другим частям тела. Пиявки! Как так получается, что мир или история все-таки мстят пакостникам, хотя и по-мелкому, наполняя их жизнь великолепными символами (точнее, метонимиями) — точными и настолько прямолинейными, что никакой автор не дерзнул бы к ним прибегнуть?

Страдала она и булимией — я правильно употребил термин? Утверждала, что ничего не ест, однако на деле ела очень много (в особенности баранину), а потом отправлялась в море, на лодочную прогулку, где ее рвало. А еще у нее на руке была искусственная ранка, которую она как-то растравляла или иным способом не давала зажить, чтобы облегчать кровопускание. И все и каждый вокруг — множество ее друзей, светские люди, зять —. чуть ли не до самого конца считали ее образцом добродетели и самоотвержения.

Можно узнать, кто такая Теа, которой ты переслала копию письма о пиявочном устройстве?

Ли

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: нашла

ура ура дотумкала дотумкала
ты не поверишь но я дотумкала а ты нет

сначала мы запустили это в компьютер прежде всего никакая это не статистика есть алгоритм который определяет является ли таблица статистической это

называется закон бенфорда он прогнозирует частотность цифр в статистических данных в больших массивах данных как этот если не соответствует предсказанной частотной зависимости значит это не статистика вау ну и ну мда я впечатлилась потом раскинула мозгами и сообразила да и ты поймешь за секунду если только вдумаешься насчет ады и ее мегеры мамаши ты бы сделала в точности то же самое что она

вот что найди тихую комнату с дверью на замке и позвони мне раньше ведь не звонила только непременно вечером скажем в девять по восточностандартному и поговоришь со мной о подробно подробно когда еще как не ночью

а потом если будешь паинькой Я РАССКАЖУ ТЕБЕ СЕКРЕТ ПОТОМУ КАК Я ЕГО РАЗГАДАЛА

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Наутро

Теа, а если и вправду? Если все так и есть — и ты права? Если Ада так и сделала: закодировала всю книгу и замаскировала ее под математические таблицы. Из головы не идет, хожу и смеюсь: это потрясающе — или глупо, уж не знаю, что именно. Теа, ты изумительная.

Господи, ну и ночка, верно? Как я могла забыть, что у тебя девять вечера, когда здесь три часа ночи? Ну да ладно. Джорджиана утром странно на меня поглядывала — уж не слышала ли чего-нибудь.

Но ты не бери в голову. Давай, взламывай код. Если это код. Ты должна его разгадать, причем сама — и втайне. И тогда мы прославимся. ТЫ прославишься. Если сумеем уговорить Джорджиану и она позволит нам поделиться открытием.

C

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›

Кому: lnovak@metrognome.net.au

Тема: Новости

Ли — Возможно, есть новости. Возможно, книга не пропала. Возможно.

Теа — моя партнерша. По мейлу тебе не видно, как я выбирала это слово среди прочих, но все другие мне не подходят. Она — чудо, и только что совершила чудо. Я так думаю и надеюсь. Возможно. Скоро дам тебе знать.

С

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›

Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›

Тема: коды

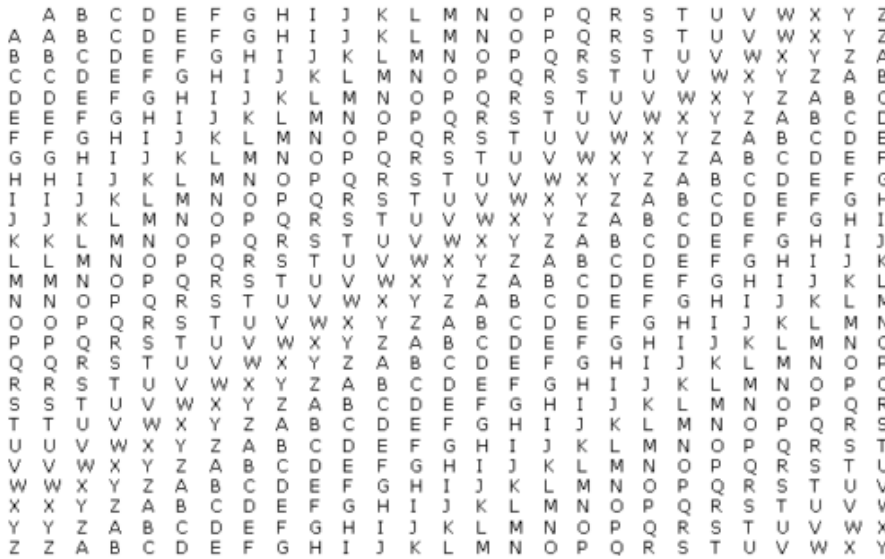
это не код это шифр и вот как он работает подставляешь одни буквы вместо других по определенному принципу например начинаешь шифралфавит не с той буквы что обычный скажем незашифрованный текст начинается с буквы a и заканчивается буквой z зашифрованный текст начинается с буквы g доходит до z и дальше от a до f понятно например слово cab превращается в igh чтобы взломать такой шифр нужно перебрать все буквы с которых может начинаться алфавит пока не получится чтото вразумительное но и это не все чтобы затруднить расшифровку ты выбираешь первые буквы шифралфавита согласно какомуто ключу к примеру берешь слово lordbyron выбрасываешь повторяющиеся буквы a потом добавляешь все остальные чтобы получился полный алфавит в итоге имеешь

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ldbyronacefghijkmpqstuvwxz

понятно потом используешь этот алфавит если у когонибудь окажется ключ он сможет все разгадать но и такой вариант слишком прост потому что каждой букве текста в шифре всегда соответствует одна и та же каждое b это d взломать проще простого поэтому есть другие приемы можно составить таблицу в виде квадрата из 26 букв от a до z на одной стороне и от a до z на другой и тогда у тебя будет 26 алфавитов которые начинаются с разных букв потом берешь ключом слово Idbyron

применяешь его чтобы определить свой алфавит для каждой из первых 7 букв текста и повторяешь потом для следующих 7 и так далее до конца текста это так называемый шифр виженера вот тебе такой квадрат верхний ряд и левая колонка ключевые



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

предположим первое слово в твоем тексте eerie первая буква e смотришь вниз от буквы e в верхнем ключевом ряду до строки вторая начинается с буквы l на пересечении буква p затем то же самое проделываешь со следующей буквой текста это снова e но на сей раз используешь следующую букву в ldbyron смотришь опять от буквы e в верхнем ряду но теперь до строчки d поэтому получаешь h вот видишь если и дальше использовать ключ ldbyron то одинаковые буквы в тексте будут заменяться не одними и теми же буквами а разными не всякий раз но часто но каждый кому известен ключ сможет легко все расшифровать

ну что поняла как работает наверное нет а знаешь кто первым сообразна как взломать этот сложный код угадай это был Бэббидж

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: коды

Идею ухватила. Слушай, Теа, твои письма были бы куда понятней, если бы ты вспомнила о пунктуации. Но мы уже это обсуждали. Проехали. Кстати, АДА использует вместо букв цифры. Это простой перевод? ABC = 123? Если так, то откуда знать, где заканчивается число, которое соответствует одной букве, и начинается другое? Если 1 — это A, 2 — это B, а 12 — L, как узнать, что 12 заменяет L, а не AB? Просто интересуюсь.

C

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strong womanstory.org›
Тема: RE: RE: коды

охохо придется ради тебя изобретать колесо просто нужно установить для каждой буквы пару цифр значит каждые 2 цифры это 1 буква проще простого сама погляди это значит что в каждой строке должно быть четное количество цифр у ады так оно и есть

длину строки берешь произвольную но разбиваешь строку на равные отрезки у ады десять цифр значит пять букв в строке и дешифровщик не может определить длину слова нельзя к примеру выделить слова которые состоят из одной буквы тогда мы бы сразу сообразили что это i или a ну понятно почему других однобуквенных слов в английском нет они стали бы основой дальнейшей расшифровки ты не найдешь и двухбуквенные слова их немного типа of и am бэббидж составил целые словари слов различной длины двухбуквенные трехбуквенные так что можешь испробовать все это называется метод грубой силы давай попробуй

угадай что лучше всего подходит для метода грубой силы компьютер

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›

Тема: Бэббидж

Так. Занялась и Бэббиджем. До чего же странный и удивительный человек — величайший нерд в мире, божество нердов, но только еще удивительней. Он точно к этому причастен, иначе и быть не может. Знаешь, у него на стене висел портрет Ж. -М. Жаккара (изобретателя программируемого ткацкого станка), сотканный при помощи перфокарт — и так искусно, что его принимали за написанный маслом. Вот на что перфокарты годятся.

После смерти Ады Бэббидж написал нечто вроде автобиографии под названием «Отрывки из жизни философа», и подумай только — на титульном листе эпиграф из Байрона. Вот:

> Но я философ: ч… их побери —
> Зверей, людей и деньги, — но не милых,
> Прелестных женщин.

Не намек ли это? Или мной вконец овладела паранойя и я всюду выискиваю связи? Он называл Аду своей феей, и она не возражала. Его волшебная подруга, фея-помощница.

Между прочим, жену Бэббиджа звали Джорджианой. Ну, звали и звали. Тут вот что еще: Бэббидж был знаком с Изамбардом Кингдомом Брюнелем. Байрон Кинг, лорд Оккам, — помнишь, сын Ады, который хранил весь этот архив у себя в сундуке, — перед смертью работал на верфи на Собачьем острове, которая принадлежала Брюнелю, и там строился «Грейт-Истерн». Что, если именно Бэббидж устроил его туда на работу?

Я раскапываю что-то новое или просто лечу с катушек?

Смит

* * * * *

От: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›

Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›

Тема: RE: Бэббидж

кто такой брюнель что за грейт истерн какой такой остров какихто собак мне какое дело

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: Re: Бэббидж

Извини. Изамбард Кингдом Брюнель — виднейший инженер Викторианской эпохи. Он строил гигантские штуки из железа. Мосты и корабли. На то время — самые крупные. «Грейт-Истерн» — корабль, колесный пароход, самый большой в истории. В районе Лондона, который называется Собачьим островом, у него была фабрика, или, как тогда говорили, мастерская. Не знаю, почему остров так называется, а почему бы тебе САМОЙ НЕ ПОИСКАТЬ. Вот линк на портрет Брюнеля: http://www.bbc.co.uk/history/ programmes/greatbritons/gb_brunel_isambard.shtml

Обрати внимание на сигару, котелок и большой палец за отворотом жилета. ОГРОМНЫЕ цепи у него за спиной — цепи «Грейт Истерна». Корабль был сооружен — для торговли с Америкой! О господи. У меня паранойя. Всюду вижу какие-то знаки. Но что, если они есть на самом деле?

C

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: программа

ты видишь знаки и ты чокнутая но вспомни что говорят у параноиков тоже есть враги так и не скажешь пока не будем знать точно не думаю что расшифровка затянется надолго после того как мы ее запустим но я вот что подумала если буквы заменены числовой последовательностью тогда можно запустить математическую программу для преобразования этого ряда мне это только что пришло в голову хм например каждую строку умножить на ключевую цифру или вывести как результат арифметической операции или

даже алгебраической чтобы все строки имели постоянную длину использовать арифметический модуль равный длине строки вау

а значит по сути это программа для компьютера для того чем должна была стать аналитическая машина ада ведь сказала что она будет сплетать алгебраические выкладки в точности как станок жаккара цветные нити вроде того так

мне это нравится здорово нравится есть трудности но я думаю думаю

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: RE: программа

Окей, Т. Ты хочешь сказать, что Ада составила таблицу, которую можно использовать для штамповки серии карточек, вроде карт для станка Жаккара? А потом запустить их в аналитическую машину (Ада не сомневалась, что когда-нибудь где-нибудь ее да построят), а машина преобразует их в печатные листы с текстом. На каждой карточке окажется достаточно отверстий для всего алфавита плюс пунктуации — как у тех перфокарт, которые были еще в нашем детстве, — и машина каким-то образом будет накапливать в памяти цифры по порядку. Точно. Теперь последняя команда — и каждая карточка заставляет компьютер (то есть машину) выдавать число, которое соответствует слову в простейшем шифре: 01-02-03 = a-b-c — а может, слову и знаку препинания, — и распечатывать его. Понятно.

Понадобится всего лишь несколько лет для перфорирования 100 000 карточек, чтобы сохранить каждое слово книги, даже если она среднего объема. И Ада, похоже, не оставила никаких инструкций насчет того, как машине читать эти карты, потому что откуда ей знать, как машина будет работать. Все равно что писать софт для компьютера, который еще не создан?

Может, она использовала какой-нибудь сжатый словарь. Это возможно? Скажем, одна дырка или одна команда обозначала, в таком-то слове пятая, седьмая и девятая буквы — «а». Сама не знаю, о чем я. Может, Ада хотела, чтобы мы превратили цифры в перфокарты,

засунули их в станок Жаккара — и возник бы громадный кусок ткани, в которую была бы вплетена книга. Ей-богу, проще скопировать ее буква за буквой на прибрежных голышах, чтобы кто-нибудь их там разыскал.

C

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Re: программа

ты мне не доверяешь и никак не поймешь принцип это видно ты еще пожалеешь о своих насмешках когда у меня все получится причем очень скоро

ей незачем было воображать будто кто-то станет перфорировать все карточки она знала что хватит одних инструкций насчет этого и что мы в будущем с этим справимся и заложим данные в машины которых тогда еще не было но она знала что они появятся они и появились еще как появились

кстати ткань с книгой была бы не такой уж громадной да и карточек нужно куда меньше ты сама не читаешь свои книги по истории а я вычитала что для шелкового портрета мистера или месье жаккара который принадлежал бэббиджу понадобилось 24000 карточек а на каждой 1000 перфораций вот так сама книга это проще простого сложность в том как запрограммировать карточки чтобы сплести именно буквы думаю и ада не знала а ты мне рассказываешь

m

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: ЯТЛ

Не могу найти, знала ли Ада, как программировать станок Жаккара. Держу пари, что нет. Но послушай: я вот что подумала. Это ведь на поверхности. Из всего романа мы нашли единственную страницу: она оказалась в сундуке не случайно. Ада сохранила ее —

единственную, — чтобы мы сумели разгадать код. Чтобы поняли, что это именно код. Страница должна быть последней — чтобы с ее помощью раскрыть код. Ключ. Но ведь это не последняя страница, разве только книга не закончена, что тоже возможно, — а значит, нельзя вести отсчет от последней буквы и последней цифры. Но я уверена, что это все-таки ключ, для того Ада и оставила нам страницу.

Я когда об этом догадалась, просто заплакала. Ты права. Книга — там, Ада перенесла туда весь роман, и ее сын забрал его с собой: она думала, что где-то когда-нибудь… Ты. Я. Господи, Теа. Что, если это так.

С

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: ЯТЛ

да вчера вечером я думала то же самое думая о тебе

мне казалось бредом ну или очень подозрительным что она вложила заметки в тот же сундук что и шифровку и ту самую единственную страницу потому что гораздо легче взломать шифр если у тебя в руках кусок текста и как только ты догадаешься что шифр это роман остается только искать слова повторы имя главного героя и прочее

и вот сегодня мой приятель который занимается кодами объяснил мне принцип pgp то есть почти полной приватности ты прячешь чтото не навсегда а чтобы лишние люди какое-то время не смогли разгадать например если рядом дети ты произносишь слова по буквам это и есть pgp пока они не сообразят что к чему вот и шифр у ады был pgp потому что ей нужно было утаить рукопись от мамаши а уж после этого чтобы книгу прочитали она хотела чтобы мы это сделали и постаралась облегчить задачу мы то думали что будет очень сложно а с какой стати это должно быть просто права я нет

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема:

Теа,

Конечно же, ты права. Конечно-конечно. Она умирала, Теа, и все же успела: зашифровала роман, который по желанию матери и мужа должна была уничтожить. Она пообещала его уничтожить — и уничтожила. Она сожгла рукопись на глазах у мужа — всю, целиком, кроме одной страницы. Потом ее навестил сын, несчастный лорд Оккам, который не желал быть лордом, а хотел только вырваться и жить среди простых людей, занимаясь простым трудом. И она отдала ему все, отдала бумаги, которые он не мог прочесть, и не объяснила, что это. Вдобавок — одну уцелевшую страницу. И сказала сыну: возьми это с собой в Америку, где нет никаких лордов. А теперь беги и забери это с собой.

Но, Теа, мы еще ничего не можем доказать. И не сможем, пока рукопись не будет переведена, расшифрована, декодирована — или как это назвать. Сегодня вечером я опять вынула ее из коробки (Джорджиана спала: храпит она, при всей щуплости, на удивление громко), посмотрела — и мне показалось, будто я вижу насквозь, что она содержит. Но, может быть, и ничего.

Итак, сколько нам ждать? Если шифр несложный — или не должен оказаться сложным. Месяц, год, полдня?

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: []

может час или два может день не знаю

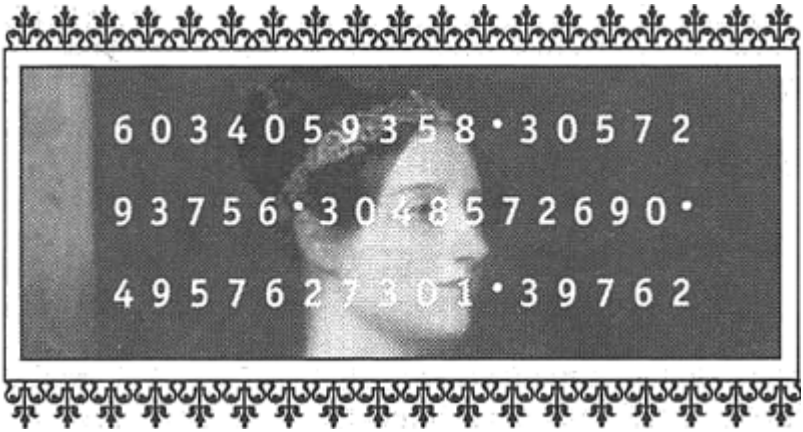
но сначала нужно ввести все цифры и чтобы никто не знал что я затеяла думаешь легко ничего подобного размышляю как это сделать пока не знаю

главное найти ключ есть у тебя какие прикидки если знать хотя бы длину ключевого слова уже можно определить периодичность но можно обойтись и без этого надо дождаться переломного момента когда начнет появляться хоть какой-то смысл слово или несколько вот

тогда и узнаешь скоро сама увидишь вижу я если вижу если я не рехнулась а если так надеюсь ты меня простишь

твоя подруга

теа



Глава осьмая
О Славе и ее последствиях, а также о Законе и его современном применении

Лондон! Али уже ступал однажды по его почернелым булыжникам, толкался среди серых уличных толп и увертывался от надменных аристократических экипажей — которые, однако, помазывали его грязью из-под колес. Прежде он бродил и ездил по городу, словно во сне, и словно во сне попадал то в адвокатские конторы, то в уютные кресла кофеен — равно для него призрачные. Теперь же отец был мертв — а это он беспрерывно водил Али по лондонским улицам, не снисходя до объяснений, — и вырос сам Али, накопив в памяти такие происшествия, какие даже здешний Пандемониум не мог превзойти ни причудливостью, ни ужасом. Как уже сказано, слухи о роли Али в драме, разыгранной на равнине близ Саламанки, опередили его прибытие в столицу, и всякий раз, когда он представал глазам публики, появляясь на городских улицах — от чего ни лейтенант Апворд, ни прочие друзья и сослуживцы не в силах были его отговорить, — юношу сопровождала компания зевак, которая превращалась сначала в сборище, а потом и в Толпу: слышались глумливые выкрики и восторженные приветствия; иные понятия не имели, что происходит, однако тоже подавали голос. Юридическая процедура оказалась короткой: Судья, также осведомленный о недавних подвигах Али, куда более шотландского собрата был склонен отпустить его под залог, приняв все поручительства и долговые обязательства. Держался судья, впрочем, крайне сурово — ибо Закон обязан со всей возможной серьезностью взирать на убийство лорда, какую бы славу тот ни обрел при жизни (а судье Сэйн был знаком издавна), — но довольно скоро Али, вместе со своими приверженцами, вновь (хотя и временно) оказался на Свободе, шумно встреченный ликующим Народом, словно отпущен был из заточения не Варавва, а сам безвинный Сын Человеческий.

Поверенные лорда Сэйна собрали для Али необходимые средства — какие только могли и были обязаны: ведь он, за отсутствием других Претендентов, выступал бесспорным наследником рода: средства эти были невелики, однако достаточны, поскольку невелики были и расходы, которые Али оказались позволены. Один из Клубов предложил Али Членство

— не отстал от него и Клуб-конкурент — тогда первый предложил Комнаты — а второй жилье попросторней — и, пока поверенные Отца размышляли над положением и правами наследника, Али обосновался в уютной *chambre sépartée*[21] в респектабельном доме — отнюдь не под кровом Ватье или в «Какаовом Дереве». Лейтенант Апворд стал главным компаньоном Али, поскольку обратиться в Столице было больше не к кому: теперь, растянувшись на предоставленном ему диване, хирург поднял бокал шампанского за здоровье своего друга, который так высоко вознесся, однако выглядел по-прежнему озабоченным.

«Милорд, — молвил Апворд, — отзывы о вас самые блестящие. Ручаюсь, что рана вас давно уже не беспокоит: все исцелили почести и удовольствия — лучшие из лекарств».

«Прошу, не называйте меня так, — отозвался Али. Он не садился и не прикасался к угощению, словно избегал пользоваться дарами и благами, неизвестно, заслуженными ли. — Я есть я, безо всяких приставок, собой и останусь, пока все не решится. Тогда посмотрим, не присвоят ли мне вместо Титула порядковый Номер — намалюют его на спине перед отправкой в Ссылку морским путем».

«Вам нечего опасаться, — возразил полковой хирург. — Общественное Мнение, Принц-регент, Военачальники — все на вашей стороне; и если они за вас, кто против вас?»

Али, несколько смешавшись, устремил хмурый взгляд в сторону: он понимал, что следовало бы разделить радость друга, однако не мог себя принудить — сам не зная почему.

Весь этот день в клуб к Али сыпались бумажным водопадом визитные карточки лиц, представлявших самые разные круги и занимавших самое разное положение в обществе. На Али, будто на сказочное чудище, явились поглазеть Поэт, предложивший написать эпическую поэму о его приключениях; Методист, предложивший обращение в истинную веру, и юная Леди, предложившая… — что именно, Али толком не понял, ибо она лишилась чувств, прежде чем сумела объяснить причины своего визита. Она подкупила Привратника и пробралась в дом под покровом ночи, в отсутствие Али — спряталась за Ширмой и показалась из-за нее, когда он вернулся, — упала, как сказано, в обморок — сознание ей вернули, с помощью воды и нюхательных солей, стараниями полкового хирурга — который намекнул, что, раз уж дама пришла в себя, ей можно оказать надлежащий прием, однако Али настоял на том, что ее следует проводить за порог, и исполнил это со всей почтительностью и tendresse[22], дабы ни она, ни ее репутация не понесли от пребывания под его кровом ни

малейшего урона.

Чудом света Али оставался девять дней, но и по истечении двух недель интерес не убывал — и Али почувствовал, что многие из тех, кто пристально в него вглядывался и брал его за руку «с кивком, с улыбкою приятной», видели в нем нечто иное или большее, нежели просто британского героя. «Не понимаю, чем я привлек внимание, что возбуждает любопытство? — спрашивал Али. — Неужто у каждого в душе таится желание расправиться с отцом?»

«Вернее всего, то, что вы турок, — заметил его друг лейтенант, — и не христианин, однако уже на пути к палате лордов, где можете посвятить свою первую речь красотам Корана или необходимости облачить английских девушек в чадры. Нас занимает все, с нами несовместимое, — будь то русалка или механический человек».

«Я не механический человек, — отрезал Али, — и не турок». Тут он не без горечи отметил, как полковой хирург махнул рукой и легонько шевельнул бровями, словно бы отметая это скучное возражение. В эту минуту в дверь снова постучали, и привратник объявил о приходе джентльмена, чье имя мгновенно разогнало мрачное настроение Али, и на губах у него заиграла улыбка: ведь он думал, что истинного Друга у него нет и среди тысяч! «Достопочтенный!» — вскричал Али и ринулся навстречу визитеру, который застенчиво переминался на пороге.

«Привет Герою!» — воскликнул вошедший, заключив Али в объятия. Это был небольшой человечек — почти что миниатюрный, однако соразмерный во всех частях, словно часовой механизм; одет он был, как говорили в те времена, *щепетильно*, что означало преизбыток белоснежного белья и причиняющий крайнее неудобство недобор черной ткани в талии и других местах. Это был, чтобы выразиться определенно, мистер Питер Пайпер, который подвизался в Афинах-на-Болотах во время недолгого пребывания там Али — как поговаривали, с твердым намерением занять профессорскую Должность, — однако намерения этого не осуществил, поскольку усмотрел гораздо более широкое поле для применения своих талантов в Клубах и на покрытых зеленым сукном столах Лондона. Джентльмен, который сейчас, отступив на шаг, иронически шаркнул ножкой, являл собой фигуру, часто встречавшуюся в дни Регентства нашего нынешнего Монарха, даже и среди ближайших друзей Принца — он втайне предпочитал их общество и беседу компании трезвых советников и преподобных Епископов — как поступаю и я. Но почему «Достопочтенный» — откуда это звание, под которым он был известен всем своим близким? Подлинные

причины теряются в туманах Времени: по-видимому, имя Питера Пайпера оказалось однажды внесено в некий список или реестр — не то подписки, не то приглашений, — украшенный именами лорда Такого-то и графа Сякого-то, к его же фамилии было добавлено просто «эскв.» Проглядывая список, Питер Пайпер собственноручно приписал слово «Достопочтенный», поскольку полагал, что имеет все основания на него притязать в качестве третьего сына баронета (какими бы ни были взгляды Герольдмейстера). Он утверждал, что желал всего лишь поправить список, устранив в нем ошибки, однако — сколь часто бывает, что наши мелкие поступки, совершенные из тщеславия или самосохранения ради, обращаются против нас, — мистер Питер Пайпер взорвался на своей же мине: на время он стал предметом всеобщих насмешек, и забыть о его промахе никто не забыл.

«Мне случилось, — заговорил он, — присутствовать на заседании Суда, где слушалось твое дело. Нет — солгал — оказался я там не случайно: я пришел взглянуть на чудо — о нем говорили на всех углах, его славословили все газеты — иные, в тон немногим, порицали — хотел воочию убедиться, неужели и вправду это мой давний Сотоварищ. И что же? Так оно и есть! Ничуть не переменился — никаких следов бедствий и испытаний, через которые он прошел, — передо мной стоял он — мой Али! Понурив голову? Ничуть! С унылым видом? Ничуть! И не без оснований, как вскоре выяснилось. Мудрый Солон заседал в тот день в судейском кресле! Мой сосед — джентльмен, явившийся, как и я, понаблюдать за необычным делом, — ставил три против одного, что тебя не выпустят под залог — ставки могли быть и выше, но что-то в тебе даже на него произвело впечатление — и я сумел сорвать неплохой куш — хотя сам за исход дела нимало не волновался».

Речь Достопочтенного — а он выпалил ее одним духом, без передышки, — вдвое или даже втрое превышала объемом все, что Али доводилось слышать от него раньше: вообще-то он слыл человеком крайне сдержанным, который «говорит меньше того, что знает», даже в подпитии.

«Я доставил тебе, в связи с этим, — продолжал Достопочтенный, — бесценный подарок, он поджидает в вестибюле, и меня очень удивит, если он не ворвется сюда, не дожидаясь, пока я покончу с преамбулой. Будешь умницей, если с ним поговоришь, а уж прислушаться к нему — умнее некуда. Нет — позволь мне его позвать — а вот, кстати, он и сам, тут как тут, будто развязка в старинной пьесе!»

Не успел Али выразить согласие на беседу, как гость уже

оказался в комнате — вернее, завладел ею: ибо это был дородный, превосходно экипированный джентльмен «с брюшком округлым, где каплун запрятан», — из людей того сорта, которые всюду чувствуют себя как дома.

«Могу я представить мистера Уигмора Бланда, адвоката из Темпля?» — провозгласил мистер Пайпер, пропустив гостя. Тот, небрежно кивнув, протянул руку и вынудил Али сделать то же — мысль об отказе даже не допускалась. «Я был в суде по другому вопросу, — проговорил мистер Бланд голосом сдобным, будто кекс с изюмом. — Но заседание отложили, и я смог посетить слушание дела вашей светлости и услышать о решении суда».

«Вы титулуете меня прежде времени, — ответил Али, — как я уже пытался объяснить этим джентльменам».

Мистер Бланд отклонил упрек движением ладони, пухлой и розовой: «Позвольте мне заметить, ваше сиятельство, что ваши права как на титул, так и на свободу могут быть подтверждены без труда. Дело, на мой взгляд, особой сложности не представляет, и я беру на себя смелость предложить вам свои услуги».

«Мистер Бланд многим помог оправдаться в суде, — радостно ввернул мистер Пайпер, — и многие из них были совершенно не замешаны ни в каком преступлении».

Итак, Али не оставалось ничего другого, как только пригласить адвоката расположиться поудобнее и за бокалом вина выслушать в подробностях все, что произошло той ночью в Шотландии, насколько Али мог припомнить: впрочем, довольно затруднительно вспомнить то, что мы не в состоянии понять. Мистер Бланд извлек из внутреннего кармана объемистую записную книжку и развернул ее с таким видом, будто собирался возвестить евангельские заповеди, однако ограничился тем, что принялся заполнять страницы ответами на вопросы, которые он задавал Али. Слушая, он сосредоточенно хмурил брови, размеренно покачивал головой, словно громадный колокол, и негодующе постукивал по полу кончиком трости в знак возмущения несправедливостью, проявленной к человеку, которого он уже зачислил в свои клиенты.

«Выплатить вам гонорар я не смогу, — напрямик пояснил Али. — Если мы потерпим неудачу и я проиграю дело, вам ничего не достанется; то же и в случае, если я… если вы одержите победу и я выйду на свободу — поскольку доходов, не отданных в залог, у меня нет, равно нет и собственности, которая была бы не заложена».

«Ни слова больше, — мягко возразил адвокат, — я ничего от вас не прошу. Поверьте, сэр, выгода тут прямая и помимо

наличности. Ваше дело — самое интересное судебное разбирательство за долгий срок, за ним будут пристально следить во всех газетах, оно станет главной темой пересудов в Клубах и на Балах — и, насколько я понимаю, о нем может быть поднят вопрос в парламенте. Если мое выступление в вашу защиту окажется успешным — в чем я нимало не сомневаюсь, — подумайте только, сколько людей об этом услышат, в том числе те, у кого карман гораздо шире вашего, и они — столь же невинные, как и вы (по крайней мере, в собственных глазах), — обвиненные столь облыжно — загорятся желанием получить мою поддержку! Сэр, я далек от бахвальства — и ценю себя не выше того, чего в действительности стою, — а это нетрудно определить по количеству выигранных мною процессов, когда джентльменам в обстоятельствах, подобных вашим, выносили вердикт "невиновен"».

Взгляд Али оставался сумрачным (что, впрочем, ничуть не обескуражило его вдохновенного сторонника): он не представлял себе — да и не помнил, чтобы о чем-то похожем рассказывали, — джентльмена *в подобных обстоятельствах*. Тем не менее контракт был заключен, и, когда в перспективе вырисовалась выездная Сессия присяжных, Али отправился в Шотландию в удобной Карете, запряженной Четверкою лошадей, которую обширной юридической практикой приобрел себе мистер Бланд. В пути разговор главным образом касался предстоящего разбирательства.

«Конечно же, я сам выступлю в свою защиту», — заявил Али.

«С вашего позволения, милорд, вы вообще не будете выступать, — ответствовал законник Бланд. — Сторона Обвинения не вправе принудить вас к даче показаний и должна обосновать свою правоту без вашего содействия. У вас вообще нет необходимости представать перед Жюри присяжных. Мы живем в новом Веке, сэр, и дорога к виселице или на борт каторжного судна куда длиннее и сложнее, чем это бывало в прежние времена или желалось бы обвинителям».

«Я хочу явить истину и представить факты, — возразил Али. — Я невиновен — и прямо заявлю об этом».

«Истина, сэр, невещественна; что же до вашей Невиновности, я охотно в нее верю, однако и она для успешной защиты тоже невещественна. Прошу вас во всем положиться на меня». Тут мистер Бланд перевел разговор на другую тему и указал Али на красоты пейзажа, которым они проезжали, — в самом деле живописного, а, к чести мистера Бланда, он не утратил способности восхищаться природой.

На судебном заседании, где дело было представлено наконец

на рассмотрение Жюри присяжных и Судьи, присутствовали все арендаторы и слуги покойного лорда Сэйна, которые (как показалось Али, когда он проходил через их толпу, чтобы занять свое место на Скамье подсудимых) разделились примерно поровну на тех, кто желал увидеть его на виселице, и на тех, кто радовался, что прежнего лорда вздернули, а кто именно это проделал, их не занимало. Блюстители Закона, несколько растерявшие, по мнению Али, ту величественность, с какой в столь давнюю пору брали его под стражу, вновь изложили свои показания, описав, каким образом им стало известно о тяжком преступлении: малолетний оборванец встретил незнакомца, который велел ему призвать Правосудие и вручил за труды Один Пенс, а больше мальчишка ничего не смог припомнить; громкий смех вызвали в зале его ответы на вопросы мистера Уигмора Бланда — «пенни», «денежка» — и только.

Допросили Кучера покойного лорда — самого чуть ли не *мертвецки* пьяного: заняв место свидетеля, он показал, что *вышеупомянутым вечером* повез хозяина в Город, однако лорд, пожелав дать себе отдых, велел направиться к постоялому двору, кучеру хорошо известному: там его светлость имел обыкновение останавливаться и проводить ночь. Назавтра, по словам кучера, лорд Сэйн пробудил его от крепкого сна около Полудня (в зале послышался смех, но судья призвал собравшихся соблюдать тишину). Кучеру было приказано гнать сломя голову обратно к Аббатству, однако не въезжать за ворота, а встать вдалеке, на старой дороге, пересекавшей поля: там лорд Сэйн соскочил на землю и пошел вперед один, распорядившись дожидаться его возвращения. Кучер сообщил, что честно прождал несколько часов (тут по залу вновь прокатились смешки) и на рассвете вернулся в Аббатство, предположив, что Хозяин воротился домой другою дорогой, — но застал лорда бездыханным на столе в зале, а домочадцев в страшном Волнении. Покойный лорд, уверял кучер, ни словом не обмолвился о том, почему решил вернуться и почему вдруг остановился у Ворот, а также с какими намерениями отправился дальше один.

Тут, облаченный в судейскую Мантию, в Парике из конского волоса, величественно поднялся с места мистер Уигмор Бланд и приступил к придирчивому допросу бедняги, по окончании которого присяжные вполне могли заподозрить (а мистер Бланд полагал — и должны), что кучер способен был и сам свести счеты с Хозяином, а если такое предположение небезосновательно, то и вина Подсудимого уже не столь очевидна, как поначалу. Вслед за Кучером Обвинители вызвали Служителей Закона и арендаторов лэрда, которые захватили Али с оружием в руках над телом отца.

Их мистер Бланд также не замедлил засыпать вопросами и подвергнуть сомнению то, что, по их словам, они видели — а возможно, и нет; когда же один из свидетелей подтвердил справедливость сведений, известных ему только с чужих слов, Адвокат вскочил и потребовал удалить показание из протокола как основанное на беспочвенных слухах и потому, в соответствии с новыми правилами судопроизводства, неприемлемое; он обратился к Судье с просьбой дать Присяжным указание стереть из памяти все подобные слухи, как если бы их вообще не оглашали; тут Присяжные переглянулись в недоумении: в уме ли будет Суд, если даст подобное указание?

Далее отмечалось, что, хотя Обвиняемого и застали над мертвецом с мечом в руке, однако тот погиб не от меча — следов удара на трупе не обнаружено, — а был связан и затем повешен. Отвергая указание на разительную несоразмерность телесных пропорций и мышечной силы Отца и Сына, Обвинители заявили, что Подсудимый наверняка имел сообщников — тех самых, кто позднее помог ему бежать из тюрьмы, причем в их числе находился чернокожий великан, очевидно способный на любое злодеяние. Защитник жестоко высмеял это свидетельство: вызванный Тюремщик вынужденно признался, что час был поздний, а темнота хоть глаз выколи, и что он не решится поклясться на Библии, что дверь в камеру Али была надежно заперта, — кроме того, сам он с Детства подвержен ночным Кошмарам (этот факт адвокат не поленился установить со слов соседей Тюремщика еще до начала процесса), а значит, пресловутый Негр мог просто-напросто ему присниться! В конце концов Судья — вероятно, утомленный ходом разбирательства — дал возможность для объяснений Али.

«Милорд, я предоставляю это право моему адвокату», — ответил Али. Он обещал мистеру Бланду, что, невзирая на все требования, произнесет лишь эти слова — и никакие за всю его жизнь не давались ему труднее.

«Ваш адвокат не может отвечать за вас, — усталым, но мягким голосом проговорил Судья. — Если у вас есть что доложить Присяжным, вы должны сами сообщить, где находились, что делали и прочее — а если у вас имеются какие-то замечания касательно уже предъявленных свидетельств, вам необходимо высказать их самостоятельно. Итак, сэр, вы намерены вверить защиту своему Адвокату?»

«Да», — ответил Али.

Вслед за этим судья обратился к улыбавшемуся Адвокату: «Быть может, вы посоветуете вашему Подопечному высказаться самому?»

«Нет, милорд, я посоветовал бы ему вообще ничего не говорить».

Таким образом, единственная улика против Али оказалась косвенной, а самое существенное замкнуто в черном ящике под названием «Слухи», исход откуда был навсегда закрыт; Обвинителей, будто свору шавок на коротком поводке, удерживал отказ Али говорить; Судье — к огорчению, написанному на вытянутых и сердитых лицах многих и многих, — пришлось внушить присяжным, что виновность Али, какой вероятной она бы им ни представлялась, не доказана *вне допустимости Сомнения* — и посему вынести ему приговор они не имеют права — такова нынешняя, наиболее употребительная в Лондоне практика, которой необходимо следовать и здесь. На этом мистер Уигмор Бланд отвесил Судье и Присяжным галантный поклон, граничивший с дерзостью, и обратил к Али румяное веселое лицо, сиявшее подобием Солнца.

Невиновен! Вина, во всяком случае, не доказана — такое решение мог вынести только шотландский суд, и оно ничем не отличается (применительно к Свободе и Собственности ответчика) от оправдательного приговора — каким бы ни представлялось оку Всевидящего Судии или внутреннему взору оправданного. Нет вины более острой и жгучей, нежели вина безымянная: будь страдалец величайшим благодетелем человечества, равным Прометею, — коршун Юпитера не прекратит терзать его плоть и казнить за неведомый ему самому грех! Эта мысль не покидала и Али, и всех, кто присутствовал на судебном процессе — или знакомился с отчетами о нем во всех газетах, консервативных и радикальных, — ведь других подозреваемых не нашлось — не был назван даже предположительно никто из подлинных жестоких убийц — и, однако, «не сам же он подвесил себя, будто мясную тушу», как выразился один Наблюдатель. Если и не жажда Справедливости главенствовала в умах, озадаченных исходом дела, то уж любопытство терзало их несомненно — и, похоже, удовлетворены оба эти чувства не были.

Когда Али обрел наконец свободу передвижения, он обратился к своему защитнику с просьбой об услуге: ему хотелось бы совершить путешествие к родным местам — «шотландским владениям», как он выразился, не желая показаться сентиментальным, — а поскольку расстояние до них можно было покрыть за один день, Юрист не замедлил выразить согласие, поскольку охотно пользовался любым случаем употребить в дело свой превосходный экипаж (хоть и был оповещен, какой урон

могут нанести карете скверные проезды, которые шотландцы именуют *дорогами и большаками*). Путешественники благополучно достигли подъездной аллеи, что вела через заброшенный Парк к воротам Аббатства: по этому пути, в ином экипаже, в иную пору везли Али — казалось, как давно! Али замолчал, так что даже адвокат проникся его настроением и напустил на себя сдержанный вид.

Теперь никто из слуг не вышел Али навстречу — хотя распоряжением суда именно он был теперь их лэрдом — да Али этого и не ожидал. Однако после долгого дергания за звонок и громких окликов появился наконец человек, со старческой медлительностью отворивший воротца: им оказался Старина Джок — та самая преданная душа, к которой Али некогда льнул! Под любопытными взорами адвоката, плача от потрясения, Али заключил старика в объятия: отсутствовал он всего лишь год, но по виду Старины Джока можно было заключить, что минуло все десять, — срок, оказавшийся непосильным для старческой плоти. Вспомнив затем о долге хозяина, Али пригласил гостя войти и позаботился об его устройстве, насколько было в его силах: приезжий джентльмен был как будто несколько подавлен предложенным гостеприимством, хотя и старался этого не обнаруживать.

«Ваши наследственные права теперь утверждены — а вы принадлежите, как я понимаю, к весьма древнему роду», — произнес он, оглядывая голые стены холодных залов.

«Да, мне говорили об этом, — согласился Али. — Предки моего отца и покойной леди Сэйн весьма почтенны. Некогда они даже были связаны родством — так я слышал от нее, но не придал этому значения».

Адвокат кивнул — сдвинул густые седоватые брови — и раздумчиво приложил к губам набалдашник трости. «А собственность ваших родителей оставлена в довольно расстроенном состоянии — не приносит дохода — ограничена в порядке отчуждения — заложена на различных условиях — и распоряжаться ею вы не можете».

«Я не особенно вникал в суть дела, — сказал Али. — Управляющий осведомлен лучше меня — мне нужно бы расспросить его о нынешнем положении вещей — но вряд ли я смогу — должен попросить вас меня извинить — я, право, не в силах поддерживать компанию. Пожалуйста, располагайтесь, как у себя дома».

«Не премину», — ответил мистер Бланд, расплывшись в широкой, младенчески-невинной улыбке.

Али меж тем отправился бродить по опустевшему Аббатству:

многие из тех, кто здесь прежде жил и трудился, разбрелись по другим, лучшим службам — или вернулись в сельские лачуги, откуда пришли. Куда же девался фактотум лорда? Али казалось вполне вероятным, что он мог сопроводить Хозяина и в подземные края (сам он выглядел в подлунном мире только гостем) — служить за Гробом, как служил при жизни. Где дикие Звери, которых отец любил держать при себе, ценя в них свойственные и ему *безотчетные побуждения*, иначе говоря — *инстинкт*? Умерли от горя — или бежали в Леса, устрашать дровосеков. Но было еще одно существо, которое Али разыскивал по всем залам и подсобным помещениям, однако так и не нашел, пока Старина Джок не привел его к укромной могиле под раздвоенным вязом, где он и упокоил Стража — преданного друга и защитника, благородного сердцем! Наверное, твердил Старина Джок, сердце-то у него и надорвалось, когда Али исчез — иначе не скажешь — безутешный пес отказался от еды и оттого умер. Али опустился на колени у воздвигнутого добрым Джоком простого камня без надписи и плакал, как ни о ком из отъятых Смертью.

Почему бы ему тут не остаться и не жить одному — в обществе одних только призраков, если они вздумают явиться? Ужаса они теперь не могут внушить. Здесь он мог бы жить, не делая зла; а если бы вздумал вновь предстать миру, тогда вызвал бы их, дабы они вновь его предостерегли, ибо ни одно из его деяний на Земле не принесло добра ни одному созданию — даже ему самому — и незачем ему никуда стремиться!

Конечно же, Али там не остался — такие порывы умащают наши души целительным бальзамом, но мы редко сохраняем им верность. Али вернулся в Лондон с мистером Бландом, толковавшим весь путь о его Имущественном Положении и о будущих доходах, которые, по мнению Законника, без труда можно увеличить. Мистер Бланд говорил — и говорил снова — как с пользой провел утро в беседе с управляющим над пыльными кипами бухгалтерских книг, счетов и документов, заполнявших комнатку, и за несколько часов приобрел больше познаний об истории рода Сэйнов, нежели сам Али. «Поручите все ваши дела мне, — обратился он к Али, — клятвенно заверяю вас: хуже они не пойдут, а вот что улучшатся — сомнений почти нет. Вы не получили должной выгоды из того, что принадлежит вам, зато другие воспользовались вашим неведением и небрежностью — полагаю, тут не обошлось и без покойного лорда, — но не огорчайтесь — если вы, сэр, позволите мне быть вашим слугой, для вас начнется новая Эпоха».

«Мой отец был убежден, что выжал из собственности все

возможное, — отвечал Али, — и что нынешний закон действовал против него».

«О нет, — возразил великий ум, — о нет, милорд — как наш Спаситель сказал о субботе: Закон для человека, а не человек для Закона; если мы свято поверим в то, что Закон уступит нашим Намерениям, когда те станут предельно очевидны его Блюстителям, тогда со всей несомненностью — хотя рассмотрение может и затянуться (как известно, не все просители доживают до его завершения — не дай Бог, чтобы такое случилось с вами!) — мы можем полагаться на благоприятный исход дела — при условии, что мудро *выложим наши карты*».

Али поразмыслил над этими замечаниями и предложениями — хотя и не слишком с ними мудрил — из-за своего, как было сказано, неведения — и, по возвращении в Лондон, через самое непродолжительное время пришел к выводу, единственно для него возможному.

Препоручая наши дела новым посредникам, не испытываем ли мы то же беспокойство, что и Генерал, когда он бросает войска против предположительно слабого вражеского фланга, не зная в точности, верна ли его догадка и каким будет исход битвы: кончится она победой или поражением? Или же, коль скоро подобное переживание нам незнакомо — нам, в большинстве своем *мирным гражданам,* — тогда, возможно, эти чувства близки влюбленному, когда он, поборов все Колебания, произносит наконец краткие, но важные слова перед юной Леди — слова, которые нельзя взять назад, — а если такое и случится, то обойдется дорого и повлечет за собой разделение единой до того плоти. Не исключено, однако, что сходные чувства гораздо более обуревают избранницу, когда она выражает согласие! Впрочем, стоит ли выискивать сходство — все просто — это воплощение Судьбы: берем и ставим печать, выводим чернилами наше имя — которое столь странно смотрится на бумаге, столь же полной смысла, что и листы Сивиллы. При этом нас может внезапно охватить желание заполучить бутылку шампанского во льду и салат с омарами, закурить сигару в беспечной компании: все это стало в избытке доступным многообещающему молодому человеку, каким вдруг сделался Али.

Стояло на удивление теплое лето — лето торжества союзников, когда *stupor Mundi*[23] вновь поверг мир в ступор, на сей раз проиграв сражения и отрекшись от престола, хотя ранее изумлял вселенную тем, что одерживал победы и низвергал троны других монархов: увы, его разум, подчинявший, казалось, себе Фортуну, ей уступил. Исполинские Бурбоны катались по Лондону в каретах, запряженных белоснежными лошадьми; еще

более исполинские Ганноверы заключали французов в объятия (если их удавалось обхватить), поздравляя с Реставрацией; старик Блюхер разъезжал по городу, и всюду шли толки о его тевтонских повадках и пристрастиях, а также о размере его Сапог, которые покидали Балы и празднества, опережая седую голову их владельца. Все богатые дома в Мейфэре были залиты огнями; то и дело устраивались маскарады, куда многие являлись в Обличии, разительно несхожем с их подлинным — а иные прятали лица под масками.

На одном из таких светских раутов в Мейфэре, где Али бродил, не зная, куда себя девать, — вальсировать он не умел, как не умел и ловко перебрасываться остротами, — Достопочтенный привлек его внимание к редкой красоты темноволосой бледной девушке, державшейся с необычной невозмутимостью: она спокойно сидела в стороне от Толпы и казалась столь же чуждой суете, как и он сам (или, возможно, ожидала, что ее внимание чем-нибудь займут). «Ее зовут Катарина, — ответил Достопочтенный на вопрос Али. — Из семейства Делоне; в обществе она появилась в прошлом или позапрошлом сезоне, но с тех пор я не замечал, чтобы она как-то особенно блистала Нарядами или числом Ухажеров. В кругу людей, близких ей по интересам, может подолгу беседовать — во всяком случае, говорить — на близкие ей темы, и говорить очень хорошо, хотя чаще хранит молчание, вот как сейчас, равнодушная к привычным сплетням и легкомысленной болтовне». Имя девушки показалось Али знакомым, однако он не сразу вспомнил, при каких обстоятельствах впервые его услышал, — а когда припомнил, его пробрала холодная дрожь, не ускользнувшая от глаз приятеля — который расхохотался, приписав это волнение совершенно иной причине, — ведь мисс Делоне была той самой наследницей, на которую лорд Сэйн в последнюю ночь своей жизни принуждал Али обратить внимание! «Позволь узнать, согласна ли она с тобой познакомиться», — обронил мистер Пайпер и, прежде чем Али успел его остановить, растворился среди людей, которые прохаживались мимо.

По возвращении, однако, Достопочтенный имел непривычно обескураженный вид — интриги подобного рода ему, как правило, удавались, но на этот раз произошла осечка. «Я предложил ей знакомство со знаменитым лордом Сэйном — героем Саламанки — говорил о твоей славе…»

«А почему не о бесславии? Лучше бы ты вообще молчал!»

«Особой разницы тут нет, — ответил мистер Пайпер. — Она о тебе слышала. Но сводить с тобой знакомство не расположена».

«В самом деле?»

«Пойми правильно — каких-либо возражений она не высказала — ни тени морального порицания — ничего такого — просто не проявила ни малейшего интереса — отказала, хотя, надо заметить, и с любезной улыбкой».

В груди или в голове у Али — где бы ни зарождались ощущения — зароились смешанные чувства: ему не хотелось, чтобы его репутация опиралась на те сомнительные события, участием в которых он прославился и начал притягивать к себе столь многих, — но быть отвергнутым, невзирая на это участие… — он не знал, что и подумать, в растерянности понимал, что ему брошен вызов, поставлено под вопрос его достоинство, а его достоинство, он был уверен, никак не зависело от его славы. «Уйдем, — коротко бросил Али. — Я сыт по горло развлечениями в обществе *капризниц*». И пока мистер Пайпер, взяв его под руку, выискивал глазами, кого бы послать за каретой, Али оглянулся — однако Катарина Делоне продолжала вести разговор, даже не посмотрев в его сторону.

Примечания к осьмой главе

1. юная Леди: Эпизод взят из жизни. Позже леди Каролина Лэм с помощью подкупа проникала в покои лорда Б., иногда переодетая пажом (см. следующую главу, где описаны события, связанные с этой эксцентричной дамой и ее любовной страстью).

2. первая речь: Описывая Лондон и годы ранней славы, лорд Б., вероятно, вспоминал свою первую речь в палате лордов — пламенное осуждение билля о смертной казни за поломку ткацких станков: именно за это преступление в его родном графстве Ноттингемшире ежедневно арестовывали отчаявшихся ткачей. То, что жизни этих бедняков ценились дешевле станка, — несомненное варварство; однако эти люди не могли видеть будущего — одну только жестокость, с которой оно ворвалось в их жизни. Потомки этих ткачей сегодня трудятся на огромных мануфактурах, изготовляя чулки и тысячи других товаров с помощью машин, которых ни они, ни их тогдашний Защитник не в состоянии были вообразить, — а неказистый ткацкий станок сломан навсегда.

3. Вина, во всяком случае, не доказана: Вердикт, допустимый в шотландских судах. Возможно ли, что на последнем Суде, о котором ниже говорит лорд Б., при полной ясности всех фактов, причины так и останутся неизвестны самому обвиняемому — и даже Судии? Я верю, что так оно и будет.

4. Страж: Как указывалось выше, ньюфаундленда, принадлежавшего Байрону, звали Боцман. На его ньюстедском надгробии (которое мне было позволено увидеть) начертаны строки Байрона:

> Останки друга камень сторожит;
> Я одного лишь знал — он здесь лежит.

В недавнем разговоре с преданным другом моего отца — мистером Хобхаузом, лордом Бротоном, я упомянула посещение этого памятника и услышала следующее: когда Байрон сочинил эту эпитафию, мистер Хобхауз находился рядом с ним и — не весьма польщенный поэтической мыслью — предложил исправить последнюю строчку так: «Я — этот друг, и прах мой здесь лежит».

5. вальсировать: Можно предположить, что лорд Байрон в отношении танцев чувствовал себя *hors de combat*[24], однако не следует, как это обычно делают, преувеличивать влияние хромоты на его физические способности. Байрон написал сатиру

на вальс — «*О Вальс! Хотя в своем краю родном /Для Вертера ты был почти Содом*» и проч. — впрочем, столь же двусмысленную, как и значительная часть его стихов, серьезных и комических.

6. темноволосая бледная девушка: По рассказам моей матери, ее первый отклик на явление лорда Байрона — она не стремилась, подобно всему свету, с ним познакомиться — уязвил его самолюбие и пробудил интерес к ней. Я так и не узнала, было ли это в действительности, но в настоящей сцене Байрон приписывает сходные чувства своему герою — любопытное подтверждение.

Глава девятая,
в которой исследуются Головы и обнажаются Души

Достопочтенный Питер Пайпер (за которым Али следовал, как Данте за Вергилием) был, по-видимому, желанным гостем не только в Бальных Залах богатых домов, но и в тех заведениях, куда входили по Билетам и где обреталось общество иного разбора. По его словам, он состоял членом стольких Клубов, что не все мог припомнить, и прославился там невозмутимой сосредоточенностью за игорным столом, в которой усматривалось нечто механическое или, во всяком случае, сопряженное с Наукой, хотя сам он утверждал, что игра ничего общего с этим не имеет, а требует всего лишь изрядного безрассудства и малой толики Арифметики. Садясь играть в кости (его конек), этот неотразимо приятный джентльмен «во мгновение ока» менялся, хотя, сказать правду, немногие улавливали перемену. Во всем его облике выражались собранность и обостренная внимательность; от свойственных ему, как чудилось, беспечности и легкомыслия не оставалось и следа — или же он незаметно их отбрасывал, отнюдь не теряя природного добродушия. Чаша шла по кругу, на зеленое сукно падали кости — и в то время как прочих игроков, разгоряченных азартом и выпивкой, охватывало возбуждение, которое не сменялось усталостью, но только «возрастало от насыщенья», мистер Пайпер выглядел со стороны неким тружеником, занятым кропотливою работой — стеклодувом или часовщиком, — да и в самом деле от этих трудов зависело пополнение его кошелька. На лице мистера Пайпера неизменно играла ангельская улыбка — он улыбался, когда выигрывал, а при проигрыше начинал игру заново, — но его деятельный мозг непрерывно взвешивал шансы и без устали производил Вычисления, тогда как его партнеры при каждом броске то возносились в Рай, то ввергались в Ад, но причину этого не в состоянии были уяснить.

«Думаю, что игрок — счастливец, выигрывает он или нет, — заметил Али, когда по окончании вечера они ужинали вдвоем, запивая жаркое шампанским: Достопочтенный праздновал свой триумф. — То он на грани гибели, то спустя мгновение торжествует победу — его судьба постоянно висит на волоске — острота переживаний и есть жизнь — ennuyé[25] ему не бывать».

«Так-то оно так, однако определенная доля *ennui*

продолжительному пребыванию в долговой тюрьме сопутствует, — ответил Достопочтенный, — хотя и допускаю, что *пролог* в преизбытке доставлял увеселение. А что, дорогой друг, ты чувствуешь себя *еппиуй*? По виду не скажешь, что тобою владеет недовольство».

«Скажи, — спросил Али, пропустив замечание мимо ушей, — кто этот джентльмен, только что вошедший? Все мои прежние знакомства за эти годы начисто выветрились у меня из памяти».

«Я его знаю, да и ты тоже, — сказал Достопочтенный. — Это отец нашего соученика по колледжу, его зовут Енох Уайтхед».

«Он женат?»

«Да».

«А ее имя — не Сюзанна?»

«Кажется, так. В городе она появляется нечасто. Что с вами, милорд, — чем вы взволнованы?»

Причину своего волнения Али назвать не мог — и только вглядывался в вошедшего — видел седую голову, бессмысленный взгляд, дряхлую фигуру, багровый Нос в темных прожилках — ему вспомнилась Сюзанна, какой она была — и какой уж больше не бывать! В ушах у Али стоял жуткий отцовский смех, раздавшийся той ночью, когда он в последний раз произнес ее сладостное имя, — той ночью, когда Судьба заставила его опрометью ринуться из дома вон, бессильного помочь, бессильного спасти не только ее, но и самого себя — и вот теперь она вернулась, но поздно — слишком поздно! «Нет, я ничем не взволнован, — ответил он, — ничем, ровным счетом ничем, вот только бутылка опустела, а новой не подано! Прошу тебя, дружище, — тут он потянул мистера Пайпера за рукав и впился в него таким взглядом, что кроткий джентльмен невольно отшатнулся, — убереги меня вон от того седовласого, помешай ему со мной поздороваться — умоляю тебя — сделай это для меня».

«Всенепременно, даю тебе слово!» — и Достопочтенный энергическим жестом подозвал официанта, приняв вид, который свидетельствовал о настоятельной необходимости. Обещание, надо заметить, он исполнил точнее некуда: когда на Востоке занялась летняя заря и Али вместе с Достопочтенным в компании друзей (кого именно — вспомнить Али впоследствии не удалось) пытались выбраться из Заведения — впрочем, не исключено, что уже другого — по винтовой лестнице, которую (по утверждению Достопочтенного) задумали и возвели до изобретения крепких Напитков, поскольку спуститься по ней в определенном состоянии было делом едва ли осуществимым, — Али распознал среди своих спутников того самого седовласого джентльмена.

Али рванулся из рук Достопочтенного так резко, что тот почел за лучшее немедля оттащить его в сторону. «Что это за джентльмен? — громко вопросил компаньонов мистер Уайтхед. — В чем дело, почему он так на меня посмотрел?» — «Да это лорд Сэйн», — пояснили ему. Мистер Уайтхед на то: «А, я знавал его отца. Что ж, как говорят, яблочко от яблони». Этих слов Али, к счастью, не услышал.

Итак, она близко — Сюзанна! — она жива — не заточена в горькой юдоли былого, как Али представлял себе раньше. Жива — и с ней можно встретиться, можно обменяться какими-то словами или знаками, — но тут воображение Али, как говорится, пасовало и отказывалось что-либо рисовать. «В городе она появляется нечасто» — это не значит «никогда»: «никогда» и есть «никогда», а «нечасто» — это, быть может, завтра или послезавтра. Али вдруг заметил, что внимательно вчитывается — чего в жизни не делал — в газетную светскую хронику, где торжественно перечислялись все приезды и отъезды, происходившие в Обществе, словно это был Список Кораблей, отплывших в Трою: он выискивал там ее имя и имя ее *супруга* (хотя слова этого не произносил, даже наедине с собой). Устремляясь всякий раз туда, где была, как он ожидал, хотя бы малая вероятность ее появления, Али, видя белокурую головку или стройную ножку, исчезавшую в карете, тешил себя радостной мыслью — но это была не Сюзанна. Достопочтенный водил Али по Садам и Паркам: там каждый мог повстречаться с кем угодно — Али познакомился со Слоном, который хоботом стащил с него шляпу, а потом галантно вернул. Али ходил также посмотреть *то*, послушать *это*, подивиться на *этакое*, в музее Уикса на Грейт-Уиндмилл-стрит наблюдал за *автоматами*: гигантским механическим Тарантулом (когда он выскакивал из норы, дамы кричали пронзительно) и рядом крошечных Фигурок — забавно выглядел со стороны Достопочтенный, который через монокль любовался серебряной заводной Танцовщицей — образцом редкого изящества и точеных форм; ее темные глаза манили к себе, а грудь, казалось, трепетала при вздохе — какой чудесной женой, верно, могла бы она стать, думал он в мечтательном восхищении.

Хотя Сюзанны нигде не оказывалось, Али в ту пору не однажды случалось сталкиваться с мисс Катариной Делоне; он отдыхал душой, глядя в ее черные блестящие глаза и на волосы цвета воронова крыла — так когда-то, на пороге юности, он смотрел на прелестные женские существа — которые, однако, не носили платьев с кружевами и не завивали волос железными Щипцами по лондонской моде, а украшали себя бренчащими

золотыми монетами, из которых состояло их Приданое, — в Лондоне та же сумма не предъявлялась столь наглядно, но оглашалась с помощью слухов. И вот на одном из изысканных собраний — где целомудреннейшим ушам не могло грозить никакое оскорбление — вслед за обменом взглядами и беглой улыбкой — Али удостоен был наконец (хоть и через посредника) беседы, что представлялось неслыханным свершением, наподобие обретения Золотого Руна; однако, заняв место рядом с мисс Делоне, Али нашел ее воплощением сердечности и доброжелательства. Она не боялась рассуждений на Ученые и Философские темы (каких ее сообщницам по ловле обычно советуют избегать, дабы не спугнуть невежественную Жертву) и увлекла ими Али.

«Я давно занята исследованием человеческой природы, — заявила мисс Делоне за ужином, — и уяснила для себя некоторые общие постулаты».

«В самом деле? — заинтересовался Али. — Вы много путешествовали и собрали достаточно наблюдений, из которых эти постулаты вывели?»

«Нет, путешествовала я немного, — серьезным тоном ответила мисс Делоне, — однако много читала, а теперь довольно часто бываю в обществе, и все, с чем я сталкиваюсь, подтверждает сделанные мною выводы».

«Выводы, получается, предшествовали наблюдениям?»

«Вы, кажется, надо мной смеетесь, — заметила мисс Делоне с мягкой улыбкой, но видом своим давая понять, что насмешек не потерпит. — Должна вам сказать, что у меня вошло в привычку, причем стойкую, после достаточно продолжительного знакомства с человеком заносить на бумагу его письменный Портрет, чтобы удержать мысли и впечатления».

«Надеюсь, меня вы от этого избавите».

«Когда мы сойдемся с вами поближе, я, быть может, об этом подумаю — учтите, что эта привычка сделалась для меня постоянной и мне бы не хотелось от нее отказываться. Объясните, пожалуйста, почему вам этого не желается».

«Вы говорите, что стремитесь удержать свои впечатления. Не уверен, что хочу этого, — ведь я считаю себя неудержимым, а то и безудержным».

«Пристальный наблюдатель способен безошибочно нарисовать любой портрет».

«А как быть с теми чертами, что недоступны взору?»

«Вы имеете в виду, — осведомилась мисс Делоне с легкой укоризной, — Душевные Качества, не так ли? Однако можно угадать и то, что сокрыто. Кстати, в Лондон из Германии как раз

прибыл практикующий ученый — *краниолог*: он умеет, тщательно ощупав Голову, определить, какие умственные свойства преобладают, а какие отсутствуют».

«Тогда мозг, выходит, местоположение Души? — спросил Али. — А разве не Сердце?»

«Аристотель помещал душу в печень — надеюсь, вы не разделяете его мнения?»

Недавний приезд из Германии «герра Доктора» и в самом деле наделал много шума в *светских кругах*, и его слава совершенно затмила славу Али, уже клонившуюся к закату. В апартаментах Доктора целыми днями толпились леди и джентльмены, желавшие подставить свои черепа под его длинные чуткие пальцы: юные девы (и девы постарше) явственно ощущали, как из мозговых покоев — витых, подобно раковине Наутилуса, — извлекается на свет их потаеннейший природный склад, дабы определить меру Влюбчивости — о, заметно выраженную! — или меру Стяжательства — еще более наглядную! — пока едва не лишались чувств от преизбытка самопознания. Мисс Делоне, решительно сжав перед собой изящные руки, объявила Али, что тоже подверглась обследованию — и, как можно было заключить по игравшей на ее губах улыбке, осталась услышанным вполне довольна. «Умоляю вас, мой Друг — могу я вас так называть? — пройдите и вы испытание у Доктора — и затем сравните мои заключения о вашем характере с научными Данными».

«Если я и решусь, — ответил Али, — то уверен, что ваша проницательность даст им большую фору. Пред вашим взглядом я прозрачней стекла».

«Вот теперь вы надо мной точно подтруниваете».

«А иначе, — Али засмеялся, — мне придется принять вас всерьез — и сознаться во всех провинностях или даже грехах — вот только не для вашего они нежного слуха».

При этих словах собеседница Али опустила глаза и прикрыла лицо веером — однако Али успел заметить, как с ее щек отхлынула краска, а потом залила их вновь.

Не одна мисс Делоне побуждала Али посетить *Краниолога* — где бы он ни оказался, всюду его знакомые толковали, как переменило их жизнь врачебное откровение, — одни, после отчета доктора, отказались от Азартных Игр — другие бросили пить или проводить время в Компании, слишком уж отвечавшей их наклонностям, — по крайней мере, на неделю. И все-таки Али упорно отказывался признавать вездесущность и всеведение заезжего мудреца — предчувствие, что он может узнать то, чего вовсе не желал бы, вытеснялось неоспоримой уверенностью в том, что он вообще ничего нового о себе не узнает. «Но ведь вреда не

будет ни малейшего! — восклицал Достопочтенный, который, если бы мог, с радостью приподнял бы черепную крышку своего дорогого друга и заглянул внутрь. — Пойдем! День и час я уже назначил — неудобств для тебя никаких — боли тоже — современнейший специалист — неограниченная консультация — а цена ничтожная». Тут он назвал цифру, отнюдь не маленькую.

«Столько фунтов, — заметил Али, — за такую невеликую голову».

«Не фунтов, милорд, — возразил Достопочтенный, ничуть не смутившись. — Гиней».

В условленный день друзья прохаживались по приемной доктора, разглядывая схемы и фарфоровые головы, на которых смело были обозначены участки, управляющие человеческими страстями, — когда в дверях смотровой комнаты или кабинета, сопровождаемый самим доктором, появился молодой темноглазый лорд, о котором толковал весь литературный мир (впрочем, сейчас и он почти начисто забыт). Рассеянно глядя перед собой, он опасливо — не то забавляясь, не то недоумевая — ощупывал свою голову, украшенную гиацинтовыми локонами.

«Милорд, вы прошли осмотр?» — обратился к нему Достопочтенный, знавший всех в лицо, также и лорда.

«Ну да, — ответил лорд, — и наслушался немало любопытного». Стоявший рядом великий Доктор скромно наклонил голову — большую и красивую, словно высеченную размашистым резцом из мрамора с розовыми прожилками. «Сказано, будто у каждого свойства, отмеченного у меня на черепе, имеется противоположное, развитое в той же степени. Если слова почтенного доктора заслуживают доверия, то добро и зло будут вести во мне вечную борьбу».

«Даст Бог, они заключат перемирие», — воскликнул Достопочтенный.

«Или хотя бы зло не выйдет победителем!» Лицо его светлости на мгновение омрачилось неким предвестием судьбы, однако темное облачко тут же миновало.

«Так неужели, милорд, мы не увидим вас нынче вечером в ваших обычных прибежищах? — вопросил Достопочтенный. — И произойдет ли там Стычка между добром и его противником?»

«Что ж, — любезно кивая на прощание, отозвался лорд. — Что ж, посмотрим — да-да, посмотрим!»

Затем Али и ею друга провели в кабинет, где Али был усажен на табуретку, для удобства обследования — оно продолжалось довольно долго в молчании, если не считать непривычных для слуха Али мычания и похмыкивания доктора, а также невнятно произнесенных двух-трех немецких слов, смысла которых он не

уловил.

Покончив с ручными манипуляциями, многомудрый доктор опустился на стул перед Али, сжал рукой подбородок и без единого слова впился в Али глазами. «Что такое, доктор! — не выдержал Али. — Вас что-то встревожило во мне? Я тоже раздвоен, как и этот молодой лорд?»

«*Ach, nein*[26], — возразил великий человек, — или ja[27], но только совершенно иным образом. — Глубоко запавшие глаза его прозорливо сверкнули из-под полуприкрытых век. — Наши умственные способности могут находиться в противоборстве — разделяя нашу личность надвое. Но есть умственный склад такого рода, когда способности не противостоят друг другу, однако настолько несовместимы, что наша личность, по существу, двойственна. Большинство людей цельны, и, несмотря на каждодневные изменения, осознают себя единым целым. А некоторые индивиды — их немного — как правило представляют собой одну личность, а временами — другую, и обе могут не подозревать о существовании друг друга: когда первая засыпает, вторая пробуждается».

«Я не верю, что такое возможно», — быстро отозвался Али.

«Скажите мне вот что, милорд, — произнес немец. — Бывало ли когда-нибудь с вами, чтобы вы видели во сне, как, уйдя из дома, находились там-то и там-то, занятые каким-то делом, — а просыпались в совершенно другом месте и делали нечто противное вашим намерениям?»

«Нет, — отрезал Али. — Подобным иллюзиям я не подвержен — и не могу представить, что такое со мной может произойти».

«Подобное состояние и в самом деле встречается редко, однако науке оно известно. Вы, вероятно, знакомы с историей полковника Калпепера, английского офицера?»

«Нет, не знаком», — ответил Али, поднимаясь с места.

«Полковник Чейни Калпепер однажды выстрелил в гвардейца и убил его наповал. А также и его лошадь. Все это время он спал, а когда его арестовали, не мог вспомнить содеянного и не находил ему никаких объяснений — он был чрезвычайно подавлен — поскольку зла на убитого не держал и даже почти не был с ним знаком — и уж, конечно же, не имел ничего против лошади».

Тут Достопочтенный встревоженно взял друга за руку — Али побелел, и губы у него задрожали. «Это чудовищно, — прошептал он. — Чудовищно! Лучше бы вы мне об этом не рассказывали».

«Это произошло сто с лишком лет тому назад, — невозмутимо пояснил доктор, пристально вглядываясь в Али. — Король помиловал несчастного. Полковник не отдавал себе

отчета в том, что совершает преступление, и потому невиновен».

«Однако *преступление было совершено,* — вымолвил Али. — Преступление было совершено! Простите, сэр, но мне нужно глотнуть свежего воздуха. Ваша наука удивительна, и я надеюсь еще побеседовать с вами на эти темы — прощайте — прощайте!»

Итак, осуждения он не миновал — но такой приговор не мог вынести ни один людской суд — и такую вину не в состоянии был доказать даже он сам! Али то и дело пытливо впивался взглядом в свои руки — словно это были два врага, обманом попавшие в число его друзей, но даже и теперь замышлявшие неведомое ему бесчинство. Он сторонился постели, пока не в силах был дольше противиться Сну, — или отмерял себе долю Забвения каплями Кендала, дабы увериться, что тело не будет блуждать, пока душа спит — и, в самом деле, пробуждаясь, он чувствовал, будто члены его выкованы из тяжелейшего Железа!

Теперь — в страхе перед самим собой — Али стремился туда, где наверняка не мог встретиться с Сюзанной: в круги преисподней, куда влек его Достопочтенный. Одним из таких прибежищ стали для него «Кулачки», где здоровенные молодчики с головами крупнее и крепче пушечных ядер тузили друг друга до бесчувствия, пока зрители восторгались их стилем и заключали пари относительно исхода поединка. Поначалу Али не видел в этом занятии ничего, кроме гнусной и умышленной жестокости, которой всегда бежал, — однако со временем почел бокс Искусством, манящим источником красоты, хотя приобщаться к ней приходилось в помещениях, где разило потом и кровью, царило смятение, клубился табачный дым и оглушительно ревели зрители и спорщики, победители и проигравшие. «Я тоже учился Искусству, — сообщил Достопочтенный Али, когда они стояли однажды возле Ринга, — брал уроки у Джексона, правда, всегда настаивал, чтобы он надевал перчатки — берег мою красоту».

В тот день матч продолжался двадцать раундов, однако обоим *пугилистам*[28] удавалось после падения снова подняться на ноги «в должном виде», возможно, благодаря непристойному подзуживанию *фанов*, которые толпились так близко от арены, что на них время от времени летели брызги того кларета, который щедро проливали соперники.

«Искусство! — вскричал один из болельщиков. — Не искусство, а сила — вот что всегда побеждает».

«Я, — возразил его сосед, — видел, как Дэниел Мендоза, чудесный еврей, владевший утонченными приемами, победил Мартина, "Батского Мясника", в двадцати раундах — возможно, и быстрее того — и своей Наукой свалил бы с ног сколько угодно

твоих бульдогов».

«А я, — не унимался первый любитель, — видел, как знаменитого Джентльмена Джексона, которому по утонченности нет равных, измолотил чуть не до смерти — и уж конечно до поражения, скотина Крибб, — так что утонченность не всегда подмога — да, скажу я, и Наука тоже».

«Крибб, — шепнул Али Достопочтенный, — однажды — когда я стоял поблизости — на вопрос некоего Юнца, какая Защита наилучшая, ответил: "Держать язык за зубами!"»

«Признаюсь, — продолжал поборник Науки, — я бы подумал, прежде чем решиться задирать еврея и вызывать его на бой: ведь он мог брать уроки у Мендозы и заставил бы меня здорово поплатиться».

«Джексон одолел Мендозу тем, что ухватил его за волосы, точно Самсона, и нещадно отколошматил. Когда Мендоза обратился к Арбитрам, те ответили, что правила такой прием не запрещают: *"Ч…овски глупо, не правда ли?"*»

«Крибб проделывал то же самое, и запрета действительно нет».

«Нет запрета! Ну и довод! Том Молино, негр из Америки, чуть не взял верх над Криббом — Крибба признали победителем только потому, что судья не прокричал "*Время!*", когда он рухнул и не мог подняться — целых полчаса кряду!»

«Да я тебя сам излупцую, если ты еще раз заявишь, будто чемпион Англии не смог одолеть в честном бою американского черномазого!» — вскричал его собеседник — по-видимому, не усвоивший совета Крибба, — и окружающим ничего не оставалось, как только разнять воинственных приятелей, готовых на месте потребовать немедленного удовлетворения.

По окончании матча Достопочтенный собрал у Банкиров свой выигрыш, и, когда толпа устремилась в вечернюю темноту, Али из-за спин заметил фигуру, которая обернулась к нему, — и, вглядевшись пристальней, Али увидел, что это не смуглый человек в меховом пальто (как он вначале предположил) — а медведь, не отводивший от него глаз. Сгорбленный Вожатый Медведя, ростом ниже Зверя, также перехватил его взгляд, а потом оба бесследно исчезли, словно их и не было! Али протиснулся сквозь строптивую толпу, настроенную после побоища на драчливый лад, — однако и Медведя, и его Стража простыл и след. Али придирчиво расспросил мистера Пайпера, подхватившего его под руку, — видел ли он представление — несомненно, грошовое зрелище, ничего более — грязного медведя и нищего вожатого, который заставлял его плясать? Однако ни Достопочтенный, ни его спутники ничего не видели. Ровным

счетом ничего! Али померещилось, будто он вновь сидит в смотровом кабинете немецкого доктора и трижды, будто Петр, отрекается от того, что видел несуществующее и делал ему самому неизвестное.

«Пойдемте, милорд! — торопили его Спутники. — Потеха кончена — к чему глазеть на пустую Сцену — мы возвращаемся в Город, идемте же!» Али направился с компанией в Клуб, смеясь вместе со всеми, но в груди чувствовал холодок, который ни бренди, ни пунш не могли растопить. *Когда увидишь меня снова* — не так ли было ему обещано во сне об отцовском медведе? — *знай, что время твое пришло и тебе предстоит иное путешествие.* Глупости! Бред! Разве во всем Мире есть только один медведь? И разве обращались к нему не в бессмысленном сне? Али потребовал еще бокал — и сел за Карточный Стол. Предстоит иное путешествие! Что ж, пускай так оно и будет — в путь! Угадав, по лихорадочному блеску в глазах Али, что он намерен кутить всю ночь, его друзья, удивленные и обрадованные, всячески принялись его поощрять — счет предстояло оплачивать не им.

Примечания к девятой главе

1. ennui: Счастлив ум, способный устоять перед соблазнами, которые сулит Случай. Ничто так не волнует кровь, как уверенность, будто существует некая безупречная система определения ставок — на ипподроме или за карточным столом — и что для ее усовершенствования требуется только применить систему на деле. Одержимость подобной теорией завораживает не менее, чем сам результат, и прямое доказательство того, что система правильна, вознаграждает куда более щедро, нежели любой денежный выигрыш в Ньюкасле или Сент-Леджере. Цена, которую приходится платить за проигрыш, соответственно, вдвое горше потерянной суммы.

2. музей Уикса: Десятилетиями позже описанная здесь серебряная балерина перешла в собственность Чарльза Бэббиджа, который вновь научил ее танцевать и кланяться, кивать и делать знаки гостям, посещавшим его дом, полный различных чудес — механических и умственных. Бэббидж влюбился в балерину еще мальчиком, когда она демонстрировалась в музее Мерлина, преемником которого стал Уикс. Однако я помню, что Уикс купил балерину разобранной на составные части, коробка с ними хранилась у него на чердаке, и Бэббиджу выпало на долю (как Пигмалиону) вернуть ее к жизни — балерина не танцевала на публике с 1803 года, то есть со времени закрытия музея Мерлина. Каким же образом лорд Б. мог ее видеть? Или же балерина — плод его фантазии, хоть она и существовала прежде, чем была выдумана? Совершеннейшая загадка.

3. краниолог: Френология, столь сильно занимавшая умы предыдущего поколения — в том числе воображение леди Байрон, — представляется ныне учением, не соответствующим беспримерной сложности деятельности мозга; к тому же основополагающие принципы френологии базируются не на экспериментальных данных, а единственно на гипотезах. Я питаю надежду, и вполне определенную, на то, что когда-нибудь церебральные явления будут регистрировать с тем, чтобы стало возможным выразить их посредством математических уравнений; говоря короче, будет установлен закон (или законы) взаимодействия молекул головного мозга, равнозначный закону притяжения для планет и галактик — Исчисление Нервной Системы. Главная сложность, обойденная Френологами, что и подорвало их теорию, состоит в организации практических опытов. Я должна овладеть в высшей степени трудным искусством экспериментальных проб, причем на материале

сложнейшем, а именно — головном мозге, крови и нервах животных. Со временем я, осмелюсь сказать, осуществлю надеюсь и завещаю будущим поколениям благодаря прилежанию усердию вниманию систему к-рая

Эту неделю сильные боли Зависимость от капель сильнее чем прежде Все это нужно выправить займусь этим если смогу Но только не сегодня вечером

4. молодой темноглазый лорд: Здесь лорд Байрон самолично появляется в своем повествовании, причем фигурой довольно комической. По-видимому, он действительно прошел френологическое обследование у доктора Якоба Шпурцгейма, известного немецкого специалиста, который вынес в точности такое заключение, какое произносит здесь выдуманный лорд.

Полагаю очень важным отметить — хотя это может показаться и несущественным, — что лорд Байрон относился к числу тех, кто способен порой увидеть себя в комическом свете и посмеяться над собой — над своими похождениями, амбициями, даже характером, — но леди Байрон всегда тщательно следила за тем, как ее видят со стороны окружающие и как воспринимают ее поведение. Такая настороженность, я уверена, представлялась ей вполне естественной и присущей каждому — вероятно, сама она в ней и не отдавала себе отчета — и потому полагала, что самоосмеяние лорда Байрона и выпячивание им своих недостатков, бывшие только намеренным забавным штрихом, и в самом деле суть признания в глубочайших слабостях и даже пороках. Между столь противоположными натурами примирения быть не могло.

5. Полковник Чейни Калпепер: Эта история изложена в книге мистера Исаака Дизраэли «Литературные курьезы»; впрочем, мне неизвестно, заимствовал ли лорд Б. ее оттуда или же из какого-то иного источника. Я наткнулась на нее случайно — если можно назвать случайностью, когда имя, никому ничего не говорящее, кроме его владельца, в продолжение недели попадается мне в двух не связанных между собой сочинениях.

6. «Кулачки»: Описанная здесь варварская забава прекратила свое существование вместе с травлей медведя и прочими отвратительными развлечениями наших дедов. Мур сообщает, что лорд Б. действительно брал уроки У «Джентльмена» Джексона и показал себя способным учеником. Любители спорта, к которым я обратилась, подтвердили, что все упомянутые в тексте имена принадлежат боксерам, известным в те годы или немного ранее; однако здесь (в изображении лорда Б.) они уже кажутся героями давно миновавших времен — какими и являлись для автора в ту эпоху жизни, когда он писал роман.

Глава десятая
О Зрелищах и Пантомимах — а также о Судьбе, диковинной и мрачной

Миссис Енох Уайтхед и в самом деле нечасто появлялась в городе. Коридон-холл был для нее всем — обязанностью и очарованием — целым миром, а внутри него пребывал мир меньший, хотя в то же время и больший: Детская, где безраздельно властвовал наследник обоих семейств — и властвовал деспотически, хотя и унаследовал неотразимую прелесть Матери. Обитала здесь и мать Сюзанны — она сохранила на лице неизменную улыбку, но во многом отстранилась от мирского, словно уже приобщилась к Ангелам, на которых всегда походила, и долистывала последние страницы земной жизни; рядом были и братья Сюзанны, вытянувшиеся и возмужавшие — столь непохожие и вместе с тем будто бы двойники покойного старшего брата, так что порой Сюзанна не знала, плакать ей или смеяться, когда она наблюдала за ними во время Стрельбы по мишени или за игрой в чехарду.

Мистер Уайтхед, напротив, редко бывал дома — что, надо сказать, ничуть не умерило пристрастия его супруги к домоседству. Сделавшись Владельцем и Господином поместий Коридонов, он поочередно перепробовал все деревенские удовольствия — ловил лососей и охотился на лис; стрелял фазанов; распланировал новый Парк — однако вскоре выбросил из головы, почему, собственно, он обязан предаваться этим занятиям, и мало-помалу вернулся к более *определенным* развлечениям, которым предавался раньше, — хотя (как ни странно) в городских беседах частенько распространялся о своих Поместьях, собранном Урожае и задуманных Улучшениях Хозяйства.

Впрочем, в одну пору года супруга мистера Уайтхеда также стремилась попасть в Лондон — а именно, когда в театрах ставились новые пьесы. Как случилось, что столь чистое и бесхитростное сердце, каким обладала Сюзанна, могло пристраститься к сценической фальши, к виду нарумяненных и увенчанных париками мужчин и женщин, декламирующих стихотворные излияния; к развязке запутанных сюжетов посредством меча, изобретенной хитроумным автором только ради того, чтобы покончить с «представленьем двухчасовым»?

Объяснения этой страсти не находилось, разве что следовало приписать ее особой шишке на изящной головке. Супруг Сюзанны, опять-таки в противоположность ей, театром скорее тяготился — речей со сцены он почти не слышал, понимал из услышанного едва ли половину и уж совсем немногое одобрял. Доставив супругу в ложу и дождавшись окончания краткой вступительной пьесы, мистер Уайтхед зачастую ускользал из театра к другим городским соблазнам — созерцать иные сцены. Итак, Сюзанна нередко оставалась в одиночестве — или же с Компаньонкой, клевавшей носом после изрядного обеда, — смотрела и слушала, критически сравнивая нынешних Греков и Римлян, Баронов и Монахов, Арлекинов и Шутов с прошлогодними. И то и дело забывала обо всем — плакала — и смеялась — была взволнована и далеко уносилась воображением.

Захваченная перипетиями на сцене, Сюзанна, бывало, подавалась вперед, ухватившись нежной рукой за бархатный край ложи, — тогда-то Али и увидел ее со своего места. Так долго и безнадежно блуждал взгляд Али по каждому людскому Сборищу, так часто разочаровывался он, принимая за нее других, что сперва глаза скользнули мимо (Зрение — благороднейшее из наших чувств, но и ввести в обман его легче всего) — потом вернулись — и словно бы превратились в огромный телескоп, заполненный одной только ею, будто новой Планетой. Али со всех ног бросился из своей ложи — ошибкой попал в чужую, выскочил оттуда с извинениями — и наконец нашел нужную. Трепеща, отодвинул занавеску и увидел очертания Сюзанны, освещенной снизу огнями рампы, — увидел, что она одна, если не считать дремлющего Аргуса, — и тихонько ступил внутрь. Али, однако, не сразу обнаружил свое присутствие — и Сюзанна не оборачивалась, поглощенная видом картин и звуками голосов, взрывами Смеха и гулом музыкальных Инструментов: все это сделало его появление незаметным. Али не отрывал от нее взгляда — а Сюзанна, не подозревая о его появлении, смотрела на представление, приоткрыв рот, сияющими глазами, в которых отражалось множество огней, — Али хотелось стоять так вечно, чтобы в ней ничего не менялось, — или, напротив, насытившись, тайком улизнуть незамеченным — но он уже понял, что утолить жажду ему не дано, — и, наконец, источаемый им Животный Магнетизм (если это не выдумка) — заставил Сюзанну обернуться.

«Али!» — «Сюзанна!» — Что тут добавить? Минутное замешательство — и оба заговорили разом, стремясь поведать свою Историю, готовые с легкостью простить то, что другой должен был считать непростительным, и в то же время не

упомянуть об этой вине ни словом и отвергнуть все, что так долго занимало их мысли. «Во всем, что случилось… Это я… я…» — настаивает Али, но прежде чем успевает продолжить, Сюзанна тихо вскрикивает: «Нет-нет, ты не виноват — даже не думай — но я…» Разговор ведется шепотом, однако — внезапная тишина может нас пробудить, как и внезапный шорох, — Компаньонка открывает глаза, хотя спала мертвецким сном, не слыша ни грома оркестра, ни выкриков публики. Теперь Али необходимо представить — он ближайший друг покойного Брата Сюзанны, и явился единственно для того, чтобы почтить дорогую Память, — Компаньонка выказывает живейший интерес, жаждет узнать побольше, в чем собеседники ей нисколько не отказывают, перебивая друг друга. Веера раскрыты и пущены в дело. Спектакль, меж тем, продолжается — правда, Али с Сюзанной, не сводя глаз со сцены, плохо понимают, что там к чему, — разыгрывается новая Пантомима (насколько могут быть новыми одинаковые события, изображаемые на тот же лад). Госпожа Венера как раз завершает «Сцену Метаморфозы», в которой юные любовники становятся Арлекином и Коломбиной, ревнивый старик-отец — Панталоне, а сонная дуэнья — Шутом.

«Я некоторое время был за границей», — натянуто сообщает Али, и Сюзанна не может удержаться от смеха: эта история ей, как и всему свету, хорошо известна.

«Как ваша матушка и братья?» — спрашивает Али. Он сидит позади Сюзанны, чтобы зрители не заметили его присутствия в ложе.

«Хорошо, — отвечает Сюзанна. — У них все хорошо».

Так и продолжается — разговор можно назвать «светским» — однако на деле он полон смыслом куда более значительным — Али выражает надежду нанести визит — Сюзанна уверяет, что ее супруг нечасто устраивает приемы, — однако замечает, что в Городе им арендован Дом, — советует Али следить за представлениями — Клоуну далеко до Гримальди — и Али не может понять, продвинулся он или отступил, — однако же *куда* и *откуда?*

Но вот гремят суровые аккорды, и занавес раздвигается, чтобы явить взгляду «Мрачную Сцену» — так называют ее актеры: Кладбище, Руины, Надгробия и Пещера, где томится, подвергаясь испытаниям, несчастный Арлекин, пока мудрая и добросердечная Госпожа Венера не возвратит все к началу — сцене Жизни — той самой, на которой мы каждодневно играем свои роли. Однако еще до развязки, когда ничего не разрешено, а Нетопыри и Призраки на проволоках терзают беднягу Арлекина, Сюзанна со вздохом извещает, что вот-вот появится мистер Уайтхед — по

обыкновению, к Финалу, — и Али (хоть он и не сразу понимает намек) делает шаг к двери, невнятно бормоча слова Прощания сначала Сюзанне, а потом ее зоркой Подруге — которая в свое время (хоть он о том не подозревает) станет и его подругой. И вот его уже нет.

Али не заметил как, но Сюзанна Уайтхед выведала у него и запомнила адрес Дома, где он обосновался, — и там, у себя, совсем скоро после того вечера, он находит Письмо — и адрес написан столь знакомым почерком: послание словно призвали неотступные мысли о Сюзанне меж тем часом и этим. Письмо довольно короткое — рада встрече, хотелось бы расспросить подробней, — но содержит указания, как прислать ответ через посредника — ту самую Подругу! — вложив письмо внутрь письма, адресованного той, — впрочем, в наставлениях подобного рода мало кто нуждается. «*Напишите скорее — и я непременно отвечу*» — от этих слов сердце Али взмывает ввысь с дурацкой легкостью, словно бумажный змей, — но только с тем, чтобы упасть на землю, как только дернется веревка: он понимает, о чем он должен написать первым делом, но не знает как: почему, неведомо каким образом, он обрек семейство Сюзанны на плавание без руля и без ветрил, приведшее к безотрадной гавани.

«Это я, я, — писал Али, — повинен в смерти вашего брата — не заблуждайтесь на этот счет — и это я устроил так, чтобы вам не оставалось ничего иного, как только выйти замуж за того, кого вы презираете, — все это дело моих рук — это я завлек вас обоих в паутину зла, куда угодил и сам — и в которой ПРЕБЫВАЮ — завлек из себялюбия — лишь бы не оказаться там *одному* — вы должны питать ко мне ненависть, иного выбора у вас нет, и я с радостью приму вашу ненависть, как и *должно* тому, кто получает награду *по заслугам*».

«Не думайте так ни секунды, — ответ Сюзанны пришел со скоростью мысли — во всяком случае, так быстро, как это возможно для Письма, отправленного почтой. — Не только глупо, но и *самонадеянно* приписывать собственной воле то, что уготовили Судьба или Случай, — вы здесь ни при чем. Стоит ли казнить себя раскаянием за поступки, которые никакими *людскими* стараниями нельзя было предотвратить, а ныне невозможно исправить? Боюсь, что эти ваши слова будут держать вас в отдалении от меня — а это изо всех лишений, какие только могут выпасть мне на долю, сейчас для меня самое страшное. О мой дорогой Али — ты спрашиваешь, почему я тебя не искала — не написала ни строки, хотя и слышала, что ты вернулся, — но ты не знаешь, как я ловила новости о тебе — о твоем исчезновении — о возвращении в ореоле славы — не говори, будто мне было

все равно, — и все же я страшилась встречи — но страшилась не *тебя*, а *себя самой* — я должна умолкнуть — я чувствую себя осажденной крепостью, в стенах которой укрылись предатели, — не пиши мне больше. О нет, *не переставай* писать — и *думай обо мне* всегда — как буду думать о тебе я — не знаю, как и подписаться — разве что СЮЗАННА».

На это письмо Али отвечал, словно охваченный лихорадкой: его перо скользило по бумаге, не поспевая за мыслями, а мысли не в силах были угнаться за биением сердца, которое металось между Надеждой и Отчаянием — ибо та, кого он когда-то любил и считал потерянной, не была, как выяснилось, потеряна — и все же была, причем бесповоротно. Мой юный Герой, обладавший всеми благородными свойствами, какие только приличествуют герою, не имел мирского опыта, который бы подсказал, что из обыденного затруднения, им переживаемого, существует столь же обыкновенный выход, — однако Али уже был на пути к уразумению — Почтовая Доставка стала надежным проводником его упований, а то, что он получал через ее посредство, служило хорошим наставлением к дальнейшим шагам. «Прилагаю, по вашей просьбе, прядь своих волос — не знаю, для чего она вам, — но, ломая голову над этой загадкой, начинаю думать, что *ваш* локон доставил бы мне немалое утешение. Хотел бы, чтобы вы установили правила для наших сношений — лишь бы мне не выйти за рамки и не задеть ваши чувства — это ужасает меня больше, нежели пребывание на месте, — хотя изрядно страшусь и *этого*, если сидеть придется где-нибудь далеко от вас! Разгони мои страхи, Сюзанна! Скажи, о чем мне можно просить — и о чем нельзя!»

Было время, когда каждое сердечное излияние сохранялось втайне, предназначенное только для другой пары глаз, и переправлял его крылатый Меркурий, прижимавший палец к губам. Теперь со всякого небезынтересного письма снимается копия, едва ли не всегда самой Отправительницей (ведь если слабый пол и не завладел этим занятием всецело, то, во всяком случае, держит *контрольный пакет*), — дабы при желании передавать копию из рук в руки, если она того заслуживает. Недалекая *дуэнья*, которой Али должен был адресовать послания, предназначенные для Сюзанны, отнюдь не полагала несовместимым с вверенными ей обязанностями — прежде чем заменить обертку письма — предварительно снять копию, чтобы на досуге предаться над нею размышлениям.

Может показаться странным — а возможно, и нет, — что, если на протяжении многих месяцев (чуть ли не целого года и дольше) Али и Сюзанна ни разу не встречались, теперь редко

выпадала неделя — да что там, порой и дня не проходило — без того, чтобы они где-то не оказались вместе, и не на короткое время. Подобное обстоятельство — уж точно не авторский прием (хотя течение Повести и зависит от воли Автора), но безотчетная женская мудрость, вечно способная поражать Мужчин, которые, как правило, склонны приписывать нечаянное столкновение с предметом своей страсти чудесной игре Случая. Итак, однажды Али с Сюзанной, как недвусмысленно выражаются англичане, *очутились* в бильярдной — великолепном зале, со стен которого смотрели портреты рыцарей в доспехах и дам в шелках. Беседа между ними носила самый светский характер — за исключением тех случаев, когда направляемые ими три шара сталкивались, повинуясь Ньютону — угол падения равен углу отражения, — тогда замечания касательно Победы иди Поражения, которыми оба игрока обменивались, имели двойной смысл, скрытый от чужаков. Тем временем в зале не прекращался разговор, обрывки которого долетали и до их ушей.

«Вы слышали? Буонапарте бежал с Эльбы, Париж взят!»

«Что, опять? Думаю, это событие станет ежегодным — как лето, так брать Париж, — впрочем, сожалею, да»,

Али — Сюзанне: «Третий шар только глаза мозолит. Если его убрать, партия пошла бы на лад».

«Но разве суть игры не в том, чтобы он присутствовал?»

«Мне он не нужен. Охотно отправил бы его в угол, чтобы этим двум было удобней вместе». В этот момент Али случайно поднял глаза и, оцепенев от ужаса, увидел, что мистер Енох Уайтхед — тот самый, о ком он рассуждал (правда, иносказательно), — остановился не далее чем в двух ярдах от них — и Али, пораженный, перевел взгляд на Сюзанну.

«Он ничего не слышит, — тихо произнесла Сюзанна, — или почти ничего. Вам нечего бояться». И беззаботно принялась натирать кий мелом. Однако Али, горевшему от стыда, вспомнился его последний разговор с отцом — также у бильярдного стола! — вспомнились отцовские слова о мистере Уайтхеде: дескать, он *туговат на ухо* и мало что заметит, а потому супруга сможет делать все, что ей заблагорассудится, — *так уж в мире заведено*. Стыд — ужас — но не раскаяние — ибо теперь изъян мистера Уайтхеда был принят Али в расчеты, какие всегда ведет знатный Арифметик, Венерино дитя, и без которых земля перестала бы вращаться. Игра продолжалась, и длился негромкий разговор, шары катились по сукну, но теперь игроки не боялись рисковать.

Между этими тремя общественными *молекулами* произошло немало сходных *столкновений* (и отклонений, еще более

мучительных), пока Али совершенно не удалился от Светской Жизни, уединившись в своем жилище, и в поисках мудрости не взялся за чтение античных авторов — засиживался за книгами далеко за полночь, когда уже начинали тяжелеть веки, и набирался сурового здравомыслия, однако наше повествование — не учебные прописи, и повторять эти истины мы здесь не станем. Однажды пасмурным утром Почта доставила Али письмо — но не от Сюзанны, а от мисс Катарины Делоне. Письмо, как это было свойственно и самой юной леди, отличалось прочувствованностью и точностью выражений — речь шла об их недавних встречах, которые, как оказалось, обладали куда большей важностью, нежели Али (чьи мысли зачастую витали где-то далеко) себе это представлял. «Я не принадлежу к тем, кто способен *изобразить* чувство, которого на самом деле *не испытывает,* — писала мисс Делоне. — Я на собственном горьком опыте убедилась, что не всегда выказываю свои действительные чувства, чем ввергаю близких, кому более всего желала бы открыть всю душу, в некоторое замешательство — это может отвратить их от меня — что было бы для меня истинным горем. Помню, что в наших беседах я рассуждала об Идеале Мужчины, над качествами которого размышляла долго, — и составленный мною образ, полагаю, являет полное совершенство во всех отношениях — однако я отнюдь не имела в виду утверждать, будто завоевать мое расположение способен только тот, кто соответствует Идеалу *до последней черточки* — а уж никому из живущих незачем на это и надеяться! Что ж — дорогой Друг — надеюсь, я всегда смогу называть вас так — на этом умолкаю, дабы не выразиться как-нибудь неточно — Недостаток, с которым я постоянно борюсь!»

Пока Али пробегал глазами строки с выражением самых утонченных чувств, делавших честь их автору, и заключавшие письмо сердечные пожелания, в голове у него зародилась некая мысль — подобная яйцу, которое ему предстояло высидеть.

«А почему бы мне и не жениться? — раздумывал Али. — Одним ударом расправлюсь со всеми заботами. Стану кораблем, идущим в порт, — спущу наконец паруса и брошу якорь. Эта леди, кажется, считает меня достойным ее руки — если я верно угадал смысл письма — возможно, она не так уж неправа — и, во всяком случае, сейчас она думает так — а если я ничем ее не разочарую, так она будет думать и дальше. Если я лягу в постель с любящей женщиной, навязчивые сны перестанут меня преследовать. Не буду больше бродить во сне — если со мной это было. Женщина, обладающая доброй душой, способна воссоединить двойников!»

Размышления Али прервал камердинер: он явился доложить, что внизу дожидается юный джентльмен, не назвавший своего имени, — прикажете впустить? «Что это за юный джентльмен?» — спросил Али. «Военный, — сообщил камердинер. — Молодой офицер, насколько можно судить по мундиру под плащом». Али в знак согласия рассеянно махнул камердинеру — и вернулся к раздумьям, мысленно взвешивая возможности. «И все же — все же… — Он крепко обхватил себя руками, скрестил ноги и с досадой уставился в камин. — И все же…»

Когда дверь распахнулась, Али встал с кресла и, обернувшись к вошедшему, увидел перед собой — призрак! Перед ним стоял юный лорд Коридон — точно такой, каким был всегда, — в мундире — с плащом, прикрывавшим низ лица, — темно-синие глаза лучились смехом — никакой не призрак, а существо из плоти и крови, как и сам Али!

Морок мгновенно рассеялся — Али, пошатнувшись, оперся о спинку кресла — офицер отбросил плащ, и Али убедился, что это не покойный юноша *redivivus*[29], а Сюзанна, его сестра. Коротко стриженные волосы падали мягкими локонами, как у брата, щеки были такими же нежными, какими оставались у него, — Сюзанна вытянулась в струнку и по-солдатски браво отдала Али честь, улыбаясь, однако, неуверенно и с сомнением.

«Это… его мундир?» — спросил Али.

«Этот мундир он никогда не носил — чересчур заужен. — Сюзанна сделала шаг вперед — один только шаг. — Али! Я шла по людным улицам — никто не обернулся — твой камердинер меня не узнал и принял за того, кем я прикинулась».

«Человека делает одежда», — сказал Али — при этих словах юный корнет, просияв от радости, кинулся ему в объятия — и мог ли Али устоять? Сейчас Сюзанна не была рассудительной супругой в шелках — ту особу она оставила у себя в гардеробной, а здесь предстала совершенно иной — смелой — открытой; высвободившись из объятий Али, она с вызовом подбоченилась и устремила на Али дерзкий взгляд, словно желая спросить: *Ну и как тебе ЭТО?* — и Али, видя эту Сцену Метаморфозы, тоже рассмеялся.

«Скоро ли вам возвращаться в полк из побывки, юный сэр? Или можете немного повременить?»

«Я в отпуске, — парировала Сюзанна, — и, как всякий офицер, могу делать все, что мне заблагорассудится».

Нет нужды уточнять, как они провели тот день: ясно, что не за занятиями, свойственными Воинскому Сословию, — не курили Черуты, не гоготали над анекдотами, не превращали себя в подобие бочек для вливания кавалерийского пунша — все эти

удовольствия были ими отвергнуты. Скажу, что Али плакал, вспоминая Корадона, своего Друга — плакал, чего прежде, негодуя и ужасаясь, не делал! — Плакала и Сюзанна — плакала над утратой того, что принесла в жертву, — и разве не проливаем мы слез над потерей Чести, с каким бы хладнокровным расчетом ни замышляли от нее избавиться? И, поплакав, они вновь смеялись — как, бывало, делали это втроем, когда вместе бродили по зеленым тропам и кто-то нес восхитительную чепуху единственно ради удовольствия увидеть веселье на лицах спутников, от смеха закидывавших голову назад. Любовь — как просто она приходит к каждому — как быстро и легко даруются ее радости — как редок и долговечен смех влюбленных, величайший дар нещедрых Богов!

Но вот спустился вечер — молодую Воительницу хватятся, если она промешкает дольше, — однако успевает догореть еще одна свеча, прежде чем она натянет на себя штаны из буйволовой кожи и пристегнет на алом мундире аксельбанты — и даже когда стоит уже на пороге, ее пальцы все еще переплетены с пальцами Али, а глаза устремлены на него — оторвать взгляд труднее всего!

И так Али и Сюзанна вступили на плачевную стезю отношений, столь привычных в Обществе, а равно и в Романах — отношений, которые в идеале невидимы, но в то же время и очевидны — никто не может наблюдать прегрешение, однако все до единого испытывают досаду, ежели слухи не достигают их ушей; во избежание этого, вдохновенных говорунов охотно привечают в каждом доме, хотя *in absentia*[30] и отзываются о них пренебрежительно. Если бы эта пара не была столь дорога моему сердцу и я не желал им всего того, к чему сами они страстно (и, надо признаться, зачастую слепо) стремились, подробный рассказ навеял бы на меня толику *ennui*, и мне пришлось бы просить разрешения избавить меня от пространного описания — как Сюзанна и Али полагали себя неуязвимыми для сплетен — хотя о них судачили на каждом углу — им одним было неведомо, сколь общеизвестны все их свидания и расставания, — и единственным, кто даже не подозревал ни о чем, оставался Супруг. Достопочтенный Питер Пайпер горой стоял за друга; уж он-то всеми мерами старался пресекать возмутительно фривольные толки, превознося прекрасный дружеский союз Али и покойного лорда Коридона — и сочувственно отзываясь о желании миссис Уайтхед поддерживать Общение, благодаря которому сохранялись живыми воспоминания о Брате, — указывал он и на обоюдное пристрастие лорда Сэйна и миссис Уайтхед к сценическим Представлениям — и проч., и проч. — что в

совокупности производило действие, прямо противоположное желаемому.

В лансье, где танцующие образуют длинную Вереницу — именно этот танец светское Общество и напоминает более всего своими *amours*[31], — наиболее смелые из галопирующих мужчин и женщин меняются партнерами и порой вновь оказываются в объятиях своих ошеломленных Половин, которые, оттанцевав поодаль, только-только вернулись на прежнее место, — и вот тут-то важнее всего не соблюдать постоянства, а быть готовым мгновенно разнять руки и вихрем умчаться в сторону. Однако, как уже замечалось, Али был скорее приверженцем Постоянства, нежели поклонником Разнообразия — жизненный путь он считал предначертанным Судьбой, и сердце его было целокупным. Если какой-нибудь другой актер на этой ярко освещенной сцене, видя, как стремительно приближается он к катастрофической Развязке и как терпение Общества, будто резина, растянутая до предела, вот-вот лопнет, мог бы настрочить изящное письмецо и отправиться на время за границу — или же согласиться с предметом своих воздыханий, что лучшее, так или иначе, позади и что на дне сладостной чаши остался лишь Осадок, который предпочтительней выплеснуть и на том покончить; мог бы на прощание снабдить неугодную Любовницу подарком, точно подсчитав его нужную стоимость, — словом, избрать любой из этих и многих других способов, которые как будто изложены в книге, всеми прочитанной, — но Али не мог и не хотел так поступать — ни за какие блага! Посему, коль скоро нельзя было разорвать *affaire*[32], следовало порвать со всем прочим.

«Почему бы нам не бежать вместе? Что нас здесь удерживает? — с этими вопросами обращается Али к Сюзанне, сидя с ней вдвоем на диване в Библиотеке знатного дома, куда оба они умудрились получить приглашение, и разглядывая в альбоме едва различимые виды городов, где им не довелось побывать. — Какая разница, где мы будем, если будем вместе? Что нам до Мнения Света, до прочих пересудов? Поверь мне, в этом краю меня ничто не держит — кроме тебя, Сюзанна, и того клочка земли, где похоронен *он,* — ничто другое!»

При этих словах Сюзанна поднимает глаза и, не дослушав, зажимает рот Али рукой: «Али, мой дорогой Али! — Подумай, о чем ты говоришь — ты прав, тебя ничто здесь не удерживает — но меня — мое сердце, моя любовь принадлежат не тебе одному!»

«Забудь о нем, — вырывается у Али. — Он силой захватил твою руку — купил тебя, точно рабыню!»

«О нем я могу забыть, о моих крошках — нет: о сыне, о дочери. С ними я не могу расстаться — не могу».

Долго не отрывал Али глаз от лица Сюзанны, озаренного Чистосердечием и Состраданием. Потом встал, отошел и повернулся к огню. «Что такое мать — я не знаю, — проговорил он. — Ничего не знаю о материнской заботе, о нерушимой преданности — что ж. Говорят, на свете нет ничего драгоценней, и человек, лишенный этого, проходит по жизни, будто раненый. По собственному опыту я бы этого не сказал. Но не сомневаюсь, что твоим детям до конца дней твоя любовь будет приносить благо».

«Ты слишком рассудителен».

«Рассудителен? Ничуть! — Али шагнул к Сюзанне и опустился перед ней на колени. — Но задумайся все же над тем, как я должен поступить. Нет — нет — не бери меня за руку! Если нам нельзя бежать, то мы, Сюзанна, должны расстаться — расстаться, прежде чем тебя постигнет бесчестье — быть может, развод — ты лишишься детей и ничего не приобретешь взамен. Разве тебе это непонятно?»

«Ты убиваешь меня этими словами. Мне не под силу такое выговорить».

«Нет — не убиваю — только не тебя. Это невозможно. Ты будешь жить. Должна — иначе все ни к чему». Али произнес это с уверенностью — так звучал бы голос человека, который стоит на разбитой палубе тонущего корабля — однако видит, как шлюпка уносит к берегу тех, кто дорог его сердцу, — и этого для него довольно! Любовь предъявляет свои требования, великие и справедливые, — но не может требовать все, доводя до Гибели: так думают умудренные опытом, которых нельзя путать с робкими, — скорее это те, кому понятно, как ничтожно мало выпадает счастья на протяжении всей жизни, — стоит потребовать всё, и мы на пути к полной обездоленности.

«Что же тогда — что тогда?» — повторяла Сюзанна.

«Я уеду, — сказал Али. — Не могу оставаться в одном Городе с тобой — как бы ни был он велик. Уеду — и постараюсь узнать, смогу ли жить без тебя дальше».

«Куда ты уедешь? Только не навсегда — не произноси этого слова!»

«Куда, неважно. Быть может, пущусь в долгое путешествие. Не знаю. Прошу лишь одного — Сюзанна! Избегай тех мест, где мы можем нечаянно встретиться».

«Как! Отринуть все наше дружество — все добрые чувства? Не говори так — я этого не допущу».

«Нет — мы ни от чего не откажемся — если ты так хочешь — и я готов взять это на себя — рассчитывай на мою дружбу — и на все мое, что тебе понадобится, — всегда!»

Так они решили — такую принесли клятву — и точно так же ее преступили… О! Что сильнее Отречения способно пришпорить наши нежные чувства? Мы говорим: нам надо расстаться — и не сводим глаз друг с друга — осознаем все причины, почему нам нельзя расставаться, испытывая при этом нечто вроде облегчения, вызванного нашей решимостью, — видим перед собой унылую пустыню Будущего, которое предстоит прожить в одиночестве, ведь никто другой не сможет… Нет-нет, никогда! И, в стремлении утешить, мы сливаемся в тесном объятии, шепча «*надо проститься*» — и не прощаемся! Как долго Али с Сюзанной не размыкали трепетных губ, пребывая в неуверенности, позже они и сами не смогли бы сказать — и до сих пор оставались бы там, если бы не послышались грузные шаги и кто-то не толкнул дверь Библиотеки: тогда они «вздрогнули, как грешные творенья» — и отпрянули друг от друга!

Образ жизни того, кто удалился от Общества — впал в апатию — едва утруждает себя одеванием и едой (да и то как придется) — лишь изредка покидает ложе ради вечера в дружеской Компании, где воды Леты пьет в таких количествах, что целая ночь проходит почти бесследно (не считая головной боли, содовой воды и утреннего похмелья, причины которого позабыты) — повторю такой образ жизни, возможно, достоин запечатления — но предпочтительней о нем умолчать.

В один из таких дней, ничем не отличный от прочих, Али случайно увидел издали мисс Делоне — она садилась в карету с приличествующей важностью, однако волей-неволей дозволяя прохожему лицезреть крохотную ножку и стройную лодыжку. Али продолжил путь, погруженный в размышления — если это можно было назвать размышлениями — и, вернувшись к себе, сел за стол и написал письмо, строки которого весь день не выходили у него из головы:

> *МОЯ ДОРОГАЯ КАТАРИНА — не знаю, имею ли я право называть Вас так, — если Вас это оскорбит, примите мои глубочайшие извинения, и достаточно одного Вашего слова, чтобы пресечь с моей стороны все знаки внимания, Вам тягостные, — поверьте, что для меня нет ничего мучительней мысли о том, что я могу причинить Вам боль, — и, однако, я готов рискнуть всем, лишь бы сказать Вам, мой драгоценнейший Друг: Ваш душевный облик и Ваша доброта столь глубоко запали мне в душу, что я не в силах без них обходиться, — без них жизнь покажется мне почти невыносимой, а будущее,*

если я лишусь их навсегда, столь нежеланным, что способен я только на одно (и ни о чем ином не помышляю): это обратиться к Вам с Мольбой, дабы Вы приняли меня в свою собственность — служить Вам и любить Вас, невзирая на все препятствия, с которыми я могу столкнуться, и на все мои несовершенства. Я хорошо понимаю, что не принадлежу к тем, чьи История и Родословие позволяют надеяться на завоевание Вашей руки, если единственно они должны приниматься в расчет при оценке моих достоинств; кроме того, у меня есть и другие изъяны, в которых я еще не признавался, но если Вы хотя бы в малейшей степени снизойдете до моего ходатайства…

Тут Али остановился и замер с пером над листом бумаги, будто зажал себе рот, чтобы не сказать лишнего. В голове у него теснилось множество напастей, которые он мог бы, при желании, перечислить в списке пережитого, — но делать этого не стал. А вместо того поспешил завершить послание: Али чувствовал, что попутный ветер, столь стремительно и далеко завлекший его барк, замирает, и желал — до того, как окажется во власти штиля — поскорее достичь гавани прощальных Пожеланий и Подписи. Окончив письмо (последние его строки нетрудно вообразить, поскольку ни новизной, ни своеобычностью они не отличались), Али промокнул лист, сложил его вдвое, бросил на стол и устремил на него долгий недвижный взгляд — не озаботясь его отправлением — вообще не шевелясь. Около полуночи — о ней возвестило мяуканье кота, взывавшего к своей возлюбленной в конюшне на задворках, — Али встрепенулся, кинул письмо в Огонь и написал второе, иному адресату:

Я был неправ, думая, что могу жить без тебя — и не стану, если ты мне это предпишешь, — приму это за твое решение, если мы не увидимся и ты не докажешь мне, что это против твоих желаний. — Если ты пожелаешь со мной встретиться, согласен на все — поступи и ты так же. Где и когда мы увидимся, решать тебе, лишь бы мы оказались наедине, — а если нет, ты меня более никогда не увидишь. — АЛИ.

Это послание, не снабженное никаким приветствием, Али незамедлительно отправил Пособнице, к чьим добрым услугам неоднократно прибегал, — к женщине, которой, надо сказать, уделял в мыслях не больше внимания, нежели безликим Почтальонам, обеспечивающим надежную доставку писем по

всему свету. И принялся ждать — что для иных натур невыразимо болезненно: минуты падают подобно каплям в той китайской пытке, на которую мы привычно ссылаемся для сравнения, хотя никому из нас, думаю, не доводилось ей подвергаться — мне, во всяком случае, нет, однако я пытаюсь ее вообразить примерно так: «Вероятно, эта пытка схожа с ожиданием Письма, несущего Жизнь либо Смерть, когда слышно одно лишь тиканье часов», — а впрочем, может, и несхожа. Ответа не было — когда же и Надежда разуверилась в его получении, Али почувствовал, что не в силах больше переносить свои комнаты — улицы вокруг — сам Город, *Ton, Monde*[33] — и призадумался, где бы подыскать убежище — возможно, и навсегда: в вигваме среди краснокожих или в краале у готтентотов! И в ту же минуту Почта принесла — нет, не Сюзаннин ответ, но письмо от лейтенанта Апворда — того самого Военного Хирурга, который некогда — в другой стране и на другой Планете, как теперь казалось Али, — отнесся к нему по-дружески. Военному хирургу, как выяснилось, необычайно повезло в житейских делах, столь досаждавших Али: он женился на доброй женщине, причем *плодовитой* — и горячо расхваливал Али *брачное состояние*, как поступают все, кто обрел счастье в сей Державе и желал бы расширить ее границы, пока они не охватят обе половины Человечества. Дом лейтенанта на побережье Уэльса благословен целым выводком малюток Апвордов, лепечущих по-валлийски, и лейтенант приглашал Али приехать и разделить его блаженство. Али обратной почтой ответил, что будет рад повидаться с ним и всеми его домочадцами и что покинет Лондон, как только сможет, — Бог весть, вернется ли снова — впрочем, эту оговорку он доверил только своему израненному, тоскующему Сердцу. Так или иначе, но Али принес торжественную клятву — хотя и сам не знал, каким Богам или Силам, — в том, что пребудет вдалеке от тех мест, где можно встретить Сюзанну Уайтхед, либо ее супруга, детей ее, и вола ее, и осла ее, и все, что есть у нее, — пока это Сердце вновь не окрепнет настолько, чтобы дать согласие на возвращение и перестанет наливаться жаркой скорбью при одной только мысли об этом.

Военный хирург радушно приветствовал того, кто был некогда (хотя и недолго) его Товарищем по оружию, в кругу своего новоиспеченного Семейства, состоявшего, как было уже оповещено, из полнотелой Супруги и двух пухлых детишек: все трое так сходствовали меж собой и столь же радовали глаз, что и три крупных румяных Яблока на Блюде. В камине пылал огонь, на столе была заготовлена чаша для Пунша — и все вокруг дышало

теплотой материнского Лона. Али не остался нечувствительным к прелестям и Утехам этого домашнего очага; поначалу он, оказавшись в средоточии заботливого внимания и шумной суматохи, испытывал скованность, но постепенно его охватила непринужденность, какой он не знавал со времен — со времен… — но тут вторгалось воспоминание о Коридон-холле и он забывал об игре, где нужно было подбирать бирюльки и вести оловянных солдатиков в атаку. Однако улыбавшийся Сынишка Апворда и Дочурка, дергавшая Али за рукав, вновь возвращали его к действительности.

Свыше недели Али сохранял верность данной им клятве — не думать о Сюзанне, — но часы и дни выдались на удивление растяжимыми, готовыми заполнить целую Вечность, — ведь хорошо известно, что если запретить себе думать о чем-то, то самый этот запрет сведется всего лишь к очередной мысли о запретном — и мрачное море не приносило Али ни малейшего утешения, никакой Определенности, хотя он дважды в день бросался почти нагишом в его холодные объятия с надеждой набраться мудрости — и все было напрасно: очень скоро им всецело завладело Отчаяние. Желанным счастьем казалось ему кинуться в волны, заплыть так далеко, чтобы нельзя было вернуться, — сладостно погрузиться в пучину и ничего не знать больше ни о Сюзанне, ни о Любви — и, о да! об Али тоже! И однако в Бездну, к Забытью влекла его та же сила, с которой он не мог порвать: она требовала от него приникать к Жизни и к Надежде — Парадокс самый пошлый, хотя от этого он ранит не менее мучительно.

Али и взаправду не однажды намеревался привести в исполнение заявленную им решимость «вооружиться против моря бед» и «противоборством покончить с ними». Али подолгу стоял на краю обрыва, где волны внизу катились и разбивались о камни, на которые он сам готов был броситься, — вечно изменчивые валы вечно возвращались назад, но он не вернется никогда! Или же, взяв Пистолет, Али стискивал его в руке, будто руку единственного друга, — или разглядывал остро наточенную Бритву, одного взмаха которой довольно, чтобы дать волю крови, бьющейся в сонной артерии. И вот — что не удивит всякого, кому знакомы превратности Меланхолии, — однажды ночью Али почувствовал, что мятущаяся его душа готова чуть ли не по собственной воле ступить за грань, отделяющую наш мир от печального царства Мертвых — но внезапно его сковал сон, а по пробуждении Али встал с ложа безмятежным, будто морская гладь после шторма, — и с удивлением и легким стыдом обнаружил, что не собирается умирать, а намерен жить: принять

Ванну и сесть за Завтрак.

«Как я и предвидел, — глубокомысленно заключил военный хирург: ответственность его возросла, а врачебная Практика расширилась, так что держался он теперь с приличествующей степенностью. — Морской воздух, как того и следовало ожидать от сил Природы и Божества ее, подействовал на вас благотворно — щеки у вас цветут точно девичьи, а глаза смотрят ясно, будто — будто — словом, яснее некуда. Неделька-другая, и вы будете спать сном младенца, да и аппетитом ему не уступите».

«Прошу меня извинить, — возразил Али, — но прописанный курс лечения необходимо сократить — я оставил все свои дела в полном беспорядке — по правде говоря, и не рассчитывал к ним вернуться. Не могли бы вы засвидетельствовать мое глубочайшее почтение вашей милой супруге и прелестным детям? А вот это примите в подарок — взгляните, отличная вещь — изготовлена самим Джо Ментоном: видите резную надпись на рукоятке? Нет-нет — возьмите — теперь мне хочется держать эту штуку подальше от себя — надеюсь, что она уже не пригодится!»

Али, однако, промедлил с возвращением в Город еще неделю, а по возвращении не спешил с выбором новой жизненной колеи (хотя и чувствовал себя на распутье), пока одним роковым днем — как назовет его Али позже — ему не доложили о Визитере.

«Это дама, — сообщил камердинер с оттенком неудовольствия, поскольку названные существа, являясь поодиночке, неизбежно добавляли ему забот. — Просит с ней побеседовать».

«Вы ее знаете?»

«Леди под вуалью».

Под неодобрительным взором слуги Али терзался сомнениями. Сюзанна — не отослать ли ее прочь? Разве не отправила она его на тот свет — вернее, и отправила бы, если бы у него достало чуть больше решимости — и не проронила ни слова, чтобы вернуть его обратно? Не сам ли он поклялся — поклялся перед собственной душой — не он ли обещал Сюзанне никогда не подвергать ее угрозе позора? Никогда! Никогда! «Впустите леди, — произнес Али, а когда негодный слуга притворился, будто не расслышал, и приложил к уху большую волосатую ладонь, повторил: — Впустите ее!»

Однако же, когда дама переступила порог и приподняла плотную вуаль, Али увидел перед собой не Сюзанну, а мисс Катарину Делоне. Она была бледна, будто прошла Долиною смертной Тени, но держалась уверенно и, вскинув голову, взглянула прямо в глаза Али.

«Мисс Делоне… Катарина! — пробормотал он и шагнул ей

навстречу. — Э-э… здравствуйте!»

«Милорд, — произнесла мисс Делоне ледяным тоном, ей несвойственным (хотя Али и не слишком удивило, что она способна к таковому прибегнуть), который вселит в его сердце странные опасения и еще более необычное сочувствие. — Я пришла известить вас, что наша последняя встреча осталась не без последствий».

«Не без последствий? — переспросил Али. — Каких последствий? И о какой встрече вы говорите? Чашечку чая — или бокал вина? Вы пришли так неожиданно — надеюсь, не случилось ничего такого, что может сильно вас расстроить?»

При этих словах гостья внезапно задрожала от волнения — вызванного то ли гневом, то ли обидой, то ли отвращением, но мгновение казалось, будто она готова взорваться, как только что брошенная ручная граната. Затем — ужасный вид? — она овладела собой и заговорила прежним ледяным голосом. «Не без последствий, — повторила она. — Если я выражаюсь недостаточно ясно, то скажу прямо: *у меня будет ребенок*».

Комичная, но неоспоримо присущая мужчинам черта: заслышав из уст женщины подобное сообщение, они мгновенно проникаются участливостью, вместе с тем всполошившись сверх всякого разумения — приволакивают кресло и насильно в него усаживают — готовы исполнить любое желание — голос приобретает мягкость; все это мужчина проделывает обычно, за исключением одного-единственного обстоятельства: когда у него рождается подозрение, что ему собираются предъявить привилегию отцовства, которое он намерен отвергнуть; в этом случае не найти существа бессердечней и безжалостней. Али уловил, что претензия адресована ему — причем от лица той, чью прямоту, чистосердечие и правдивость он никогда не ставил под сомнение, но тем не менее ни малейшего основания для такой претензии он не в состоянии был допустить — и даже вообразить. А потому застыл на месте, одолеваемый то озабоченностью, то отчуждением, не в силах молвить ни слова. «Я не понимаю, — выговорил он наконец, — о чем вы говорите».

«А, так теперь вы меня прогоните? — Голос Катарины казался острее ножа. — Не верю, что вы так поступите: вы не могли настолько перемениться».

«Вы должны меня простить, — сказал Али. — Мне неизвестно, что вы подразумеваете — я понятия об этом не имею».

«Не смейтесь надо мной, — жалобно воскликнула Катарина, и холодная невозмутимость, которую она до того старалась сохранять, разом спала с нее, как расстегнутое одеяние. — Не

смейтесь! Если вы сейчас от меня откажетесь, я не знаю, куда мне деться — собственно, и некуда — мне нет места в этой стране — на этой земле! Клянусь вам, что не останусь на ней — и не из-за позора, хотя это и достаточная причина, а из-за того, что вы меня отвергаете — это слишком чудовищно!» Катарина упала к ногам Али и, словно отчаявшийся ребенок, униженно обхватила его колени. «Нет-нет! — вскричал Али. — Нет, не делайте этого!» Он опустился рядом с Катариной, чтобы поднять ее с пола, однако она настолько ослабла, что не могла стоять даже с его помощью, и ему пришлось устроиться на ковре рядом, точно они были дети, занятые игрой. Али ладонями обхватил щеки Катарины, залитые слезами, и, глядя ей в глаза, попытался умерить ее смятение — столь невероятное для той, кому, как он считал, ни разу в жизни не доводилось плакать — и уж конечно, не переживать такого взрыва горя! «Скажите мне, — проговорил он, — что, по-вашему, случилось — скажите все, поскольку вас наверняка кто-то обманул, и поверьте, я сделаю все, что смогу, лишь бы вам помочь и выяснить истину — большее мне не под силу».

«Я пришла к вам потому, что вы меня позвали», — ответила мисс Делоне и вынула из ридикюля сложенный лист, который Али узнал еще до того, как она развернула его наполовину, хотя бумагу, потертую от многократного перечитывания, испещряли следы слез: это было то самое письмо, отправленное им Сюзанне — отчаянное послание, на которое та не ответила; ответом служило, как он полагал, ее молчание. Теперь Катарина прочитала вслух: «Я был неправ, думая, что могу жить без тебя — и не стану, если ты мне это предпишешь» — и еще: «Где и когда мы увидимся, решать *тебе*» — и так далее. При этих словах в глазах у Али помутилось, и он почувствовал, будто меч рассекает его надвое — но не на две половины, а на *два отдельных существа.* «Ответьте мне, разве это не ваша рука? — продолжала Катарина, протягивая ему письмо. — Вы не скажете "нет", не можете сказать!»

«Кто доставил вам это письмо? Оно пришло по почте? Каков был адрес?»

«Не по почте — его принес мне посыльный: он настаивал, что должен вручить его лично, и ему было приказано, по его словам, дождаться ответа».

«Я никого к вам не посылал, — произнес Али. В голосе его слышалась не уверенность человека, непричастного к делу и отстаивающего свою правоту, но безмерная ошеломленность происшедшим, полнейшая растерянность перед коллизией, не подлежащей разрешению: он походил скорее на безвольную вещь под напором неодолимой силы. — И что вы ответили?»

Катарина взглянула на него как на помешанного. «Вы знаете, что я ответила! — вскричала она. — Знаете! Что мой визит к вам не причинит мне зла — что вины за собой я не почувствую: не помню, какими словами я это изложила — столь же бессвязными, как и ваши, обращенные ко мне, — написала, что не знаю, где мы могли бы встретиться, помимо общественных мест. На следующий вечер мне принесли новую записку: в ней стояло только название улицы и номер дома — и указан час, довольно поздний, — О Господи, прости мне!»

Туда, рассказывала Катарина, она и направилась, с одной лишь верной служанкой: их впустили, служанке было велено дожидаться ее возвращения. Катарину провели в полутемную спальню — с опущенными шторами — свет не был зажжен — и там она ожидала Али, трепеща от страха и надежды!

Али онемел — понимая, что может вмешаться и перебить рассказчицу вопросами не более чем зритель, следящий за театральным действием с напряженным волнением, затаив дыхание, в то время как участники драмы разыгрывают на сцене свои предрешенные судьбы; не более чем наши непорочные души, скрытые в телесном обиталище, наблюдают за произносимыми нами роковыми словами и за поступками, которых нельзя воротить.

Скоро кто-то вошел в комнату — как и откуда, Катарина не уловила, словно это был некий призрак или маг, и простерся рядом с ней. Вошедший только назвал ее имя, но Катарина не сомневалась — а почему, она и сама не знала, — что это был Али: так слепой пес узнает своего хозяина; так птица, несомая вихрем, находит путь к родному гнезду! Катарина предполагала поговорить с Али — напомнить о высоких жизненных целях; о неизмеримой ценности, придаваемой каждой душе ее Творцом и Судией; о том, что отчаяние — это временное помрачение разума, наваждение, от которого предстоит непременно очнуться; о том, что Разум и Соразмерность вернут ему обладание собой; все это и многое другое Катарина намеревалась сказать и репетировала этот монолог про себя, как неуверенный актер свою роль, по пути в этот дом и пока ожидала Али, но он только нежно приложил палец к ее губам, а потом встретился с ними своими губами — и все было тотчас забыто. Однако он нарушил молчание еще трижды: «*Fide in Sane*»[34] — и «Без тебя я ничто». И наконец — когда все преграды пали, все уступки были сделаны — «Помни Психею».

Все это Катарина пересказала теперь Али — обрывками фраз, как если бы обо всем этом ему было известно и он нуждался только в намеке и кратком напоминании, однако Али не знал

решительно ни о чем и смотрел на нее, разинув рот и тараща глаза, будто пойманная в сеть форель, и Катарина в конце концов отступила от него — побледнев, охваченная ужасом. «Не смотрите на меня так! — воскликнула она. — Что вы этим хотите дать понять? Не станете же отрицать все это… О, мне надо было зажечь тогда лампу вопреки вашему приказанию — заставить вас признаться, что это вы!» Тут Катарина в порыве чувств бросилась Али в объятия, умоляя сказать, что после всего ею *отданного*, а им взятого, он ее никогда не покинет и не станет презирать, что он ее любит — и все произошедшее проистекает именно из этого источника.

«Катарина, — проговорил Али, отстранившись от нее, насколько она это позволила… — Вы должны знать, что немецкий доктор, меня осмотревший, полагает свойственным мне такое состояние — столь же редкое, сколь и необычное, — при котором я могу, погруженный как бы в сон и не отдавая себе в этом отчета (то есть сознавая, что я — это я, что я нахожусь там-то и там-то и что меня окружает то-то и то-то), могу при этом совершать действия, о которых сам не имею понятия. Хочу сказать, что это для меня возможно — вероятно — не знаю, впрочем — не уверен — и все же… может статься…»

Пока Али говорил, Катарина не отрывала от него глаз: Али казалось, будто он смотрит на слабый неверный огонек, который вот-вот то ли угаснет, то ли разгорится; он гадал, отпрянет ли она от него в ужасе и сердце ее разорвется — или же вспыхнет от гнева, а то и любви! Кому неизвестно, обладал он девушкой или нет, — тому воистину ничего не известно! «Али! — выдохнула Катарина. — Бог мой! Так ты меня не любишь? Скажи, был ли вызван любовью твой поступок — я готова поклясться, что это так!»

Для нашего героя оставался только один путь: героям, по большей части, предстоит избрать единственный путь — и они его избирают. Катарина Делоне верила, что он — именно тот, кто лег с ней в постель в доме без огней, на темной улице, и оставил ее с ребенком — но совершил все это во имя любви. Али этого не совершал — или, что гораздо ужасней, может быть, совершил, но во сне или в ослеплении; однако теперь, в трезвом рассудке, он один должен понести вину — и никто другой. Теперь, если он примет Катарину — посчитав или нет действительными ту ночь, свой поступок, — это *должно быть приписано только любви*, иначе Катарина его отвергнет. И потому он произнес: «Я и вправду люблю тебя, Катарина. Я люблю тебя, и если тебя это не пугает — ибо я сам не знаю, кто я и на что способен, раз совершил такое, — я жажду и твоей любви — отныне и навсегда».

«Так ты меня любишь!»

«Да, готов это повторить». По правде, ничего другого Али сказать не мог: его честное сердце наполняли жалость и благоговение перед тем, на что Катарина решилась ради него (хотя он знал об этом только с ее слов) — и решилась, откликнувшись на его бурное излияние отчаяния и страсти (хотя это излияние и было обращено к другой); и, обладая теперь тем, что она могла дать ему лишь однажды, Али уверился — был почти убежден — посчитал несомненным, — что все произошло именно так.

Примечания к десятой главе

1. новые пьесы: Лорд Байрон любил театр и в первые месяцы брака некоторое время состоял членом комитета при театре Друри-лейн, отбиравшего новые драматические сочинения, хотя его собственные пьесы не предназначались для постановки на сцене; он был крайне раздражен, когда одну из его драм, предназначенную исключительно для чтения, сыграли в Лондоне без его разрешения и против его желания. Думаю, впрочем, он сожалел бы, что теперь никто даже не пытается поставить его пьесы — да и читают их мало, за исключением «Манфреда» и, возможно, «Каина».

2. Аргус: Аргус — великан со множеством глаз, приставленный стражем к возлюбленной Юпитера Ио; не путайте с кораблем Ясона, называвшимся «Арго». Аргус никогда не спал, в чем и смысл шутки. Читатель вновь встретится с ним в главе 14-й.

3. Животный Магнетизм: Предположительный флюид или свойство живых существ (включая деревья и цветы), которым месье Месмер и его последователи, по их утверждениям, могли управлять посредством ванн и врачебных манипуляций. Подобно многим явлениям, которые некогда считались реально существующими, понятие магнетизма относится к области воображения; термин обычно используется в широком смысле взаимного влечения полов.

4. сама Отправительница: Сохранять копии отправленных писем — давняя привычка леди Байрон. Даже с письма, написанного в порыве непосредственного чувства, она находит возможным хладнокровно снять копию, и если в беседе с каким-либо корреспондентом возникнет недоразумение касательно того, что было высказано или подразумевалось, — она всегда может обратиться к копии, чтобы освежить память. Мне порой хочется обладать такой же предусмотрительностью и не терять прошлое, как это иногда случается. О, какая же это замысловатая паутина.

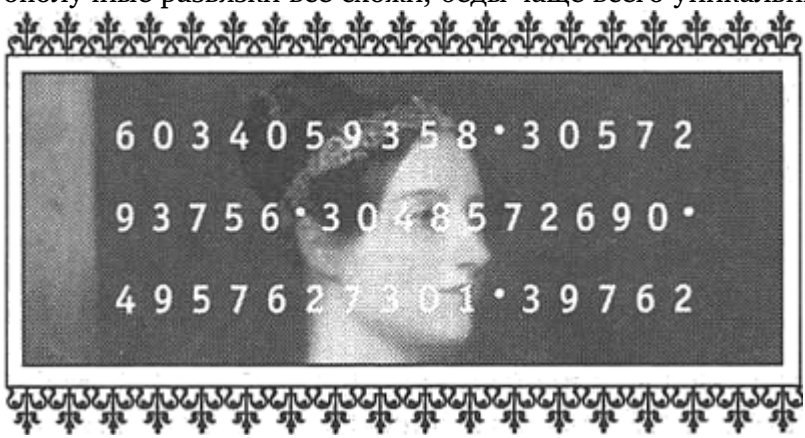
5. Молодой офицер: Леди Каролина Лэм нередко являлась в дом моего отца одетой пажом — с коротко остриженными волосами, как здесь и описано. Все эта история столь же хорошо известна, как и происшествия с Беатриче и Бенедиктом, Ларой и Каледом — и уж не знаю с кем еще, — но в будущем (надо надеяться) она будет забыта.

6. двое пухлых детишек: Повествование лорда Б. обгоняет принятую автором хронологию: между битвой при Саламанке и поездкой Али, которая, как указано, была предпринята незадолго

до битвы при Ватерлоо, вряд ли могло пройти время, достаточное для женитьбы и рождения двоих детей. Лорд Б. (по всей видимости) любил детей и радовался их обществу.

7. «Fide in Sane»: Фамильный девиз Байронов — Crede Byron[35]. Этот прелестный каламбур имеет связь с подлинным девизом, с которым он перекликается, поскольку означает «Питай веру в Сэйна», тогда как наш провозглашает «Верь в Байрона»; но может также означать «Уверься, что он (я) безумен». (Выражаю благодарность Ч. Б. за помощь с латынью, которой я совершенно не владею).

8. Психея: Психея влюбилась в бога любви — Эрота, но ей было воспрещено смотреть на него во время его ночных посещений. Когда три сестры Психеи уговорили ее нарушить запрет — под тем предлогом, что ее супруг может оказаться демоном или чудищем, — Психея зажгла свечу, чтобы взглянуть на него, пока он спал, и увидела перед собой бога. Эрот пробудился от упавшей на него горячей капли воска — и все рухнуло. После многих испытаний бог любви и его возлюбленная счастливо соединяются, хотя многим эта концовка и неизвестна, поскольку запоминается меньше, нежели момент утраты. Благополучные развязки все схожи; беды чаще всего уникальны.



От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Бессмыслица

Ли,

Шифр взломан, но что делать дальше, мы не знаем. Взгляни, как это выглядит:

ВСМОТ АУЮНО ЫМИКА НОШИП
РИТЕС ШИЗАК МНЯМИ РОСТИ
ЬНОНЕ УТАНН ВЫДЕЛ РАЕТС
ТНЕКО ОГОВШ КИОНЯ ЯКАРТ
МУКРО ОТЛАН ВНОНЕ ИНАНА
МЕБЕС ДСКУЮ ЗДЕШН ПРОТЯ
ЧУВСТ НАКИД ИХПОЛ ЖЕНИИ
ВЕННО КУНЕМ НОЩНО ПОСЛЕ
ИЛУНН НОГИМ ИСТРА ДНИХС
ЫНЕДВ ОТЛИЧ НЫМАС ЕМИВО
ИЖНОП НУЮОТ ТЕРОВ СЬМИВ
ЛЫВУЩ ТОИЧТ ПРИЮН ЕКОВЗ
ЕИСКВ ОВОВС ОШЕТА АМЕТН
ОЗЬОБ ЕВРЕМ КЖЕИД ЫХИЗМ
ЛАКАВ ЕНАНО ВАКАР ЕНЕНИ
СМОТР СИЛИЕ МАННЫ ИНЕПР
ЕТЬСЯ ГОПРЕ ХПИСТ ЕТЕРП
ВЮНОГ ДКИИН ОЛЕТА ЕВШАЯ
ОЛОРД ЕТОЛЬ ИЗГОТ СТОИТ
АКОТО КОПОШ ОВЛЕН ОННАС

Это часть первой страницы. Ада скопировала всю рукопись, переведенную в цифры и зашифрованную. На ее листах напечатаны пронумерованные строки — по пятьдесят на страницу, далее она начала заполнять их цифрами шифра, по четыре группы из десяти на каждой строке, с точкой после каждой пары цифр — чтобы придать им математический вид. Каждые десять цифр заменяют пять букв (по две цифры на букву — ясно, почему?). Но вместо того, чтобы писать поперек страницы, она писала столбиками, пока страница не оказывалась заполненной — и тогда она переходила на следующую. Следует читать столбик сверху вниз, а потом приниматься за другой.

Рукопись зашифрована с помощью квадрата Виженера: это означает, что алфавит, которым ты заменяешь исходные буквы, все время меняется в соответствии с ключевым словом. Знаешь, какое слово выбрала Ада? АМЕРИКА. Она хотела, чтобы мы расшифровали рукопись — и по возможности облегчила нам задачу. Оставалось только его угадать.

Мне кажется, Ада при копировании сделала несколько ошибок (два «н» в слове «луна»), но Теа говорит, что текст представлен целиком. Впрочем, пунктуация отсутствует полностью — и ни я, ни Теа не знаем, каким образом ее вставить и какая пунктуация будет правильной. В известном смысле это неважно — и я это понимаю; главное мы раздобыли. Но вот что я хочу

спросить. Не будет ли тебе интересно поучаствовать в редактуре? Поколдовать хотя бы с пунктуацией — и сделать ее английской? Прикинуть, где начало и конец фраз? Для меня это будет громадная помощь.

Впрочем, ты не обязан. Правда, не обязан: говорю это не потому, что не хочу показаться тебе навязчивой, а на самом деле навязываюсь. Я в самом деле так думаю. Знаю, что есть кому за это взяться, а у тебя дел выше головы. Суть в том, что только немногим об этом пока известно. Я страшно боюсь, что история выплывет наружу — и Джорджиана сожжет все собственноручно. Господи, зачем у меня это вырвалось. Сама не думала так, а сказала. Теперь понимаю, что это может случиться.

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Бессмыслица
Приоритет: Нормальный

Милая — да — я могу это прочесть — как ни странно — уже принялся и перекомпоновал. Но до того пришлось изрядно поломать голову.

Сделаю, что сумею, за то время, которое у меня есть, а если выяснится, что времени потребуется больше — научные обоснования точек и тире не делаются «враз», как говаривал мой отец (ты его видела, когда тебе был один год), — тогда как-нибудь постараюсь выкроить время. Нет слов передать, как я рвусь прочесть все это целиком — пускай даже в таком вавилонском смешении. Рассказывал ли я тебе, что когда впервые увидел на полках нашей университетской библиотеки собрание писем и дневников Байрона — я искал том с письмами из Швейцарии, — то положил руку на переплет и подумал: да, это последний — и вдруг меня охватила настоящая жгучая скорбь. Последний том. Он мертв, он умер, ничего не поправить. И вот теперь это произойдет вновь, когда я этого не ожидал. Мертвые, которых мы любим, умирают для нас снова и снова, а он — один из тех, кого я люблю.

Ли

* * * * *

От: lnovak@metrognome.riet.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Вопрос

Ты не поверишь, как быстро я продвигаюсь. Рождается целый рассказ — версия его собственной жизни, но словно бы в маскараде. Описаны дикие варварские края, но действие многих сцен происходит в Лондоне — в том Лондоне, который он знал. Стараюсь не заглядывать вперед, что там дальше. Я с ума сойду, если методично не доберусь до конца, хотя должен сказать, что наловчился читать без пробелов между словами. Как известно, такие пробелы — недавнее изобретение: древние писцы обходились без них и вроде бы не испытывали в них необходимости.

У меня возникла одна сложность. В середине текста появляются цифры, нередко те же самые повторяющиеся трехзначные цифры — в местах, где в тексте есть, очевидно, пропуски. Я не имею доступа к оригиналам и хочу узнать, возможно ли изучить те места оригинала, где встречаются эти цифры, и посмотреть, что к чему. Не могла бы ты связать меня с твоей подругой, которая занималась расшифровкой?

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: FWD:

Теа,

Пересылаю тебе письмо от Ли. Понимаю, это непросто, но не могла бы ты поработать с ним над этим? Может, дело не затянется. Он на самом деле что надо.

PS Пожалуйста, когда пишешь, постарайся хоть иногда вставлять точки и пр. Помни, что он немолод — и профессор английского (или был им когда-то).

Мне стала известна дата отъезда. Говорила с Лилит. Остался месяц. Я тебя люблю. (Вот видишь, стоит это разок сказать, так приходится повторять без конца, а иначе кажется, что разлюбила. Я это со старших классов

помню. Мальчишки дергались. Забавно.)

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: снова он

тьфу ты ну да ладно впрочем идейка у меня есть ясней ясного но хотя бы выдерживать ледяной тон я могу как потвоему хорошо сделаю что смогу исполню свой долг

кстати знаешь за последние 3 года он сменил чуть ли не 4х подружек конфетки так они выражаются видела это по кабельному охо-хо чего только там не показывают ОМЕРЗИТЕЛЬНО почему ты меня не предупредила

m

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Копия: "Смит" ‹anovak@strongwomar\story.org›
Тема: Вопрос

Дорогая доктор Спанн,

Благодарю Вас за Ваше предложение (переданное мне через Смит) помочь прояснить некоторые сложности. Посылаю Вам факсом страницы, где встречаются эти неясности — они мной подчеркнуты. Трудность заключается в том, что я не могу провести сравнение с оригинальной зашифрованной версией: да был бы из этого толк или нет — как Вы считаете?

Также — теперь пришло время — хочу выразить Вам самую огромную благодарность за Вашу блестящую догадку относительно того, что представляет собой эта рукопись, и за усилия, направленные на разгадку шифра. Очень желал бы иметь возможность отплатить взаимной любезностью.

Ваш

Ли Новак

* * * * *

От: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Копия: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Вопрос

привет

не могу сказать в чем тут дело однако шифр указывает что иногда ада использует добавочное число трехзначное оно не может обозначать букву поэтому компьютер так его и оставил числом но вот что возможно мы говорили о компрессии что если она для краткости заменяла числами частые слова вроде имен людей или каких то фраз вроде ну не знаю обычных каких нибудь и у нее получился список в котором 100 это имя одного из персонажей или 556 вместо оборота вроде НА ДРУГОЙ ДЕНЬ или ИТАК МЫ ВИДИМ да что угодно придется поломать голову всмотреться в контекст

надеюсь это поможет

не надо мне никаких любезностей скорее бы с этим покончить

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Копия: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Re: Вопрос

Доогая доктор Спанн:

Думаю, что Вы правы! Она так и поступала. Числа, похоже, идут по порядку, начиная с первого раза, как только она подумала об их компрессии. В старинной стенографии применялся этот метод — в книгах по стенографии полно деловых и юридических оборотов, которые можно было записать одним взмахом пера. Возможно, у нее имелся перечень сокращений. Ключ в том, что на первый раз она ставит сокращение после тех слов, которые оно замещает, — а в следующий раз просто ставит замену. Вероятно, уйму времени экономила замена слова «Албания» на (101) или оборота «его светлость» на (214) — примеров множество.

Возобновил работу.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема:
Х-хосподи, до чего же ты умная.

И смотри он ничем тебя не задел, не подпустил лести и всякого такого. Может, это он раньше был такой дрянной — а теперь нет.

С

* * * * *

От: "Thea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема:
угу окей давай давай продолжай так думать но на мою свадьбу я его не приглашу

m

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Продвигаюсь на всех парах

Твоя подруга Теа просто голова — хотя, сдается, немного того. Ее электронные письма всегда похожи на письма робота? Впрочем, неважно — я очень благодарен. Продвигаюсь сейчас вперед на всех парах.

Признаться, я и вправду предполагал — правда, старался не высказывать это прямо, — что рукопись на самом деле подделка, либо давняя, либо современная — скорее современная: уж слишком неправдоподобна версия о том, как ее удалось сохранить. Но теперь я так не считаю. Может, это самонадеянно с моей стороны, однако думаю, что, услышь я его голос, проникни в его мысли — я бы тотчас их узнал, и мне на самом деле это удается. Не знаю, как это охарактеризовать, — но ему

присущ комический взгляд на вещи, который также придает весомость различным чувствам — желаниям, скорби, страданию; события приписываются Судьбе, не допуская, впрочем, что Судьба есть нечто иное по сравнению с неразберихой, вызванной незнанием и стечением обстоятельств; он высмеивает, но почти всегда — с улыбкой и почти никогда — с ненавистью. Nil alienum humani[36]: Байрон полагал, что никакие человеческие порывы или поступки ему не чужды, хотя он и сохранял благородство и великодушие: это ощущается и в данном тексте. Уверен.

Интересный вопрос насчет пунктуации. Внести в текст предполагаемую пунктуацию Байрона? Или же современную стандартную? Сам Байрон к пунктуации относился крайне небрежно — и в письмах не раз просит своего издателя Джона Меррея снабдить рукопись «точками и запятыми» — то есть расставить в ней знаки препинания. Печатники в те времена все умели это делать. Только представь. А теперь почти никто не умеет.

Л.

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strortgwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: RE: Продвигаюсь на всех парах

Не подделка!! Рада, что ты в этом уверен, однако нам все-таки придется провести все проверки, согласен? Я знаю, что теперь можно удостоверить авторство произведения компьютерным анализом его словарного состава.

Байрон в твоей версии кажется таким милым. Интересно, отождествляешь ли ты себя с ним. Еще бы нет — ты ведь так долго его изучал.

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Отождествление

Не знаю, что ты в точности понимаешь под «отождествлением». Думаешь, я считаю, что он похож на меня, а я на него — и потому меня к нему тянет? Это не так. Я очень во многом несхож с ним. Если бы нам было суждено встретиться — в преисподней или где-то еще, я бы не сказал: «Слушай, мы с тобой два сапога пара». Нет — мы разные, хотя признаюсь, он мне по нраву. Более того — по причинам, мне самому не совсем ясным, я способен постигать его как живую личность, постигая при этом собственную человеческую сущность. Этого у меня не происходит ни с Шелли, ни с Франклином Рузвельтом, ни с Тедом Уильямсом, ни с Эдгаром Райсом Берроузом, ни с Робертом Флаэрти, ни с большинством других людей, которыми я восхищался, которых любил и силился понять. А вот с Байроном — да. Личность Байрона для меня открыта — и сквозь нее я вижу самого себя, как это бывает с твоими лучшими друзьями, которых с собой ты никогда не перепутаешь (не «отождествишь»?), но чьи души открыты нараспашку — не для всех, а только для тебя.

Будь осторожнее с этим компьютерным анализом. Недавно на его основе авторство пары анонимных стихотворений приписали Шекспиру, тогда как всякий его читатель/поклонник мог бы, не раздумывая, сказать, что они ему не принадлежат.

Л

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: RE: Отождествить

Ли — представляю, как ты подолгу корпишь и надрываешься над этой тарабарщиной — давай поделимся — скажи, насколько ты продвинулся, а я прикину, откуда мне начать — черт возьми, у меня в распоряжении вся ночь, а я на сон ее трачу. И посылай мне страницы, как только с ними развяжешься — я не могу оттягивать прочтение до тех пор, пока ты все не закончишь — чуть ли не взялась за это дело сама, но подумала — ну уж нет, глупости — и потому посылаю это письмо. Никак не пойму, чего мне так неймется.

Воображаю, как Ада все это кодировала, прятала. То есть зашифровывала (так это называет Теа).

С

* * * * *

От: lnovak@metrogriome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема:

Нет, делиться я не стану. Хочу забрать все себе, и ничуть я не надрываюсь. У тебя другая задача: ты должна выяснить, что именно сделала Ада и что об этом думала и где рукопись пролежала все эти годы, а также (попутно) что за человек тот, кто тебе ее продал — и что с ним сталось. Кроме того, тебе ведь по-прежнему нужно заниматься «Сильными женщинами», не так ли? Эту работу терять нельзя.

Господи, на кого я похож с такими речами? На родителя. Словно минутное затмение нашло: очнулся — глядь, а уже все написано. Прошу меня простить. Ни права на это, ни желания у меня нет. С другой стороны, совет, как ты понимаешь, добрый…

Поначалу я попробовал работать с текстом как с компьютерным файлом, но на деле оказалось проще взять и переписать его пером на бумаге, В итоге получается самая настоящая рукопись — то, что викторианцы называли «беловиком». Фантастика. Начинаю понимать, каким образом примечания Ады согласуются с текстом. То, что из полного хаоса у меня на глазах рождается нечто связное (а занят я этим не только от твоего имени, но и от имени Ады и ее отца), вызывает у меня, пожалуй, почти то же чувство, какое испытывала Ада, только в обратном направлении, если ты меня понимаешь — уверен, что понимаешь.

С любовью, Ли

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: 100

Ура. Шлю приложение — первое по счету — почти 100 страниц текста, которые я восстановил и приблизительно расставил знаки препинания. Уверен, что Байрон — по аналогии с письмами — использовал преимущественно универсальное тире — как и все авторы того времени — возможно, считали этот знак созвучным своим импульсивным, стихийным натурам — будучи сами порывистыми, делали прерывистыми фразы. Истратил уже несколько коробок тире — придется докупить -

По ходу дела мы кое-что утрачиваем. Байрон применял прописные буквы на свой собственный лад — по видимости, наобум, хотя, читая его письма, я, кажется, улавливал, почему он делал это там-то и там-то: для пущей выразительности или же желая подчеркнуть степень значения, мысленно придаваемого им тому или иному слову. Все это в прошлом — и воссозданию не подлежит. Прописные буквы выходили из моды уже тогда; за сто или даже пятьдесят лет до этого придерживались правила писать все существительные с заглавной буквы, однако Байрон вряд ли этого от нас потребовал бы.

Ли

Вложенный файл: ByronI.wpd

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›

Кому: lnovak@metrognome.net.au

Тема: RE: 100

Окей. Прочитала то, что ты прислал. Спасибо. Не знала, чего ожидать, но, кажется, не этого. Насквозь всю поэзию Байрона я не прочитала (трудная она, трудная: я так и не смогла решить, вгоняет она меня в скуку или раздражает), но не должен ли этот роман, нами добываемый, быть — ну, не знаю — чуточку более сатанинским, что ли? Я думала, там будет больше секса хотя бы — с самыми разными людьми. Байрона привлекал маркиз де Сад? А секс и смерть? Где всякое такое? Не могу отделаться от мысли, что роман — не подлинный, поскольку он не похож на тот, каким я его себе представляла.

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Сатанинский

Собственно, я не удивлен. Недоразумений тут полно. БОльшая часть возникла еще тогда — при жизни Байрона, а позднее они плодились и множились благодаря позднейшим недоразумениям, порожденным этими самыми недоразумениями (машину сплетен запустила Аннабелла). На самом деле в поэзии Байрона почти нет необузданного, насильственного или беспорядочного секса. Жуан в «Дон-Жуане» на протяжении сотен страниц вступает в связь с четырьмя или пятью женщинами — причем это они его соблазняют. В восточных поэмах (через которые, верно, ты сейчас продираешься) предельное сексуальное влечение направлено на единственный объект и очищено любовью, как и во всей романтической поэзии; разочарованный или непонятый любовник/герой покидает родные края и совершает бесчисленные преступления или же ведет порочную жизнь довольно неопределенного свойства, однако никогда не забывает о своей настоящей любви. В «Беппо» и «Дон-Жуане» секс, адюльтер и пр. подаются достаточно легковесно, но ничего сатанинского или садистского там нет — никакой одержимости этими делами.

Путаница возникает из-за того, что Байрон в свое время стал скандальной фигурой, поскольку проявлял «непочтительность»: издевался над религией и официальной церковью, глумился над небесами и загробной жизнью, потешался над королем, охотно принимал сторону дьявола в борьбе против раболепия и т. д. и т. п. Словом, Байрон был насмешник, а к тому же невероятно привлекательный: женщины влюблялись в него постоянно — из чего как бы явствовало, что он не мог не быть завзятым волокитой, соблазнителем и насильником.

Затем последовал Разрыв с женой, вокруг которого возникло множество слухов. Байрон был глубоко несчастлив в браке: он понимал, что совершил огромную ошибку; убедил сам себя, что любит или сможет полюбить Аннабеллу, однако осознал, что не может, и возложил на нее (я так думаю) вину за разрыв

отношений со своей сводной сестрой — хотя, собственно, он и женился во многом из-за желания положить конец этой связи. Итак, Байрон жестоко обращался с супругой и вел себя с ней отвратительно, однако все, что нам известно об этом — известно по большей части с ее слов: рассказов о том, что он сказал и что подразумевал. Аннабелла обнаружила среди его вещей пузырек лауданума и томик «Жюстины» маркиза де Сада — и это решило для нее все. Она известила своих юристов и консультантов, которых у нее было хоть отбавляй, что полагает Байрона умалишенным, и если это так, то она чувствует себя обязанной оставаться рядом и ухаживать за мужем; но ее убедили (или же она вынудила себя убедить), что муж находится в здравом рассудке — а раз все эти странности проистекают из порочности его натуры, она должна с ним расстаться. Молва приписывала Байрону как безумие, так и инцест. Один из адвокатов Аннабеллы, некто Генри Брум, распространил слух, что подлинная причина разрыва чудовищна — о ней нельзя даже упомянуть: любопытно, что он подразумевал? Не знаю, но воображению остается немалый простор.

Ходили истории и о похождениях Байрона за границей — особенно в Венеции, где у него была тьма любовниц — в том числе замужних дам, профессионалок и полупрофессионалок. Сам он однажды назвал число 200, однако ему было свойственно преувеличивать все, что его касалось, — и недостатки, и успехи, и излишества. Я думаю (гипотеза основана на собственном опыте и наблюдениях за окружающими), что пик сексуальности приходится у мужчин на начало четвертого десятка: Байрон был тогда как раз в этом возрасте. Но вспомним, что после этого он влюбился, сделался cavalier servente[37] и, по-видимому, домоседом и весь остаток жизни сохранял верность — если не считать последнего греческого мальчика, так и не ответившего ему взаимностью.

Мне, как ни странно, Байрон представляется не соблазнителем — и уж конечно же, не насильником — а скорее объектом обольщения. Скажем, Пол Маккартни и Джон Леннон в молодости наверняка в избытке предавались сексу — по тем же причинам, что и Байрон, — однако никто не изображает их сатирами. Просто вокруг них вилось множество девушек, которые

их вожделели. И женщины постарше. Так оно и было. И даже Элвис — склонный скорее к женственности, пассивный предмет обожания — любил не только своих приятелей, но и девушек — главным образом, как мне кажется, за их ласку. У меня здесь с собой сборник стихов Байрона в мягкой обложке, купленный в книжном киоске аэропорта — какие только диковины там не откопаешь, особенно в отдаленных аэропортах: поэт Том Диш в предисловии предполагает, что восточные поэмы Байрона, его ранний успех и отношение к нему со стороны женщин (и мужчин) более всего напоминают о Валентино. Мне кажется, это совершенно верно. Величайший талант Валентино состоял в умении внушить, что он с головой захвачен чувством — эротическим чувством прежде всего: это могло толкнуть его на дурные поступки, однако женщины целиком отдавались чувствам, которые, как им казалось, они в нем вызывали — и потому покорялись с радостью. Вот как-то так.

Возможно (я все жду, что компьютер запретит мне разливаться подобным образом, но он терпелив — а как читательница, не знаю) — возможно, что Байрон принадлежал к числу мужчин, которые переносят все свои потребности в душевном тепле, утешении и физической уверенности в область секса. Такое случается. С мужчинами, выросшими без матери, или, скажем, если мать обращалась с ними чересчур строго. Словно все радости, которые мы испытываем при телесном контакте — при объятиях, прикосновениях, пожатиях, когда ими обмениваются родители и дети, — все это переносится в сферу секса. Думаю, если это происходит, то человек (говорю обобщенно и объективно) может стать великодушным и бережным любовником, преданным и постоянным. И наверное, такой человек иногда способен подбирать самых разнообразных партнеров или (говорю о мужчинах, но и женщины тоже подпадают под эту ситуацию — разве нет?) отдаваться самым странным или неподходящим партнерам разговор любому, почти всякому.

Я никогда никому не говорил ничего подобного. Собственно, не говорил и сам себе. Надеюсь, ты еще не бросила читать. Надеюсь все же. Признаться, мне хочется продолжить наш разговор и выслушать тебя. Ухом мысли.

Напишу еще — о том, что важно или, по крайней мере, более конкретно.

Ли

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема:

Еще парочка замечаний о сексе (извини).

По крайней мере один автор недавно предположил, что, несмотря на все скандальные и экстравагантные выходки, тайные свидания, планы совместного бегства, костюм пажа и прочее — Байрон и Каролина Лэм на самом деле никогда, вопреки их словам, не «вступали в связь». Каролина, по-видимому, к сексу была равнодушна. Заявила, что муж обошелся с ней грубо и навсегда отбил охоту. Еще вопрос, не была ли она лесбиянкой, несмотря на Б. Право, не знаю — да, в конце концов, никто и не дознается.

Теперь Августа, сводная сестра. Байрону в ней нравилось больше всего то, что он мог как бы возвращаться с ней в детство: они много смеялись вместе, болтали и по-дурацки шутили, на что леди Б. была категорически неспособна. Дружки. Знаешь, я думаю, что Байрону были свойственны все предрассудки относительно женщин, распространенные в ту эпоху среди мужчин, и умер он прежде, чем убедился, что не верит этим предрассудкам и никогда не верил.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема:

То есть ты хочешь сказать, что у него с Августой ничего не было? Я имею в виду — в сексуальном плане? Я читала другое.

С

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема:

Нет, это не так. Секс у них был, хотя леди Байрон, вероятно, многое преувеличила. Перед женитьбой Байрона Августа, по-видимому, прекратила с ним плотские отношения. Леди Байрон считала одного из детей Августы отпрыском Байрона, что маловероятно: скорее тут сыграла роль ее зацикленность на порочности мужа. Ада, кажется, тоже этому верила — разделяя мнение матери или, во всяком случае, ей не противореча. Этого ребенка (Медору Ли) леди Байрон вроде как удочерила, когда та сбежала из материнского дома, и попытки леди Байрон использовать ее в качестве улики против Байрона и Августы были под стать не менее яростным стараниям Медоры тянуть деньги из леди Байрон. Жуткая личность.

В те дни невозможно было расценивать близость Августы и Байрона иначе чем как тяжелейший грех — и грех, лежащий главным образом на нем. Разумеется, сейчас невозможно не расценивать эту близость как преступление или «насилие», совершенное Байроном против Августы. Позднее и Августа, под влиянием леди Байрон, стала считать свои отношения с Байроном грехом почти что непростительным — своим грехом, — хотя и не разделяла убежденности леди Байрон в том, что именно она своей распущенностью и порочностью намеренно разрушила брак поэта (обвинение в любом случае несостоятельное). Мне кажется, Байрон, признавая греховность им содеянного, все же не думал, что причинил зло (потому и бросая вызов силе, именующей это грехом): может ли быть проступок греховным, если никто от него не пострадал? Мое мнение (прошу тебя учесть, что говорю это, ясно понимая, что по нынешним временам такие слова абсолютно неприемлемы — особенно если они исходят от меня): связь Байрона и Ады не была ни грехом, ни преступлением, какие бы несчастья она ни навлекла на всех причастных к ней.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Мое имя

Ты не так давно написал мне, что до моего рождения хотел назвать меня Гайдэ, в честь дочки пирата в «Дон-Жуане». Ну и ну. Я пролистывала «Дон-Жуана» — ты же считаешь его лучшим у Байрона, да? Но ты, наверное, забыл, что в поэме Гайдэ убивает ее собственный отец — узнав, что она вышла за Жуана. Или тебе было все равно?

С

* * * * *

От: lriovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Мое имя

Дорогая,

Перечитай поэму. Ты не поняла, что происходит в конце этой песни. Гайдэ умирает, но не от руки отца. Гайдэ умирает от разрыва кровеносного сосуда (так это называли), вызванного тем, что приспешники ее отца у нее на глазах ранят (не убивают, разумеется) Жуана. Байрон явно относился к Гайдэ (хотя ее образ с головы до пят и во всех отношениях совпадает с тем, как представляли себе девушек англичане в 1820 году) с величайшей любовью. Меня всегда глубоко трогает ее смерть — и в особенности смерть ее нерожденного ребенка: «дитя замершее, не видевшее света». Авторы способны испытывать сильнейшую жалость к персонажам, от которых по ходу повествования должны избавиться. Байрон говорит об этом не раз — и повторяет это даже в той книге, которой мы располагаем. Увидишь сама.

Но мне не хочется тебе возражать. Скажем так: я проявил некоторое легкомыслие и черствость, задумав назвать тебя именем девушки, скончавшейся в младые лета при крайне трагических обстоятельствах. (Именам многих святых, впрочем, присущ тот же недостаток.) Я был тогда гораздо моложе — и не намного старше, чем

ты сейчас.

Л

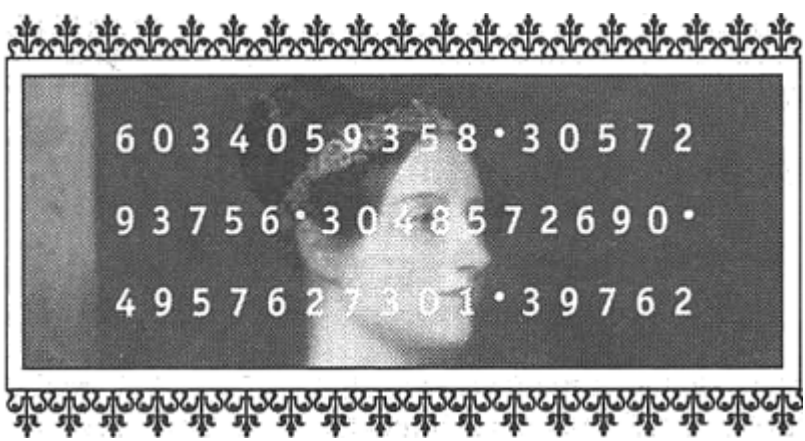
* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: RE: Re: Мое имя
Так мы предполагаем или ты утверждаешь?
Неважно.

Так или иначе, ты прав, а я насчет Гайдэ ошиблась. Видать, заторопилась. Порой чувствую себя в растерянности: словно меня заперли не то в раздевалке, не то где-то еще с парнем, в котором, в общем-то, ничего плохого нет, но он все-таки парень, а меня с ним заперли. Признаюсь, что засиделась допоздна — посмотреть, чем там кончится. Вот это мне нравится:

Слова весьма вещественны: чернила,
Бессмертия чудесная роса!
Она мильоны мыслей сохранила
И мудрецов почивших голоса
С милъонами живых соединила.
Как странно поступают небеса
С людьми: клочок бумаги малоценной
Переживет поэта непременно!

Смит



Глава одиннадцатая, *в которой вступают на дорогу без возврата*

Обычно думают, что Комедию и Трагедию разделяет глубокая пропасть, однако отличаются они друг от друга только развязкой: разве Отелло не смог бы без проволочек распознать все уловки и хитрости раздраженного Яго и подстроить встречную ловушку, подобную той, какую устроили для Мальволио в «12-й ночи», — с тем, чтобы дело закончилось ко всеобщему веселью, а злоумышленника постигло разочарование? Равно и «Мера за меру» без интриг, затеянных герцогом, неминуемо завершилась бы столь же плачевно, что и «Ромео и Джульетта», — если бы Монах в этой пьесе тоже увлекся занятными придумками вроде писем и сонного зелья, которые вполне могли бы иметь успех! Однако Бард — как бы долго он ни колебался с выбором — в конце концов принимает решение, остаться ему в Сандалиях или встать на Котурны, и впредь обязан либо предаваться раздумьям и произносить возвышенные монологи, либо заливаться смехом и сыпать остротами. Вообразим же, будто мы с вами оказались в некой Пьесе, насыщенной сюжетными ходами, какими пользовался Бард, — тут постельные проказы и переодевания, деспотические отцы и любовники-двойники — где, по-вашему, мы находимся, в Трагедии или Комедии? Станем ли мы шутить, отпускать каламбуры и верить, что Любовь всенепременно одержит победу, невзирая на все тяжкие преграды? Или же начнем рассуждать о «пращах и стрелах яростной судьбы» и принимать себя за «мух в руках мальчишек»?

Что касается судеб Али, Катарины и ребенка, которому слишком скоро предстоит у них родиться, то до сих пор мы и сами не знаем, что о них думать, — Автор еще не пришел к окончательному решению — кончиком пера он постукивает себя по губам, созерцая за окном пейзаж в жарком мареве — термометр показывает восемьдесят градусов по Фаренгейту[38], — затем Автор размышляет, выпить ему бренди или, скажем, *limonata* и не закурить ли сигару, — так вот, если он неспособен сделать и такой выбор, под силу ли ему решить, на чем остановиться — на Комедии Ошибок или на Трагедии Рока, а, возможно, взяв ту или эту, развязку позаимствовать у другой?

Брачной церемонии, долженствовавшей, в назначенный удобный срок, соединить двух молодых людей, положено было

придать скромный характер, без всякого размаха; пригласили на нее совсем немногих, чье присутствие было необходимо: со стороны невесты — Родителей, особых признаков веселья не выказывавших, а со стороны Али-сироты — Достопочтенного Питера Пайпера на роль шафера: передать жениху Кольцо и, при надобности, поддержать его дух. С согласия епископа и с помощью адвоката (мистера Уигмора Бланда) было получено специальное разрешение, и бракосочетание состоялось в доме семейства Делоне — уместно отдаленном, сумрачном и запустелом, расположенном на скалистом берегу, о который безутешно бьют волны холодного моря, — но тем не менее лондонская светская хроника не преминула исчерпывающим образом оповестить обо всех Подробностях события, описать платье Невесты, напомнить о финансовом состоянии Жениха и повторить мудрые слова, произнесенные на церемонии служителем Церкви. Али тем утром пережил все заурядные волнения человека, которому предстоит стать мужем, — однако к его чувствам примешались и не совсем обычные. «Ты будто потерял ближайшего друга, — заявил Достопочтенный, увидев Али в темном свадебном наряде, — а не женишься на дорогой возлюбленной». — «Я бы хотел, чтобы нас сочетали узами брака мгновенно, — пробормотал Али. — Так по людям, если они образуют цепь, пробегает электричество — боюсь, иначе мне должным образом не преобразиться». — «Будь уверен, — отозвался Достопочтенный, помогая Али натянуть белые перчатки на вялые руки, — супруга поспособствует преображению: я собственными глазами наблюдал это чудо тысячу раз». — «Это на словах, а ведь ты сам на такой шаг не отважился». — «Что ж — пожалуй, надеяться мне не на что — чужие браки доставляют мне слишком большое развлечение — так методист-проповедник, заметив среди прихожан нечестивое веселье, предостерег их: мол, *кто смеется — пусть оставит надежды.* Так идем?»

Итак, Пантомима завершается принесением Обета и обменом Кольцами, любовники вновь становятся самими собой, насланные Венерой неурядицы разрешены — хотя в жизни, как известно, конца им не предвидится — всех нас ожидают дальнейшие Преображения и новые испытания. Вечером, когда на Пергаменте были поставлены подписи и Пиршество закончилось, карета Али унесла Молодых навстречу месяцу в Уединении — дорогу усыпал снег, а свинцовые тучи нависали так низко, что казалось, до них можно дотронуться. Внутри кареты царило молчание, схожее с молчанием Зимнего Дня: ни словом не обменивались молодые Супруги — и не только потому, что Новобрачная (из доведенных

до крайности, как представлялось Мужу, соображений благопристойности) велела Служанке сойти с верха кареты и занять место рядом с ними. О чем думали они — вступившие в брак при таких обстоятельствах? Как знать, молчание — не лучший ли выход, когда все наши мысли обращены к поступкам, которые мы могли совершить, но не совершили — или совершили, но делать этого не следовало, — и которые завели нас туда, где мы вовсе не рассчитывали оказаться? Однако — когда бы ни было положено начало — им предстоит совместное будущее, изо дня в день каждое утро, вплоть до последнего, и (об этом безотчетно думали оба), может статься, они все же будут счастливы — очень счастливы — как если бы вовсе не заключали союз.

«Если мы ошиблись, — выговорил наконец Али с натянутым смешком, — надеюсь, ты не возненавидишь меня. Я — нет, даю слово!»

«Я всем сердцем буду тебя любить», — ответила Катарина с такой неколебимой убежденностью, которая заставила бы любого новоиспеченного Супруга отбросить все сомнения, но Али она побудила только вновь погрузиться в молчание — ибо думал он лишь о том, что сердце его разделено надвое, в обмен на сердце Катарины он не может отдать ей свое целиком — и не знает, кто причиной тому, он сам или она.

Нескоро они добрались до поместья Делоне, где им предстояло начать супружескую жизнь. В доме — обогретом, насколько возможно, — супругов приветствовали улыбками преданные слуги, для молодоженов была приготовлена спальня и накрыт приличествующий оказии ужин — вокруг Али и Катарины так хлопотали, словно им, переполненным Счастьем, невмоготу было шевельнуться, — Али шепнул Катарине, что не удивится, если вот-вот им преподнесут бумажные короны и пропоют здравицу в их честь, — тут Катарина рассмеялась — рассмеялась впервые за все предсвадебные дни. Однако же когда все в доме затихло и настала неотвратимая пора удалиться на покой, оба вновь замолчали — они казались друг другу чуждыми, сколь это возможно для человеческих существ, хотя и полагали, что знают друг друга в самом полном смысле этого слова — и все же (смеем утверждать), по сути, не знали совсем — и не знали о том, что не знают. Возник нешуточный вопрос, должны ли они разделить супружеское ложе, — Новобрачная, находясь в положении, упомянутом выше, наслышалась от родственниц строжайших предостережений относительно того, что в столь *деликатном* состоянии следует опасаться малейшего риска, — однако в конце концов, словно дети, напуганные темнотой, они забрались вместе

под алые Завесы нарядной постели, предназначенной для них обоих, и — но тут я обязан также опустить Завесу.

В полночь — проснувшись, сама не понимая почему, — Катарина обнаруживает, что в постели она одна — а в камине пылает Пламя, на фоне которого, за пологом, движется, приближаясь и вырастая, какая-то фигура — но тут завесы рывком раздергиваются, и она вскрикивает в испуге — перед ней стоит ее Супруг в халате — невидящие глаза его горят яростью — а в руке он сжимает пистолет!

«Милорд — что вы делаете?» — у Катарины вырвалось одно лишь восклицание — и когда Али, который словно не подозревал, что он не один, вздрогнул и уставился на нее в ошеломлении, она поняла, что возгласом *пробудила его ото сна,* — и волосы ее от ужаса «зашевелились, как бы живые».

«Мне что-то послышалось, — проговорил Али. — Не знаю что — я вскочил…»

«Ты узнаешь меня?»

«Катарина! Как я могу тебя не узнать?»

«Умоляю тебя — вспомни, что я жду ребенка — твоего ребенка — не поражай страхом мое сердце: пострадает не только оно одно, но оба — быть может, непоправимо — заклинаю тебя, смилостивься хоть немного — если не ради меня, то ради своего Дитяти!»

«Тише — тише, не волнуйся! — Али поставил пистолет на предохранитель и отложил оружие. — Послушай, опасности нет — глупо так думать — что там было, не понимаю».

«Ложись тогда в постель — час поздний».

«Да».

«Помолись со мной — это успокоит нас обоих».

Али подчинился — или просто-напросто выслушал молитвы Катарины — но, снова оказавшись под одеялом, надвинув на лоб ночной Колпак и прижав Щеку к Подушке, никак не мог сомкнуть глаза от недоумения. Признаться по правде, Али ничего не слышал — он и сам не знал, почему встал с постели, накинул халат и взялся за оружие, — побудили его к тому причины, принадлежавшие иным пределам, где перед ним стояли иные задачи, — однако все это ушло в прошлое — и пределы, и задачи, и он сам, и все прочее — ускользнуло, как вода через сито, — так что, очнувшись, он не в состоянии был ничего объяснить жене, разве только сказать: *мне что-то послышалось,* хотя на деле он не слышал ничего!

Не успели лорд с супругой вернуться в Лондон по окончании *паточного месяца*, как в их новые Апартаменты пожаловал юрист

Уигмор Бланд. Улыбчивый, как и прежде, столь же довольный собой, сколь и миром, в котором продолжал энергично действовать, мистер Бланд явился со следующей новостью: хотя виды на успех в отмене ограничений на наследование Аббатства остаются для Али самыми лучезарными (что будет означать успех и великого Законника), теперь выяснилось, что нужные документы будут подписаны и скреплены печатью не ранее как по прошествии нескольких месяцев и даже лет.

«Не знаю, как это могло произойти, — продолжал мистер Бланд — и лицо его затуманилось, как бывает, когда на Солнце набегает легкое облачко, — однако судейской коллегии предъявлены новые свидетельства, ставящие под вопрос ваше исключительное право на владение землями и доходами, которые, на основании вашего Титула, переходят к вам, — в них утверждается, что существуют и *другие претенденты* и что доказательства этого будут представлены в ближайшее время, — а подобные заявления не подлежат быть отвергнутыми без внимания, сколь беспочвенными они бы ни оказались».

«Что! — воскликнул Подопечный мистера Бланда. — Какие еще претенденты? Кто предъявил эти свидетельства, как вы их называете?»

«Получены они от некоего Джона Фактотума, без обратного адреса, от имени…»

«От чьего имени?»

«От имени лорда Сэйна. Молодой человек! Поверьте мне: какие бы подлоги и фальсификации этот проходимец ни замышлял, успеха он не добьется — все они будут последовательно рассмотрены и отвергнуты как не стоящие ни гроша!»

Али обратился к юристу с настоятельной просьбой пояснить, на что ему придется жить до решения суда, на какие средства содержать Жену с Ребенком, а также каким образом усмирить Кредиторов. Мистер Бланд подтвердил, что довольно долго, хотя и не вечно, ему доведется питаться Воздухом: тяжба Али с Кредиторами в Суде лорда-канцлера будет нелегкой.

Ибо Кредиторы Али также прибегли к помощи Консультантов — отнюдь не столь великодушного и жизнерадостного склада, образцом коего служил мистер Бланд, но — как вскоре Али довелось убедиться в этом — напоминающих свору разъяренных шавок, что рвутся перегрызть горло острыми клыками, вонзить железные когти — не зная пощады! С их подачи не замедлил появиться бейлиф с поручением наложить арест на имущество новоиспеченного Главы Семейства и на прочие ценности, которыми вышеназванная свора могла бы поживиться. Бейлиф

налепил на двери дома Али Уведомление о своем праве собственника и, подобно беспокойному немецкому духу, побесчинствовал всюду: вторгся, невзирая на попытки камердинера и повара загородить ему вход, и уселся на стул посреди Зала, положив на колени свой потертый жезл и широко расставив ноги, — снять шляпу он почел неуместным и сдвинул ее набекрень жестом не менее вызывающим, чем его ухмылка. Уже этого было довольно, чтобы довести юношу до умоисступления, — Али приходилось миновать стража всякий раз, как он покидал дом и возвращался обратно, — не только видеть, но и втягивать в ноздри запах этого Миноса своей будущей жизни, однако наисильнейший страх Али испытывал не перед ним. Боялся он того, кто представал перед ним лишь в Зеркале, когда он туда заглядывал, — и как с ним противоборствовать, он не знал!

«Я чем-то тебя обидела? — спросила как-то Катарина мужа к концу дня, прошедшего в гнетущем молчании, видя, что Али готов взорваться. — Скажи мне».

«Обидела! — резко оборвал ее супруг. — Что же, ты полагаешь, будто это единственная причина, побуждающая мужчину хранить молчание? Тебе ли не знать, какое бремя на меня возложено! Ты разве этого не видишь, не чувствуешь? Не замечаешь, как я напрягаю все силы, лишь бы его выдержать? Дозволь мне хотя бы выказывать время от времени, как нелегко мне приходится, — дозволь быть иной раз скупым на слова или даже забыть об учтивости — быть грубияном я не собираюсь, — но наберись терпения».

«Я сделаю все, что смогу, — заботливо ответила Катарина, — и буду, какой тебе хочется».

Этот ответ — похожий на арифметическое уравнение — произвел на душу Али действие, сходное с химической реакцией, когда кислота и щелочь, с виду невзрачные и безобидные, соединившись, немедля начинают пениться, источать зловоние и переливаться через край сосуда. Он не мог вымолвить ни слова — не мог поставить ей в укор терпение и преданную готовность, — но почувствовал себя задетым и униженным — короче, отчаявшимся, хотя отчаяние это определить было трудно. Изо дня вдень, встречая молчаливые, но упорные упреки Жены, облеченные в форму мягких увещаний (бейлиф меж тем по-прежнему восседал у входа каменным Идолом, и от его бесстрастного взора не ускользал ни один пустяк), Али сознавал себя кругом виноватым, однако, бессильный вести себя иначе и предугадывать дальнейшие свои поступки, был словно застигнут между Огнем и Льдом — это настолько терзало его душу, что,

бросив на Катарину разъяренный взгляд, отражение которого со странной Жалостью видел у нее на лице, он выбегал мимо невозмутимого бейлифа на улицу.

Под этим злосчастным кровом в урочное время Катарина, леди Сэйн, разродилась Дочерью — в окружении пожилых многоопытных родственниц: их было три, как и полагается в подобных случаях, дабы предречь Судьбу младенцу и, перерезав Нить, связующую его с матерью, заставить «дышать тяжелым воздухом земли», — чему подчинилась и новорожденная, разразившись первым плачем, донесшимся и до кухонных помещений внизу, и до гостиной, которую, как свойственно всем будущим отцам, погруженный в раздумья Али мерил шагами из угла в угол. Однако отцом Али был не таким, как все прочие, и той ночью или уже утром (когда ему сообщили новость, последние звезды на небе померкли, с улицы доносился привычный стук карет и раздавались выкрики ранних торговцев) в груди у него боролись противоречивые чувства. Потом он поднялся наверх, но у двери спальни, где лежала его супруга, остановился — и долго не мог заставить себя войти, глядя на диво дивное, на эту крошку в руках матери, бесконечно малую молекулу, на атом жизни — на ребенка, которого не мог признать своим, но не мог и презреть и отвергнуть.

«Дитя — оно здорово?» — спросил Али, застыв у порога.

«Али!» — выдохнула Катарина — выглядела она столь изможденной и умалившейся, словно Всевышний забрал у нее плоть и кровь для создания ребенка — собственно, так Он и поступил, — на мгновение сердце у Али внезапно сжалось от жалости — не то от любви — и он никак не мог решиться войти. «Али! — снова прошептала Катарина. — Так ты не войдешь на него взглянуть — нет?» И при этих словах Али шагнул вперед.

Новорожденной дали имя Уна[39]: Али опасался, что ей всегда придется быть наособицу и оставаться одной, в стороне. Но девочка оказалась крепкой, упитанной и надрывалась от громкого плача, как будто имела на то серьезные причины — ее родной Дом пребывал в запустении, хотя сама она того не подозревала, — а трещина в отношениях между ее родителями грозила стать непреодолимой пропастью.

Однажды вечером, покинув дом с целью рассеяться, Али устремился в места, где положено властвовать Забавам — Беспутству по одну сторону и Забвению по другую, — он перебрался из Театра в Клуб, играл то в карты, то в кости — лишь бы отделаться от назойливых мыслей; блуждал среди погибельных смятений, оставаясь, однако, скорее наблюдателем, нежели непосредственным участником.

«Любезный, — услышал Али за ужином расслабленный томный голос, — принесите негус из Мадеры и Желе — и протрите мою тарелку мягкой салфеткой». Сию же минуту дюжий сотрапезник, сидевший за столом рядом с Али, гаркнул тому же официанту: «Эй! Принеси-ка стакан доброго грога покрепче — и протри мне з…цу кирпичной крошкой!»

На дальнем конце стола некая Дама вскочила в негодовании на ноги и впилась в ухмылявшегося грубияна взором Василиска. «Как вы смеете — что за выражения! Будь я мужчиной — вы бы и заикнуться не отважились! Да я готова натянуть панталоны, чтобы потребовать от вас сатисфакции!» — «Коли натянете, — ответствовал наглец, — я стащу свои и позабочусь о том, чтобы вас удовлетворить!»

Перейдя из столовой в залы, предназначенные для иных развлечений, Али наткнулся на собравшихся за столом джентльменов, которые разглядывали какую-то бумагу, однако при появлении Али встрепенулись и с виноватым видом ее спрятали.

«Так-так, что у вас там? — без предисловий, однако с улыбкой полюбопытствовал Али. — Уж не обо мне ли там идет речь?»

«Похоже, что так, милорд, — ответил один из любопытствовавших, время от времени бравший на себя в клубе должность Банкомета. — В руках у меня документ, которым я вряд ли вправе обладать. Должен признаться, что почерк мне известен, и я не сомневаюсь, чей он — но только никак не руки вашей светлости».

«Не понимаю, о чем вы, — нахмурился Али. — Что за документ? При чем тут я?»

«По правде говоря, самого этого человека я не видел, — продолжал банкомет. — Моему приятелю — вернее, просто знакомцу — один из Игроков вручил его в качестве чека для погашения проигрыша, но поскольку сам он нуждался в наличности, то продал его мне с некоторой скидкой — и вот он, у меня».

Чек, гласивший, что предъявителю оного следует выплатить в банке на Ломбард-стрит такую-то сумму (внизу стояла четко выведенная подпись — СЭЙН), был первоначально сложен и скреплен печатью: на сломанном сургуче, растекшемся будто пятно крови, Али различил впечатанный *знак, имевшийся на кольце его отца,* — тот самый знак, который давным-давно, в горах Албании, был выжжен на его собственной руке, дабы запечатлеть родство с отцом! «Это его печать», — промолвил Али и уронил бумагу на стол, словно она была посланием из мира

потустороннего, где, если наиболее убедительные Проповедники не измышляют неправды, его отец обретался ныне в крайне неприятном положении.

«Обратите, однако, внимание на дату: чек выдан всего лишь несколько дней тому назад», — натянутым голосом произнес банкомет, не притрагиваясь к векселю.

«Я знавал лорда, — вмешался один из гуляк, щеки которого пылали от выпивки: выходцев с того света он, очевидно, не опасался. — Это его манера рассчитываться с долгами — такими вот клочками бумаги».

«Он мертв», — отрубил Али тоном, не допускающим возражений.

«Тогда, значит, несмотря на это, взялся за прежнее, — откликнулся весельчак. — Опять за картами и опять в проигрыше».

«А на что, собственно, — поинтересовался другой кутила, — можно потратить деньги призрака? На давно почившую баранью котлету — или, скажем, на бесплотных шлюх? Или же на что-нибудь *спиритуозное*?»

«Ага! — воскликнул краснолицый гуляка. — А денежек-то нет как нет».

«Вот решающее доказательство того, что подпись подлинна, — заявил банкомет, побелев от страха. — Сегодня *банк отказался оплатить чек*! Как раз в духе покойного лорда — что скажете?»

Али вынул бумажник и заплатил банкомету несколько фунтов за фальшивый чек, с которым тот охотно расстался — и явно не по единственной причине, хотя его Пойнс и Бардольф потешались над его нестойкостью. Это всего лишь безрассудная выходка, твердил себе Али, уловка с целью выманить деньги, проделка живого шутника, но никак не покойника. При первой же возможности Али скомкал мерзкий клочок бумаги и швырнул его в Огонь — однако, пока он горел, Али послышался шепот: *«Я не могу умереть!»*

Какой прок прибегать к Закону, если преследовать некого — некому устроить очную ставку — даже если этот «никто» продолжает наносить вред! На другой же вечер Али краем уха слышит разговор, какой крупный Куш сорвал в фараон некто Сэйн — хотя Али и не притрагивался к картам; в другой раз до него доходит слух о двухколесном экипаже, сходном с тильбюри прежнего лорда, который мчался во весь опор по Брайтонской дороге, причем кучер потехи ради, проносясь мимо, огрел кнутом стражников у шлагбаума и скрылся. Далее, минуя многолюдные

залы в клубе «Сент-Джеймс», в гомоне голосов, ведущих остроумную перепалку, торжествующих (или отчаявшихся), Али безошибочно различает — чувствуя, будто нож вонзается ему в сердце — подлинный голос своего Отца — его скрежещущий тембр, подобный шороху гальки, увлекаемой холодною морскою волной, — лихорадочно бросается, расталкивая толпу, на поиски — распахивает двери, одну за одной, укромных кабинетов — никого не находит — но, когда все глаза обращаются на него, оставляет тщетные попытки — и разгоряченный Порыв уступает место ледяному Страху: конечно же, он впал в заблуждение — это был не отец — не мог быть им — это не Сэйн!

У конторки для членов клуба, попросив пера и чернил, Али пишет Записку:

> *ТОМУ; КТО ВЫДАЕТ СЕБЯ ЗА ЛОРДА СЭЙН А. — Не соблаговолит ли означенное лицо дать ответ Нижеподписавшемуся или же уведомить иным Образом, где и когда может быть назначена встреча ввиду настоятельной необходимости потребовать от него Удовлетворения за наглый обман людей несведущих и за лживые притязания, сделанные от имени, каковое ему не принадлежит, — время и место оставляются на его Усмотрение. — СЭЙН.*

Али складывает письмо вдвое, запечатывает и указывает имя персоны, не числящейся среди Живых, — дабы адресатом, кому он бросает вызов, не сочли его самого. Недоумевающему Служителю он поясняет, что письмо должно быть передано первому, кто его востребует, и затем удаляется.

Достопочтенный охотно выражает согласие (в случае, если вызов будет принят) стать Секундантом Али — и с величайшей добросовестностью возлагает на себя соответствующие обязанности, а именно: попытаться успокоить и по возможности примирить соперников; провести переговоры с секундантами противника и прийти к соглашению относительно места для поединка — достаточно удобное, подальше от недремлющего ока правосудия, хорошо освещенное и так далее; заручиться присутствием Врача; подготовить Бегство (буде дуэль завершится роковым исходом); а также предусмотреть все прочие обстоятельства — как важные, так и второстепенные, сопряженные с делом Чести. Однако все эти вопросы повисают в воздухе, поскольку противная сторона не дает о себе знать — и не высылает Секунданта в ответ на посланный вызов.

«Это, — объявил мистер Пайпер, — против всяких правил! Раз так, боюсь, ничего хорошего из этого не выйдет — честное

слово, добром это не кончится!»

Хотя переданной на хранение записки никто не востребовал, несколько дней спустя на дом Али пришло письмо без всяких указаний на отправителя, но содержавшее следующий ответ:

> *ЛОРДУ СЭЙНУ — с наилучшими пожеланиями от лорда Сэйна, который предлагает вам встретиться с ним в иды сего месяца, около восьми часов вечера, — не ради вашего удовлетворения, ибо он полагает, что не обязан вам таковое предоставлять, но ради собственного — и, возможно, для большей вашей осведомленности. Выбор оружия, не имеющий для него интереса, предлагается на ваше усмотрение.*

В приложении к письму называлось место, пользовавшееся дурной славой и расположенное на заброшенной окраине, где обычно происходили подобные встречи без вмешательства Закона; подпись отсутствовала.

«Час от часу не легче! — вскричал Достопочтенный. — Нельзя драться на дуэли так поздно — в сумерках — да еще Бог знает где, — нет, над нами издеваются или водят за нос, — настаиваю на том, чтобы не давать никакого ответа, а тебе ни в коем случае там не появляться!»

«Но я появлюсь, — ответил Али. — Я должен знать, кто этот мой преследователь — если он мужчина или… или кем бы он там ни был».

«Если он мужчина? — переспросил Достопочтенный. — А ты ожидаешь встретиться с духом? Или с девушкой?»

«Я разумею — настоящий мужчина, человек Чести, — спокойно ответил Али, не зная, впрочем, что именно подразумевает. — Я отправлюсь туда в условленное время и буду рад твоему обществу, но если ты откажешься, независимо от причин, можешь рассчитывать на полное мое понимание».

«Как! Не пойти с тобой вместе? Да ни за что! — запротестовал Достопочтенный. — Когда неизвестно, что за дьявольские трюки там затеваются? Если ты хоть шаг без меня ступишь — знай, я тебе этого не прощу».

Итак, в назначенный вечер Али вызвал свою карету и в обществе мистера Питера Пайпера (запасшегося ящиком с пистолетами, фонарем и дорожной сумкой с необходимыми вещами на случай бегства) отправился на место поединка. Стрелки часов, как и следовало, показывали восемь; площадка оставалась безлюдна, если не считать слонявшегося по ней субъекта с сигарой во рту и широкой шляпой, низко надвинутой на глаза. По истечении четверти часа, когда никто больше так и

не появился, Достопочтенный выбрался из кареты и окликнул курильщика:

«Кто вы, сэр? Не тот ли, с кем мы прибыли встретиться?»

«Возможно — это зависит от того, кого вы ждете».

«Где же ваш принципал?»

«Отказался явиться. Он выразил желание подвести черту под допущенной неучтивостью, за которую приносит свои извинения. Он надеется, что извинения будут приняты, и заявляет о том, что более вы ни слова о нем не услышите».

«Вы здесь затем, чтобы нам об этом сообщить?»

«Я его посланец».

«Это против правил, — возразил Достопочтенный. — Клянусь честью, именно так».

Незнакомец не отозвался, если не считать ответом внезапно вспыхнувший в темноте кончик его сигары: когда он поднял руку, показалось, будто раскаленный уголек, вынутый им изо рта, держался на весу, пока не погас — обман зрения в полумраке, — после чего незнакомец вознамерился удалиться. «Эй вы, приятель! — крикнул Али, соскочив со ступеньки кареты. — Я вас не знаю, но вызов мой сохраняется в силе — и вы мне на него ответите, если ваш патрон того не желает!»

«Я? — переспросил незнакомец. — Но ведь я никто — совсем не тот, на ком угодно срывать гнев вашей светлости».

«Я требовал удовлетворения, — продолжал Али. — Ваш патрон письменно отказал мне в таковом самым оскорбительным образом, однако обещал прояснить дело. Я желал бы получить Объяснение всех его поступков».

«А, вот как! — ответил незнакомец. — Объяснения нынче в цене, и, коли их получишь, не всегда приходятся по вкусу. — Он швырнул на камни окурок сигары, и у ног его рассыпались огненные искры. — Все это меня не касается. Я передал вам, что было велено, и на том покончим — спокойной ночи!»

«Постойте!» — вскричал Али и шагнул вперед, но тут мистер Пайпер, обремененный ящиком с Пистолетами, ухватил Али за рукав и шепотом предостерег ни в коем случае не идти следом — во избежание ловушки, — однако Али отстранил мешавшую ему руку друга и бросился за незнакомцем по темной тропе — тот, несмотря на хромоту, устремился проворнее эльфа к костерку возле пирамидки из камней, у которой грелись два-три невысоких человечка. Навстречу незнакомцу в шляпе распрямился во весь рост дюжий здоровяк и вскинул голову — нет, она оказалась мордой зверя! — и на глазах Али его Насмешник и Питомец Насмешника приветствуют друг друга под смех окружающих — затем владелец медведя, взявшись за цепь, прикрепленную к шее

зверя, растворяется с ним в тумане — куда Али не решается двинуться.

Вернувшись к себе домой (хотя дом этот ему не принадлежал, как не принадлежала вся обстановка — диваны и ложки, солонки и каминные решетки), Али узнал, что его супруга, решив посетить фамильное гнездо, укладывает дорожные сундуки и отдает распоряжения слугам при содействии трех леди в черном, которые, казалось, неотлучно при ней пребывали: это были мать Катарины, ее Гувернантка с детских лет и одна из тех сомнительных Приживал, чей въедливый взгляд и змеиный язык непременно сопутствуют семейной жизни, должным образом ее подрывая…

«Мы отправляемся утром, — сообщила Катарина, и Али не преминул заметить, что глаза у нее разгорелись, а по скулам разлился румянец. — Уне будет полезен деревенский воздух. Мне тоже»,

«Наверное, ты права, — сухо отозвался Али. — Тебе не следует оставаться под одним кровом с подобными мне».

«Что! С чего это ты так заговорил? Я ни словом тебя не задела!»

«Слова тебе и не нужны. — Перед глазами Али потухал камин: внезапно в голове у Али мелькнула дикая мысль, что заодно с углями угаснет и его жизнь. — Почему никто не следит за огнем? Все слуги разбежались? — Али схватил кочергу и подступил к жене. — Да, слова тебе не нужны — твои чувства очевидны — и все же я могу потребовать, чтобы ты сказала — иначе…»

«Ты меня убьешь? — Катарина поднесла руки к горлу. — Не поверю, что ты способен причинить мне вред».

Али уловил в глазах Катарины тревогу, его поразившую, но удивление сменилось безрассудной яростью — которая, не подчиняясь разуму, возрастала вместе с тревогою Катарины. «Как? С чего ты это взяла? Разве не на каждом углу твердят, будто я убил своего Отца? Разве не я — потомок злодеев и безумцев? Не я ли в лунатическом припадке тебя обесчестил? Что мне помешает тебя убить?»

«Не говори так страшно — тебя услышат — умоляю!»

«Услышат? Пускай! Все давно об этом знают — все давно говорят — хорошо, я умолкаю! Следуй за своей матушкой — отправляйся куда хочешь. Прости меня. Я был не в себе — не обращай внимания».

«Не могу».

«Я уже спокоен. Ты права — тебе лучше всего побыть за

городом».

«Да».

«Позаботься как следует о нашем ребенке. Пришли мне о ней весточку. И о себе».

«Непременно».

«Вот и хорошо — вот и хорошо!»

Итак, утром состоялся отъезд — кареты и крытой повозки: крохотную дочурку Али снабдили в дорогу на удивление богато, будто Особу королевской крови, всевозможными пожитками, о существовании которых Али ранее и не подозревал; он взял протянутую через окошечко кареты руку Катарины, поцеловал ее — какой же холодной она была! — и, отступив на шаг, подал кучеру знак трогаться. Супруга Али, откинувшись на сиденье, закуталась в меха — и больше Али ее не видел — увидеть ее при жизни ему уже не было суждено!

Ибо «тут буря началась в его душе»: остается ли он дома или покидает его — предается одиноким раздумьям или проводит время в Обществе — куда бы Али ни направился, всюду между ним и Отрадами, между ним и Забытьём падает Тень — тень всего, о чем он не смел задумываться — о собственном смятении, о таящихся на свете чудовищных возможностях, которым он не желал верить. Казалось, будто зверь, обладавший сверхъестественным коварством, побуждал его к преследованию, везде оставляя свой след и порой даже мелькая на миг перед глазами, прежде чем скрыться: Али видел (или же ему только чудилось) этот неотвязный Призрак — преследовал своего неустанного Преследователя — на каждой улице, в каждом доме, во всякой Толпе и в любом закоулке. Тщетно пытались Питер Пайпер и прочие друзья Али развеять его страхи — указывая на беспочвенность подозрений, его одолевавших; внушая, что из нескольких пустячных непонятных обстоятельств, соположенных с рядом совершенно невинных совпадений, нельзя выстраивать, как это делал Али, некий враждебный Заговор или усматривать руку Немезиды: все это, как они втолковывали, не более осязаемо, чем отражение в зеркале. Но именно этого Али более всего и страшится: не того, что против него замышляются козни, а того, что он сошел с ума! В низших кругах общества, с которыми соприкасается Али, он слышит — не только из вторых, но и из третьих уст, россказни о своих поступках, о совершенных им низостях, давние — уже забытые — предания об Отце, Истории о самом себе — малоправдоподобные и по большей части насквозь лживые. Кто их распространяет? Произрастают ли подобные небылицы буйно и невозбранно из дурной почвы без всякого присмотра, точно поганки, или же кто-то о них печется и

порождает слухи, не имеющие под собой никакой Основы? Но кто? Али не в силах найти ни единого источника и опасается, что такого и нет: все, что он слышит и о чем слышит, исходит из его собственного помраченного рассудка! — «Якобы Али втерся в доверие к покойному лорду, когда тот находился в Албании — вступил с ним в отношения, о каких не принято говорить, — побудил его себя усыновить — с единственной целью — достичь нынешнего Преуспеяния!» — «Якобы Ребенок, родившийся у Супруги, на самом деле не его — и к тому же зачат до Брака, в противность всем установлениям приличного Общества, где законные дети должным порядком зачинаются после свадьбы, но никак не раньше!» — «Якобы он силой побуждал супругу к Гнусностям, усвоенным им на Востоке и в нашей стране неизвестным — губительным для ее Здоровья и пагубным для Души, — когда же она воспротивилась, он посягнул на самую жизнь ее; Ребенок же — плод их союза — родился якобы чудовищем или уродом — а он пытался избавиться от него с помощью подушки еще до того, как тот успел сделать первый вдох!» Наконец Али останавливается на одном-единственном, кто, по его мнению, повинен в распространении клеветы — и выбор этот не лишен резона: названный субъект и вправду любитель пересказывать сплетни, хотя и не им выдуманные, — это безнадежный пропойца и сын пропойцы, однако джентльмен, столь несдержанный на язык в компании, что однажды Али припирает его к стенке и тот не находит возможным отпереться, — тогда Али награждает клеветника пощечиной и вызывает на дуэль, схватив за грудки и выкрикивая оскорбления с такой необузданной яростью, что обрызгивает слюной.

Молодой джентльмен — назовем его Брум, Блэк или Уайт, мне решительно все равно — вскоре присылает пару Секундантов, не более разумных, чем он сам, которые убеждены, что их приятеля грубо оскорбили — опорочили — обесчестили — запятнали, и, хотя Достопочтенный, действуя на стороне Али, подсказывает им выход из положения, дабы не усугубить его серьезность и избежать худшего, ничего не помогает: Брум-Блэк, эсквайр, и его рьяные защитники настаивают на своем, Али в пустом доме погружен в размышления, с уговорами к нему не подступиться, и назначенный День приближается неумолимо. Ах! невдомек обыкновенному читателю, как опечален бывает автор, когда (веления Судьбы непреложны, коль скоро сам он их и предрешил) приходится толкать Героя на провинность или же на очевидное безрассудство; как хотелось бы ему предостеречь Героя, разубедить, воззвать к Разуму или ангелу-хранителю — и это при том, что переливами своего пера он неуклонно увлекает

беднягу вперед и вперед!

Знобкий ноябрь низошел на мир — острая горечь угольной гари стоит во влажном воздухе — на улицах дымится свежий навоз — Али, сам не понимая зачем, стоит у себя на крыльце, поеживаясь и плохо отдавая себе отчет в происходящем, — появляется почтальон в алой куртке (он со своим Колокольчиком показывается регулярней, чем английское солнце) и вручает ему письмо от Супруги. Али платит пенни и начинает читать: выясняется, что Катарина не собирается возвращаться в их дом, а намерена расстаться с Али и жить отдельно. «Умоляю тебя не обращаться ко мне прямо за разъяснениями — не ручаюсь за себя, если начну читать твои письма, и надеюсь, что ты простишь меня, уяснив (если это возможно), сколь мало у меня сил тебе противиться, — пиши только моему Отцу по этому адресу и веди переговоры с гг. "Бланд, Адвокаты", которые действуют от моего имени. — Тебе понятны мои резоны, и я не стану о них распространяться… Я долгое время верила, что ты, вероятно, *болен* и что умственное расстройство (каким ты мне его описал) способно толкать тебя на *непреднамеренные* жестокости и в лихорадочном состоянии побуждать тебя к поступкам, какие в здравом рассудке ты никогда бы себе не позволил, — но будь ты и вправду нездоров, мой долг, которому я несомненно последовала бы, велел бы мне оставаться с тобой. Однако до меня дошли кое-какие сведения — из источника, о котором ты, полагаю, можешь догадаться, — заставляющие меня скорее поверить тому, что ты несешь ответственность за свои поступки, а они таковы, что я не могу долее оставаться с тобой под одним кровом, делить с тобой ложе» и проч., и проч. — все это Али, стоя у дома, куда его супруга не желает возвращаться, читает и перечитывает с полнейшим спокойствием, словно держит в руках Газету со статьей о людях, ему совершенно неизвестных. Наконец он доходит до приписки — сделанной будто другою рукой — или на другой день — или в другом настроении: «Али — несчастливая звезда сопутствовала нашей встрече — я чувствую, судьба вынесла мне приговор, который я не в состоянии повторить! Помни — где грех, там может быть и Прощение — если есть Раскаяние. Об этом будет моя всегдашняя молитва за тебя. — Девочка здорова, о чем я спешу тебе сообщить, так как думаю, что ты привязан к ней больше, чем я, и привязан больше, чем ко мне. — КАТАРИНА».

Карета, как раз в эту минуту остановившаяся перед домом, являет глазам Али Достопочтенного мистера Питера Пайпера (в перчатках, закутанного в меховой воротник) — вновь, как и прежде, в полной готовности. Не говоря ни слова, Али увлекает

его в дом — из которого к этому времени посуда, ценности, книги и большая часть движимого имущества вынесены на продажу; там Али, сев на последний стул перед последним столом, берет лист бумаги и в немногих необходимых словах составляет Завещание, отменяя прошлые: всю свою собственность, того или иного рода, он оставляет Катарине, леди Сэйн, и ее Дочери, — Али посыпает бумагу песком и вручает Достопочтенному с тем, чтобы тот ее засвидетельствовал. «Со всем покончено, — говорит Али. — У меня предчувствие, что в этот дом я никогда больше не вернусь. Сохрани это завещание и позаботься передать его мистеру Бланду из Темпля».

«Исполню все, о чем ты просишь», — с жаром отвечает преданный друг и умолкает, воздержавшись от нелепых подбадриваний и пустых надежд.

«Тогда выпьем по стаканчику — и в путь!»

Итак, мы должны повторить наш путь к темным окраинам, где тянутся унылые заборы, а окна лавочек закрыты ставнями: там можно назначить встречу вдали от недреманного ока Закона и положиться на приговор Судьбы. На этот раз, однако, все произошло в соответствии с обычным порядком, помимо всяких тайн. Было довольно светло — насколько светло может быть в дымном воздухе Лондона, этом полупогасшем Вулкане, — секунданты посовещались на поле боя, произвели необходимые замеры, отшвырнули прочь лежавший на пути Камушек, подкинули вверх Соломинку — определить, откуда дует ветер; обследовали ящик с Пистолетами, вновь предоставленный Достопочтенным, причем юный джентльмен не то по равнодушию, не то из напускной смелости не озаботился выбрать себе оружие — что, собственно, было его правом. Али, в свою очередь, также испытывал безразличие, и это страшило его больше, чем пуля в сердце: казалось, будто он отдает предпочтение пустоте — Пустоте, которая вырывалась наружу из запертого уголка, всегда таившегося внутри его существа, и обволакивала его подобно облаку, — и если это было так, тогда он вполне мог под влиянием минуты без малейшей жалости расстаться с Жизнью — хотя на самом деле жаждал ее сохранить — философская дилемма, стоящая только перед раздвоенной душой! Погруженный в раздумья, Али подошел к центру площадки, где Достопочтенному было назначено подбросить Монету, дабы определить, кто из дуэлянтов должен стрелять первым. Али ясно видел, как щеки стоявшего перед ним юнца заливает бледность — как дрожат у него губы; подумалось, что вот это — чей-то сын, о котором печется мать, на которого возлагает надежды Отец, — но ему было решительно все равно.

Заметив безучастность Али — столь им родственную! — Боги оказали ему покровительство, и монетка упала на землю изображением Короля вверх.

«Выбор — стрелять первым или нет — предоставляется лорду Сэйну», — проговорил мистер Пайпер: голос его — из страха за невредимость друга, о которой Али так мало заботился — дрожал и прерывался наподобие дудочки в руках неумелого музыканта, давшего ему фамилию[40]. Вопрос, действительно, относился к разряду щепетильных: что достойней — и, напротив, что выгодней — произвести первый выстрел или ждать ответного; однако все эти тонкости не должны нас беспокоить, как не тревожили они Али, который тотчас же согласился быть вторым на очереди, поскольку это сулило скорее покончить с делом — и с ним самим: молодой соперник слыл метким, если не бывал в подпитии, Стрелком. Но сейчас, заняв место на предписанном расстоянии, Али увидел, как его противник, утратив прежнюю браваду, затрясся и обратился к секундантам за поддержкой — которую они оказали ему в буквальном смысле — подхватили, обернули к Али и помогли поднять руку с пистолетом. О, как мало знают о сладости бытия те, кому не довелось стоять во имя Чести на дуэльной площадке — видеть, как Жизнь растворяется облачком дыхания в холодном рассветном воздухе, — чувствовать, как она трепещет в грудной клетке, которую вот-вот пронзит пуля или острие шпаги: мне не довелось пережить ничего подобного, но я не сомневаюсь, что это — самое надежное лекарство от *ennui*, и действует оно вернее Молитвы о спасении души при расставании с телом.

Пуля, выпущенная молодым соперником, пробила плащ Али и, оцарапав плечо, большего вреда не причинила. Медик, приглашенный Достопочтенным, вызвался безотлагательно обследовать рану, однако Али от осмотра отказался; он шагнул навстречу противнику и — как в пьесе с заранее известной развязкой, предопределенной всеми событиями, — поднял пистолет — хладнокровно выстрелил, целясь немного в сторону, слева от находившейся перед ним тщедушной фигуры, с намерением ее пощадить, — однако именно в это самое мгновение храбрость юноше изменила, и он метнулся вправо, желая уклониться от ожидаемого удара, — и пуля поразила его прямо в грудь!

Все присутствующие поспешили на помощь сраженному дуэлянту, Али же на миг застыл в неподвижности — бесстрастный и бесчувственный, будто обратился в камень. Лишь когда Доктор, распрямившись, развел руками — давая тем самым знать, что все его усилия излишни, — Али приблизился и

устремил взгляд на юношу и на удрученных приятелей, приподнимавших его голову. «Я убит! — прошептал юноша, увидев Али. — Вы получили удовлетворение!» Али в ответ не произнес ни слова — продолжая смотреть, как белая сорочка юноши окрашивается алым, а лицо его сереет и застывает в безмолвии, — и думал об одном: *Я свершил то, чего нельзя исправить* (эта мысль могла бы посетить его и раньше, но не посетила). Тут Достопочтенный увлек его за собой, убеждая поскорее покинуть место поединка — до прибытия Властей со всеми вытекающими из этого бессчетными осложнениями.

«Опасаться нечего, — твердил Достопочтенный. — Тебе не понадобится долго задерживаться за границей — я все устрою — и очень скоро вся эта История забудется сама собой — Расследования не будет — сочтут, что ты действовал как положено, и будешь оправдан — даю тебе слово — и тогда ты сможешь вернуться».

«Нет!» — отрезал Али. Теперь он ясно — иногда мы на это бываем способны — видел, куда указывает ему Судьба: так бедным пленникам, запертым в платоновской пещере, удается вдруг вырваться из мира Теней на Солнце, которое безжалостно режет беспомощные глаза, однако — светом Истины. «Я уеду — и не вернусь. Я слишком долго прожил в этой стране, куда совсем не думал попасть. Я получил удовлетворение — да, получил сполна — сыт по горло — до тошноты. — Он стиснул руку друга — и тот, встретившись с пронзительным взглядом Али, в котором сквозила твердая решимость, не нашел в себе сил долее протестовать. — Будь моим доверенным лицом. Не подвергай себя опасности и не входи в расходы — мне нестерпимо об этом думать — но стань моими глазами, моими ушами — моим экономом — моей почтовой службой».

«Куда же ты отправишься?»

«Не знаю. Знаю только одно — что не вернусь».

«Тогда вперед! — с величайшей твердостью провозгласил Питер Пайпер. — Сначала в Плимут, там за рейс уже заплачено — вот моя рука — но я должен сначала составить Список всего того, что я смогу для тебя сделать — нет-нет, пока ни слова — в седло, сэр, в седло! Я буду бок о бок с тобой, где бы ты ни очутился — хотя бы мысленно! Ни слова больше — бежим!»

И вот на рассвете следующего дня Али вновь оказался на палубе корабля, ожидая, когда с началом прилива наполнятся паруса. Море нетерпеливо колыхалось, и «ветер попутный во Францию дул». Али помахал шляпой одинокой фигуре Достопочтенного на пристани: тот ответил потряхиванием белого носового платка, другой рукой придерживая головной убор. Али в

эту минуту вспомнилась сказка, которую он некогда слышал в далекой Албании, в просторном зале паши, где собрались воины в разноцветных тюрбанах и расшитых кафтанах. Давным-давно, гласила сказка, во владениях некоего паши творил недоброе некий злой волшебник, чиня препятствия замыслам своего господина. В конце концов, хитростью и силой, паша пленил этого волшебника и заключил у себя во дворце под стражу. Однажды вечером в зале заседаний дивана, после того как был съеден плов и выпит шербет, окруженный знатными гостями паша вздумал вызвать пленника, чтобы тот сотворил какие-нибудь чудеса для развлечения Гостей. Волшебника доставили в зал: он проделал немало фокусов, всех поразивших и озадачивших, а потом попросил принести большую лохань с водой. Туда он бросил щепотку соли и предложил желающим всмотреться. Видят они, как перекатываются там океанские Волны? Они увидели. Вглядитесь пристальней, продолжал волшебник: видите там причал — и разве это не мальтийская гавань? Изумленные зрители убедились, что гавань мальтийская. А виден в этой гавани корабль, как раз распускающий паруса? Да — дивный корабль — с черным флагом — с широкой палубой. Тут волшебник поднялся с места и, подобрав полы халата, ступил ногой в лохань с водой — и на глазах собравшихся исчез: исчез с тем, чтобы тут же появиться вновь (все присутствующие были тому свидетелями) — он пронесся по воздуху и упал на корабельную палубу. Насмешливо поклонившись наблюдателям, волшебник встал у штурвала: корабль, с изяществом иноходца, развернулся в подветренную сторону — и скрылся из виду! «И куда же он устремился?» — захотели узнать у рассказчика Слушатели — поскольку сказка казалась им незаконченной, — но рассудительный повествователь ответствовал, что, разумеется, ему об этом ничего неизвестно — да и откуда ему знать? — однако позднее прошел слух, будто волшебник отплыл в Америку [12], где живет-поживает и по сю пору, разбогатев и по-прежнему учиняя многие безобразия.

Удивительным бывает ход мысли: едва только Али припомнилась эта история, долгое время таившаяся в закоулках сознания, как он совершенно отчетливо понял, куда ему предстоит направиться и с какой целью.

Примечания к одиннадцатой главе

1. сумрачное и запустелое: Мои родители заключили брак в Сихэме (графство Дарэм), который действительно расположен на скале с видом на Северное море. Я люблю это место, и там я провела свои детские годы. Помню, прогуливаясь в саду с матерью, я спросила у нее, почему у меня нет папы, как у других девочек, — этот вопрос живо меня интересовал, — на что она сурово и почти угрожающим тоном запретила мне об этом когда-либо заговаривать. Думаю, что именно тогда в моем сознании поселился некий ужас, дотоле мне неведомый, освободиться от которого вполне я так и не смогла, — знаю, что он сосредоточился на моей матери, хотя мне не подыскать ему названия и не доискаться до истинного источника.

2. пробегает электричество: Эта забава была распространена среди наших дедушек и бабушек: большая группа людей собиралась в кружок — и все держались либо за руки, либо за металлическую цепь; разряд, производимый лейденской банкой или сходным устройством и воздействовавший на одного человека, заставлял подпрыгнуть всех остальных, к всеобщему удивлению и восторгу. Леди Байрон утверждает, что лорд Байрон испытывал особую боязнь перед электрическими разрядами — даже слабыми, возникающими при соприкосновении рук после поглаживания плотного ковра, и однажды даже отказался от членства в клубе из-за наличия там подобных ковров и необходимости рукопожатий.

3. алые Завесы: Такими, по всей видимости, были завесы над супружеским ложем лорда и леди Байрон в Холнаби. Злонамеренный Сэмюель Роджерс («Поэт-банкир»), называвший себя другом моего отца, распространял рассказ о том, как, проснувшись ночью и увидев через завесы огонь, лорд Б. вообразил, будто обретается в аду, женатый на Прозерпине.

4. кислота и щелочь… Огонь и Лед: У меня нет ни малейшего сомнения, что данный абзац представляет собой не что иное, как самое точное описание, без малейшей примеси вымысла, тогдашнего душевного состояния моего отца — описание чувств, в которых он не отдавал себе отчета и, вероятно, не в силах был передать, прежде чем минуло несколько лет. Все его умственные силы, отгонявшие горесть, отброшены прочь. Нельзя не сострадать его тогдашним переживаниям — и не сочувствовать также честности, с какой он сумел их изобразить.

5. отчаявшийся: Лорд Б. откровенно признается всякому, кто был наслышан о его отношениях с супругой, в своих

провинностях — хотя обидчиком бывал столь же часто, как и обиженным, и оказывался причастен и к худшим проступкам (по крайней мере, до тех пор, пока леди Байрон вместе со своими посредниками и сторонниками не составили заговор — как это ему представлялось — с тем, чтобы отнять меня и положить конец этому брачному союзу). В «Мемуарах», должно быть, он тщательно выписал картину всех этих событий, чтобы очистить свою репутацию, но здесь дело представлено иначе — и вот странность! «Мемуары» преданы огню как пагубные для его позднейшей славы, а этому свидетельству суждено сохраниться — если и впрямь суждено!

6. ребенок, которого не мог признать своим: Выпадают дни, когда мне непонятно, зачем я продолжаю эти записи. Здесь, кажется, выступаю я — или мое подобие, порожденное моим отцом — и все-таки не им, поскольку он разделил себя, как, вероятно, и должны поступать авторы романов, на худшую и лучшую половины, противопоставив одну другой, — и я стала отпрыском худшей половины. Его прижизненное бездушие ко мне не столь жестоко, как это: полное равнодушие к тому, какую судьбу, какой урон, какое бесчестие понесут те, кто знал его или любил, после того как он упомянет их в своем повествовании. Плетка и прут, выкрикивают дети, больно бьют, а мне от хулы хоть бы хны. О нет. Он же сам сказал: слова весьма вещественны.

7. небылицы: Лорд Б. всегда заявлял, что покинул Англию, поскольку слухи о его пороках и преступлениях сделали невозможным его появление в обществе, где он постоянно наталкивался на оскорбления или вызывал неловкое замешательство — где прервались прежние связи — где о нем шептались на каждом углу — где он подвергся остракизму. Возможно, это и так, однако позднее его старые друзья говорили мне, что они знавали людей, о которых шла куда худшая молва, но те вели преспокойную жизнь, и никто их не презирал; а у лорда Б. имелось множество защитников, которые не принимали слухи на веру. Не знаю. Мы оправдываем преследованиями те поступки, которые совершили бы в любом случае.

8. Брум: Лорд Байрон был убежден, что именно мистер Генри Брум, юрисконсульт леди Байрон в период раздельного проживания супругов, выступал против примирения и распространял в обществе слухи (как правдивые, так и лживые) о причинах, побудивших лорда и леди Байрон к разрыву. В самом деле, мистер Брум слыл «Chronique scandaleuse»[41] за свою готовность переносить сплетни, однако навязчивая враждебность лорда Б., по-видимому, необоснованна. (Не кто иной, как мистер Брум позднее стал защитником королевы Шарлотты на ее

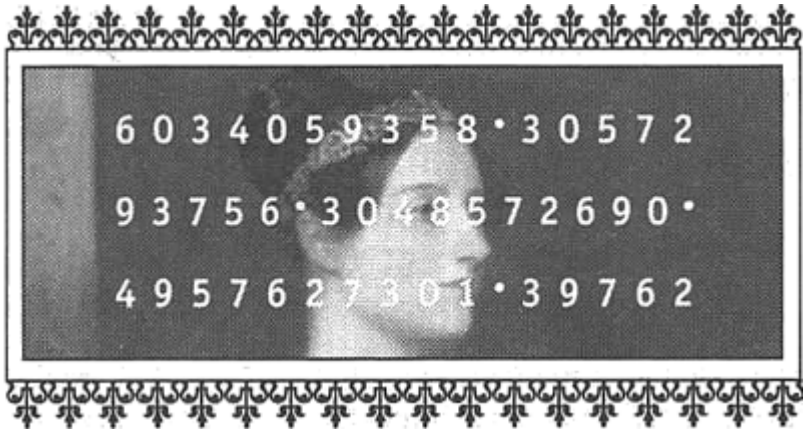
судебном процессе в палате лордов — матримониальном конфликте совершенно иного рода.) Байрон говорил Томасу Муру, что если когда-либо вернется в Англию, то делом чести почтет вызвать Генри Брума к барьеру.

9. переливы: Этим словом обозначается звучание волынки — пронзительное и продолжительное. Не знаю, почему лорд Б. использует его здесь — возможно, ошибкою — впрочем, взамен чего, мне неизвестно; вероятно также, что извилистая лента строки, выведенной чернилами, напомнила ему неровную линию непрерывного звука.

10. привязан больше, чем я: Мне слышится в этом постскриптуме голос моей матери как если бы она на самом деле однажды написала отцу и он об этом так и не забыл или так и не сохранил это письмо. Плачу — и не знаю о ком

11. некий злой волшебник: Не знаю, давняя ли эта сказка, албанская ли она — или придумана самим лордом Б.

12. Америка: Помню, как, прочитав это слово, я размечталась о будущем — не своем, но мира, — когда книга эта будет открыта — изучена, — и я подумала, что стоит зашифровать и эти примечания — иначе ключ слишком легко будет отгадать. Я увидела, что в будущем обладатели этого текста читают цифры точно так же, как мы читаем буквы, а уравнения — как предложения. Книга понятна им с первого взгляда. Нелепость. Я увидела, как их пальцы перелистывают страницы и останавливаются на цифрах — так слепцы ощупывают выпуклые буквы книг, специально для них изготовленных, — и цифры становятся словами Что если я рассчитала неверно тогда все это бессмыслица слишком поздно переделывать. Но что если все зашифровано неверно однако после расшифровки все же возникнет книга, другая неизвестная никем не написанная нелепость какова вероятность что явится хотя бы одно настоящее предложение слишком трудно высчитать но какая книга какая книга



От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема:

Ли,

Получила новые страницы. Мы все еще не удивлены? Так и продолжается готическая проза?

Понимаю теперь смысл примечаний Ады. Что значила для нее эта рукопись. Прочитала несколько страниц Джорджиане (это владелица оригиналов). Она сказала: ну и гад же он был. Я так не думаю. И не знаю, что думать.

С

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Готика

Что ж, начало вполне готическое — развалины аббатства при лунном свете, сомнамбулизм — общение со страшными зверями — заключение в темницу — фамильное проклятие или печать порока — бегство под покровом ночи. Чудовищный родитель, громадного роста (его колоссальная тень на стене прямо заимствована из прославленного готического романа — не могу припомнить, какого именно). Отцеубийство — или мнимое отцеубийство; таинственный преследователь, двойник героя. Томас Медвин, сплетник и отчасти фигляр (поэт несколько раз принимал его в Пизе, и потому он всю жизнь считал себя специалистом

по Байрону), сообщает, что Байрон рассказывал ему о повести, им задуманной или даже написанной: героя преследует некий загадочный недруг, который путает его планы, явно знает всю его подноготную, соблазняет его возлюбленную — и так далее; герой наконец его настигает, в порыве ярости убивает, затем, стянув с него плащ обнаруживает, что этот преследователь — он сам, и умирает от ужаса. Возможно, Медвин краем уха уловил замысел романа и пересказал его с пятого на десятое. В обычном готическом романе все по видимости сверхъестественные события получают вполне рациональное объяснение: все они были подстроены злодеем или превратно истолкованы либо являлись последствиями эпилептического припадка и прочее. (Пока не знаю, как обстоит дело в нашей рукописи, — примечания Ады намекают на отсутствие сверхъестественного начала.) Но затем повествование отбрасывает готический антураж и становится великосветским романом о браке и любовных связях. Такое сочетание выглядит причудливо, но мы присутствуем при зарождении жанра популярного романа — все эти элементы были для жанра новшеством, и Байрон поочередно испытывает их, наряду с другими, насколько мне известно, прежде небывалыми: Али попадает в ситуацию, которая кажется мне уникальной.

Напиши, что ты думаешь по этому поводу.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Кто

Не знаю, что думать — так странен для меня его голос — сочетание небрежности со строгой правильностью — вроде как бы «земной» и вместе с тем воспаряющий. Не знаю, кого я слушаю.

Но мне интересно, что будет дальше — это, пожалуй, и есть главное, верно? И подспудно всегда слышу свой собственный голос: что за человек со мной говорит? Кто он такой, что на самом деле думает? И я не знаю.

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Кто

Что меня завораживает, так это история о лишенном семьи юноше рядом с монструозным отцом — о юноше, не знавшем матери. С Байроном-то все было наоборот — он никогда не знал отца, мать неизменно его любила и подавляла заботой, а это было ему ненавистно — между ними происходили бурные стычки. Во всех его сочинениях (насколько я помню) мало что говорится об отцах и сыновьях — и уж куда меньше о грозных отцах: всяк у Байрона подогнан под самого Байрона. Либо он подавлял в себе подобные чувства, и они вырвались на волю вот в этот один-единственный раз, либо… но предоставим делать выводы дядюшке Зигмунду. Это заставило меня поразмыслить — подобно тебе (возможно, по другим причинам), и я задался вопросом, кого, собственно, слушаю.

Интересно также, что роман строится вокруг неудачного брака, столь схожего с байроновским, — однако причины разрыва лежат в области фантазии — и вина не возлагается ни на одну из сторон — это не его вина, и не ее; виной всему — неумолимый Рок, обличье которого, как мне кажется, я угадываю. Большинству автобиографических романов свойственна иная тенденция: поводы, антипатии, обвинения всюду сохраняют верность действительности, даже если события целиком и полностью вымышлены.

Байрон верил, что Аннабелла предельно правдива и искренна — и что только недобрые женщины из ее окружения вооружили ее против него. Он всегда повторял, что понятия не имеет (хотя и признавал за собой безудержное потакание своим слабостям, приступы меланхолии, периодические вспышки бешенства), почему Аннабелла настояла на разрыве. На самом деле он более чем отчетливо представлял, какие из эпизодов прошлого — его сестра Августа, греческие мальчики, кембриджский хорист — Аннабелла не потерпела бы; однако он не подозревал — и этим

объясняется принятая им поза оскорбленной невинности, — что Аннабелла обо всем хорошо знала. С нею откровенничала Каролина Лэм, а в конечном счете призналась и Августа. И та и другая утаили от Байрона, что выдали его тайны. Аннабелла же помалкивала.

Непохоже на мою историю: полиция, арест, шумиха в газетах. Твоя мать не только была в курсе, но и знала, что это известно всем и каждому. И ты тоже знала — в отличие от Ады, которая годами слышала только свою мать. Ты ведь знаешь, правда?

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Знаю

Знаю. То есть, знаю из того, что читала. Знаю, что законом срок судебного преследования за изнасилование несовершеннолетней ограничен пятнадцатью годами после того, как ребенку исполнится шестнадцать, и этот срок давным-давно истек. Однако на тебя выписано особое распоряжение суда за бегство от правосудия, или как это называется, и, если ты вернешься, тебя арестуют, и неизвестно, что произойдет дальше — может быть, ничего, а может, и что-то. А люди насчет таких дел настроены сейчас куда враждебней, чем даже тогда. Взять все эти истории с мальчиками и священниками. Хотят отменить закон об ограничениях, а также придать такой отмене обратную силу, но это может быть нарушением конституции. Как видишь, я хорошо осведомлена. Читаю новости и представляю, что ты читаешь то же самое и думаешь: какого черта! Потом открываешь сайт Экспедии и заказываешь авиабилет домой. Знаю, что у тебя тоже двойное гражданство, так что паспорт есть. Знаю. Немного размышляла над этим. Годами, как говорится.

Но вот вопросы, на которые ты должен ответить:

1. Когда, по-твоему, он написал эту книгу

2. Почему ты так считаешь

3. Когда он бросил писать (не знаю, каким образом искать указания в письменных источниках, если хотя бы немного не ограничить временные рамки)

С

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Знаю

Хочу ответить на твои новые вопросы, но гораздо больше хочется поведать тебе историю моего неприсутствия в твоей жизни. Когда-то давно я писал тебе письма, но они возвращались ко мне нераспечатанными (кстати, обычно так поступала леди Байрон, желая озадачить тех, кого не могла себе подчинить): писал тебе — десятилетней и тебе — шестнадцатилетней (это письмо должно было дойти вместе с фигуркой яванского дьявола, но, по-видимому, тебе ее не передали). Не на один год я просто-напросто выкинул все это из памяти — и тебя тоже: то есть нечасто о тебе вспоминал на протяжении довольно долгого времени, иначе потребовались бы какие-то поступки, какие-то слова — едва ты появлялась в моем сознании, как я поскорее отворял дверцу, чтобы оттуда тебя выпустить. Я здорово в этом наловчился. К тому же у меня была работа, и она мне нравилась. В моей отрасли у многих есть дети от ранних браков, которых они в глаза не видели: разве что помянут их за выпивкой в конце рабочего дня — как и я сам, — и оттого мне казалось, что в моей истории нет ничего особенного, их эгоизм словно оправдывал мой — или, по крайней мере, обращал его в норму. Те люди были — а иные и остаются — сущими чудовищами себялюбия, подлинными хищниками, акулами и китами эгоизма, по сравнению с которыми я — мелкая рыбешка.

Главное, что удерживало меня вдали от тебя, — это, как ты говоришь, власть закона: раз уж я удрал, то увидеться с тобой не было никакого способа, разве что твоя мать решилась бы бежать вместе со мной, прихватив тебя; однако она, по сути, и была второй силой, которая нас разделяла. Она так негодовала по поводу мной содеянного — или из-за того, в чем я обвинялся, а еще больше из-за моего нежелания остаться и держать ответ, — что ей вовсе не хотелось быть со мной рядом. Предстань я перед судом, процесс совсем не

походил бы на те, какие показывают по телевидению, где мерзавец, прикончивший секретаршу, с которой амурничал, является в зал или предстает перед микрофонами на пару с супругой (темное платье, черные очки) и прихватывает малышей для «поддержки». Такого рода поддержки я не искал и не ожидал. Даже если бы мне ее предложили, мне было бы стыдно ею воспользоваться. Раскаяние дается мне плохо. Сожаление — да; в этом — еще как. Но мне всегда казалось, что публичное покаяние на самом деле в тесном родстве с самооправданием. А я невиновным себя не считаю — и не вижу способа снять с себя вину. Мать Ады сочла бы меня трудным случаем.

Итак, твои детские годы прошли без меня: после того, как тебе исполнилось четыре, я ни разу тебя не видел. И даже позднее, когда память о прошлом потеряла силу (в отличие от статьи закона) и твоя мать, вероятно, прониклась большей терпимостью — в конце концов, ей было известно, что с тех самых пор я вел самый безупречный и даже самоотверженный образ жизни, — она не пожелала привезти тебя со мной увидеться, потому что… — прозвучит невероятно, но иррациональные чувства залегают очень глубоко, иррациональные неприязнь, антипатия и отвращение коренятся ничуть не менее глубоко, чем иррациональная любовь или симпатия, — так вот, твоя мать не хотела, чтобы ты была возле меня на пороге созревания. Не хотела отправить тебя ко мне. Возможно, сама этого она и не сознавала. Хотя я так не думаю. Она находила множество опор для своего неприятия — опор теоретических, со стороны феминисток, с которыми водилась. Точно так же (ладно, признаюсь, подпущу шпильку) леди Байрон находила поддержку для своей враждебности и немилосердия у дам-евангелисток и священников, крутившихся вокруг нее. Собственно, не удивлюсь, если она не испытала даже некоторой радости или облегчения, когда обнаружилось, что ты вообще равнодушна к моему полу. Иные женщины из ее круга прямо-таки ликовали бы, если верить их писаниям: в их галерее отпетых преступников вывешена моя фотография, снабженная тюремным номером. Надеюсь — и хочу верить, — что они не сделали для тебя невозможным когда-нибудь меня полюбить или хотя бы просто проникнуться расположением.

Все, больше писать пока не могу. Напишу потом.

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Любовь

ты что же, думаешь, будто это мама и ее подруги сделали меня лесбиянкой? Не сказал, но подумал? Знаешь, что забавно: мама всегда была самой что ни на есть девчоночьей девчонкой, вот только не на манер барби, а эдакой хипповой богиней луны. Мужчин она не отгоняла — это уж точно. Ты, наверное, и не знаешь. В конце концов, ты все это время ничего не знал о нас обеих. Могу тебе сказать, что на примере Джоуна, а потом Марка она КАЖДЫЙ ДЕНЬ старалась мне показать, как славно жить с настоящим мужчиной, как мило, когда они с тобой правильно обращаются, а ты правильно обращаешься с ними, как они должны хранить ВЕРНОСТЬ и ПРЕДАННОСТЬ, расчищать тебе дорогу от малейших помех, сдувать каждую пылинку и лезть из кожи вон, чтобы с тобой не случилось никакой беды. Я — такая, какая есть, потому что такая. И я знаю, что такое любовь — и какой она должна быть.

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Любовь

Извини. Электронная почта — это ужас что такое. До сих пор не могу привыкнуть. Письмо вылетает из-под пальцев со скоростью мысли (как сказал бы В.), а потом стоит только нажать кнопку — и оно уже отправлено. Если бы мне пришлось вытягивать лист из пишущей машинки, ставить подпись, складывать, искать конверт с маркой, я бы, наверное, его не отослал.

Пытаюсь показать, что совсем не хочу язвить — и вправду не хочу, — а потом говорю разные глупые едкости. Это потому, что ты наконец в Европе, где я могу тебя увидеть, коснуться тебя, — и как раз сейчас у меня нет ни малейшей возможности туда попасть. Почему бы

тебе не взять и не отправиться на восток — немного передохнуть — посмотреть мир — а заодно и со мной повидаться. Ты подошла так близко (примерно на тысячу миль ближе), только чтобы вновь ускользнуть? О деньгах тоже не беспокойся.

Сейчас перечитал письмо — вроде бы все как надо. Итак, отправляю. Правда, я должен добавить -

С любовью,

Л

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: RE: Re: Любовь

Я не питала к тебе ни любви, ни ненависти. Тебя просто не было. Знаешь, у половины детей, подраставших у меня на глазах, родители либо были разведены, либо не состояли в браке, либо отца не было, зато две мамы, либо еще что-то — это было в порядке вещей. Очень многие одного из родителей в жизни не видели и вынужденно толклись с тем, кого не очень-то долюбливали, — с тем, кто был для них «более подходящим». Нормально было спросить: а где твой папа (реже — мама)? Если вместо ответа просто пожимали плечами или отделывались отговорками, настаивать было невежливо: мало ли, кто-то не знает, а кому-то дела нет — незачем и соваться. Да и самой-то не так уж было и интересно. Совсем иначе, если твоего отца то и дело показывают по ТВ — и сам он тут как тут. Во всяком случае, его портрет. И тут же непременно заводят речь о ПРЕСТУПЛЕНИИ, чего ты (то есть я) толком не понимаешь (в раннем детстве), и мамочка тотчас выключает телик и начинает отвлекать внимание: а давай-ка сделаем соломенную куклу! давай почитаем про Пеппи Длинныйчулок! пошли наполним ванну пеной! Из всего этого я усвоила одно: если мне хотелось что-то о тебе узнать — а мне хотелось, — маме об этом сообщать не следовало.

Иногда ты просто должен был стоять рядом — в какие-то минуты я чувствовала, что ты должен быть здесь, но тебя не было — не могу объяснить, но я вовсе

не о важных событиях, вроде выпускного вечера или дней рождения — наверное, и о них тоже, но скорей о делах обыкновенных: пикник у реки, фейерверк или просто какой-нибудь пустяк — нашла мертвого птенца или струя воды из поливальной машины прибивает дорожную пыль, и тогда я твердила: «Мой папа должен быть здесь. Почему папы нет?» Ответа у меня не было.

С

* * * * *

От: lnovak@metrognome.riet.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Соломенная кукла
Алекс,
Я раздавлен. Честно.
Прости. С работой не продвинулся ни вчера, ни сегодня. Вечером вышел выпить сакэ и поесть лапши. Потом выпил еще сакэ. И долго лежал в ванне — почти в кипятке. Может быть, завтра.
Прости.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: RE: Соломенная кукла
Не расстраивайся. В основном это неправда. На самом деле не припомню, чтобы я повторяла: «Почему папы здесь нет?» Просто решила сказать тебе, что повторяла. Ты отсутствовал так прочно и обретался так далеко, что легче было думать, будто так и надо. Когда мне снилось, будто ты вернулся, это всегда вело к разочарованию, сны были путаными, неправильными какими-то, порой и кошмарными. Один я до сих пор помню. Но ты не бери в голову. Знаешь, как врезается в память то, что снится до десяти лет — в точности как реальные воспоминания. Особенно плохие сны. Но наяву я считала, что тебе и положено отсутствовать, а если тебя нет, то все в порядке: мне нравилось, когда все идет

как положено. И до сих пор нравится.

Вот о чем я не знаю — ты когда-нибудь думаешь о той девочке? Я думаю. Думаю о ней. Мне было столько же лет, сколько ей, когда я впервые о ней дозналась (была дотошной исследовательницей, даже тогда). Интересно, что она думала.

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: О ней

Думал ли я о ней когда-нибудь? Я думаю о ней каждый день. Именно так. Повод возникает почти ежедневно — какая-то зацепка, ведущая прямо к ней, даже если со стороны кажется, что не должна: заминка с перечислением денег или с машиной напрокат — да что угодно. И если ничего такого не случается, я все равно о ней думаю. Проигрываю заново тот вечер и вношу правку, чтобы все вышло по-другому. Не задерживаюсь на той вечеринке, а ухожу пораньше. Или напиваюсь и валюсь спать до того, как на нее наткнуться. Или она напивается и засыпает. Появляются ее чертовы идиоты-родители и выпроваживают ее оттуда. Мне удается опомниться. Масса новых концовок — или начал.

Знаешь, я недавно прочитал воспоминания человека, служившего офицером во французской армии в одной из колониальных войн. (Часто читаю необычные книги не без умысла. Как и ты — для работы. В этом мы с тобой сходимся.) Он пишет, как с отрядом целый день осаждал какое-то поселение в Северной Африке — возможно, берберское, не помню. При численном превосходстве противника потери отряда были значительны, однако в итоге противник дрогнул и отступил, оставив поселение французам. Офицер вспоминает, как он проходил сквозь дым сожженного базара и по пустым улицам — взбудораженный, сжимая окровавленную саблю; как в одной хибаре он распахнул занавески и обнаружил совсем юную девочку, одинокую, перепуганную и (подумалось ему) ясно сознающую, что с ней станется в руках победителей; далее офицер говорит, что именно ее униженность и осведомленность при полной невинности толкнули его к насилию — он не мог поступить иначе,

словно обуянный богом войны после выигранной битвы. И, кажется, я впервые понял, что такое насилие на войне и ярость борьбы. Я не так давно был вблизи от театра военных действий, видел все последствия, и думаю, что я прав.

Незадолго до той голливудской вечеринки 1978 года я оказался вознесен на высоту, где царила обстановка, непохожая на все, что мне доводилось встречать: я, конечно же, знал о ней — где угодно мог прочитать, — однако ничего подобного в жизни не испытывал. Вокруг были люди, настолько самовлюбленные, обладающие таким богатством и окруженные таким всеобщим вниманием и почетом (порой даже заслуженным), что они словно бы освободились от необходимости о чем-то заботиться, о чем-то жалеть или что-то исправлять. Иным, разумеется, была присуща и одухотворенность, хотя это означало только, что они свято верят, будто все в мире устроено наилучшим образом и никому из тех, кого они знают лично, — а уж им самим и подавно — неудача не грозит. Слово «неудача» вообще не входило в их лексикон. Если я говорил им всякие подходящие слова, они сулили запросто продвинуть мои проекты. Стоило мне заикнуться, что неплохо бы разузнать, нельзя ли снять фильм в Непале — о буддизме и о горах, собрав исполнителей только из непальцев, однако на главную роль взять вот это легендарное чудо-юдо, которое раскинулось передо мной на кожаном диване, мой собеседник поддакивал: а почему бы и нет. Слово скажи, и все получится.

И так я внезапно обрел полную раскрепощенность, свободу от любых ограничений — не только моральных, но и физических, как если бы я вышел за пределы, установленные биологией. Подстегивали это ощущение, конечно, и наркотики — причем в изобилии. И потом, было поздно, происходило это в громадных апартаментах с широкими окнами на Лос-Анджелес (тебе наверняка знаком этот вид: ты сама там побывала, насколько мне известно), простиравшийся внизу, словно ты оказался в высоченной башне или на космическом корабле. И этот ребенок. И мне подумалось: я могу делать, что вздумается, — худа не будет. Это-то и будоражило.

Могу сказать тебе начистоту, что я ее не насиловал — если понимать под этим принуждение к нежеланному

сексу. Я даже был не единственным, кто вступил с ней в связь, если это можно так назвать, той ночью и наутро. Она бродила по всему дому, подобно Алисе, переходя из «эпизода» в «эпизод», как мы это называли тогда, словно они были воображаемыми или нереальными. Осведомленность и невинность; вижу как сейчас: ее глаза разом вбирают все и в то же время словно бы слепы. Нет, единственным я не был. Но именно у меня она взяла бумажник, с которым ее позже и нашли, в другой части города. Итак, мне единственному смогли предъявить обвинение, когда за ней явились наконец ее невыносимые родители. Не знаю, что она на самом деле думала, тогда и потом. Нет оснований верить ее показаниям в полиции больше, чем тому, что она говорила мне. Ты наверняка не поверила бы и тому и другому.

Не думал, что сумею написать такой длинный мейл. Было нелегко. Надо остановиться.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: RE: О ней
Ли,
История интересная.
Ты найдешь возможность ответить на мои вопросы?

С

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема:

Хорошо. Ни слова больше, если так. Только ответы. Все, что знаю.

Думаю, что Ада была права: Байрон взялся за роман на вилле Диодати в Швейцарии и продолжил работу в последующие месяцы — бросал и принимался снова — это вполне вероятно ввиду причин, угаданных Адой:

рукопись временами отражает события, происходившие тогда в его жизни, — сначала супружеский разрыв (или Разрыв, как позднее всюду стали его именовать, словно он был единственным на свете — или сделался образцом), который только что был доведен до конца; затем Венеция — и связь с карбонариями.

Обстоятельства таковы:

Во-первых, Мэри Шелли бросила вызов, который заставил Байрона задуматься о прозе и романтических повестях. Далее, как раз тогда ему нанес визит Мэтью Грегори Льюис, «Монах» Льюис — автор самого успешного из всех готических романов, «Монаха». Льюис был весельчак, давний приятель Байрона — и тот неизменно радовался встречам с ним; Льюис обладал немалым состоянием благодаря не литературным гонорарам, а доходам со своих сахарных плантаций в Вест-Индии (по-нашему, на Карибских островах), где имел большое количество рабов. (Байрону вовсе не требовалось заимствовать зомби у Саути, как предположила Ада; он мог узнать о них у Льюиса, который наверняка очень ими интересовался). Возможно, тут сказались долгие разговоры с Шелли, но Байрон, воспользовавшись случаем, убедил Льюиса во время его визита добавить к завещанию кодицил, согласно которому выделялся капитал для смягчения жизненных условий невольников и освобождения хотя бы части рабов по смерти владельца. Вообрази эти переговоры — да ладно тебе, Льюис, почему бы не освободить сразу всех? — а в итоге Шелли с Байроном засвидетельствовали подпись на завещании.

Итак, мысли Байрона занимали рабы и Вест-Индия.

Кроме того, известно, что примерно в то время ему прислали трехтомный роман Каролины Лэм, о котором я уже писал. Назывался он «Гленарвон» — и раскупался нарасхват. Итак, Байрон читал — мы знаем, что читал, — беллетристическое повествование о себе самом: он был изображен в обличье омерзительного/ ослепительного лорда Гленарвона, повинного в бесчисленных злодеяниях, а Каролина воплотилась в образе невинной и незапятнанной Каланты. Вот что он писал Томасу Муру — своему другу, а позднее биографу: «Мне думается, что если бы сочинительница написала правду и только правду — всю правду, — роман получился бы не только романтичнее, но и занимательнее». Так что, не

исключено, Байрон над этим раздумывал и решил вновь попытать силы в прозаическом роде, создать собственный roman àclef[42] — но ближе к своему природному складу, каким он себе его представлял, и к истории собственных похождений.

Продолжу потом.

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Призрачный роман

А. — Так — продолжаю читать — видишь, как усердно я для тебя стараюсь, к тому же во время отпуска — Короче, читаю Маршана, крупного биографа Б. — и вот он тут пишет — в сентябре 1816-го, именно там и тогда, как затеялись истории Шелли/Полидори, — что «Байрон начал прозаическую повесть — слегка затушеванную аллегорию своих матримониальных дел, но, узнав, что леди Байрон больна, бросил рукопись в огонь».!!! Никаких пояснений, откуда Маршану об этом известно.

Итак, возможно, что рукопись в огонь Байрон не бросал. Собирался. Подумывал, что следовало бы. Но не бросил. Вот такое соображение.

Ли

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Точка

Алекс,

Так — 3: когда Байрон поставил точку.

Когда он окончательно отложил рукопись, сказать не могу, но задаюсь вопросом, не имеет ли это отношения к его знакомству с ироикомической эпопеей поэта по имени Фрир, который подписывался как «Уильям и Роберт Уислкрафты» — редкий случай двойного псевдонима. (Ты, должно быть, заметила лаконичный

комплимент ему на страницах, отведенных Испании, где он действительно состоял британским консулом). «Эпопея» Фрира представляла собой поэму, написанную ottava rima[43] — той самой строфой, какую Байрон использует в «Дон-Жуане»: как и другие поэмы подобного рода, она изобилует шуточными рифмами в стиле Огдена Нэша и насмешками над всякого рода претенциозностью. Фрир взял за основу стиль венецианских остроумцев — таких, как Пульчи, которого Байрон читал по-итальянски. Поэму Фрира прислал Байрону его издатель, назвав ее замечательной и виртуозной; Байрон согласился, что поэма замечательная, однако ничуть не виртуозная, и за несколько дней написал «Беппо». («За несколько дней» — это по словам Байрона; он всегда старался предельно умалять свои творческие усилия.) Вот и результат: открылся путь к «Дон-Жуану» — поэме, которая вобрала все пережитое Байроном. Вероятно, он почувствовал, что нашел способ воплотить то же, что и в романе, только гораздо лучше, в полную силу своего таланта, и потому бросил работу над рукописью. Каким бы чудесным мне ни представлялся ДЖ, я, однако, не в силах долго его читать в один присест. Мне бы хотелось, чтобы Байрон закончил этот, прозаический роман — если он не завершен, — а потом взялся бы за новый, еще более удачный, а потом еще за один. «Дон-Жуан» — это sui generis[44], но в ту эпоху длинная повествовательная поэма уже выдыхалась, а жанр романа набирал силы. Вообрази — Байрона читали бы сегодня, как Джейн Остин. Ну и ладно.

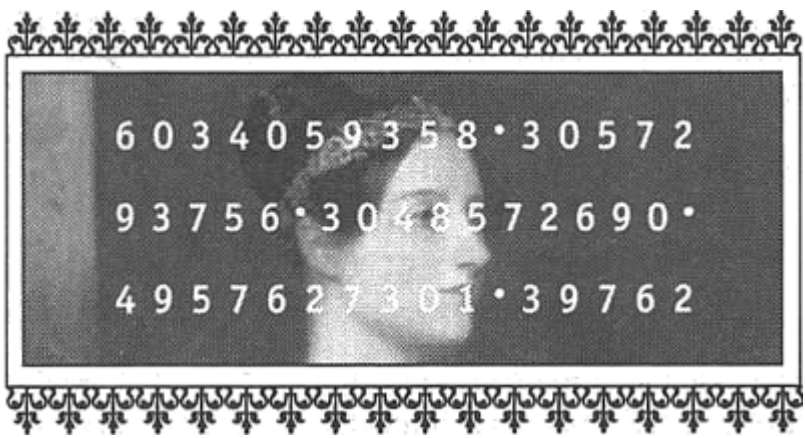
Не знаю, когда именно Байрон решил, что его творение не может увидеть свет, но решение это явно продиктовано откровенностью и (как выражаемся мы, литературоведы) непосредственностью в описании его супружества. Используя факты собственной биографии и биографий окружающих, он знал, как их преобразовать — сохранить суть, но не связь. Задача была нелегкой, и он немало был ею озабочен: ты, наверное, обратила внимание на эпиграф к ДЖ, взятый из Горация: «Difficile est proprie communia dicere» — «Трудно говорить хорошо об обычных вещах» — о том, что объединяет всех нас. Так оно и есть. Обращаясь к Байрону, читатели искали в нем НЕобычного и НЕпривычного, доброго или дурного. Но он-то считал, что состоит из domestica facta[45], как и

всякий другой.

Алекс, электронная переписка меня утомляет. Хочется чего-то большего, чем наш эпистолярный роман. Ты размышляла над моим предложением? Возможно, ты предпочтешь направиться в другую сторону — на запад, а не на восток, — а до меня из разных источников доходят слухи, что мне, наверное, вскоре предстоит поехать на Новую Гвинею, которая лежит так далеко на востоке, что это уже почти запад. И к тому же я опасаюсь — не столько тебя, сколько прошлого, и времени, и, быть может, собственной несообразности, — но все же не отказываюсь от надежд. Должно же быть что-то для нас впереди. Это зависит скорее от тебя, чем от меня, но если я могу что-то сделать — думаю, ты должна мне об этом сообщить.

Всей душой,

Ли



Глава двенадцатая, *содержащая возвращение к Началу, насколько это возможно*

На побережье Эпира, в порту Салора, в полдневные часы рыбаки чинят сети или же вместо того дремлют в тени перевернутой лодки, покуривают трубки и возносят молитвы одному Божеству либо нескольким (по меньшей мере — Аллаху и Деве Марии), дабы избежать любого гнева свыше. Их прародители поступали точно также и возлагали жертвоприношения равными долями на разные Алтари. Однажды к этому побережью, распростертому под голубым куполом, — к побережью, мало отличимому от прочих (Корабли появляются здесь редко, и еще реже ступают на берег те, кто незнаком здешним рыбакам), — причаливает лодка, с которой сходит на берег молодой человек, — он одет по-европейски, однако обращается с приветствием на албанском языке (хотя и запинаясь), а не на языке Неверных. Рыбаки отвечают, но юноша как будто не слышит ничего — он оглядывается по сторонам, словно только очнулся ото Сна и не вполне убежден, вправду ли вокруг него существует осязаемый мир. Зачем он здесь? Он намерен, сообщает юноша — скорее самому себе, для собственных ушей — совершить путешествие на север, в страну жителей Охриды, — ему нужен проводник, два-три спутника, лошади — и рыбаки направляют его туда, где можно об этом сторговаться. Больше юноша не показывается — но едва проходит день, как рыбаков вызывает из праздности новое диво: другой молодой человек, также в европейской одежде, вступает на их забытый берег — и задает вопросы, Ответы на которые рыбакам известны — хотя они и переглядываются в изумлении, — а когда юноша скрывается, немногие христиане в растерянности осеняют себя крестом, словно их посетило сверхъестественное существо.

Первым из этих незнакомцев был, разумеется, наш Али: сюда, на этот полуостров — на землю Эллады — он добрался, полгода спустя, дилижансами — как к последнему месту назначения, определенному Судьбой. Покинув английский берег вследствие своего слишком успешно исполненного долга на поле Чести, он высадился поначалу на побережье Франции, где в стылой комнатке самой захудалой Гостиницы написал письмо Катарине и Уне: он желал довести до сведения Супруги, что оборонял свое имя от клеветы, в суть которой не станет ее посвящать, и к чему

это привело; Дочери он хотел передать, что, хотя они и не виделись, его любовь к ней нескончаема и когда-нибудь он снова обнимет ее и поцелует. Далее Али передал мистеру Пайперу все наивозможные Полномочия и» Права, какие только сумел измыслить — не имея под рукой свода Законов, — с тем, чтобы добыть от Банкиров и Посредников средства, необходимые для длительного путешествия, — он уже тогда замыслил отправиться в дальний путь, не зная, когда из него вернется, — если странствия будут ограничены бренным сроком, то, видимо, не затянутся, — так думал Али, поскольку свеча его угасала, а дыхание таяло в воздухе дымком.

Выехав из Франции верхом, он в одиночку миновал Нидерланды и, почти незаметно для себя, оказался на поле Битвы, отмеченном Монументом, а еще более — богатым Урожаем, который был вскормлен разложением тел, столь щедро разбросанных тут не столь давно. Ватерлоо! Я не стану вновь чтить твою память — и того человека (бывшего и чем-то большим, и меньшим, нежели обычный Человек), который швырнул все приобретенное им для Человечества на этот зеленый стол только для того, чтобы добычу выхватили другие Игроки — единственная рискованная Ставка, им проигранная! Али погрузился в размышления, ненадолго оторвавшись от мыслей о собственном уделе ради мыслей об уделе Людского Рода, и ему пришло в голову — это не было продиктовано ни Гордостью, ни Тщеславием, а всего лишь минутной прихотью, — что вся разница между ним и тем великим человеком состоит в том, что он растратил меньшее богатство, но чувство вины от этого испытывает не меньшее. Али не «поразил тысячи» и уж тем более не «десятки тысяч» — он сразил своею рукой одного-единственного человека — однако же *nos turba*[46], и один или двое из числа смертных — уже множество, и, когда кровь льется потоком, страдания одного, кому они даются по его силам, не уступают страданиям многих — правило умножения здесь не действует, ибо каждый из нас страдает и умирает в одиночку, хотя возрастаем и процветаем мы совместно — спросите у индийского гимнософиста, как это возможно — но это так!

Али покинул поле сражения — пересек Рейн — взошел на Альпы — видел Лавину — стремительный горный поток — Глетчер, — но, поскольку среди этих картин оставался самим собой, не отдаваясь им Душой, то не обрел чаемого спокойствия. Передвигаясь таким образом — то в седле, то на корабле, то пешком, — он добрался наконец до берегов, мной описанных, — до *дома*: слово, неведомое ему ни на одном языке и ничего не говорившее его сердцу.

Али отправился из Салоры с несколькими сопровождающими — и провел немало дней в седле, ночуя где придется и питаясь чем попало (и то и другое мало его заботило), прежде чем веяние ветерка, клочки облаков, неподатливость почвы пробудили в нем дремавшие до того чувства. Однажды вечером над Али, как если бы небесные мстители преследовали его от прежнего жилища, простерлась громадная серая туча, и он ощутил на заросшем бородою лице ледяное дуновение, пронизывавшее его до костей на Солсберийской равнине. Едва он нашел кое-какое укрытие на старом турецком кладбище, как буря разразилась с невиданной силой — хлестал ливень, а раскаты грома гремели величественно и грозно, словно Господь корил Иова, напоминая тому о его малости и о всемогуществе Создателя. Когда грандиозная вспышка молнии озарила надгробия и когтистые ветви деревьев, Али увидел перед собой (или же так ему почудилось) еще одну, чужую фигуру — не из числа его спутников — фигуру Разбойника или Грабителя, хоть они и не действуют в одиночку — но при следующей вспышке ее и след простыл!

В Янине Али расплатился и распрощался со своим драгоманом и со слугами, снял европейское платье и вместо него облачился в туземное одеяние. Заткнул за широкий кожаный пояс меч, когда-то подаренный ему пашой, — меч, привезенный из Англии, теперь далекой и неосязаемой, будто сновидение. Далее Али пустился в путь один и поднялся с равнины к подножию албанских гор, очутившись в один из вечеров на перевале, откуда открывался вид на Столицу того самого паши, которому он когда-то служил и чей меч носил на поясе. Закатное солнце золотило минареты, недвижный воздух отдавал тленом, каменистая дорога оставалась той же, что и прежде, — но сам город переменился. Владычество паши подошло к концу — и там, где некогда в ожидании его Милостей собирались толпы просителей — где в темных накидках расхаживали турки, доставлявшие послания от султана, — где сновали чернокожие рабы и выступали покрытые попонами кони под мерную дробь огромных Барабанов и выкрики мальчиков с Минарета, — теперь царило безмолвие, внутренние дворы пустовали, и лишь кое-где торчали мнимые калеки, слишком обнищавшие или слишком ленивые, чтобы подыскать себе иное занятие, да ковыляли хромые клячи — и это там, где некогда высоко вскидывали головы и позвякивали упряжью 200 иноходцев паши!

Али недолго задержался там, чтобы поразмыслить над бренностью земного великолепия. Он переменил лошадь, навьючил корзины с поклажей и отправился дальше в одиночестве — к обагренным вершинам за чертой города; по

ночам, завернувшись в плащ, спал на земле, если не удавалось выпросить приюта где-нибудь в Сарае или Хлеву; продвигался вперед и вперед, пока, сам не зная, по каким приметам, — не встретив ничего знакомого, ни поворота, ни памятной вершины или разлога, ни поселения, — не почувствовал вдруг, что оказался на родных холмах! Однако это были уж не те холмы — ибо «нельзя вступить в одну и ту же реку дважды»: река уже иная, и мы не те, что прежде. Али тщетно вглядывался в себя, стараясь найти того мальчика, который некогда бродил здесь, под этим небом нарывался на приключения, любил, дрался, ел и спал, — но он пропал бесследно. Взрослый человек — чьи мысли, даже если он обращается к своей душе, звучат по-английски, — обводит взглядом голые камни и безжизненные уступы и думает: как безрадостно все, что меня окружает! — Но с какой неистовой силой притягивают Али родные места! Спускаясь на равнину по склону, образованному потоком и заваленному камнями, Али размышлял: «Там я бродил… Там пас стадо… Там, в давно заброшенной крепости, укрывался от грозы… А там — там…» Но при этом он даже мысленно не называл имени той единственной, которая бродила вместе с ним, однако в груди у него таилось это имя, как во чреве женщины таится Дитя — и точно так же оно росло и крепло.

Али спустился по склону в кедровую рощу, где ожидал (хотя и не мог в том признаться) увидеть источник чистой воды — не тяжелой воды, как говорят албанцы, но легкой: они способны определить воду на вкус с той же тонкостью, с какой знаток распознает различные сорта Кларета. Источник оказался на месте, прикрытый пирамидкой из камней, — приблизившись, Али стал незамеченным свидетелем перепалки мужчин и женщин, стоявших по берегам ручья. Путник уяснил, что пререкания шли вокруг права брать воду: мужчины запрещали женщинам приближаться к источнику, а те возражали — громко и поистине мужественно, так что скорого разрешения Спора не предвиделось; но тут появился Юноша — лицо его, во всяком случае, было еще безбородым — с длинным ружьем и пистолетом, заткнутым за пояс. Али заметил, что женщины приободрились, а мужчины растерялись — кратким словом и взмахом руки юноша прекратил Дебаты; мужчины (не без сердитых выкриков и воинственных жестов) удалились, позволив женщинам наполнять кувшины. Юноша стоял поодаль, словно наблюдая за ними, — ружье он вскинул на плечо, придерживая приклад ладонью, как обычно поступают с длинноствольным оружием албанцы.

Когда женщины, водрузив кувшины на головы, отправились по тропе восвояси, Али двинулся к юноше — тот обратился к

незнакомцу с приветствием — и Али утратил дар речи.

Красота присуща не одному лишь прекрасному полу — исход спора в пользу женщины не был бы предрешен, выступи судьей некий Тиресий, обладающий богатым опытом и наметанным глазом. Но вот смешение двух родов красоты встречается редко — причем красоту оно не приумножает, а губит, как мужскую, так и женскую — последнюю в особенности. Щекотливый, бесспорно, вопрос, но Али им не задавался: с первого взгляда он понял, что перед ним стоит девушка — причем красавица — и такая, что его сразила немота и слова приветствия замерли на устах. Девушка, нимало не смущенная, отстранила ружье и дружески протянула Али правую руку, как сделал бы всякий мужчина при встрече с незнакомцем — открыто и спокойно, окидывая его хладнокровным изучающим взглядом — тем самым, какой старались усвоить все мальчики и все Юноши, которых Али знавал на службе у старого паши. И все же она, как и Али, замолчала, когда он подошел к ней вплотную, — молчание ее было вопрошающим — хотя и по иной причине, нежели у Али.

«Странник, я тебя знаю?» — спросила наконец Дева-Юноша голосом, приглушенным от догадки, о которой Али и не подозревал.

«Думаю, что нет, — ответил Али. — Хотя в давние годы я жил здесь, но долгое время отсутствовал, и человек, которого ты перед собой видишь, совсем не тот, кем я был тогда».

«Да-да! — подхватила она. — Не тот человек — и я тоже не была прежде той, кого ты перед собой видишь. Назови мне свое имя».

«Меня зовут Али».

«Что ж, тогда, — произнесла девушка и села, словно не могла устоять и ноги ее подкосились. — Тогда я не стану называть себя — нет, не стану!»

Ей и не нужно было называть своего имени, которое ты, Читатель, угадал страницей-другой раньше, — Али отстал от тебя в сообразительности, поскольку не знал (да и не мог знать), какого рода повести стал персонажем, но что тебе наверняка известно! Однако догадка забрезжила у Али в сознании — он тоже опустился рядом с женщиной-воином, устремил взгляд на нее — и не в силах был вымолвить ни слова.

Согласно утверждениям — или предположениям — древних авторов, легендарные Амазонки обитали в краях, именуемых ныне Албанией, и старик Эвгемер, случись ему разбирать этот вопрос, предположил бы, что рассказы о воинственных женщинах, восходящие, насколько мне известно, к Гесиоду, возникли на основе здешних обычаев. Коль скоро у этого сурового народа все

не черное считается белым, а все не женское — мужским, Женщина во всем подвластна Мужчине: при необходимости она — вьючное животное, а при рождении — Товар, продаваемый будущему мужу, едва только ее отлучат от груди, за столько-то «пара» — мелких монет наличными, остаток же уплачивается с передачей из рук в руки по достижении девушкой подходящего возраста. (Некогда на столь же холодном расчете основывались браки Царственных Особ: возможно, так продолжается и теперь — хотя у британских монархов взаимная симпатия и перевешивала все прочие соображения.) Брачные узы, заключенные в пеленках, не могут быть расторгнуты по достижении совершеннолетия: отвергнутая Супруга или Супруг пятнают честь семьи, и оскорбление должно быть смыто кровью. И все же (молю читателя о терпении — суть моей Проповеди прояснится, а тем временем Али и девушка в мужском одеянии так и взирают друг на друга в изумлении) — могло случиться так, что девушка по достижении брачного возраста отказывалась выйти замуж за уготованного ей мужа. Если она выказывала непреклонную решимость и храбро противилась любому нажиму, пренебрегая даже угрозами для жизни, ее порой прощали — но с одним непременным условием: отрекшись от суженого и от готового принять ее дома, упомянутого в договоре, она перед Советом Старейшин давала торжественную клятву, что не вступит в союз никогда и ни с кем! Теперь — навеки оставаясь незамужней, никому не подчиненной и независимой — она не вправе считаться женщиной и должна сделаться Мужчиной — поскольку быть никем ей нельзя. Ее одежда, повадка, оружие, обязанности, которые она выполняет (или от которых уклоняется), лошадь — все должно стать мужским: для всякого глаза она обязана следовать мужской природе — и горе той, кто об этом забудет! — за ее жизнью ревниво следит не один дом, а два — да и сама Дева не безоружна!

В памяти Али вдруг всплыл этот диковинный устой жизни: ему вспомнилась старуха, которую он знал ребенком, — жившая одиноко, без мужа, точно Монахиня, — и он понял не только что за девушка перед ним, но и кто она такая.

«Иман! — выдохнул он. — Это ты!»

Тут Иман отворачивается, словно устыдившись, что Али застал ее в таком виде, — хотя наедине с собой она была воплощением горделивого довольства и взирала на мир, словно он ей принадлежал. Но тотчас Иман вскидывает голову и взглядывает на Али — она первой распознала его, товарища детских лет, — и смеется — так он переменился — Али смеется в ответ — и говорит, что в сердце и мыслях у него она по-прежнему

Дитя — точно такая, какой он видел ее в последний раз, — Иман отвечает тем же — теперь им необходимо подольше всмотреться в глаза и губы, руки и волосы — в облик, знакомый издавна, и в облик новый, доселе незнакомый, — язык им не повинуется, хотя сказать нужно многое. Наконец Иман робким и нежным движением — теперь от ее мужественности не осталось и следа — заворачивает свободно висящий рукав Али, чтобы увидеть давний памятный знак. Потом закатывает и свой рукав: у нее на руке точно такая же отметка, изображенная ею самой словно бы наугад, по памяти, кое-как — но точно такая же. И тогда годы, их разделившие, исчезают, будто их и не было вовсе, и оба становятся теми, кем были, — единой душой на два существа, без препон и преград! Однако, когда Али тянется к руке, которую прежде почти не выпускал из своей, Иман отстраняется, словно почуяв опасность.

«Расскажи, — просит Али, — жив ли наш престарелый дедушка? Расскажи мне, что с тобой происходило, почему ты стала такой. Разве некому было тебя опекать?»

«Дедушка умер, — отвечает Иман. — Умер давно — я покажу тебе, где он лежит. Он не переставал горевать по тебе. Пока он не умер, мне позволялось жить одной и ухаживать за ним, но потом старейшины задумали выдать меня замуж — за старого Вдовца, нуждавшегося в Служанке, — а я отказалась».

Отведенная в жилище Вдовца, Иман отвергла его притязания — боролась с ним свирепее тигра (уж Али-то знал, как) — и при малейшей возможности убежала на Пустошь, не думая, останется жива или нет. Пойманная соплеменниками, она в яростной решимости сражалась и с ними: клялась, что, если ее вернут к назначенному fiancé[47], она убежит снова, или ночью перережет ему горло, или наделает еще много дел — каких именно, в точности она и сама не знала, но только они станут «ужасом земли». Во избежание побега Иман связали кожаными ремнями, однако она перегрызла узы и убежала вновь — была снова схвачена — и тогда, не заручившись ничьей поддержкой, потребовала разрешения принести обет Целомудрия — тот самый, что предусмотрен законами.

«Ты настолько ненавидела этого старика, что пожертвовала всем, лишь бы избавиться от его притязаний?» — спросил Али — Иман же ответила, что не питала ненависти к нему — ни к другим мужчинам — нет-нет — причиной тому была не ненависть, — тут она опустила глаза и натянула капюшон пониже, чтобы он не увидел ее лица.

Так она не любила ни разу? Прожила все эти годы — Весну своей жизни — в отречении от мира, подобно монахине? Неужели

ни один Юноша из числа тех, кто сторожит стада, или разъезжает верхом на службе у паши, или охотится на Кабана, не заставил ее сожалеть о своем поступке, о сделанном ею выборе? «Что ты, о каком выборе? — воскликнула Иман. — Выбор у меня был невелик — либо жить с нелюбимым, либо умереть. Я решила не умирать — вот и все — и вот…» Она вскинула голову, и на губах у нее заиграла улыбка, а в глазах вспыхнули огоньки: «И вот, я разъезжаю верхом, я охочусь, я имею слово в Совете. Разве этого мало? Больше любви — или нет? Скажи мне».

«Немногое известно мне о любви, — отвечал Али, — разве что ее цена — не знаю, что можно взять за нее взамен. Иман! Теперь, когда я нашел тебя — а ты меня, — я вижу, что ты потеряна для меня столь же безвозвратно, как если бы я и не возвращался из той проклятой страны, куда меня отвезли!»

Иман молчала — она выпрямилась, побудив и Али встать с места. Проникновенная нежность выразилась в ее чертах, а глаза, устремленные на него, наполнила неизбывная печаль: этот взгляд — было единственное, что в ней нисколько не переменилось. «Пойдем, — произнесла она. — Я отведу тебя в Совет, и мои собратья радушно тебя примут: ведь ты почитался мертвым — и вот вернулся. Не спрашивай больше ни о чем!»

Молчанием встретили возвращение Блудного Сына суровые Пастухи: когда Али объявил свое имя, большинство из них не выразило никакой радости — но и неодобрения тоже — один без улыбки протянул ему руку — другой с любопытством осмотрел его лошадь, поклажу (что там внутри?) и попросил показать меч, знак былой милости прежнего паши, — а третий отвернулся, не ответив на Приветствие — по той же самой причине: Али (как он слышал) состоял в воинстве у паши, который истребил весь его род. Али попытался описать им свои похождения среди Неверных, но они мало что поняли из рассказа — посмеялись, сочтя все шуткой или блажью, — скоро им наскучило нагромождение небылиц, в которых они Али заподозрили, — и на том он с ними расстался. Тем не менее права Али в Совете никто не оспаривал — ему подыскали кров и (когда ладони его загрубеют) обещали найти работу.

С Иман, конечно же, дело обстояло иначе — с ней он словно бы открыл книгу, давным-давно захлопнутую и закрытую на застежки, — книгу времен ранней юности; иные страницы он забыл или превратно запомнил — иные до сих пор знал наизусть. Али с Иман, как бывало прежде, лежали рядом в тенистой долине, вслушиваясь в сонное полуденное безмолвие — и припоминали, какие чувства переживали тогда, не умея их назвать. Али ощущал, как в душе у него пробиваются давно

заглохшие прозрачно-чистые ручьи. Теперь-то он знал, как их назвать, — и знал, куда некогда они готовы были устремиться, — знала об этом и Иман — но теперь обоюдное целомудрие береглось данным ею обетом, как прежде — детской Невинностью: их наполнял прежний восторг, не находивший выхода. Рука Иман касалась руки Али — и тут же отдергивалась — она отводила глаза — сохраняя на лице улыбку, — Али вздыхал и отворачивался — они должны были избегать уединения — и оба понимали это.

Едва лишь обнаружилось (и довольно скоро), что Али не желал ничего другого, как только быть возле Иман, — что переменилась и она — и не желала ничего другого, как только будить его по утрам, скакать верхом рядом с ним в полдень и вместе с ним веселиться по вечерам, как настроения среди соплеменников начали омрачаться. Вспомнились рассказы о том, как в детстве они были неразлучны, — у Источника и близ Очага за ними следили столь же пристально и подозрительно, что и за парочкой в шелках и бархате, шушукающейся на лондонских или батских Балах-маскарадах, — и даже куда придирчивей, поскольку здешние последствия могли оказаться еще более роковыми, а расплата гораздо суровей: тут каждый заранее видел себя Палачом — рука бралась за оружие с той же легкостью, что и губы раздвигались в улыбке. Однако у наций, именуемых цивилизованными, виселица карает совместное прегрешение только тех, кто на самом деле принадлежит к одному полу, независимо от одежды и внешнего убранства — здесь же властвует Закон иной. В этом исхоженном вдоль и поперек безлесном краю среди множества удобных местечек нельзя найти ни одного, где влюбленным удалось бы избежать недреманного Ока, — стоило Иман и Али уединиться, дабы излить друг другу сердце, спустя час-другой словно бы невзначай вблизи появлялся наблюдатель, проходивший мимо с напускным равнодушием и все же бравший на заметку малейшие подробности сомнительного свидания. Вскоре это сделалось для них невыносимым — они, составляя друг для друга целый мир, не в силах были избавиться от мирского глаза!

«Что же, тогда я уйду, — заявил наконец Али. — На тебя я навлекаю одну только опасность. Лучше, если мы расстанемся — будем, как прежде, в разлуке! — лишь бы ты не погибла из-за меня».

«И уходи! — вскричала Иман, вскочив на ноги. — Нашел меня — а теперь оставь! Но знай, для меня это равносильно смерти!»

«Для меня тоже — но ты живи — будь, чем была, — отпусти

меня и прости!»

«Ты боишься смерти? Я — нет!» С этими словами Иман выхватила из-за пояса пистолет — готовая (в чем Али не сомневался) покончить сначала с ним, а потом с собой — абсолютистка, подобно всем ее соплеменникам! Однако она позволила Али мягко отнять у нее оружие — и, будто девочка, расплакалась у него на груди.

«Иман! — заговорил снова Али. — Если ты бросаешь вызов смерти — крепче держись за жизнь — для этого потребна не меньшая Отвага, — зато и награда, коль ее завоюешь, — куда щедрее мрака и погребального Костра».

«На что дерзнешь ты — дерзну и я, — воскликнула Иман, и ее темные глаза зажглись тигриной отвагой и решимостью. — Можешь на меня положиться!»

«Я всегда был в тебе уверен, — отвечал Али, — и всегда буду. А теперь вперед!»

Так обстояло дело, когда Али открыто объявил о своем желании обратиться к Совету Старейшин клана, который разрешал важные споры и выносил суждения по всем вопросам. На обращение Али ответили не сразу, но, после некоторых колебаний, согласились его рассмотреть — и спустя какое-то время, по прибытии из дальних сторон важных представителей, Совет должным образом был созван. В собрании вскоре воцарилась надлежащая Торжественность — и после того, как в сосредоточенном молчании было выкурено по трубке, Али дали слово. Али начал с самых восторженных похвал присутствующим, какие только смог восстановить в памяти на родном языке, а затем принес Их Превосходительствам нижайшие извинения за то, что не предстал перед ними раньше, дабы выказать свое послушание, — речь его была выслушана с полнейшей невозмутимостью, приличествующей особам с чувством собственного достоинства. Далее Али предложил устроить в честь своего прибытия праздник — столь громкое заявление вызвало у некоторых слушателей смешки — или скорее в честь своего возвращения домой, к своему народу, чтобы уж никогда более не пускаться в скитания (тут он, окинув взглядом всех присутствующих, задержался на Иман, которая сохраняла полную серьезность). Для пиршества, сказал Али, будет доставлено все необходимое, причем полностью за его Счет: это замечание было встречено одобрительно, и собравшиеся, один за другим, выразили свое согласие. Расходясь, старейшины благосклонно кивали Али и улыбались; для пиршества был назначен благоприятный день, хотя в это время года все дни выглядели одинаково благоприятными; снова — в знак полного единодушия

— раскурили трубки и несколько раз выстрелили в безоблачно-голубое небо.

Обычно считается, что наши порочные пристрастия несхожи с пристрастиями Мусульман: приверженцы ислама избегают крепких напитков, предпочитая трубку и Мальчиков, тогда как мы неравнодушны к бутылке и Девицам — но это мнение справедливо только отчасти. Во владениях Султана и в краях Правоверных есть немало стран и народов — и хотя в пределах Албании выпивка встречается не повсеместно, обитатели этой земли называют себя самыми отъявленными бражниками из всех последователей Пророка и способны осушать емкости ловчее многих — пока не покажется дно бочки. Али пришлось пуститься на поиски — хотя и недолгие, — чтобы запастись достаточным для затеянного Праздника количеством бурдюков с вином и сосудов с ракией: так албанцы называют местный Бренди. Пиршество по необходимости устраивалось alfresco[48], поскольку для всей общины нельзя было найти достаточно просторного помещения, да к тому же на открытом воздухе удобнее стрелять из ружей: там пороха не жалели. Приглашены были все — за исключением тех, кто состоял в кровной вражде, — то есть все, кто в эти недолгие часы готов бьш поклясться, что будет палить только в воздух: под «всеми» подразумевались, естественно, мужчины, в число которых входила и Иман.

«Не пей ничего — делай только вид, — мимоходом, словно невзначай, шепнул Али Иман. — Я тоже не стану. Будь готова, когда я подам сигнал!» Иман не ответила — как и подобает Воину, который и без слов дает понять Собрату по оружию, что согласен со всем, — никогда еще Иман не представлялась Али столь схожею с отважным и неустрашимым мужчиной — он тайком улыбнулся при мысли о том, как на самом деле обстоит дело и как странно устроен мир.

Празднество началось на закате — запылал огромный костер, Старейшин препроводили к почетным местам (всего лишь коврам, наброшенным на камни), Музыканты принялись за пронзительно-надрывные мелодии, невообразимые для тех, кому не довелось их слышать, и незабываемые для всех прочих. На вертеле еще с полудня жарился целиком козленок, начиненный Рисом с Изюмом; теперь его разделили на части — их охотно поедали с плоских Лепешек, служивших тарелками, — мехи с Вином проворно передавались из рук в руки. Выпивка возымела немедленный эффект: веселье сделалось безудержным — громкие голоса затянули Песню, если ее можно так назвать, — грянули выстрелы — ружья заряжали снова — и вновь гремели выстрелы. Когда сгустилась тьма и искры, взмывая, растворялись в черноте,

затеяли пляску — как приступают к поучениям на квакерских собраниях — Дух (а в ином случае Спиртной Дух) неудержимо побуждает и к тому и к другому. Первыми выступили гибкие подростки, змеевидной лентой пронесясь через сборище: движения были томными, а лица одновременно и горделивыми, и бесстрастными — истолковать их было трудно, — пляска ускорялась по воле дудок и барабана, и скоро к танцорам, вскочив, присоединились и другие.

За всем этим Иман постепенно передвинулась, не вызвав ни малейшего недоумения (смеясь с сотрапезниками и поднимая чашу, ни разу не опустошенную), к самому краю пирующих, как ей и подобало согласно обычаю — хотя она и считалась мужчиной, — дабы под влиянием Бахуса ее не задел обидчик. Там она приметила, где стоит быстроногий скакун, принадлежавший Али, — оседланный и с готовой поклажей, — а также где находятся кони гостей, по статям значительно ему уступавшие.

И вот выпивка льется рекой — полноводнее, чем реки в тех краях: свободно и с избытком — уже и самые стойкие забулдыги еле держатся на ногах — кое-кто из старших уже погрузился в Забытье, — но прочие, поддавшись демонической власти вина, продолжают самозабвенный танец. Юноши кружатся в бешеном вихре, иные задирают рубашки до коричневых сосков — чтобы исполнить clause du ventre[49]. Какой-то седовласый гуляка, с пеной на бороде, настолько распалился, что ринулся к юношам с предосудительным намерением, не в состоянии только решить, кого из них хватать, — те со смехом увертываются от сатира, и тот падает на колени. Вскоре тех, кто не кружится в танце, сваливает сон или терзает рвота; даже танцоры начинают падать на землю один за другим, будто кегли, — и в поднявшейся суматохе, которая отвлекла всеобщее внимание, Али подает Иман знак.

Поодиночке они выскальзывают из круга пирующих — никем не замеченные — уводят лошадей — подальше от отблесков угасающего костра — там, схватившись за руки, переводят дух, вскакивают в седла — и бесшумно скрываются — исчезают, словно призраки при первом ударе утреннего колокола!

Итак, повесть окончена: любовь и отвага — единение душ — быстроногие скакуны — рассказано обо всем. Куда направятся влюбленные — как будут жить — как любить — вопреки козням света — как состарятся и, однако, останутся прежними — все это, согласно общепринятым правилам, описывать незачем. Но если наша повесть похожа на жизнь — что, надеюсь, хотя бы отчасти правда (впрочем, возможно, в ней больше занимательных

перипетий и меньше сомнений, не воплощенных стремлений, долгих часов Скуки и проч., и проч.), — тогда она сходствует с жизнью по крайней мере в одном отношении, а именно: ничем не заканчивается, ибо такова особенность Жизни, которая начинает (или продолжает) новую историю, как раз когда завершается прежняя — подобно тому, как волна набегает на волну и одна сменяется другой.

Посему вглядитесь в оголенные взгорья над Морем, где странный путник ведет за собой усталую лошадь, — он поминутно останавливается, прислушиваясь, не донесется ли до ушей нечто с безлюдных холмов — помимо орлиных криков или стенаний ветра, — но ничего такого не слышит — и потому продолжает свой путь. Он отлично знает, кого ищет: он незамеченным следовал за ними по пятам — и немного отстал из опасения, что его обнаружат, а потому сбился со следа, однако не сомневается, что где-то поблизости, в какой-нибудь скальной Пещере, укрылись те, за кем он гонится, — точно так же поступил бы и он на их месте. И сейчас, обогнув острый выступ громадной желтой плиты, он видит то, что с уверенностью уловил слухом: возле устья темной пещеры стоит лошадь, истомленная, как и его собственная, и там, в жаркой тени того самого камня, подальше от глаз, он опускается на землю — словно готовясь нести стражу или дожидаться появления беглецов, чтобы их схватить (сказать трудно), — но, недвижный и безмолвный, он все же не может подслушать идущий внутри пещеры разговор.

О чем же говорит эта усталая пара, что свершила столь дальний побег и все еще не избегла опасности, — о чем говорят они, лежа рядом на холодном полу Пещеры и держа друг друга за руки? Почему девушка плачет — теперь, после того, как столько миль она наравне с любимым, без единой жалобы делила все трудности?

«Не могу ответить, почему, — шепчет она Али, в ответ на его настойчивые расспросы. — Не спрашивай больше».

«Мы сделали что-то дурное? Нет, ничего».

«Дурного мы не сделали — это так».

«Ты хотела бы, чтобы я не возвращался — чтобы все шло заведенным порядком — а я ничего не испортил?»

Иман не ответила на это, но поднялась с места, отошла от Али и села поодаль — опустив глаза, захватила с серой земли пригоршню праха — той субстанции, которую мы именуем Прародителем и последним Уделом, — и рассеянно пропустила пыль сквозь пальцы. «Не знаю, — проговорила она, — что для меня большее горе: то, что ты был оторван от меня, когда мы были детьми, — или что мы сейчас вместе».

«Что такое ты говоришь? Разве я не старался сделать все возможное, чтобы ты стала моей по достижении совершеннолетия? Когда меня увез всадник паши, я слышал твои крики — и мое сердце надрывалось от плача — так зачем ты говоришь такие слова?»

«Мой Али! — Иман подняла взгляд, полный волнения и сострадания. — Есть то, о чем ты не подозреваешь, — роковое знание — суть его дошла до меня, когда я жила одна, — ты обрел бы его и сам, не будь твои мысли заняты другим, — об этом давно забыли, но я докопалась, что к чему, и теперь мне никак не выбросить это из головы».

«Скажи», — потребовал Али, хотя в глазах Иман прочитал, что лучше этого не делать.

«Знаешь ли ты, мой самый дорогой и единственный, как мы с тобой оказались в этих краях, среди этого народа?»

«О себе, — отозвался Али, — теперь я знаю. Раньше не знал. Знаю, что мой отец — англичанин, он силой взял жену бея, главы племени, и зачал меня. Бей убил мою мать, а меня отослали прочь».

«Это так, — кивнула Иман. — И меня вместе с тобой — туда же, куда и тебя, — жить там, где жил ты. Али! Эта несчастная женщина, твоя мать, родила не одного ребенка! Я ее дочь, как ты — ее сын!»

Темноту пещеры рассеивает только один источник света: через отверстие в дальней стене проникает узкий солнечный Луч; он медленно прополз по шершавым стенам и теперь прямо уперся в недвижно и порознь сидящую пару; быть может, Али знал о том, что сказала ему Иман, — с давних слов престарелого Пастуха — и, хотя отказался тогда вникнуть в их смысл, наверное, все же понял до конца — так что ставшее известным только сейчас было ведомо ему всегда.

«Скажи мне, какой грех страшнее, — произнес Али, — нарушить обет Целомудрия и разделить ложе с любым мужчиной — или с родным братом?»

«Оба неискупимы. Если совершить один, какое значение имеет другой?»

«Тогда обними меня — раз ты бежала со мной».

«Нами завладеет Иблис, не иначе».

«Мне все равно, лишь бы с тобою вместе».

«И мне!»

Любовь может притязать на многое — хотя и не имеет полных прав на все — так твердо заявлено в моей Повести, дающей тому образцовые примеры — и вот последний. На ту любовь, ради которой наши герои готовы были пожертвовать

целым миром, этим самым миром наложен запрет — ибо, в силу обстоятельств предписанная детям Адама, она была затем строго воспрещена детям их детей — а почему, спрашивать незачем, ибо этот запрет начертан на составе Мироздания и в нашей смертной природе точно так же, как Десять Заповедей были запечатлены на Скрижалях, — таково предписание свыше — и таковым оно должно оставаться навеки; и Мойры (в обличье мужчин и женщин, вооруженных перьями острее мечей и судебными Кодексами, разящими как пули) не успокоятся до тех пор, пока всякий прецедент не будет вычеркнут из памяти бесследно, словно небыль. *Vide*[50]: к пещере, окрестности которой странный Сторож (помянутый выше) незаметно покинул, движется врассыпную через холмы ватага всадников, хорошо вооруженных: они воспламенены Гневом и Возмущением, охвачены жаждой Мести; они без устали шли по еле уловимому следу грешников — и наконец почти их настигли. Тем, кто внутри пещеры, становится известно об их присутствии только из-за выстрелов в воздух, которыми обмениваются преследователи, давая друг другу знать о своем продвижении (сами они не подозревали, что добыча совсем рядом), — Али и Иман взбираются вдвоем на одну лошадь: вторая, на которой скакала Иман, совсем выдохлась, и ее пришлось бросить. Начальным их намерением было добраться до Побережья, а оттуда к причалу, где Али сошел по возвращении с корабля, — однако Преследователи (а их немало) отрезали намеченный путь, и теперь они должны уклониться в сторону, хотя и придерживаясь прежней Цели. Али без устали шпорит коня, Иман крепко его обнимает, прижавшись к плечу щекой, — день и ночь, с редкими привалами — им удается ускользнуть от погони! Ведь Мойры отнюдь не всемогущи — или же время от времени меняют свои решения и отпускают пойманную душу на волю — так порой поступает Удильщик — не из необходимости, но по прихоти — ему довольно сознанья Власти: казнить или миловать, дарить жизнь или ее отнимать.

Итак, впереди показалось Море, но вблизи нет ни одного людского жилища; голубой простор широк: это — и путь к свободе, и последнее препятствие. И — хотя я только что утверждал обратное — один-единственный выносливый соплеменник беглецов не отстал вместе с прочими, не отказался от преследования и не повернул обратно: он, незаметный как тень, прокрался — неутомимо — бесшумнее кошки — и теперь, когда изнеможенные Али и Иман стоят на берегу в растерянности, прижавшись друг к дружке, он через густую траву подползает все ближе и ближе.

«Али», — шепчет Иман, прильнув к его плечу, — и это слово,

которое она бы и выбрала, окажись перед нею выбор, становится последним: проклятый одиночка, распираемый беспредельной Добродетелью, выпрямился, на расстоянии нескольких ярдов укрепил в песке подставку для Мушкета и прицелился — Али ничего не замечает, пока тело его возлюбленной внезапно не сотрясается у него в объятиях, словно от страшного удара, нанесенного невидимым врагом, — и только затем он слышит грохот выстрела, последовавшего за вспышкой. Бывает, что свод рассыпается на глазах, если вынуть из него замковый камень, — сторожевая башня в гавани мгновенно рушится и исчезает в волнах, размывших ее основание, — стая голубей одновременно разворачивается в воздухе, чтобы опуститься на землю, — так и Али в этот миг осознал, что всякая надежда, ценность всей жизни, все богатство, дарованное или обещанное ему Небом, отняты у него навсегда — да и не были ничем иным, как ловушкой! Он выпустил из рук безжизненное тело девушки, не в силах его удержать — бережно, как только мог, уложил ее на землю — и увидел на дюне ее Убийцу, который с полнейшим хладнокровием готовился произвести новый выстрел — дело было еще не доведено до конца! Али делает шаг навстречу, раскинув руки в знак того, что не вооружен, и ждет предназначенного ему выстрела — ждет с нетерпением — стрелок уже целится — но вдруг оборачивается, заслышав позади, у гребня дюны, какой-то шорох. Что же он видит? Убийца хватает мушкет и, повернувшись к Али спиной, направляет его на того самого одинокого Соглядатая, которого мы уже заметили раньше — но только не разгадали. Это он! Его лошадь с величайшим упорством взбирается по неверному песку, вот он уже приблизился вплотную к ошеломленному Убийце — в руке его длинный Пистолет, который он, ни секунды не мешкая, разряжает прямо в лицо недругу, и тот кувырком скатывается вниз по склону — сраженный наповал!

Все это Али наблюдает недвижно — не шевельнувшись, видит, как всадник спускается к нему по склону, и замечает в его облике что-то знакомое — не сходство с другими мужчинами — но образ, который Али известен, который постоянно носился в его воображении, — если только перед ним не новоявленный Призрак, возникший вопреки яви, где на песке простерт мертвый албанец, а загнанная лошадь храпит от усталости. Как начинают бурлить от нагрева вода или масло, так и внутри Али медленно вскипают чувства, он выхватывает наконец из-за пояса свой меч и бросается навстречу близящемуся всаднику, рывком стаскивает его из седла, швыряет со сверхъестественной силой на гальку и упирает острие меча в горло Чужака — теперь уже переставшего

быть Незнакомцем.

«Погоди, что ты делаешь? — довольно спокойно спрашивает поверженный именно тем голосом, какого и ожидал Али. — Не я ли сразил твоего врага — и вот моя награда?»

«Во имя неба, скажи мне, кто ты — и почему преследуешь меня по всему свету?»

«Скажи, что меня не знаешь, — отвечает поверженный. — Отвергни меня, если можешь».

«Если я тебя и знаю, — говорит Али, — то лишь как Тень, от которой не могу отделаться, а она выслеживает меня, ненавидит, ищет моей погибели и сейчас спасла мне жизнь — когда худшего зла мне нельзя было причинить! *Я не знаю тебя!*»

«Я лорд Сэйн», — произносит поверженный.

«Не смей надо мной смеяться! — восклицает Али. — Я видел его мертвым. Ты — не он».

«Не он — но его наследник».

«Что? Его наследник! У тебя есть на это права? Предъяви их — и получишь все! Не стану же я цепляться за имя?»

«Вложи меч в ножны. Смерти моей ты не хочешь. Говорю тебе, что я — лорд Сэйн: *ибо я его сын, твой брат — старший брат!*»

При этих словах — неведомо как и почему — Али уверился, что он услышал чистую Правду — и встретился глазами с глазами брата. И все же не дрогнул, не смягчился — по-прежнему упирая острие меча в горло противника.

«Позволь мне встать, — сказал этот противник, его брат. — Предстоит совершить печальный обряд. Я помогу тебе, если ты примешь мою помощь. Потом я изложу свою историю. Тебе она может сослужить службу, а если нет — расправься со мной по окончании рассказа, как то было определено Шахразаде, хотя моя история — совсем не сказка».

Али в отчаянии выпрямился — и отбросил меч на песок. Да, это правда — он вовсе не желал смерти незнакомца. Безумец перед ним или одержимый злым духом, говорит он правду или нет — Али не заботило — ничто на свете его не трогало, кроме мысли о недвижном теле, лежавшем на камнях; руки и ноги Иман были бессильно раскинуты; угасшее лицо застыло и побледнело. Али почувствовал, как из него самого уходит жизненная сила, колени его подкосились — и он упал рядом с сестрою, положив голову на коченеющую грудь. Узел, туго-натуго стянувший его дух, — узел, завязанный его отцом в начале жизненного пути, казалось, теперь вот-вот его задушит, прервет дыхание — ничего другого Али не желал! — и отцветшее, изнуренное сердце разорвется наконец.

«Взгляни, — проговорил его враг или друг, — видишь вон там, на Берегу, сухой валежник и остов брошенного судна — колючий Терн — давай сложим все это для погребального Костра. Разве это не обычай твоих сородичей?» Али ничего не ответил, однако поднялся с земли. «Идем, — продолжал тот, — пока еще светло, а молва не достигла людских жилищ. Острый меч тебе пригодится — сруби вон тот терновник, возложим его на костер!»

Али проделал все это — по-прежнему не проронив ни слова. Оба работали до конца дня, пока не соорудили для Иман ложе; Али завернул ее в длинный мужской плащ с капюшоном, который она носила, именуясь мужчиной, — а затем и в свой собственный, плотнее укутав лицо и руки, поскольку не в силах был смотреть на то, как их будет пожирать огонь. Вокруг одра они раскидали обломки Плавника, в изобилии выброшенные на берег, и ветки терновника, срубленные Али. Они трудились бок о бок, нагромоздив высокое ложе — с тем, чтобы пламя занялось быстро и костер скоро прогорел. Далее спутник Али извлек из своего вьюка трутницу и с помощью сучьев и морских водорослей разжег огонь, который Али не позволил ему поднести к погребальному костру, — этот долг исполнил он сам, с протяжным стоном — лишь так он был способен отдать дань скорби — да, сердце его было разбито, хотя сам он об этом и не знал: ведь он сохранил жизнь, зрение, свободу — но, вопреки утверждениям Поэтов, наши Горести не разрывают сердца на клочки, и те продолжают биться, даже разбитые и без надежды на исцеление.

С вечера до полуночи оба простояли на песке, иногда опускаясь на колени. Высокое пламя завидели в ближней деревушке, и несколько смельчаков подобрались ночью посмотреть, в чем дело, — увидев подле костра две фигуры, они удалились в благоговейном страхе, спасаясь от Лукавого жестами-оберегами. Костер пришлось возвести повторно, пока огненная геенна в его сердцевине не исполнила должное — и там остался один только Пепел: в нем слабо мерцали красноватые угольки, переливаясь жаром, который, казалось, таил в себе жизнь, но ее там не было. Когда ночь подошла к концу, костер почернел, зачах и угас, оба плакальщика — священнослужителя — участника похорон (как бы ни называть тех, кто отдал покойной последний долг и свершил все необходимое) покинули останки и приблизились к морю, над которым предстояло взойти Солнцу (если предстояло), и разделили между собой хлеб с вином.

«Расскажи мне, — заговорил Али, — все, о чем должен поведать, как обещал. Думаю, лучшего способа провести день не будет. А потом мы с тобой расстанемся — надеюсь, навсегда».

«Согласен», — ответил его спутник и приступил к повести, которая будет изложена в следующей Главе.

Примечания к двенадцатой главе

Теперь я не знаю, суждено ли мне дожить хотя бы до того, чтобы закончить эти заметки. Не в силах оглянуться на прошлое Весь этот месяц почти ничего не делала, только лежала на спине, а если и это не помогало, бродила по дому — скиталась по залам и лестницам в поисках уж невесть какого облегчения. Мой старый друг Опиум не столь предан мне, как прежде, но, боюсь, я слишком многого от него требую. Еще так много предстоит сделать закрыв глаз а, вижу буквы и цифры — так после долгого вечера за картами мерещатся одни только карты двойки-тройки-шестерки картинки без толку и смысла хочется к морю спать примусь снова завтра утром

1. Альпы: После смерти отца не прошло и двух лет, как меня повезли за границу постоянные компаньонки моей матери — три дамы, которых я с наслаждением именовала Фуриями — за их непомерное внимание и неусыпную слежку, а также усердие, с каким они докладывали матери о малейших проявлениях наследственной слабости или распущенности. Мне тогда было одиннадцать лет. Сначала мы отправились в Швейцарию — к озеру, которое мой отец всегда называл на старинный лад Леманом: на его берегах он жил после развода, хотя тогда я этого не знала — не знала ничего, разве что он жил и умер. Сейчас я оглядываюсь и вижу, как собирала в те дни гербарий и коллекцию камней, — с детства мне нравилось узнавать новое, изучать, как устроен мир и его составные части; понимаю, что ходила почти по тем же тропам, что и отец; время как будто сжимается, и я оказываюсь там, где когда-то был он, и мы все-таки вместе.

Совсем неподалеку от того места, где жили мы с Фуриями, стоит Вилла, где лорд Б. встречался с четой Шелли после отъезда из Англии. Возможно, я даже видела ее, бродя по окрестностям, однако ни о чем не подозревала. Под этим кровом, если полагаться на утверждение миссис Шелли в ее Предисловии к роману «Франкенштейн, или Современный Прометей», каждый из трех друзей приступил к прозаической повести. Байрон, как принято считать, свою не закончил. Не знаю, лежит ли она передо мной. Возможно, в Будущем — если эта повесть станет его достоянием (а я сделаю для этого все возможное) — найдутся новые доказательства того, что повесть та самая — начатая им и потом спрятанная. Спрятано было многое, однако сокрытое не уничтожается, тогда как доступное, случается, пропадает.

2. Владычество паши: Али-паша, подразумеваемый здесь, был

убит турецким агентом в 1822 году. Байрон обходит это событие молчанием, заставляя предположить, что глава была написана еще прежде того.

3. Амазонки: Легендарные амазонки, по мнению большинства историков, обитали в Скифии. Грек Эвгемер известен своим учением, согласно которому сказания о богах и божественных существах возникли просто-напросто из непомерно преувеличенных преданий о подвигах героических воинов-предводителей в давние времена. Не знаю, основано ли описание албанских обычаев на фактах или же является плодом фантазии; в путешествии по Албании (недолгом, вопреки позднейшим его утверждениям) Байрона сопровождал нынешний лорд Бротон, который до сих пор не ответил на мою просьбу сообщить относящиеся к этому путешествию подробности.

4. веселье сделалось безудержным: «Танцуйте же в безудержном веселье» («Паломничество Чайльд-Гарольда»).

5. дети Адама: Та же тема развернута в драме лорда Б. «Каин», где любимая жена Каина приходится ему также и сестрой. Сестру Али было бы точнее назвать единоутробной, единственная же сестра лорда Б., миссис Августа Ли, была ему единокровной. Сестре-жене в «Каине» он дал имя Ада. Августа Ада Ада Августа ада ад

6. отцветшее, изнуренное сердце: «Отцветшее не разорвется сердце» — «Лара».

7. погребальный костер: Не перестаю поражаться: хотя, согласно всем свидетельствам, которые мне удалось собрать, эти страницы написаны лордом Байроном до того, как он поселился в Пизе и Ливорно — и, следовательно, до гибели Шелли во время морской бури, — здесь изображен погребальный костер на побережье, пожирающий тело дорогого человека и проч. — все настолько сходно с тем, чему только предстояло произойти, что при чтении этого отрывка по мне пробежала дрожь, как при встрече с чем-то сверхъестественным. Вот что лорд Б. написал мистеру Муру о том дне в Леричи, когда тела Шелли и его друга Уильямса были преданы огню: «Вы не можете себе представить необычайное впечатление, производимое погребальным костром на пустынном берегу, на фоне гор и моря, и странный вид, который произвело пламя от соли и ладана». И однако, представление об этом у Байрона сложилось заранее, причем точное. Говорят, будто Шелли заметили, когда он шел лесом возле своего дома в Ливорно, но когда друзья его окликнули, он не обернулся и скрылся из виду; в тот самый день он утонул. Что же такое Время? Течет ли оно только в одном направлении? Или же это стремительный поток, который уносит с собой одни

предметы быстрее, а другие — медленнее: листья, сучья и гальки могут меняться местами, обгонять друг друга, сталкиваться и сцепляться, увлекаемые между тем дальше и дальше? Иногда я думаю, что между рождением и смертью мы проживаем множество жизней — и только одну (или две) воспринимаем осознанно; прочие протекают параллельно, незримо — или же текут вспять, пока та единственная, которой мы заняты, движется вперед. Выразить это словами нельзя: можно ощутить только в сновидениях или под действием неких возбудителей — впасть в состояние, когда два явления все же могут одновременно занимать одно и то же место.

Глава тринадцатая, *в которой Повесть рассказана, однако не окончена*

«Какое имя выбрали для меня отец с матерью, я не знаю, — начал свой рассказ собеседник Али. — Отец не даровал мне никакого, я не был крещён. Появился я на свет из чрева матери до срока, не вполне к этому готовый, "медвежонок, что матерью своею не облизан и не воспринял образа ее". Отец полагал — вернее, надеялся, — что я не доживу и до первого вечера своей жизни. Он почитал лучшим, чтобы меня вовсе не кормили — и я мирно покинул бы свет наиболее *милосердным* способом; он был уверен в том, что распоряжение будет исполнено. Матери, однако, при тайном содействии служанок, удалось меня спрятать — и кое-как, с трудом, но я выжил. Безымянный — недозрелый — отринутый — украдкой вскормленный — жалкая личинка не от мира сего: вот таким я в него вступил.

Не прошло и двух недель, как лорд, мой отец, разоблачил обман и, по-прежнему считая ребенка нежизнеспособным, в гневе отлучил меня от материнской Груди и, передав няньке из домашней челяди, велел отослать ее вместе со мной в отдаленную деревушку, откуда она была родом. Без лишнего шума сунул ей кошель с серебром и намекнул, что его не огорчит, если я по той или иной причине опочию, в чем он нимало не сомневался».

«Не понимаю, каким образом ты обо всем этом узнал», — заметил Али.

«Я и не знал, пока не подрос: добрая женщина, взявшая у моего отца деньги, не смогла исполнить то, за что ей было заплачено. Вместо того она разыскала среди земляков семейную пару, чей младенец неделю назад умер от лихорадки: они, за ту же сумму, согласились взять меня к себе, после чего моему отцу было отправлено чаемое известие.

Итак, я вырос среди простых селян: они знали только то, что меня взяли из дома лэрда, но кем я был — понятия не имели. Звали меня Энгус — другого имени я никогда не носил: в шотландских преданиях это имя юного скитальца — королевича, воспитанного в чужом доме; впрочем, я так и не выяснил, насколько это осознавали те, кто дал мне имя. Оснований для того, чтобы *малец* оставался изгоем, было достаточно. Подрастал я, как сказано, не особенно крепким и статностью не отличался;

хотя супруги, воспитавшие меня как своего, относились ко мне хорошо, я больше всего думал, как бы сбежать из родных краев, где меня сторонились как *подменыша* и осмеивали как заморыша (если не хуже того), — для местных жителей Религия была связана не с исходившей из Глазго Теорией Нравственных Чувств, но с непримиримой проповедью суровых замшелых пророков. Телесный недостаток, по их представлениям, ясно свидетельствовал о немилости Всевышнего — а значит, о благосклонности Сатаны: в том краю ведьм еще отправляли на костер. Поговаривали, будто у меня Дурной Глаз, и, во избежание последствий, предлагалось сделать мне на лбу надрез в форме Креста: поскольку глаза — это окна Души, как утверждают не одни только поэты, то из моих явным образом могло проистекать зло, которого благонравному люду желательно избегать! Мои добрые опекуны, хорошо понимая, что ни душой, ни телом мне не суждено стать им опорой в старости, в конце концов позволили мне их покинуть: когда по достижении шестнадцати лет я решился на морскую карьеру, они вручили мне тот самый кошель с серебром моего отца, который лежал вместе со мной в переданной им корзине».

«Воистину добрые люди!»

«Но эти деньги принадлежали мне, — пожал плечами Энгус, — как и многое другое, чем, по всей видимости — и вполне вероятно — мне не суждено было воспользоваться. В тот день, когда я двинулся к побережью и гавани, на дороге меня остановила нянька, которая забрала меня из отцовского дома, и там, благословив и напутствовав, открыла мою историю, тебе теперь известную. Я узнал две вещи: первое — что я наследник рода Сэйнов и правопреемник земельных владений моей матери, включая и тот клочок, на котором стоял; а второе — что отец желал мне смерти и уготовлял ее. Я поклялся, что, как бы далеко меня судьба ни забросила, я вернусь, чтобы ему отомстить и увидеть крушение его дома».

«Твоего собственного».

«Я ничем не обладал. То, чего у меня не отняли, я отшвырнул прочь и даже не оглянулся. У меня не было — и нет — ничего, кроме способности *действовать по собственной воле* — даже если она направлена против меня самого».

«Точно так же говорили и о нем, — отозвался Али. — И я тоже это в нем видел».

«Я его сын».

«Я тоже».

Энгус смерил Али взглядом, и по лицу его пробежала улыбка — страшная улыбка презрительного торжества. «Тогда я поставлю

перед тобой зеркало, брат мой, вглядись — и вглядись хорошенько! — и скажи мне, что ты там увидишь».

«Нет, — Али невозмутимо выдержал его взгляд. — Если ты был ничем, ничем был и я: кем я стал — это сделал я сам. Тот же путь открыт для тебя. Продолжай свою историю. Ты отправился в море?»

«Да, — подтвердил Энгус. — Если ставишь перед собой цель, как в то время поставил ее я, когда все твои мысли направлены на неизбежное деянье, на непременные шаги к нему, — внутреннее сосредоточенье позволяет не замечать повседневную работу, какой бы тяжкой и нудной она ни была, — и не возражать против нее: напротив, делаешься особенно внимателен к назначенным Заданиям, поскольку для каждого есть свои Причины, а впереди, пусть как угодно далеко, маячит завершение. Так мститель может походить на Святого, исполняя каждодневные обязанности, ибо все помыслы его обращены к будущему блаженству. Так я сделался Моряком, невзирая на свои недостатки, — трудился за двоих, и трудился на совесть. Я усвоил, и довольно быстро, безоглядный *кураж* (если его можно так назвать), необходимый в кубрике, чтобы тебя не затоптали более сильные и сплоченные сожители, — ты должен внушить, что, если тебя заденут, ты не задумываясь перережешь им глотки, пусть тебя за это и вздернут на рее.

И вот так, за время Плаваний, я получил образование: выучившись не только матросскому ремеслу, но и Коммерции. С головой погрузился в освоение наиболее прибыльных торговых занятий — Контрабанды и Работорговли — тогда еще обе отрасли не слились в одну. Я преуспел настолько, что приобрел в собственность корабль и приступил к купле и продаже людей, из чего извлек немалый барыш, редко доставляя разочарование Вкладчикам, — правда, однажды весь груз охватила лихорадка; пришлось, понеся большие убытки, выбросить его за борт. Когда Работорговлю запретили, перевозка невольников сделалась более хлопотным занятием: она зависела от прихоти не только Случая, но и Закона, и я постепенно утратил к ней вкус. На сколоченное состояние я купил сахарные плантации в Вест-Индии и сделался Плантатором, владельцем множества рабов, — отмена *торговли* никак не повлияла ни на владение рабами, ни на жесточайшее принуждение их к тяжкому труду вплоть до потери последних сил; число работников даже возрастало — хотя в основном не благодаря купле-продаже, а вследствие естественных причин. Я своих рабов не жалел. Многие и многие умирали у меня на глазах: я самолично распоряжался как их Свободой, так и жизнью, и присутствия судей отнюдь не требовалось. Не принимай я

самых решительных мер, моя жизнь долго бы не продлилась: меня умертвили бы в постели — или мои же Надсмотрщики взбунтовались бы, лишив меня всякой собственности, — эта порода обращает себе на пользу малейшую слабость не только подчиненных, но и нанимателей. Я изматывал рабов как только мог — хлестал их плетьми — доводил до изнеможения. Но и работал на плантациях наравне с ними, полуголый как они, обливаясь потом на немилосердном солнце тех широт. Через год-другой я выстроил прекрасный дом, они же ютились в жалких лачугах; я держал за поясом Пистолеты, а они гнули покрытые рубцами спины. Три года спустя я, несмотря на молодость, стал богачом — и, едва только собрав Капитал, величина которого показалась мне достаточной, покончил с изготовлением сладкого товара, об истинной горечи которого английские любители чаепитий не имеют понятия — и, вероятно, не в состоянии ее вообразить. В ту пору, под впечатлением блестящего успеха восстания в Санто-Доминго — пускай самого что ни на есть кратковременного, — осознав свою жалкую участь, чернокожие обитатели моих островов, готовые от отчаяния безоглядно пожертвовать жизнью, решились поднять мятеж. Среди них были предводители, не уступавшие по дальновидности герцогу Мальборо и не менее жестокие, чем Калигула, однако ставившие перед собой куда более благородную цель — Свободу. Я вызвал тех рабов, которые, как мне было известно, стакнулись с Бунтовщиками, и предложил им Вольную, ими справедливо отвергнутую. Мне осталось только их с этим поздравить — и той же ночью, забрав свое Богатство наличностью, в сопровождении небольшой судовой команды, состоявшей из стойко преданных мне, вопреки всякому здравому смыслу, слуг, я отчалил в открытое море. Оставил после себя не только дом, немалую толику золота в испанских долларах, ключи от арсенала — где хранился изрядный запас оружия, а также несколько девятифунтовых японских жестяных коробок с Порохом, — но и список лиц, которые неминуемо должны были пасть первыми жертвами стихийного возмущения».

«Ты натравил бунтовщиков на своих же соседей? — вскричал Али. — Отлично зная, что из этого выйдет?»

«Что именно я знал? — отозвался Энгус. — Я знал, что судьи, чиновники, надсмотрщики и плантаторы, назначенные Повстанцами к гибели, всецело этого заслуживали — и первым среди них я сам. А вот заслуживают ли уже теперь петли — или им это еще только предстоит — мятежные негры, которые заняли (насколько мне известно) Властные Кресла, облачились в расшитую золотом Униформу и заказали собственные портреты,

этого я не могу сказать. Но какая разница; в те края я больше не вернусь. Я отплыл навстречу восходящему солнцу — к моей Отчизне, — обладая наконец средствами, достаточными для осуществления мести: только это желание и двигало мной за все время моей деловой карьеры. Не понимаю, каким образом сердце способно сосредоточиться на одной-единственной мысли: как если бы раскаленный уголь сохранял свой жар неизменным, не сгорая и не остывая; так мне казалось тогда — но не теперь. На ирландском берегу я избавился от судна, распустил команду, снабдив прежних невольников всеми необходимыми бумагами за подписями и печатями; поставил перед ними условие, что они разъедутся по странам, какие сочтут своим новым Домом, однако ни словом не обмолвятся о моем прибытии — на что они охотно согласились. Отныне без всяких препон я мог передвигаться по стране в любом направлении — и исходил ее вдоль и поперек (кошелек, набитый золотом, с успехом заменяет Плащ-невидимку); собрал много сведений о судьбе родного гнезда, о постыдном его упадке благодаря попечению Отца — и о кончине Матери: она умерла до того, как я смог коснуться ее руки; до того, как испросил у нее благословения и прошептал слова прощения! Узнал я и о тебе, Брат мой, — и о том, как ты незаконно присвоил себе мои права».

Али чуть не вскипел гневом и готов был потребовать ответа от сокрушенно поникшего рассказчика — но что-то его остановило — на лице Энгуса выражалось полное равнодушие к смыслу фразы, словно никакого оскорбления он в нее не вкладывал, — хотя слова не могли не уязвлять. Незаконно присвоил! Хотел бы он никогда не слышать язык, на котором они теперь говорят; не видеть земли, *незаконно присвоенные*! «Каким образом, — спросил Али, — ты разузнал обо всем этом — обо мне — так, что тобой никто не заинтересовался?»

«Я открылся одному из домочадцев, — ответил Энтус. — Быть может, опрометчиво, однако (сам не знаю почему) уверился в том, что замысел мой удастся, что Звезды скрепили его печатью и Ангелами небесными — нет-нет, не ими! — он начертан в Книге грядущего, откуда эти строки не могут быть стерты. Старому слуге, который ходил еще за моим дедом и, кажется, за прадедом тоже — седовласый старец — крепкий как кремень…»

«Старина Джок! — вскричал Али. — Он знал о тебе?»

«По неким знакам, которые он умолил меня показать, он удостоверился, что я — это я: так же и нянька Улисса убедилась в том, кто перед нею стоит. Я попросил его хранить молчание: он с готовностью дал обещание и соглядатайствовал в доме всю ту неделю, когда я вынашивал планы. Он им даже содействовал —

поскольку полагал, что я появился, дабы занять место, положенное мне в Доме по праву, — иными словами, заменить тебя, — в чем я его не разуверял. Вижу по твоему лицу, как ты поражен: старик клялся, что любит тебя, — и я не сомневаюсь, что он был искренен, — однако люди подобной закалки накрепко связаны стародавней верностью — под ее игом они надорвут сердце и сломают себе хребет раньше, чем освободятся от оков. Твое внезапное возвращение в Аббатство внесло серьезные помехи: именно то время я посчитал наиболее удобным для свершения своего дела. Но я неукоснительно придерживался задуманного. Именно Старина Джок отправился той ночью верхом на клячонке вдогонку за каретой лорда Сэйна; наутро, когда отец благодушествовал в имевшей дурную славу Таверне на южной дороге, старик сообщил ему, что в Аббатство нагрянул некий незнакомец, желающий переговорить с ним наедине — о законном сыне лорда и о Наследстве, — причем разговор этот ни в коем случае не должен состояться ни в общественном месте, ни под крышей у лорда. Думаю, что если бы подобное известие доставил лорду Сэйну кто угодно, но только не старый преданный слуга, он в жизни бы не согласился направить стопы в заброшенную сторожевую башню. Но случилось так, и лорд явился туда, где ждал его я».

«И намеревался там с ним расправиться? — не выдержал Али. — Таким был твой замысел с самого начала? Ты полагал себя на это способным? Тебя не приводила в содрогание чудовищность предприятия — или хотя бы его затруднительность? Твоего противника нелегко было одолеть».

«Вот этого я как раз ничуть не опасался. Я понимал, что моих сил — хотя недруги вечно их недооценивают — недостанет для полного успеха. Но с Островов, бывших прежде моей вотчиной, я привел с собой мощь, о которой на родине не имеют даже отдаленного представления. Среди туземцев, вывезенных из родимых Лесов в кандалах и обреченных в Новом Свете на непривычный каторжный труд, и по сей день блюдется древнее Знание о жизни и смерти — ведовство, доступное лишь самым умудренным из них (сколь бы жалко они не выглядели) и передаваемое последователям из поколение в поколение шепотом, под строжайшим наказом хранить тайну и не выдавать ее под страхом смерти — или того хуже. Говоря коротко, жрецам этого культа (или попросту знахарям) известно средство, благодаря которому явного мертвеца — того, кто видится нам бездыханным, холодным и недвижным, — возможно предохранить от Разложения, и тот — лишившись сознания, не ощущая ни себя, ни мира, — продолжает служить Хозяину,

который наделил его (а вернее, его плоть) способностью к жизни. Такой мертвец, по видимости живой, на деле не таков: он ничего не чувствует и ни о чем не знает. Однако беспрекословно подчиняется приказаниям — не испытывает ни боли, ни страха — он неутомим, вечно деятелен, бесчеловечно жесток и обладает чудовищной силой — его нельзя убить, поскольку он уже мертв!»

«Возможно ли такое?» — от ужаса у Али перехватило дыхание.

«Возможно ли? Говорят, будто армия, разгромившая солдат Буонапарте на Санто-Доминго, состояла из таких мертвецов. За достоверность истории не поручусь — но ты сам свидетель: именно такое существо по моему приказу вызволило тебя из тюремной камеры и доставило на корабль братьев-ирландцев, с помощью которых ты и совершил побег».

«Боже мой! — выдохнул Али. — Ужасно! Так значит, оно — *он* — тогда, в сторожевой башне…»

«Я хотел, — продолжал Энгус, — поговорить с лордом; это чистая правда. Я желал прежде всего прояснить для него дело — кем он был, что совершил, кто я такой — что да как теперь между нами — чтобы его, а не моя жизнь висела на волоске. Вот что я так долго обдумывал — довести до его сознания, дать ему понять, какое Зло он совершил и что оно не останется безнаказанным, — внушить ему, что его Замысел рухнул — по крайней мере одна из многих его жертв не уничтожена, и ему не уйти от праведного Суда».

Тут Энгус прервал свой рассказ и устремил взгляд в морскую даль: казалось, он улыбался, вспоминая, — на губах его играла насмешливая улыбка, словно смеялся он над самим собой. «Знаешь, в долгожданной мести есть один изъян (мало кто о нем догадывается, поскольку лишь немногим удается добиться цели, хотя в мечтах кто только ее не лелеет): душа нашего врага защищена лучше, нежели его жизнь, и когда отнять *вторую* всецело и неотвратимо в нашей власти, это не всегда означает торжество над *первой*. Так вышло и тогда. Поначалу лорд решительно все отрицал — оскорбленный, кипел от Негодования — глумился над моей Наглостью и нелепыми вымыслами, которым, по его словам, *никто не поверит*. Он обвинил меня в посягательстве на свое состояние, уличил в интриге, которую мог бы разработать и сам, однако назвал ее скверно измышленной и не имеющей никакого шанса на успех. Убедившись, что я и в самом деле намерен призвать его к ответу, — что от своего не отступлюсь и готов взять на себя обязанности Судьи, Присяжных и Палача — что Пистолеты мои заряжены и наведены на мишень, — он не выразил на лице ни малейшего проблеска

раскаяния — не более, чем тигр-людоед, пойманный в смертельную ловушку, — по его чертам судя, он лишь искал уловку, которая помогла бы ему избежать расправы. Поэтому он внезапно переменился — признал зло, причиненное Супруге и мне; выказал радость от того, что мне удалось выжить; посулил сделать меня своей десницей, забыть прошлое и совместно возродить величие фамильного гнезда — изгнав тебя прочь».

«Негодяй!»

«Лорд заявил, что, мучительно переживая мою смерть, вызванную, как он утверждал, несчастной случайностью, он пустился в скитания по всему свету — и время обошлось с ним жестоко — на дуэли удар шпаги отнял у него все надежды на продолжение рода — и только тогда, преисполненный отчаяния, он разыскал тебя, убогую замену его настоящему сыну, которого он потерял, — то есть мне».

«Негодяй! Проклятый негодяй!»

«Ты — это соломинка, за которую он ухватился, — продолжал Энгус. — Не сомневаюсь, что он бы меня прикончил — или передал властям, поддайся я хоть на минуту его уверткам. Нет, он признавался только в том, что служило его оправданию, — ни в чем другом — и (знаю сам не по одному поединку, имевшему смертельный исход) я чувствовал, что он при первой возможности бросится на меня, — он жаждал застать меня врасплох — и если погибнуть, то сражаясь, — его распирало от бешеной звериной Силы — и при том ни тени стыда или раскаяния! Но вот наконец в сторожевую башню вступило, повинуясь зову, мое создание — все это время оно, каменно-недвижное, ожидало в наружной тьме — и только тогда на лице моего отца проступило осознание того, что он потерпел поражение, — однако у нас с тобой чувство это выразилось бы совершенно иначе. Нет! в чертах его читался скорее стремительный подъем духа — безграничная и невозмутимая готовность, как если бы он снискал наконец неимоверный успех. Он улыбнулся».

«Я словно своими глазами это вижу!» — воскликнул Али. Он и в самом деле видел отца таким, и это не могло изгладиться у него из памяти.

«Наступила развязка. Тебе известна старинная пословица, что отмщение — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным, однако мне почудилось, что теперь, когда жажда мести остыла, я потерял к ней всякий вкус — едва ли не позабыл, чего ради положил на это всю жизнь и почему воображал, что месть меня исцелит — согреет душу, хотя, по правде говоря, она-то и оцепенела от холода!»

«А ты не подумал тогда отступиться — не простить, но хотя

бы принять то, что есть, — почесть прежнюю цель достигнутой или неосуществимой?»

«Нет! То, что он сопротивлялся, только больше меня разожгло — он боролся до последнего — вот это и толкало меня довершить начатое! *Я сделал то, ради чего пришел,* — но не понимал, что, одержав над ним победу и его уничтожив, *в него и обратился* — стал так же холоден и бессердечен. Теперь я всегда ношу его в себе — не потому только, что отец продолжает жить в сыне, — но в смысле гораздо более страшном».

«Но на теле не осталось никаких следов, — сказал Али. — Ни огнестрельной раны, ни колотой».

«Да, он был задушен, как Антей, — ответил Энгус. — Но не моими руками, и не мною подвешен — хотя сделал это я. И я снял с его пальца перстень с печаткой».

«Я ничего не знал, — удивленно проговорил Али. — Не знал, что кольцо было снято! А что сталось с негром?»

«Тебе-то какая забота?»

«Он избавил меня от тюрьмы — и от худшей участи. Я хотел бы знать о его судьбе».

«Вскоре я положил ему *предел.* Это все, чего он пожелал бы сам, если бы мог хоть чего-то желать. Не спрашивай о подробностях. Не понимаю, что побудило тебя отправиться к Башне не когда-нибудь, а именно в ту ночь».

«Я тоже не понимаю, — отвечал Али — но плечи его вдруг сотрясла сильнейшая Дрожь — не от ледяного порыва ветра с моря и вообще не от посюстороннего дуновения. — Но объясни же теперь, почему ты посчитал (если это так), что в твоих интересах дать мне свободу — уже после того, как меня застигли в Башне и обвинили в преступлении, совершенном тобою. Ты добился всего, чего хотел: твой враг умер — его единственного (помимо тебя) наследника взяли под стражу по обвинению в убийстве, опровергнуть которое вряд ли было в его силах…»

«Это не моих рук дело».

«Однако все произошло именно так — словно по твоему желанию».

«Миром правит Его Величество Случай. Порой он милостив к нам — безо всякой на то причины».

«После чего, с громадным риском для себя, ты ухитрился меня освободить и — как я догадываюсь — препоручил Контрабандистам, чье судно — я не ошибаюсь? — было тем самым, на котором ты приплыл из Америки, а потом его им продал».

«Да, действительно, это мои давние торговые партнеры: у нас были взаимные обязательства».

«Но зачем тебе это? — вскричал в недоумении Али. — Зачем так обходиться с тем, кого ты считал врагом?»

«Было ли справедливым и сделало ли бы мне честь, позволь я отправить тебя на виселицу? Не воображай, будто я предложил бы взамен себя — полагаю, это выглядело бы чрезмерной щепетильностью, а она меня не соблазняла».

«Да! Но почему, освободив меня, ты стал меня преследовать — терзать — искать моей гибели, отнимать все, что мне дорого — почему довел меня до безумия? Что за выгода тебе…»

«Не допытывайся ни о чем, — произнес Энгус, поднимаясь с песка: голос его столь напомнил Али того, другого, что он замер на месте. — Сделанного не переделать. Тебе кое-что известно — но не все, — о том, какой вред я тебе нанес. Ты не знаешь, что я совершил от твоего имени, — и не узнаешь».

«И какая была тебе в том выгода?»

«Забава. Жизнь нужно чем-то наполнить. Я сын своего отца. Ступай в ад и порасспроси его, почему он поступал так, а не эдак — пускай ответит и за меня. Покончим с вопросами».

«Ты дважды спас мне жизнь, — настаивал Али, — и совершенно напрасно, поскольку мне от нее никакого проку и остаток ее мне не нужен».

«Хоть в этом мы с тобой братья, — отозвался Энгус. Он завернулся в плащ и шагнул к лошади, которая щипала неподалеку морские водоросли. — Давай разойдемся, близится полудень — и нас могут настигнуть».

«Скажи мне только одно — и потом мы расстанемся. Ты отец моего ребенка?»

«Если твоя невеста взошла на брачное ложе нетронутая тобой, — ответил Энгус, взбираясь в седло, — и, как следует предположить, не знала ни одного мужчины, кроме того, кто вызвал ее на *rendez-vous*, тогда отец — действительно я».

«Ты переслал ей письмо, назначенное для другой».

«Твое письмо! Избранная тобой сводня — круглая дура, ее ничего не стоило подкупить. Когда она показала мне письмо, я пообещал доставить его самолично — что и исполнил».

«Выходит, у меня нет дочери?»

«Она твоя — куда больше, чем моя. На этом ребенке пресекается наш род. Постарайся ее оберечь. А теперь, Брат мой, прощай!»

«Изыди! — бросил Али. — Мы никогда впредь с тобой не увидимся».

«Как знать», — ответил Энгус — но слова его унесло ветром.

Примечания к тринадцатой главе

1. медвежонок, что матерью своею не облизан: Слова мстительного горбуна — герцога Глостера в Третьей Части шекспировского «Генриха VI». Отсылка к старинному поверью о том, что медвежата рождаются бесформенными комками, а матери, облизывая, придают им очертания. Как персонаж Байрона, живший в шотландской прибрежной лачуге и занимавшийся самой презренной коммерцией, мог познакомиться с Шекспиром? Вопрос этот остается без ответа — надо полагать, что невероятность приведенных слов оправдывается их редкой уместностью.

2. суровые замшелые пророки: Лорд Б. на протяжении всей своей жизни решительно выступал против Религии северных кальвинистов, в которой сам был воспитан; он неустанно доказывал себе нелепость ее доктрин и выказывал крайнее пренебрежение к ее строгим догматам. Однако, невзирая на все старания, ничто не могло изгнать из его души предписаний, усвоенных с ранних лет. Тем, кому подобные волнения чужды, такая борьба может показаться прискорбной растратой умственной энергии. Байрон бился с Иеговой, в которого не верил, — и стремился отбросить Его в область далекого прошлого, куда ушли и жестокие боги ассириян, вместе с которыми (по моим представлениям) Он поначалу и был рожден. Что до меня, то я в спор не вступаю. Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей: а если их нет, то нет ничего.

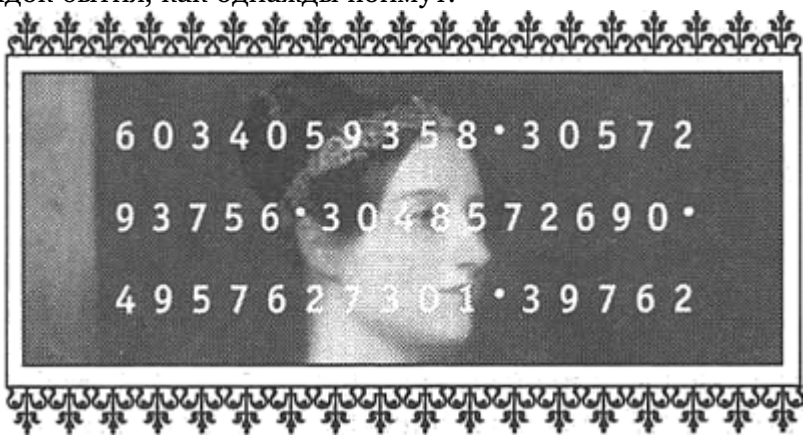
3. древнее Знание о жизни и смерти: См. Примечание касательно первого появления зомби в Главе 5-й. Небезынтересно отметить, что (насколько мне известно) в произведениях лорда Байрона не описано ничего сверхъестественного или потустороннего. Драмы «Манфред» и «Каин» на первый взгляд противоречат сказанному, однако их должно рассматривать скорее как философские, нежели фантастические. У Байрона, как я понимаю, нет ни одного повествования, которое реалистически изображало бы нашу повседневность или исторические события, но со вторжением привидений, пророчеств, оживших мертвецов, ангелов и проч., и проч. И здесь зомби предстает созданием таинственной, но все же опирающейся на знание природных начал науки: правдоподобность его существования можно оспаривать, однако за пределы естества оно не выходит.

4. Антей: Ребенком я видела в альбоме гравюру с картины Поллайоло, на которой Геракл душит великана Антея, оторвав

его от земли и стиснув ему грудь, дабы лишить дыхания. Образ ужасающий: у меня самой перехватывало дыхание, когда я на него смотрела. Возможно, именно его лорд Б. и желал вызвать у нас в памяти.

5. если бы мог хоть чего-то желать: Как удивительна мысль о существах, способных действовать и страдать, но не сознающих своих поступков, — это некий роковой приговор — однако, что возможно, несущий и избавление. Зомби, заводная танцовщица, сомнамбула. Исполнять веленное, но не испытывать мучений — и вообще ничего об этом не знать.

Опиумное видение: будто бы весь природный мир не что иное, как часовой механизм, и мне это открылось; пенье птиц и шелест листвы на ветру, даже падение росы — все это слепой результат взаимодействия шестерен и пружин; стоит вскрыть любой предмет — и в нем обнаружишь только чудовищно крохотные шестеренки, а внутри них — еще шестеренки. Рядом слышен голос Бэббиджа: «Шестеренки мельче песчинок». Омерзительно — картина нелепая — и во сне вызвала только гадливость: словно разворошили муравейник. Нет-нет — механизмы не крошечны, а бесконечно малы — это другой порядок бытия, как однажды поймут.



Эшфилд,

15 апреля 2002

Дорогая моя,

Как я рада слышать твой голос! Прости, что так волнуюсь при разговоре, когда нас разделяет такое расстояние, — наверное, все еще к этому не привыкла —

к тому же я слышала сама себя, мой голос отдавался слабым эхом, будто слова доносились с какого-то прибрежья — и говорить долго я не могла. Чудную открытку, конечно, получила — она на холодильнике.

Ну и ну. Я просто поражена. Не знаю, чем больше: тем, что ты взяла да и нашла его (думаю, это было не так уж трудно, хотя мне самой ни за что бы не сообразить, как), или тем, зачем он тебе понадобился. История просто поразительная — с этой самой книгой, этой рукописью. Надеюсь, она принесет тебе много всякой пользы — даже очень много, хотя что из нее можно извлечь, я, по правде сказать, не знаю. Какая польза от того, что нашелся Ли, не знаю тоже. Помню прекрасно его одержимость Байроном: пожалуй, это звучит чуточку — как бы это сказать — высокопарно, что ли. «Увлеченность» — вот более простое и, возможно, более точное слово, потому что он уже тогда (так я думала) был близок к тому, чтобы от него отвлечься.

Почему меня удивляет, что ты взялась его искать? Вообще-то, не должно. Думаю, это вполне естественно — и даже неизбежно; удивительно то, что ты с этим так долго тянула, если учесть, как мало ты им интересовалась: казалось естественным, что тебе совсем нет до него дела. Знаешь, я всегда хотела тебе со временем все объяснить — насколько бы смогла; прошлое лежало наготове, и я знала, что когда-нибудь придется за него взяться — когда тебе это понадобится; объяснить и его, если смогу, — и что я сделала тогда и чего не сделала. Мне казалось, что я определю, когда настанет подходящий момент. Казалось, что я на это способна — но раз так и не угадала… нет, что-то я не о том — похоже, заговариваюсь, будто свихнулась или под кайфом, но все-таки это не совсем так. В общем, жили мы тогда с тобой на Ривер-Айленд, и я тебе надоела, надоело тебе и рубить дрова, качать воду, чистить ламповые стекла, жить без телефона, без друзей. Знаешь, а я любила Ривер-Айленд: я бы сказала «всей душой», но это не так, потому что ты уехала, а мне хотелось, чтобы ты оставалась со мной, и было так грустно от твоей неугомонности. Господи, как давно!.. Мы разлучились надолго: ты училась в школе, потом в Нью-Йорке. В общем, (опять! вечно вылезает это «в общем»), когда я наконец вернулась к этой истории — сама, для себя — когда Иона начал болеть, — тогда все вдруг показалось

мне пустяками: я даже не заметила, что это случилось и когда именно. Теперь чуть ли не кажется, будто ничего и не стряслось, — столько всякого произошло с тех пор. Вот так убираешь старое постельное белье, в котором сейчас нужды нет, а через сколько-то лет открываешь ящик — и все оно в ржавых пятнах, заплесневело и тебе оно вовсе без надобности. Ты знаешь, что вместе мы прожили только четыре года. Пять. Но спрашивай меня обо всем, Алекс, и я отвечу.

Да, это верно, что он хотел назвать тебя Гайдэ, а я не позволила. Но если честно, то я хотела назвать тебя Аулит. Такое красивое имя. До сих пор, стоит мне о нем подумать, как сердце щемит, не то согревается, словно это любимый ребенок, который так и не родился. Но тут уж он вмешался — и запротестовал. И я назвала тебя в честь моей бабушки, он не возражал.

Алекс, я люблю тебя. Ты это знаешь. Надеюсь, вы с Теа сможете приехать этим летом: здесь будет так замечательно, мы очень много сделали с тех пор, как ты в последний раз все тут видела. Мы сможем поговорить — обо всем, о чем захочешь. Прости.

Мама

PS Я не против, если ты дашь ему здешний адрес: тысяча против одного, что он им не воспользуется. Но мне его электронный адрес не нужен. Я все еще электронной почтой не пользуюсь. Марк говорит, что мне бы понравился интернет, да я бы из него просто не вылезала, — и я ответила: ну да, потому-то я им и не пользуюсь.

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Fin[51]

Вот последняя порция. Закончил ночью — вернее, рано утром: перенес для тебя в компьютер свой рукописный вариант. Увидишь, к чему относится та единственная страница, которую Ада сохранила. Я едва ли не слепну: сияние зримой книги так божественно-пронзительно, что глядеть в нее часами значит (как сказал бы Б.) опустошить взор — и, быть может,

навсегда. Ну да ничего. У меня нет слов, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты ее спасла. И передай мою благодарность Теа, если она ее примет.

Помню, когда мне было лет девять или десять, я сам прочитал «Похищенного». Мне приходилось расшифровывать каждую страницу, залезать в словарь — и все равно без толку, — спрашивать о значении слов у отца, так что чтение походило на состязание или на битву, но я добрался до конца — я победил, а книга победила меня. Набрав последнюю фразу байроновского романа, я замер и просидел неподвижно с четверть часа. Чувствовал себя так, будто сразил дракона — или он меня одолел — или и то и другое вместе.

О названии. Ада затрудняется сказать, заглавие ли это, и даже высказывает сомнение, не ошибкой ли оно оказалось в начале первой страницы, — возможно, эти слова помещены там по какой-то иной причине и не связаны с основным текстом; по ее словам, заглавие было написано другими чернилами, но, разумеется, не в нашей воле это проверить. Начертал его Байрон в начале, позже или напоследок — но я полагаю, что на этом заглавии автор и остановился, и то, что его смысл проясняется только в конце, — не случайно. Я вспомнил Стендаля (который любил похваляться своей кратчайшей встречей с Байроном) — тот считал своим лучшим романом «Пармскую обитель», хотя монастырь, где герой кончает дни, в книге не появляется, не упоминается даже — вплоть до последней главы. Название романа — завершение его. Так же и здесь.

Ли

* * * * *

От: "Лилит" smackay@strongwomanstory.org
Кому: "Смит" ‹ranovak@strongwomanstory.org›
Тема: Есть проблемы??

Милочка,

Возникла какая-то проблема? Не получаю от тебя мейлов, зато от Джорджианы пришло странное сообщение: она пишет, что «продвижение» сайта может быть на некоторое время отложено до тех пор, пока ТЫ вновь не станешь уделять все свое внимание

«первоначальной задаче». Джорджиана, правда, добавляет, что ты ей нравишься, она тобой восхищается, ей по душе наш сайт и т. д., и т. д. — словом, все остается по-прежнему, но что, черт подери, происходит? Мы бьемся над ее мейлом, точно это какое-то тайное послание, которое мы не можем расшифровать. Ты не поможешь?

Привет

Лилит

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: "Тea" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Сумасшедшая

ДЖОРДЖИАНЕ ДЕЛА НЕТ ДО РОМАНА. Он ее не интересует. Даже читать его не хочет. Ужасно расстроена, что в бумагах не оказалось компьютерной программы, новой математической теории или чего-нибудь в этом роде. Говорит, что МИР СЫТ БАЙРОНОМ ПО ГОРЛО, А ВОТ АДОЙ — НЕТ. Представляешь? Считает, что мы должны прекратить работу над рукописью и подготовкой ее к печати, — нужно вернуться к ТОМУ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО. Она не понимает, как важно, что Ада это сделала, — важно для понимания самой Ады. Ее отец: вот что важно. Она так и думала. Она умирала, но посвятила этому оставшийся ей год. И это не важно?

Лилит дергается. Боится, что Джорджиана вот-вот откажется финансировать наш сайт, и виной тому я, раз отвлеклась на другое. Что, если меня уволят? Придется ей позвонить и пуститься в объяснения.

Может, придется обольстить Джорджиану. Работу я не прекращу. Не могу.

С

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Письмо и просьба

Думаю, тебе интересно будет письмо, на которое я наткнулся: Байрон пишет своему издателю Джону Меррею. Пишет четыре года спустя после того, как навсегда покинул Англию. Письмо отсканировал в библиотеке один студент (мне до сих пор это не под силу) — привожу отрывок:

Дорогой сэр! — Сегодня и сей час (малая стрелка Часов указывает на единицу) моей дочери исполнилось шесть лет. Хотелось бы знать, когда снова ее увижу — и увижу ли когда-нибудь. — Заметил одно любопытное совпадение, которое представляется едва ли не роковым. — Моя мать — моя супруга — моя дочь — моя сводная сестра — моя внебрачная дочь (насколько мне известно) и я сам — все мы единственные дети. В союзе моего отца с леди Коньерз (единственным ребенком) родилась только моя сестра; во втором его браке (также с единственной дочерью в семье) — снова только один ребенок. Леди Байрон, как вы знаете, также была единственным ребенком — как и моя дочь etc. — Не кажется ли это довольно странным — такое скопление единственных отпрысков? К слову — пришлите мне миниатюру моей дочери Ады. — У меня есть только гравюрный оттиск — он дает лишь самое малое представление о ее внешности. — Слышал на днях от одного английского путешественника, что нрав у нее невероятно горячий. — Это так? — Вполне вероятно, если учесть ее родословную. — Мой характер таков, каков есть, — вам, наверное, нетрудно угадать; добавьте характер моей супруги — очаровательный и плотнейший сгусток Необузданности — вот из чего и сложился нрав Ады — не говорю уж о ее бабушках: обе, насколько я знаю, являли собой дивные образчики женского Духа, какие вам только и пожелалось бы лицезреть.

Честно сказать, я удивлен, что он так часто думал о дочери: мог точно высчитать день и час ее рождения — и отметить его. Совпадение (возможно, фатальное, как сказал бы сам лорд Байрон) состоит в том, что это письмо попалось мне, когда я разбирал страницы, где описывается заточение вымышленного ребенка, Уны, в обществе зловещего трио пожилых родственниц.

Это мне напомнило о том, что новейшему твоему изображению, которое у меня хранится, уже пятнадцать

лет (однажды твоя мать перестала их мне посылать: вероятно, решила, что это не нужно, поскольку наша связь прервана так давно). Не можешь ли прислать мне другой снимок? Уверен, что тебе нетрудно будет его оцифровать: это куда проще, чем рисовать миниатюру. Буду очень признателен.

Ли

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@nietrognome.net.au
Тема: RE: Письмо и просьба

Как тебе такой вариант: я пришлю фото (придется попросить из дома или пойти к фотографу; сниматься не люблю, но сделаю исключение), если ты мне поможешь — еще кое в чем. Впрочем, не только мне. Всем нам (и теперешним, и тогдашним).

Мне нужно, чтобы ты написал ради меня письмо. Той, кто владеет сейчас оригиналом примечаний и зашифрованных страниц. Имени ее не называю, иначе она взбесится. Ты пришлешь мне письмо, я переадресую ей, А ТАКЖЕ той женщине, с которой сотрудничаю в проекте «Сильные женщины»: она тоже страшно заинтригована и озабочена загадкой, хотя ничего практически о ней не знает. Пиши в предельно обтекаемых выражениях, однако звучать они должны максимально веско. Подчеркни, что данная находка (о которой тебе известно только через меня) является одним из наиболее важных литературоведческих открытий — и т. д., и т. п. Изобрази того, кем ты был, — профессора, исследователя творчества Байрона (или как там это называется), — и того, кто ты есть: видного режиссера и правозащитника. Пусти в ход все, что можно. Ты должен ее убедить. Должен ее обольстить — нет, Господи, не то, — расположить ее к себе мужским авторитетом и gravitas[52] — это слово подходит? Просить об этом мне неловко по множеству причин. Но я вот прошу.

С

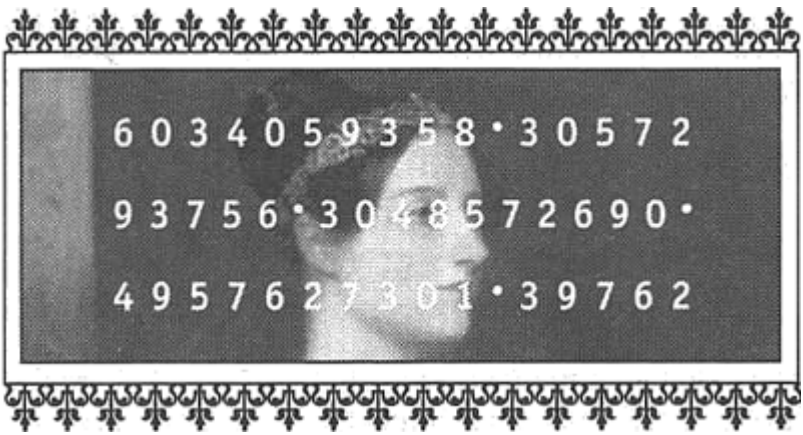
* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: Gravitas

А как быть с тем, кто я в придачу: разыскиваемый Интерполом беглец от правосудия — согласно определению суда, повинный в изнасиловании?

Я сделаю все, о чем ты просишь. Только знай точно, что — а вернее, у кого — ты просишь.

Ли



Глава четырнадцатая, *в которой все становятся старше, а кое-кто умудренней*

Labuntur anni[53] — прошло их несколько, и вот мы видим, как в Кале сгружают с корабля диковинный Экипаж, за перемещением которого, стоя на палубе, обеспокоенно наблюдает через монокль низкорослый Джентльмен. Стоит прекрасный майский день — как в начале любой романтической повести, а также иных правдивых (наша скромно помешается где-то посередине); однако день — будь он хоть майским, хоть ноябрьским, ясным или пасмурным — значения не имеет ни малейшего — упомянут он единственно с целью вызвать в читателе приятное предвкушение того, каким образом будет развертываться начатая (или возобновленная) история. Низенький джентльмен — не кто иной, как наш знакомый Достопочтенный Питер Пайпер, эсквайр: этим вечером выглядит он, с прискорбием приходится признать, менее достопочтенным, нежели при нашей последней с ним беседе, — что же до экипажа, теперь благополучно сгруженного на пристань и вновь снаряжаемого для сухопутного путешествия, то он вряд ли может принадлежать кому-то другому. На дверцах экипажа выгравирован Герб мистера Пайпера, и кучер (недавно нанятый) готовится взяться за поводья, как только будут запряжены подобающие лошади.

Экипаж и вправду являет собой восхитительный образчик каретного искусства — небольшой, однако вместительный *lit de repos*[54] или *dormeuse*[55] — претендующий на сходство с прославленной каретой Буонапарте, которую нашли брошенной в Женаппе, когда выяснилось, что *тому* низкорослому джентльмену понадобится она нескоро. Внутри достаточно пространства для мирного сна; есть там и плита с дымоходом, и полка с книгами: мистер Пайпер не мог странствовать без любезных сердцу Овидия и Монтеня, а также выпусков «Рэмблера», не говоря уж о прочих томах. Искусно размещены там посуда (тарелки, чашки и бокалы), две спиртовки и множество различных емкостей, ящичков, крючков, ремней и коробочек для всевозможных предметов, какие только может счесть полезными путешественник, намеренный не просто передвигаться в своем экипаже, но и обитать в нем.

Каким образом мистер Пайпер сделался обладателем подобной повозки? Эта история долго будет пересказываться в

тех кругах, где некогда он был желанным гостем — иными с восторгом, иными с презрением: однажды Достопочтенный, проведя за карточным столом целую ночь, когда ему сопутствовало неслыханное везение, подкрепленное (как и всегда) способностью к точному Расчету, обнаружил, что его партнер — юный джентльмен, только-только достигший Совершеннолетия и вступивший в права состояния, разорен дочиста. Юноша в полном отчаянии рухнул на тахту, повторяя, что он теперь нищ: более того, о предстоящем бракосочетании нечего теперь было и думать. Услышав эти слова, Достопочтенный — в груди у него билось живое сердце, а не тикал часовой механизм — вернул юноше (немного себе удивляясь) все им проигранное с условием, что тот даст зарок никогда более не брать карты в руки. Однако за собой он оставил названный экипаж, или dormeuse, в последний момент поставленный юношей на кон. Позднее мистер Пайпер говаривал: «В нем мне лучше спится — оттого, что я поступил как должно».

Теперь, однако, те самые боги, что взирали на мистера Пайпера с благосклонной улыбкой, перестали расточать ему свои милости. Как известно каждому, кто живет игрой, Фортуна подобна мосту в Райские Кущи, каким его представляют себе мусульмане, — он узок, словно паутинка, сотканная изголодавшимся пауком, и остер, будто лезвие бритвы, да к тому же нависает над владениями Иблиса, так что многие свергаются с него в огонь — зрелище не самое привлекательное. Достопочтенный неизменно держал в голове пример неудачников и, хотя продвигался вперед довольно уверенно, блюдя величайшую осторожность и надлежащее Смирение, но в конце концов сорвался в пропасть и он. И дело-то было всего в тысяче — или двух — ладно, в десяти тысячах фунтов, занятых у одного партнера, чтобы расплатиться с другим: приняв это во внимание и не дожидаясь появления Адвоката с Доверенностью, мистер Пайпер пустился в заграничный вояж. Он намеревался свободно разъезжать туда и сюда, проживая, по возможности, у себя в экипаже — для пущей Экономии: слуга будет исполнять обязанности кучера и камердинера, а также готовить на плите *maccaroni*, которые мистер Пайпер собственноручно приправит соусом из умело подобранной коллекции, — и на всем пути, пока карета катит по дорогам, до слуха его будет доноситься приятельское позвякивание пары дюжин бутылок «Кло Вужо» и тому подобного — более утешительной мелодии сыскать трудно. В Париж мистер Пайпер не направится: там вновь воссели Бурбоны, а он отчасти *радикал* — и в убранство кареты входит бюст павшего императора, заслоненный жестянкой с зубным

порошком. Куда лежит путь — в Брюссель, в Нидерланды, в Германию или в Венецию — он и сам точно не знает — куда вывезут лошади. Расположившись на ночлег подобно цыганскому табору в поле поблизости от проезжей дороги, мистер Пайпер нахлобучил на голову ночной колпак, подоткнул под себя одеяло, пристроил рядом бокальчик с Бренди и при свете лампы пишет письмо далекому другу: необходимо поведать ему о перемене в своих обстоятельствах, сообщить новости (что он педантично исполнял на протяжении нескольких лет) обо всех давних знакомых, о дурных и о хороших слухах, наводнявших Город и Страну, прах которой он ныне тоже отряс со своих ног.

«ДОРОГОЙ АЛИ, — так начиналось письмо, — взглянув на почтовые штемпели, ты поймешь, что я покинул родной Остров и отправился в странствия по чужим краям. Думаю, что почтовые отметки на следующем письме укажут на совсем другую страну. Отвечая на него — если соблаговолишь посылать со своего мыса или из своей Цитадели короткие записки, которые мне столь дороги и которыми ты меня радовал в прошлом, — адресуй их "в Брюссель, до востребования" — там через месяц я буду непременно, хотя куда направлюсь далее, мне еще неизвестно. Должен сообщить тебе, дорогой Друг, что мои обстоятельства далеки от тех, каких ты мне пожелал бы (знаю, ты всегда желал мне только *добра*), — однако они могли оказаться и куда хуже: меня не заточили в тюрьму и не пронзил Шпагой разъяренный Заимодавец (если так называется человек, у которого ты занял деньги). Нет, но я бежал с позором, признаюсь честно, и все-таки лелея надежду вернуть себе состояние и занять прежнее положение: оно поможет мне вновь заручиться Доверием джентльменов, которым я (временно) злоупотребил, и возвратить им долг — хотя каким образом, по сю пору не имею понятия, поскольку принял твердое решение отказаться от Игры, а иного способа зарабатывать деньги у меня нет.

Но довольно об этих прискорбных и мрачных событиях: мне незачем обременять тебя подробностями, которые покажутся тебе удручающе знакомыми — пересказанной заново старой сказкой, "в унылый сон вгоняющей" и проч. — Вместо того доставлю тебе очередной запас новостей, хоть и они — *лишь вариации прежней темы*. Разводов в этом сезоне не намечается — правда, множество находится в зачаточном состоянии — иными словами, в форме брака. Лето выдалось умеренно теплым, и кровь в жилах власть имущих не столь разгорячена, как это бывало в другие, памятные нам времена. Нынче я вмешался только в один-единственный роковой спор, став посредником между Лейб-гвардейцем и вспыльчивым Священником — неистовым и надменным, под

стать Ирландскому Картежнику или Корнету. Той женщине для прекращения ссоры достаточно было произнести *два слова* (которые ни в коей мере ее бы не скомпрометировали) — но она отличалась крайним бездушием, и на лице у нее я заметил проблеск отвратительного довольства. Мне в конце концов удалось примирить обоих *enragés*[56] — к ее величайшему разочарованию. Нашего выдающегося друга миссис Цитерею Дарлинг постигли трудные времена: ее жизнь "сошла под сень сухих и желтых листьев", что сулит неважные перспективы для леди, столь преданной Удовольствиям, — хоть она выглядела как никогда энергичной, когда минувшей зимой подала на некоего герцога в Суд за нарушение брачного обещания, почувствовав себя глубоко оскорбленной тем, кто должен был усеять розами ее жизненный путь (так она это представляла), — и она бы выиграла процесс, если бы противная сторона не расставила запоздалую *ambuscade*[57] — предъявив письма, которые, боюсь, сполна выставили двуличие миссис Дарлинг в этом деле. Адвокат торжествующего ответчика хорошо нам известен — это некий мистер Бланд — весьма искушенный в словесных баталиях. Миссис Дарлинг отбыла на континент, где проживает сейчас в одиночестве, завесив зеркала.

Мой дорогой Друг, боюсь, что потчую тебя всякими пустяками, мало что значащими в твоей пустоши, — лишь бы оттянуть изложение новостей, непосредственно до тебя касающихся. Судьба вынесла леди Сэйн суровый приговор: даже те, кто мало был к ней расположен — невзирая на многие ее достойные восхищения качества, — ей сочувствуют: дорогой Али, она *сошла с ума* — либо от горя из-за твоего затянувшегося отсутствия, либо от чрезмерного бремени многочисленных бед, либо от прикосновения палочки злой феи, чего никто не мог предвидеть, — сказать не могу. Знаю только, что ее оторвали от семейного круга и перевезли в более благоприятный климат: там ей прикладывают пиявки, ставят банки и лечат прочими средствами под надзором медиков и психиатров — вернее, *лечили*, поскольку врачебная Наука признала себя бессильной и все ее представители отступились; насколько мне известно, леди Сэйн пребывает сейчас, как правило, в одиночестве, под присмотром компаньонок и надзирательниц, проводя время исключительно за молитвами и за решением Математических Задач, никогда ей не надоедающих.

Узнав эти новости в самом разгаре прошедшей зимы, я навел справки и убедился, что твою Дочь переправили в одно из фамильных Владений — выбрав его среди прочих унылых и непривлекательных, которыми это семейство располагает.

Дальнейшие разыскания помогли установить его местонахождение — и что же? Это оказался тот самый Дом — большой и серый, расположенный на крутом утесе у морского побережья, где в злополучном декабре я соучаствовал, дорогой Друг, в величайшей из твоих оплошностей, до того времени тобой совершенных, и, вероятно, величайшей из тех, какие ты совершишь за всю последующую жизнь, если это можно назвать жизнью. Запасшись всем необходимым для путешествия — медвежьей полостью, серебряной фляжкой лучшего Арманьяка, парой пистолетов и бобровой шапкой, — я отправился в дорогу с намерением посетить этот дом, дабы выведать кое-какие сведения для передачи тебе, — о! каким же темным и холодным он мне показался — башней, в которую заточена одинокая Принцесса, лишившаяся родителей, — впрочем, она не одинока: ее неотступно оберегают три Женщины, престарелые Карги, схожие с мифическими старухами, которые делят между собой единственный Глаз, и он неусыпно бдит над ребенком, охраняя девочку. Поскольку я твой друг и союзник, меня в дом, разумеется, не впустили — после многократного употребления дверного молотка врата ненадолго приоткрылись и тотчас вновь захлопнулись прямо перед моим любопытствующим носом — и прежде чем я успел просунуть в щель ногу, мельком твою дочь мне удалось увидеть. Она стояла на верхней площадке лестницы, где на нее падал свет из окошка — если только моим глазам предстал не дух и не ангел небесный: ее длинные волосы цвета воронова крыла словно были охвачены пламенем, белоснежное платье казалось алебастровым; она что-то держала в руках — мне почудилось, дохлую Кошку, но, скорее всего, это была любимая Кукла; на лице девочки застыло выражение, с каким души смотрят, наверное, от Аверновых врат на мир живущих, простертый вдали, смутно припоминая былую жизнь и тамошних обитателей. Затем тенью навис над нею черный Рукав, на плечо легла цепкая рука, в ту же секунду дверь захлопнулась — и это все, о чем я могу тебе доложить.

Дорогой друг! Твою дочь мнят отродьем Безумия и Безбожия, унаследовавшим (согласно всеобщему Мнению) твои темные Страсти и дурные наклонности; боюсь, что свободы ей не видать — и она вырастет под тем кровом хилым тепличным цветком. Не знаю, какие средства у тебя в распоряжении, разве что вернуться сюда, где можно будет не только подать апелляцию, но и принять прямые меры для того, чтобы *отобрать* свое достояние — беречь его и защищать. Не сомневаюсь, что наш мистер Бланд возьмется защищать твои интересы — хотя противная сторона наверняка выставит мощную оборону. Что ж! Больше не добавлю ни слова —

ты счел бы мое поведение неблагородным, попытайся я утаить то, что *знаю* — но настаивать на *невозможном* (если это действительно невозможно) — сохрани Господь! Позволь мне сменить тему — или же умолкнуть — ибо я проваливаюсь в объятия Морфея. Мой кучер, опасаясь Чужеземцев, просидит всю ночь на козлах с заряженным Пистолетом — меня стерегут, как стерег Ио стоокий Аргус, — надеюсь, с рассветом страхи развеются — и мы снова двинемся в путь. — Уж эта мне бродячая жизнь! Напишу тебе снова, когда будет о чем — остаюсь, сэр, преданным и почтительным слугой и другом вашей светлости, ПИТЕР ПАЙПЕР».

Много воды утекло и многие мили одолели колеса *dormeuse* до той минуты, когда Достопочтенный обнаружил в швейцарском почтовом отделении среди прочей корреспонденции, которую он поспешно отодвинул от себя (она требовала немалого мужества), короткую Записку — без штемпеля и обратного адреса: *«Благодарен тебе за сердечную доброту и дружеские чувства. Ноги моей не будет на той земле. — АЛИ».* Ответить Достопочтенный мог только вздохом и пожатием плечей.

После дальнейших странствий, перемежавшихся заездами в гостиницы, когда проживание внутри тесного пространства *dormeuse* начинало ему докучать, Достопочтенный прибыл в Италию — в том, что этот Рубикон пересечен, он живо удостоверился благодаря расписным Потолкам каменных домов, где он останавливался; зловонным Отхожим местам, с которыми приходилось мириться; а также постоянной угрозе со стороны Разбойников (породы, на отлично утрамбованных дорогах Швейцарии не встречавшейся вовсе) — кучер неизменно держал теперь на козлах два заряженных пистолета, да и Достопочтенный не расставался со своим — однако, нападения так и не дождавшись, путники благополучно прибыли в Милан, откуда через Ломбардскую низменность направились прямиком в Горгонцолу — Брешию — Верону — как восхитительны сами звуки! — и только в Местре Достопочтенному пришлось высадиться из своего обиталища, для плавания не приспособленного, ради того, чтобы попасть на Город-Остров, о чем он мечтал всю жизнь, — хотя непроглядная ночная Тьма и проливной Дождь в воображении ему не рисовались!

Скоро засияло солнце, по-адриатически ласковое, — и мистер Пайпер настолько освоился в *la Serenissima*[58], что возобновил переписку со своим главнейшим (и столь небрежным) Корреспондентом; одно из посланий начиналось так:

«ДОРОГОЙ АЛИ, я доволен этим Городом, как никаким другим — и, вероятно, здесь осяду; правда, однажды свалился в

Канал и подхватил Простуду, а само падение могло завершиться фатально, поскольку я, в отличие от тебя, искусством плавания не владею, — очевидно, тут оказаться в канале столь же обычное дело, что в Лондоне оступиться в сточную Канаву: разница только в том, что здешние улицы состоят из Воды. По той же причине я дал отставку моей любимой *dormeuse* и велел поместить ее на сохранение, а сам занял *piano nobile*[59] в доме не слишком большом и не очень сыром. Отовсюду слышу, будто здешнее Общество по сравнению с былыми днями величия пришло в упадок, однако скитания приучили меня к тому, что толки о минувшем величии и нынешнем упадке услышишь, где бы ни очутился. И все же теперь здесь остались только два *conversazioni*[60], стоящие посещения, и только четыре Кофейни, открытые до утра, тогда как раньше была целая дюжина первоклассных.

По утрам занимаюсь итальянским (впрочем, вокруг слышен, кажется, совсем иной язык, и его тоже придется изучать), а по вечерам посещаю *conversazione*, где разговаривают и по-английски, равно и на хорошем итальянском, — признаюсь, звучание его мне очень нравится: он похож на латынь, распустившуюся, словно бутон розы и ставшую мягче сливочного масла — даже приветствия и случайные замечания мнятся обольщениями. О Венеции говорят, будто она тысячу лет собирала богатства всего мира, а ближайшие два-три столетия посвятит тому, чтобы *растратить* их на Удовольствия: это безрассудное стремление вовлекает в себя неудержимо и головокружительно — ему невозможно противиться».

Позднее письмо продолжилось:

«Узнаю все больше о Венеции и венецианцах. В области любви *моральные устои* у них отсутствуют — что, надо признаться, меня скандализировало, — однако *свода правил*, предписывающих каждому свое место, они строго придерживаются: нарушения влекут за собой самые тяжкие *общественные* кары — изгнание, остракизм, вплоть до вызова на Дуэль, хотя венецианцы по преимуществу народ миролюбивый и защите Чести предпочитают Развлечения, помимо самых крайних случаев. Названный кодекс возводит на пьедестал своих героев и героинь — о них я уже наслышан: мне указали на некую госпожу в летах, у которой всегда был только один *любовник* (супруг в расчет не принимается), а после кончины возлюбленного она осталась верна его Памяти и так и не выбрала ему замены — пример преданности и самоотверженности, наделивших эту даму ореолом *святости*.

Присутствовал я также при двух казнях и одном обрезании —

наблюдал отсечение голов и крайней плоти — обе церемонии весьма волнующие. Однако все эти дива — ничто, на мой взгляд, в сравнении со случайной встречей, которую я должен тебе описать: она не только рисует удивительные любовные нравы венецианцев, но и имеет к тебе близкое касательство.

До меня часто доходили рассказы об одном англичанине (хотя, как выяснится, и *не вполне* англичанине), который настолько усвоил обычаи Венеции, что сделался официальным любовником знатной венецианской дамы — юной супруги дряхлого старца, — строго соблюдая многочисленные суровые правили, управляющие его новым положением. Этому удивлялись, но вовсе не осмеивали: венецианцы подобные истории воспринимают чрезвычайно серьезно. В конце концов на каком-то маскараде мне показали этого человека — хотя он был в Домино, судить о его облике было трудно; мне почудилось только, что фигура у него не совсем обычна — то ли болезнь, то ли несчастный случай согнули его. Дама, за которой он ухаживал, обладала темными глазами, алыми губками и грацией в должной мере — или даже сверх того. Но какую привязанность он ей выказывал — с каким старанием предупреждал любое ее желание! Он принимает от нее веер — передает ей шаль — держит бокал *limonata* — распахивает окно, возле которого она сидит, — закрывает его снова из опасения миазмов — сидит близ нее, но немного *ниже*, ловя каждое ее слово, о чем бы ни заговорила, — а когда она насытилась удовольствиями, спешит вызвать ее Гондолу! (В эту минуту я и заметил, что он слегка *прихрамывает*, однако изъян ничуть не умерил достоинства, которое он придавал самым пустячным действиям.) Сопровождая свою *Amorosa*[61] к лестнице, он на ходу окинул меня острым взглядом — выражавшим, я бы сказал, *тревожный* интерес, — и я, полагаю, не замедлил достойно отозваться на него учтивым поклоном.

Вероятно, этот человек навел обо мне справки: довольно скоро в мое жилище на Фрецперии — по соседству с собором Святого Марка — явился миловидный паренек в ливрее и с презабавной важностью, словно это была *дипломатическая нота,* вручил письмо от этого джентльмена, на которое ему было велено дождаться ответа. Краткая записка содержала приглашение посетить автора этих строк у него дома, в такой-то день и час, — с тем, чтобы узнать кое-что представляющее для меня интерес. Почерк странным образом показался мне знакомым, точно я где-то его видел — быть может, только *однажды,* но случай этот должен был врезаться мне в память. Нечего и говорить, как я был заинтригован, — ты знаешь, что *неведомое* меня всегда увлекает,

и я не нахожу сил устраниться, пускай даже это дорого мне обходится! Словом, в ответе, столь же кратком, я выразил готовность последовать приглашению и проводил посланца задумчивым взглядом.

Итак, в назначенный час я накинул плащ, потребовал гондолу — вот тебе парочка прелестных словечек от госпожи Радклиф, — и гондола заскользила по воде к указанному palazzo[62]. День выдался таким, какими я привык наслаждаться: сочетание Солнца и Моря придают облитому серебром городу фантастический вид: он выглядит порождением волшебника — иллюзией, которую французы называют *le mirage,* — когда над песками пустыни парят окруженное деревьями озеро и гостеприимный караван-сарай, чтобы исчезнуть при приближении, — но этот мираж не исчезает, а только подстегивает воображение такой возможностью, сообщая городской жизни некую беззаботность.

На ступенях *palazzo* меня встретил тот самый паренек в ливрее и провел на второй этаж. Там я увидел хозяина, который — без прежнего черного одеяния, в обычном халате — казался меньше ростом. Он приветствовал меня небрежным жестом, поскольку вертел в руках добрый ярд кружевной ткани: смысл этого занятия оставался для меня загадкой, пока он не заговорил. "Есть два способа сворачивать дамскую шаль, — произнес он таким тоном, будто мы сошлись вместе для обсуждения именно этого вопроса — Мои собратья, похоже, этому научились, а я не умею".

Я спросил, кого он имеет в виду под *собратьями*, и он пояснил: тех, кто, подобно ему, взял на себя роль *Cavalier servente* при какой-либо даме. Это своего рода гильдия, добавил он, подчиняющаяся строжайшим правилам: *Cavalier servente* может вести себя по отношению к избранной *Servite*[63] так-то и так-то, но ни в коем случае не иначе; ухаживать за ней, исполняя все ее приказания, за исключением тех, что могут задеть его Честь; впрочем, чести его не наносится ни малейшего урона тем, что он сворачивает ее шаль, держит над ней зонтик и проч., и проч. Добиться такого положения непросто: предполагается, что *amicizia*[64] длится не один год; преждевременный Разрыв почитается вероломством и вызывает презрение. Если благоприятным образом возникает вакансия, то *amicizia* прекращается посредством *sposizia*[65] — и все заканчивается благополучно. Не могу передать, милорд, насколько досаждала моему собеседнику его неумелость, — отшвырнув в сторону шаль, он велел подать Закуски и предложил мне занять кресло возле жаровни — всем своим видом он, казалось, выражал порицание тонкостей светского обращения, полностью принимая, тем не

менее, их *gravita*[66], — его мрачный взгляд трудно было выдержать, однако на губах у него мелькала снисходительная улыбка, словно мирские обычаи он принимал за путаную загадку, которую готов некоторое время терпеть. Как только мы перешли к делу, меня охватило изумление: без всяких экивоков мне был задан вопрос — *знаю ли я о твоем местонахождении!* Мой собеседник, по его словам, усердно старался его выяснить, это ему не удалось, но, встретившись со мной на маскараде, он припомнил, что я каким-то образом с тобой связан.

«В прошлом, кажется, ваш друг прибегал к вашей помощи. Во всяком случае, именно вас он назвал своим Секундантом, когда послал вызов Призраку».

Я согласился, что выступал в этой роли — умолчав о том, дорогой друг, что был твоим секундантом и в другом поединке, когда твой противник действительно *стал* призраком, хотя в моем собеседнике и было что-то, побуждавшее к опасному легкомыслию, — не могу объяснить точно, но это так. Теперь я понял ясно, кто передо мной: это он претендовал на обличье того, кому уж никогда не вернуться, — он обращался к нам с такой дерзостью — а теперь открыто назвал себя *твоим* именем, прежде называясь им тайно!

"Итак, у меня к вам просьба, — продолжал мой собеседник, нимало не смутившись. — Я хотел бы, чтобы вы направили ему от меня конфиденциальное письмо". Я ответил утвердительно, добавив, что готов дать ему адрес, который надписываю на собственных письмах. Он отмел мое предложение и уточнил, что желает только, чтобы я вложил в мое письмо послание, которое он мне передаст. Далее он попросил меня держать все это в тайне — и полученное от него письмо, и даже то, что между нами состоялась беседа. Что ж! Мне почудилось, что эта просьба — не быть полностью откровенным — слегка задевает мою Честь, однако что-то подсказывало мне: умолчание *жизненно важно* для него — а возможно, и для тебя. Короче говоря, мой дорогой Друг, прилагаю письмо, доставленное мне *запечатанным* — печатью, тебе известной, которую ты к этому времени, вероятно, уже сломал; позволь только добавить, что податель сего послания (прости, что не называю его по имени и титулу, которым он пользуется — не понимаю, по какому праву) настоятельно заявил, что если письмо попадет тебе в руки со *сломанной* печатью, ты должен пренебречь как им самим, так и высказанными в нем просьбами. Уж не призыв ли оно содержит, и спешный? Впрочем, о сути дела я так и не имею понятия. Помимо прочего, под конец мой собеседник попросил приветствовать тебя, от его имени, словом: *Брат*».

Примечания к четырнадцатой главе

1. lit de repos: Покинув Англию весной 1816 года, Байрон путешествовал в специально построенной карете, схожей до мелочей с тою, которую Наполеон оставил в Женаппе во время бегства после поражения в России. Эта карета не была столь малой и удобной, как описанная выше, но огромной и черной, а также подверженной поломкам, и потому вскоре от нее пришлось отказаться.

2. юный джентльмен: Лорд Бротон (Джон Кэм Хобхауз) сообщает мне, что эта история, повсюду рассказываемая о мистере С. Б. Дэвисе, совершенно достоверна: он охотно отправлялся каретой из Кембриджа, где состоял в должности, в Лондон и там предавался любимому занятию — азартной игре. Мистер Чарльз Бэббидж также путешествовал на континент в подобной карете. Она была построена по его собственному проекту и достаточно устойчива для перевозки научной аппаратуры. Мистер Бэббидж именовал ее «дормобилем». Полагаю, любители подобных гибридных конструкций обычно собираются вместе летом с тем, чтобы опробовать свои занятные транспортные средства и с наслаждением предаться бродячему образу жизни.

3. Фортуна: С. Б. Дэвис, действительно, несмотря на свое мастерство и умение сохранять хладнокровие во время игры, лишился в итоге крупных сумм — лорд Бротон полагает, исчисляемых десятками тысяч фунтов. Он также занимал деньги у друзей и бежал на Континент, так и не возвратив долги. По всей видимости, это единственный пример бесчестного поступка со стороны мистера Дэвиса в той сфере, где бесчестные (а вернее, мошеннические) приемы отнюдь не в новинку; сфера эта, впрочем, держится на том, что большинство все-таки выполняет свои обещания и выплачивает долги вплоть до последнего, — а иначе скачки, игорные дома, тотализаторы и букмекеры по всему миру растаяли бы в воздухе без следа.

4. сошла с ума: Как, должно быть, просто и, допускаю, даже приятно обрушивать на своих врагов (или хотя бы на их тени) бедствия, которые и Богам было бы труднее наслать, нежели иным сочинителям. Мне прямо-таки чудится его смех — и я едва удерживаюсь, чтобы не содрогнуться.

5. Математические Задачи: Язвительная сатира лорда Байрона (см., напр., донну Инесу в «Дон-Жуане») зачастую приписывала моей матери холодно-математический склад ума, отвлеченного и целиком погруженного в Числа. На деле леди

Байрон имеет довольно скудное представление о Математике — как элементарной, так и высшей — и не притязает на знание таковой; единственное основание, которым руководился лорд Байрон, приписывая ей эту способность, заключается в том, что его понятия о математике были еще худшими.

6. единственный Глаз: Миф о Персее и Андромеде. Злыми они не были — они боялись всего и вся. Меня держали в неведении о том, что опасались они моего похищения, — однако дети, конечно же, понимают и улавливают гораздо больше, нежели предполагают старшие (впрочем, становясь родителями, мы об этом забываем). Я догадывалась, что составляю (или могу составлять) главную цель планов моего далекого отца, и хорошо помню трепет ужаса и предвкушения — смешанное чувство, чтобы не сказать больше, — которое меня охватывало, когда мимо проезжала карета или в поздний час раздавался стук дверного молотка: я убеждала себя, что давно ожидаемое похищение вот-вот произойдет Даже сейчас

7. слегка прихрамывает: Мистер Мур приводит в своих «Записках» слова миссис Мерсер Эльфинстоун о том, что лорд Байрон избрал местом жительства Венецию, где его физический недостаток не будет столь заметен, поскольку пешком там не ходят.

8. госпожа Радклиф: Ее итальянские романы — «Замок Отранто», «Итальянец» и другие — в годы юности лорда Б. читались всеми без исключения. Обе книги стоят на полке в моем девичьем кабинете. Я так долго вглядывалась в их корешки, что наверняка хотя бы однажды эти книги раскрывала, но уверенности в этом у меня нет, а проверить нет сил.

9. Cavalier sewente: Одно из наиболее забавных писем лорда Б. описывает, как он принял на себя эту роль по отношению к даме, ставшей его последней привязанностью, — графине Терезе Гвиччиоли, ныне маркизе де Буасси. Графиня прибыла в Лондон в 1835 году — тем летом, когда я вышла замуж. Знакомство с ней было для меня, разумеется, невозможным, однако мистер Бэббидж встретился с ней в Гор-Хаусе; доктор Лардинер, лекции которого о Разностной Машине я слушала, и мистер Эдвард Бульвер, ныне мой друг, оба посетили ее там; от них я узнала позднее о трогательном эпизоде: графиня пожелала присутствовать при моем бракосочетании (почему-то она предполагала, что оно состоится в церкви Святого Георгия на Ганновер-сквер) и в назначенный день провела там некоторое время в ожидании. Церемония, однако, происходила в гостиной частного дома, в нескольких милях от церкви. Для этого требовалось особое разрешение — как и моей матери для

свадебной церемонии в Сихэме. На подобной приватности настояла моя мать — почти тоном приказа, — на что мы (я и мой муж) дали согласие странно

Сейчас мне пришло в голову, что рукопись романа лорда Байрона могла попасть в Лондон, в руки итальянских патриотов, и другим путем: все они были знакомы с мистером Бэббиджем — брат маркизы был горячим патриотом и бунтовщиком: он сопровождал моего отца в Грецию и находился с ним в последние минуты его жизни — нетрудно предположить, что маркиза могла владеть рукописью — и вполне понятны причины, по которым она об этом не обмолвилась, — в своих воспоминаниях маркиза изображает моего отца Ангелом, на чью репутацию не дозволено пасть ни единому пятну если мне не суждено пережить маркизу, вычеркните этот абзац

Глава пятнадцатая, *в которой Люцифер и его брат, возможно, приходят наконец к соглашению*

Не минуло и месяца с тех пор, как последнее письмо Достопочтенного Питера Пайпера из Венеции, снабженное множеством марок и штемпелей, было вручено итальянской почте (сиречь пущено на ветер, ибо она также веет где хочет), и вот на берегу Большого Канала возникла одинокая фигура — новоприбывший носил длинное одеяние, черное, как обожаемое участниками венецианских маскарадов домино, которое притягивает взор куда надежнее многоцветных костюмов и накидок. Длинные нечесанные волосы были всклокочены, словно пук темных водорослей, — на щеках, нетронутых в тот день бритвой цирюльника, пролегли тени, — а от скулы до уголка рта тянулся мертвенно-бледный шрам, напоминая о давней истории, содержание которой осталось в тайне. Другую, сходную историю таят в себе темные, глубоко запавшие глаза, что безучастно и бесстрастно окидывают пестрое веселье. Поблизости, отступив на шаг, стоит спутник приезжего — тонкий, закутанный в белое одеяние ливийских кочевников: участники карнавала мельком взглядывают на него, принимая за такого же, как они, гуляку, однако юноша (годами младше своего хозяина) сохраняет ровное и невозмутимое хладнокровие.

Неужели фигура в черном — это Али, пятно на венецианском солнце (в таком виде, в таком сопровождении)? Мои читатели (если Повесть обрящет их — и хоть один доберется, вместе с Автором, до этой сцены) спросят, вероятно, какие испытания и в каких краях умирили эту страстную и отягощенную душу, наполнили взгляд сосредоточенным покоем? Но вопросы тщетны: будь все эти события пересказаны, повесть удлинилась бы вдвое — предоставим их воображению; тем более — взгляните: из близлежащего *palazzo* выходит приветствовать новоприбывшего Гостя сгорбленный и нескладный человек, одетый в синий сюртук и жилет из богатой парчи, — это брат Али, Энгус.

«Не знаю, — обращается он к Али, — могу ли я протянуть тебе руку. Не потерплю, если мне не подадут руки в ответ».

«Мы оба Сэйны, — отвечает Али. — Семья пренебрегла тобой, а я ее возненавидел — во всяком случае, главу рода, пока он был жив, — однако других Родичей у меня нет и не будет, как не

будет и другого Отца — а он мой точно так же, как и твой».

«Тебя он хотя бы любил».

«Он никого не любил — даже самого себя — себя, пожалуй, меньше всего».

«Отдаю первенство твоему опыту, тебе лучше знать», — отозвался Энгус, и какое-то время оба взирали друг на друга, словно желая вызнать, обменяются они наконец улыбками, или пережитое лежит между ними обнаженным мечом.

«У кочевников пустыни, среди которых я жил, — начал Али, — есть собственное понятие о Религии, странное смешенье Христианства и учения Магомета. Они рассказывают, что вначале у Бога был не один сын, а двое: первый Тот, Кого назвали Иисусом, а второй — Люцифер. Поначалу именно между ними произошла ссора, они сразились — и после битвы Люцифер со своими ангелами покинул Небеса, а Иисус остался там. Затем, когда Иисус, вочеловечившись, сорок дней постился в пустыне (страннику охотно покажут то самое место — кочевникам оно отлично известно), Люцифер вновь явился бороться с Ним, как и в незапамятные времена. Люцифер призвал брата отречься от Отца-тирана и вступить в союз с ним, вследствие чего власть над землей перейдет к Иисусу, а Люцифер возвратится в свое обиталище. Иисус объявляет эту сделку гнусной и провозглашает Свою нерушимую преданность Отцу Небесному и намерение следовать плану, предначертанному Богом для Человека. Засим Люцифер расстается с Иисусом, который так и сидит на скале, — но, прежде чем устремиться в адские области, бросает своему божественному Брату такие слова: *"Он всегда Тебе благоволил "*».

«Легенда замечательная, — сказал Энгус. — И к тому же удивительно касается дела, о котором я собрался тебе поведать. Но ты, должно быть, утомлен дорогой. Войди в дом, умойся и подкрепи силы. Все прочее пока неважно — и ты согласишься, быть может, отправиться на Лидо покататься верхом?»

«Мне сказали, что в Венеции нет лошадей, — помимо тех, что отлиты из меди, над кафедральным Собором».

«И моих. Идем! Могу я позаботиться о твоем слуге?» — Энгус имел в виду юношу в белом, который молча и недвижно стоял позади Али.

«Он не согласится от меня отойти, — ответил Али. — Если ты не против, он будет стоять возле моего стула». При этом хозяин и слуга (если такими были их отношения) обменялись взглядами: Энгус это заметил, но вряд ли узнал чувства, мало ему знакомые, — нежности, доверия, любви. «Я не против», — коротко бросил он и с тяжелой неуклюжестью ступил на крыльцо.

За ужином Али сумел вставить слово об единственной

известной ему — и удивительной — подробности жизни своего кровного брата в Венеции: о *liaison*[67] с некой дамой, за которой тот ухаживал, — о связи, принявшей форму рабского служения.

«Так оно и есть, — подтвердил Энгус. — *Cavalier* обязан дать согласие быть также и *serviente.* Я пояснил моей госпоже, что всей душой готов угождать ей как кавалер, однако рабская служба меня не устраивает, — мои возражения были решительно отвергнуты — дама категорически отказалась подвергаться позору в обществе из-за того, что ее чувствами — так сказать, *нравственностью* — будут открыто пренебрегать, — и мне пришлось покориться». Энгус вскинул на Али насмешливый взгляд, и хотя предметом иронии, как всегда, был он сам, но, помимо насмешки, в нем мелькнул и проблеск сочувствия (вероятно, тоже к самому себе). «Я выгляжу комично в твоих глазах, — продолжал он, — но разве и вправду не комична жизнь, которую я веду? Однако и в ней случаются минуты, когда бывает не до смеха. Дама заболевает, состояние ее признают опасным — невзирая на то, что *Cavalier* за какие-то мелкие промашки был на некий срок отлучен от дома, его — с дозволения Супруга — призывают к ложу дамы делить все заботы и волнения — таково требование дамы, хотя это может повлечь и некоторые вольности в присутствии Супруга, непосредственном или близком, которые в иное время и в другом месте сделались бы достаточным поводом для Дуэли, однако, в соответствии со сводом Правил, Супруг должен счесть их невинными. С другой стороны, разве не вправе *Cavalier* настаивать на том, чтобы дама отвергала все законные притязания супруга и всецело расточала свои милости только ему одному — бесценному другу дома, к которому, со временем, супруг (и его родичи) сочтут оправданным обращаться порой за услугой или займом? Это справедливо — вполне пристойно — но и комично — а еще и тяжко».

Энгус говорил, как показалось Али, не для забавы, не ради жалобы, но как Философ — и все же как будто не договаривал. После ужина он стал выражать нетерпение — и предложил Али удалиться вдвоем с ним, — Али возразил, что его спутник не понимает ни слова по-английски и потому они могут беседовать без всякой опаски. Энгус не стал спорить и незамедлительно вызвал свою гондолу.

«Плавучий гроб, — заметил Али при виде этого необычного средства передвижения. — Имей я выбор, ни за что бы на нем не остановился. Заперт точно в тюремную камеру — и оттого риск стать утопленником только возрастает».

«Однако жизнь в Городе без них остановилась бы, — отвечал его брат. — Видишь, как искусно она устроена — занавески

сдвигаются наглухо — и проч. — движение плавнее, чем у любого наемного экипажа — и, кроме того, Гондольеры, разносящие повсюду письма и записки, хранят молчание надежнее могил из опасения лишиться чаевых. Но вот мы уже и на другом берегу».

«Не спорю, я таков, каким выгляжу», — заговорил Энгус, когда им привели великолепных коней, содержавшихся венецианцами, и трое отправились вдоль длинного берега — компаньон Али следовал на некотором расстоянии тенью, однако не темной, но светлой. «Привычные занятия, удовольствия, капризы, атласные жилеты — все это мое, отрицать не стану. Однако есть во мне и нечто иное. Скажи мне: ты слышал что-нибудь о тайных Обществах, члены которых поклялись бороться с австрийцами и изгнать их с итальянской земли?»

«Слышал, — ответил Али с улыбкой, — даже в моем уединении».

«Одни называют себя *Carbonari*, или *угольщики,* — почему, не слишком понятно; другие — *Mericani*, или *американцы*, что позволяет яснее судить об их убеждениях».

«И ты принадлежишь к ним? Вот бы никак не подумал — особой любви к угнетенным я в тебе не замечал — и похвал демократии из твоих уст не слышал. Однако, помнится, ты рассказывал мне об африканских рабах на твоем острове в Вест-Индии — и что восстанию их ты сочувствовал».

«Пойми меня правильно, — перебил Энгус. — Я презираю эту *canaille*[68] — и не питаю ни малейших иллюзий относительно того, какими станут ее повадки, стоит их только узаконить под сводами власти и в залах Суда. Нет — ради этих я ничего не предпринимаю — я не на их стороне — по сути, я ничей не сторонник, но только противник».

«Это, наверное, ужасно — и ведет к скорби».

«Тебя это не должно волновать. Я одинокий пес, который не лает, но кусается — пригодиться может и такой. Не знаю, что за дом построят другие. Мне в нем не жить».

«И каковы шансы у тех — и у тебя — на то, что эти намерения осуществятся?»

«В точности не знаю, — ответил Энгус. — В одной только Романье их десять тысяч. При необходимости я и сам могу созвать к себе дюжину — да нет, сотню молодцов. *Fratelli*[69] повсюду — они нанимают убийц — одного из австрийских офицеров застрелили чуть ли не у моего порога — всадили в него пару пуль; я велел внести его в дом, позвать врача, но жизнь спасти не удалось».

«Странно, что ты пытался сделать это».

«Знаешь, Брат, — отозвался Энгус, — если только я не слишком заблуждаюсь на твой счет, тебе это ничуть не должно казаться странным».

Энгус замолк, и спустя некоторое время нить разговора подхватил Али:

«Твои светские обязанности и дела сердечные наверняка не позволяют слишком отдаваться суровым заботам».

«Скорее наоборот. Не занимай я такого положения в обществе, всякое мое содействие партии Свободы немедленно бы пресекли, а самого меня отправили за Решетку — чего в этой Республике следует всеми способами избегать».

«Вижу, — заметил Али, — что твоя *рабская служба* на самом деле скорее только прикрытие».

«Очень долго такое положение меня устраивало как нельзя больше. Многие обожают обо мне сплетничать — к примеру: а, тот самый шотландский калека — *il zoppo*[70] — он так усердно обихаживает свою любовницу — точно Мартышка. Гляньте-гляньте, перешептываются они, какие только фортели Венера не заставит выделывать даже такого — как он пляшет под ее дудочку! Это наполняет их головы до отказа — иные мысли касательно меня им и на ум не взбредут. Человек, поступающий подобно мне, на *другие* поступки неспособен — одному человеку одна Роль; две — это уже против правил».

«Итак, ты прячешь себя и свои поступки на самом видном месте».

«Именно так я и делал — до сих пор. Теперь завеса начинает рваться. Собственно, если что меня и сгубит — то ее непроницаемость. Брат мой, я стою на краю гибели».

«Я ждал, что речь об этом и пойдет. Кажется, момент настал».

Тут Энгус остановил коня, спешился, подав знак Брату последовать его примеру; затем приблизился к нему вплотную, озираясь по сторонам, как обычно поступают, желая обсудить что-то по секрету и следя, чтобы никто не подслушал. «Супруг моей Госпожи — человек непростой, — начал он, — и не всегда был тем, кем сейчас кажется. (Не сомневайся: все, что о нем можно узнать, известно мне досконально.) На свете он прожил лет пятьдесят — и за столь долгий срок набрался житейской сноровки. В ту неспокойную пору, когда армия и чиновничество Буонапарте рассеялись, подобно туче, а на их место вернулись австрийцы, он принял сторону революционной толпы — решив, что лучше стать *во главе* повстанцев, чем позволить им отрубить *свою голову*. Бунт был подавлен, власть австрийцев восстановлена — и тогда он, вспомнив о прежней ненависти к народу, охотно подчинился новым Правителям. Однако благодаря причастности

к патриотическому движению у него сохранились связи, которые он предусмотрительно не разорвал, — и они помогли еще ближе подобраться к моей тайне — сейчас он почти наверняка разгадал ее до конца — и не торопится выдать меня австрийцам только потому, что хочет скрыть свое собственное Участие в деле, после чего сможет разоблачить меня, оставаясь в безопасности. Это может произойти с часу на час. Я готов, при необходимости, отбыть из города в любой момент — исчезнуть столь же бесследно, как враги Государства при власти дожей, о которых после взятия под стражу и тайного расследования никто больше никогда не слышал. Но прежде я должен найти — и не откладывая — человека, который меня бы заменил, причем совершенно неизвестного и не вызывающего подозрений, — того, чье имя не внесено ни в один Список и незнакомо ни одному Соглядатаю — того, кто твердо намерен и способен взять на себя все мои обязательства».

«Так вот для чего ты зазвал меня сюда, — проговорил Али, и по губам его скользнула улыбка, невиданная прежде, — улыбка Сэйнов, однако не вполне схожая с фамильной: это темное пятно еще не омрачило его душу. — Ты просишь тебя заменить».

«Не знаю, к кому я мог бы еще обратиться. И, однако, не сумею объяснить, почему я на это решился. — Энгус нагнулся, подобрал с песка круглый черный голыш и принялся его поглаживать, будто драгоценность. — Я неправ?»

«У меня нет причин соглашаться».

«Неужели тебя никогда не охватывала волна гнева и возмущения жестокостью власть имущих — ты никогда не вдохновлялся мыслию их ниспровергнуть? Думаю, тебе знакомы эти чувства. Мне бы на твоем месте — непременно. Тебе известна история Жак-Армана? Это крестьянский мальчик, которого отняла у родителей и усыновила королева Мария Антуанетта — он ей приглянулся. Но, несмотря на ласку королевы, на богатое платье и роскошную еду, мальчик не переставал плакать и был безутешен. Когда разразилась Революция, Жак-Арман сделался самым свирепым из якобинцев и в эпоху Террора — гильотинщиком *extraordinaire*[71]».

«Не понимаю, какое отношение имеет эта история ко мне».

«Если не понимаешь — значит, и не имеет».

«А что ты мне предложишь, пойди я тебе навстречу? Какая мне от этого выгода?»

«Я ничего тебе не предлагаю».

«Из ничего и выйдет ничего».

«Я думаю, что-то да выйдет. Надеюсь — хотя мне и нечего предложить, — что тебя привлечет сама задача, воодушевит

надежда. Быть может, так. Пойми, я сознаю, что шансы на успех задуманного мною гамбита невелики. О том, насколько безрассудно это предприятие, суди по моей готовности его испытать».

Али молчал, и Энгус продолжил: «О Сообществах в Италии ты слышал. Но, наверное, слышал что-нибудь о подобных братствах и в других странах».

«Не сказал бы. По-видимому, они научились скрывать свои тайны лучше итальянцев».

«А теперь я открою то, о чем поклялся кровью не говорить никому — за исключением того, кто вступит в наши ряды. Вот насколько я полагаюсь на твое молчание».

«Будь осторожней. Ведь ты не знаешь, каких взглядов я придерживаюсь, каким союзникам дал клятву верности. Откуда тебе известно, что я — вовсе не агент той самой Империи, против которой ты сражаешься? И не ее сторонник? И не продаю сведения, а также людей?»

«Брат, о тебе мне известно все: на свете нет никого прямодушней тебя — ты всегда был таким — это меня бесило, но никакие мои поступки не затемняли и не замутняли твой облик. Послушай теперь: я доверю тебе то, о чем знают лишь очень немногие. В мире — или, по крайней мере, в этой части света, от нашего Острова до престола русского царя — везде, где еще жив дух Свободы, — таится Общество, члены которого объединены одной-единственной целью (или немногими сходными): они поклялись оказывать содействие всем, кто предан этому духу, независимо от Нации. Коротко говоря, они намерены покончить с Монархами и наследственной Властью — устранить Церкви и Суды, всецело подчиненные служению Вышестоящим, — собственно, всех, кто оседлал народы, уподобив их Ослам, изнемогающим под непосильной ношей. Даже если на это понадобится Столетие — а иные считают, что гораздо меньший срок, — угнетатели сгинут, и все народы (мы в это верим) избавятся от излишних страданий: их и без того всюду достаточно — и живым их не избежать».

«Возможно ли такое?»

«Возможно. В каждой стране, где появились эти общества, их называют по-своему, однако есть у них и общее наименование — ты о нем слышал?»

«Тебе, кажется, этого хотелось бы».

«Они называются Люциферами».

Али рассмеялся: его смех и встревожил, и обрадовал Брата; Энгус подумал, что никогда раньше не слышал смеха Али — и уж тем более над странными мирскими обычаями и над выходками

того великого Божества, которому не поклоняются в Храмах — Его Величества Случая, любящего преподносить шутки наподобие этой; для каждого из нас у него в запасе найдется хотя бы одна — а мы в знак почитания будем смеяться над ними или плакать!

«Я думал, — сказал Али, — что бывший французский император посвятил себя той же задаче — изгнать старинных Угнетателей — растворить двери Тюрем — сбросить бремя и с мужчин и с женщин — освободить невольников — и евреев. И вот теперь он одиноко стоит на скале посреди океана, а прежние Парики вернулись на свои места».

«Это так. Все молодые энтузиасты, горевшие жаждой освободить свои Страны и Народы от тирании, — даже те, кто поначалу Наполеона боготворил, поневоле вступили в союз со свергнутыми Королями и Аристократами, чтобы разбить императора и разрушить его карточные Монархии. Теперь они раскусили, что к чему, — и выкуют в каждой стране Свободу, не навязанную извне — немецкую свободу, отличную от венгерской, греческой, венецианской, — установят самоуправление, отдельное в каждой стране!»

«Должен признаться, и я об этом мечтал. Но ужели это только мечта?»

«Эти люди изменят мир, — заявил Али его брат. — Ничуть в этом не сомневаюсь — но вот к добру или к худу, не уверен. Я читал в итальянской прессе, что два ярчайших примера Тщеславия в современном мире — это Буонапарте и некий английский поэт. Вообрази только, как польстило бы это сравнение низложенному императору, дойди слух до его скалы: ведь он был властен поражать оружием, а поэт — лишь изображать пером!»

«Не знаю, сумел бы я довести революцию до успешного завершения, — задумчиво проговорил Али. — Мне в равной степени недостает ни горячности, ни хладнокровия. Свойства человека — для меня главное, будь он хоть солдатом короля — хоть самим королем — или даже папой римским; если только это не мой личный враг, я склонен считать его вполне заслуживающим жизни, по крайней мере. А благородство и храбрость я высоко ценю вне зависимости от того, на какой они стороне».

«Это делает тебе честь, — довольно вяло отозвался Энгус. — Коли ты так настроен, не стоит тебя разубеждать. Со мной случай прямо противоположный — жизнь в Обществе и более или менее пристальное наблюдение за Сотоварищами неизменно и очень скоро становятся для меня равносильны приему *ипекакуаны*. Однако я немало для них потрудился — и, надо сказать, отчасти

преуспел».

Али снова задумался, стиснул руки за спиной и опустил голову, а потом бросил внимательный взгляд на своего спутника в белом, который недвижно стоял возле лошади, напоминая Изваяние Призрака. Наконец он промолвил: «Человек, берущий на себя подобные обязательства — разве не рискует всем, даже теми, кого любит? Такому нельзя быть обремененным ни родителями, ни женой и ребенком — дабы вслед за собой, при весьма вероятном крахе, не увлечь их в гибельную пропасть».

«Да, это верно».

«Я не обременен ничем», — произнес Али, но в голосе его Энгус не услышал ни малейшей радости.

«Так ты готов отважиться?»

«Откуда мне знать, на что я отважусь? Если я совершу то, что мне предстоит, тогда ты узнаешь, отважился я на что-то — или же нет».

«Хорошо сказано, — откликнулся Энгус. — Больше мне не о чем спрашивать».

«А твоя госпожа — полагаю, она подозревает немногое…»

«Вовсе ничего. Малейший намек поставит под удар нас обоих. Признаюсь тебе — хотя относительно целей и средств их достижения мне упрекнуть себя не в чем — меня мучает мысль, что я вынужден вот так ее оставить — исчезнуть мгновенно — а куда, она никогда не узнает, — да, это меня терзает, хотя подобрать название своему чувству я не могу. Она сохраняла мне верность, как и я ей, — поверь, не так уж много найдется женщин, готовых подолгу благоволить мне подобным».

«И куда же ты направишься? В какие края, к каким берегам?»

«Этого я не знаю, но лишь бы подальше. На мне поставили метку раз и навсегда, снять ее нельзя: как видишь, я тот, кто есть, — ни один полицейский сыщик, ни один исполнитель Закона, ни один пограничный страж не обманется на мой счет, — а сеть блюстителей правопорядка широка и вездесуща, и они осведомлены не хуже нашего. Чтобы избежать погони, уйти я должен как можно дальше — куда не дотянется их рука».

«Тогда к Антиподам. Или в Китай».

«Говорю же, мне все равно — лишь бы не в Аид — и этого достаточно».

«Отлично, — с неожиданной решительностью заявил Али. — Я принимаю твое предложение — я останусь здесь — и выполню все обязанности, какие только на меня возложат — со всем старанием, на какое способен — если ты меня наставишь, что и как…»

«Ага! — вскричал Энгус, хлопнув в ладоши. — Ты просто

чудо!»

«Но с одним условием — что ты тоже возьмешь на себя задачу — не менее опасную, хотя твоей Жизни и Здоровью угрозы не предвидится, — однако успех ее сомнителен — и тебе также придется соблюсти тайну. Обязан — согласно данному обету — исполнить это я, но по праву — скорее ты».

Энтус вопросительно нахмурил брови и потребовал разъяснений. Вместо ответа Али задал вопрос: «Скажи, ты когда-нибудь задумывался о своей Дочери?»

Услышав это слово, Энгус, словно его ударили, резко отвернулся, но только на мгновение, и довольно спокойно переспросил: «О какой дочери ты говоришь?»

«Насколько мне известно, у тебя только одна».

«Могло быть и больше, — возразил Энгус. — В Вест-Индии вряд ли найдется хоть один рабовладелец, который не наплодил бы целую уйму темнокожих сосунков».

«Ты знаешь, кого я имею в виду».

«Тогда я не знаю, есть у меня дочь или только была. — Энгус швырнул камешек в медленно набегавшую волну. — Быть может, она умерла — представь, сколько ребенку приходится испытать, пока он не подрастет хотя бы чуть выше стола, — судороги — лихорадка — кровавая рвота — понос — кашель — чахотка — скоротечное то и внезапное се — до шести лет мало кто этого избежит — почему я должен думать, что у нее все обошлось?»

«Уверяю тебя, что она жива».

«А она, — Энгус по-прежнему избегал смотреть брату в глаза, — не калека? Я хотел узнать…»

«В ней не было ни малейшего изъяна — как говорят, она и сейчас само совершенство».

«Что ж, тогда, — начал Энгус и, запнувшись, повторил: — Что ж, тогда…» Он словно бы, не замечая собеседника, ответил на вопрос, возникший в самых глубинах его существа.

«Давай вновь сядем в седла, — предложил Али, — и по дороге я изложу тебе Условие, которое намерен поставить, и способ его выполнения, если ты согласишься».

«Поедем рядом», — отозвался Энгус, и вскоре они продолжили путь по берегу. Солнце опускалось, и розовели убеленные снегами вершины далеких Альп; следы подков тянулись цепочкой все дальше вдоль притихшего моря — и долго-долго длилась беседа Братьев, о многом и многом.

Примечания к пятнадцатой главе

1. нет лошадей: Лошади Байрона славились в Венеции, где они, действительно, крайне немногочисленны и совершенно бесполезны. Он содержал их в конюшне на Лидо — широкой прибрежной полосе на Адриатическом море — и, живя там, почти ежедневно ездил верхом. Лорд Байрон очень любил верховую езду — так же как и плавание: в седле он ничем не отличался от всех прочих.

2. Carbonari: Сам лорд Байрон был принят в члены этого общества и посещал его собрания; у себя в доме хранил оружие карбонариев и запас ментоновского пороха, для них приобретенного. Он всегда относился к итальянским заговорщикам критически и ясно видел их недостатки — романскую импульсивность и пр., однако последовательно и до конца поддерживал их деятельность. Хотя один из них один из них

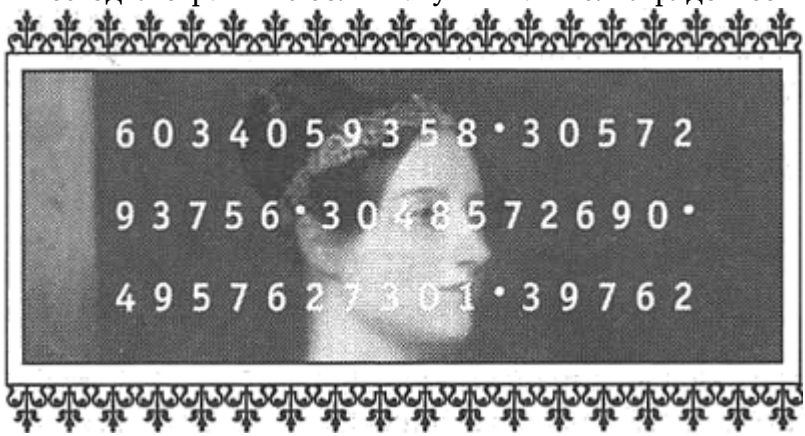
3. Жак-Арман: По моим сведениям, эта история содержится в «Memoires sur la vie privée de Marie-Antoinette»[72] мадам Кампан (1822). Не знаю, там ли нашел ее лорд Б.

4. некий английский поэт: Такая заметка появилась в итальянской газете: в ней проводилась аналогия, которая лорду Байрону могла бы показаться привлекательной, однако на основании, вряд ли для него лестном, и потому наверняка немало его позабавила. Получить справедливую оценку, исходящую из ложной предпосылки, — вот тщета человеческих желаний.

5. Быть может, она умерла: У лорда Байрона, как хорошо известно, была дочь от Клер Клермон (сводной сестры Мэри Шелли), которую он назвал Аллегрой. Она умерла в возрасте пяти лет от лихорадки в монастыре, куда лорд Б. отправил ее ради образования. Мне неизвестно, да и нет возможности узнать, были ли написаны эти страницы до ее смерти. Лорд Б. при первой возможности забрал девочку из семейства Шелли, где от различных болезней умер не один ребенок; вероятно, он полагал, что в их обществе она умрет непременно. Он любил Аллегру, всячески ей потворствовал и нашел ее непослушной, пустой, склонной к спорам — обычным ребенком. Однако, передавая ее в руки монахинь, он вовсе не стремился от нее избавиться: он хотел подготовить ее к единственному образу жизни, который для нее себе представлял, — к жизни в Италии, замужеству с итальянцем, для чего уже выделил ей приданое до того, как она… Что если бы это была я Это дитя моя сестра всего на год и месяц меня младше он любил ее и не мог или не захотел держать возле себя говорил

что заберет ее в Америку Что если бы он сумел вызволить меня из Англии и взять с собой в путешествия?? Думаю об этом или думала раньше, и часто Тогда бы я умерла в итальянском монастыре — и меня отослали бы домой как ее в крошечном гробике — похоронили как он велел в церкви в Харроу священник отказался хоронить ее в церкви, поставить Памятнику церковной стены, и ее могила затеряна где-то на кладбище Он написал для нее эпитафию *Я пойду к ней, а она не возвратится ко мне* нет это не я лежу на кладбище в Харроу без надгробной надписи

6. В ней не было ни малейшего изъяна: По слухам, нечто подобное он однажды спросил обо мне и попросил няньку приподнять мне платьице, чтобы осмотреть ноги возможно отсюда и пошла лживая история я знаю что она лжива будто бы когда моя мать лежала в родах и я появилась на свет он подошел к двери пьяный и спросил: Что, оно умерло? Так умерло или нет? Этого не было матушка подтвердит Он спросил нет ли у меня телесного изъяна Вопрос естественный — ведь у него такой был. — сегодня страшные боли матушкина Библия рядом со



От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Gravitas

[Уважаемая — Как, сгодится? Обращение — тоже часть gravitas:] Глубокоуважаемая Александра,

Чрезвычайно признателен Вам за доверительное сообщение о потрясающем открытии — находке повести лорда Байрона, дотоле неизвестной. Когда известие будет наконец обнародовано, оно изменит наше представление о Байроне, о его творчестве — и, прежде всего, об его отношениях с женой и дочерью. На мой взгляд, лишь немногие открытия, связанные с писателями данного периода, сопоставимы по важности

с этим. Когда в Чикагском университете я завершал диссертацию о Байроне, он находился в глубочайшем небрежении, какое только может выпасть на долю крупного поэта, однако его жизнь и творческий путь никогда не переставали интересовать и волновать комментаторов, биографов и читающую публику — при том, что с его произведениями знакомились все меньше. За время моего преподавания в двух университетах (Вы запрашивали сведения о моей биографии — отправляю их особо, по факсу) я, разумеется, старался внушить моим студентам представление о действительном значении поэта: свидетельство тому — мои статьи, эссе, монографии и доклады. Тогда наиболее существенным представлялось отделить Байрона от легенд о нем, и я писал работы под названиями «Байроничен ли Байрон?» и «Уберегите Байрона от его друзей». Даже сейчас эта задача представляется мудреной — и переубедить мне, вероятно, удалось немногих. Я же устранился как от изучения Байрона, так и от университетского преподавания ради других интересов и неотложных дел: последние двадцать лет занимался целым рядом кинематографических проектов с целью обратить внимание того мира, к которому принадлежу и сам, на бедствия, страдания и повседневную жизнь людей, живущих во многих «отдаленных» частях нашей планеты (для них эти края вовсе не отдалены — равно и для тех, кто к ним неравнодушен). Я горжусь своими фильмами и радуюсь наградам, которые они получили, хотя научного метода для измерения их реального воздействия не существует — как не было и способа определить влияние Байрона на борьбу повстанцев за независимость Греции.

Теперь, когда даже мне Байрон представляется порой частью безвозвратно ушедшего прошлого, в мире вновь пробудился интерес к его личности, уже в силу иных причин, среди которых — его неоднозначная сексуальность: ее ныне допустимо изучать без уверток и моральных оценок — словом, непредвзято; Байрон не нуждается ни в оправдании, ни в возвеличивании — по крайней мере, в этом. Но на первый план выдвинулась дочь Байрона — в связи с тем, какие перемены претерпел мир за последние десятилетия: она предстала словно пророчицей, которая ясно, хотя и не в подробностях, видела будущее. Ада и в самом деле прозревала то, что доступно было единицам (а в сущности, никому): она

понимала, что машины грядущей эпохи будут производить вычисления, манипулировать символами, сочинять музыку, хранить информацию и выполнять действия, на которые — как считалось при ее жизни — способен только человеческий ум.

Сама Ада, однако, усматривала в своей деятельности и нечто большее: ей представлялось, что она разрабатывает совершенно новую разновидность науки, которая перебросит мост между молекулярной физикой и человеческим интеллектом; науки, в которой исследователи станут собственными лабораториями: так поэты, живые кузницы, выковывают из своего опыта новую реальность. Мать Ады, женщина возвышенная (а также мстительная и подозрительная), с первых дней ограждала ее от поэзии и всего, что несло в себе начала воображения, эмоциональности, сосредоточенности на внутреннем мире — словом, байронизма. Так Ада усвоила — чего ее мать себе и вообразить не могла: наука — это царство, где, как и в поэзии, всесильны страсть и мечта. Иными словами, она осознала, что продолжает отцовы эксперименты, раскрывавшие скрытые возможности жизни, свободы и стремления к счастью, — но ее эксперименты выражены в других терминах, которые эпоха Байрона не в состоянии была воспринять и которые Ада не могла вполне ясно сформулировать. Она верила в молекулярную физику разума, космологию мысли, подлинную науку за рамками простого самоанализа и рефлексии — по сути, в такую науку, которая, избегнув редукционизма, преобразит самоанализ как таковой — и что вычислительные машины сделаются необходимыми его компонентами: как инструменты и как субъекты. Что ж, она была права — права и сейчас. Современная неврология, немыслимая без инструментария, какой Ада рисовала в воображении, занимается как раз тем, чем хотелось заниматься ей, — и приходит к выводам или прозрениям, которые были бы ей понятны. (Френология — Ада ею увлекалась, однако в итоге нашла не отвечающей требованиям — была ранней попыткой основать психологию на физиологическом строении мозга.) В самом деле, нельзя уйти от мысли, что Ада — которая обрела повесть отца (кстати, в высшей степени нехарактерный текст), спасла ее от уничтожения, зашифровала и снабдила комментариями — тем самым,

экспериментируя с памятью и наследственностью, сознательно разрешала поставленную перед собой задачу. Если Ваши разыскания подтвердятся, Ада, по-видимому, продолжала эту свою работу до последнего дня.

Таким образом, Ваша находка представляет интерес не только для нас, застарелых байрономанов — если еще остались те, кто сохранил верность кумиру. Ваше открытие ценно тем светом (и теплом), какие оно проливает на Аду — не на ее деятельность, о которой сохранились отрывочные свидетельства, но на ее личность — на то, кем она была и кем могла стать; и это гораздо важнее для нас, живущих в мире, куда она мечтала заглянуть — и, нет сомнения, заглянула.

Ваш

Ли

[Как ты считаешь — это то, что нужно? Что-то добавить/убавить? Могу, если хочешь, накатать и по-другому. Читая это примечание, ты можешь засомневаться, но я верю во все, что написал. — Л.]

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@inetrognome.net.au
Тема: Спасибо

Хорошо. Спасибо. Правда, большое спасибо.

Я тоже верю — каждому слову.

Хочу лишь добавить следующее: «Если данная работа не увидит свет, это станет потерей не только для истории литературы и байроноведения. Прежде всего, это нанесет урон нашему представлению об Аде, сведения о которой значительно более скудны, нежели о Байроне. В этой работе (произведении? повести? замысле?) она сотрудничала с покойным отцом, в результате чего оба предстают для нас гораздо яснее — в особенности сама Ада». Годится? Таких понтов, как у тебя, мне взять неоткуда. Я так этому и не научилась. Или к тебе это само пришло?

Фотографию скоро вышлю.

С

* * * * *

Эшфилд,

25 апреля 2002

Дорогая моя Алекс,

Вот, весна пришла наконец и к нам: раскрылись тюльпаны, а иволги вернулись свить новое гнездо (или подновить старое) в айвовом кусте. Их оранжевое оперение так резко выделяется на фоне ярко-алых цветков айвы, что почти дисгармонирует с ними — впрочем, я думаю, что в природе нет дисгармоничного сочетания красок.

Знаешь, ведь я боялась за тебя: не того, что он причинит тебе вред — хотя он, наверное, приписывал мне такой страх. Я боялась, что тебя охватит печаль. За себя — и за него тоже, печаль о горе, которое он пережил и нанес сам, а главное — печаль за того ребенка той ночью. Такая печаль, кажется, способна убить, как поздние заморозки убивают полные надежд ростки. Знаю, что я неправа. Мы с Марком наблюдали на днях, как бабочка выбирается из кокона — Господи, до чего же это удивительно и трогательно, поверить трудно, — бабочка вылезает мокренькая и свернутая, как скрученный виноградный лист, а потом начинает разворачиваться. Это длится так долго — и дается так трудно: бедная крошка прямо-таки пыхтела (так это выглядело со стороны), стараясь наладить свои паруса. Мне хотелось помочь — расправить ей крылышки, но Марк сказал (ему виднее): тогда она не сможет взлететь; усилия, потраченные на то, чтобы растянуть и обсушить крылышки, помахать ими, активизируют мускулатуру — или что там вместо нее. И только тогда она сможет летать.

Я знаю все это — и знала тогда. Мне хотелось, чтобы ты взлетела на собственных крыльях, и я понимала, что мало чем могу помочь. Мне просто хотелось отогнать от тебя горести, пока ты сама с ними не столкнешься

вплотную. Я знала, что тебе от них не уйти. Но мне хотелось прежде того закалить твои силы. Говорят, будто беды и горе делают человека сильнее, но я этому не верю: я считаю, что сил придают любовь и счастье — они питают тебя и обволакивают душу защитной оболочкой, создают жировую прокладку любви, чтобы ты могла выстоять и уберечься от холода. Правда, я понимаю сейчас, что на самом-то деле это мне нужно было набираться стойкости. Так и произошло — благодаря твоей любви ко мне. Надеюсь, ты простишь меня.

С любовью

Мама

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstoiy.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: Привет

Дорогая моя и дражайшая:

Отправила тебе факсом расписание полетов — роспись, как здесь шутят. «Верджин эйр»[73] (!) Бог ты мой, жду не дождусь.

Знаешь, о чем я сегодня подумала: живи Ада сейчас — или проживи она немного дольше, ей, вероятно, позволили бы увидеться с отцом. Если бы врачи в Греции не обошлись с ним так небрежно, он протянул бы дольше — еще сколько-то лет, и она могла бы просто-напросто собрать вещи и отправиться на его поиски за границу. Если если если. Я бы хотела стать настоящим историком: они не признают никаких если если если.

Хотелось бы найти его письмо, адресованное кому-нибудь, кто находился с ним, когда он умирал, письмо со словами: «Возьмите эти страницы и передайте моей дочери». Он хотел сказать, что явился бы к ней, будь это в его власти, и забрал с собой туда, где их не найдут. Но мне кажется, он попросту потерял роман. Она должна была стать той единственной, кто способен отыскать и спасти книгу: ведь это не более чем письмо, обращенное к Аде, и она должна была его получить — и в конце концов получила. Вот что я должна сказать, вот что пытаюсь выразить: все о ней и для нее.

Похоже на чудеса Бэббиджа. Ты читала о них?

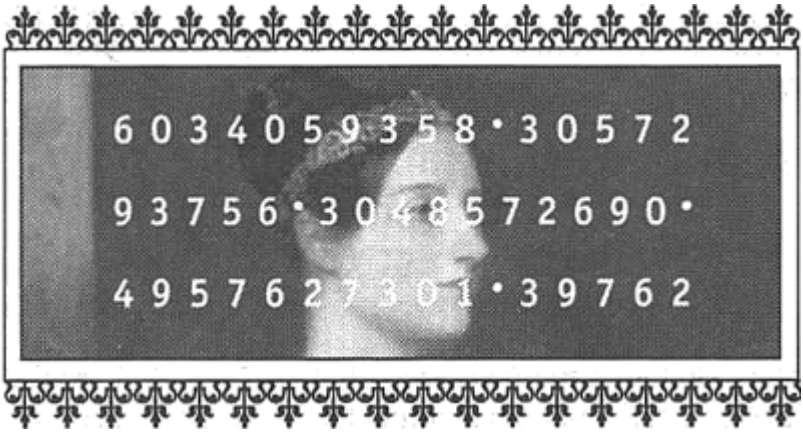
Бэббидж имел обыкновение приглашать гостей — показать им разностную машину в действии. Он устанавливал все колесики на ноль, затем поворачивал ручку — и одно колесо останавливалось на 2. Новый поворот ручки — и оно уже на 4. Затем на б. Всем понятно: задано правило — «добавить 2». На 8 колесо возвращается к 0, следующее колесо поворачивается к 1 — получается 10. Так могло продолжаться сколько угодно раз. Затем внезапно число увеличивается не на двойку, а, скажем, на сотню. Все кричат — ошибка! Уж во всяком случае осечка! Бэббидж объясняет: нет, он заранее поставил перед машиной эту задачу — после названного числа поворотов увеличивать не на 2, а на 100. Иными словами, сбой был предусмотрен с самого начала: это правило, а не ошибка. Таковы, по словам Бэббиджа, и божественные чудеса — они подчиняются естественным законам, однако таким, о которых мы не имеем понятия до тех пор, пока они нам не явлены. Я думаю точно так же.

Чудо, сотворенное Адой, — не в том, что она спасла роман. Чудо — в любви, о которой она не подозревала и которая побудила ее сделать это: в любви, которая возникла на сотой итерации, во внезапном скачке, запрограммированном, быть может, еще в детстве, но явленном лишь в Ньюстедском аббатстве — у могилы отца и деда.

Книга теперь оцифрована — в формате Word Perfect, ха-ха, и я могу распоряжаться ею как угодно. Джорджиана больше не бесится. Сообщила мне, что написала Ли открытку с благодарностью за совет и поддержку. Я так и знала. Небось спрыснула ее духами или, как здесь говорят, отдушкой. Лилит, впрочем, все еще дуется.

До встречи с твоей «хондой» в аэропорту Кеннеди. Что у меня на душе творится — не передать.

Смит


6034059358·30572
93756·3048572690·
4957627301·39762

Глава шестнадцатая, *в которой все заканчивается, хотя и не завершается*

Из Лондона (Англия) в Венецию (на Адриатике) поступило письмо на имя Достопочтенного Питера Пайпера, со вложением второго послания: его Достопочтенному поручалось переправить — любым способом, помимо Почты, находившейся под неусыпным надзором — названному адресату, который, получив наконец конверт, развернул лист и прочел следующее:

> *БРАТ МОЙ, в час расставанья я обратился к тебе с вопросом: Почему ты доверился мне, посчитав, что я исполню твою просьбу, и почему решил, что я способен дать этому ребенку нечто большее, чем ее нынешние опекунши? В себе я не находил ничего, что побудило бы меня думать, будто я гожусь на это — не на сам поступок (тут у меня сомнений не было), но на все остальное. Расскажу тебе обо всем, что произошло: суди сам, оправдал ли я твое доверие. Увы — о тебе я смогу узнать что-либо лишь в том случае, если ты потерпишь неудачу и тебя повесят на площади.*
>
> *Теперь к рассказу. Мой визит в Темпль, в контору мистера Уигмора Бланда (с бумагами под мышкой, которыми ты любезно меня снабдил — Доверенностью и прочим) оказался для косных наших дел все равно что Закваска, добавленная в тесто. Имения Сэйнов навсегда упразднены (или будут упразднены вскоре) — мы становимся безземельными — хотя столь крупной наличностью мы не располагали уже давно — ее распределение зависит от нашей с тобой договоренности: все Слуги и Арендаторы будут в должной степени обеспечены, а равно и кошки с собаками, которым ты по доброте душевной пожелал назначить пенсии. Грехи мои, таким образом, были отпущены, и я направил стопы к узилищу — мистеру Бланду прекрасно известны все подробности, касающиеся заточения Уны, о которой он сокрушался с подобающим чувством, — даже впал в самую настоящую меланхолию — ненадолго, впрочем, — и вскоре взял себя в руки. От него я узнал, что к леди Сэйн — как все еще именуется твоя законная Супруга —*

Рассудок так и не вернулся, хотя ее пользует целая орда медиков самого разного толка, которые облепили ее (и ее Чековую книжку) с цепкостью Пиявок, столь усердно ими применяемых; мистер Бланд уверен, что по крайней мере один из этих врачей не имеет отношения к врачебному искусству и годится разве что на роль Доктора в комической пантомиме — и вернее всего, что он такой не один.

Оказавшись по соседству с домом, где Уна томится в неволе, я вскоре выяснил, что мне не придется вызволять девочку из рук тех, кто предположительно держит ее под замком: когда я туда явился, всюду — в Деревне и по всей округе — толковали только о том, что она сама вырвалась на свободу. Возможно, ты не знаешь — впрочем, думаю, ты вряд ли что-нибудь вообще о ней знаешь, — что Уна (как и брат ее отца), подвержена лунатизму. Не уверен, что эта ее склонность проявлялась раньше и что Блюстительницам, охранявшим вход к ней свирепее трехглавого Цербера, было что-либо об этом известно — скорее всего, нет: замки на всех дверях в доме были наложены изнутри — дабы избежать вторжения незваных гостей; их ничего не стоило открыть — и вот Уна посреди Ночи вышла из дома и отправилась по Большой Дороге, подобно сыну Трубача, за холмы, куда-то вдаль.

Утром ее хватились, поднялась Суматоха — и, поскольку Уну, пока она не один час брела без сознания — бодрствуя во сне среди беспробудно спавших! — никто не видел, то пришлось заподозрить худшее. Осушили запруды, обшарили с шестами реки, обследовали стога сена, обыскали леса — все без толку. Тебе нетрудно представить, что в этих поисках я ничем не выдал своего присутствия: ведь ты убедился на собственном опыте в моем умении, даже Таланте — становиться, при желании, невидимым или, по крайней мере, никем не замеченным, несмотря на свою примечательную внешность.

Сам же я — такова моя природная склонность — посчитал, что злой умысел куда вероятнее несчастного случая: думаю, лунатики обычно избегают падения в воду или шага с крутого обрыва, однако в поздний час одинокий Ребенок в ночной рубашке для кого-то представит соблазн — и этот кто-то может появиться на зеленых лугах английского графства с не меньшей вероятностью, чем в

любой другой точке света.

Дорогой Брат, держать ли тебя в неизвестности относительно того, как продолжится эта история и чем закончится — или ты успел уже заглянуть на последнюю страницу, любопытствуя о развязке, как поступают с французским романом девицы, которым не терпится узнать, что влюбленные «жили долго и счастливо»? События последующих недель достойны, вероятно, быть запечатленными чернилами на бумаге, однако я не стану тратить ни того ни другого — времени у меня нет, ибо прилив на Темзе вот-вот отправит к дальним уголкам света все, чем торгует Страна (а также некоторую часть ее Населения). Хладнокровный подсчет, произведенный мною в Гостинице того городка, где потерялась Девочка, показал, что успех поиска равносилен одному шансу против ста; шанс обнаружить ее раньше, чем это удастся ее Родичам, — еще меньше; и уж совсем ничтожна вероятность найти ее целой и невредимой. Тем не менее я поиски предпринял, а все потому — так уж вышло, — что некий молодец, прибегший к столь же холодному анализу, той ночью первым столкнулся с девочкой. Расширив границы поиска, я разведал, что в соседнем городке некий Джентльмен, местным жителям незнакомый, сел в лондонскую карету со спящим ребенком на руках (темноволосым) — вслед за этой каретой, в столицу, я и поспешил.

Возможно, тебе известно, что в Лондоне, на пару с одним давним приятелем — в былые времена компаньоном нашего Отца — я некоторое время занимался устройством зрелищ, и выяснил, что по непоседливости тамошнего населения и дарованной ему свободе зрения и слуха — включающей в себя подслушивание, подглядывание и родственные Искусства, — наша столица не имеет себе равных. Разумеется, появление на улице Горбуна с Медведем не может не броситься в глаза — однако для большинства оно останется незамеченным — поскольку ожидаемо — и привлечет не больше внимания, чем камни мостовой или оконные рамы, да и любая обыденность; такая парочка может часами торчать на углу, собирая всякие слухи и новости наряду с редкими медяками — отнюдь не лишними. Более того, братская среда устроителей зрелищ хранит немало сведений о прошлом многих важных фигур: среди тех, кто красуется на широкой жизненной Арене,

нетрудно узнать в лицо старинных друзей: Графиню — отставную танцовщицу из Друри-лейн; модного Проповедника — предсказателя судьбы в Грин-парке; богача-Лендлорда — бывшего шулера из дома с незавидной репутацией. Ловя сплетни по тавернам и ярмарочным балаганам, я вдоволь наслушался россказней о некоем Месмеристе, наделавшем в мейфэрских гостиных много шума: он излечил целую ораву юных дев от недугов, о которых иные из них до осмотра ни сном ни духом не ведали; его Магниты, Жестянки, лейденские банки, флюиды и Эфирные Машины творили чудеса. Этот Доктор — не первый и не последний из тех, кто преуспел подобным образом, однако те, кто рассказывал мне о грандиозности его триумфа, были преисполнены неподдельного восторга. Тут-то я и вернулся к расследованию: оказалось, что доктора сопровождает Дитя — главный объект его экспериментов: этого ребенка доктор мог легким движением рук — или с помощью намагниченного Никелевого Стержня погрузить в глубокий сон, причем ребенок, стоя на ногах, слышал и мог выполнять приказы — более того, отвечая на вопросы, называл и описывал гостям природу их хворостей и горестей. То, на что теперь притязает наука, в минувшие столетия совершалось святыми Праведниками и Жрицами, изрекавшими истины в состоянии транса — но нет! — лекции Доктора провозглашают новое откровение на основе учения Месмера, Пюисегюра, Комба, Шпурцгейма: его юная Пифия подчинена не старомодным дельфийским озарениям, но методам, дотоле не дарованным Человечеству. Что ж! не имею и никогда не буду иметь ни малейшего понятия обо всем этом — внуши мне, что мир переменился необратимо и что под солнцем явилось воистину нечто новое (вопреки словам Соломона) — что вскоре машина с Паровым Двигателем перенесет человека на Луну — я радуюсь этому предположению — однако ради него и пальцем не шевельну — и уж тем более не вложу Деньги в подобный проект.

Нет — интерес к Месмеристу пробудился у меня по другой причине — и довольно скоро мне удалось разузнать еще кое-что: Доктор не был отцом ребенка и даже родичем — встреча их произошла при довольно темных обстоятельствах, которые, впрочем, нетрудно вообразить, — побуждаемый Милосердием, Доктор

вызволил дитя из некоего затруднения — и только впоследствии обнаружил в девочке таланты и способности самого незаурядного свойства. Поверь, что к этому времени я располагал немалым Сводом всякого рода слухов, донесений и сплетен, которые меня никоим образом не удовлетворяли, — пришлось осмотреть и детское тельце, выловленное из Темзы крюком, — и постоять у гроба несчастной малютки в жалкой лачуге в Саутуорке — но это была не Уна. Услышанное о Докторе, однако, укрепило во мне, сам не понимаю почему, некую уверенность; я, безо всякого промедления, разыскал его предполагаемую резиденцию и применил способ, позволивший проникнуть в дом без лишнего шума: к стыду своему, должен признаться, что за годы скитаний обучился множеству разных уловок — принуждать силой, жульничать, лгать и взламывать замки. Дом казался пустым — и, как лазутчик во вражеском лагере, я бесшумно отворял дверь за дверью, пока не заглянул в гостиную, где на пуфе сидела девочка в белом платье, с бумажной гирляндой на коленях, — одна. Тут я распахнул дверь пошире и вошел в комнату.

Почему мне вообразилось, что девочка не убежит и не поднимет переполох? Не знаю, но я угадал. Она глядела, как я приближаюсь, до странности недвижно — однако вовсе не как замерший Олень, которого настигла травля, — нет, девочка наблюдала за мной со спокойствием не детским и не взрослым, но (бывает ли такое?) ангельским, если вообразить ангелов существами, которых мы не можем встревожить или опечалить. Ее взгляд не раз поражал меня и позже. «Кто ты?» — молвила она, и поначалу я не нашелся, что ответить, а спросил ее о гирлянде и о кукле, что лежала подле. Не скажу, что девочка походит на меня — возможно, сходство есть, но я его не увидел — оно очищено от всего, что я вижу в Зеркале, куда и в лучшие времена заглядывал редко. Я знаю, что волосы у нее темные, как у тебя: откуда такой цвет, непонятно, разве только потому, что ее мать не была светловолосой. Ей хотелось поговорить обо всем, для нее интересном, не допытываясь, кто я такой и почему явился; но в конце концов — Терпение ее истощилось — она сцепила руки и, уронив их себе на колени, сообщила, что «никто не вправе входить к ней в комнату, кроме домашних», и я должен сказать наконец, кто я такой.

«Я твой отец», — сказал я.

Уяснила это она не сразу, хотя и приняла без удивления. «Тогда выходит, что ты — магометанин».

«Конечно же, нет, — возразил я. — Твой отец вовсе не обязательно магометанин — если ты имела это в виду».

«Мой отец вроде бы турок, — продолжала девочка, — а турки — магометане».

Поскольку оспорить этот силлогизм было невозможно, я промолчал, а девочка заявила: «Я магометанка тоже». — «Как так?» — «Ну, наполовину — а захочу, так и целиком, Я читала — стать магометанкой ничего не стоит — нужно вместо "Бог" говорить "Аллах", только и всего». Таковы были ее доводы, которые я воспроизвожу по памяти, — они показались мне довольно ловкими. «Я об этом никому не говорю, — добавила она, — если кто узнает, им это вряд ли понравится».

«Ну уж наверное».

«Я не знала, что мой отец такой».

Новую тему я с готовностью подхватил. Спросил, не боится ли она меня, — чтобы появился повод вручить заготовленный Подарок, причем дорогой, — но она заверила, что не испугалась ничуть. И тогда я наконец задал ей неотступный вопрос: почему ее не удивило мое появление — после стольких лет. Она ответила, что тем самым утром, как обычно, молила Аллаха, чтобы он меня к ней привел.

Ты смеешься? Клянусь, я даже не улыбнулся: я подумал о бессчетных утрах, когда она молилась, но безответно. Теперь, когда я стоял перед ней, — совсем не такой, какого она ожидала или желала, — нужно было как-то убедить ее отказаться от нынешней жизни и бежать со мной — со мной, чей вид особых надежд ей не сулил. Хотя смотрела она на меня почти безразлично и в объятия не кинулась — да я, собственно, этого и не ожидал, — я все же чувствовал, что мы сможем заключить Союз, если только я не провалю свою роль. И тут, Брат, меня охватили колебания! Я, можешь поверить, имею ясное представление о своей природе — о переплетении в ней Страстей и Преступлений — однако никогда прежде я не ощущал себя недостойным: мне почудилось, будто, взяв Уну за руку и завоевав ее Расположение, я запятнаю ее той Историей, о которой

она даже смутно не подозревает, — никогда прежде я не касался того, что было и должно было остаться невинным! Уна пристагьно смотрела на меня — я забыл о приманках, которыми собирался ее завлечь, — о лживых выдумках и притворстве, почитавшихся мною необходимыми; я желал одного — попросить у нее Прощения — хотя не знал, за что, если не за само ее существование, Причиной и Автором которого был!

Усилием воли я вновь стал самим собой (если знакомый мне грешник — это действительно я) — но слишком поздно — не успел я растолковать девочке, что хочу забрать ее с собой и немедленно доставить к тем, кто будет ее любить и о ней заботиться, — и что Доктор, на чьем попечении она находится, на самом деле злой Король Эльфов, от которого она должна с моей помощью бежать, — как внезапно Дверь распахнулась — и на пороге вырос он, только что мною заклейменный покровитель! Я узнал его по описаниям, а еще по невероятной властности, которую источал весь его облик, — вздыбленные седые волосы, сверкающие Очки и громадные руки — не как у джентльмена, если только он был джентльменом. Я повернулся к нему, собираясь сплести Повесть, которой он бы поверил, — а если нет, сбить его с ног, — но тут Уна вскочила с кушетки и встала между нами.

«Доктор, милый, взгляни! — вскричала она (воплощение невинности). — Это мой отец — он явился, чтобы забрать меня с собой!»

Можешь вообразить, как подействовало на доброго Доктора это сообщение. Шагнув ко мне с видом Боксера, вступающего в бой со слабейшим, но неизвестным противником, и держа раскинутые ручищи наготове, он впился в меня взглядом. «Кто вы — и что делаете в этом доме?» — негромко спросил он, однако в голосе его звучала недвусмысленная угроза.

«Девочка сказала правду, — ответил я, также готовый к противоборству. — Я ее отец и возьму ее с собой».

«В тюрьму? — с ненавистью прошипел он — Вы отправитесь именно туда. Вы, сэр, посягнули на мою Собственность».

«Посторонитесь — нам пора».

Тут лицо Доктора изменилось, как если бы он быстро заменил одну маску другой; он протянул руку к Уне и

прошептал: «Подойди ближе, Дитя мое. Он тебя не тронет. Сюда, сюда — встань рядом со мной». Со странной неохотой, хотя и не сводя глаз с Доктора, Уна повиновьгась — когда она подошла к нему почти вплотную, он принялся водить руками вокруг ее головы, впившись в девочку пристальным взглядом, словно шилом пронзал ее Душу! Едва вздохнув, Уна недвижно застыла — глаза ее потухли, хотя и оставались открытыми, — руки, слегка растопыренные, безвольно колыхались по бокам, будто тело покачивало водное течение. Тогда, Брат, — и только тогда — меня охватил настоящий страх: кому и знать, как не тебе, сколько я всего навидался в жизни — и куда худшего (не я ли направлял действия безвольного Существа?), — но здесь передо мной стоял тот, кто способен был похитить чужую Душу и присвоить ее!

Однако и я располагал оружием — пускай грубым — вытащил из складок одежды вполне бездушный пистолет и взвел курок. Увидев это, Зачинатель — вот кто стоял передо мною! — попятился. Я потребовал освободить дух Уны — снять чары, на него наложенные, — но он отступал от меня все дальше, за порог комнаты в коридор. «Не притрагивайтесь к ней, ради всего святого, — крикнул он. — Если вы ее разбудите, она тотчас умрет. Убьете меня — и она никогда не проснется. В доме переполох. Бежать вам не удастся!» Тут он повернулся и ринулся по коридору с громкими возгласами «Ко мне, на помощь!», и до моего слуха донеслись ответные выкрики.

И вот, брат мой, как выглядели мы с Уной: она замерла, скованная Сном; я тоже не двигался с места, не в силах и не желая ее покинуть. Признаюсь, что силы мои иссякли и пути к спасению я не находил. Но того, что произошло за миг, я предвидел меньше всего — если мог предвидеть хоть что-то. Едва только Доктор скрылся в коридоре, как мой маленький эльф очнулся — но нет, она вовсе и не спала! — она вышла из роли, мгновенно превратилась в живое человеческое дитя, резко захлопнула Дверь, повернула в замке ключ и с торжествующим видом протянула его мне! Затем почти бесшумно подскочила к окну, живо подняла раму (оказалось, что мы на третьем этаже) — и только тогда заговорила: «Карабкаться умеешь?»

«Как обезьяна», — ответил я.

«Я тоже, хотя им и невдомек». Мы выглянули наружу — густо сплетенные стебли прилегали к старинной кладке, на острые Карнизы можно было опереться как на выступ утеса — а Подпорка для вьющихся растений оказалась отличной лестницей. «Я спущусь первой, — предложила Заговорщица, — а ты за мной». — «Нет, — возразил я, — если я вылезу первым и рухну, ты упадешь на меня — уж лучше так, чем наоборот». Признав мои доводы справедливыми, Уна деловито кивнула: я выбрался из окна по крепким ветвям (этаким Ромео навыворот) и, помогая Уне, принял в объятия ее хрупкое тельце. Многие дела, совершенные за всю мою жизнь, я могу забыть (и забуду, если смилостивится Провидение), но только не это мгновение, когда она из своей темницы отважно прыгнула в мои объятия — мои! — величайший Трофей в моей небогатой победами жизни!

Ты, наверное, забросаешь меня вопросами — взаправду ли Уна двигалась и говорила во сне по команде Доктора или только играла Роль — откуда и как обучилась искусству предсказаний — где нашел ее Доктор и как похитил; ответов у меня до сих пор нет, поскольку мы устремились с наивозможной быстротой, стараясь не привлекать ненужного внимания, к докам в Уоппинге, где у меня были Сообщники, подготовившие наше бегство и снабдившие нас всем необходимым для путешествия в один конец. Все это — бегство с незнакомцем, предстоящее морское Плавание, разлуку с привычным окружением, отмену посулов препроводить ее в родные стены — Уна переносила с хладнокровием подлинной авантюристки и с достоинством королевы фей. Когда я напомнил ей о своем обещании доставить ее Родственницам, она этот план отвергла — по ее словам, меньше всего на свете она желала бы вновь оказаться под их опекой — мы, магометане, должны держаться вместе, добавила она.

Итак, Уна спит сейчас здесь, в койке над лоном Темзы, — все ее наследство (на сегодняшний день) хранится в кожаной Сумке у меня под ногами — в услужении у нас Медведь и Няня, которую я счел нужным нанять, однако — если Уна сочтет это излишеством, мы отправим ее на берег в Гринвиче в лоцманской шлюпке. Что до меня, «свое я отслужил» — надо обучиться другой службе, годной в краях, куда я направляюсь. Я не в силах дать миру Свободу, не в силах вызволить Народ из

рабства — все эти амбиции я отринул и притязания на них передаю тебе — вот все, что могу тебе завещать. Но не страшись — мы теперь Друзья, и зла ниоткуда не жди.

Где нас искать, если вдруг тебе это вздумается? В бытность мою Моряком доводилось мне толковать с уроженцами разных стран: я знавал одного рулевого — немца, который, если не бывал под воздействием Drink[74]*, слыл неплохим raconteur*[75]*; вот я и усвоил из его родного языка два-три словечка: особенно мне нравилось, что он именовал острова Вест-Индии, куда мы шли, словом Abendland, сиречь «Вечерняя Земля» — страна, где на исходе дня садится солнце, — однако никакой поэтической стрункой он не обладал, а попросту подразумевал сторону света, которую мы называем Западом, позабыв о начальном значении слова. Итак, мы изберем путь к Вечерней Земле — последние обломки нашего рода: моя персона — поседевший Медведь (тебе, быть может, неизвестно, однако бурый медведь тоже седеет, как и его Вожатый) — и она, дочь Калеки и Сумасшедшей, однако настоящая Сэйн — здравая умом и телом, что золотой доллар. Вот ее-то я сумел освободить и предоставить ей Независимость (что бы это слово ни означало): самоуправление — неотъемлемая часть Свободы, а как девочка управляет собой, я уже имел случай убедиться. Уна — наследница Сэйнов, единственная — другой не появится никогда, — правда, в стране, где ей предстоит жить, знатное происхождение не будет означать ровно ничего ни для нее, ни для ее Потомков — если они родятся, — но я заверю ее, что будут, коль скоро ей заблагорассудится. Однако я уже теперь знаю, что мой выбор, за нее сделанный, и путь, мною указанный, не станут для нее законом, что бы я ни думал, — и этот завет тоже входит в наследие Сэйнов, не так ли? Причем он, в отличие от Титула, может перейти и к позднейшим поколениям — да принесет он им благо.*

Сначала мы прибудем в Чарльстонскую бухту, а потом куда? Жаль, что не смогу увидеть генерала Вашингтона, опочившего ныне с подлинными героями человечества. «Вашингтон был убит на дуэли с Верком», услышал я как-то в одном из венецианских conversazione — и не мог взять в толк, что за бред такой пересказывают, — но потом вспомнил Бэрра, который убил Гамильтона, а не человека более великого, — неважно — ведь и сам я не имею понятия об этих

громадных просторах и наслаждаюсь своим неведением, поскольку порвал с миром, который слишком мне известен. Быть может, мы направимся вниз по Миссисипи, как лорд Эдвард Фицджеральд — единственный подлинный герой, которого я знаю, — или, подобно ему, двинемся еще дальше: мимо Мексиканского залива к Дарьенскому перешейку, в Бразилию, на Ориноко — не знаю куда.

Итак, прощай. Я не настолько безрассуден, чтобы принимать Америку за Лекаря или Священника, — знаю, что не все недуги там излечатся и не все грехи будут отпущены. И все же сегодня утром я чувствую себя так, будто ночь напролет боролся с врагом и, очнувшись наконец, увидел, что руки мои свободны. — ЭНГУС.

Это было все. Али прочитал послание, стоя на большом каменном мосту через реку *** в старинном городе *** — столице ***, — затем порвал его, швырнул в воду и, задумчиво подперев ладонью подбородок, проводил взглядом обрывки, которые некоторое время продержались на поверхности и потом затонули. Как видите, я не называю места, где это произошло: возможно, что Повесть о приключениях Али увидит свет довольно скоро, а посему обнародование подробностей подвергнет моего Героя опасности — он поглощен данной ему задачей, — если поначалу она представлялась ему разрушением, то теперь он думает иначе: он надеется (пока только надеется), что с его помощью Люциферы однажды освободят Прометея — их древнего предтечу — Брата их непоминаемого Тезки с раздвоенным копытом — и явят миру новый Промысел, пусть даже на это понадобится сотня лет. Не он, так Уна — а быть может, *ее* дитя, дитя *моего* ребенка, — взглянет на этот мир. Такова моя надежда — распахни мне сердце, и ты увидишь ее начертанной там: единственное несуетное желание, которое там сохраняется.

Однако я перечеркнул эти несуразные строки — или вскорости перечеркну непременно, — означив тем самым, что они в мою повесть не входят и не должны иметь дела с типографской краской. Впрочем, в равной степени несуразно предполагать, что и все прочие страницы этой повести — об Энгусе и Али, об Иман и Сюзанне, Катарине и Уне — будут когда-либо напечатаны и попадутся на глаза читателям. Что бы там Поэты ни говорили о «веских словах», которые переживут «мрамор царственных могил», — это всего-навсего бумага, у которой есть враги — море, *огонь*, случайности, злой умысел и уж не знаю что еще. Мои листы могут затеряться — или же уцелеть только для того, чтобы

бакалейщик завернул в них свой товар: читали же мы, как в рукописную страницу Ричардсоновой «Памелы» завернули ломоть Бекона цыганке, которую впоследствии изобличили как убийцу. Что ж — довольно и этого — всем нашим стараниям Соломон не сулит иной судьбы. И все же, коль скоро этим листам суждено именно такое предназначение, прошу тебя, любезный Бакалейщик, не используй их для жирного бекона — заверни в них румяное яблоко Евы, или золотую сливу, или любой другой сочный плод — и вручи его какой-нибудь юной Деве!

Примечания к последней главе

1. Месмер, Пюисегюр, Комб, Шпурцгейм: Случайный набор имен вполне отвечает образу шарлатана-Доктора. Антон Месмер заложил основы ныне отвергнутой теории Животного Магнетизма; Арман Пюисегюр являлся его последователем; Джордж Комб — современный приверженец френологии; Иоганн Каспер Шпурцгейм — врач-френолог, осматривавший моего отца (см. выше — не помню, в какой Главе, а искать сейчас не в состоянии).

2. Паровой Двигатель: По словам капитана Трелони, к лорду Б. в самом деле обращались однажды с просьбой вложить капитал в проект создания летающей машины с паровым двигателем, — но он отказался. Даже сейчас подобное сооружение не представляется возможным. Ребенком я как-то думала

3. молила Аллаха: Мне недоставало его любви и, что еще важнее, его руководства — и не мне одной, — я думаю и о той любви и руководстве, которыми он при желании одарил бы жену. Оба они разрушили то, что рано или поздно рухнуло бы само. И однако оно принадлежало не только им, но и мне — у них не было прав на

4. Друзья: Лорд Байрон питал странное суеверие: он думал, что если поссорится с кем-то из близких, тому будет грозить опасность или какое-то зло до тех пор, пока ссора не будет улажена и не восстановится прежняя дружба.

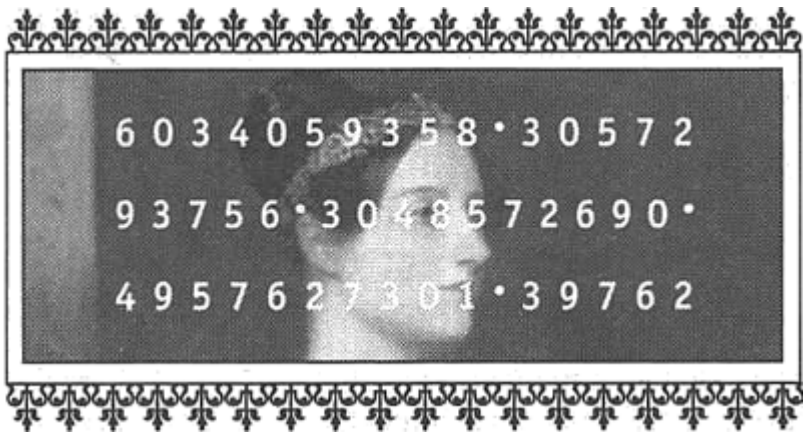
5. Вечерняя Земля: Герои ушедшей эпохи всегда отправляются на Запад. В моем кратком словаре сразу за этим словом следует другое — *Abenteuer*, что обычно означает «Приключение», но в более точном или вольном переводе — путешествие на Запад. Куда направляется рассвет — как, разумеется, и повсюду. И конца этому пути нет, пока путники не воротятся домой.

6. перечеркнул: Абзац не вычеркнут, и делать это автор, естественно, не собирался, — но вот относительно типографского станка станет ясно лишь в будущем веке. Сейчас меня посетила странная мысль. Не могло ли случиться так, что эта рукопись лордом Б. никому не была передана, не была им потеряна или утрачена — но подарена человеку, который, как он был убежден, ее сохранит — вместе с содержащимся в ней призывом к Свободе. Не предполагал ли он, что таким образом рукопись попадет в Англию и что его дочь будучи *его* дочерью вырастет с такой же любовью к свободе подружится с итальянскими эмигрантами в Лондоне и ей достанется то что он попытался этим способом ей передать нет нет я брежу почему он не переслал мне свои мысли

письмо в котором тогда возможно было бы теперь уж никогда ради такого я пожертвовала бы всей этой повестью

7. яблоко: Эти страницы не постигла столь плачевная участь однако у них и в самом деле нашлись «враги» — им не дожить до той минуты, когда их могли бы обнаружить. Некоторые листы, по-видимому, пропитаны солями меди или каких-то кислот: при сожжении пламя окрасилось в голубой и зеленый цвет. Говорят, что огонь горит слабо и окрашивается в голубой цвет, когда поблизости призраки. Бумага почернела, слова побелели, а потом исчезли. Смотреть до конца я не стала. Сохранила только одну страницу — Уильям не смог отказать мне в просьбе сохранить хотя бы одну

Хотела что-то сказать напоследок тем, кто это прочтет Но не могу. *Finis*[76]



От: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Кому: lnovak@metrognome.net.au
Тема: Оскар etc.
Ли:

Поздравляю с номинацией на «Оскар» за фильм о Восточном Тиморе. Если ты получишь премию, воспользуешься ли этим шансом, чтобы приехать в Штаты? Если по пути заглянешь в Бостон, обещаю угостить тебя ланчем и не заманивать в ловушку.

C

PS Книга должна выйти через полгода — может, чуть позже. Не хочешь ли написать предисловие?

* * * * *

От: lnovak@metrognome.net.au
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: Оскар etc.

Нет, не приеду. Больно уж далеко, если не сказать больше. Да и старый смокинг мне теперь не по размеру. И предисловие к роману писать не стану: мои титулы, Александра, уже слегка устарели — и потом, не покажутся ли они несколько смешными? Нет, я не знаю никого, к кому ты могла бы обратиться — то есть кое-кого помню, но все это было так давно, что неизвестно, кто из них жив, а кого уже нет на свете. Гарольд Блум? Очень умный человек, я раза два-три с ним встречался… Недавно появилась парочка биографий Байрона (довольно злобных, на мой взгляд), написанных женщинами, которые имеют совершенно четкое представление о том, на что Байрон был способен; нет уж, лучше (по крайней мере, я так думаю), чтобы роман предварялся словами человека, действительно ему преданного. Но тебе, однако, об этом незачем беспокоиться: если кто-то может, должен и обязан написать такое предисловие — так это только ты. Ада свое написала; теперь твой черед.

Недели через две возвращаюсь на Восточный Тимор. Там живут люди, которым важно узнать, как принят фильм: надеюсь, шумиха сулит им безопасность — за церемонией «Оскара» следит весь мир, разве что когда присуждают премии за документалку, люди встают и идут пить пиво.

Затем предстоит новый проект: отправляюсь на несколько месяцев в Новую Гвинею. Об этой стране я читаю и твержу разным людям уже несколько лет — и наконец стали поступать какие-то деньги. О Новой Гвинее мне снятся дурные сны — или, скажем так, беспокойные. Так или иначе, я буду недосягаем, возможно, не один месяц, а впрочем, думаю, на земле таких мест уже не осталось. Если найду телефон, смогу подать весточку. Возможно. Затем снова вернусь в Токио для монтажа и постпродукции, как это называют, — что отнимет больше времени, чем сама съемка. Не знаю, какие планы у тебя. Просто сообщаю о своих. Теперь, когда я поймал тебя в Сети (или, вернее, это ты меня поймала?), буду сидеть возле тебя — с надеждой, что не отпугну.

Я люблю тебя, Александра, даже больше, чем

догадывался прежде. Не буду — и не посмею — равнять тебя под стандарт, установленный Байроном: если ты любишь меня таким, какой я есть, то должна и за мои преступления; я не подгоняю тебя ни под какие стандарты. Хотел бы только поставить под письмом другую подпись — почетный титул — не ограничиваясь одним именем. Но знаю, что я такого не заслужил и, наверное, никогда не заслужу; а потому остаюсь -

Всегда твой

Ли

PS: Оказывается, весной 2004-го в Киото — прекрасный город — состоится конференция по Байрону. Неплохое место для торжественной презентации?

* * * * *

От: "Смит" ‹anovak@strong womanstory.org›
Кому: "Теа" ‹thea.spannl33@ggm.edu›
Тема: FWD: Поздравления
Теа,

Взгляни, что я обнаружила сегодня в папке «Входящие». Попыталась ответить, но мейл-робот сообщил, что в AOL такой адрес не зарегистрирован. Его нет и в Сети, но это мы уже знаем — как знаем и то, что имя вообще вымышленное.

От: "РоанДж" ‹roonyjwelch@aol.com› Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org› Тема: Поздравления
Мисс Новак,

Судя по шуму в прессе и на литературных сайтах, скоро должен выйти из печати утраченный роман Байрона или, по крайней мере, его часть. Хочется поздравить Вас и выразить свою радость, что Вам и Вашим коллегам (?) удалось раскрыть секрет «Вечерней Земли» и преданной деятельности Ады. Это и в самом деле замечательная история. Нахожусь также под огромным впечатлением и прямо-таки преклоняюсь перед тем, что Вы, по-видимому, сумели устранить всякие сомнения, какие могли (должны были?) испытывать относительно подлинности рукописи, ее происхождения и т. д. Предполагаю только, что Вам

пришлось пройти через утомительную мороку радиоуглеродного датирования бумаги, химического анализа чернил и все такое прочее — с тем, чтобы снять все претензии скептиков. Неразвеянные сомнения — например, с какой легкостью можно заполнить цифрами старые печатные бланки (найденные, предположим, случайно — и пустыми), что гораздо проще подделать, нежели скорописный почерк, — будут преодолены «внутренними свидетельствами» текста, которые со всей несомненностью укажут на то, что произведение вышло из-под пера самого Байрона и что это и есть тот самый роман, который Ада уничтожила — вернее, не уничтожила. И поскольку в любом случае ни у кого нет оснований подделывать документ, считавшийся безвозвратно погибшим, никаких серьезных вопросов не возникнет и впоследствии.

Я, разумеется, сгораю от нетерпения прочитать всю книгу в Вашей транскрипции. Насколько могу судить по тому, что слышал и читал о содержании романа, представляется, что он изображает Хромого беса в новом — и если не лестном, то, по крайней мере, не столь отталкивающем — свете. Большего удовольствия не могу себе вообразить. Я всегда верил, что, оказавшись в Раю — а в своей избранности, мисс Новак, я ничуть не сомневаюсь, как равно и в его, — я смогу собственными глазами убедиться в том, что он тот самый человек, каким, уверен, он и был: небезупречный и непоследовательный, но по сути своей великодушный, добрый, бесконечно мудрый и занимательный. Я буду восседать на облачке или усеянной цветами лужайке, слушать его речи — и переполняться счастьем. Но до тех пор (а случится это, по-видимому, довольно скоро) в моем распоряжении будет «Вечерняя Земля».

Ваш

«Роан Дж. Уилк»

Ну и как тебе? Сперва эта белиберда меня проняла, а сейчас — не знаю. Но довольно.

Смит

* * * * *

От: "Thea" ‹thea.sparml33@ggm.edu›
Кому: "Смит" ‹anovak@strongwomanstory.org›
Тема: RE: FWD: Поздравления

ого тот самый тип который заварил всю эту кашу зловеще очень чешешь в затылке а что если м-да вроде того как ада засомневалась не зашифровала ли все неправильно цифры неверные но в конце концов все равно получится книга эта книга да уж по сравнению с таким совпадением все что бэббидж вложил в свою машину сущая ерунда

ну что ж я думаю мы справились мистер Уилк пусть катится в преисподнюю или откуда он там явился

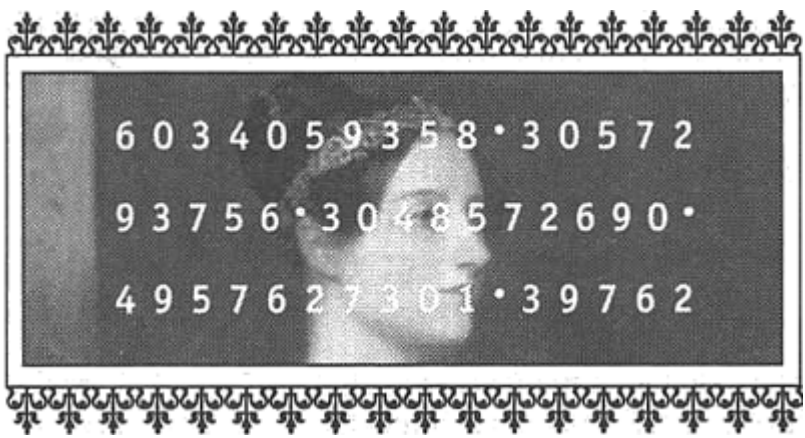
бэби вот что важно

ятл

лол

и кстати что на обед

m



Предисловие Александра Новак

Зимой 2002 года я была приглашена в Лондон — изучать жизнь и деятельность британских женщин-ученых, в том числе Мэри Сомервилл и ее младшей подруги Ады Лавлейс, с целью создания онлайнового виртуального музея женщин науки (www.strongwomanstory.org). В ходе исследований мне посчастливилось сделать ряд открытий (или, по крайней мере, быть причастной к ним). Иные не имеют значения ни для кого, кроме меня, но вот одно из этих открытий обладает интересом для самых широких кругов: оно представлено здесь с максимальной полнотой, которая только возможна на сегодняшний день, хотя будущее, вероятно, внесет свои дополнения. Другими словами, изложенная ниже история во многом остается гадательной: просьба к читателю на время расстаться с недоверием, как то предлагают авторы романтических повестей, и следить за ее развитием.

Ада Августа Кинг, графиня Лавлейс, единственная законная дочь лорда Байрона, в сентябре 1850 года совершила путешествие в Ноттингемшир, посетив родовое гнездо Байронов — Ньюстедское аббатство, которое задолго до того было Байроном продано и находилось тогда во владении полковника Уайлдмена, школьного приятеля Байрона. По возвращении на юг леди Лавлейс и ее супруг отправились на скачки в Донкастер: оба они, как говорилось тогда, были завсегдатаями беговой дорожки. Ада ставила на Вольтижера, который одержал неожиданную победу над фаворитом — Летучим Голландцем. Выигрыша оказалось явно недостаточно, чтобы погасить скаковые долги Ады, которые она держала в тайне от мужа. В мае 1851-го открылась выставка в лондонском Хрустальном дворце; в августе того же года Ада узнала, что болезнь, уже некоторое время ее терзавшая, не просто серьезна, но неизлечима: это был рак шейки матки, против которого тогдашняя медицина была бессильна. Осенью (датировкой писем Ада пренебрегала) она сообщила матери — леди Байрон, что работает над «несколькими замыслами», связанными с музыкой и математикой. В ноябре 1852 года, после тяжких страданий, Ада скончалась от рака на тридцать седьмом году жизни (ее отец умер в том же возрасте). В промежутке между визитом в Ньюстедское аббатство и кончиной Ада получила в собственность, переписала, прокомментировала, зашифровала и уничтожила — по требованию или приказу матери — рукопись

единственного в творческом наследии отца объемного беллетристического произведения.

История о том, как зашифрованная рукопись Ады была обнаружена спустя полтора столетия и приобретена достопочтенной мисс Джорджианой Пул-Хэттон, а затем подвергнута расшифровке и проверке подлинности, изложена с максимально возможной на данный момент обстоятельностью в «Текстологическом обосновании», которое следует непосредственно за предисловием. Разумеется, все еще остается возможным допущение, что роман, представленный здесь за подписью лорда Байрона с примечаниями Ады Лавлейс, на самом деле ему не принадлежит. Не исключено, что Ада написала не одни комментарии, но и сам роман; что сочинил его кто-то другой и затем продал Аде (или же тому, кто впоследствии перепродал рукопись ей) под видом сочинения Байрона; что и роман, и примечания к нему — фальсификация, изготовленная за истекшие с той поры годы. Были приложены все усилия, чтобы устранить любые сомнения подобного рода. Экспертиза подтверждает (хоть это и не является прямым доказательством), что чернила и бумага датируются первой половиной XIX столетия; в тексте романа нет никаких свидетельств, которые указывали бы на период после смерти Байрона, а в примечаниях — на период после смерти Ады. Почерк, которым написаны примечания, бесспорно принадлежит Аде, хотя в некоторых отношениях отличается от других рукописей примерно того же времени: возможно, это объясняется спешкой или же влиянием наркотиков, которые она принимала тогда почти постоянно во все возрастающих дозах. По причинам, изложенным в «Текстологическом обосновании», сейчас не представляется возможным проследить происхождение рукописных материалов и сундука, в котором они, как предполагается, были найдены. Пока что вы должны самостоятельно решить, действительно ли ощущаете присутствие двух этих авторов — поэта и его дочери — и в состоянии ли различить их живые голоса. Мне кажется, что я их слышу; я не могу вообразить, что за них говорят другие.

Если роман не является подлогом, то где он хранился до того, как попал в руки Ады, и кто приобрел для нее рукопись? В предисловии к роману (стр. 46–62 настоящего издания) Ада заявляет, что при посещении Хрустального дворца договорилась о встрече с обладателем рукописи — неким итальянцем, который приобрел ее у другого итальянца, а тот, в свою очередь, добыл ее (или, возможно, украл) в Италии. Я предположила вначале, что Аду на этой встрече сопровождал Чарльз Бэббидж: именно такого рода услуги он постоянно ей оказывал. Он сопутствовал ей при

осмотре строительства Великой выставки, когда та еще только возводилась, однако вступил в публичную полемику с проектировщиками и был совершенно отстранен от всякого участия в выставке: его знаменитая разностная машина не была включена в число экспонатов. Маловероятно, что Бэббиджу хотелось посещать Хрустальный дворец вместе с Адой. Так кто же был посредником, кто вел переговоры с итальянцами, кто позднее отправился за рукописью? Выяснение этого казалось задачей неразрешимой до тех пор, пока я не наткнулась на недатированную записку Ады к Фортунато Пранди, принадлежавшего к эмигрантскому кругу итальянцев, с которыми Ада и Бэббидж поддерживали знакомство: это был не то радикальный деятель, не то шпион и тайный агент (быть может, двойной). Вот эта записка, хранящаяся в собрании Карла Х. Пфорцхаймера в Нью-Йоркской публичной библиотеке:

> *Дорогой Пранди, обращаюсь к вам с просьбой об еще более важной услуге, которую только вы можете мне оказать… На бумаге объяснить ничего не могу — кроме того, что вы должны прийти ко мне в 6 часов и быть готовыми оставаться в моем распоряжении до полуночи. Платье себе выберите приличное, но не слишком бросающееся в глаза. Может случиться, что вам понадобится действовать, сохраняя полное присутствие духа. Обратиться к вам с подобной просьбой меня могла заставить только крайняя необходимость — но вы можете оказаться спасителем. Не подписываюсь. Я — та самая дама, с которой вы были на концерте Дженни Линд. Жду вас в 6.*

Слова «более важная услуга» намекают на предшествующую: ею мог быть совместный визит в Хрустальный дворец и беглое знакомство с человеком, носившим в ухе золотую серьгу; новая услуга могла заключаться в непосредственном приобретении рукописи. Все эти выкладки остаются гипотезами. Бесспорно одно: затевалось дело, которое требовало конспирации, однако в те годы Ада разрабатывала целый ряд планов и сложных проектов. Предстоит провести немало дальнейших разысканий в итальянском архиве в Лондоне, а также среди бумаг Ады и Бэббиджа. К примеру, в переписке Ады и Бэббиджа неоднократно упоминается некая «книга», подробнее не описанная, которая периодически передавалась от одного адресата к другому с особыми мерами предосторожности при доставке и пр. Обнаружив эти записи, я задалась вопросом, уж не идет ли здесь речь о романе Байрона, путешествующем, так сказать, из рук в

руки. Автор недавней биографии Ады[77] предполагает, что под «книгой», скорее всего, подразумевался дневник Ады с записями ставок на скачках: она была настолько ими увлечена, что в итоге для погашения долгов распродавала фамильные драгоценности — а когда их выкупал растерянный и сочувствующий муж, продавала заново. (Так обычно излагалась эта история, но теперь мы вправе предположить, что часть этих денег пошла на покупку рукописи «Вечерней Земли».) Однако упоминания об этой книге хронологически предшествуют открытию Хрустального дворца — и, следовательно, тому времени, когда была приобретена книга Байрона.

Не подлежит сомнению, что именно от Бэббиджа Ада переняла знания о кодах, шифрах и способах кодирования. Для шифровки романа лорда Байрона Ада применила вариант шифра Виженера, известного с XVI столетия: один из современников Бэббиджа открыл его заново, не подозревая о том, что он существовал давно и ни разу не был взломан. Когда Бэббидж указал на это обстоятельство, тот предложил Бэббиджу прочитать текст, им зашифрованный. Изобретатель справился с задачей, хотя решения и не опубликовал. Бэббидж сконструировал также колесо наподобие круглой логарифмической линейки, которое облегчало задачу шифровки и последующего чтения замененных цифрами букв; возможно, точно такое было и в распоряжении Ады — и она использовала его для «Вечерней Земли». Бэббидж маячит за спиной Ады или прячется за кулисами не то как помощник режиссера, не то как фокусник — или же как один из автоматов в человеческом облике, которых он любил выставлять напоказ, — чьи мотивы недоступны для понимания, если вообще существуют, а способности непредсказуемы. Когда представлению (или нашей способности постигнуть его смысл) приходит конец, Бэббидж попросту отвешивает поклон и опускает занавес.

Ада, как сказано, датировала письма с крайней небрежностью: в ее примечаниях к рукописи Байрона даты отсутствуют, не датирована и ее единственная записка к Пранди. Но похоже на то, что ее отношения с матерью серьезно изменились незадолго до того, как рукопись оказалась у нее в руках. Биографы связывают эту перемену с посещением Ньюстедского аббатства — прежнего отцовского имения: этот визит пробудил в Аде чувства к отцу и ее предкам со стороны Байронов. «Я воскресла, — не слишком обдуманно писала она матери. — Я пылко люблю это освященное веками место и всех моих грешных предков!» Трудно представить, какая судьба постигла бы рукопись, если бы Ада обрела ее раньше: нашлось бы в сердце стремление сберечь роман? Ясно, что ее мать (подобно

мачехе Белоснежки) не допустила бы присутствия рукописи в своем царстве.

Однако Ада рукопись сохранила. Поняла ли она, что мать рано или поздно обнаружит рукопись среди ее бумаг — либо после ее смерти, либо пока она трудится над перепиской, — или же она приступила к шифровке, когда леди Байрон обнаружила рукопись, и Аде пришлось дать обещание ее уничтожить, — установить с достоверностью невозможно. Преобразовать рукопись, пятьдесят тысяч с лишним слов, в колонки цифр — задача столь огромная, что работа заняла бы не один месяц. Мне представляется, что между той минутой, когда леди Байрон узнала о существовании рукописи, и той, когда роман был предан огню, времени протекло немного: Ада не питала сомнений относительно участи, ожидавшей рукопись, а потому уже была готова к такой развязке, накопив у себя в столе груду листов, воплотивших никому не интересный «замысел, связанный с математикой и музыкой».

В тот месяц Ада позвала к себе мужа и взяла с него обещание, что ее похоронят рядом с отцом в фамильном склепе Байронов в церкви Хакнолл-Торкард: там она побывала во время путешествия в Ноттингем в 1850 году и коснулась рукой отцовского гроба. Свое решение быть похороненной там, принятое тогда же, она сохраняла в тайне до последнего. Ада сообщила мужу также и о том, какую эпитафию следует начертать на ее надгробии. Это стих из Библии, к которой Ада в продолжение почти всей жизни особого интереса не питала. Стих взят из послания святого апостола Иакова: *Вы осудили, убили праведника; он не противился вам.* Главная причина этого примечательного выбора лежит на поверхности: Ада убеждена, что ее отец (чьи останки покоятся рядом) был праведником, несправедливо осужденным и изгнанным из общества; но мы, кажется, догадываемся и о подспудном значении фразы: на смертном одре Ада не противится тем, кто осуждает ее. Она прекратила сопротивляться матери: написала, по ее подсказке, письма с выражением преданности всем материнским друзьям, включая тех, кого именовала «Фуриями», кто с такой готовностью держал ее в неволе и наказывал, когда она была ребенком. Ада согласилась, что мать получит полное право распоряжаться всеми ее бумагами. Она признала свои «заблуждения» и заново в них покаялась. Она отказалась от собственной жизни.

В эти же месяцы (записка не датирована) Ада сообщила матери, что рукопись отцовского романа сожжена. (Факсимильная копия записки помещена в Приложении.) Я не смогла найти документального подтверждения того, что Ада поставила мать в

известность о приобретении рукописи и о том, что она вообще существует, однако семейный архив Лавлейсов настолько обширен, что со временем может обнаружиться некое доказательство этого, ранее истолкованное превратно. Я не нашла также ни единого документа, написанного рукой леди Байрон, в котором выражалось бы ее желание — и тем более отдавалось распоряжение сжечь рукопись. Так или иначе, если верить Аде, ее воля была высказана вполне недвусмысленно.

Итак, со всем покончено. Ада покорилась матери, как покорилась смерти. И все же она продолжала жить: на протяжении всей осени она медлила на пороге кончины, не желая или не умея уйти. Тем временем леди Байрон молилась вместе с дочерью и обсуждала с ней ее «заблуждения» (своим религиозным корреспондентам она писала, как радует ее раскаяние и покаяние Ады): в число этих «заблуждений» входили, без сомнения, ставки на ипподроме, отдача в залог драгоценностей и совершенная однажды супружеская измена, но вполне вероятно, что сюда приобщались и все ее атеистические и скептические размышления. Ада находилась в сумеречном состоянии: царапала записки, которые, кроме ее матери, никто не мог разобрать; страшилась погребения заживо; без конца переспрашивала, кто стоит у дверей или в изножье, хотя там никого и не было. Аду навестил по ее просьбе Чарльз Диккенс (они не один год сохраняли дружеские отношения) и прочитал ей отрывок из «Домби и сына» — сцену, в которой маленькому Полю Домби, когда он умирает, чудится его мать, стоящая в изножье. Бэббиджа, явившегося к Аде с визитом, леди Байрон не впустила.

В октябре сына Ады — Байрона, теперь виконта Оккама, которого она более всех прочих желала видеть подле себя, леди Байрон отослала прочь под тем предлогом, что при нынешнем «неопределенном состоянии» матери он может получить «губительные впечатления». Теперь ему было позволено явиться и нанести единственный прощальный визит перед возвращением в Плимут, на морскую службу. Было решено (самой леди Байрон), что юноша не должен прощаться с матерью, поскольку ей будет не под силу справиться с таким переживанием: ему позволили только лишь подойти к двери спальни и заглянуть внутрь. Неясно, осознала ли Ада его присутствие.

Однако Оккам не вернулся на корабль. Он уложил форму гардемарина в саквояж и отослал его домой, отцу. А затем исчез. Лорд Лавлейс, обезумев от растерянности, обратился в полицию и нанял детектива. Ниже приводится описание Оккама, опубликованное в лондонской «Тайме», где за сведения об юноше предлагалось вознаграждение:

возраст — около 17 лет, рост 5 футов и 6 дюймов, широкоплечий, хорошего подвижного телосложения, шаткая походка моряка, загорелый, темные выразительные глаза и черные брови, густые черные вьющиеся волосы, руки длинные, с небольшими татуировками — красным крестиком и другими мелкими черными отметинами…

Это описание (темные, выразительные глаза, видимо, унаследованы от деда-тезки), было распространено в главных портовых городах, куда прибывали корабли из Америки — в Бристоле и Ливерпуле, словно лорд Лавлейс имел основания предполагать, что найдет сына именно там, — и его действительно нашли в ливерпульской гостинице, где он жил среди «рядовых матросов» и пытался сесть на рейс в Америку. Обнаружившему его детективу сопротивления он не оказал — и возвратился под родной кров.

Все эти подробности из биографии Оккама известны не первый день. Кое-кто из круга родственников и знакомых леди Байрон находил крайне жестокосердным поступок юного Байрона, причинившего горе семейству в столь тяжкую минуту. Однако оставалось неизвестным следующее: пребывая вне дома — возможно, почувствовав, что будет пойман, — Оккам поместил в ячейку ливерпульского банка на хранение сундук со своими бумагами, письмами и прочими документами личного характера, имеющими отношение к морской службе, а также с зашифрованным романом и примечаниями к нему, которые передала ему мать. Должно быть, ей сделалось совершенно ясно (у Ады бывали моменты просветления — ужасные, безжалостные и дивные, озаряющие последнюю болезнь, знакомые всякому, кто был свидетелем этого), что сын приложит все усилия, дабы сохранить рукопись. Быть может, ей и хотелось, чтобы он совершил побег? Что, если она велела ему в напутствие немедля покинуть ее дом и комнату, где она умирала, — бросить все и отправиться в Америку?

Оккам этого не сделал. Он был возвращен на службу в военный флот. Со временем добился увольнения — или же дезертировал: подробности неясны. Проведя еще несколько тяжелых лет — сначала дома под надзором леди Байрон, затем под началом известного викторианского педагога Томаса Арнольда, — он снова бежал, и на сей раз его не преследовали; работал в угольной шахте и подсобным рабочим на верфях, живя под именем Джека Окея. Умер в 1862 году от туберкулеза, двадцатишестилетним. Мертвым новости недоступны и

отозваться они не могут, однако больше всего на свете мне хотелось бы донести до слуха лорда Байрона эту странную и печальную историю и получить от него ответное письмо — что бы он написал о своем внуке, который не хотел быть лордом.

Все, что вы прочитаете далее, — это, как мне представляется, плод тройной признательности, более того, тройной любви: любви отца к дочери, дочери к отцу и сына к матери, — но я не в силах заглянуть в сердца тех, кто давно упокоился в могиле, а один из них вообще не оставил никаких записей.

В июне 1816 года, приступая к роману, который позднее обретет название «Вечерняя Земля», Байрон завершил третью песнь «Паломничества Чайльд-Гарольда». В заключительных строфах он прямо обращается к далекой дочери — прекрасно понимая, разумеется, что его услышат и его супруга, и весь читающий свет. «Дитя любви, рожденное в скорбях!.. / Хотя б, как долг, вражду в тебя внедряли, / Любить меня ты будешь, дочь моя!» Быть может, Байрон знал об этом; и знал наверняка, что никогда больше ее не увидит:

> Мой взгляд, мой слух лишен тебя; но мною
> Владеешь ты, как прежде; ты — моя.
> Лет прошлых тени льнут к тебе, скорбя;
> Хотя отца ты не увидишь боле,
> Но в мой напев проникнет мысль твоя;
> Он грудь твою взволнует поневоле,
> Когда моя замрет, с земной простившись долей.

Так и произошло: напев Байрона проник в ее грудь. Лорд Байрон не добрался до Америки и не вернулся в Англию. Ада не побывала за границей и не встретилась с ним, как могла бы сделать в наши дни — если бы недуг ее отца лечили должным образом, если бы ее мать не сохранила на всю жизнь ужас перед мужем, если бы тогдашний мир чуть более походил на современный, если бы все обстояло не так, как оно было и как есть. Однако напев Байрона проник в грудь Ады, как, верю, случилось бы независимо от того, нашла бы она или нет этот роман.

Перечень всех исследователей и специалистов, которым я благодарна за помощь в установлении подлинности «Вечерней Земли», приведен после «Текстологического обоснования». Я же хотела бы выразить здесь признательность двум лицам, которые помогли мне разрешить загадку «Вечерней Земли» и ее судьбы:

доктору Ли Новаку — за редактуру расшифрованного текста и за комментарий к примечаниям Ады, но в гораздо большей степени — за многочисленные проницательные догадки и постоянную поддержку; и доктору Теа Спанн, чье хитроумие и неизменная преданность были равно необходимы — так что мне трудно подобрать слова благодарности.

Киото

10 июня 2003

Автор признателен всем, кто помогал готовить к печати это самонадеянное сочинение, в том числе — Ральфу Вичинанце, Дженнифер Брель, Л. С. Б., Теду Чану за идеи насчет кодов, Мэри Ирвин, чья французская речь, вероятно, правильнее Байроновой, Бенджамину Вулли за «Невесту науки» (биографию Ады, графини Лавлейс), Дорону Суэйду за «Разностную машину» и, в наибольшей степени, Полу Фраю за придирчивое и сочувственное прочтение рукописи. Великие мертвецы в моей благодарности не нуждаются.

Примечания

Ура — куда же плыть — к песчаным ли брегам
Где дремлют вечности символы, пирамиды
шль к девственным лесам Младой Америки — Флориды

А. С. Пушкин. Осень (черновик XII строфы)

Американского писателя Джона Краули (р. 1942) уже много лет интересует личность Джорджа Гордона, шестого барона Байрона (1788–1824): личность более, чем поэзия.

Около 1967 г. Краули написал пьесу «Сувениры», главными героями которой стали Шелли и Байрон: автор счел созвучным времени противопоставление романтического утопизма первого и «более земных, полнокровных, двусмысленных взглядов» второго.

> «Я полюбил их обоих, но мои чувства к Байрону — более глубокие и сокровенные. Мало кого из исторических персонажей я вижу столь целостно, и его внутренний мир знаком мне не хуже, чем души близких людей. Потому что он был таким незащищенным, его позы и маски сразу же становились столь очевидными, и он охотно высмеивал их и себя самого — с той же терпимой улыбкой, с какой смотрел и на весь мир. Я привык считать его своим другом» (из интервью Краули).

«Сувениры» так и остались неопубликованными, но двадцать с лишним лет спустя Краули вновь сделал Байрона своим персонажем. В рассказе «Миссолонги, 1824» (1990) поэт вспоминает о встрече с последним фавном — которая, впрочем, оказывается сном.

Наконец, в 2002 г. журнал «Локус» объявил, что Краули заключил с издательством «Уильям Морроу» договор на книгу «Люцифер: Неизвестный роман лорда Байрона». Начальный замысел претерпел немало изменений.

> «Много лет назад я задумал книгу, которая полностью состояла бы из романа Байрона. Мой прежний

литагент Кирби Маккоули встретил идею прохладно; он был совершенно уверен, что удовольствие от книги получат немногие: вовсе не каждый (разумеется) знаком с деталями жизни Байрона, а значит, подтексты ускользнут от большинства читателей. Теперь я вижу его правоту. Когда я воскресил идею, мой редактор в "Морроу" также предложил, чтобы книга была снабжена броней объяснений для читателей, а также рассказом о том, как и почему роман вообще появился на свет. Но кто мог бы поведать об этом? Мой нынешний литагент Ральф Вичинанца заметил: "А почему бы не Ада?" Тут было над чем подумать. Я вовсе не хотел сделать Аду обычным героем романа — так и появилась идея насчет составленных ею примечаний…

Текст Байрона каким-то образом должны были обнаружить в наши дни, а значит — и как-то на него откликнуться. Мне нужен был персонаж, который мало что знает о Байроне, никакой симпатии к нему не испытывает — и сможет, узнавая что-то для себя, показать и читателю (возможно, тоже настроенному несочувственно), чем же был интересен этот человек. Я подумал, что молодая лесбиянка, историк науки, как раз подойдет. Вот и все. Когда у вас есть персонаж, он обретает жизнь, обретает историю».

По ходу работы «Люцифер» обрел название «Америка лорда Байрона» и наконец — нынешнее.

Тройная структура книги (роман, примечания, письма) многим рецензентам напомнила «Бледное пламя» (1962) Владимира Набокова. Ада Лавлейс, как и безумный профессор Кинбот, ищет в чужом тексте намеки на собственную судьбу; однако ее эгоцентризм — лишь кажущийся: ведь главная цель Ады — понять жизнь и личность отца, автора «Вечерней Земли». Заметны параллели и с романом А. С. Байетт «Обладать» (1990), в котором современные филологи расследуют историю любви (вымышленных) викторианских поэтов, чьи тексты и письма составляют немалую часть книги.

«Я старался как мог. Я люблю читать прозу Байрона, его письма, дневники, остроумные и содержательные примечания к большим поэмам. Я старался ухватить ироничную беглость его письма — ощущение того, что одной рукой он дает, а второй отбирает. Впрочем, не думаю, что Байрон писал бы роман так же, как письмо: поэтому стиль становится то более драматичным, то

более гладким. Конечно, у каждого свой Байрон: один рецензент заявил, что ни один абзац не звучит для него байронически (что странно, поскольку строки и абзацы из сочинений Байрона встречаются едва ли не на каждой странице)».

Увы — я не могу похвастать тем, что опознал все эти цитаты. Однако, уж если Ада сочла необходимым дать некоторые разъяснения, обращаясь к американцам неведомого будущего, — полагаю, дополнительные сведения будут небесполезны и для русских читателей. По возможности, я предоставлял Байрону говорить самому за себя.

За исключением специально оговоренных случаев, «Чайльд-Гарольд» цитируется в переводе В. Левика, «Дон-Жуан» — в переводе Т. Гнедич, примечания к поэмам — в переводах П. Морозова, Н. Дьяконовой и автора этих строк.

Цитаты из дневников и писем Байрона, а также из сочинений его современников приводятся — при необходимости, с изменениями — по изданиям:

Библиотека великих писателей. *Байрон*: В 3 т. / Под ред. С. Венгерова. — СПб.: Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1904–1905.

Байрон. Дневники и письма / Пер. З. Александровой. — М.: Изд. АН СССР, 1963.

Дж. Г. Байрон. На перепутьях бытия…: Художественная публицистика. — М.: Прогресс, 1989 (письма в пер. О. Кириченко, Ю. Палиевской, Ф. Урнова; воспоминания в пер. А. Бураковской, А. Зверева).

Андре Моруа. Дон Жуан, или Жизнь Байрона / Пер. М. Богословской. — М.: Молодая гвардия, 2000.

The Works of Lord Byron: 13 volumes / Ed. by Ernest Hartley Coleridge amp; Rowland E. Prothero. — London, 1898–1904.

Lord Byron's Correspondence: 2 volumes / Ed. by John Murrey. — London, 1922.

Harriet Beecher Stowe. Lady Byron vindicated. Boston, 1870.

Lord *Broughton (John Cam Hobhouse).* Recollections of a long life.-Vol. 2. — London, 1909.

Mabell, countess of Airlie. In Whig society, 1775–1818. — Toronto — London — New York, 1921.

Thomas Medwin. Conversations of Lord Byron: noted during a residence with his lordship at Pisa, in the years

1821 and 1822. — London, 1824.

Ralph Milbanke, lord Lovelace. Astarte: A fragment of truth concerning George Gordon Byron, sixth lord Byron. — London, 1921.

Thomas Moore. Life of Lord Byron with his letters and journals: 6 volumes. — London, 1854.

* * *

…прослывшего «дурным, дрянным и опасным для близких». — Такую запись сделала в своем дневнике (март 1812 г.) Каролина Лэм (1785–1828) после первой встречи с Байроном.

Глава первая

…два карманных пистолета, изготовленные Ментонами… — Братья Джон (1752–1834) и Джозеф (1766–1835) Ментоны, славные оружейники. См. также прим. к с. 74.

…памадианское крыло… — в английском стиле, который возник в XVIII веке под влиянием трудов итальянского архитектора Андреа Палладио (1508–1580): строгие формы, гладкие стены.

Фула — далекий северный остров на краю мира, открытый греческим мореплавателем Пифеем Массилийским ок. 330–320 гг. до Р. Х.; Исландия ли это, Гренландия ли, южная Норвегия, Шетландские острова или Йглм — неизвестно. Выражение «дальняя Фула» из первой книги «Георгик» Вергилия стало обозначать далекую страну и крайний предел вообще.

Хан — обычно под этим словом разумеют постоялый двор, караван-сарай. Ссылаюсь на свидетельство Джона Кэма Хобхауза (1786–1869), друга Байрона, с которым тот путешествовал по Европе.

…козы… как описано у Вергилия, забираются на вершину утеса… — «Как повисаете вы вдалеке на круче тернистой» и проч. (первая эклога «Буколик», пер. С. Шервинского).

В последнее десятилетие прошлого века у российской императрицы, пресловутой Екатерины, и у ее советников возник замысел… овладеть Константинополем и уничтожить Порту… — В письме к императору австрийскому Иосифу II от 10 (21) сентября 1782 г. Екатерина предлагала нечто более удивительное, нежели очередную попытку «возвращение древней Византии под сень Российския державы уповательным учинить» (говоря словами другого классика русской политической мысли). «Второй Рим, — пишет А. Зорин, — должен был стать центром новой Греческой империи, престол которой должен был достаться Константину [внуку Екатерины] лишь при твердом условии, что и он сам, и его потомки навсегда и при любых обстоятельствах отказываются от притязаний на российскую корону»[78]. Напомню, что русско-турецкая война 1787–1792 гг. и взятие Измаила в 1790 г. описаны Байроном в седьмой и восьмой песнях «Дон-Жуана»; сама Екатерина появляется в песне девятой и делает Жуана своим фаворитом. В песне же шестой Байрон напоминает, что туркам

> …не давал ни отдыху, ни сроку
> Несокрушимый натиск русских сил,

За что льстецы венчанного порока
Доселе не устали прославлять
Великую монархиню и б…

В беседах Байрон высказывался о Екатерине не столь сурово.

> «Никто из современных женщин не может сравниться отвагой с Екатериной. Вся Европа поражалась ее уму и политической дальновидности. Она всегда боролась, время было не властно над ней, и ей удалось спасти свою страну от тех, кто совсем уж было поработил ее. Но при всей своей мужской дальновидности, — продолжал он, — Екатерина не была лишена недостатков. Она была великолепным политиком и военным стратегом, однако ее отношение к полякам шло вразрез с ее смелостью, интуицией и здравомыслием».

…хозяйка мейфэрского салона… — Мейфэр — центральный и чрезвычайно дорогой район Лондона.

Сипахи (спахи, спаги) — турецкая тяжелая кавалерия.

…несчастную женщину, лишенную защиты, вскорости постигло столь надолго отсроченное супружеское возмездие. — Байрон с ужасом рассказывал о неуклонно исполнявшемся законе Али-паши, согласно которому женщину, вступившую в связь с христианином, побивали камнями — не дожидаясь родов.

…«ромашка растет тем гуще, чем больше ее топчут»… — Байрон чрезвычайно любил приводить в письмах и дневниках строки Шекспира и других поэтов, при этом любезно закавычивая цитаты, что немало облегчает поиски скромным комментаторам. Здесь — строка из шекспировского «Генриха IV» (часть I, акт II, сцена 4; пер. Б. Пастернака).

…сулиотки… кидались с младенцами в руках с вершин залонгских скал в пропасть… — Печальные события декабря 1803 г. Залонго — горы в Греции.

…сулиоты… прославленные необузданностью… — В 1823 г. Байрон написал «Песнь к сулиотам»:

Дети Сули! Киньтесь в битву,
Долг творите, как молитву!
Через рвы, через ворота:
Бауа, бауа, сулиоты!
Есть красотки, есть добыча —
В бой! Творите свой обычай!

Знамя вылазки святое,
Разметавшей вражьи строи,
Ваших гор родимых знамя —
Знамя ваших жен над вами.
В бой, на приступ, стратиоты,
Бауа, бауа, сулиоты!

Плуг наш — меч: так дайте клятву
Здесь собрать златую жатву;
Там, где брешь в стене пробита,
Там врагов богатство скрыто.
Есть добыча, слава с нами —
Так вперед, на спор с громами!

(Пер. А. Блока)

…разноцветной наподобие одежд Иосифа. — «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, — и сделал ему разноцветную одежду» (Быт. 37: 3).

* * *

«Суэйн Эйдни» — «Swaine Adeney Brigg», осн. 1750, классические английские зонтики.

Когда бы милая моя со мной в постели здесь была. — Песня XVI века (использован пер. Е. Калашниковой из романа Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!»).

Первичная сцена — по Фрейду, сексуальный опыт раннего детства (прежде всего — подсмотренный половой акт родителей), травмирующий психику. Здесь — первопричина умонастроения и стремлений.

Мэри Сомервилл (1780–1872) — математик и астроном, переводчица и популяризатор работ Лапласа, автор книг «О единстве физических наук», «Физическая география», «Молекулярная и микроскопическая наука». Подруга и наставница Ады Лавлейс.

Шарлотта Ангас Скотт (1858–1931) — математик; родилась в Англии, но большую часть жизни провела в Америке. Первая британка, получившая докторскую степень.

Розалинда Франклин (1920–1958) — англичанка-биофизик. Сделала рентгенограммы молекулы ДНК, ставшие подспорьем в открытии Уотсона и Крика (которые даже не упомянули Франклин ни в исходной публикации, ни в нобелевских

выступлениях). Умерла, как и Ада, от рака.

«В Кью приходи, как сирень зацветет» — строка из стихотворения английского поэта Альфреда Нойеса (1880–1958) «Шарманка».

…женщины просто в обморок брякались… — Со слов Байрона известен по крайней мере один такой инцидент:

> «Кто-то внушил мадам де Сталь, что я — человек аморальный. [В 1816 г.] я время от времени навещал ее в Коппе. Однажды она пригласила меня на семейный обед; комната оказалась полна незнакомцев, которые собрались поглазеть на меня, словно на заморского зверя в балагане. Одна из дам упала в обморок, а прочие выглядели так, словно меж ними появилось Его Сатанинское Величество. Мадам де Сталь сочла возможным прочитать мне нотацию перед этой толпою; в ответ я слегка поклонился» (из «Разговоров лорда Байрона» Томаса Медвина).

Она изучала математику, а Байрон это считал делом неженским и даже комичным. — Байрон дал Аннабелле прозвище «Принцесса Параллелограммов» — позже называл своей «Математической Медеей» — и вывел жену (уже бывшую) в облике математиколюбивой донны Инесы, матери Дон-Жуана (см. прим. к с. 465).

…узнала вдобавок и о том, что в Греции он имел дело с мальчиками… — которых было немало. В их числе: «мой драгоценный Евстафий, готовый следовать за мной не только в Англию, но и в Terra Incognita, если туда укажет стрелка моего компаса» (Хобхаузу, 29 июля 1810 г.); Николо Жиро, который «всё говорит, что мы должны не только жить вместе, но и "morire insieme" (умереть вместе). Последнего постараюсь избежать, а первое — как ему будет угодно» (Хобхаузу, 23 августа 1810 г.). В 1811 г., уже вернувшись на родину, Байрон отписал Жиро в завещании 7000 фунтов.

Роан Дж. Уилк — в оригинале «Roony J. Welch»; имя изменено, чтобы сохранить анаграмму.

Трикси — уничижительное жаргонное выражение, обозначающее молодую незамужнюю алчную карьеристку.

Папаша Уорбакс (сэр Оливер Уорбакс, генерал-лейтенант) — персонаж популярного комикса (впоследствии мюзикла и фильмов) «Сиротка Энни», созданного Гарольдом Греем (1894–1968) в 1924 г. В 2006 г. Папаша Уорбакс занял первое место в рейтинге вымышленных миллионеров, составленном журналом «Форбс». Имя стало нарицательным как прозвище щедрого

спонсора.

…все, что режиссеры, которые потом сделали «Кинг-Конга», сняли в двадцатые годы в Белуджистане: их фильм так и должен был называться — «Трава». — «Трава» — документальный фильм, снятый в 1925 г. Мерианом Купером (1893–1973) и Эрнестом Шедсаком (1893–1979). Он посвящен переходу племени бахтияров от Персидского залива к высокогорным пастбищам и раскрывает перед зрителем все более древние страницы истории персидской земли. «Кинг-Конга» режиссеры сняли восемь лет спустя.

…жуткой бойни когда восточный тимор потребовал независимости… — расстрел демонстрации в г. Дили 12 ноября 1991 г.

К читателю

Мадзини, Джузеппе (1805–1872) — писатель и политик, борец за свободу Италии и всей Европы, создатель подпольной организации «Молодая Италия» (1831). С 1837 г. жил в Лондоне, где основал «Союз итальянских рабочих». В 1848 г. вернулся на родину и в 1849 г. входил в состав триумвирата, руководившего Римской республикой. Позднее из Лондона поддерживал — материально и организационно — походы Гарибальди на Рим.

Сильвио Пеллико (1789–1854) — итальянский писатель. В 1820 г. как заговорщик-карбонарий был осужден на смертную казнь, которую заменили пятнадцатью годами заключения. Был освобожден в 1830 г. и опубликовал книгу воспоминаний «Мои темницы» (1832). «Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью, — прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства», — писал Пушкин в рецензии на русское издание книги Пеллико «Обязанности человека» (1834). «Мои темницы» еще при жизни автора были переведены почти на все европейские языки.

Карло Пеполи (1796–1881) — итальянский поэт и политический деятель; его стихи и либретто были положены на музыку Беллини и Россини. В 1866 г. избирался сенатором. Возможно, имеется в виду его родственник и тезка (1824–1867), муж оперной певицы Мариетты Альбони (1826–1894), в 1846–1847 гг. гастролировавшей в Лондоне.

Фортунатто Пранди (1799–1868) — журналист, участник пьемонтского восстания 1821 г., был заочно осужден и жил в Англии. В 1842 г. помилован, впоследствии вернулся на родину.

…лорду Байрону, когда тот жил в Равенне… — в декабре 1819-октябре 1821 г.

Хрустальный дворец — павильон для всемирной промышленной выставки 1851 года (Лондон, Гайд-парк). Здание из стекла и железа было революционным для архитектуры того времени и производило огромное впечатление.

…о своем предке — Уильяме, пятом лорде, который разорил свое имение и убил противника на дуэли вопреки правилам… — Двоюродный дед поэта, Уильям Байрон (1722–1798), убил своего родича и соседа Уильяма Чаворта после спора о лучших способах сохранения дичи в охотничьих угодьях. Джентльмены заперлись на ключ в пустой комнате, освещенной одною свечой, — некоторое время спустя раздался звонок — Байрон отпер дверь — Чаворт был ранен и вскоре скончался. Байрона признали виновным в непредумышленном убийстве и приговорили к незначительному штрафу; этой истории он обязан своим прозвищем Злой Лорд. Его двоюродный внук, указывая на многочисленные неточности в биографическом очерке, открывавшем французское собрание его сочинений, указывал:

> «Что до лорда Байрона, убившего на дуэли мистера Чаворта, то он вовсе не удалился от света; напротив, он объехал после этого всю Европу и был назначен Начальником Королевской Охоты; а уединился лишь после того, как обиделся на сына, женившегося против его воли. Он не только не раскаивался в том, что убил мистера Чаворта, известного бретера, но всегда, до самой смерти держал у себя в спальне шпагу, которую пустил тогда в ход. Странно, что я в ранней юности сильно полюбил внучатую племянницу и наследницу мистера Чаворта, состоявшую с ним в том же родстве, что я с лордом Байроном; и одно время казалось, что обе семьи примирятся благодаря нашему союзу» (письмо Ж. Ж. Кульману, июль 1823 г.).

…отец самого лорда Б., «Полоумный Джек», промотал состояние своей первой, а затем и второй супруги (матери лорда Б.) в ошеломляюще короткий срок — Сын берет Джона Байрона (1756–1791) под свою защиту в процитированном выше письме:

> «Он не только не был "груб", но, по отзывам всех знавших его, был человеком необычайно приветливым и жизнерадостным, хотя беспечным и расточительным. Он был известен как хороший офицер и показал себя таким в Америке, служа в гвардии. Сами факты противоречат

этому утверждению. Ведь не "грубостью" же сумел молодой гвардейский офицер очаровать и увезти маркизу и дважды жениться на богатых наследницах. Правда, он был весьма красив, а это немало значит. Его первая жена (леди Коньерс, маркиза Кармартен) умерла не от горя, а от болезни, которую получила по неосторожности; она пожелала сопровождать моего отца на охоту, еще не вполне оправившись от родов, когда произвела на свет мою сестру Августу.

Вторая его жена, моя уважаемая мать, была слишком горда, уверяю вас, чтобы терпеть обиды от кого бы то ни было, и скоро доказала бы это… Он скончался, еще не достигнув сорока лет, и каковы бы ни были его недостатки, грубость не была в их числе».

…родовым Ньюстедским аббатством… — Байрон посвятил родовой вотчине несколько элегий.

Ньюстед! Ветром пронизана замка ограда,
Разрушеньем объята обитель отцов.
Гибнут розы когда-то веселого сада,
Где разросся безжалостный болиголов.

(«При отъезде из Ньюстедского аббатства», 1803;

пер. В. Иванова)

Полуупавший, прежде пышный храм!
Алтарь святой! монарха покаянье![79]
Гробница рыцарей, монахов, дам,
Чьи тени бродят здесь в ночном сиянье.

Твои зубцы приветствую, Ньюстед!
Прекрасней ты, чем зданья жизни новой,
И своды зал твоих на ярость лет
Глядят с презреньем, гордо и сурово.
.
Ньюстед! как грустны ныне дни твои!
Как вид твоих раскрытых сводов страшен!
Юнейший и последний из семьи
Теперь владетель этих старых башен.

Он видит ветхость серых стен твоих,

Глядит на кельи, где гуляют грозы,
На славные гробницы дней былых,
Глядит на все, глядит, чтоб лились слезы!

Но слезы те не жалость будит в нем:
Исторгло их из сердца уваженье!
Любовь, Надежда, Гордость — как огнем,
Сжигают грудь и не дают забвенья.

Ты для него дороже всех дворцов
И гротов прихотливых. Одиноко
Бродя меж мшистых плит твоих гробов,
Не хочет он роптать на волю Рока.

Сквозь тучи может солнце просиять,
Тебя зажечь лучом полдневным снова.
Час славы может стать твоим опять,
Грядущий день — сравняться с днем былого!

(«Элегия на Ньоапедское аббатство», 1806;

пер. В. Брюсова)

Появляется аббатство и на страницах «Дон-Жуана» (см. прим. к с. 136).

…действительно, оборот «мы, шотландцы» употреблялся им довольно часто — В январе 1822 г. Байрон писал Вальтеру Скотту:

> «…До десятилетнего возраста я рос хитрым шотландцем… "сердцу моему мил шотландский плед"[80] и все шотландское, напоминающее Эбердин и другие места, поближе к горам, около Инверхолда и Бремара, куда меня посылали в 1795–1796 гг. пить козью сыворотку, когда я ослабел после скарлатины».

Лорд Байрон был великолепным стрелком… — и, так же как и Али, регулярно держал пистолеты у изголовья — хотя, в отличие от героя романа, явных причин на то не имел. Томас Мур (1779–1852) рассказывает в биографии поэта (1830–1831) следующее:

> «Живя в Лондоне, Байрон часто посещал тир Ментона на Дэвис-стрит, чтобы поупражняться в стрельбе… Поэт, разгоряченный своими успехами, назвал себя при Джо Менго не лучшим стрелком в

> Лондоне. "Нет, милорд, — возразил Ментон, — есть и получше. Но сегодня вы стреляли неплохо". Байрон рассердился и в негодовании покинул тир».

Своими успехами в тире Ментона Байрон хвастался перед потомками в дневнике (запись от 21 января 1821 г.).

Байрон держал медведя, когда учился в Кембридже… — 26 октября 1807 г. Байрон писал Элизабет Бриджит Пигот:

> «У меня новый друг — и лучший в мире: ручной медведь. Когда я его сюда привез, все стали спрашивать, что я с ним собираюсь делать, а я отвечал: "Он будет представлять профессуру"… Мой ответ им не понравился».

…поэт Шелли вспоминал, что в пизанском доме Байрона видел не только собак, но также журавля, козла, обезьяну и кошек. — Не в Пизе, но в Равенне (письмо Томасу Пикоку, август 1821 г.). Впрочем, в Пизе без зверей тоже не обошлось: Байрон перевез туда девять лошадей, обезьяну, бульдога, мастифа, двух кошек, трех павлинов и целый гарем куриц.

…животные, которых Декарт считал простыми автоматами… — «Если бы существовали такие машины, которые имели бы органы и внешний вид обезьяны или какого-нибудь другого неразумного животного, то у нас не было бы никакого средства узнать, что они не той же природы, как и эти животные» («Рассуждение о методе», ч. 5; пер. Г. Слюсарева).

Джон Эллиотсон (1791–1868) — английский врач, френолог и месмерист.

…в Незер-Стоуи Кольриджу виделись дворцы и красавицы, пока его не разбудил человек из Порлока. — Не вполне так. Согласно вступлению к поэме «Кубла Хан, или Видение во сне» (1797), Сэмюель Кольридж (1772–1834) уснул под действием опиума, как раз когда читал о дворце помянутого хана (более известного под именем Хубилай). Во сне ему явилась поэма, и «человек из Порлока» (выражение это стало в английском языке крылатым как синоним надоеды, являющегося не вовремя) прервал ее записывание; час спустя, когда гость удалился, Кольридж уже не помнил ни одной строки.

Путешествие юного лорда Байрона в Албанию, описанное в «Паломничестве Чайлъд-Гаролъда»… — Байрон посетил Албанию в 1809 г.

> Прекрасна ты, страна хребтов, пещер,
> Страна людей, как скалы, непокорных[81],

Где крест поник, унижен калугер[82]
И полумесяц на дорогах горных
Горит над лаврами средь кипарисов черных.

.
Минуя Пинд, и воды Ахерузы,
И главный город, он туда идет,
Где Произвол надел на Вольность узы,
Где лютый вождь Албанию гнетет[83],
Поработив запуганный народ.
Где лишь порой, неукротимо дики,
Отряды горцев с каменных высот
Свергаются, грозя дворцовой клике,
И только золото спасает честь владыки[84].

.
Не портят вида разные строенья.
Янину скрыла ближних гор стена,
Лишь там и здесь убогие селенья,
Кой-где маячит хижина одна,
А вон поляна горная видна,
Пасутся козы, пастушок на круче.
Простых забот вся жизнь его полна:
Мечтает, спит, глядит, откуда тучи,
Или в пещере ждет, чтоб минул дождь ревучий.

.
Эпир прошли мы. Насмотревшись гор,
Любуешься долинами устало.
В такой нарядный, праздничный убор
Нигде весна земли не одевала.
Но даже здесь красот смиренных мало.
Вот шумно льется речка с крутизны,
Над нею лес колеблет опахала,
И тени пляшут в ней, раздроблены,
Иль тихо спят в лучах торжественной луны.

За Томерит зашло светило дня,
Лаос несется с бешеным напором[85],
Ложится тьма, последний луч тесня,
И, берегом сходя по крутогорам,
Чайльд видит вдруг: подобно метеорам,
Сверкают минареты за стеной.
То Тепелена, людная, как форум,

И говор, шум прислуги крепостной,
И звон оружия доносит бриз ночной.

Минуя башню, где гарем священный,
Из-под массивной арки у ворот
Он видит дом владыки Тепелены
И перед ним толпящийся народ.
Тиран в безумной роскоши живет:
Снаружи крепость, а внутри палаты.
И во дворе — разноплеменный сброд:
Рабы и гости, евнухи, солдаты,
И даже, среди них, «сантоны» — те, кто святы.

Вдоль стен, по кругу, сотни три коней,
На каждом, под седлом, чепрак узорный.
На галереях множество людей,
И то ли вестовой или дозорный,
Какой-нибудь татарин в шапке черной
Вдруг на коня — и скачет из ворот.
Смешались турок, грек, албанец горный,
Приезжие с неведомых широт,
А барабан меж тем ночную зорю бьет.

Вот шкипетар, он в юбке, дикий взор,
Его ружье с насечкою богатой,
Чалма, на платье золотой узор.
Вот македонец — красный шарф трикраты
Вкруг пояса обмотан. Вот в косматой
Папахе, с тяжкой саблею, дели,
Грек, черный раб иль турок бородатый —
Он соплеменник самого Али.
Он не ответит вам. Он — власть, он — соль земли.

Те бродят, те полулежат, как гости,
Следя за пестрой сменою картин.
Там спорят, курят, там играют в кости.
Тут молится Ислама важный сын.
Албанец горд, идет, как властелин.
Ораторствует грек, видавший много.
Чу! С минарета кличет муэдзин.
Напоминая правоверным строго:
«Молитесь, Бог один! Нет Бога, кроме Бога!»

Как раз подходит рамазан, их пост.

День летний бесконечен, но терпенье!
Чуть смеркнется, с явленьем первых звезд,
Берет Веселье в руки управленье.
Еда — навалом, блюда — объеденье!
Кто с галереи в залу не уйдет?
Теперь из комнат крики, хохот, пенье,
Снуют рабы и слуги взад-вперед,
И каждый что-нибудь приносит иль берет.

Но женщин нет: пиры — мужское дело.
А ей — гарем, надзор за нею строг.
Пусть одному принадлежит всецело.
Для клетки создал мусульманку Бог!
Едва ступить ей можно за порог.
Ласкает муж, да год за годом дети,
И вот вам счастья женского залог!
Рожать, кормить — что лучше есть на свете?
А низменных страстей им незнакомы сети.

В обширной зале, где фонтан звенит,
Где стены белым мрамором покрыты,
Где все к усладам чувственным манит,
Живет Али, разбойник именитый.
Нет от его жестокости защиты.
Но старчески почтенные черты
Так дружелюбно-мягки, так открыты,
Полны такой сердечной доброты,
Что черных дел за ним не заподозришь ты.

Кому, когда седая борода
Мешала быть, как юноша, влюбленным?
Мы любим, невзирая на года,
Гафиз согласен в том с Анакреоном.
Но на лице, годами заклейменном,
Как тигра коготь, оставляет шрам
Преступность, равнодушная к законам,
Жестокость, равнодушная к слезам.
Кто занял трон убийц — убийством правит сам.

Однако странник здесь найдет покой,
Тут все ему в диковинку, все ново,
Он отдохнет охотно день-другой.
Но роскошь мусульманского алькова,
Блеск, мишура — все опостылет снова,

Все было б лучше, будь оно скромней.
И Мир бежит от зрелища такого,
И Наслажденье было бы полней
Без этой роскоши, без царственных затей.

В суровых добродетелях воспитан,
Албанец твердо свой закон блюдет.
Он горд и храбр, от пули не бежит он,
Без жалоб трудный выдержит поход.
Он — как гранит его родных высот.
Храня к отчизне преданность сыновью,
Своих друзей в беде не предает
И, движим честью, мщеньем иль любовью,
Берется за кинжал, чтоб смыть обиду кровью.

Среди албанцев прожил Чайльд немало.
Он видел их в триумфе бранных дней,
Видал и в час, когда он, жертва шквала,
Спасался от бушующих зыбей.
Душою черствый в час беды черствей,
Но их сердца для страждущих открыты —
Простые люди чтут своих гостей,
И лишь у вас, утонченные бритты,
Так часто не найдешь ни крова, ни защиты.

(«Чайльд-Гарольд»,

2, XXXVIII, XL VII, LII, LIV–LXVI)

Описание битвы в конце главы должно вызвать в памяти строки из «Абидосской невесты» (1, IX):

Но он, унылый, не видал
Ни моря с синими волнами,
Ни поля с дальними холмами,
Ни чалмоносцев удалых,
Стремящихся перед пашою
Шум грозный сечей роковых
Представить бранною игрою;
Не видит он, как к облакам
Их кони вихрем прах взвевают,
Как сабли острые мелькают
И как с размаха пополам
Чалмы двойные рассекают;

Не слышит он, как громкий крик
За свистом дротиков несется,
И как в долине раздается:
Аллах! Аллах! — их дикий клик…

(Пер. И. Козлова)

5 декабря 1813 г. Байрон отметил в дневнике, что Албания в его памяти «окрашена самыми радужными и самыми зловещими, но неизменно яркими красками».

…обладая, по определению доктора Джонсона, «готовностью получать удовольствие»… — Сэмюель Джонсон (1709–1784), славный лексикограф, законодатель вкуса, Великий Хан Литературы, печалился в эссе «Искусство дружбы» (1758): «…Но когда желание доставлять и готовность получать удовольствие хиреют в молчании, надежды на обновление дружбы уже нет».

В письмах к матери Байрон описывает эту персону и раскрашенных внуков паши весьма сходно — Из Превезы, 12 ноября 1809 г.:

> «Я уже некоторое время нахожусь в Турции; сейчас я на побережье, но проехал всю провинцию Албанию, по дороге к паше. С Мальты я отплыл 21 сентября на военном бриге "Паук" и за восемь дней добрался до Превезы. Оттуда я выезжал за 150 миль в Тепелин, загородный дворец его высочества, где пробыл три дня. Пашу зовут Али, и он считается выдающимся человеком; он правит всей Албанией (древней Иллирией), Эниром и частью Македонии… Приехав в его столицу Янину после трех дней путешествия по живописнейшей горной местности, я узнал, что Али-паша со своим войском находится в Иллирии и осаждает Ибрагима-пашу в крепости Берат. Он услышал, что в его владения прибыл знатный англичанин, и оставил коменданту Янины приказ предоставить мне *gratis*[86] дом и все необходимое; мне позволили делать подарки рабам и пр., но не брали платы ни за какие припасы.
>
> …За девять дней я добрался до Тепелина. Нас задерживали горные потоки, пересекавшие дорогу. Никогда не забуду необычайное зрелище, встретившее меня при въезде в Тепелин в пять часов вечера, на закате. Оно напомнило мне (несмотря на разницу в костюмах) замок Бранксом в "Менестреле" Скотта и феодальные нравы. Албанцы в национальных одеждах

(нет ничего красивее их пышных белых шаровар, шитых золотом плащей, красных бархатных кафтанов и жилетов с золотым позументом, пистолетов и кинжалов в серебряной оправе); татары в высоких шапках, турки в широких одеждах и тюрбанах, солдаты, чернокожие рабы, держащие лошадей, — первые на огромной открытой галерее перед дворцом, вторые — в огороженном пространстве; двести оседланных скакунов, курьеры, спешащие с донесениями, бой барабанов, мальчики, объявляющие часы с минарета мечети, и само причудливое здание дворца, — все это составляло для чужестранца новое и необычайное зрелище. Меня привели в роскошные покои, и секретарь визиря *a la mode Turque*[87] осведомился о моем здоровье.

На другой день меня представили Али-паше. На мне была полная штабная форма, великолепная сабля и пр. Визирь принял меня в большой комнате с мраморным полом; посередине ее журчал фонтан; вдоль стен тянулись ярко-красные диваны. Он встретил меня стоя, что для мусульманина надо считать величайшим знаком внимания, и усадил справа от себя. У меня есть переводчик-грек, но на этот раз беседу переводил врач Али, по имени Фемларио, знающий по-латыни. Он прежде всего спросил, почему я покинул родину в столь юном возрасте (турки не имеют понятия о путешествиях ради развлечения).

Затем он сказал, что слышал от английского посланника, капитана Лика, будто я из знатного рода, и просил выразить почтение моей матери, — это я сейчас и делаю от имени Али-паши. Он сказал, что мое знатное происхождение видно сразу, потому что у меня маленькие уши, кудрявые волосы и маленькие белые руки, и вообще выразил одобрение моей внешности и костюму. Он предложил мне считать его своим отцом, пока я нахожусь в Турции, и сказал, что относится ко мне как к сыну. Он и в самом деле обращается со мной как с ребенком и раз по двадцать на дню посылает мне миндаль, сладкий шербет, фрукты и конфеты. Он просил меня почаще навещать его, по вечерам, когда он свободен. После кофе и трубки я удалился. После этого я виделся с ним еще три раза. Странно, что турки, у которых нет наследственных титулов и мало знатных родов, кроме султанского, так чтят в людях породу; моему рождению здесь придали больше значения, чем

титулу…

Его высочеству шестьдесят лет, он очень толст и невысок ростом, но у него красивое лицо, голубые глаза и белая борода; он очень приветлив и вместе с тем полон достоинства, которое я неизменно встречаю у каждого турка. Внешность его не соответствует его сущности — ведь это безжалостный тиран, повинный в чудовищных жестокостях, бесстрашный, прославленный своими победами настолько, что его называют мусульманским Бонапартом. Наполеон дважды предлагал сделать его королем Эпира, но он сторонник Англии, а французов не терпит, как сам мне сказал. Он так влиятелен, что обе стороны стремятся привлечь его к себе; албанцы — лучшие воины среди подданных султана; впрочем, зависимость Али от Порты скорее номинальная; это могучий воин, но столь же жестокий, как и удачливый, — он поджаривает мятежников и т. п. Бонапарт прислал ему табакерку со своим портретом. Али сказал, что табакерку весьма одобряет, а без портрета мог бы обойтись — потому что ему не нравится ни портрет, ни оригинал. Любопытны его суждения о знатности по ушам, рукам и т. п. Ко мне он отнесся истинно по-отечески, приставил охрану, снабдил письмами и окружил всеми возможными удобствами. Во время других наших встреч мы говорили с ним о войне и путешествиях, о политике и об Англии. Он призвал приставленного ко мне албанского солдата и велел ему охранять меня любой ценой; солдата зовут Висцили; как все албанцы, он храбр, верен и неподкупно честен; это люди жестокие, но не способные на предательство; у них есть пороки, но отсутствует подлость…

В Янине меня представили Хусейн-бею и Махмуту-паше, маленьким внукам Али; они совершенно не похожи на наших мальчиков — накрашены, как старые дамы, с большими черными глазами и очень правильными чертами. Это самые очаровательные зверьки, каких я когда-либо видел, и уже дрессированы по части придворного этикета. Турецкий поклон состоит в легком наклонении головы, причем рука прижата к сердцу; более близкие друзья при встрече всегда целуются. Махмуту десять лет, и он надеется снова увидеться со мной; мы с ним подружились, не понимая друг друга, как бывает со многими, но по иной причине».

В «Дополнительной заметке о турках» из примечаний к «Чайльд-Гарольду» Байрон вновь вспоминает своего юного знакомца:

> «Я помню, как Махмут, внук Али-паши, спрашивал, состоим ли мы с моим товарищем по путешествию членами верхней или нижней палаты парламента. Этот вопрос, заданный десятилетним мальчиком, показывает, что его воспитанием не пренебрегали. Позволительно усомниться, известно ли английскому мальчику в этом возрасте различие между диваном и коллегией дервишей; и вполне уверен, что испанец этого не знает».

Хусейн остался верен Али-паше до конца, даже когда его отец, дядья и двоюродный брат перешли на сторону султана. Махмут же убедил отца, Вели-пашу, сдать Превезу; впрочем, от казни его это не спасло.

Точное описание албанского костюма, приобретенного моим отцом в этой стране… — Байрон писал матери из Превезы:

> «У меня есть несколько *"magnifiques"*[88] албанских костюмов, единственных дорогих вещей в здешних краях. Каждый стоит пятьдесят гиней, и на них столько золота, что в Англии они стоили бы по двести».

Позднее этот костюм Байрон подарил мисс Мерсер Эльфинстоун, которой сделал предложение в 1814 г.; только в 1962 г. наряд был случайно обнаружен и выставлен в музее.

Томас Филлипс (1770–1845) — английский витражный мастер, автор картин на исторические и мифологические сюжеты и, главным образом, портретист.

…лишь когда портрет был передан мне после моего бракосочетания, я узнала, как его утаивали. — Байрон знал, что Аде запрещено видеть его портрет:

> «По приезде сюда получил я приглашение побывать на кораблях американской эскадры, где принимали меня со всей любезностью, каковую можно только вообразить, и с излишними, на мой взгляд, почестями. Я нашел, что корабли их красивей наших, щедро оснащены превосходной командой и офицерским составом. Там встретился я и с джентльменами из американцев и дамами их. Перед самым моим уходом одна американская леди попросила подарить ей розу, что была у меня в петлице, дабы, как разъяснила она, увезти

в Америку какую-либо память обо мне. Не стоит пояснять, что я воспринял ее комплимент должным образом. Капитан Чонси показал мне американское — весьма изящное — издание моих стихов и пригласил поплыть на своем корабле в Соединенные Штаты, если я пожелаю. Командир эскадры Джонс был столь же любезен и обходителен. После получил я письмо с приглашением позировать в группе американцев для портрета. Не удивительно ли, что в тот же самый год, когда леди Ноэль волей своей запрещает моей дочери на долгие годы видеть портрет своего отца, представители нации, не отличающейся особой любовью к англичанам и не щедрой на лесть, приглашают меня позировать ради моей "портрекатуры", как сказал бы барон Брэдуордин»[89] (издателю Джону Меррею, 26 мая 1822 г., из Монтереро, близ Ливорно).

Глава вторая

Эдмунд Кин (1789–1833) — великий английский актер.

> «Только что смотрел Кина в роли Ричарда. Клянусь Юпитером, великий дух! Жизнь — природа — истина без преувеличений и преуменьшений» (дневник, 19 февраля 1814 г.).

Однажды, когда Байрон наблюдал игру Кина, от волнения с ним случились конвульсии.

Дальнейший путь из горного края лежал к морю… — лорд Сэйн и Али движутся навстречу Чайльд-Гарольду.

Саик — быстроходный левантийский парусник.

…невдалеке от развалин Никополя… над бухтой у Акциума — там, где был завоеван и утрачен Древний Мир… —

> А вот залив, где отдан был весь мир
> За женщину, где всю армаду Рима,
> Царей азийских бросил триумвир[90].
> Был враг силен, любовь непобедима.
> Но лишь руины смотрят нелюдимо,
> Где продолжатель Цезаря царил[91].
> О деспотизм, ты правишь нетерпимо!
> Но разве Бог нам землю подарил,
> Чтоб мир лишь ставкою в игре тиранов был?
>
> *(«Чайльд-Гарольд», 2, XLV)*

В сражении при Акциуме (2 сентября 31 г. до Р. Х.) Октавиан Август разгромил Марка Антония — Клеопатра бежа/га на своих кораблях в Египет — Антоний последовал за ней — на сторону победителя перешла большая часть его флота и сухопутного войска.

Акциуму Байрон посвятил также «Стансы, написанные при проходе мимо Амвракийского залива».

Али, не бывавший ранее на корабле ни при какой погоде, вообразил, что настал его смертный час, — *обычный страх свежеиспеченных путешественников, в тот час разделявшийся иными Матросами…* —

> «Два дня назад я едва не потерпел крушение на турецком военном судне, из-за неопытности капитана и

экипажа, хотя буря была вовсе не так уж сильна. Флетчер [слуга] призывал жену, греки — всех святых, а мусульмане — Аллаха; капитан расплакался и убежал вниз, а нам велел молиться богу; на корабле разорвало парус и расщепило грот-рею; ветер крепчал, надвигалась ночь, и нам оставалась одна надежда: добраться до Корфу, французского владения, или же (как патетически выразился Флетчер) "обрести водяную могилу". Я успокаивал Флетчера как умел, но, видя, что все напрасно, завернулся в свой албанский бурнус (необъятно широкий плащ) и улегся на палубе в ожидании худшего. За время моих странствий я научился смотреть на вещи философски, а если бы и не научился, жалобы все равно были бы бесполезны. К счастью, ветер стих и только пригнал нас на материк, на берег Сули…» (матери, 12 ноября 1809 г.).

…лорд Элджин увозил с собой мраморные детища этой прекрасной, несчастливой страны. — Байрон с неутихающим гневом писал об изъятии Томасом Брюсом, седьмым графом Эдджином, скульптур из Парфенона.

Но кто же, кто к святилищу Афины
Последним руку жадную простер?
Кто расхищал бесценные руины,
Как самый злой и самый низкий вор?
Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!
Свободных в прошлом чтут сыны Свободы,
Но не почтил их сын шотландских гор:
Он, переплыв бесчувственные воды,
В усердье варварском ломал колонны, своды.

Что пощадили время, турок, гот,
То нагло взято пиктом современным.
Нет, холоднее скал английских тот,
Кто подошел с киркою к этим стенам,
Кто не проникся трепетом священным,
Увидев прах великой старины.
О, как страдали скованные пленом,
Деля богини скорбь, ее сыны,
Лишь видеть и молчать судьбой обречены!

Ужель признают, не краснея, бритты,
Что Альбион был рад слезам Афин,
Что Грецию, молившую защиты,

Разграбил полумира властелин!
Страна свободы, страж морских пучин,
Не ты ль слыла заступницей Эллады!
И твой слуга, твой недостойный сын
Пришел, не зная к слабому пощады,
Отнять последнее сокровище Паллады!

(«Чайльд-Гарольд», 2, XI–XIII)

Его дела при жизни не простятся,
И проклянут в могиле святотатца!
Безумец жалкий сжег Эфесский храм,
И передан позор его векам.
Как Герострату, Элджину с ним вместе
Готовится посмертное бесчестье;
Его с проклятьем будут поминать —
Черней на нем позорная печать.

(«Проклятие Минервы»,

пер. М. Зенкевича)

Фактотум — доверенное лицо с широким кругом обязанностей.

Королевский Город — город, созданный по королевской хартии или пожалованный ею с получением соответствующих прав.

Чевиот-Хилс — низкогорье между Южно-Шотландской возвышенностью и Пеннинскими горами.

Деоданд — орудие смерти, конфискуемое судом. Традиционно деоданд продавался, и вырученные деньги шли на благочестивые цели; однако чаще виновный должен был сам заплатить сумму, равную стоимости предмета. Закон был отменен только после того, как под определение деоданда попали паровозы. В 1808 г. Скроп Дэвис, друг Байрона, напившись,

> «выразил намерение застрелиться; последнее я одобрил, требуя только, чтобы он не воспользовался для этого моими пистолетами, которые в случае самоубийства конфискуются в пользу короля» («Разрозненные мысли», № 78).

…письмо Байрона к матери, отправленное из Албании… —

цитировавшееся выше письмо из Превезы от 12 ноября 1809 г.

После затяжной болезни, перенесенной в детстве… — В тринадцать лет Ада переболела корью, осложнение привело к параличу. Девочка смогла ходить на костылях только два года спустя.

Подразумевается бык, явившийся из моря вследствие кровосмесительной связи Федры с пасынком. Бык убил, конечно же, не Тесен, а его сына — Ипполита… — Ошибается не Байрон, но Ада: Федра повесилась, ложно обвинив Ипполита в попытке насилия; бык же именно Тесеев — Посейдон наслал его на Ипполита по мольбе афинского царя.

Быть может, тайна подобных совпадений… — В июне 1818 г. Байрон отправил Хобхаузу из Венеции письмо, написанное от лица Уильяма Флетчера, слуги, с сообщением о смерти «дорогого покойного хозяина, скончавшегося нынче в десять часов утра от быстрого истощения сил и медленной лихорадки». 21 апреля 1824 г. Флетчер сообщил о том же — но уже не в шутку — издателю Джону Меррею.

* * *

…однажды темной и бурной ночью… — «Ночь была темная и бурная» — первая фраза романа Эдварда Бульвер-Литтона (1803–1873) «Пол Клиффорд» (1830); у английского читателя она вызывает примерно те же ассоциации, что у нас «Мороз крепчал».

…Мэри предложила: «Пусть каждый из нас сочинит страшную историю!» Что все они и сделали. — Идея исходила от Байрона. В предисловии к переизданию «Франкенштейна» Мэри Шелли вспоминала:

> «Летом 1816 года мы приехали в Швейцарию и оказались соседями лорда Байрона. Вначале мы проводили чудесные часы на озере или его берегах; лорд Байрон, в то время сочинявший 3-ю песнь "Чайльд Гарольда", был единственным, кто поверял свои мысли бумаге. Представая затем перед нами в светлом и гармоническом облачении поэзии, они, казалось, сообщали нечто божественное красотам земли и неба, которыми мы вместе с ним любовались.
>
> Но лето оказалось дождливым и ненастным; непрестанный дождь часто. по целым дням не давал нам выйти. В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях в переводе с немецкого на французский…

"Пусть каждый из нас сочинит страшную повесть", — сказал лорд Байрон, и это предложение было принято. Нас было четверо. Лорд Байрон начал повесть, отрывок из которой опубликовал в приложении к своей поэме "Мазепа". Шелли, которому лучше удавалось воплощать свои мысли и чувства в образах и звуках самых мелодичных стихов, какие существуют на нашем языке, чем сочинять фабулу рассказа, начал писать нечто, основанное на воспоминаниях своей первой юности. Бедняга Полидори придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп — в наказание за то, что она подглядывала в замочную скважину; не помню уж, что она хотела увидеть, но, наверное, нечто неподобающее… Оба прославленных поэта, наскучив прозой, тоже скоро отказались от замысла, столь явно им чуждого.

А я решила сочинить повесть и потягаться с теми рассказами, которые подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая обращалась бы к нашим тайным страхам, вызывала нервную дрожь: такую, чтобы читатель боялся оглянуться назад; чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце» (пер. З. Александровой).

Байрон набросал несколько страниц о вампире, которые позже передал еще одному участнику этой компании — некоему доктору Полидори, а тот без ведома Байрона переделал отрывок в пространную повесть собственного сочинения — одно из первых сочинений о вампирах на английском языке — и опубликовал ее анонимно, предоставив всем и каждому думать, что принадлежит она перу Байрона. — Джон Полидори (1795–1821) опубликовал «Вампира» в апреле 1819 г., уверяя издателя, что он только записал устную импровизацию Байрона; позднее же он утверждал, что «имя его светлости оказалось ошибкою связано с повестью». Байрон с некоторой брезгливостью заявил в письме к редактору парижской газеты «Вестник Гальяни»:

«Я питаю личную неприязнь к "вампирам", и то беглое знакомство, которое я с ними водил, ни в коей мере не вынудит меня раскрыть их секреты».

В июне 1819 г. Байрон опубликовал свою незаконченную повесть под заглавием «Отрывок» вместе с «Мазепой» и «Одой к Венеции». Полидори умер — вероятно, покончил с собой — вскоре после публикации своей байронической поэмы «Падение ангелов»; вердикт коронера гласил: «Перст Божий» (т. е. смерть от

естественных причин).

…заглавного персонажа из романа Каролины Лэм… — о котором подробнее будет рассказано в последующих мейлах. «Гленарвон» был опубликован 9 мая 1816 г., через две недели после отъезда Байрона из Англии, и выдержал в том же году три издания. Каролина Лэм вывела Байрона под именем Кларенса де Ратвена, лорда Гленарвона; вампир у Полидори носит титул лорда Ратвена.

Все-таки очень странно. Америка. -

> «Всякий раз, когда меня хочет видеть американец (что бывает *нередко*), я соглашаюсь: во-первых, из уважения к народу, завоевавшему себе свободу твердостью, но без крайностей; во-вторых, потому, что эти трансатлантические посещения, "немногие и редкие", создают у меня чувство, что я беседую с потомством с другого берега Стикса. Лет через сто — двести обитатели новых английских и испанских Атлантид будут, вероятно, хозяевами Старого Света, подобно тому как Греция и вообще Европа в древности одолели свою праматерь — Азию» («Разрозненные мысли», № 13).

Байрон в последние годы жизни… часто заговаривал о том, чтобы отправиться в Америку — чаще всего речь шла о Южной (особого различия он не проводил) — и начать там новую жизнь как плантатор. -

> «Европа ветшает на глазах, к тому же все здесь так однообразно; американцы же молоды, как и их страна, и неистовы, как земля их, будоражимая землетрясениями»
>
> (Хобхаузу, 20 августа 1819 г., из Венеции).
>
> «Мой южноамериканский проект, о котором я, очевидно, говорил вам (раз вы о нем упоминаете), заключался в следующем. Из приложенных вырезок я увидел, что поселенцам на территории Венесуэлы предлагаются выгодные условия. Дела мои в Англии почти улажены или скоро уладятся; в Италии у меня долгов нет, и я могу покинуть ее, когда захочу. Англичане в Североамериканских штатах несколько грубы, на мой вкус, и климат там чересчур холодный; я предпочел бы другое. Я бы скоро овладел испанским языком. Эллис[92] или другие могли бы снабдить меня письмами к Боливару и его правительству, и раз там поощряют приезд даже малоимущих и неимущих, то мне, с моими теперешними доходами и даже — если бы

мне удалось продать Рочдейл — с некоторым капиталом, очевидно, позволили бы купить или хотя бы арендовать землю и стать, если это дозволено законом, тамошним гражданином… Уверяю вас, что я подумываю об этом весьма серьезно и уже давно, как вы можете видеть по этому истрепанному газетному объявлению. Я хотел бы поехать туда с моей внебрачной дочерью Аллегрой — ей около трех лет, и она сейчас при мне — и обосноваться там прочно…» (ему же, 3 октября 1819 г.).

Однако впоследствии Байрон вспоминал об этом плане скептически:

«Года два-три назад я думал посетить одну из Америк — Английскую или Латинскую. Но сведения, полученные из Англии в ответ на мои запросы, отбили у меня охоту. Думаю, что все страны, в сущности, одинаковы для чужеземца (но никак не для коренных жителей). Я вспомнил надпись в доме генерала Ладлоу:

Omne solum forti patria[93]

и свободно обосновался в стране, веками пребывающей в рабстве [в Италии]. Но среди рабов нет свободы, даже для господ, и при виде этого кровь моя вскипает. Иногда мне хотелось бы быть повелителем Африки и немедленно осуществить то, что со временем сделает Уилберфорс, а именно — уничтожить там рабство и увидеть первый праздник Освобождения.

Что касается рабства политического — столь обычного, — то в нем повинен сам человек — если он хочет рабства, пусть! А ведь только всего и нужно, что "слово и удар". Смотрите, как освободились Англия, Франция, Испания, Португалия, Америка и Швейцария! Не было случая, чтобы люди в результате долгой борьбы не одержали победы над реакционным режимом. Тирания подобна тигру: если первый прыжок ей не удается, она трусливо пятится и обращается в бегство» («Разрозненные мысли», № 84).

Джордж Вашингтон — один из немногих исторических деятелей, которыми он восхищался без тени иронии… — Вот несколько тому примеров:

Иль, может быть, такой в веках один,
Как Вашингтон, чье сердце воспиталось
В глухих лесах, близ гибельных стремнин?
Иль тех семян уж в мире не осталось
И с жаждой вольности Европа расквиталась?

(«Чайльд-Гарольд», 4, XCVI)

Но, в сущности, лишь войны за свободу
Достойны благородного народа.
Все прочие — убийство! Вашингтон
И Леонид достойны уваженья;
Их подвигом народ освобожден,
Священна почва каждого сраженья,
Священен даже отзвук их имен —
Они в тумане зла и заблужденья,
Как маяков Грядущего лучи,
Сияют человечеству в ночи!

(«Дон-Жуан», 8, IV–V)

«Человечеству остается только Республика, и мне кажется, что на это есть надежды. Обе Америки (Южная и Северная) уже имеют ее; Испания и Португалия находятся на пути к ней, и все жаждут ее. О Вашингтон!» («Разрозненные мысли», № 112).

…упомянутый на этой странице Фицджеральд. — О лорде Эдварде Фицджеральде (1763–1798) будет подробно рассказано в романе далее.

…Смит. Отчасти это в честь колледжа. — Смит-колледж в Нортгемптоне, штат Массачусетс, — престижный женский колледж гуманитарных наук, открытый в 1875 г.

Ада Комсток (1876–1973) — выдающийся деятель в сфере женского образования. Училась в Смит-колледже и более тридцати лет в нем работала. «Программа Ады Комсток» предоставляет возможность закончить в нем обучение женщинам, которые по каким-либо причинам вынуждены были оставить высшую школу.

…Паркер, Дрю или Риз… — Паркер Поузи (во второй половине 1990-х гг. снималась преимущественно в независимых фильмах), Дрю Берримор, Риз Уизерспун.

Сэнди — смазливая девчушка с косичками (и с собачонкой по

кличке Энни…). — Перевертыш: Сэнди — песик сиротки Энни (см. прим. к с. 54).

Роберт Фрост говорил, что титулом «поэт» тебя могут лишь наградить. — Ответ Роберта Фроста (1874–1963) некоему молодому человеку, который заявил: «Я — поэт».

Чувствую себя Сельской Мышью, только без Городской… — персонажи Эзоповой басни; также отсылка к роману Краули «Маленький, большой» (1981), где появляются городские и сельские представители семейства Маус.

Глава третья

…сын его светлости становился наследником… — Начало жизни Байрона тоже было связано с условиями завещания: свое второе имя он получил потому, что наследник рода Гордонов (девичья фамилия его матери) должен был носить это имя. В 1822 г., чтобы получить часть наследства тещи, он вынужден был принять ее девичью фамилию Ноэль, сохранив «Байрона» как титул. Утешением ему послужило то, что теперь его инициалы — «Н. Б.» — совпадали с инициалами Наполеона.

Джошуа Рейнольдс (1723–1792), Каналетто (Джованни Антонио Каналь, 1697–1768), Годфри Немер (1646–1723) — английский, итальянский и вновь английский художники.

…слабый огонек пропащего духа. — Слово «wisp», использованное в оригинале, подразумевает блуждающий болотный огонек (will-o'-the-wisp).

…Кучеру, рослому словно патагонец… — Рост патагонцев был в XIX веке предметом долгих дискуссий; интересующихся отсылаю к девятой главе первой части «Детей капитана Гранта», где, в частности, сказано: «Байрон, Ла Жироде, Бугенвиль, Уэллс и Картере доказывают, что рост патагонцев в среднем равен шести футам шести дюймам». Именно Байрон: Паганель ссылается на «Повествование достопочтенного Джона Байрона (командора в последнем кругосветном плавании), содержащее отчет о великих бедствиях, перенесенных им самим и его спутниками на берегу Патагонии, от 1740 г. до их прибытия в Англию в 1746 г. Написано им самим» (Лондон, 1768). Книгу своего деда Байрон упоминает в «Дон-Жуане» (2, CXXXV1I) и не оставляет вниманием патагонцев, сравнивая с ними фаворитов Екатерины II:

> Все эти парни рослые, пригожие,
> Как патагонцы бравые на вид…
>
> *(9, XL VI)*

В письме Хобхаузу от 20 августа 1819 г. Байрон высказал глубокое удовлетворение тем, что очередная экспедиция подтвердила дедовы наблюдения.

…ему чудилось, будто он вернулся к холмам Албании… -

«Арнауты, или албанцы, поразили меня сходством с

шотландскими горцами в костюме, осанке, образе жизни. Даже горы у них похожи на шотландские, только с более мягким климатом. Такая же юбка, хотя здесь белая; такая же худощавая, подвижная фигура; в их речи — кельтские звуки; а их суровые обычаи прямехонько привели меня в Морвену».[94] (из примечаний ко второй песни «Чайльд-Гарольда»).

Отмечу также, что Али-пашу именовали не только Бонапартом Востока, но и Албанским Роб-Роем.

Ковенантеры — сторонники Национального Ковенанта, подписанного во время шотландского восстания 1638 г. во имя защиты пресвитерианства, прав парламента и защиты народа от королевского абсолютизма. В 1639–1652 гг. ковенантеры были правящей партией, а в 1660–1688 гг., при Карле II и Якове II, преследовались.

…подобно череде сыновей Банко в ведьмином зеркале — «Макбет», акт IV, сц. 1. Байрон дважды ссылается на этот эпизод в «Дон-Жуане» (1, II; И, LIV).

Коридон — пастушье имя из греческих идиллий и басен. Во второй эклоге «Буколик» Вергилия «страсть в Коридоне зажег прекрасный собою Алексис» (пер. С. Шервинского), что дало Байрону новый повод к насмешке над «приличиями»:

Мораль Анакреона очень спорна,
Овидий был распутник, как вы знаете,
Катулла слово каждое зазорно.
Конечно, оды Сафо вы читаете,
И Лонгин восхвалял ее упорно,
Но вряд ли вы святой ее считаете.
Вергилий чист, но написал же он
Свое «Formosum pastor Corydon»[95]

(«Дон-Жуан», 1, XLII)

Благодаря книге Андре Жида «Коридон» (1924), репутация этого имени упрочилась в XX веке.

…сокрытую личность, что… всегда готова была испариться… — Параллель с «анонимностью» Смоки Барнабла из «Маленького, большого», который имел «склонность исчезать неуловимо, подобно дыму» (в оригинале использован тот же глагол).

…Ньюстедское аббатство, проданное им в юности за долги… — Байрон много раз повторял в письмах, что не

расстанется с родовым имением ни за какие деньги:

> «Если мои ресурсы не соответствуют расходам, придется продавать, но не Ньюстед. Следующему лорду Байрону я должен оставить хотя бы это» (Джону Хэнсону, 18 ноября 1808 г.).
>
> «Что бы там ни было, Ньюстед и я вместе выстоим или вместе падем» (матери, 6 марта 1809 г.).

Тем не менее долги Байрона достигли такой величины, что в 1812 г. аббатство пришлось выставить на аукцион — и не один раз, потому что сделки срывались, — и только в ноябре 1817 г., когда Байрон уже переселился в Италию, Ньюстед был куплен Томасом Уайлдменом, соучеником поэта по Харроу.

…предка лорда Байрона — пятого лорда, известного миру как «Злой Байрон», — нельзя всецело винить за ущерб, причиненный имению… — Томас Мур сообщает интересные подробности из жизни Злого Лорда (цитирую пересказ Андре Моруа):

> «…У него был бешеный нрав, что он всегда носил пистолеты за поясом и так отравлял существование леди Байрон, что она в конце концов сбежала из Ньюстеда, а ее место в доме заняла одна из служанок, которую крестьяне прозвали леди Бетти. Под грубым владычеством леди Бетти замок пришел в запустение. Она превратила в хлев готическую часовню и заняла под конюшни несколько прекрасных залов. Что же касается Злого Лорда, то после того, как единственный сын против его воли женился на своей двоюродной сестре, он совсем удалился от людей, стал вести странную жизнь — прилагал все усилия, чтобы разорить своих наследников, платил карточные долги дубами из своего парка, срубил их на пять тысяч фунтов и почти свел этот роскошный лес. Уолпол, проезжавший в то время в этих краях, писал: "Я в восторге от Ньюстеда; вот где поистине соединились готика и изящество. Но, — прибавлял он, — нынешний лорд — сумасшедший человек: он вырубил все деревья и посадил кучу шотландских сосен, имеющих вид холопов, которых по случаю торжественного дня нарядили в старинные фамильные ливреи". Чтобы вконец разорить сына, лорд Байрон перебил в своем парке две тысячи семьсот ланей и сдал в аренду на двадцать один год за баснословно низкую цену — шестьдесят фунтов в год — поместье Рочдейл, где только что открыли залежи каменного угля.

Он развлекался, как испорченный ребенок. Открывал по ночам речные шлюзы, чтобы нанести ущерб хлопчатобумажным фабрикам; опустошал пруды своих соседей; на берегу своего озера построил два маленьких форта и спустил на воду игрушечный флот. Целыми днями он забавлялся, устраивая бои между кораблями и фортами, паля из крошечных пушек. Лорд Байрон укрывался в одном из фортов, а его камердинер Джо Меррей, растянувшись в лодке, командовал флотом. Иногда его светлость укладывался на каменном полу в кухне и устраивал на своем собственном теле скачки сверчков, подстегивая их соломинками, когда они не проявляли достаточной живости. Слуги утверждали, что сверчки знали хозяина и повиновались ему».

Уильям Байрон пережил и сына, и внука — так что наследником стал внук его брата. После смерти Злого Лорда сверчки толпой покинули Ньюстед.

…будто в обители со множеством комнат… — Парафраз Ин.14:2 — «В доме Отца Моего обителей много».

…с картиной «норманнского аббатства» в последних песнях «Дон-Жуана». —

Но ближе к делу. Лорд Амондевилл
Отправился в фамильное аббатство,
В котором архитектор проявил
Готической фантазии богатство:
Старинный монастырь построен был
Трудами католического братства
И был, как все аббатства тех времен,
Большим холмом от ветра защищен.

Но монастырь был сильно поврежден:
От гордого старинного строенья,
Свидетеля готических времен,
Остались только стены, к сожаленью.
Густым плющом увит и оплетен,
Сей мрачный свод, как темное виденье,
Напоминал о бурях прошлых дней
Непримиримой строгостью своей.

В глубокой нише были, по преданью,
Двенадцать католических святых,
Но в грозную эпоху состязанья
Кромвеля с Карлом выломали их.

Погибло в те года без покаянья
Немало кавалеров молодых
За короля, что, не умея править,
Свой трон упорно не желал оставить.

Но, случая игрою спасена,
Мария-дева с сыном в темной нише
Стояла, величава и скромна,
Всех разрушений, всех раздоров выше,
И вещего покоя тишина
Казалась там таинственней и тише;
Реликвии святыни каждый раз
Рождают в нас — молитвенный экстаз.

Огромное разбитое окно,
Как черная пробоина, зияло;
Когда-то всеми красками оно,
Как оперенье ангелов, сияло
От разноцветных стекол. Но давно
Его былая слава миновала;
Лишь ветер да сова крылами бьет
Его тяжелый темный переплет.
.

Фонтан, из серых глыб сооруженный,
Был масками украшен всех сортов.
Какие-то святые и драконы
Выбрасывали воду изо ртов,
И струи пенились неугомонно,
Дробясь на сотни мелких пузырьков,
Которые бесследно исчезали,
Как радости земные и печали.

Монастыря старинного следы
Хранило это древнее строенье.
Там были келий строгие ряды,
Часовня — всей округи украшенье;
Но в годы фанатической вражды
Здесь были перестройки, измененья
По прихоти баронов. Уж давно
Подверглось реставрации оно.

Роскошное убранство анфилад,
Картинных галерей, большого зала

Смешеньем стилей ослепляло взгляд
И знатоков немного возмущало;
Как прихотливый сказочный наряд,
Оно сердца наивные прельщало.
Когда величье поражает нас,
Правдоподобья уж не ищет глаз.

Стальных баронов весело сменяли
Ряды вельмож атласно-золотых,
И леди Мэри чопорно взирали
На светлокудрых правнучек своих,
А дальше томной грацией блистали
В уборах прихотливо-дорогих
Красавицы, которых Питер Лили
Изобразил в довольно легком стиле.

Там были судьи с пасмурным челом,
В богатстве горностаевых уборов,
Карающие словом, и жезлом,
И холодом неумолимых взоров;
Там хмурились в багете золотом
Сановники с осанкой прокуроров,
Палаты Звездной сумрачный конклав,
Не признающий вольностей и прав.

Там были генералы тех веков,
Когда свинца железо не боялось;
Там пышностью высоких париков
Мальбрука поколенье красовалось;
Щиты, ключи, жезлы, ряды штыков
Сверкали там, и скакуны, казалось,
Военной возбужденные трубой,
Скребя копытом, порывались в бой.

Но не одни фамильные титаны
Своей красою утомляли взоры:
Там были Карло Дольчи, Тицианы,
И дикие виденья Сальваторе,
Танцующие мальчики Альбано,
Вернэ голубоватые просторы,
Там пытки Спаньолетто, как во сне,
Пестрели на кровавом полотне.

Там раскрывался сладостный Лоррен

И тьма Рембрандта спорила со светом,
Там Караваджо мрак угрюмых стен
Костлявым украшал анахоретом,
Там Тенирс, краснощекий, как Силен,
Веселым сердце радовал сюжетом,
Любого приглашая пить до дна
Желанный кубок рейнского вина.
.

Я мелочи такие описал,
Читателя считая терпеливым,
Чтоб Феб меня, пожалуй, посчитал
Оценщиком весьма красноречивым.
(Гомер такой же слабостью страдал;
Поэту подобает быть болтливым, —
Но я, щадя свой век по мере сил,
Хоть мебель из поэмы исключил!)

(«Дон-Жуан», 13, IV, LIX–LX1I, LXV–LXXII, LXXIV)

Боцман —

«Боцман мертв! Он умер от бешенства 18-го числа, после мучительных страданий, однако сохраняя всю доброту своей натуры: он никак не повредил тем, кто был подле него. Теперь у меня не осталось никого, кроме старого Меррея»[96] (Фрэнсису Ходжсону, 18 ноября 1808 г.).

В завещании 1811 г. Байрон потребовал, чтобы его похоронили рядом с Боцманом. Адвокаты запротестовали; ответ был: «Пусть так и остается». Но так не случилось. (См. также прим. к с. 263).

Ида — школа Харроу часто появляется под этим именем на страницах отроческого сборника «Часы досуга» (1807):

О детства картины! С любовью и мукой
Вас вижу, и с нынешним горько сравнить
Былое! Здесь ум озарился наукой,
Здесь дружба зажглась, чтоб недолгою быть;

Здесь образы ваши мне вызвать приятно,
Товарищи-други веселья и бед;
Здесь память о вас восстает благодатно
И в сердце живет, хоть надежды уж нет.

Вот горы, где спортом мы тешились славно.

Река, где мы плавали, луг, где дрались;
Вот школа, куда колокольчик исправно
Сзывал нас, чтоб вновь мы за книжки взялись.

Вот место, где я, по часам размышляя,
На камне могильном сидел вечерком;
Вот горка, где я, вкруг погоста гуляя,
Следил за прощальным заката лучом.

Вот вновь эта зала, народом обильна,
Где я, в роли Занги, Алонзо топтал,
Где хлопали мне так усердно, так сильно.
Что Моссопа славу затмить я мечтал[97].

Здесь, бешеный Лир, дочерей проклиная,
Гремел я, утратив рассудок и трон;
И горд был, в своем самомненьи мечтая,
Что Гаррик великий во мне повторен.

Сны юности, как мне вас жаль! Вы бесценны!
Увянет ли память о милых годах?
Покинут я, грустен; но вы незабвенны:
Пусть радости ваши цветут хоть в мечтах.

Я памятью к Иде взываю все чаще;
Пусть тени грядущего Рок развернет —
Темно впереди; но тем ярче, тем слаще
Луч прошлого в сердце печальном блеснет.

Но если б средь лет, уносящих стремленьем,
Рок новую радость узнать мне судил, —
Ее испытав, я скажу с умиленьем:
«Так было в те дни, как ребенком я был».

(«При виде издали деревни и школы в Харроу-на-Холме», пер. Н. Холодковского)

О Ида! Ты — науки светлый храм!
Я был в тебе когда-то светел сам!
Я вижу ясно твой высокий шпиц,
Я снова там, в кругу знакомых лиц.
Как живо все! Я слышу, как сейчас,
Весь этот шум ребяческих проказ;
Среди аллей, в тени дерев густых

Я вижу вновь товарищей моих,
Места былых мечтаний и бесед,
Друзей, врагов минувших школьных лет;
Забыл я рознь, но дружбы — не забыл…
Привет друзьям, врагов же — я простил.
Дни юности, дни дружбы золотой!
Любя других, я счастлив был тобой!..
Вы, узы дружбы нежных юных лет,
Когда в душе следа притворства нет,
И каждый сердца юного порыв
Не знает лжи, свободен и правдив…

(«Отроческие воспоминания», пер. И. Брянского)

Название Ида носят горы на Крите и во Фригии, посвященные матери-богине; «школа Ида», таким образом, — это «альма-матер».

…по его словам, в первые годы она была ему ненавистна, а в последний год он ее полюбил. — «Разрозненные мысли», № 72. Как и Али, Байрон поступил в Харроу тринадцатилетним — при том, что обычно учениками становились в десять лет; как и Али, он предпочитал не проводить каникулы с семьей (т. е. не с матерью) — но, в отличие от Али, жил в аббатстве (сданном к этому времени на пятилетний срок лорду Грею де Ратену), по соседству с тогдашней своей любовью Мэри Чаворт, внучкой того самого Уильяма Чаворта, которого убил Злой Лорд Байрон. Байрон был вынужден оставить Ньюстед, когда лорд Грей сделал ему непристойное предложение.

Доктор Джозеф Друри… оставил воспоминания… — они приведены в первом томе биографии Мура:

> «Мистер Хэнсон, поверенный лорда Байрона, передал его под мою опеку в возрасте 13 1/2 лет, заметив, что образованием юноши никто не занимался; что он плохо подготовлен к школе, однако смышлен. После отбытия мистера Хэнсона я привел нового ученика в свой кабинет и попытался познакомиться с ним поближе, расспрашивая о его прежних развлечениях, занятиях и товарищах, — однако тщетно; и вскоре я понял, что под мое начало поступил дикий горный жеребенок. Но глаза его светились умом. Прежде всего нужно было прикрепить его к старшему мальчику, чтобы тот познакомил Байрона со школьными порядками. Но когда он узнал, что ученики, младше его, пользуются

большими правами, чем он, то решил, что его намеренно унижают, ставя ниже других. Узнав об этом, я передал его под опеку одного из наставников и уверил, что он встанет наравне с другими, как только прилежанием добьется тех же успехов. Байрон остался доволен моими заверениями и начал сближаться с новыми товарищами, хотя застенчивость еще некоторое время не покидала его. Манеры и нрав Байрона вскоре убедили меня, что его следует вести на шелковом снурке, а не тащить на поводке; так я и поступил. Он обживался в Харроу, развивая свой ум, и однажды лорд Карлейль, его родич, пожелал переговорить со мною в городе; я отправился на встречу с его светлостью. Лорд Карлейль сообщил, какие владения окажутся в собственности Байрона, когда тот достигнет совершеннолетия, и поинтересовался его способностями. На первое замечание я не ответил ничего; на второе же: "Он обладает талантами, милорд, — сказал я, — которые придадут блеск его титулу". — "В самом деле?" — заметил его светлость не без удивления, отнюдь не выразив удовлетворения, которое я ожидал увидеть».

«…Мне здесь нравится, — писал Байрон Августе 17 ноября 1804 г. — Из всех известных мне священников мой учитель доктор Друри — милейший человек, в нем соединились Джентльмен и Ученый при полном отсутствии какого бы то ни было позерства или педантизма, и всеми своими незначительными знаниями я обязан одному ему; и не его вина, что я не научился большему. Я всегда с Благодарностью буду вспоминать его наставленья и лелею надежду, что когда-нибудь смогу хоть как-то отплатить ему или его семье за его бесчисленные благодеяния».

Семнадцать лет спустя Байрон вспоминал:

«В школе (как я уже говорил) я отличался широтой общих познаний, но в остальном был ленив; я был способен на героическое кратковременное усилие (вроде тридцати-сорока греческих гекзаметров — их просодия, разумеется, получалась как бог на душу положит), но не на систематический труд. Я проявлял скорее ораторские и военные, чем поэтические способности. Доктор Д., мой покровитель и ректор нашей школы, уверенно заключал из моей говорливости, бурного темперамента, звучного голоса, увлечения декламацией и игрой на сцене, что я буду оратором. Помню, что моя первая декламация на

нашей первой репетиции вызвала у него невольную похвалу (как правило, он был на нее скуп). Мои первые стихи, сочиненные в Харроу (в качестве учебного задания по английскому языку), — перевод хора из Эсхилова "Прометея" — были встречены им холодно — никто не предполагал, что я могу опуститься до стихотворства» («Разрозненные мысли», № 88).

Впрочем, и терпение Друри было не беспредельно: случалось, он всерьез подумывал об отчислении Байрона из школы. Когда же Друри оставил свой пост, Байрон проводил его стихотворением «На перемену директора школы», в котором несправедливо нападал на нового руководителя Харроу.

Где, Ида, слава та, которой ты блистала?..

(Пер. Н. Брянского)

Школьники (включая Байрона и Уайлдмена) всерьез намеревались не застрелить, так взорвать нового директора, Джорджа Батлера; однако впоследствии тот сумел расположить к себе учеников.

Хромота была для мальчика источником тяжких волнений… — и вот несколько примеров тому, сообщаемых Муром:

«Некий господин из Глазго рассказывал мне, что особа, вынянчившая его жену и до сих пор живущая в их семье, [в 1793 г.] водила знакомство с нянькой Байрона. Они часто гуляли вместе со своими питомцами. Во время одной из таких прогулок она сказала: "До чего же Байрон хорош! Если бы не нога!.." Уловив в ее словах намек на свой недостаток, малыш гневно взглянул на говорившую и, ударив ее хлыстиком, который держал в руке, раздраженно крикнул: "Не смей так говорить!"

Позднее тем не менее он отзывался о своей хромоте равнодушно и даже с насмешкой. По соседству с ним жил еще один мальчик с таким же дефектом ноги, и Байрон шутил: "Взгляните, как по Брод-стрит косолапят два медведя".

…Во время занятий латынью [в 1798–1799 гг.] Байрона часто мучали боли в ноге, сдавленной ужасным приспособлением, коим ему исправляли хромоту. Однажды мистер Роджерс сказал Байрону: "Мне тяжело

наблюдать ваши страдания, милорд, должно быть, боль очень сильна?" — "Пустое, мистер Роджерс, — ответил мальчик, — но впредь я буду стараться, чтобы вы ничего не замечали"».

Томас Мур не мог вспомнить, на какую ногу хромал Байрон, — в затруднении оказались и другие близкие друзья — и даже сапожник. «Только припомнив, что Байрон "ступал на мостовую хромой ногою", они пришли к выводу, что пострадавшая конечность была правой».

…это плоский камень, близ которого открывается вид на долину. — «Строки, написанные под вязом на кладбище в Харроу»:

Места родимые! Здесь ветви вздохов полны,
С безоблачных небес струятся ветра волны:
Я мыслю, одинок, о том, как здесь бродил
По дерну свежему я с тем, кото любил,
И с теми, кто сейчас, как я, — за синей далью, —
Быть может, вспоминал прошедшее с печалью;
О. только б видеть вас, извилины холмов!
Любить безмерно вас я все еще готов;
Плакучий вяз! Ложась под твой шатер укромный,
Я часто размышлял в час сумеречно-скромный:
По старой памяти склоняюсь под тобой,
Но, ах! уже мечты бывалой нет со мной;
И ветви, простонав под ветром — пред ненастьем, —
Зовут меня вздохнуть над отсиявшим счастьем,
И шепчут, мнится мне, дрожащие листы:
«Помедли, отдохни, прости, мой друг, и ты!»
Но охладит судьба души моей волненье,
Заботам и страстям пошлет успокоенье,
Так часто думал я, — пусть близкий смертный час
Судьба мне усладит, когда огонь погас;
И в келью тесную иль в узкую могилу —
Хочу я сердце скрыть, что медлить здесь любило;
С мечтою страстной мне отрадно умирать,
В излюбленных местах мне сладко почивать;
Уснуть навеки там, где все мечты кипели,
На вечный отдых лечь у детской колыбели;
Навеки отдохнуть под пологом ветвей,
Под дерном, где, резвясь, вставало утро дней;
Окутаться землей на родине мне милой,
Смешаться с нею там, где грусть моя бродила;
И пусть благословят — знакомые листы,

Пусть плачут надо мной — друзья моей мечты;
О, только те, кто был мне дорог в дни былые, —
И пусть меня вовек не вспомнят остальные.

(Пер. А. Блока)

138. *Лорд Клэр* — Джон Фицгиббон Клэр (1792–1851), которому посвящено одно из стихотворений сборника «Часы досуга»:

Когда, о друг моей весны,
Бродили мы, любви полны
Друг к другу всей душой —
Блаженство было нам дано,
Какое редко суждено
В юдоли нам земной.
.

(Пер. Н. Холодковского)

«Школьная дружба была для меня страстью (я был страстен во всем), но, кажется, ни разу не оказалась прочной (правда, в некоторых случаях она была прервана смертью). Дружба с лордом Клэром, одна из самых ранних, оказалась наиболее длительной и прерывалась только разлукой. Я до сих пор не могу без волнения слышать имя "Клэр" и пишу его с тем же чувством, что и в 1803–1804 — 1805 гг. ad infinitum»[98] («Разрозненные мысли», № 91).

«…Я встретил его, после семи или восьми лет разлуки, на дороге между Имолой и Болоньей. В 1814 г. он ездил за границу и вернулся в 1816 г., как раз когда я уехал. Наша встреча на миг стерла в моей памяти все годы, прошедшие после Харроу. То было новое, непонятное чувство, подобное воскресению из мертвых. Клэр также был сильно взволнован — внешне даже больше меня; я чувствовал биение его сердца в пожатии руки, если только это не бился мой собственный пульс. Он сказал мне, что в Болонье я найду от него письмо. Так и оказалось. Нам пришлось разминуться и ехать дальше — ему в Рим, мне в Пизу, но весной мы обещали друг другу встретиться вновь. Мы провели вместе всего пять минут на проезжей дороге, но мне трудно вспомнить в своей жизни час, с которым их можно было

бы сравнить. Он знал, что я еду, и оставил мне письмо в Б., потому что сопровождавшие его лица не могли задержаться там дольше. Из всех, кого я знал, он менее всего изменился и менее всего утратил те высокие душевные качества, которые так сильно привязали меня к нему в школе. Я не мог предполагать, чтобы общество (или свет, как его называют) могло оставить на человеке так мало пагубных следов дурных страстей. Я говорю это не только по личному впечатлению; так говорили все, от кого я слышал о нем за годы нашей разлуки» (там же, № 113).

«Мой лучший друг, лорд Клэр, в Риме: мы повстречались на улице, и встреча оказалась весьма чувствительной — очень трогательной с обеих сторон. Я всегда любил его больше всех мужчин мира» (Томасу Муру, 1 марта 1822 г.).

Добавлю к этому, что в Харроу Байрон и Клэр страшно ревновали друг друга к соученикам; Байрон устраивал сцены, Клэр писал отчаянные письма.

Джон Эдльстон —

«…С тех пор как я поступил в Тринити-колледж в октябре 1805 года, он был моим постоянным спутником. Поначалу мое внимание привлек его голос, выраженье лица подтвердило первое впечатление, и, наконец, манеры его навсегда привязали меня к нему. В октябре он отправляется в один торговый дом в город, и, возможно, мы не увидимся вплоть до моего совершеннолетия, и тогда я предоставлю ему выбор: или войти со мной в интерес в качестве делового партнера, или же поселиться вместе. Несомненно, в нынешнем расположении духа он бы предпочел последнее, но за оставшееся время еще может переменить свое мнение — во всяком случае, решать будет он. Я, вне всякого сомнения, люблю его больше, чем кого бы то ни было на свете, и ни время, ни расстояние нимало не повлияли на мою обычно столь переменчивую натуру… Он, несомненно, сильнее привязан ко мне, чем я к нему. Пока я был в Кембридже, мы встречались каждый день, зимой и летом, не скучали ни одно мгновенье и всякий раз расставались все с большей неохотой» (к Элизабет Бриджит Пигот, 5 июля 1807 г.).

Эдльстону посвящено раннее стихотворение Байрона

«Сердолик»:

Не блеском мил мне сердолик!
Один лишь раз сверкал он, ярок,
И рдеет скромно, словно лик
Того, кто мне вручил подарок.

Но пусть смеются надо мной,
За дружбу подчинюсь злословью:
Люблю я все же дар простой
За то, что он вручен с любовью!

Тот, кто дарил, потупил взор,
Боясь, что дара не приму я,
Но я сказал, что с этих пор
Его до смерти сохраню я!

И я залог любви поднес
К очам — и луч блеснул на камне,
Как блещет он на каплях рос…
И с этих пор слеза мила мне!
.

(Пер. В. Брюсова)

Эдльстон умер в мае 1811 г.

Джон Уингфилд, соученик Байрона по Харроу, погиб в сражении. — Не в сражении:

А ты, мой друг![99] — но тщетно сердца стон
Врывается в строфу повествованья.
Когда б ты был мечом врага сражен,
Гордясь тобой, сдержал бы друг рыданья.
Но пасть бесславно, жертвой врачеванья,
Оставить память лишь в груди певца,
Привыкшей к одиночеству страданья,
Меж тем как Слава труса чтит, глупца, —
Нет, ты не заслужил подобного конца!
Всех раньше узнан, больше всех любим,
Сберегшему так мало дорогого
Сумел ты стать навеки дорогим.
«Не жди его!» — мне явь твердит сурово.
Зато во сне ты мой! Но утром снова
Душа к одру печальному летит,

О прошлом плачет и уйти готова
В тот мир, что тень скитальца приютит,
Где друг оплаканный о плачущем грустит.

(«Чайльд-Гарольд», 1, XCI–XC1I)

Еще одним прототипом лорда Коридона мог быть друг Байрона по Харроу и Кембриджу, Эдвард Ноэль Лонг, которому, как и Клэру, посвящено стихотворение в «Часах досуга».

> Лонг «впоследствии поступил в гвардию… и утонул в начале 1809 г., когда плыл со своим полком в Лиссабон на транспортном судне "Сент-Джордж", получившем ночью пробоину от столкновения с другим транспортом. Мы с ним состязались в плавании — любили поездки верхом — чтение — и дружеские пирушки. Мы вместе учились в Харроу, но — *там*, по крайней мере, — он не отличался таким буйным нравом, как я. Я только и делал, что играл в крикет — буянил — дрался — и проказничал на все лады; а он был более усидчив и благовоспитан. В Кембридже — мы оба поступили в Тринити — я несколько притих, или он огрубел, но только мы сделались большими друзьями… *Его* дружба и сильная, хотя и *чистая*, любовь и страсть — которая тогда мной владела — составляли романтику этого самого романтического периода моей жизни… Отец Лонга написал мне, прося сочинить эпитафию на могилу сына. Я обещал — но выполнить не смог. Это был один из тех светлых людей, которые редко живут долго; а его таланты заставляют еще больше сожалеть о нем. Он был веселым спутником, но иногда его посещали странные и печальные мысли. Однажды… он рассказал мне, что накануне вечером "взял пистолет, не зная, заряжен ли он, и выстрелил себе в голову, предоставив случаю решить, была ли там пуля". Письмо, которое он написал мне при поступлении в гвардию, было грустным, как только могло быть в подобном случае. Но обычно он не обнаруживал этого и был приветлив и ласков; а вместе с тем необыкновенно умел видеть смешное. Оба мы очень любили Харроу и иногда вместе ездили туда из Лондона, чтобы освежить наши школьные воспоминания» (дневник, 12 января 1821 г.).

Глава четвертая

…«сверх всяких алчных грез»… — Крылатые слова Сэмюеля Джонсона; впрочем, первым их употребил драматург Эдвард Мур (1712–1757) в пьесе «Игрок» (1753).

…«прихотливой светотени»… — Из стихотворения Джона Мильтона «L'Allegro» («Веселый», ок. 1632): «Там пляшут под ребек селяне / В тенистой роще на поляне…» (пер. Ю. Корнеева).

…«что так прекрасно в женщине»… — «Король Лир», акт V, сц. 3 (пер. Б. Пастернака).

«Любовь питают музыкой: играйте»… — «Двенадцатая ночь», акт I, сц. 1 (пер. М. Лозинского).

Увлеклись и Ловлей Рыбы — бессмысленнейшим из занятий… —

> Ах, если б Уолтон, злобный старичок,
> Форелью сам был пойман на крючок! —

восклицает поэт в «Дон-Жуане» (13, CVI): Исаак Уолтон (1593–1683) в 1653 г. опубликовал сочинение «Искусный удильщик, или Досуг созерцателя». В примечании Байрон поясняет:

> «По крайней мере, это научило бы его гуманности. Этот сентиментальный дикарь, которого романисты цитируют, чтобы показать свою симпатию к невинным развлечениям и старым песням, учит, как, эксперимента ради, зашивать лягушек и ломать им лапки, — не говоря уже об искусстве рыболовства, самом жестоком, хладнокровном и глупом из всех видов спорта. Пусть поклонники его толкуют о красотах природы, но рыболов помышляет только о вкусном рыбном блюде; у него нет времени оторвать глаз от реки, и один-единственный клев для него дороже, чем все пейзажи. К тому же некоторые рыбы лучше клюют в дождливый день. Охота на кита, акулу, тунца представляет некоторую опасность и потому как-то благороднее; даже ловля рыбы сетями и проч. — и то гуманнее и полезнее. Но уженье! — ни один удильщик не может быть хорошим человеком».

…«она его за муки полюбила»… а «он ее за состраданье к

ним». — Немного измененные строки из «Отелло», акт I, сц. 3 (пер. П. Вейнберга).

…полено, сжигаемое в камине в сочельник… — «Yule-log», которое по традиции должно гореть двенадцать дней, начиная с сочельника; эпоха небрежения традициями сократила это время до двух дней — кануна Рождества и Нового года.

…сыграть сонату Скарлатти или спеть песню Мура… — Итальянских композиторов из рода Скарлатги было по меньшей мере четверо; не буду утруждать читателя (и себя) их перечислением. Томас Мур (1779–1852) — друг и биограф Байрона, не раз упоминавшийся выше; песни на его слова «Последняя роза лета» и «Юный менестрель» исполняют до сих пор — и какое сердце не сжималось от звуков русского перевода английского переложения армянской (или, по другим сведениям, грузинской) песни, которая получила у ирландского по рождению поэта название «Петербургские колокола» («Вечерний звон, вечерний звон…»)!

…«в раздумье девственном»… не «чуждые страстям». — «Сон в летнюю ночь», акт II, сц. 2 (пер. Т. Щепкиной-Куперник и М. Лозинского).

«Побочных сыновей храните, боги!» — «Король Лир», акт I, сц. 2. Слова, выделенные курсивом ниже, — из того же монолога Эдмунда.

Нынешнему лорду Байрону, адмиралу и камергеру Ее Величества… — Джордж Энсон Байрон (1789–1868), 7-й барон, кузен поэта.

В свете поговаривают, будто мой отец пытался упрочить состояние и поправить свои финансовые дела, крайне запутанные, посредством брака по хладнокровному расчету с моей матерью… — Мысль спасти Ньюстед путем женитьбы Байрона на мисс Милбэнк, богатой наследнице, принадлежала Муру; его друг был более беспечен.

> «О средствах [мисс Милбэнк] я ничего не знаю, мне говорили, будто отец ее разорен, но моего состояния, когда все дела по Рочдейлу окажутся завершены, будет вполне достаточно для нас обоих, у меня долгов не больше двадцати пяти тысяч фунтов, и черт возьми, если с Рочдейлом и доходом от Ньюстеда я не смогу чувствовать себя столь же независимым, как половина нашей знати. Но я знаю о ней очень мало и не имею даже самых отдаленных поводов полагать, будто пользуюсь благосклонностью с той стороны, однако мне еще не приходилось встречать женщины, которую я бы

столь уважал» (к леди Мельбурн, 13 сентября 1812 г.).

«Говорят, что она богатая наследница, но об этом я, право, ничего наверняка не знаю и не намерен справляться. Зато мне известны ее таланты и отличные качества; а в уме вы не можете ей отказать, раз она отвергла шестерых претендентов и выбрала меня» (Муру, 20 сентября 1814 г.).

Позднее писательница Анна Барнар пересказала воспоминания леди Байрон:

«Иногда он в пылу ссоры попрекал ее тем, что она якобы вышла за него замуж из одного только “тщеславия, тщеславия мисс Милбэнк, вознамерившейся наставить на путь истинный лорда Байрона! Это было ясно как божий день! Ослепленная своей гордостью, она не щадила его самолюбия: он хотел бы составить свое состояние и избавиться от своих недостатков самостоятельно!" Обоими овладевало какое-то безумие. "Она наверняка считает, что я женился на ней, богатой наследнице, из-за денег!" — кричал он. "О Байрон, Байрон, — вздыхала она, — как ты меня огорчаешь!" Тогда он, кляня себя, кидался к ее ногам, но ей казалось — за этим неистовством таятся сердечный холод и злость».

Лорд Байрон, по рассказам людей, близко его знавших, имел склонностъ к полноте, которой страшился… — В день совершеннолетия Байрон позволил себе пообедать одним яйцом, ломтиком бекона и запить это все бутылкой эля: таким образом он нарушил диету. Отчего Байрон так боялся располнеть, в точности неизвестно: видимо, не хотел походить на мать — и боялся производить непоэтическое впечатление. Было и еще кое-что: когда Сэмюель Роджерс (см. прим. к с. 365), славившийся богатыми обедами, в отчаянии спросил Хобхауза, долго ли лорд Байрон будет продолжать диету (толченый картофель с уксусом, сухие бисквиты, газированная вода), — тот ответил: «До тех пор, пока вы будете обращать на это внимание».

Мне известно, что лорд Байрон, несмотря на хромоту, играл однажды в составе команды Харроу из одиннадцати человек против Итона на собственной площадке для крикета и показал себя с лучшей стороны. —

«Мы сыграли с Итоном и проиграли самым позорным образом; некоторым утешением мне служит

то, что я набрал 11 очков при первой подаче и 7 — при второй, а это больше, чем у всех других в нашей команде, кроме Брокмана и Ипсвича» (Чарльзу О. Гордону, 4 августа 1805 г.).

На самом деле — 7 и 2 очка, в командном зачете — 7-е место из 11. Капитан команды позднее заметил, что, будь на то его воля, Байрон на поле вообще не вышел бы.

…более знаменит один лишь Леандр, чей подвиг лорд Б. повторил, переплыв Геллеспонт. — «…Хотя на том берегу никакая Геро меня не ждала», — заметил Байрон в письме к матери (28 июня 1810 г.).

Леандр, влюбленный эллин смелый,
О девы, всем известен вам:
Переплывал он Дарданеллы
Не раз наперекор волнам.

Декабрьской ночью, в час бурливый,
Он к Геро на свиданье плыл,
Пересекая ширь пролива, —
О, их удел печален был!

Я плыл под ярким солнцем мая;
Сын века хилого, я горд,
Устало тело простирая:
Какой поставил я рекорд!

Леандр, как говорит преданье,
Во тьме декабрьской ночи плыл,
Ища любви и обладанья;
Меня ж толкал тщеславья пыл.

Пришлось обоим нам несладко,
И гнев богов нас поразил;
Он — утонул, я — лихорадку
В воде холодной захватил.

9 мая 1810

(Пер. И. Пуза нова)

Позже Байрон записал в дневнике Хобхауза:

> «Все расстояние, пройденное мною и [лейтенантом] Э[кенхедом], было больше четырех миль — течение очень сильно и холодно — несколько крупных рыб встречено на половине пути — мы не устали, но немного озябли — я исполнил это без особенного труда».

Заплыв длился час десять минут. Историю Леандра Байрон вспоминает в «Абидосской невесте» (2,1); свою собственную — там же (2, III) и в «Дон-Жуане» (2, CV):

> Но мой Жуан свои младые члены
> Не раз в Гвадалкивире омывал, —
> В реке сей славной плавал он отменно
> И это ценным качеством считал;
> Он переплыл бы даже, несомненно,
> И Геллеспонт, когда бы пожелал, —
> Что совершили, к вящей нашей гордости,
> Лишь Экенхед, Леандр и я — по молодости.

Уильям Бетти (1791–1874) — «Нахожу его сносным в некоторых ролях, но ни в коей мере не достойным тех похвал, которыми его обливает Джон Буль» (Августе Байрон, 25 апреля 1805 г.).

Лорд Байрон, несомненно, отличился на прославленных выступлениях в Харроу, в актовый день — По крайней мере, сам утверждал, что «блистал» («Разрозненные мысли», № 71).

* * *

…самый вопиющий литературный вандализм столетия… — Известный русский поэт полагал иначе:

> «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? чорт с ними! Слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то марая своих врагов — Его бы уличили, как уличили Руссо — а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением. Поступок Мура лучше его Лалла-Рук [100] (в его поэтическом отношеньи)» (Пушкин — Вяземскому, ноябрь 1825 г.).

…идею Паноптикона Иеремии Бентама… — Иеремия Бентам (1748–1832) — английский юрист, философ, социальный реформатор, противник теории прав человека и защитник доктрины утилитаризма. Идея Паноптикона (как фабрики, тюрьмы и общежития) принадлежала его брату Сэмюелю Бентаму, который и попытался ее реализовать в Кричеве, белорусском поместье Потемкина. В 1807–1809 гг. Паноптикон был построен в Петербурге, на Охте [101]. Теории братьев Бентам, обнародованные в 1785 г., впоследствии неоднократно воплощались во всех развитых странах.

Эдмунд Берк (1729–1797) — политик и философ, идеолог консерватизма.

Ей не давали читать ни рассказов, ни сказок, ни — тем более! — поэзии… — Что предвидел Байрон, выводя в «Дон-Жуане» (2, XXXIX–XL) бывшую жену под именем Инесы:

Инеса постоянно хлопотала
И очень беспокоилась о том,
Чтоб воспитанье сына протекало
Отменно добродетельным путем:
Руководила и во все вникала
С большим педагогическим чутьем.
Жуан отлично знал науки многие,
Но, боже сохрани, — не биологию!

Все мертвые постиг он языки
И самые туманные науки,
Которые от жизни далеки,
Как всякий бред схоластики и скуки;
Но книжек про житейские грешки
Ему, конечно, не давали в руки,
И размноженья каверзный закон
Был от его вниманья утаен.

Глава пятая

…с чувством, будто дверь перед ним захлопнулась наглухо и опустился тяжелый засов — Из анонимных воспоминаний:

> «"Байрон, — позвала мать, — у меня известие для тебя". — "Какое же?" — "Сперва достань носовой платок, он тебе понадобится". — "Глупости!" — "Достань носовой платок, говорю тебе!" Он подчинился, чтобы доставить ей удовольствие. "Мисс Чаворт вышла замуж". Странное, не поддающееся определению выражение скользнуло по его бледному лицу. Небрежно сунув платок в карман, он спросил с деланым спокойствием: "Это все?" — "Как! Я думала, ты изойдешь слезами!" Он не ответил и заговорил о другом».

Это произошло в августе 1805 г.; в 1816 г. Байрон описал историю своей (неразделенной) любви к Мэри Чаворт в поэме «Сон», отдельные сцены которой напоминают о любви Али к Сюзанне:

Я видел — двое юных и цветущих
Стояли рядом на холме зеленом,
Округлом и отлогом, словно мыс
Гряды гористой, но его подножье
Не омывало море, а пред ним
Пейзаж красивый расстилался, волны
Лесов, полей и кое-где дома
Средь зелени, и с крыш их черепичных
Клубился сизый дым. Был этот холм
Среди других увенчан диадемой
Деревьев, вставших в круг, — не по игре
Природы, а по воле человека.
Их было двое, девушка смотрела
На вид, такой же, как она, прелестный,
А юноша смотрел лишь на нее.
И оба были юны, но моложе
Был юноша; она была прекрасна
И, словно восходящая луна,
К расцвету женственности приближалась.
Был юноша моложе, но душой
Взрослее лет своих, и в целом мире
Одно лицо любимое ему

Сияло в этот миг, и он смотрел
С боязнью, что оно навек исчезнет.
Он только ею и дышал и жил.
Он голосу ее внимал, волнуясь
От слов ее; глядел ее глазами,
Смотрел туда, куда она смотрела,
Все расцветив, и он всем существом
Сливался с ней; она, как океан,
Брала поток его бурливых мыслей,
Все завершая, а от слов ее,
От легкого ее прикосновенья
Бледнел он и краснел — и сердце вдруг
Мучительно и сладко так сжималось.

(Пер. М. Зенкевича)

В 1805 г. Байрон узнал и о свадьбе Мэри Дафф, своей еще более ранней привязанности: он влюбился в нее девятилетним.

> «Не странно ли, что я так преданно, так безраздельно любил эту девочку в том возрасте, когда не мог ощущать страсти и даже понимать значение этого слова? Как сильно я чувствовал! Моя мать часто дразнила меня моей детской любовью, а много позже, когда мне было шестнадцать лет[102], она однажды сказала: "Ах, Байрон, я получила письмо из Эдинбурга, от мисс Аберкромби: твоя старая любовь, Мэри Дафф, вышла замуж за некоего м-ра Ко[кбурна]". И как же я принял эту весть? Не могу объяснить своих чувств в ту минуту, но они произвели у меня что-то вроде судорог, которые так встревожили мою мать, что она с тех пор избегала говорить на эту тему со мной и довольствовалась тем, что обсуждала ее со всеми своими знакомыми. Что же это было? Я ни разу не видел Мэри с тех пор, как из-за *faux pas*[103] ее матери в Эбердине ее пришлось увезти в Банф, к бабушке. Оба мы были тогда детьми. С тех пор я бывал влюблен раз пятьдесят. Но я помню все, что мы говорили друг другу, все наши ласки, ее черты, мою тревогу, бессонницу…» (дневник, 26 ноября 1813 г.).

Али ощутил, что мертвые неотвратимо подступают к нему все ближе и ближе… они выпьют из его жил теплую кровь… — Если не считать неоконченную повесть, Байрон два-три раза

упоминает вампиров в своих поэтических сочинениях и сколько-нибудь подробно говорит о них только в поэме «Гяур» (1813):

Ты снова должен выйти в мир
И, как чудовищный вампир[104],
Под кровлю приходить родную —
И будешь пить ты кровь живую
Своих же собственных детей.
Во мгле томительных ночей,
Судьбу и небо проклиная,
Под кровом мрачной тишины
Вопьешься в грудь детей, жены,
Мгновенья жизни сокращая.

(Пер. С. Ильина)

Dulce et decorum est pro patria mori -

Красна и сладка смерть за отечество:
А смерть разит ведь также бегущего
И не щадит у молодежи
Спин и поджилок затрепетавших.

(Гораций. «Оды», /77, 2;

пер. А. Семенова-Тян-Шанского)

«Бог дал — Бог взял». — Иов 1:21.

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его… — Мф. 5:29.

Лорд Байрон недолгое время учился в Кембриджском университете, однако степени не получил. — Октябрь 1805 — июль 1808 года. Ада ошибается: Байрон получил степень магистра искусств, но только потому, что «старая карга» — *Alma mater* — «не могла этого избежать» (Уильяму Харнессу, 18 марта 1809 г.). *колесница Сисары: Аллюзия эта мне непонятна…* — «Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его и все ополчение его от меча Варакова, и сошел Сисара с колесницы и побежал пеший» (Суд. 4:15).

Глава шестая

…«в таком же виде, как при жизни»… — «Гамлет», акт III, сц. 4 (пер. М. Лозинского).

Мария Эджворт (1767–1849) — автор книг для детей и популярных романов из ирландской жизни, начиная с «Замка Рэкрент» (1800), — романов, которые недобрый Байрон полагал «моральными» и «жеманными» («Дон-Жуан», 1, XVI); Вальтер Скотт с ним не соглашался. Впрочем, сама мисс Эджворт пришлась Байрону по душе:

> «Это была милая, скромная маленькая особа… — если не красивая, то весьма недурная собой. Речь ее была столь же скромна, как она сама. Вы не подумали бы, что она умеет подписать свое имя…» (дневник, 19 января 1821 г.).

Гарри Ли (Генри Ли III, 1756–1818) — капитан Виргинских драгун, затем командующий смешанным корпусом пехоты и кавалерии во время Войны за независимость. Затем — депутат от Виргинии в палате представителей, губернатор родного штата. Отец еще более прославленного генерала-конфедерата Роберта Э. Ли (1807–1870).

Джозеф Брант (1742/43-1807, индейское имя Тайенданега — «дважды метнувший жребий») — вождь Лиги шести индейских племен, во время Войны за независимость выступил на стороне англичан (вопреки нейтралитету Лиги в целом). Боролся за сохранение индейцами своей земли — но безуспешно. Во время визита в Лондон отказался преклонить колено перед Георгом III, поскольку считал себя равным ему.

…клан племени могавков — клан Медведя — Ошибка: это клан племени гуронов; в него и был принят Фицджеральд.

…Иаков боролся с ангелом… — «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари» (Быт. 32:24).

…сделался мучеником во имя Свободы и блага своей Нации… — События жизни Фицджеральда Байрон излагал в беседе с Томасом Медвином в 1822 г.:

> «Что за благородный человек был лорд Эдвард Фицджеральд! Как необычайна и романтична его судьба! Живи он во времена чуть более отдаленные, она составила бы прекрасный сюжет для исторического романа».

Вот печальный финал жизни Фицджеральда, в пересказе Байрона:

> «Он познакомился с О'Коннорами[105] и ревностно отдался борьбе за свободу родной страны. Когда О'Конноры оказались в тюрьме, он был объявлен вне закона и шесть недель скрывался в Дублине; но в конце концов его предала женщина. Майор Серр с отрядом ворвался в его спальню, которую он никогда не запирал. Голоса разбудили его, он схватился за пистолеты, майор Серр выстрелил и ранил его. Вскоре он умер в тюрьме от раны, еще прежде суда. Вот участь истинного героя и патриота! Живи он ныне, быть может, Ирландия и не была бы страною илотов».

Рассказ не вполне точен, но поэтически верен.

…«шагнул над тесным миром, возвысясь, как Колосс»… — «Юлий Цезарь», акт I, сц. 2 (пер. М. Зенкевича).

…подтолкнуло американцев к бесплодной войне… — так наз. «Вторая война за независимость» 1812–1815 гг.

Его Величество Император может презирать англичан… всю «нацию Лавочников»… — «Вы обиделись на то, что я назвал вас "нацией лавочников", — оправдывался Наполеон уже на острове Св. Елены — Если бы я подразумевал "нация трусов", вы имели бы основания для недовольства; хотя такое заявление было бы смехотворным и противоречило историческим фактам; но ничего подобного я в виду не имел. Я говорил, что вы нация торговцев, и ваше огромное богатство и неимоверные средства имеют причиной коммерцию — что, несомненно, так». В любом случае, *Буонапарте* лишь процитировал «Исследование о природе и причине богатства народов» (1776) Адама Смита (1723–1790).

О причудливом суеверии впервые оповестил англичан Роберт Саути в книге по истории Бразилии… — опубликованной в 1819 году. Саути рассказывает о восстании в провинции Пернамбуко: вождь новоявленной республики получил за справедливость и отвагу титул «зомби» — «таково имя Божества на ангольском языке». Правда, добавляет Саути, португальские источники утверждают, что это слово означает «дьявол», однако тщательные исследования это опровергают. Кольридж на своем экземпляре «Истории Бразилии» сделал пометку, что «зомби» — не дьявол, а «даймон», или «внутренне присущая жизненная сила». Второй раз «зомби» придут в английский язык только в 1889 г. — в значении «живые мертвецы» или «сверхъестественные существа вообще» (Лафкадио Херн, в журнале «Харперз мэгэзин»),

Саути был для моего отца чем-то вроде bête-noire… — См.

посвящение к «Дон-Жуану» («Боб Саути! Ты — поэт, лауреат…»), статью «Некоторые замечания по поводу статьи в эдинбургском журнале "Блэквудс мэгэзин" № 29, 1819 г.» («Он проповедовал измену и служит королю… Он лизал руки, которые секли его, и ел хлеб своих врагов; внутренне корчась от презрения к самому себе, он старается спрятать омерзительное сознание своего падения под анонимным самохвальством и, тщетно домогаясь уваженья людей, навсегда утратил свое собственное»[106]) и проч., и проч.

В 1821 г. Саути опубликовал поэму «Видение суда», в предисловии к которой назвал Байрона «главой сатанинской школы»:

> «…Произведения этих поэтов в сладострастных своих эпизодах дышат духом Велиала; и духом Молоха — в отвратительных образах жестокостей и ужасов, которые эти авторы так любят живописать, — но в еще большей степени им свойствен сатанинский дух гордыни и дерзновенного кощунства, свидетельство того жалкого уныния, в котором они пребывают».

Байрон ответил одноименной поэмой, в предисловии к которой писал:

> «…Великодушному лауреату угодно было нарисовать картину фантастической "сатанинской школы", на которую он обращает внимание представителей закона, прибавляя, таким образом, к своим другим лаврам притязания на лавры доносчика. Если где-нибудь, кроме его воображения, существует подобная школа, то разве он не достаточно защищен против нее своим крайним самомнением?»

Развернутый ответ Саути Байрон дал и в приложении к первому изданию драмы «Двое Фоскари» (1821).

…Байрона, всех дел его и гордыни его… — Формула из обряда крещения. Крещаемый или его крестные родители (если это младенец) отрекаются «от сатаны, всех его дел и всех его ангелов, всего его служения и всей его гордыни».

…я помню, как Саути выражал некогда желание совместно с поэтом Кольриджем создать в Америке, на берегах Саскуиханны, колонию, где царила бы идеальная гармония… — Байрон не уставал напоминать об этом поэтам, давно расставшимся с мечтаниями молодости.

Не каждый же, как Саути, моралист,
Болтавший о своей «Пантисократии»[107],
Или как Вордсворт, что, душою чист,
Стих приправлял мечтой о демократии!

(«Дон-Жуан», 3, XCIII)

…во время ирландского восстания 1798 года заявит, что будь он взрослым, сделался бы английским лордом Эдвардом Фицджеральдом — По крайней мере, полтора десятка лет спустя он заявлял именно так (дневник, 10 марта 1814 г.).

Графиня де Жанлис была воспитательницей детей в семье герцога Шартрского: по крайней мере одна из ее дочерей, по общему мнению, была его отпрыском. — Памела (Стефани Каролина Анна) Симс (17737-1831), возможно, бывшая дочерью Луи-Филиппа II, герцога Шартрского и Орлеанского (1747–1793), которого не спасло от гильотины даже отречение от титула и принятое имя «гражданин Филипп Эгалите», — и Стефани Фелисите Дюкре де Сент-Обен, графини де Жанлис (1746–1830).

…лорд Б. провозглашал презрение к писательницам — «синим чулкам»… -

О вы, чулки небесной синевы,
Пред кем дрожит несмелый литератор,
Поэма погибает, если вы
Не огласите ваше «imprimatur»[108].
В обертку превратит ее, увы,
Парнасской славы бойкий арендатор!
Ах, буду ль я обласкан невзначай
И приглашен на ваш Кастальский чай?

(«Дон-Жуан», 4, CVIII)

— и проч.; см. в особенности обширную буффонаду (по определению самого Байрона) «Синие чулки».

…«толпу пишущих женщин»… — Замечания Байрона о «пишущих женщинах» слишком грубы, чтобы их можно было привести здесь, не оскорбив пристойность читателей.

Для мадам де Сталь он делал исключение… —

«Не знаю женщины более *bonne foi*[109], чем мадам де Сталь [1766–1817]: в ее сердце жила подлинная доброта. Она с большим вниманием отнеслась к моему разладу с

леди Байрон — или, вернее, леди Байрон со мной — и оказала некоторое влияние на мою жену… Полагаю, мадам де Сталь сделала все возможное, чтобы примирить нас. Она была лучшим существом в мире» (Байрон — Медвину).

Байрон неизменно отмечал приятность беседы мадам де Сталь, но не припомню, чтобы высказывался о ее сочинениях.

Мальчиком, как и многие из его сверстников, он был страстно увлечен Наполеоном, однако впоследствии разочаровался в мнимом освободителе Европы… -

«Что за странные вести об этом Енаковом сыне анархии[110] — Буонапарте! С тех пор как в Харроу, в 1803 году, когда началась война, я защищал его бюст от подлецов, державших нос по ветру, он был для меня hero de Roman[111] — правда, только на Континенте; здесь я его не желаю. Но мне не нравятся все эти побеги — отъезд из армии и проч., и проч. Когда я сражался в школе из-за его бюста, я, конечно, не предполагал, что он убежит от самого себя. Не удивлюсь, однако, если он еще всех их расколотит. Давать себя разбить настоящим воинам — это еще куда ни шло; но дать себя разбить трем чистопородным олухам из старых законных династий… O-hone-a-rie! — O-hone-a-rie!»[112] (дневник, 17 ноября 1813 г.).

См. также прим. к с. 259.

Ничто он не любил так сильно, как оказаться на борту корабля, оставляя позади отвергнутое им или отвергнувшее его и устремляясь к неизвестному. — Из стихотворения «Стансы к некой даме [Мэри Чаворт-Мастерс], написанные при отъезде из Англии»:

Пора! Прибоя слышен гул,
Корабль ветрила развернул,
И свежий ветер мачту гнет,
И громко свищет, и поет;
Покину я мою страну:
Любить могу я лишь одну.
Но если б быть мне тем, чем был,
Но если б жить мне так, как жил,
Не рвался я бы в дальний путь!
Я не паду тебе на грудь
И сном блаженным не засну…

И все ж люблю я лишь одну.

(Пер. В. Рогова)

И нужно ли напоминать знаменитые строки из прощания Чайльд-Гарольда (1, XIII)?

Прости, прости! Все крепнет шквал,
Все выше вал встает,
И берег Англии пропал
Среди кипяших вод.
Плывем на Запад, солнцу вслед,
Покинув отчий край.
Прощай до завтра, солнца свет,
Британия, прощай!

Промчится ночь, оно взойдет
Сиять другому дню,
Увижу море, небосвод,
Но не страну мою.
Погас очаг мой, пуст мой дом,
И двор травой зарос.
Мертво и глухо все кругом,
Лишь воет старый пес.
.

Я знаю, слезы женщин — вздор,
В них постоянства нет.
Другой придет, пленит их взор,
И слез пропал и след.
Мне ничего не жаль в былом,
Не страшен бурный путь,
Но жаль, что, бросив отчий дом,
Мне не о ком вздохнуть.

Вверяюсь ветру и волне,
Я в мире одинок.
Кто может вспомнить обо мне,
Кого б я вспомнить мог?
Мой пес поплачет день, другой,
Разбудит воем тьму
И станет первому слугой,
Кто бросит кость ему.

Наперекор грозе и мгле
В дорогу, рулевой!
Веди корабль к любой земле,
Но только не к родной!
Привет, привет, морской простор,
И вам — в конце пути —
Привет, леса, пустыни гор!
Британия, прости!

Я была среди тех, кого он покинул. -

Дочь сердца моего, малютка Ада!
Похожа ль ты на мать? В последний раз,
Когда была мне суждена отрада
Улыбку видеть синих детских глаз,
Я отплывал — то был Надежды час.
И вновь плыву, но все переменилось.
Куда плыву я? Шторм встречает нас.
Сон обманул… И сердце не забилось,
Когда знакомых скал гряда в тумане скрылась.

(«Чайльд-Гарольд», 3, I)

Глава седьмая

Главнокомандующий союзническими Армиями… — Артур Уэлсли, первый герцог Веллингтон, мнение о котором Байрон менял так же резко, как и о Наполеоне.

> «Это — *мужчина,* Сципион нашего Ганнибала. Но успехом при Ватерлоо он обязан русским морозам, уничтожившим *весь цвет* французской армии» (Томасу Мvру, 7 июля 1815 г.).

> «Негодяй Веллингтон — любимое детище Фортуны, но ей не удастся прилизать его так, чтобы получилось нечто приличное; если он проживет дольше, его разобьют — это несомненно. Никогда еще Победа не проливалась на столь бесплодную почву, как эта навозная куча тирании, где вызревают одни лишь гадючьи яйца» («Разрозненные мысли», № 110; октябрь 1821).

О Веллингтон (иль Villainton[113] — зовет
Тебя и так двусмысленная слава;
Не победив тебя, не признает
Величья твоего француз лукавый
И, побежденный, каламбуром бьет)!
Хвала! На пенсию обрел ты право.
Кто смеет славы не признать твоей?
Восстанут все и завопят о Ней[114]
.

Мы знаем, после славного похода
Тебе даров немало принесли
За то, что, Реставрации в угоду,
Ты спас легитимизма костыли.
Испанцам и французскому народу
Они прийтись по сердцу не могли,
Но Ватерлоо заслуженно воспето,
Хоть не дается бардам тема эта.

Но, что ни говори, война — разбой,
Когда священных прав не защищает.
Конечно, ты — «головорез лихой»;
Так сам Шекспир подобных называет;

Но точно ль благороден подвиг твой —
Народ, а не тираны, пусть решает.
А им-то лишь одним и повезло:
Им и тебе на пользу Ватерлоо.

Но я не льщу, ведь лестью ты упитан!
Устав от грома битвы, так сказать,
Герой, когда имеет аппетит он,
Скорее оды предпочтет глотать,
Чем острые сатиры. Все простит он
Тем, кто его способен называть
«Спасителем» народов — не спасенных,
И «провиденьем» — стран порабощенных.
.

Ей-богу, даже сам Наполеон,
Пожалуй, не имел такого случая —
Спасти от кучки деспотов закон,
В Европе утвердить благополучие.
А вышло что? Победы шум и звон
И пышных славословий благозвучие
Стихают, а за ними все слышней
Проклятья нищей родины твоей!

Но муза неподкупна и вольна,
Она с газетой дружбы не водила:
Поведает истории она,
Как пировали жирные кутилы.
Как их пиры голодная страна
И кровью и деньгами оплатила.
Ты многое для вечности свершил,
Но ты о чело-вечности забыл.

(«Дон-Жуан», 9, I, II1-V,

IX–X — написано в августе 1822 г.)

лейтенант поспешил к себе в палатку, где найденного молодого человека уже уложили в лейтенантову постель, а на горячий лоб раненого прикладывала смоченную в лейтенантовом одеколоне тряпку лейтенантова Долорес… — Ср. эпизод из второй песни «Дон-Жуана» (CXXXIV–CXXXV), где о выброшенном на берег герое заботится прекрасная Гайдэ:

Когда они укутали его,
Заснул он сразу; так же непробудно
Спят мертвецы, бог знает отчего:
Наверно, просто им проснуться трудно.
Не вспоминал Жуан мой ничего,
И горе прошлых лет, довольно нудно
В проклятых снах терзающее нас,
Не жгло слезой его закрытых глаз.

Жуан мой спал, а дева наклонилась,
Поправила подушки, отошла.
Но оглянулась: ей вообразилось —
Он звал ее во сне. Она была
Взволнована, и сердце в ней забилось.
Сообразить красотка не смогла,
Что имени ее, уж без сомненья,
Еще не знал Жуан мой в то мгновенье.

…*«смиряющий Тибр»*… — «Да, меня все знают за весельчака патриция, который не дурак выпить кубок подогретого вина, не разбавленного ни единой каплей тибрской воды» (Менений в «Кориолане», акт И, сц. 1; пер. Ю. Корнеева).

Кларисса, Ловлас — герои славного романа Сэмюеля Ричардсона (1689–1761) «Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов» (1748).

В ночь перед сражением разразилась небесная битва… — «И произошла на небе война» (Откр. 12:7).

…*это была победа*… — Битва при Саламанке состоялась 22 июля 1812 г. Французы потеряли четвертую часть армии, был ранен маршал Мармон. Веллингтон занял Мадрид — вынужденно отступил в Португалию — вновь занял Мадрид, когда Наполеон, отступая к Парижу, отозвал с Пиренейского полуострова войска — и Веллингтон разгромил оставшиеся.

Когда Байрон в 1809 году путешествовал по Испании, британцы только начинали вторжение на Иберийский полуостров… -

Неизъяснимой полон красоты
Весь этот край, обильный и счастливый.
В восторге смотришь на луга, цветы,
На тучный скот, на пастбища, и нивы,
И берега, и синих рек извивы,
Но в эту землю вторглись палачи, —
Срази, о небо, род их нечестивый!

Все молнии, все громы ополчи,
Избавь эдем земной от галльской саранчи!

(«Чайльд-Гарольд», 1, XV)

…книге Напьера «Война на Полуострове»… — Уильям Напьер (1785–1860) — британский генерал, автор шеститомной «Истории войны на Полуострове и юге Франции в 1807–1814 годах» (1828–1840).

Джон Хукем Фрир ‹…› Какие причины побудили лорда Б. подобным образом представить этого человека в своем романе, мне неизвестно, поскольку сведениями о каких-либо связях между ними я не располагаю. — См. прим. к с. 386.

* * *

…и он «проснулся знаменитым»… — Первое издание двух песен «Чайльд-Гарольда» (10 марта 1812 г., 500 экз.) разошлось в три дня. Слова Байрона «Однажды утром я проснулся знаменитым» привел Мур в примечании к первому тому «Писем и дневников» поэта (1830).

Трубят протяжно трубы… — «Чайльд-Гарольд», 1, LXXXV.

…закон бенфорда… — См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Benford's_law

…шифр виженера… — См.: http://en.wikipedia.org/ wiki/Vigenere_cipher

Но я философ… — «Дон-Жуан», 6, XXII.

Вот линк на портрет Брюнеля… — Увы! Бренность сетевого мира:

Error 404 — Page Not Found

Вот ссылки, действительные на 21.02.2009: http://ww.bbc.co.uk/history/historic_figures/brunel_kingdom_isambard.shtml http://en.wikipedia.org/wiki/Isambard_Kingdom_Brunel

Глава осьмая

Али уже ступал однажды по его почернелым булыжникам, толкался среди серых уличных толп и увертывался от надменных аристократических экипажей — которые, однако, помазывали его на лету грязью из-под колес. — Ср. прибытие в Лондон Жуана:

> Туман и грязь на много миль вокруг,
> Обилье труб, кирпичные строенья,
> Скопленье мачт, как лес поднятых рук.
> Мелькнувший белый парус в отдаленье,
> На небе — дым и копоть, как недуг,
> И купол, что повис огромной тенью
> Дурацкой шапкой на челе шута, —
> Вот Лондон! Вот родимые места!
>
> *(«Дон-Жуан», 10, LXXXII)*

— и читайте далее, до конца десятой песни и всю песнь одиннадцатую.

Пандемониум — столица Сатаны и аггелов его в «Потерянном Рае» Мильтона.

Ватье — популярный лондонский клуб эпохи Регентства; основан после жалоб аристократии на однообразие блюд в существующих клубах и назван в честь шеф-повара Жана-Батиста Ватье. «Какаовое Дерево» — кофейня, излюбленная тори с начала XVIII в.; славилась количеством замышленных под ее сводами интриг и суммами переданных политикам взяток. В 1821 г. Байрон составил краткий реестр:

> «Я состою или состоял в следующих клубах или обществах: "Альфред"; "Какаовое Дерево"; "Ватье"; "Юнион"; "Рэкет" (в Брайтоне); "Боксерский"; "Совы" или, иначе, "Полуношники"; кембриджский клуб вигов; клуб Харроу в Кембридже; один-два частных клуба; клуб Хемпдена (политический); и последнее по счету, но не по значению — общество итальянских карбонариев. Вот и все — насколько мне известно. В некоторые другие я отказался вступить, хотя меня уговаривали выставить свою кандидатуру» («Разрозненные мысли», № 31).

…и если они за вас, кто против вас? — «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).

…«с кивком, с улыбкою приятной»… — «L'Allegro» Мильтона.

Питер Пайпер — как уже отмечала Ада, под этим именем (взятым из считалки Матушки Гусыни) выведен Скроп Дэвис (1783–1852), денди и игрок.

> «Дэвис — остряк и светский человек, чувствует ровно столько, сколько может чувствовать человек такого рода… Дэвис не грешит стихами, однако он всегда побеждал нас в словесных баталиях и своими блестящими речами восхищал нас, но и ставил на место. Заодно с другими больше всех всегда доставалось Хобхаузу и мне…» (Роберту Чарльзу Далласу, 7 сентября 1811 г.).

> «Одним из наиболее интересных собеседников, каких я знавал, был Скроп Бердмор Дэвис. Хобхауз также очень силен по этой части; но для человека, который может обнаружить свои таланты и в других областях, а не только в беседе, это не столь важно. Скроп был неизменно находчив и часто остроумен, Хобхауз — столь же остроумен, но не всегда так же находчив, потому что более застенчив». («Разрозненные мысли», № 26).

Байрон посвятил поэму «Паризина» «Скропу Бердмору Дэвису, эсквайру, — от того, кто давно восхищается его талантами и ценит его дружбу».

…взорвался на своей же мине… — «В том и забава, чтобы землекопа / Взорвать его же миной…» («Гамлет», акт III, сц. 4, пер. М. Лозинского).

…«с брюшком округлым, где каплун запрятан»… — «Как вам это понравится», акт II, сц. 7 (пер. Т. Щепкиной-Куперник).

…адвоката из Темпля… — Мистер Бланд — барристер, т. е. имеет право выступать на любых судебных процессах, защищает клиентов словесно и предъявляет за своей подписью все документы, имеющие отношение к делу. Каждый барристер принадлежит к одной из четырех самоуправляемых адвокатских корпораций, так называемых «Судебных Иннов»: Линкольнс-Инн, Средний Темпль, Внутренний Темпль, Грейс-Инн. «Темпли» получили такое название, поскольку заняли помещения, некогда принадлежавшие тамплиерам.

…как наш Спаситель сказал о субботе: Закон для человека, а не человек для Закона… — «И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27).

Stupor Mundi — Чудо Света, прозвище императора Фридриха II (1194–1250).

…вновь поверг мир в ступор, на сей раз проиграв сражения и отрекшись от престола… — В 1814 г. Байрон анонимно опубликовал «Оду к Наполеону Бонапарту», начинавшуюся так:

Все кончено! Вчера венчанный
Владыка, страх царей земных,
Ты нынче — облик безымянный!
Так низко пасть — и быть в живых!
Ты ль это, раздававший троны,
На смерть бросавший легионы?
Один лишь дух с высот таких
Был свергнут Божией десницей:
Тот — ложно названный Денницей!

Лишь в 1831 г. были напечатаны последние строфы оды:

Был день, был час: вселенной целой
Владели галлы, ими — ты.
О, если б в это время смело
Ты сам сошел бы с высоты!
Маренго ты б затмил сиянье!
Об этом дне воспоминанье
Все пристыдило б клеветы,
Вокруг тебя рассеяв тени,
Светя сквозь сумрак преступлений!

Но низкой жаждой самовластья
Твоя душа была полна.
Ты думал: на вершину счастья
Взнесут пустые имена!
Где ж пурпур твой, поблекший ныне?
Где мишура твоей гордыни:
Султаны, ленты, ордена?
Ребенок бедный! Жертва славы!
Скажи, где все твои забавы?

Но есть ли меж великих века,
На ком покоить можно взгляд,
Кто высит имя человека,
Пред кем клеветники молчат?
Да, есть! Он — первый, он — единый!
И зависть чтит твои седины,
Американский Цинциннат!
Позор для племени земного,

Что Вашингтона нет другого!

(Пер. В. Брюсова)

Те же мысли, но более резко — можно сказать, запанибрата — Байрон запечатлел и в дневнике (9 апреля 1814 г.).

Байрона после выхода «Оды» обвинили в лицемерии: прежде восхваляя Наполеона, он обрушился на него в миг поражения. В черновиках примечаний к «Дон-Жуану» был дан ответ клеветникам:

> «Первыми строками, когда-либо написанными мною о Бонапарте, была "Ода к Наполеону" — после его отречения в 1814 г. Все, что я писал о нем, было написано уже после его падения; никогда я не превозносил его в пору его успехов. Я рассматривал его характер в различные периоды, в проявлениях его силы и слабости; его приверженцы обвиняли меня в несправедливости, а враги называли меня его сторонником — во многих изданиях, английских и иностранных».

После отречения императора Байрон готов был согласиться с Саути, считавшим Наполеона «заурядным злодеем», — но возвращение с Эльбы встретил восторженно:

> Прямо с Эльбы в Лион!
> Города забирая,
> Подошел он, гуляя, к парижским стенам —
> Перед дамами вежливо шляпу снимая
> И давая по шапке врагам!

(Пер. А. Арго)

> «Вы наверняка читали отчеты о том, как он явился прямо посреди королевской армии, и о том, какое немедленное действие возымели его очаровательные речи. И теперь если он не вздует союзников, "то, значит, деньги — сор"[115]. Если он способен в одиночку прибрать к рукам всю Францию, то чёрта ли ему стоит пугнуть всех этих захватчиков — ему, со своей Императорской Гвардией, былой и новой, с этими прославленными мечниками? Нельзя не поражаться и не

чувствовать себя подавленным его характером и деятельностью» (Муру, 17 марта 1815 г., пересылая это стихотворение).

…старик Блюхер… — Байрон не скрывал своего презрения к прусскому фельдмаршалу Гебгарду Блюхеру (1742–1819):

> «Я встречал Блюхера на лондонских приемах и не помню менее почтенного старца. Обладая голосом и ухватками сержанта-вербовщика, он притязал на лавры героя; прославлять его — все равно что прославлять победу камня, о который кто-то споткнулся» «Разрозненные мысли», № 111).

…лорд Б., вероятно, вспоминал свою первую речь в палате лордов… — произнесенную 27 февраля 1812 г.

> «Лорд Холланд и лорд Гренвилль, в особенности последний, как ты мог прочесть из газет, чрезвычайно высоко отозвались о моей речи, а лорд Элдон и лорд Харроуби в своих речах отвечали мне. С тех пор я выслушал в свой адрес, а также получил через вторые лица множество лестных похвал от самых разных людей, включая членов кабинета министров — да, министров! — а также оппозиционеров, из коих я упомяну одного сэра Ф. Бердетта. Он говорит, что это лучшая речь, произнесенная лордом с "незапамятных времен", — может, потому, что высказанные в ней чувства близки ему. Лорд Х. сказал мне, что я побью их всех, если буду продолжать в том же духе; а лорд Г. заметил, что построение отдельных фраз напомнило ему *Берка!!*[116] Немалая пища для тщеславия. Я произносил дерзкие фразы с видом невинной наглости, ругал всех и вся, очень рассердил лорда-канцлера и, если верить тому, что я слышу вокруг, этим экспериментом не нанес никакого ущерба своей репутации! Что касается манеры говорить — то говорил громко, гладко и, возможно, несколько театрально. В газетах ни самого себя, ни других узнать невозможно» (Фрэнсису Ходжсону, 5 марта 1812 г.).

На его ньюстедском надгробии… начертаны строки Байрона… — Вот полный текст эпитафии:

Здесь погребены Останки того,

кто обладал Красотой без Тщеславия,

Силой без Наглости, Храбростью без Жестокости,

и всеми добродетелями Человека без его Пороков.

Эта похвала могла бы стать ничего не значащей Лестью,

будь она над Прахом человека,

но она — справедливая дань Памяти

БОЦМАНА, СОБАКИ,

родившейся в Ньюфаундленде в мае 1803

и скончавшейся в Ньюстеде ноября 18-го 1808.

Когда надменный Герцог или Граф
Вернется в Землю, Славы не стяжав,
Зовут ваятеля с его резцом
И ставят Памятник над мертвецом.
Конечно, надпись будет говорить
Не кем он был, — кем только мог бы быть.
А этот бедный Пес, вернейший друг,
Усерднейший из всех усердных слуг, —
Он как умел Хозяину служил,
Он только для него дышал и жил, —
И что ж? Забыты преданность и труд,
И даже Душу в нем не признают:
Его кумир, всесильный господин,
На небесах желает быть один.
О человек, слепой жилец времен!
Ты рабством или властью развращен,
Кто знал тебя, гнушается тобой,

Презренный прах с презренною судьбой!
Любовь твоя — разврат, а дружба — ложь,
Ты словом и улыбкой предаешь!
Твоя порода чванна и горда,
Но за нее краснеешь от стыда.
Ступай к богатым склепам — и не стой
Над этой урной, скромной и простой.
Она останки друга сторожит.
Один был друг — и тот в земле лежит.

(Пер. Р. Усмановой и Игн. Ивановского)

«О Вальс! Хотя в своем краю родном / Для Вертера ты был почти Содом» — «Вальс», пер. Г. Бена.

По рассказам моей матери, ее первый отклик на явление лорда Байрона — она не стремилась, подобно всему свету, с ним познакомиться — уязвил его самолюбие и пробудил интерес к ней. — Из дневника Анны Изабеллы Милбэнк:

«*25 марта 1812 г.* Впервые видела лорда Байрона. У него желчный рот. Он кажется мне искренним и независимым, то есть искренним, насколько возможно в обществе, если не выказывать презрения. Во время разговора он часто прикрывает рот рукой. Заявив о своей страстной любви к музыке, он добавил, что не понимает, как можно быть к ней равнодушным. Мне показалось, что ему стоило больших усилий сдерживать природную горячность и насмешливость, чтобы кого-нибудь не обидеть, но временами он презрительно надувал губы и раздраженно щурился. Вокруг и впрямь творилось что-то странное. Владевшая гостями безжизненная веселость красноречиво свидетельствовала об отсутствии подлинного веселья. Даже вальс не внес оживления. Музыку слушали потому, что так принято. Мысль подавлялась чванством. И это лучшее лондонское общество!»

Глава девятая

…этот неотразимо приятный джентльмен «во мгновение ока» менялся… — «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе» (1 Кор. 15:51–52).

…«возрастало от насыщенья»… — «Как если б голод только возрастал / От насыщения» («Гамлет», акт I, сц. 2; пер. М. Лозинского).

…он улыбался, когда выигрывал, а при проигрыше начинал игру заново… — Прототип мистера Пайпера был не столь сдержан и благопристоен:

> «Однажды в игорном доме (это было еще до моего совершеннолетия) Скроп Дэвис напился, что обычно бывало с ним к Полуночи, и проигрался, но друзья, чуть менее пьяные, чем он, не могли уговорить его идти домой. Отчаявшись, они предоставили Скропа самому себе и демонам игры. На следующий день, около двух часов пополудни, проснувшись с жестокой головной болью и пустыми карманами, друзья Скропа (которые расстались с ним часов в пять утра, когда он был в проигрыше) застали его крепко спящим, без ночного колпака и вообще почти без всякой одежды; подле него стоял Ночной Горшок, доверху полный — Банкнотами! Бог весть, как он их выиграл и как туда засунул — Скроп не помнил; но их там было на несколько тысяч фунтов» («Разрозненные мысли», № 77).

…Али нашел ее воплощением сердечности и доброжелательства. — Вот суждения мисс Милбэнк о Байроне в первые годы их знакомства:

> «*[14 апреля 1812 г.]* Впервые говорила с лордом Байроном и была чрезвычайно тронута добротой, с которой он отнесся к Джозефу Блэкету»[117].
>
> «На вечере у леди Каупер я имела очень интересный разговор с лордом Б. (по крайней мере, мне так кажется). Лорд Б. необыкновенная личность, но ему недостает той кроткой доброты, которая способна тронуть мое сердце. Он очень хорош собой и манеры у него самые утонченные, как у прирожденного джентльмена».
>
> «Мое знакомство с лордом Байроном не

прерывается, и я снова и снова убеждаюсь в том, что он искренне сожалеет о своих дурных поступках, но не имеет решимости ступить на новую стезю без посторонней помощи».

«Вне всякого сомнения, лорд Байрон — самый приятный собеседник из всех известных мне, старых и молодых. По-моему, он очень хороший очень плохой человек. Сквозь его ужасные привычки пробиваются благородные ростки добра».

«"Как вы думаете, есть среди них хоть один, кто не побоялся бы заглянуть внутрь себя?" — неожиданно спросил меня Б. на вечере, где во всей толпе не было никого красивее, чем он. Но я не испытывала к нему глубокого сочувствия до тех пор, пока он не произнес так, чтобы я слышала: "Во всем мире у меня нет ни единого друга"».

…у меня вошло в привычку… после достаточно продолжительного знакомства с человеком заносить на бумагу его письменный Портрет… — И вот портрет Байрона, составленный Аннабеллой после того, как Байрон впервые попросил ее руки (она отказала):

«*8 октября 1812 г.* Характер лорда Байрона. Страсти владели им с детства, тиранически подчиняя его выдающийся ум. Однако в нем много черт, которые я, не колеблясь, назвала бы истинно христианскими: его преклонение перед целомудренной добродетелью и ужас перед всем, что развращает человеческую природу, служат подтверждением неиспорченной чистоты его моральных воззрений. Понятия о любви и дружбе исполнены в нем рыцарского благородства, а эгоизм ему совершенно не свойствен. В глубине души он мягок и добр, но из какого-то неслыханного упрямства, порожденного гордостью, предпочитает скрывать свои лучшие черты. К нему бывали несправедливы, а он слишком презирает ограниченность, чтобы снизойти до объяснений. Когда негодование побеждает в нем разум (его легко вывести из себя), он делается злым. Ненависть его усиливается глубочайшим презрением, но стоит буре улечься, как к нему возвращается вся его доброта, отступившая было под натиском минутного порыва, и он исполняется глубочайшего сожаления. Поэтому ум его непрестанно мечется между добром и злом. Он хотел бы стать более уравновешенным, а о прилежании к наукам

грустит как о даре, ему не подвластном.

Он готов без утайки открыть сердце всем, кому верит, независимо от продолжительности знакомства. Он очень почтителен с теми, кого уважает, и кается перед ними в своих ошибках».

Надо сказать, что Байрон высоко ценил роман «Опасные связи» и многому научился у виконта де Вальмона.

Не фунтов, милорд… Гиней. — В 1813 г. Королевский монетный двор выпустил восьмидесятитысячный тираж «военных гиней» для армии Веллингтона на Полуострове. Каждая монета составляла двадцать семь шиллингов ассигнациями, в то время как фунт равен двадцати шиллингам.

…отмерял себе долю Забвения каплями Кендала, дабы увериться, что тело не будет блуждать, пока душа спит… — «Всеобщее заблуждение относительно опиума, мистер Блэк!.. Вот знаменитые "Признания англичанина, принимавшего опиум" [1822]. Возьмите с собой эту книгу и прочтите ее. В месте, отмеченном мною, вы найдете, что когда де Квинси [1785–1859] принимал огромную дозу опиума, он или отправлялся в оперу наслаждаться музыкой, или бродил по лондонским рынкам в субботу вечером и с интересом наблюдал старания бедняков добыть себе воскресный обед. Таким образом, этот человек активно действовал и переходил с места на место под влиянием опиума» (Уилки Коллинз. «Лунный камень», 2, 3, X; пер. М. Шагинян).

…в Ньюкасле или Сент-Леджере. — Места проведения скачек.

…в музее Мерлина, преемником которого стал Уикс. — Джон Джозеф Мерлин (1735–1803) — изобретатель; усовершенствовал ряд музыкальных инструментов, создал кресло-каталку и роликовые коньки. В конце XVIII в. музей Мерлина на Принсез-стрит демонстрировал «новоизобретенный вечный двигатель» (работал на изменениях атмосферного давления), движущегося под музыку серебряного лебедя (в натуральную величину), клавесин с добавлением клавиш для трубы и пары литавр и т. п. Подобный музей открыл в 1788 г. Томас Уикс (1743–1834). Упомянутый в романе тарантул состоял из 115 деталей.

Якоб Шпурцгейм — Иоганн (не Якоб) Шпурцгейм (1776–1832) — немецкий врач, гастролировавший по Европе и Америке с лекциями о «френологической системе докторов Галля и Шпурцгейма»; ему принадлежит сам термин «френология». Байрон рассказал о визите к Шпурцгейму в письме к мисс Милбэнкот 16 сентября 1814 г. Вердикт приведен в романе дословно, а завершается пассаж восклицанием Байрона: «…Добро

и зло ведут во мне вечную борьбу. Дай Бог, чтобы второе начало не победило!» После этого Шпурцгейм единственный раз упоминается в сочинениях Байрона — в черновиках «Дон-Жуана».

Между столь противоположными натурами примирения быть не могло — Хобхауз писал в воспоминаниях:

> «Она не могла себе представить, что у людей, не исповедующих определенных взглядов, могут быть убеждения, особенно у тех, кто подвержен пагубным заблуждениям, и таковым, как ей казалось, прежде всего был ее собственный муж. Свое мнение она основывала на тех характерных для него шутливых парадоксах, в изобилии уснащавших его речь, иронию и юмор которых она совершенно не чувствовала, а следовательно, и не могла верно оценить. Разумеется, после того как лорд Байрон увидел, что жена понимает его много хуже старых друзей, ему следовало бы воздержаться от сумасбродств, которые веселили его давних знакомых, прекрасно знавших, чем они вызваны и чем кончатся, но повергали в полное замешательство его жену, давая ей повод считать его не вполне нормальным и способным на любую крайность. К тому же лорд Байрон имел обычай подкреплять самые фантастические свои домыслы ссылками на авторитеты и, еще чаще, на друзей, так что жена, воспринимавшая происходящее вокруг с величавой грустью, наверняка считала их современными копиями с Макиавелли».

«Литературные курьезы» (1814) — сочинение английского писателя Исаака д'Израэли (1766–1848); Байрон был знаком с д'Израэли, внимательно читал его книги и считал «чрезвычайно интересным и дотошным автором» (дневник, 17 марта 1814 г.).

Мур сообщает, что лорд Б. действительно брал уроки у «Джентльмена» Джексона и показал себя способным учеником. -

> «Сегодня утром упражнялся с Джексоном в боксе; намерен продолжать и возобновить знакомство с кожаными рукавицами. Грудь, руки и дыхание у меня в отличной форме, и я не полнею. У меня был прежде хороший удар, и руки очень длинные по моему росту (5 футов 8 1/2 дюймов). Во всяком случае, физические упражнения полезны, а это — самое трудное из всех: фехтование и палаш и вполовину так не утомляли меня» (дневник, 17 марта 1814 г.).

Джон Джексон (1769–1845) с 1795 по 1803 г. был чемпионом Англии и до конца жизни оставался, говоря словами Мура, «единственной опорой и украшением кулачного боя». В примечании к «Дон-Жуану» (И, XIX) Байрон называет Джексона «старым другом, телесным пастырем и наставником… который, полагаю, все еще сохраняет былую силу, соразмерность, всегдашнее добродушие, а также достижения физические и умственные».

Глава десятая

…а внутри него пребывал мир меньший, хотя в то же время и больший… — Подробнее о таком доме и таком мире см. роман Краули «Маленький, большой».

…«представленьем двухчасовым»? — Пролог к «Ромео и Джульетте» (пер. А. Радловой).

Гримальди, Джозеф (1778–1837) — великий английский комик, мим и клоун — создатель современной клоунады. В 1838 г. под редакцией Диккенса вышли воспоминания клоуна, несколько страниц в которых посвящены Байрону. Его светлость покровительствовал бенефису Гримальди в Ковент-Гардене, но при знакомстве с Гримальди повел себя не вполне благородно, а прямо сказать — шутовски, то рассыпаясь в преувеличенных похвалах, то угощая яблочным пирогом с соевым соусом. Однако впоследствии поэт и актер стали добрыми приятелями.

> «Иногда его светлость погружался в пучины меланхолии и казался воплощенным отчаянием — ибо на его лице ясно рисовалось глубокое горе; порой непринужденно болтал, с живостью и вдохновением; порой — представлял совершеннейшего фата, выставляя белизну своих рук и зубов с едва ли не смехотворной аффектацией. Но как бы ни чередовались "серьезность и веселость"[118], горький и едкий сарказм не покидал его никогда».

Покидая Англию в 1816 г., Байрон подарил Гримальди дорогую серебряную табакерку.

…я рассуждала об Идеале Мужчины, над качествами которого размышляла долго, — и составленный мною образ, полагаю, являет полное совершенство во всех отношениях… — Аннабелла Милбэнк прислала описание такого образа леди Мельбурн, своей тетке и конфидентке Байрона:

> «*Муж*
>
> Он должен обладать твердыми принципами Долга, которым надлежит управлять его сильными и *возвышенными* чувствами, подчиняя их голосу Разума.
>
> Гениальность, на мой взгляд, *необязательна,* хотя и желательна, *если* она *соединяется* с тем, о чем я только что говорила.
>
> Мне требуется характер, чуждый подозрительности и

не склонный обнаруживать *постоянно* дурное настроение, а также большая ровность в привязанности ко мне, а не то бурное чувство, которое всякие ничтожные обстоятельства способны увеличить или уменьшить.

Я хочу, чтобы мой муж считал меня *разумной советчицей*, а не наставником, на которого он может *слепо* положиться.

Вот мои главные требования к складу *ума*, и если они будут удовлетворены, я смогу закрыть глаза на многие несовершенства в других отношениях. Что же касается *материальной* стороны, то я обладаю достаточным состоянием, чтобы оставаться в обществе, к которому привыкла, ничего не стыдясь и не причиняя неудобства другим. Я не питаю склонности к экстравагантностям и готова практиковать экономию для достижения своих целей.

Происхождение мне безразлично. Но считаю *хорошее родство* важным преимуществом.

Меня не интересует *красота*, но имеют значение *манеры джентльмена*, без которых, полагаю, вряд ли можно меня привлечь.

Я не войду в семью, у которой в роду есть сильная склонность к Помешательству».

Черута — дешевая сигара с заранее обрезанными концами.

Лансье — английская кадриль, разновидность контрданса; век ей был отмерен недолгий, потому что набрать число пар, кратное четырем, не так просто.

…«вздрогнули, как грешные творенья»… — чуть измененная строка из «Гамлета», акт I, сц. 1 (пер. А. Кронеберга).

…«вооружиться против моря бед» и «противоборством покончить с ними». — «Гамлет», акт III, сц. 1.

…Долиною смертной Тени… — Пс. 22:4.

…в первые месяцы брака некоторое время состоял членом комитета при театре Друри-лейн, отбиравшего новые драматические сочинения… -

«Когда я ведал делами театра Д.-л. и состоял в К[омитете] по управлению им, там скопилось около пятисот пьес. Полагая, что среди них должны найтись стоящие, я распорядился ознакомиться с ними и тоже принял в этом участие. Помню, что из тех, которые я прочел сам, не было ни одной сколько-нибудь сносной. Большинство было совершенно немыслимо.

Мэтьюрин был горячо рекомендован мне Вальтером Скоттом, к которому я обратился, во-первых, в надежде, что он что-нибудь напишет для нас сам; а во-вторых, с просьбой указать какого-нибудь молодого (или старого) многообещающего автора, которого мы отчаялись найти. Мэтьюрин прислал своего "Бертрама" и письмо без обратного адреса, так что я сперва не мог ему ответить. Наконец обнаружив его местожительство, я послал ему благоприятный ответ и нечто более существенное. Пьеса его имела успех, но меня тогда не было в Англии.

Я обращался и к Кольриджу; но у него в то время не было ничего подходящего…

А какие Сцены мне пришлось выдерживать! Сколько авторов и авторш, сколько Портных, диких ирландцев, жителей Брайтона, Блэкуолла, Чатама, Челтнема, Дублина и Данди мне пришлось принять! И каждому надо было вежливо ответить, каждого прослушать или прочитать. Отец миссис Гловер, шестидесятилетний ирландец, по профессии учитель танцев, пришел просить роль Арчера[119] и для этого надел в мороз шелковые чулки, чтобы показать свои ноги; они были типично ирландские и несомненно недурны для его возраста, а в свое время были еще лучше. Приходила мисс Эмма Такая-то с пьесой под заглавием "Богемский разбойник" или что-то в этом роде. Приходил мистер О'Хиггинс, проживавший тогда в Ричмонде, с ирландской трагедией, где во всяком случае не могли не соблюдаться единства, потому что главный герой был все время прикован за ногу к столбу. Это был дикарь свирепого вида; и желание смеяться сдерживалось только размышлением над возможными последствиями такого веселья.

Я по природе вежлив и учтив и не люблю причинять людям боль, когда этого можно избежать; а потому я отсылал их к Дугласу Киннэрду, человеку деловому, который умеет без колебаний сказать "нет", и предоставлял ему вести все подобные переговоры. В начале следующего года я уехал за границу и с тех пор мало что знаю о театральных делах» («Разрозненные мысли», № 67).

…одну из его драм, предназначенную исключительно для чтения, сыграли в Лондоне без его разрешения и против его желания. — Премьера «Марино Фальеро» без успеха прошла в

Друри-лейн 25 апреля 1821 г.

…как и происшествия с Беатриче и Бенедиктом, Ларой и Каледом… — Ада имела в виду не Беатриче и Бенедикта («Много шума из ничего»), но Виолу и Орсино («Двенадцатая ночь»). Лара и Калед — персонажи поэмы Байрона «Лара»:

> Со свистом дышит грудь, напряжена;
> Взор темная покрыла пелена;
> Свело все тело, и — уже мертва —
> С колен пажа скатилась голова.
> Тот руку, Ларой сжатую, кладет
> На грудь: не бьется сердце. Но он ждет,
> В рукопожатье хладном, вновь и вновь,
> Он трепет ловит, но: застыла кровь!
> «Нет, бьется!» — Нет, безумец: видит взгляд
> Лишь то, что было Ларой миг назад.
>
> Все смотрит Калед, — будто не потух
> В том прахе пламень, не умчался дух.
> Кто возле был, прервали тот столбняк, —
> Но с тела взор он не сведет никак;
> Его ведут с того лужка, куда
> Он снес его, кто был живым тогда;
> Он видит, как (прах к праху!) милый лик
> К земле, а не к его груди, приник.
> Но он на труп не кинулся, не рвал
> Своих кудрей блестящих, — он стоял,
> Он силился стоять, глядеть, — но вдруг
> Упал, как тот, столь им любимый друг.
> Да, — он любил! И, может быть, вовек
> Не мог любить столь страстно человек!..
> В час испытаний разоблачена
> Была и тайна, хоть ясна она:
> Пажа приводят в чувство, расстегнуть
> Спешат колет, и — женская там грудь!
> Очнувшись, паж, не покраснев, глядит:
> Что для нее теперь и Честь, и Стыд?

(2, XX–XXI; пер. Г. Шенгели)

Благополучные развязки все схожи; беды чаще всего уникальны. — С этим согласился бы гр. Толстой, однако роман Владимира Набокова «Ада» (!) открывается противоположным заявлением: «Все счастливые семьи довольно-таки не похожи, все

несчастливые довольно-таки одинаковы» (пер. С. Ильина).

* * *

Знаешь, какое слово выбрала Ада? АМЕРИКА. Она хотела, чтобы мы расшифровали рукопись… -

> «Хотелось бы, чтобы обо мне хорошо думали по ту сторону Атлантики; не думаю, что меня выше ценят там, чем здесь; возможно, куда ниже» (Байрон — Медвину, 1822 г.).

Тед Уильямс (1918–2002) — один из величайших американских бейсболистов; *Эдгар Райс Берроуз* (1875–1950) — американский писатель, создатель циклов о Тарзане и приключениях Джона Картера на Марсе; *Роберт Флаэрти* (1884–1951) — американский режиссер, один из основоположников кинодокументалистики на этнографическом материале.

Итак, Байрон жестоко обращался с супругой и вел себя с ней отвратительно, однако все, что нам известно об этом — известно по большей части с ее слов… — Итогом стала изданная в 1870 г., через десять лет после смерти Аннабеллы, книга «Оправданная леди Байрон» Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) — яростная защита невинной жены от сатанинского мужа и всех, кто принял его сторону. Впрочем, если хотя бы малая часть того, что написано в дневниках Аннабеллы, правда — то Байрон действительно был ужасным мужем. Двоих людей несколько лет влекло друг к другу — и, только обвенчавшись, они поняли, что будут несчастны.

Генри Брум — см. прим. к с. 366.

…если не считать последнего греческого мальчика, так и не ответившего ему взаимностью. — Лукас Халандрицанос, ставший персонажем рассказа Краули «Миссолонги, 1824». Считается, что именно о нем идет речь в начале последнего стихотворения Байрона — «В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет»:

> Пора остыть душе гонимой,
> Когда остыли к ней давно;
> Но пусть любить и не любимой
> Ей суждено!
>
> Погибло в цвете наслажденье,
> Поблекла жизнь, как дуб лесов;
> И червь остался мне и тленье

От всех плодов.

Вулкану мрачному подобный,
Горит огонь груди моей;
Он не зажжет — костер надгробный —
Других огней.

Нет силы чувств в душе усталой,
Нет слез в сердечной глубине:
Любви былой, любви завялой
Лишь цепь на мне.

Но не теперь дано мне право
Грудь думой праздной волновать,
Не здесь, где осеняет слава
Святую рать.

Гремит война, кипит Эллада,
Настал свободы новый век;
На щит, как древней Спарты чадо,
Ложится грек.

Проснись! — не ты, уже так смело
Проснувшийся, бессмертный край! —
Проснись, мой дух! живое дело
И ты свершай!

Во прах бессмысленные страсти!
Созрелый муж! тот бред младой
Давно бы должен уж без власти
Быть над тобой.

Иль не жалей о прежнем боле,
Иль умирай! — здесь смерть славна;
Иди! да встретит же на поле
Тебя она!

Найти легко тебе средь боя
Солдата гроб: взгляни кругом,
И место выбери любое,
И ляг на нем.

Миссолонги, 22 января 1824 года

(Пер. К. Павловой)

Том Диш (1940–2008) — американский поэт, автор фантастической прозы (которую печатал, в отличие отпоэзии, под полным именем: Томас Диш) — романов «Концлагерь» (1968), «334» (1972) и др. Был близким другом Краули, который рецензировал его романы, а после самоубийства Диша написал прочувствованный некролог-воспоминание. Ли читает предисловие Диша к сборнику «Избранная поэзия лорда Байрона» под ред. Лесли Маршана (2002).

Рудольф Валентино (1895–1926) — танцор, актер и секс-символ 1920-х гг.

…ее образ с головы до пят и во всех отношениях совпадает с тем, как представляли себе девушек англичане в 1820 году… -

На лбу ее монеты золотые
Блестели меж каштановых кудрей,
И две косы тяжелые, густые
Почти касались пола. И стройней
Была она и выше, чем другие;
Какое-то величье было в ней,
Какая-то надменность; всякий знает,
Что госпоже надменность подобает.

Каштановыми были, я сказал,
Ее густые волосы; но очи —
Черны как смерть; их мягко осенял
Пушистый шелк ресниц темнее ночи.
Когда прекрасный взор ее сверкал,
Стрелы быстрей и молнии короче, —
Подумать каждый мог, ручаюсь я,
Что на него бросается змея.

Лилейный лоб, румянец нежно-алый,
Как небо на заре; капризный рот…
Такие губки увидав, пожалуй,
Любой о милых радостях вздохнет!
Она красой, как статуя, сияла.
А впрочем, присягну: искусство лжет,
Что идеалы мраморные краше,
Чем юные живые девы наши!

(«Дон-Жуан», 2, CXVI–CXVIII)

…*«дитя замершее, не видевшее света»*. — «Дон-Жуан», 4, LXX (пер. С. Сухарева).

Слова весьма вещественны… — «Дон-Жуан», 3, LXXXVIII.

Глава одиннадцатая

…о «пращах и стрелах яростной судьбы»… — «Гамлет», акт III, сц. 1.

…принимать себя за «мух в руках мальчишек»? — «Мы для богов — что мухи для мальчишек: / Им наша смерть — забава» («Король Лир», акт IV, сц. I; пер. Т. Щепкиной-Куперник).

«Ты будто потерял ближайшего друга», — заявил Достопочтенный, увидев Али в темном свадебном наряде… — Из воспоминаний Хобхауза о бракосочетании Байрона (2 января 1815 г.):

> «Во время церемонии мисс Милбэнк полностью сохраняла присутствие духа и, не спуская глаз с Байрона, громко и внятно повторяла вслед за священником брачный обет.
>
> Байрон, произнося: "Я, Джордж Гордон…" запнулся, а при словах "делить с ней богатство и бедность" взглянул на меня и усмехнулся.
>
> Вскоре после окончания церемонии она спустилась в гостиную, одетая в дорожное платье, и молча села. Байрон был спокоен и выглядел как обычно. У меня было чувство, будто я только что похоронил друга.
>
> Около двенадцати я помог леди Байрон спуститься к карете. В глубокой печали я простился с моим дорогим другом. Он не хотел отпускать мою руку, да и я держал его, протянутую в окно, до тех пор, пока карета не тронулась».

…«зашевелились, как бы живые». — «А было время, чувства леденели / При полуночном крике, волоса / От страшного рассказа шевелились, / Как бы живые» («Макбет», акт V, сц. 5; пер. М. Лозинского).

…по окончании паточного месяца… — Так Байрон назвал свой медовый месяц в письме Муру от 2 февраля 1815 г.

…ему доведется питаться Воздухом… — «Живу на хамелеоновой пище, питаюсь воздухом, пичкаюсь обещаниями; так не откармливают и каплунов». — «Гамлет», акт III, сц. 2 (пер. М.Лозинского).

Минос — судья царства мертвых; у Вергилия решает судьбы «тех, кто погиб от лживых наветов» («Энеида», VI, 430; пер. С. Ошерова), у Данте распределяет грешников по девяти кругам преисподней («Ад», V, 4-24). Судебный пристав действительно

ночевал в доме Байрона в октябре 1815 г. «Можете судить, что у нас творится… — писала после этого леди Байрон Августе. — Одному богу известно, что я выстрадала вчера и как продолжаю страдать от этих ужасных приступов бешенства».

…почувствовал себя… отчаявшимся… — Из воспоминаний Хобхауза:

> «К концу ноября [1815 г.] лорд Байрон начал заговаривать с одним из друзей [самим Хобхаузом] об абсолютной необходимости расстаться с леди Байрон. На другой день после рождения дочери, 11 декабря, его светлость вновь вернулся к этой теме и признался: его финансовые затруднения таковы, что доводят его до безумия. Он говорил, что "не придавал бы им такого значения, не будь он женат" — и что хотел бы "уехать за границу". Он повторил это раза два, но вскоре заговорил о переезде за город. Он говорил, что "никто и знать не может, через что он прошел"; что ни один мужчина не должен жениться — все его злосчастья удвоятся, а радости уменьшатся. "Моя жена, — добавлял он всегда, — само совершенство — лучшее из живых существ; но все-таки — не женитесь". Так он говорил с одним из друзей — и только с одним».

…«дышать тяжелым воздухом земли»… — немного измененная строка из «Гамлета», акт V, сц. 2 (пер. Б. Пастернака).

…среди погибельных смятений… — «Скрываясь от мирских погибельных смятений» («Сельское кладбище» Томаса Грея, пер. В. Жуковского).

«Любезный», — услышал Али за ужином расслабленный томный голос… — Этот анекдот из тех времен, когда щеголи еще не назывались «денди», Байрон с удовольствием занес в дневник («Разрозненные мысли», № 49).

Пойнс и Бардольф — приспешники Фальстафа в «Генрихе IV».

Тильбюри — легкий открытый двухколесный рессорный экипаж; в него запрягалась одна лошадь, которой управлял пассажир.

«Сент-Джеймс» — анахронизм: клуб основан в 1857 г.

Иды — день в середине месяца: 15 марта, мая, июля и октября; 13-е число в остальные месяцы.

Разве не я — потомок злодеев и безумцев? -

> «Однажды [в 1815 г.] Байрон был захвачен врасплох врачом и адвокатом, которые одновременно и чуть не насильно ворвались к нему в кабинет. "Только

впоследствии мне выяснилась истинная цель их посещения. Их вопросы показались мне странными, дерзкими, а иногда и неудобными, чтобы не сказать — нахальными; но что подумал бы я, если бы догадался, что эти люди были присланы затем, чтобы собрать доказательства моего сумасшествия?"» («Разговоры лорда Байрона» Томаса Медвина).

Итак, утром состоялся отъезд… — В приложении к «Жизни Байрона» Мура опубликовано свидетельство леди Байрон:

«Факты таковы: Я выехала из Лондона в Киркби-Мэллори, местопребывание моих родителей, 15 января 1816 г. Лорд Байрон уведомил меня в письменном виде (9 янв.) о своем твердом желании, чтобы я покинула Лондон так скоро, как это будет для меня удобно. Подвергаться всем неудобствам путешествия прежде 15-го числа для меня было небезопасно. Еще до моего отбытия я была совершенно убеждена в том, что лорд Байрон страдает умопомешательством. Это мнение в значительной степени основывалось на общении с его близкими родичами и личным слугой, у которых в последние недели моего пребывания в Лондоне было больше возможностей наблюдать за ним, нежели у меня. Я узнала, помимо прочего, что он находился на грани самоубийства. *По согласованию с семьей* я попросила у д-ра Бельи дружеский совет касательно предполагаемой болезни мужа (8 янв.). Ознакомившись с состоянием дел и с высказанным желанием лорда Байрона, д-р Бельи предположил, что мое отсутствие может возыметь положительные последствия, *если* принять помешательство как факт; однако, не осмотрев лорда Байрона лично, он не мог прийти к окончательным выводам. Он предписал также, чтобы в переписке с лордом Байроном я придерживалась исключительно легких и успокоительных тем. Я покинула Лондон, твердо намереваясь придерживаться этих советов. Какой бы ни была причина того, как лорд Байрон вел себя по отношению ко мне со дня свадьбы, — но, принимая во внимание его предположительное умопомешательство, я никоим образом не могла выразить в ту минуту, насколько он меня ранил. В день отъезда и по прибытии в Киркби 16 янв. я написала лорду Байрону в жизнерадостном тоне, соответственно с полученными медицинскими рекомендациями».

Пиведем для полноты картины эти письма:

«*15января 1816 г.* Мой дорогой Байрон, девочка чувствует себя прекрасно и путешествует отлично. Надеюсь, что вы будете осторожны и не забудете о моих просьбах насчет обращения к докторам. Не предавайтесь без памяти ужасному ремеслу стихоплетства, бренди, а также никому и ничему, что было бы незаконно и неблагоразумно. Несмотря на то, что я ослушалась вас и пишу, проявите мне ваше послушание в Киркби. Привет от Ады и меня».

«*16января 1816 г* . Мой дорогой Утенок, мы благополучно приехали сюда вчера вечером; нас провели в кухню вместо гостиной, ошибка довольно приятная для изголодавшихся людей. Папа собирается написать вам забавный рассказ об этом случае. И он и мама очень хотели бы поскорей увидеть все наше семейство в сборе… Если бы мне не недоставало всегда Б_____, то деревенский воздух очень бы помог. *Мисс* находит, что ее кормилица должна кормить ее гораздо больше, и толстеет. Хорошо еще, что она не понимает всех комплиментов, которые отпускаются по ее адресу. "Маленький ангелочек"… и уж я не знаю, что еще… Привет милой Гусочке, а также и вам от всех, кто здесь.

Всегда твоя, бесконечно любящая

Пиппин… Пип… Ип»[120].

Бичер-Стоу (см. прим. к с. 328) приводит со слов леди Байрон совершенно неправдоподобный рассказ о расставании:

«В день отъезда она подошла к двери его комнаты и остановилась, чтобы погладить его любимого спаниеля; позднее она призналась в том, что ощутила минутную слабость: ей хотелось умалиться подобно щенку, лишь бы остаться и присматривать за мужем. Она вошла в комнату, где сидели Байрон и его распутный друг, и, протянув руку, сказала: "Байрон, я пришла проститься".

Спрятав руку за спину, лорд Байрон отошел к камину и, саркастически оглядев стоявших перед ним, произнес: "Когда мы встретимся втроем?"[121] — "Верно, на небесах", — отозвалась леди Байрон. И это было последнее, что он услышал от нее на земле».

Ибо «тут буря началась в его душе»… — измененная строка из

«Ричарда III», акт I, сц. 4 (пер. А. Радловой).

Катарина не собирается возвращаться в их дом, а намерена расстаться с Али и жить отдельно. — О таком же решении Аннабеллы Байрону сообщил в письме его тесть Ральф Ноэль. Байрон отвечал в тот же день, 2 февраля 1816 г.:

> Сэр — Я получил Ваше письмо. — На туманное и неясное обвинение, содержащееся в нем, я, естественно, не знаю, что ответить, — ограничусь поэтому более конкретным фактом, который Вам угодно приводить в качестве одной из причин Вашего предложения. — Я не выпроводил леди Байрон из дому в том смысле, какой Вы придаете этому слову, — она уехала из Лондона по совету врача — когда мы прощались, между нами царило видимое — а с моей стороны искреннее — согласие; хотя именно в ту пору я отпускал ее неохотно и просил подождать, чтобы самому сопровождать ее, но моему отъезду помешали неотложные дела. — Правда, несколько раньше я высказывал мнение, что ей лучше было бы временно поселиться в родительском доме: — причина этому очень простая и может быть указана в немногих словах — а именно — мои стесненные обстоятельства и невозможность содержать дом. — Если Вы хотите удостовериться в правде моих слов, проще всего спросить об этом леди Б.; она — воплощенная Правдивость; если она станет отрицать — пусть будет так — я не скажу более ничего. — Мое намерение ехать за границу было вызвано все теми же печальными обстоятельствами — а отложено из-за того, что, видимо, не отвечало ее желаниям. — Весь прошедший год мне пришлось бороться с грозившими Вам лишениями — и одновременно с недугом: — о первых мне нечего сказать — разве только то, что я пытался устранить их всеми возможными жертвами с моей стороны; — о последнем я не стал бы говорить, если бы не знал от врачей, что моя болезнь — хотя она и мало сказывается на мне внешне — вызывает болезненную раздражительность — которая — и без внешних поводов — делает меня почти столь же невыносимым для других, как для себя самого. — Однако, насколько я могу судить, дочь Ваша не подвергалась дурному обращению: — я мог быть при ней мрачен — иногда вспылить — но ей слишком хорошо известны причины, чтобы относить это к себе — или даже ко мне — если судить по всей справедливости. — А

теперь, сэр, — не ради Вашего удовлетворения — ибо я не считаю себя обязанным доставить его Вам — но ради моего собственного — и чтобы воздать должное леди Байрон — я считаю своим долгом сказать, что в ее поведении — нраве — талантах — и склонностях — нет ничего, что я желал бы изменить к лучшему, — я не могу вспомнить с ее стороны никакой, хотя бы самой пустяшной вины — ни в словах, ни в делах — ни в помыслах (насколько их можно прочесть). — Она всегда казалась мне одним из лучших созданий на земле — более близким к совершенству, чем можно, по-моему, ожидать от Человека в его нынешнем состоянии. — Высказав все это — хотя мне удалось выразить словами отнюдь не всю суть — я возвращаюсь к делу — но вынужден отложить на несколько дней свой окончательный ответ. — Постараюсь не задержать его дольше, чем необходимо — поскольку это важный шаг для Вашей семьи, как и для моей, — и шаг непоправимый — Вы не припишете мою медлительность желанию огорчить Вас или Ваших: — хотя должен заметить — в Вашем письме есть строки, где Вы присваиваете себе больше прав, чем сейчас имеете, — ибо сейчас, во всяком случае, — дочь Ваша является моей женой: — и матерью моего ребенка — и пока Ваши действия не получат ее ясно выраженного одобрения, я позволю себе сомневаться в уместности Вашего вмешательства. — Это скоро выяснится — и тогда я сообщу Вам свое решение — которое в очень большой степени будет зависеть от решения моей жены. — Имею честь быть Вашим покорным слугой

Байрон

3 февраля 1815 г., к леди Байрон:

Я получил письмо от твоего отца с предложением развода между нами — на которое я не могу дать ответ, прежде чем лучше узнаю твои мысли и желания — от тебя самой: — на смутные и общие обвинения и напыщенные заявления других людей я отвечать не могу: — гляжу на тебя одну — и лишь с тобой могу говорить об этом — и когда я позволю родственникам вмешаться — это будет жест вежливости — а не признание прав. — Не знаю даже, как обращаться к тебе, — ведь я пребываю в неведении, одобрено ли тобою то письмо, которое я

получил — и в нынешних обстоятельствах все, что я напишу, может быть превратно истолковано — и я в самом деле не понимаю, о чем пишет сэр Ральф — может быть, ты растолкуешь?

— Заканчиваю. — Я в конце концов приму любое твое решение — но прошу тебя со всей серьезностью: хорошо взвесь возможные последствия — и повремени перед оглашением приговора. — Что бы нас ни ждало — но будет только справедливо сказать, что ты не виновна ни в чем — и ни сейчас, ни в будущем я не брошу на тебя тень и ни в чем не обвиню. — Не могу подписать иначе, нежели всегда любящий тебя

БН

5 февраля 1815 г., к ней же:

Милая Белл — Все еще не имею от тебя ответа — но это, быть может, и к лучшему — помни только, что на карту поставлено все — настоящее — будущее — и даже память о прошлом: — Мои ошибки — которые ты можешь, если хочешь, назвать и более сурово — ты знаешь — но я тебя любил — и не расстанусь с тобой, пока не получу твоего ясно выраженного и окончательного отказа вернуться ко мне или принять меня. — Скажи только — что в сердце своем ты еще моя — и тогда «Не бойся, Кэт, тебя никто не тронет — я отобью, хоть будь их миллион»[122] — всегда твой, дорогая,

Б.

7 февраля 1816 г., к Ральфу Ноэлю:

Сэр! С большим удивлением и превеликой печалью прочел я письмо леди Байрон, полученное от Вас миссис Ли. Покидая Лондон, леди Байрон ни единым намеком не обнаружила подобных чувств или намерений, ничего подобного не промелькнуло ни в письмах ее с дороги, ни затем, по прибытии в Керкби. Тон ее писем ко мне, игриво-доверчивый, ласковый и оживленный, скорее мог говорить о привязанности, чем о каком ином внушающем тревогу отношении, письма ее о дочери — письма матери, обращенные к супругу. Это наталкивает меня на грустные мысли: либо ей свойственно двуличие,

что, как я считал, весьма не вяжется с ее характером, либо это результат чьего-то влияния последних дней, следование коему в свое время было весьма похвально и достойно, теперь же удивительно после ее клятв пред алтарем.

Пока есть у меня дом, он открыт для нее, как всегда открыто для нее сердце мое, даже если из всех приютов останется только эта обитель. Я не могу заподозрить леди Байрон в том, что причина этого решения, предлог для расторжения нашего брака — желание отделаться от банкрота-мужа, хотя и выбранный для этого момент, и сама манера, в которой сделано сие предложение — без вопросов, без жалоб, без всяких колебаний, без попытки к примирению, — не может не внушать подозрения. Если Вы сочтете, сэр, что тон моего письма к Вам дерзок, знайте, я все же сдерживаю себя из уважения, сообразного родственным обязанностям моим, коих Вы собираетесь меня лишить, и прошу резкость выражений моих, вызванную не зависящими от меня обстоятельствами, оценивать, исходя из оных. Я не унижусь, как жалкий проситель, до мольбы о возвращении нелюбящей супруги, но поступиться правами супруга и отца я не желаю. Предлагаю леди Байрон вернуться, готов отправиться к ней, если она того пожелает, но любые попытки — настоящие и будущие — разлучить нас я воспринимаю с возмущением.

Имею честь оставаться, сэр, в глубочайшем уважении.

Ваш вернейший и преданнейший слуга

Байрон

8 февраля 1816 г., к леди Байрон:

Все, что я говорю, кажется бесполезным — все, что я мог бы сказать, — может оказаться столь же тщетным — но я еще держусь за обломки своих надежд — пока они навеки не погрузились в пучину. — Разве вы никогда не были со мной счастливы? — разве ни разу не говорили об этом? — разве мы не высказывали друг другу самую горячую взаимную любовь? — проходил ли хоть день, чтобы мы не давали друг другу, или хотя бы один из нас другому, доказательств этой любви? — поймите меня правильно — я не отрицаю своего душевного состояния — но ведь вам известны его причины — и разве мои

вспышки не сопровождались раскаянием и признанием вины? — в особенности последняя? — и разве я — разве мы — вплоть до самого дня нашей разлуки не были уверены, что любим друг друга — и что увидимся вновь — разве вы не писали мне ласковых писем? — разве я не признавался во всех своих ошибках и безумствах — и не заверял вас, что некоторые из них не повторятся — и не могут повториться? — я не требую, чтобы на эти вопросы вы ответили мне — ответьте своему сердцу. — Накануне получения письма вашего отца — я уже назначил день своего приезда к вам — если я в последнее время не писал — это делала за меня Августа — мне случалось переписываться с ней через вас — почему бы ей теперь не служить посредницей между мной и вами? — Что касается вашего сегодняшнего письма — то из некоторых его выражений можно заключить о таком обращении с вами, на какое я неспособен — и какое вы неспособны мне приписывать — если понимаете все значение своих слов — и все, что из них может быть выведено. — Это несправедливо — но я не намерен упрекать — и не хочу искать к этому повода. — Можно мне увидеться с вами? — когда и где угодно — и в чьем угодно присутствии: — это свидание ни к чему вас не обязывает — и я ничего не скажу и не сделаю, что могло бы нас взволновать. — Такая переписка — мученье; нам надо сказать и обсудить вещи, которые написать нельзя. — Вы говорите, что мне не свойственно ценить то, что я имею, — но разве это относится к вам? — разве я говорил вам — или другим о вас — что-либо подобное? — Вы, должно быть, сильно переменились за эти двадцать дней, иначе не стали бы так отравлять свои лучшие чувства — и так топтать мои.

Неизменно верный вам и любящий вас

Б.

13 февраля 1816 г., леди Байрон — к лорду Байрону:

Перечитывая ваше последнее письмо ко мне и второе — к моему отцу, я отметила несколько пунктов, на которые никто, кроме меня, ответить не может, поскольку мои собственноручные объяснения вызовут у вас меньшее раздражение.

Мои письма от 15 и 16 января. Может быть вполне ясно и четко показано, что я оставила ваш дом в

уверенности, что вы страдаете от недуга столь тяжкого, что любое волнение может привести к роковому кризису. Мои просьбы перед отъездом, чтобы вы получили медицинскую помощь, повторенные в письме от 15 янв., должны убедить вас в том, что я именно так и полагала. Мое отсутствие, даже если бы к нему не побуждали иные причины, было рекомендовано с медицинской точки зрения на том основании, что из поля зрения исчезал объект вашего недовольства. Если бы я напомнила о своих обидах в такую минуту, я бы действовала вопреки моей неизменной приязни к вам, да и вопреки общим принципам гуманности. Из последующей переписки выяснилось, что опасения, высказывавшиеся не мною одной, были беспочвенны. Пока это не сделалось очевидным, моим намерением было пригласить вас сюда, где, несмотря на риск, я бы посвятила себя утишению ваших страданий, не напоминая о моих собственных, поскольку верила, что вы не могли отвечать за себя по медицинским показателям. Мои родители, питавшие те же опасения, с трогательным беспокойством поддержали мое предложение и были готовы принять вас у себя, чтобы способствовать вашему выздоровлению. О чем свидетельствует мое письмо от 16 янв. Хотя все эти причины (к которым, возможно, добавились и другие) я и не изложила, покидая ваш дом, но вы не могли забыть, что я предупреждала вас, со всей искренностью и любовью, о том, какие злосчастные и непоправимые последствия может возыметь ваше поведение для нас обоих, на что вы отвечали одним лишь упрямым желанием оставаться верным своей безнравственности[123], хоть это и разобьет мое сердце.

Чего мне следовало ожидать? Я не могу приписать ваше «душевное состояние» чему-либо, как только полному отвержению моральных устоев, которое вы исповедовали и которым похвалялись с самого дня нашей свадьбы. Ни малейшей тяги к исправлению заметить было невозможно.

Я неизменно исполняла все обязанности жены. То, что было между нами, оставалось слишком дорого для меня, чтобы отказываться от него, — до тех пор, пока оставалась хоть какая-то надежда. Теперь мое решение неизменно.

А. И. Байрон

15 февраля 1816 г., лорд Байрон — к леди Байрон:

Я не знаю, что сказать; все, что я предпринимаю, лишь еще более отдаляет вас от меня и углубляет «пропасть между тобой и мной»[124]. Если ее нельзя перейти, я погибну на дне ее.

Я написал вам два письма, но не отослал их; не знаю, для чего я пишу еще и это письмо и отошлю ли его. Насколько ваше поведение совместимо с вашим долгом и чувствами жены и матери, над этим я предоставляю вам поразмыслить самой. Испытание не было слишком долгим — оно длилось год, да, согласен — год терзаний, бедствий и душевного расстройства; но они доставались главным образом мне, и для меня, как ни горьки воспоминания о пережитом, горше всего сознание, что я заставил вас делить со мной мои бедствия. Относительно предъявленных мне обвинений ваш отец и его советники дважды отказались что-либо мне сообщить. Эти две недели я страдал от неизвестности, от унижения, от злословия, подвергался самой черной и позорной клевете и не мог даже опровергать догадки и пошлые толки относительно моей вины, раз ничего не мог добиться из единственного источника, где все должно быть известно. Между тем слухи, вероятно, дошли и до ваших ушей и, надеюсь, доставили вам удовольствие.

Я просил вас вернуться; в этом мне было отказано. Я хотел узнать, в чем меня обвиняют; но мне было отказано и в этом. Как назвать это — милосердием или справедливостью? Увидим. А сейчас, Белл, милая Белл, чем бы ни кончился этот ужасный разлад, вернешься ли ты ко мне, или тебя сумеют от меня оторвать, я могу сказать только то, что недавно столько раз повторял напрасно — а в беде не лгут, и у меня нет надежды, мотива или цели, — что я люблю тебя, дурен я или хорош, безумен или разумен, несчастен или доволен; я люблю тебя и буду любить, пока во мне жива память или жив я сам. Если я могу так чувствовать при самых тяжких обстоятельствах, при всех терзаниях, какие только могут разъедать сердце и распалять мозг, быть может, ты когда-нибудь поймешь, или хоть подумаешь, что я не совсем таков, как ты себя убедила, но ничто, ничто не сможет меня переменить.

До сих пор я избегал упоминать о своем ребенке, но

в этих моих чувствах вы никогда не сомневались. Я должен спросить о ней. Я слышал, что она хорошеет и резвится; и я прошу, не через вас, а через кого угодно — через Августу, если можно — хотя бы иногда сообщать мне о ее здоровье.

Ваш и т. д.

Б.

4 марта 1816 г., к ней же:

Не знаю, какую обиду может нанести муж жене, один человек другому или даже человек — самому Богу, которую нельзя было бы, как нас учат верить, загладить долгим искуплением, которое я предлагал, еще не зная даже, в чем моя вина перед вами (потому что, пока ее не назвали, я не знаю за собой ничего такого, за что меня можно отталкивать с подобным упорством). Но раз надежды не осталось и вместо долга жены и матери моего ребенка я встречаю обвинения и непримиримость, мне больше нечего сказать, и я буду поступать сообразно обстоятельствам; но даже обида (хотя от нападок я намерен защищаться) оставляет неизменной любовь, с которой я всегда буду относиться к вам.

Б.

Мне сообщили, что вы *сами* составили предложение о раздельном жительстве; если так, я об этом сожалею; я усматриваю в нем стремление воздействовать на предполагаемые корыстные чувства того, кому предложение адресовано: «если вы расстанетесь с» и т. д. «вы тем самым получаете *столько-то немедленно* и еще столько-то после смерти тех-то и тех-то» — словно все дело в фунтах, шиллингах и пенсах! Ни слова о моем ребенке; жесткая, сухая юридическая бумага. О, Белл! Видеть, как вы душите и уничтожаете в себе всякое чувство, всякую привязанность, всякое сознание долга (ибо ваш первый долг — это долг жены и матери), — вот что гораздо горше всех возможных для меня последствий.

8 марта 1816 г., к Томасу Муру:

Вина — или даже беда — заключается не в моем

«выборе» (если мне вообще следовало выбирать), потому что я считаю и повторяю, даже среди всей этой горькой муки, что вряд ли есть на свете существо лучше, добрее, милее и приятнее, чем леди Б. Я не мог и не могу ни в чем упрекнуть ее за все время, проведенное со мною. Если кто виноват, это я, и если я не могу искупить вину, то должен нести кару.

Ее семья это… — дела мои до сих пор крайне запутаны — здоровье сильно расстроено, а душа неспокойна, притом уже давно. Таковы причины (я не считаю их оправданиями), часто выводившие меня из себя и делавшие мой нрав несносным для окружающих. Некоторую роль, вероятно, сыграли и привычки к беспорядочной жизни, которые могли сложиться у меня вследствие ранней самостоятельности и блужданий по свету. Я думаю, однако, что если бы мне дали возможность исправиться и хоть сколько-нибудь сносную обстановку, все могло бы наладиться. Но дело, как видно, безнадежно — и сказать тут больше нечего. Сейчас — если не считать здоровья, которое улучшилось (как ни странно, любое волнение и борьба вызывают у меня подъем и временный прилив сил), на меня свалились все возможные неприятности, в том числе личные, денежные и т. д. и т. п.

Вероятно, я говорил вам об этом раньше, но на всякий случай повторяю. В несчастье меня пугают не лишения; моя гордость страдает от связанных с ним унижений. Однако не могу жаловаться на эту гордость, которая зато даст мне, я надеюсь, силы все перенести. Если сердце мое могло быть разбито, это случилось бы уже много лет назад, от более тяжких страданий.

18 марта 1816 г.

Что ж, прости — пускай навеки!
Сколько хочешь ты мне мсти,
Все равно мне голос некий
Повторить велит: «Прости!»

Если б только можно было
Пред тобой открыть мне грудь,
На которой так любила
Сном беспечным ты заснуть, —

Сном, нарушенным отныне, —

Сердцем доказать бы мог
Я тебе в твоей гордыне:
Приговор твой слишком строг!

Свет злорадствует недаром,
Но хотя сегодня свет
Восхищен твоим ударом,
Верь мне, чести в этом нет.

У меня грехов немало.
Не казни меня, постой!
Обнимала ты, бывало,
Той же самою рукой.

Чувству свойственно меняться.
Это длительный недуг,
Но когда сердца сроднятся,
Их нельзя разрознить вдруг.

Сердце к сердцу льнет невольно.
Это наша льется кровь.
Ты пойми, — подумать больно! —
Нет, не встретимся мы вновь!

И над мертвыми доселе
Так не плакало родство.
Вместо нас теперь в постели
Пробуждается вдовство.

Истомимся в одиночку.
Как научишь, наконец,
Без меня ты нашу дочку
Выговаривать: «Отец»?

С нашей девочкой играя,
Вспомнишь ты мольбу мою.
Я тебе желаю рая,
Побывав с тобой в раю.

В нашу дочку ты вглядишься,
В ней найдешь мои черты,
Задрожишь и убедишься,
Что со мною сердцем ты.

Пусть виновный, пусть порочный,
Пусть безумный, — не секрет! —
Я попутчик твой заочный.
Без тебя надежды нет.

Потрясен, сражен, подкошен,
Самый гордый средь людей,
Я поник, — тобою брошен,
Брошен я душой моей.

Все мои слова напрасны.
Как-нибудь себя уйму.
Только мысли неподвластны
Повеленью моему.

Что ж, простимся! Век мой прожит,
Потому что все равно
Больше смерти быть не может,
Если сердце сожжено.

(Пер. В. Микушевича)

Стихотворение это было опубликовано малым тиражом для друзей Байрона вместе с саркастическим «Очерком», обвинявшим гувернантку леди Байрон во всех смертных грехах — и в том, что она подговаривала свою воспитанницу оставить мужа. Вскоре торийская газета «Чемпион» перепечатала оба произведения, обвинив Байрона в лицемерии и актерстве.

…мне не довелось пережить ничего подобного… — Если верить Томасу Медвину, Байрон все-таки дважды стрелялся на дуэли.

Знаю только одно — что не вернусь. — Композитор Исаак Натан (ок. 1792–1864), автор музыки к «Еврейским мелодиям» Байрона, вспоминал:

> «Я почти не покидал дома лорда Байрона на Пикадилли последние три дня перед тем, как он оставил Англию. Выразив сожаление по поводу его отъезда, я спросил, правда ли, будто он не собирается возвращаться. Лорд Байрон, пристально взглянув на меня, воскликнул: "Бог свидетель, у меня и в мыслях не было обрекать себя на ссылку! Откуда у вас эта идея?" Я ответил, что всего лишь повторяю распространившийся по Лондону слух. "Разумеется, я собираюсь вернуться, — продолжал он, — если только угрюмый тиран не

вздумает подшутить надо мной"».

…«ветер попутный во Францию дул» — первая строка стихотворения Майкла Дрейтона (1563–1631) о битве при Азенкуре.

Сэмюель Роджерс (1763–1855) — английский поэт и, как сказано, банкир. Байрон полагал, что он «обладает отличным вкусом и способностью глубоко чувствовать искусство (и того и другого у него гораздо больше, чем у меня — потому что первого у меня совсем немного)» («Разрозненные мысли», № 115). В 1813 г. Байрон посвятил Роджерсу «Гяура», высоко оценил его стихи в «Английских бардах и шотландских обозревателях», а позднее — и в «Дон-Жуане». Заподозрив в 1818 г., что Роджерс распространяет порочащие его слухи, Байрон написал свирепую эпиграмму, однако же, когда Роджерс в 1821 г. приехал в Италию, Байрон встретил его по-дружески, и они провели вместе немало времени.

В июле 1816 г. Роджерс писал Вальтеру Скотту:

> «Событие, о котором вы упоминаете, явилось для меня полной неожиданностью. Летом и осенью [1815 г.] я не замечал ничего необычного, хотя и подозревал, что они не были счастливы. После ее отъезда я виделся с ним ежедневно и свидетельствую, что он более всего боялся обидеть ее чем-нибудь. "Зла много, но ее оно не коснулось, — говорил он. — Она — совершенство, и в мыслях, и в словах, и в поступках". А если с чьих-то губ слетало хотя бы одно слово, таящее в себе нелицеприятный для нее намек, он немедленно останавливал говорящего».

Плетка и прут, выкрикивают дети, больно бьют, а мне от хулы хоть бы хны — Стишок, подбадривающий обиженного ребенка. Эти строки Байрон вспомнил в августе 1819 г. в письме к редактору «Бритиш ревью»: «Шутка, в отличие от плетки, "больно не бьет" — но бывает, из-за шутки берутся за плеть».

Лорд Б. всегда заявлял, что покинул Англию, поскольку слухи о его пороках и преступлениях сделали невозможным его появление в обществе… — В марте 1820 г. Байрон составил открытое письмо «Некоторые замечания по поводу статьи в эдинбургском журнале "Блэквудз мэгэзин"», которую я цитировал ранее (см. прим. к с. 198). Письмо это — посвященное Исааку д'Израэли как автору книги «Писательские ссоры» — излагает причины, побудившие Байрона покинуть Англию.

«…Ни один человек не может "*оправдаться*", пока ему неизвестно, в чем его обвиняют; а я никогда этого не знал — и, Бог свидетель, единственным моим желанием было добиться какого-нибудь определенного обвинения, которое в доступной пониманию форме было бы изложено мне моим противником или кем-либо иным, а не навязано чудовищными сплетнями, порожденными молвой и загадочным помалкиваньем казенных поверенных моей супруги… "Единодушный глас соотечественников", кажется, уже давным-давно вынес по этому вопросу приговор без суда и осуждение без обвинения. Разве уж я давно не подвергнут остракизму?… Разве критик не знает, каково было общественное мнение и поведение в этом деле? Но если он не знает — я-то сам слишком хорошо знаю: общество забудет и то и другое задолго до того, как я перестану помнить это.

Человек, изгнанный происками какой-нибудь клики, может утешаться, считая себя мучеником; его поддерживает надежда и то благородное дело, во имя которого он страдает, — настоящее либо воображаемое; человек, осужденный за долги, может утешаться мыслью, что со временем благоразумная осторожность выведет его из затруднений; человек, осужденный законом, имеет какой-то срок своего изгнания либо мечту о том, что срок этот убавится, он может возмущаться несправедливостью закона или несправедливым приговором; но человек, изгнанный общественным мнением, безо всякого вмешательства враждебной политики, или законного суда, или тяжких денежных обстоятельств, будь он виновен или невиновен, пожинает всю горечь изгнания безо всякой надежды, без гордости, без малейшего самоутешения. Так именно и обстояло дело со мной. На основании чего вынес свет свое осуждение, мне неизвестно, но оно было всеобщим и решительным. Обо мне и о моих близких ему мало было что известно, исключая то, что я писал так называемые стишки, был дворянином, женился, стал отцом, что у меня были разногласия с женой и ее родственниками, но неизвестно из-за чего, ибо обиженные лица не пожелали изложить свои обиды. Светское общество разделилось на две части — на моей стороне оказалось скромное меньшинство. Благоразумные люди, естественно, оказались на более сильной стороне, то есть заступились

за даму, как оно и полагается порядочным и учтивым людям. Пресса подняла непристойный гвалт, и все это стало до такой степени "злобой дня", что незадачливое появление в печати двух стихотворений — скорее любезных по отношению к их адресатам[125] — было возведено в своего рода преступление или подлое предательство. Общественная молва, а заодно и личная злоба готовы были обвинять меня в любом чудовищном пороке; имя мое, унаследованное мной от благородных рыцарей, которые некогда помогли Вильгельму Норманнскому завоевать Англию, было запятнано. И я чувствовал, что если бы все то, что шепчут, бормочут и недоговаривают, было правдой, то я был бы недостоин Англии; а если это ложь — Англия недостойна меня. И я удалился: но этого оказалось недостаточно. В чужих странах, в Швейцарии, под сенью Альп, у голубых озер меня преследовала и гналась за мной все та же клевета. Я перешел по ту сторону гор, но и тут было то же; я отправился еще дальше и обосновался у вод Адриатического моря, как затравленный олень, которого свора загоняет к воде.

Если судить по предупреждениям некоторых друзей, оставшихся возле меня, травля, о которой я говорю, представляла собою нечто поистине небывалое, не выдерживающее никакого сравнения даже с теми случаями, когда, в силу неких политических соображений, вражда и клевета обостряются и раздуваются елико возможно. Мне советовали не ходить в театр, дабы меня не освистали, пренебречь моими обязанностями и не появляться в парламенте, чтобы не нарваться на оскорбление; и даже в день моего отъезда мой близкий друг, как он потом рассказывал мне сам, опасался, как бы я не подвергся насилию толпы, когда буду садиться в карету. Однако эти советы не пугали меня, и я ходил смотреть Кина в его лучших ролях и голосовал в парламенте согласно моим убеждениям; что же касается последнего опасения моих друзей, я не мог разделять его просто потому, что узнал о нем уже только после того, как пересек Пролив. Но будь я даже осведомлен о нем раньше, я по природе своей мало чувствителен к людской злобе, хоть и могу чувствовать себя уязвленным людской ненавистью. От какого бы то ни было личного выпада я сумею защитить себя или проучить обидчика; полагаю, что если бы мне пришлось

иметь дело с разъяренной толпой, я также сумел бы постоять за себя и кое в ком нашел бы поддержку, как оно бывало и раньше в подобных случаях.

Я покинул отчизну, обнаружив, что являюсь предметом всеобщей клеветы и пересудов; я, правда, не воображал, подобно Руссо, что весь род людской в заговоре против меня, хоть у меня, пожалуй, были не менее веские основания обзавестись подобной химерой. Но я обнаружил, что моя особа стала в значительной мере ненавистна в Англии, — возможно, что по моей собственной вине, — однако самый факт не подлежал сомнению; будь на моем месте человек, пользующийся несколько большей общественной симпатией, вряд ли общество могло бы так бурно ополчиться против него, не располагая ни малейшими обвинениями, ни какими-либо изобличающими данными, подкрепленными свидетельством. Я с трудом могу представить себе, чтобы такое житейское, повседневное явление, как расхождение супругов, могло само по себе вызвать такое возмущение. Я отнюдь не собираюсь прибегать к обычным жалобам на то, что "кто-то там был предубежден", что меня "осудили, не выслушав", что это "несправедливость", "пристрастный суд" и т. д., — обычные сетования людей, которым пришлось или предстоит пройти через судебную процедуру; но я был несколько изумлен, когда обнаружил, что меня осудили, не соизволив предъявить мне обвинительного акта и что отсутствие оного страшного обвинения или обвинений в чем бы то ни было возмещалось с избытком молвой, которая приписывала мне любое мыслимое или немыслимое преступление и признавала его за мной безоговорочно. Это могло произойти лишь с человеком, весьма ненавистным обществу, и тут уж я ничего не мог сделать, ибо все мое небольшое умение нравиться я исчерпал до конца. У меня не было поддержки ни в каких светских кругах, хотя мне потом стало известно, что один такой кружок был — но я не создавал его и в то время даже не знал о его существовании; не было поддержки и в литературных кругах. Что же касается политики, я голосовал с вигами, и значимость моего голоса в точности соответствовала тому, что значит голос любого вига в наши дни, когда страной правят тори, причем личное мое знакомство с лидерами обеих палат не выходило за пределы того, что допускается

светским общением; я не мог рассчитывать на дружеское участие ни с чьей стороны, если не говорить о нескольких сверстниках и небольшом круге людей более почтенного возраста, которым мне посчастливилось оказать услугу в трудных для них обстоятельствах. Это в сущности означает — быть в полном одиночестве, и мне вспоминается, как некоторое время спустя в Швейцарии мадам де Сталь сказала мне однажды: "Не следовало вам воевать со всем светом, ни к чему это не приводит, ибо всегда оказывается не под силу для одного человека: когда-то в юности я сама пробовала — ни к чему это не приводит". Я вполне признаю справедливость этого замечания, однако свет оказал мне честь и сам начал эту войну; и, разумеется, если мир может быть достигнут только при помощи льстивого преклонения и угодничества, — я не способен заслужить его расположение».

Защита Байрона выстроена ярко и убедительно — но открывается она явно ложным утверждением, что леди Байрон *не была* прототипом донны Инесы из первой песни «Дон-Жуана» (см. прим. к с. 465).

Генри Брум (1778–1868) — шотландский юрист, сотрудник «Эдинбург ревью» (на страницах которого нападал на Байрона), член палаты общин от партии вигов, лорд-канцлер в 1830–1834 гг. Посылая 7 декабря 1818 г. из Венеции первую песнь «Дон-Жуана» издателю Меррею для анонимной публикации, Байрон указал, что строфы, описывающие бракоразводный процесс дона Альфонсо и Юлии, не должны быть напечатаны.

Любителям большое наслажденье
Доставил суд; жаль, Брума только нет
В Испании: его известно рвенье
Во всем, что может быть причиной бед,
Во всяких сплетнях, пересудах, чтеньи
Чужих бумаг… Найти стараясь след
К почету, он, в угоду личным видам,
Готов на все — и, право, *semper idem!*[126]

Горяч в речах — и холоден в бою;
Защитник негодяев — но за плату;
Хоть, впрочем, даром руку даст свою
Любому негодяю или фату;
Он с трусом — храбр, но с храбрым — на краю
Сейчас готов свою поставить хату;

Доносчик на народ и сильным враг,
Хоть служит им, как истинный варяг.

(Пер. П… Морозова)

Очертив в примечании к этим строкам натуру и карьеру Брума, Байрон продолжает:

> «Изображенный выше характер описан не беспристрастно лицом, которое имело случай узнать некоторые, наиболее низменные, его стороны и вследствие этого смотрит на него с брезгливым отвращением и с такою долею страха, какой он заслуживает. В нем страшен не прыжок тигра, а медленное вползание стоножки — не дикая сила хищного зверя, а яд пресмыкающегося — не мужество Человека, а мстительность негодяя.
>
> Если эта проза или помещенные выше стихи вызовут судебное преследование, то я подпишу под ними свое имя, чтобы этот человек мог привлечь к суду меня, а не издателя. Я питаю слабую надежду на то, что клеймо, которым я его запятнал, побудит его, хотя бы и против его желания, к более мужественному ответу».
>
> «…Не желаю, находясь на таком расстоянии, печатать подобные вещи о человеке, который может оставить их без ответа, ссылаясь на то, что противник слишком далеко, — пояснял Байрон Меррею свое решение. — Впрочем, в отношении этого негодяя Брума мне давно известно все… При первой же нашей встрече — в Англии или вообще на земле — он должен будет дать мне ответ, и одного из нас принесут домой… Вы можете показать эти строки и ему, и всем тем, кого это может заинтересовать».

…защитником королевы Шарлотты… — Еще одна ошибка Ады: она имеет в виду не принцессу Уэльскую Шарлотту (1796–1817), дочь Георга IV, — а ее мать, Каролину Брауншвейгскую (1768–1821). Супруги испытывали взаимную антипатию и начали жить врозь сразу после рождения дочери. Георг пытался отобрать дочку у неверной жены (которой и сам был неверен). В 1814–1820 гг. Каролина жила в Италии: она вернулась в Англию только после смерти свекра в июне 1820 г. Новый король потребовал развода и попытался провести через палату лордов соответствующий билль. Каролина пользовалась все большей

популярностью в народе — ей запретили посещение коронации 19 июля 1821 г., — но она несколько раз пыталась туда прорваться — безуспешно — к вящим насмешкам толпы — в тот же вечер она слегла — и скончалась 7 августа. Брум был официальным поверенным Каролины с апреля 1820 г.

* * *

Чудовищный родитель, громадного роста (его колоссальная тень на стене прямо заимствована из прославленного готического романа — не могу припомнить, какого именно). — М-р Роан Дж. Уилк, к которому я обратился для решения этого вопроса, не помнит также; однако уверен, что этот роман — не выдумка. Возможно, подразумевается книга, о которой писала в предисловии к «Франкенштейну» Мэри Шелли:

> «В руки к нам попало несколько томов рассказов о привидениях в переводе с немецкого на французский… Была там и повесть о грешном родоначальнике семьи, который был осужден обрекать на смерть своим поцелуем всех младших сыновей своего несчастного рода, едва они выходили из детского возраста. В полночь, при неверном свете луны, исполинская призрачная фигура, закованная в доспехи, подобно призраку в "Гамлете", но с поднятым забралом, медленно проходила по мрачной аллее парка. Сперва она исчезала в тени замковых стен; но вскоре скрипели ворота, слышались шаги, дверь спальни отворялась, и призрак приближался к ложу цветущих юношей, погруженных в сладкий сон».

Шелли ссылается на сборник «Фантасмагориана, или Собрание историй о привидениях, духах, фантомах и пр.» (Париж, 1812; изд. анонимное, авторы — Фридрих Август Шульце и Иоганн Август Апель).

Томас Медвин (1788–1869) — родич, соученик и биограф Шелли. Сейчас главным образом известен книгой «Разговоры лорда Байрона, записанные во время проживания с его светлостью в Пизе в 1821 и 1822 годах» (1824).

…мать неизменно его любила и подавляла заботой, а это было ему ненавистно — между ними происходили бурные стычки. — В Харроу, будучи свидетелем очередных пароксизмов материнской ярости, Байрон лишь мрачно отвечал: «Я знаю», когда другие ученики говорили ему: «Байрон, у тебя мать

сумасшедшая».

> «Чем больше я ее вижу, тем более усиливается моя неприязнь, причем я не умею скрыть ее настолько, чтобы она ничего не заметила; и это отнюдь не смиряет ее вспышек; напротив, вздымает ураган, который грозит все сокрушить, пока не стихает на краткий миг, утомясь собственной яростью, и не впадает в оцепенение, чтобы вскоре пробудиться с новым бешенством, ужасным для меня и удивительным для всех свидетелей… Ни один чернокожий раб или военнопленный не ждал освобождения с большей радостью и большим нетерпением, чем я жажду вырваться из материнского плена и из этого проклятого места, истинного царства скуки, более сонного, чем берега Леты — хотя оно не дарит забвения; напротив, отвратительные сцены, которые передо мной разыгрываются, заставляют меня сожалеть о счастливых днях, оставшихся в прошлом, и жаждать их снова» (Августе, 18 августа 1804 г.).

Мур вспоминал:

> «Он часто говорил маркизу Слиго о матери с чувством, близким к отвращению. "Когда-нибудь я открою вам причину", — сказал он однажды. Несколько дней спустя, во время купания у берегов Коринфа, он вспомнил о данном обещании и, указывая на свою обнаженную ногу, воскликнул: "Глядите! Этим увечьем я обязан ее ложной стыдливости во время родов. И сколько я себя помню, она им меня попрекала. Даже накануне моего отъезда из Англии [в 1809 г.], когда мы виделись в последний раз, она в обычном припадке бешенства прокляла меня, не преминув крикнуть, что я так же глуп, как и уродлив!" Его взгляд и голос, которым он рассказывал эту ужасную историю, могут представить себе только те, кто видел его в минуты подобного возбуждения».

Написанная в 1822 г. драма «Преображенный урод» открывается словами: «Пошел, горбач!» — «Я так родился, мать». (Горбун появится в романе далее.)

Байрон вернулся в Англию в июле 1811 г. и не торопился ехать в Ньюстед. 1 августа миссис Байрон получила счет от обойщика, по обыкновению пришла в ярость — и умерла от удара. Байрон рыдал у ее гроба.

«Глядя на эту разлагающуюся массу, бывшую когда-то существом, из которого я вышел, я спрашивал себя, действительно ли аз есмь и вправду ли она *была*. — Я потерял ту, которая дала мне жизнь, и утратил многих из тех, кто наполнял счастьем эту жизнь. У меня нет ни надежд, ни страха перед тем, что ждет меня по ту сторону могилы… — Я очень одинок и счел бы себя совершенно несчастным, если бы не какое-то истерическое веселье, которое я не могу ни понять, ни превозмочь; но, как ни странно, я смеюсь от всего сердца, сам при этом изумляясь» (Хобхаузу, 10 августа 1811 г.).

…призналась и Августа. — Письма Аннабеллы Байрон, написанные Августе в эпоху разрыва с мужем, весьма примечательны. Здесь и попытки если не подольститься к золовке, то, по крайней мере, подобраться поближе к ее личной жизни («Ведь мы останемся сестрами, правда?»); и попытки настроить Августу против брата («И пока вы не поймете, что он — худший из ваших друзей, — а на деле вовсе не друг — вы не увидите вещи такими, каковы они есть, — однако я вовсе не хочу сделать вас немилосердной — простите его — пожелайте ему блага…»); и многое другое. Готовясь ко встрече с Августой в августе 1816 г., Аннабелла заготовила список вопросов, начинавшийся так:

«Что вас более угнетает: ваш грех или его последствия? — ваша вина против Бога — или ваших ближних?

Чувствуете ли вы совершенно ясно, что всякая мысль, связанная с таким грехом, сама по себе греховна и что сердце может быть преступно даже и тогда, когда поступки невинны?»

В результате Августа начала показывать невестке даже самые интимные письма Байрона, и та делала на этой основе выводы касательно морального облика грешницы.

…срок судебного преследования за изнасилование несовершеннолетней… — Один из прототипов Ли Новака — несомненно, сам Краули, автор сценариев ко множеству документальных фильмов. Однако преступление Ли и его многолетнее проживание за пределами Америки связаны со скандалом вокруг Романа Поланского (род. 1933): в 1977 г. режиссера обвинили в растлении 13-летней девочки, и Поланский бежал в Лондон, а оттуда — во Францию, гражданином которой

является. Судебное дело против него не прекращено до сих пор: лос-анджелесские судьи отказываются принимать решение, пока Поланский не явится в зал заседаний.

Потом открываешь сайт Экспедии… — «Дешевые билеты, отели, прокат машин, отпуска и путешествия»: http://www.expedia.com/

Мэтью Грегори Льюис (1775–1818) — прозаик и драматург. Байрон называл его «Монаха» (1796) «одним из лучших романтических сочинений на любом языке, включая немецкий… "Монах" был написан, когда Льюису не было двадцати — и, кажется, совершенно истощил его гений».

> «Льюис был хорошим и умным человеком, но нудным, дьявольски нудным. Моей единственной местью или утешением бывало стравить его с каким-нибудь живым умом, не терпящим скучных людей, например с мадам де Сталь или Хобхаузом. Но все же я любил Льюиса; это был не человек, а алмаз, если б только был получше оправлен. Получше не в смысле внешности, но хоть бы не был так надоедлив; уж очень он умел нагнать скуку, а кроме того, противоречил всем и каждому.
>
> Он был близорук, и когда мы в летние сумерки катались с ним верхом по берегу Бренты, он посылал меня вперед, чтобы указывать дорогу. Я бываю порой рассеян, особенно по вечерам; в результате наш конный Монах несколько раз был на волосок от гибели. Однажды он угодил в канаву, которую я перепрыгнул как обычно, забыв предостеречь моего спутника. В другой раз я едва не завел его в реку, вместо того чтобы привести к раздвижному мосту, неудобному для путников; и оба мы дважды налетали на дилижанс, который, будучи тяжелым и тихоходным, причинил меньше повреждений, чем получил сам; особенно пострадали передние лошади, на которых пришелся удар. Трижды он терял меня из виду в сгустившейся тьме, и я должен был возвращаться на его жалобные призывы. И все время он без умолку говорил, ибо был очень словоохотлив.
>
> Он умер, бедняга, как мученик своего нового богатства, от второй поездки на Ямайку.
>
> Я б землю Делорэн отдал,
> Чтоб Масгрейв из могилы встал[127],

т. е.:

Я б сахарный тростник отдал,
Чтоб Льюис из могилы встал».

(«Разрозненные мысли», № 17).

«Мне думается, что если бы сочинительница написала правду и только правду — всю правду, — роман получился бы не только романтичнее, но и занимательнее». — Муру, 5 декабря 1816. «Что касается сходства, — продолжает Байрон, — то его нельзя было и ожидать — для этого я недостаточно долго позировал». Намек на Каролину Лэм и «Гленарвона» был включен во вторую песнь «Дон-Жуана» (CC–CCI):

И вспомните, как часто мы, мужчины,
Несправедливы к женщинам! Не раз,
Обманывая женщин без причины,
Мы учим их обманывать и нас.
Скрывая сердца боль от властелина,
Они молчат, пока приходит час
Замужества, а там — супруг унылый,
Любовник, дети, церковь и… могила.

Иных любовная утешит связь,
Иных займут домашние заботы,
Иные, на фортуну осердясь,
Бегут от положенья и почета,
Ни у кого из старших не спросясь,
Но этим не спасаются от гнета
Условностей и, перестав чудить,
Романы принимаются строчить.

Устно же Байрон иронически уверял, что изображен в романе «симпатичным малым».

…«Байрон начал прозаическую повесть — слегка затушеванную аллегорию своих матримониальных дел, но, узнав, что леди Байрон больна, бросил рукопись в огонь». — Об этом известно со слов Мура: Байрон пересказал, применив к своим обстоятельствам, новеллу Макиавелли о браке демона Бельфегора, который вскоре бежал от жены обратно в ад. Узнав о болезни бывшей жены, Байрон в последний раз посвятил ей стихотворение (опубл. 1831):

Скорбела ты — и не был я с тобою,

Болела ты — и был я вдалеке;
Я мнил, что место боли и тоске —
Лишь там, куда заброшен я судьбою.
Ужель сбылось пророчество? Того,
Кто меч извлек — он ранит самого.
Меж тем как сердце стынет — бездыханно,
Отчаянье все грабит невозбранно.
Мы смерть зовем не в бурю, в грозный час,
Но посреди затишья рокового,
Когда всего лишились дорогого
И теплится остаток жизни в нас.

Теперь отомщены мои обиды:
В какой ни укорят меня вине —
Творцом не ты дана мне в Немезиды:
Орудье кары слишком близко мне.
Кто милосерд — тех небо не осудит,
Всем воздано по их заслугам будет.
Ты изгнана в ночи из царства сна,
Пускай тебе все льстило без изъятья —
Неисцелимой мукой ты больна,
Ты изголовьем избрала проклятья.
Ты сеяла — и должен был страдать я,
И жатву гнева ты пожать должна.
Я не имел врагов, тебе подобных,
Я защититься мог от остальных,
Им отомстить, друзьями сделать их,
Но ты была в своих нападках злобных
И слабостью своей ограждена,
И нежностью моей, что не должна
Была б иных щадить — тебе в угоду;
И в правоту твою поверил свет,
Что знал грехи моих минувших лет,
Когда во зло я обращал свободу.
На основанье этом возведен
Мне памятник тобой — грехом скреплен.
Как Клитемнестра, мужа палачом
Духовно ты была[128], клевет мечом
Надежду, честь, покой — ты все убила,
Что вновь расцвесть могло б для бытия,
Когда б их безвозвратно не сгубила
Измена хладнокровная твоя.
Ты добродетель сделала пороком:
За месть — теперь, за будущий барыш

Продав ее, в спокойствии жестоком
Ее ценою ты меня казнишь.
С тех пор, как ты пошла кривой дорогой,
С правдивостью ты разлучилась строгой,
Присущею тебе, и глубины
Не сознавая собственной вины —
С двусмысленностью утверждений диких
И дум, достойных Янусов двуликих,
С обманами поступков и речей,
Со взором знаменательных очей,
Что осторожность выставив предлогом,
Безмолвно лгут из выгоды во многом —
Со всем мирится нравственность твоя.
Любым путем ты к цели шла желанной,
И вот к концу приводит путь избранный.
Как ты со мной — не поступил бы я!

(Пер. О. Чюминой)

Джон Хукем Фрир (1769–1846) — британский дипломат и писатель (см. с. 220), работал в Лиссабоне, Мадриде, Берлине и вновь в Мадриде, однако его карьера оборвалась, когда Фрира обвинили в том, что он во время наступления Наполеона своими советами подставил английскую армию под удар (из-за чего в черновиках «Чайльд-Гарольда» Фрир назван «неумехой»). Последнюю четверть века он провел на Мальте, переводя Аристофана и изучая еврейский и мальтийский языки. Временами Фрир наезжал в Лондон и однажды заметил, как меняются времена: прежде великие поэты были слепы (Гомер и Мильтон), теперь — хромы (Скотт и Байрон). В 1817 т. Фрир опубликовал поэму, о которой здесь рассказывает Ли, — пародийный эпос «Проспект и Образец задуманного Национального Опуса, долженствующего заключить в себе наиболее примечательные подробности касательно короля Артура и его Круглого Стола». Пьеса Фрира «Скитальцы» процитирована в предисловии к «Чайльд-Гарольду».

…шуточными рифмами в стиле Огдена Нэша… — Огден Нэш (1902–1971) — американский поэт, автор иронических стихотворений с неожиданными и каламбурными рифмами.

Луиджи Пульчи (1432–1484) — итальянский поэт, автор ироикомической поэмы «Моргайте Маджоре» (1483), первую песню которой Байрон перевел.

…эпиграф к ДЖ, взятый из Горация… — «Трудно по-своему выразить общее…» («О поэтическом искусстве», 128; пер. А.

Фета).

…*domestica facta*… — «Воспеть домашние наши явленья…» (там же, 287).

Глава двенадцатая

С. 393. *Ватерлоо! Я не стану вновь чтить твою память…* — Байрон посвятил великой битве «Оду с французского» (1815):

О Ватерлоо! Мы не клянем
Тебя, хоть на поле твоем
Свобода кровью истекла:
Та кровь исчезнуть не могла.
Как смерч из океанских вод,
Она из жгучих ран встает…
.

(Пер. В. Луговского)

В апреле 1816 г. Байрон побывал на поле битвы, отгремевшей десять месяцев назад. В новой песни «Чайльд-Гарольда» он привел туда своего героя — как впоследствии Али:

О Ватерлоо, Франции могила!
Гарольд стоит над кладбищем твоим.
Он бил, твой час, — и где ж Величье, Сила?
Все — Власть и Слава — обратилось в дым.
В последний раз, еще непобедим,
Взлетел орел — и пал с небес, пронзенный,
И, пустотой бесплодных дней томим,
Влачит он цепь над бездною соленой, —
Ту цепь, которой мир душил закабаленный.
Урок достойный! Рвется пленный галл,
Грызет узду, но где триумф Свободы?
Иль кровь лилась, чтоб он один лишь пал,
Или, уча монархов чтить народы,
Изведал мир трагические годы,
Чтоб вновь попрать для рабства все права,
Забыть, что все равны мы от природы?
Как? Волку льстить, покончив с мощью Льва?
Вновь славить троны? Славь — но испытай сперва.

(3, XVIII–XIX)

…и того человека (бывшего и чем-то большим, и меньшим, нежели обычный Человек)… — То же мнение о Наполеоне Байрон

высказал в «Чайльд-Гарольде»:

Сильнейший там, но нет, не худший пал.
В противоречьях весь, как в паутине,
Он слишком был велик и слишком мал,
А ведь явись он чем-то посредине,
Его престол не дрогнул бы доныне
Иль не воздвигся б вовсе. Дерзкий пыл
Вознес его и приковал к пучине,
И вновь ему корону возвратил,
Чтоб, театральный Зевс, опять он мир смутил.

Державный пленник, бравший в плен державы,
Уже ничтожный, потерявший трон,
Ты мир пугаешь эхом прежней славы.
Ее капризом был ты вознесен,
И был ей люб свирепый твой закон.
Ты новым богом стал себе казаться,
И мир, охвачен страхом, потрясен,
Готов был заклеймить как святотатца
Любого, кто в тебе дерзнул бы сомневаться.

Сверхчеловек, то низок, то велик,
Беглец, герой, смиритель усмиренный,
Шагавший вверх по головам владык,
Шатавший императорские троны,
Хоть знал людей ты, знал толпы законы,
Не знал себя, не знал ты, где беда,
И, раб страстей, кровавый жрец Беллоны,
Забыл, что потухает и звезда
И что дразнить судьбу не надо никогда.

Но, презирая счастья перемены,
Врожденным хладнокровием храним,
Ты был незыблем в гордости надменной
И, мудрость это иль искусный грим,
Бесил врагов достоинством своим.
Тебя хотела видеть эта свора
Просителем, униженным, смешным,
Но, не склонив ни головы, ни взора,
Ты ждал с улыбкою спокойной приговора.

Мудрец в несчастье! В прежние года
Ты презирал толпы покорной мненье,

Весь род людской ты презирал тогда,
Но слишком явно выражал презренье.
Ты был в нем прав, но вызвал раздраженье
Тех, кто в борьбе возвысил жребий твой:
Твой меч нанес тебе же пораженье.
А мир — не стоит он игры с судьбой!
И это понял ты, как все, кто шел с тобой.

Когда б стоял и пал ты одинок,
Как башня, с гор грозящая долинам,
Щитом презренье ты бы сделать мог,
Но средь мильонов стал ты властелином,
Ты меч обрел в восторге толп едином,
А Диогеном не был ты рожден,
Ты мог скорее быть Филиппа сыном.
Но, циник, узурпировавший трон,
Забыл, что мир велик и что не бочка он[129].

Спокойствие для сильных духом — ад.
Ты проклят был: ты жил дерзаньем смелым,
Огнем души, чьи крылья ввысь манят,
Ее презреньем к нормам закоснелым,
К поставленным природою пределам.
Раз возгорясь, горит всю жизнь она,
Гоня покой, живя великим делом,
Неистребимым пламенем полна,
Для смертных роковым в любые времена.

Им порожден безумцев род жестокий,
С ума сводящий тысячи людей,
Вожди, сектанты, барды и пророки, —
Владыки наших мнений и страстей,
Творцы систем, апостолы идей,
Счастливцы? Нет! Иль счастье им не лгало?
Людей дурача, всех они глупей.
И жажды власти Зависть бы не знала,
Узнав, как жалит их душевной муки жало.

(3, XXXVT-XLIII)

По рассказу Исаака Натана, в 1815 г. «его светлость с восторгом вспоминал доблести греческих и римских воинов — Ганнибала, Цезаря, Александра Великого — и даже героев Ветхого Завета, но под конец, разумеется, заговорил о Наполеоне

Бонапарте. "Если б не его честолюбие, — сказал лорд Байрон, — он без труда сохранил бы за собой трон и стал бы одним из величайших людей нашего века". Я заметил, что мнения относительно его поведения в битве при Ватерлоо расходятся: одни, за то, что он оставил поле боя, клеймят его позором, другие видят в этом хладнокровный расчет и отвагу. Мне казалось, что лорд Байрон… принадлежал к первым. Лорд Байрон ответил, что "смерть Наполеона в бою была бы достойным концом предыдущей его славной судьбы". Я предположил, что он уклонился от гибели потому, что надеялся вновь завоевать французский престол. "Как трогательно вы печетесь о репутации великого человека, Натан, — усмехнулся лорд Байрон, — но я убежден, что его исторический престиж был бы неизмеримо выше, если бы он, подобно Саулу на горе Гелвуе или же Катону, павшим на собственные мечи, кончил жизненный путь при Ватерлоо"».

Но все же в стихотворении «Прощание Наполеона» (1815) Байрон выразил уверенность, что Франция поддержит Императора и если он вернется из новой ссылки. Однако в четвертой песни «Чайльд-Гарольда» (1817) Наполеон назван «поддельным Цезарем»: «Куда он шел? /И в Цезари — с какою целью метил? / Чем, кроме славы, жил? Он сам бы не ответил» (XC-XCI). Наконец, в последний раз Байрон обратился к образу Наполеона, «царя царей и раба рабов», в поэме «Бронзовый век» (1822–1823) — с тем, чтобы через несколько месяцев расписаться в недоумении:

Будь Бонапарт героем Ватерлоо,
Примером стойкости считался б он;
Теперь, когда ему не повезло,
Он прозвищем упрямца заклеймен.
Но кто нам скажет — что добро? что зло?
Я, право, озадачен и смущен!

(«Дон-Жуан», 14, XC)

В «Дон-Жуане» Байрон не упустил случая вновь поиздеваться над славой Веллингтона, победителя при Ватерлоо (8, XLVIII–XLIX).

Али не «поразил тысячи» и уж тем более не «десятки тысяч»… — «Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч» (1 Цар. 21:11; ср. 1 Цар. 18:7).

Гимнософисты — «голые мудрецы» Индии, с которыми, по преданию, беседовал Александр Македонский.

Али… пересек Рейн — взошел на Альпы — видел Лавину… но,

поскольку среди этих картин оставался самим собой, не отдаваясь им Душой, то не обрел чаемого спокойствия. -

О Рейн, река обилья и цветенья,
Источник жизни для своей страны!
Ты нес бы вечно ей благословенье,
Когда б не ведал человек войны,
И, никогда никем не сметены,
Твои дары цвели, напоминая,
Что знали рай земли твоей сыны.
И я бы думал: ты посланник рая,
Когда б ты Летой был… Но ты река другая.

Хоть сотни раз кипела здесь война,
Но слава битв и жертвы их забыты.
По грудам тел, по крови шла она,
Но где они? Твоей волною смыты.
Твои долины зеленью повиты,
В тебе сияет синий небосклон,
И все же нет от прошлого защиты,
Его, как страшный, неотвязный сон,
Не смоет даже Рейн, хоть чист и светел он.

В раздумье дальше странник мой идет,
Глядит на рощи, на холмы, долины.
Уже весна свой празднует приход,
Уже от этой радостной картины
Разгладились на лбу его морщины.
Кого ж не тронет зрелище красот?
И то и дело, пусть на миг единый,
Хотя не сбросил он душевный гнет,
В глазах безрадостных улыбка вдруг мелькнет.
.

Но мимо, мимо! Вот громады Альп,
Природы грандиозные соборы;
Гигантский пик — как в небе снежный скальп;
И, как на трон, воссев на эти горы,
Блистает Вечность, устрашая взоры.
Там край лавин, их громовой исход,
Там для души бескрайные просторы,
И там земля штурмует небосвод.
А что же человек? Чего он, жалкий, ждет?
.

Замечу кстати: бегство от людей —
Не ненависть еще и не презренье.
Нет, это бегство в глубь души своей,
Чтоб не засохли корни в небреженье
Среди толпы, где в бредовом круженье —
Заразы общей жертвы с юных лет —
Свое мы поздно видим вырожденье,
Где сеем зло, чтоб злом ответил свет,
И где царит война, но победивших нет.

(«Чайлъд-Гаролъд», 3, L–LII, LXII, LXIX)

См. также дневник Байрона с описанием путешествия по Альпам в сентябре 1816 г.

Тиресий — «Среди фиванцев находился прорицатель Тиресий, сын Эвера и нимфы Харикло… Гесиод сообщает, что Тиресий некогда увидел у Килленской горы спаривающихся змей: он ударил их и превратился из мужчины в женщину. В другой раз он вновь подстерег этих же самых змей, когда они спаривались, и к нему вернулся прежний облик. Это и было причиной, что в возникшем между Зевсом и Герой споре о том, женщины или мужчины испытывают большее любовное наслаждение, они избрали судьей Тиресия. Он ответил, что если исчислять общее наслаждение в десять частей, то только одна часть выпадает на долю мужчин, а остальные девять — на долю женщин. За это Гера его ослепила, а Зевс одарил способностью прорицания. Тиресий также получил и долголетие» (Аполлодор. «Мифологическая библиотека», III, VI, 7; пер. В. Боруховича).

Любовь — довольно сложное явленье;
В ней толком разобраться не сумел
И сам Тиресий, знавший, без сомненья,
Полов обоих горестный удел.
Нас чувственность сближает на мгновенье,
Но чувство держит нас в плену. Предел
Несчастья — в их сращенъе: не годится
Сему кентавру на спину садиться.

(«Дон-Жуан», 14, LXXIII)

…рассказы о воинственных женщинах, восходящие, насколько мне известно, к Гесиоду… — Амазонки упоминаются у Гомера,

Геродота, Эсхила — но не у Гесиода.

…они станут «ужасом земли». — Ср. в трагедии Шелли «Ченчи»: «Умрет без покаянья, без прощенья, / Мятежницей пред Богом и отцом; / Ее останки выбросят собакам, / И имя будет ужасом земли» (акт IV, сц. I, пер. К. Бальмонта).

Обычно считается, что… приверженцы ислама избегают крепких напитков, предпочитая трубку и Мальчиков, тогда как мы неравнодушны к бутылке и Девицам… — Это мнение Байрон высказал в письме к Генри Друри (3 мая 1810 г.), прибавив: «Турки — разумный народ».

Празднество началось на закате… -

На берегу огни со всех сторон,
Гостей обходят чаши круговые[130].
И кажется, чудесный видит сон,
Тому, кто видит это все впервые.
Еще краснеют небеса ночные,
Но игры начинать уже пора.
И паликары[131], сабли сняв кривые
И за руки берясь, вокруг костра
Заводят хоровод и пляшут до утра.

Поодаль стоя, Чайльд без раздраженья
Следил за веселящейся толпой.
Не оскорбляли вкуса их движенья,
И не было вульгарности тупой
Во всем, что видел он перед собой.
На смуглых лицах пламя грозно рдело,
Спадали космы черною волной,
Глаза пылали сумрачно и смело,
И все, что было здесь, кричало, выло, пело.

(«Чайльд-Гарольд», 2, LXXI–LXXII)

…о чем говорят они, лежа рядом на холодном полу Пещеры и держа друг друга за руки? -

И вот стезей уединенной
Пришли к пещере отдаленной…

— в ней укрываются Селим и Зулейка, герои написанной в 1813 г. поэмы «Абидосская невеста» (2, VII; пер. И. Козлова). Они полагали друг друга *единокровными* братом и сестрой — и не

могли сознаться в любви, большей, чем родственная, — но оказались *двоюродными:*

Прелестный друг, души отрада,
Соединимся мы тесней!
Теперь исчезла нам преграда…

(2, XII)

(Певоначально Байрон не намеревался давать инцесту даже такого оправдания, но соображения приличий заставили его ослабить родство героев.) Влюбленных настигают враги — Селим сражен — Зулейка умирает от разрыва сердца.

На ту любовь… наложен запрет… — 17 мая 1819 г., уже вступив в связь с Терезой Гвиччиоли, Байрон обратился к Августе:

«Любимая, — я редко пишу тебе, но что мне сказать? Трехлетняя разлука, полная перемена обстановки и привычек — все это немало значит — и теперь у нас осталось общего только наше взаимное чувство и наше родство.

Но я ни на минуту не переставал и не могу перестать чувствовать ту совершенную и безграничную привязанность, которая соединяла и соединяет меня с тобой — и делает меня совершенно неспособным *истинно* любить кого бы то ни было другого — чем могли бы они быть для меня после *тебя*? Моя… мы, быть может, очень виноваты — но я ни о чем не сожалею, кроме проклятой женитьбы — и твоего отказа любить меня как прежде — я не могу ни забыть, ни *вполне простить* тебе это пресловутое перерождение, — но не могу перемениться — и если кого-нибудь люблю, то потому, что она хоть чем-нибудь напоминает тебя. Так, например, я недавно привязался к одной венецианке только потому (хотя это хорошенькая женщина), что ее зовут _____, и она часто замечала (не зная причины), как мне нравится это имя. — Мысль о нашей долгой Разлуке терзает мне сердце — я считаю ее слишком суровой карой за наши грехи — Данте в своем «Аду» был милосерднее; он не разлучил несчастных любовников (Франческу да Римини и Паоло, которым, конечно, очень далеко до *нас* — хотя и они порядком нагрешили) — пусть они страдают — но они вместе. — Если я когда-нибудь вернусь в Англию — то лишь для того, чтобы

повидать тебя — и напомнить тебе, что всегда — и везде — я в сердце своем храню все то же неизменное чувство. — Жизнь могла нарушить мое душевное равновесие — и озлобить меня — тебе случалось видеть меня резким и ожесточенным; я мог терзаться *твоим новым решением,* а вслед за тем — травлей злобного дьявола, который изгнал меня из родной Страны и *умышлял на мою жизнь* — пытаясь лишить всего, чем она может быть драгоценна, — но вспомни, что даже тогда ты была единственной, о ком я заплакал! и *какими слезами!* помнишь ли ты наше прощание? У меня сейчас не лежит душа писать тебе о другом — я здоров — и не имею иных огорчений, кроме мысли о нашей разлуке. — Когда будешь мне писать, пиши о себе — о том, что любишь меня, — но только не о посторонних людях и предметах, которые меня отнюдь не интересуют, — ведь в Англии я вижу только страну, где живешь *ты,* — а вокруг нее только море, которое нас разделяет, — Говорят, что разлука губит слабые чувства — и укрепляет сильные. — Увы! в *моем* чувстве к тебе соединились все страсти и все привязанности. — Оно укрепилось во мне, но погубит меня — я не имею в виду *физического* разрушения — я много вынес и много еще могу вынести — я говорю о гибели мыслей, чувств и надежд, так или иначе не связанных с тобой и с *нашими воспоминаниями.* — Всегда твой, любимая,

[Подпись стерта]».

Августа добросовестно показала эти строки леди Байрон, и та осталась довольна:

> «Это письмо является важным свидетельством вашего предшествовавшего ему "перерождения", которое доказано для меня вашим собственным утверждением и подтверждено фактами».

Я не знаю тебя! — «Но он отрекся от Него, сказав женщине: я не знаю Его» (Лк. 22:57).

Али Паша, подразумеваемый здесь, был убит турецким агентом в 1822году. — Все мы, в отличие от Байрона, с удовольствием читали об этих кровавых событиях в увлекательном романе Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» (1844–1846).

«Танцуйте же в безудержном веселье» — «Паломничество

Чайльд-Гарольда», 3, XXII (пер. С. Сухарева).

Та же тема развернута в драме лорда Б. «Каин», где любимая жена Каина приходится ему также и сестрой. -

Ада

…Каин! Примирись
С своей судьбой, как мы с ней примирились,
Люби меня — как я тебя люблю.

Люцифер

Сильней отца и матери?

Ада

Сильнее! Но разве это тоже смертный грех?

Люцифер

Пока — не грех; но будет им — в грядущем,
Для вашего потомства.

Ада

Как! Ужели
Любить Эноха дочь моя не будет?

Люцифер

Не так, как Ада — Каина.

Ада

О Боже!
Ужели они не будут ни любить,
Ни жизнь давать созданьям, что возникли б
Из их любви, чтоб вновь любить друг друга?
Но разве не питаются они
Одною грудью? разве не родился
Он, их отец, в один и тот же час
Со мной от лона матери? и разве
Не любим мы друг друга и любовью
Не множим тех, что будут так же нежно
Любить, как мы их любим? — как люблю я
Тебя, мой брат! нет, не ходи за ним,
За этим духом; это дух — нам чуждый.

Люцифер

Но я не говорил тебе, что ваша
Любовь есть грех, — она преступной будет
В глазах лишь тех, что вас заменят в жизни.

Ада

Так, значит, добродетель и порок
Зависят от случайности? — тогда
Мы все рабы…

Люцифер

Рабами даже духи
Могли бы стать, не предпочти они
Свободных мук бряцанию на арфах
И низким восхвалениям Иеговы
За то, что он, Иегова, всемогущ
И не любовь внушает им, а ужас.

(Пер. И. Бунина)

Байрон не раз публично высказывал «более чем странные воззрения» (как определила одна его светская знакомая) на отношения, возможные между братьями и сестрами. В драме «Манфред» (1816–1817), написанной за четыре года до «Каина», появляется призрак возлюбленной героя -

Астарта,
Единственное в мире существо,
Которое любил он, что, конечно,
Родством их объяснялось…

(акт III, сц. 3; пер. И. Бунина)

Неудивительно, что после выхода «Манфреда» намеки на связь Байрона и Августы начали появляться даже в критических откликах на пьесу.

«Астартой» назвал Ральф Милбэнк, граф Лавлейс, книгу, в которой собрал все доступные ему материалы о Байроне и Августе (Лондон, 1921).

«Отцветшее не разорвется сердце» — «Лара». — 1, VIII (пер. С. Сухарева).

Вот что лорд Б. написал мистеру Муру… — 27 августа 1822 г.

…между рождением и смертью мы проживаем множество жизней… — прямая цитата из раннего романа Краули «Машинное лето» (1979).

Глава тринадцатая

Энгус… в шотландских преданиях это имя юного скитальца — королевича, воспитанного в чужом доме… — Видимо, имеется в виду не шотландский, а ирландский Энгус — бог любви, юности и поэтического вдохновения, один из Племен богини Дану; сын бога Дагды, воспитывавшийся в доме своего сводного брата Мидира. Узнав, что Дагда разделил все свои земли между другими сынами, Энгус хитростью выманил у отца во владение его вотчину — Бру-на-Бойне.

Теория Нравственных Чувств — название труда по вопросам морали (1759), написанного Адамом Смитом; автор предлагает классификацию страстей и рассуждает о подоплеке наших поступков и чувств.

…блестящего успеха восстания в Санто-Доминго… — Энгус говорит о Гаитянской революции 1791–1804 гг. и о захвате в 1801 г. Санто-Доминго (испанской части острова и его столицы) Франсуа-Домиником Туссен-Лувертюром (1743–1803).

Герцог Мальборо — Джон Черчилль (1650–1722), великий английский полководец.

Говорят, будто армия, разгромившая солдат Буонапарте на Санто-Доминго, состояла из таких мертвецов. — В начале 1802 г. экспедиционный корпус генерала Леклерка восстановил французскую власть на Гаити; несколько месяцев спустя губернатор Туссен-Лувертюр был арестован и отправлен во Францию. Когда стало ясно, что новая (старая) власть намерена восстановить рабство, поднялось восстание, завершившееся образованием Гаитянской республики 1 января 1804 г. Главным врагом французской армии была не армия зомби, а желтая лихорадка. Однако известно, что революция на Гаити началась в 1791 г. с вудуистской церемонии.

…медвежонок, что матерью своею не облизан: Слова герцога Глостера в Третьей Части шекспировского «Генриха VI». — Акт III, сц. 2 (пер. Е. Бируковой).

Лорд Б. на протяжении всей своей жизни решительно выступал против Религии северных кальвинистов… Однако, невзирая на все старания, ничто не могло изгнать из его души предписаний, усвоенных с ранних лет. — В «глубоком отвращении к этой секте» Байрон признавался невесте. «Он разделял самые мрачные кальвинистские догматы, — вспоминала она. — Этот несчастливый взгляд на отношения между тварью и Творцом я всегда считала главным мучением всей его жизни».

Байрон бился с Иеговой, в которого не верил… -

Нет! Клянуся небом, где
Лишь он царит! Клянуся бездной, сонмом
Миров и жизней, нам подвластных… Нет!
Он Победитель мой; но не владыка,
Весь мир пред ним трепещет, — но не я:
Я с ним в борьбе, как был в борьбе и прежде,
На Небесах. И не устану вечно
Бороться с ним, и на весах борьбы
За миром мир, светило за светилом,
Вселенная за новою вселенной
Должна дрожать, пока не прекратится
Великая нещадная борьба,
Доколе не погибнет Адонаи
Иль враг его! Но разве это будет?
Как угасить бессмертие и нашу
Неугасимую взаимную вражду?
Он победил, и тот, кто побежден им,
Тот назван злом; но благ ли победивший?

(«Каин», акт II, сц. 2)

…в область далекого прошлого, куда ушли и жестокие боги ассириян… — Ср. в стихотворении «Поражение Сеннахериба» («Ассирияне шли, как на стадо волки», пер. А. К. Толстого):

И Ассирии вдов слышен плач на весь мир,
И во храме Ваала низвержен кумир,
И народ, не сражённый мечом до конца,
Весь растаял как снег перед блеском творца.

Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей… — Пс. 22:6.

…картины Поллайоло, на которой Геракл душит великана Антея… — Антонио дель Поллайоло (1433–1498) — флорентийский живописец, гравер, скульптор, ювелир. Картина «Геракл и Антей» написана ок. 1478 г.

…чудовищно крохотные шестеренки, а внутри них — еще шестеренки. — «Вид колес и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их

казалось, будто колесо находилось в колесе» (Иез. 1:16).

* * *

«Похищенный» (1886) — роман для подростков Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894).

Я вспомнил Стендаля (который любил похваляться своей кратчайшей встречей с Байроном)… — осенью 1816 г. в Милане; но какие глубокие и обширные выводы о характере Байрона сделал мосье Бейль! 29 мая 1823 г. Байрон поблагодарил Стендаля за «чрезвычайно лестное упоминание» о его персоне в книге «Рим, Неаполь и Флоренция» (1817) и выразил надежду на возобновление знакомства.

…Байрон пишет своему издателю Джону Меррею. — 10 декабря 1821 г.

Не кажется ли это довольно странным — такое скопление единственных отпрысков? -

Мир полон сирот; говоря точней,
Есть сироты в прямом значенье слова,
Но одинокий дуб порой пышней
Дерев, растущих тесно, бестолково.
Есть сироты, чья жизнь еще грустней:
Их нежности родительской сурово
В младенчестве лишил жестокий рок
И на сиротство их сердца обрек.
Единственные дети представляют

Особый случай, именно о них
Упрямо поговорка заявляет:
«Единственный ребенок — баловник!»
Я знаю точно, — если нарушают
Родители при воспитанье их
Любви границы, — бедное созданье
Растет, как сирота, без воспитанья.

(«Дон-Жуан», 17, I–II)

Глава четырнадцатая

Labuntur anni -

О, Постум, Постум, быстротекущие
Проходят годы, и благочестие
Ни старости, увы, ни смерти
Неукротимой сдержать не сможет.

(Гораций. «Оды», II, 4; пер. К. Кожурина)

«Рэмблер» («Праздношатающийся») — журнал, который Сэмюель Джонсон выпускал два раза в неделю с 1752 по 1754 г. — и в котором содержались нравоучительные рассуждения на все темы, о которых автору хотелось поговорить.

«Кло Вужо» — красное сухое вино из Бургундии.

…«в унылый сон вгоняющей»… — «Король Иоанн», акт III, сц. 4 (пер. Н. Рыковой).

Нынче я вмешался только в один-единственный роковой спор, став посредником между Лейб-гвардейцем и вспыльчивым Священником… -

«Я не менее двадцати раз бывал Посредником или Секундантом в серьезных ссорах, и всякий раз мне удавалось уладить дело так, чтобы спасти честь обеих сторон и вместе с тем не допустить смертельного исхода; иногда положение бывало весьма трудным и щекотливым; приходилось иметь дело с людьми горячими и заносчивыми — Ирландцами, Игроками, Гвардейцами, Кавалерийскими Капитанами и Корнетами и тому подобной публикой. Разумеется, это было в юности, когда я водил дружбу с такими сорвиголовами. Мне случалось передавать вызовы от мелкого Дворянина — Вельможе, от одного Капитана — другому, от адвоката — Советнику юстиции, а однажды от Священника — офицеру Лейб-гвардии. Это может показаться странным, но именно в последнем случае всего труднее

"…оказалась цель:
Предотвратить кровавую дуэль"[132].

Ссора произошла из-за женщины. Должен добавить, что никогда не видел, чтобы *женщина* вела себя при этом так гнусно и оказалась такой бессердечной, хладнокровной шлюхой; правда, очень красивой. Это была некая Сьюзен К. Я видел ее всего один раз, когда пытался добиться от нее нескольких слов, которые ни в какой мере ее не компрометировали, но спасли бы жизнь священнику или Кавалерийскому Офицеру. Она *отказалась* их произнести, и ни мне, ни Н. (Сыну сэра Э. Н. и приятелю одной из сторон) не удалось ее убедить, хотя оба мы умели обращаться с Женщинами. В конце концов мне удалось примирить противников без ее участия и, кажется, к ее большому неудовольствию. Это была самая ч…ва с…ка, каких я видел, а я их видел немало. Хотя мой священник рисковал жизнью или приходом, он был настроен не менее воинственно, чем епископ Бове[133], и успокоить его было очень трудно: но он был влюблен, а любовь — весьма воинственная страсть» («Разрозненные мысли», № 36).

…«сошла под сень сухих и желтых листьев»… — измененная строка из «Макбета», акт V, сц. 3 (пер. М. Лозинского).

…она сошла с ума… — Ср. стихотворение «На болезнь леди Байрон» (см. прим. к с. 385). Душевным расстройством страдала не Аннабелла, а Мэри Чаворт: «безумьем / Закончила она, несчастьем — оба» («Сон»).

«Миссис Ч., живя раздельно с мужем, потеряла рассудок, но с тех пор выздоровела и, кажется, примирилась с мужем» (Ж. Ж. Кульману, июль 1823 г.).

…от Аверновых врат… — Аверн — озеро в Кампании, которое римляне почитали вратами Аида («Энеида», VI, 126–127).

…мифическими старухами, которые делят между собой единственный Глаз… — Миф о Персее и Андромеде. Грайи («старухи»), они же Форкиды (дочери морского бога Форка), «были сестрами Горгон и старухами от рождения. На всех трех они имели один зуб и один глаз и обменивались ими поочередно. Персей овладел этим зубом и глазом и, когда те стали просить его, чтобы он отдал похищенное, пообещал, если они укажут ему дорогу, ведущую к нимфам» (Аполлодор, II, IV, 2).

Ноги моей не будет на той земле. -

«Об Англии вы мне не говорите, она исключается. Были у меня там когда-то дом и земли, жена и ребенок,

и имя — но все это отнято у меня или же подверглось странным превращениям. Из последних и лучших десяти лет моей жизни почти шесть были проведены вне Англии. Я не чувствую к ней любви после того, как там так обошлись со мной перед последним моим отъездом, но не настолько ее ненавижу, чтобы принять участие в ее бедствиях; ибо обеим сторонам придется вершить зло, прежде чем можно ожидать добра; революции не делаются на розовой воде[134]. Моя склонность к революции стала умереннее, как и другие мои страсти.

Но мне нужен дом и родина — если возможно, свободная. Мне еще нет тридцати двух лет. Я могу еще стать полезным гражданином и основать дом и семью не хуже — а может быть и лучше — прежних. Во всяком случае я мог бы найти себе полезное занятие; я не целю особенно высоко и не обладаю чрезмерным честолюбием; если десятки тысяч моих соотечественников селятся в колониях (подобно древним грекам в Сицилии и Италии) из самых различных побуждений, почему мое намерение кажется фантастическим или безрассудным? В Европе нет свободы — это уж несомненно; к тому же это одряхлевшая часть света» (Хобхаузу, 3 октября 1819 г., из Венеции).

О планах эмиграции в Америку см. прим. к с. 109.

…наблюдал отсечение голов и крайней плоти — обе церемонии весьма волнующие. — Мрачную шутку насчет «обрезания головы» Байрон вставил в «Дон-Жуана» (5, LXXI).

Фрецерия — одна из главных торговых улиц Венеции.

… Cavalier servente при какой-либо даме. Это своего рода гильдия… -

«В целом нравственные устои здесь во многом как во времена дожей; согласно здешней морали, добродетельна лишь та жена, которая ограничивает себя всего лишь одним любовником: даму при двух, трех и более возлюбленных уже считают распущенной; а ту особу, кто, подобно принцессе Уэльской, что имеет в любовниках посыльного (и его между тем возводят в рыцари Мальтийского ордена), вступает, проявляя беспечную неразборчивость, в не достойную ее связь, клеймят как поправшую благочестие, присущее замужней даме. Венецианская знать имеет каприз сочетаться браком с девицами из актерского сословия;

справедливости ради замечу, что знатных дам здесь красавицами никак не назовешь, но в целом итальянки — женщины второго и прочих сословий, жены адвокатов, купцов, землевладельцев, незнатных дворян — в большинстве своем *bel sangue*[135], и именно они вовлечены во всякие амурные связи; но встречаются среди них и образцы завидного постоянства. Я знаком с одной дамой лет пятидесяти, она имела всего одного любовника, который рано скончался; с тех пор с годами она прониклась благочестием и всецело посвятила себя мужу; надо видеть, как она кичится своей безграничной преданностью супругу, то и дело бравирует этим в разговоре, да с такой нелепой для уст ее нравоучительностью, что это не может не вызвать улыбки. Здесь, если венецианка заводит *Amoroso*[136], это не рассматривается ни в малейшей степени как нарушение ею обычаев или нравов; наитягчайшим грехом, я бы сказал, полагают ложь и сокрытие связи, а также и то, что связь не единственна, если только подобное расширение сферы дозволенного не существует с согласия и одобрения первого избранника» (Меррею, 2 января 1817 г., из Венеции).

С. Б. Дэвис… лишился в итоге крупных сумм — лорд Бротон полагает, исчисляемых десятками тысяч фунтов. — За год он проиграл 17 000 фунтов и бежал из страны. Последние десятилетия жизни Дэвис провел в Остенде, развлекая знакомых анекдотами о байроновском круге и упражняя свое остроумие на посетителях и экспатриатах. Он умер в Париже в 1852 г.

…см., напр., донну Инесу в «Дон-Жуане»… —

Его мамаша столь была умна,
Такими отличалась дарованьями,
Что повсеместно славилась она
И всех ученых затмевала знаньями.
Их честь была весьма уязвлена,
И затаенной зависти стенаньями
Отметили они наперебой
Инесы превосходство над собой.
Она имела ум математический,
Держалась величаво до жеманности,
Шутила редко, но всегда аттически,
Была высокопарна до туманности,
Чудила и морально и физически
И даже одевалась не без странности:

Весною в шелк, а летом в канифас —
Все это бредни, уверяю вас!

(I, X, XII)

В печати Байрон лицемерно отрицал всякое сходство между Инесой и Аннабеллой; в письме же к Августе (понимая, что та, скорее всего, покажет его леди Байрон) писал:

> «Поговаривают, что автор именно ее изобразил в донне Инесе, — тебе не приходило в голову? Про себя такое сказать не могу — может, что-то в облике и есть схожего, только та испанка бесхитростна, а наша дама вся деланая, намеренно искусственная, а это совсем уж другое» (октябрь 1820 г.).

…госпожа Радклиф: Ее итальянские романы — «Замок Отранто», «Итальянец» и другие… — Еше одна ошибка Ады: «Итальянец» (1796) — точно, роман Анны Радклиф (1764–1823), но «Замок Отранто» (1764) принадлежит перу Горация Уолпола (1717–1797).

Одно из наиболее забавных писем лорда Б. описывает, как он принял на себя эту роль по отношению к даме, ставшей его последней привязанностью, — графине Терезе Гвиччиоли… — Письмо к Ричарду Белгрейву Хоппнеру от 7 февраля 1820 г., в котором излагается — в духе обычной Байроновой самоиронии — инцидент с шалью.

Глава пятнадцатая

…*веет где хочет*… — «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8).
…*Mericani, или американцы*… — Из дневника Байрона:

> «*29 января 1821 г.* Встретил в лесу отряд общества *Americani* (род Либерального Клуба); все они были вооружены и во весь голос пели на романьольском наречии — "Sem tutti soldat' per la liberta" ("Все мы — солдаты свободы"). Они приветствовали меня — я отдал салют и проехал дальше. Вот каково настроение в Италии».
>
> «*5 февраля 1821 г.* Купил оружие для вновь набранных *Americani,* которым не терпится выступить».
>
> «*20 февраля 1821 г.* Говорят, что неаполитанцы полны решимости. Здесь общественный подъем несомненно очень велик. *Americani* (здешняя патриотическая организация, один из отрядов *Carbonari*) на днях дают обед *в лесу* и пригласили меня как К[арбонария]. Это тот самый лес, в котором ходит "Призрачный охотник" Боккаччо и Драйдена, и если бы я даже не разделял те же политические чувства (не говоря уж о застольном веселье, к которому меня иной раз влечет, как прежде), я отправился бы туда в качестве поэта или, по крайней мере, любителя поэзии».
>
> «"*Mericani*" (они называют меня их *"capo"* или "главой") означает "американцы"; так называют в *Романье* местных карбонариев; вернее, *народную* их часть, их *отряды*. Первоначально это было сообщество лесных охотников, называвших себя "американцами", а теперь оно включает несколько тысяч человек и проч.; но я не стану дальше посвящать вас в тайну, которая может стать достоянием почтмейстеров» (Меррею, 4 сентября 1821 г.).

В 1819 г. Байрон опубликовал «Оду к Венеции», которая завершается так:

> Нет! лучше гибнуть там, где и поднесь
> Свобода Спартанцев память чтит, погибнувших в бою,
> Отдавших за нее так гордо жизнь свою
> У Фермопильского бессмертного прохода, —
> Чем мертвенный застой. Иль — прочь из этих стран,

И новый влить поток в могучий океан;
И, вольною душой достойного их, сына
Дать предкам доблестным, погибнувшим в борьбе,
И нового еще прибавить гражданина,
Свободного бойца, Америка, тебе!

(Пер. Т. Щепкиной-Куперник)

Байрона упрекнули в недостатке патриотизма; «Впредь я буду обращаться с приветствиями только к Канаде и высказывать желание дезертировать к англичанам» (Муру, 21 февраля 1820 г.).

Не занимай я такого положения в обществе, всякое мое содействие партии Свободы немедленно бы пресекли, а самого меня отправили за Решетку… -

> «Так как по всей стране идут репрессии, все мои друзья арестованы или высланы — всему семейству Гамба пришлось уехать во Флоренцию — отцу и сыну по мотивам политическим (а госпоже Гвиччиоли потому, что *в отсутствие* отца ей угрожают заточением в *монастырь*), я решил перебраться в Швейцарию, и они также. По правде говоря, мою жизнь здесь нельзя считать в безопасности — но такое положение длится уже год и поэтому не является главной моей заботой…
>
> Вы не можете себе представить, какому гнету подвергается страна — в Романье арестовано более тысячи человек всех сословий — иные высланы, иные заключены в тюрьму, без *суда, следствия и даже обвинения!!* Все говорят, что со мной сделали бы то же самое, если бы смели действовать открыто. Но я именно потому и остался, что высланы *все* мои знакомые, а их, пожалуй, будет не одна сотня» (Р. Б. Хоппнеру, 23 июля 1821 г., из Равенны).

Il zoppo — то же прозвище носят два героя романа Краули «Дэмономания» (2000) — духовидец Эдвард Келли и вервольф Ян.

Из ничего и выйдет ничего. — «Король Лир», акт I, сц. 1.

Ипекакуана — рвотный корень.

Быть может, она умерла… -

> «Милая Августа, три твоих письма, касающиеся недомогания Ады, заставляют меня с большой тревогой ждать дальнейших известий об улучшении. Я страдал тою же болезнью, но не в столь раннем возрасте и не в

такой сильной степени. К тому же она не отражалась у меня на зрении, а только на слухе, и то слегка и ненадолго. До четырнадцати лет, а иногда и позже, я периодически страдал ужаснейшими головными болями, но воздержание и привычка каждое утро обливать голову холодной водой излечили меня, во всяком случае с тех пор они мучают меня реже. Быть может, они пройдут у нее ко времени созревания. Конечно, этого еще долго ждать; а впрочем, при таком сангвиническом темпераменте оно может наступить у нее раньше, чем обычно бывает в нашем более холодном климате. Прости, если я говорю на эту тему *медицинскими* терминами и *"en passant"*[137]; мне кажется, что приливы крови к голове в столь раннем возрасте могут быть связаны все с той же склонностью к раннему созреванию. Быть может, все это — одно лишь мое воображение. Во всяком случае, сообщи мне, как она чувствует себя сейчас. Нечего говорить, как *сильно* я тревожусь (особенно на таком расстоянии) о ее здоровье.

…Мне хотелось бы, чтобы ты получила от леди Б. сведения о наклонностях Ады, ее привычках, занятиях, нравственных качествах и характере, а также о ее внешности, потому что я не знаю даже этого, не имея ничего, кроме миниатюры, сделанной пять лет назад (а ведь сейчас она почти вдвое старше). Когда я узнаю это, я смогу судить о ее натуре и о том, как лечить ее недомогания. Мне кажется, что в ее нынешнем возрасте у меня было много чувств и понятий, в которые *теперь* никто не поверил бы, а потому мне лучше о них молчать. Общительна ли она или любит уединение, молчалива или разговорчива, любит ли читать или наоборот? И каков ее *тик* — я хочу сказать, ее слабость? Пылкая ли у нее натура? Надеюсь, что Боги наградили ее чем угодно, лишь бы не поэтическим даром — одного подобного дурака в семье достаточно. Ответь мне на все эти вопросы на досуге…»

(12 октября 1823 г.)

«Что касается здоровья Ады, я рад был узнать, что оно настолько поправилось. Но я считал нужным предостеречь леди Б., так как, судя по описанию, ее нездоровье и склонности очень похожи на *мои* в том же возрасте, разве только я был гораздо более пылким. Ее предпочтение *прозы* (как это ни странно) тоже унаследовано от меня (я всегда терпеть не мог *читать*

стихи), и я тоже никогда не придумывал ничего, кроме *"кораблей"* и прочего, связанного с Океаном. Я показал отчет о ней полковнику Стэнхоупу, который был поражен тем, как ясно выявлена у нее уже сейчас *отцовская* линия. Поэтому я счел нужным, хотя это и неприятно, сообщить, что мой недавний припадок, очень сильный, весьма похож на *эпилепсию. Почему* — не знаю; казалось бы, тридцать шесть лет для первого ее проявления поздно, насколько *я знаю* — она *не наследственная*; но чтобы она не *стала* таковой, тебе следует сказать леди Б., чтобы в отношении Ады были приняты некоторые предосторожности. Припадок у меня не повторялся, и я пытаюсь помешать этому диетой и движением на свежем воздухе, пока — успешно; если он был случайным, тогда все хорошо» (Августе, 23 февраля 1824 г.; письмо не отправлено и найдено среди бумаг на столе Байрона после его смерти, 19 апреля).

Он всегда относился к итальянским заговорщикам критически и ясно видел их недостатки… — После поражения неаполитанского восстания Байрон писал Муру:

> «Я не менее вас разочарован и больше вас обманут в своих надеждах. Кроме того, мне лично грозила опасность, которая еще не миновала. Но ни время, ни обстоятельства не изменят моих убеждений или моего чувства негодования против торжествующей тирании. В нынешнем деле было столько же предательства, сколько трусости — хотя и то и другое сыграло свою роль» (28 апреля 1821 г.).

…аналогия… наверняка немало его позабавила. — «Бедный Наполеон! знал бы он, какие жалкие сравнения его ожидают, когда повернется колесо!» — писал Байрон Меррею 4 декабря 1821 г.

Я пойду к ней, а она не возвратится ко мне -

> «Удар был ошеломляющим и неожиданным; я считал, что опасность миновала — столько времени прошло между известием об улучшении и последней вестью. Но я переношу его как умею и настолько, что выполняю обычные жизненные дела с обычным внешним спокойствием и даже с большим. Ничто не должно помешать вам приехать завтра. Но сегодня и вчера вечером нам, пожалуй, было лучше не встречаться. Мне

кажется, что в моих поступках в отношении умершей и уже во всяком случае в моих чувствах и намерениях не было ничего, в чем я должен был бы себя упрекать. Но в такую минуту мы всегда думаем, что если бы было сделано то или другое, несчастье можно было бы предотвратить — хотя каждый день и час убеждают нас, что оно естественно и неизбежно. Полагаю, что Время сделает свое дело — как Смерть сделала свое» (письмо к Шелли, 23 апреля 1822 г.).

«Я хочу, чтобы дочь похоронили при церкви Харроу: есть там один уголок, у самой дорожки, прямо на возвышении, откуда открывается вид на Виндзорский замок. Там еще могила под раскидистым деревом (плита с именем Пичи или Пичей), где часами сиживал я мальчишкой: то было любимым местом моим; однако если ставить памятную могильную плиту, тогда лучше захоронить в самой церкви. По левую руку от двери, как войдете, памятник, и на нем высечены слова:

Над прахом Добродетели святой
Прольются слезы Горести немой:
Нет скорби чище, нет прозрачней слез,
Как той, чье счастье горький рок унес.

Я помню их (и через семнадцать лет) не потому, что они чем-либо замечательны, просто потому, что со скамьи моей в галерее вечно взгляд мой приковывал этот памятник; я б желал, чтобы Аллегру захоронили как можно ближе от того места, а на стене укрепили мраморную плиту с надписью:

Незабвенной Аллегре,

дочери Дж. Г. лорда Байрона,

скончавшейся в Баньякавалло,

в Италии, апреля 22-го,

1822, в возрасте пяти лет и трех месяцев.

(2. Цар., xii. 23)[138]

Я желал бы, чтобы похороны, в меру существующих правил приличия, проходили без особой огласки; хотел бы рассчитывать, что Генри Друри[139], если это возможно, свершит над ней отпевание. Если он откажет, пусть обряд свершит любой тамошний священник. Думаю, более по этому мне добавить нечего» (Меррею, 26 мая 1822 г.).

Глава шестнадцатая

…и отправилась по Большой Дороге, подобно сыну Трубача, за холмы, куда-то вдаль, — Из «Песен Матушки Гусыни»:

Том, Том, сын трубача,
Украл поросенка и дал стрекача.
Украл он свинью и за это побит.
И вот он в слезах по дороге бежит.

(Пер. С. Маршака)

Из другого варианта песенки мы узнаем, что сын трубача умел играть одну-единственную песню: «За холмы, куда-то вдаль», написанную в 1706 г. английским поэтом и музыкантом Томасом д'Урфи (1653–1723).

…под солнцем явилось воистину нечто новое (вопреки словам Соломона)… — Еккл. 1:9.

…вскоре машина с Паровым Двигателем перенесет человека на Луну… -

Когда однажды, в думу погружен,
Увидел Ньютон яблока паденье,
Он вывел притяжения закон
Из этого простого наблюденья.
Впервые от Адамовых времен
О яблоке разумное сужденье
С паденьем и с законом тайных сил
Ум смертного логично согласил.

Так человека яблоко сгубило,
Но яблоко его же и спасло, —
Ведь Ньютона открытие разбило
Неведенья мучительное зло.
Дорогу к новым звездам проложило
И новый выход страждущим дало.
Уж скоро мы, природы властелины,
И на луну пошлем свои машины!

К чему тирада эта? Просто так!
Я взял перо, бумагу и чернила,
Задумался, и — вот какой чудак!

Фантазия во мне заговорила!
Я знаю, что поэзия — пустяк,
Что лишь наука — действенная сила,
Но все же я пытаюсь, ей вослед,
Чертить движенье вихрей и комет.

(«Дон-Жуан», 10, I–III)

…*«свое я отслужил»*… — «Отелло», акт III, сц. 3.

…*вспомнил Бэрра, который убил Гамильтона*… — Александр Гамильтон (1755/1757-1804) — участник американской революции, видный государственный деятель, министр финансов с 1789 г., ушел в отставку через шесть лет из-за разногласий с Томасом Джефферсоном. Однако в 1804 г. поддержал последнего в его борьбе за пост президента, пойдя против своего коллеги по Партии федералистов Аарона Бэрра (1756–1836). Публикация в газете презрительного высказывания Гамильтона о Бэрре привела к дуэли, на которой Гамильтон был убит.

И все же сегодня утром я чувствую себя так, будто ночь напролет боролся с врагом… — см. прим. к с. 193.

…*Люциферы однажды освободят Прометея — их древнего предтечу*… — В июле 1816 г., как раз когда Мэри Шелли писала «Современного Прометея», Байрон сочинил оду к Прометею древнему:

Титан! Ты знал, что значит бой
Отваги с мукой… ты силен,
Ты пытками не устрашен,
Но скован яростной судьбой.
Всесильный Рок — глухой тиран,
Вселенской злобой обуян,
Творя на радость небесам
То, что разрушить может сам,
Тебя от смерти отрешил,
Бессмертья даром наделил.
Ты принял горький дар, как честь,
И Громовержец от тебя
Добиться лишь угрозы смог;
Так был наказан гордый бог!
Свои страданья возлюбя,
Ты не хотел ему прочесть
Его судьбу — но приговор
Открыл ему твой гордый взор.
И он постиг твое безмолвье,

И задрожали стрелы молний…
Ты добр — в том твой небесный грех
Иль преступленье: ты хотел
Несчастьям положить предел,
Чтоб разум осчастливил всех!
Разрушил Рок твои мечты,
Но в том, что не смирился ты, —
Пример для всех людских сердец;
В том, чем была твоя свобода,
Сокрыт величья образец
Для человеческого рода!
.

(Пер. В. Луговского)

Что бы там Поэты ни говорили о «веских словах», которые переживут «мрамор царственных могил»… — Шекспировский сонет 55: «Замшелый мрамор царственных могил / Исчезнет раньше этих веских слов…» (пер. С. Маршака).

…в рукописную страницу Ричардсоновой «Памелы» завернули ломоть Бекона цыганке, которую впоследствии изобличили как убийцу. Что ж — довольно и этого — всем нашим стараниям Соломон не сулит иной судьбы. -

«Был не в духе — читал газеты — и задумался над тем, что такое *слава,* по поводу одного отчета об убийстве, где сказано: "Мистер Уич, бакалейщик в Танбридже, отпустил бекону, муки, сыра и, кажется, чернослива обвиняемой цыганке. На прилавке у него (цитирую дословно) лежала *книга* «Жизнь *Памелы*», которую он *разрывал* на *завертку* и проч., и проч. В сыре были найдены и проч. — *бекон был также завернут в лист из «Памелы"*. — Что сказал бы Ричардсон, самый тщеславный и самый удачливый из *живых* писателей, т. е. достигших славы при жизни, — он, который вместе с Аароном Хиллом[140] злорадно предсказывал забвение Фильдингу (Гомеру человеческой природы в *прозе*) и Поупу (прекраснейшему из поэтов), — что сказал бы Ричардсон, если бы мог проследить путь своих творений со стола французского принца (см. Босуэллова Джонсона)[141] на прилавок бакалейщика, к свертку бекона, купленного цыганкой-убийцей!!!

Что он сказал бы? Да что же тут можно сказать, кроме того, что задолго до нас сказано Соломоном? В

конце концов, это всего лишь переход с одного прилавка на другой, от книготорговца к другим торговцам — бакалейщику или кондитеру. По моим наблюдениям, стихи чаще всего идут на оклейку сундуков, и я склонен считать сундучных дел мастера могильщиком сочинителей» (дневник, 4 января 1821 г.).

По словам капитана Трелони, к лорду Б. в самом деле обращались однажды с просьбой вложить капитал в проект создания летающей машины с паровым двигателем, — но он отказался. — Мне не удалось найти сведений об этом в воспоминаниях Эдварда Трелони (1792–1881), друга Байрона и Шелли; но о том, что поэт получил такое письмо, сообщает Томас Медвин. Байрон был чрезвычайно воодушевлен:

> «Кто бы не захотел жить два-три века спустя? Скоро мы станем путешествовать на воздушных кораблях; будем отправляться в воздушные, а не морские вояжи; и наконец — отыщем путь на луну, хоть там и нет атмосферы… В этой идее куда меньше безрассудства, чем кажется, и много поэзии. Кто положит границы власти пара? Кто скажет: "До сих, но не далее"? Мы — свидетели детства науки. Неужели вы полагаете, что в прошлые эпохи на нашей планете не обитали существа, более мудрые, чем мы?[142] Все изобретения, которыми мы так кичимся, — лишь тень былого — смутные образы прошлого — грезы об ином бытии. Возможно, басни о Прометеевом огне, о Бриарее и его земнорожденных братьях — неясные воспоминания о паре и паровых машинах? Быть может, к тому времени, когда комета приблизится, чтобы в очередной раз уничтожить все земное, люди научатся силой пара отрывать горы от оснований и швырять их в пылающий шар? — и так возродится миф о Титанах и войне с Небесами».

Герои ушедшей эпохи всегда отправляются на Запад. — Отсылка к кульминационной сцене романа Краули «Дэмономания».

…почему он не переслал мне свои мысли письмо в котором тогда возможно было бы теперь уж никогда — Уильям Флетчер, слуга Байрона (см. прим. к с. 100), рассказывал о последних часах жизни своего хозяина:

> «Хотя его светлость, видимо, не предполагал, что конец близко, видно было, как он слабеет с каждым

часом, и случалось, он даже впадал в забытье. Пробудившись, говорил: "Похоже, дело нешуточное, и если я вдруг умру, послушай, что ты должен непременно сделать". Я отвечал, что все, разумеется, будет сделано, однако я надеюсь, он еще будет долго жить, так что сам выполнит даваемые мне поручения лучше, чем сумел бы я. "Нет, все кончено, — сказал мой господин и добавил: — Нечего терять время, выслушай меня внимательно". Тогда я говорю: "Может быть, вашей светлости угодно, чтобы я принес перо, бумагу и чернильницу?" — "Боже мой, да нет же, к чему терять время, у меня его и так мало, почти уже не осталось". И тут мой господин говорит: "Слушай меня со всем вниманием. О твоем благе позаботятся". Я просил его подумать о вещах намного более важных, и он сказал: "О бедное мое ненаглядное дитя, моя Ада! Великий боже, если бы мне ее увидеть! Передай ей мое благословение, и дорогой моей сестре Августе, и ее детям, а потом ступай к леди Байрон и скажи ей… расскажи ей все, вы ведь в добрых с нею отношениях". В ту минуту его светлость испытывал прилив сильного чувства. Голос изменил ему, и доносились лишь отдельные слова, разделенные паузами, но он что-то продолжал с очень серьезным видом нашептывать, пока ему не удалось довольно громко произнести: "Флетчер, если ты не исполнишь сказанного со всей неукоснительностью, я тебе отомщу с того света, была бы только возможность". Я в замешательстве отвечал его светлости, что не вполне его понял, поскольку не мог разобрать ни слова, и он ответил: "Ах, Господи, значит, все напрасно! Теперь уж поздно — но как же так ты ничего не понял?" Я сказал: "Прошу прощенья, милорд, умоляю вас, повторите и наставьте меня". Мой господин говорит: "Но как? Теперь уж поздно, все кончено". Я говорю: "Все во власти Божией", а он в ответ: "О да, моя власть уже ничего не значит, а все-таки попробую". И его светлость на самом деле еще несколько раз пытался заговорить, но мог произнести лишь несколько отрывочных слов вроде таких вот: "Жена моя! дитя мое! сестра моя! вы все знаете — вы все скажете — воля моя вам известна", больше ничего понять не было возможности. Он выразил желание вздремнуть. Я спросил, не позвать ли мистера Перри[143], и услышал: "Да, да, позови". Мистер Перри просил его собраться с силами. Мой господин был в

слезах; вроде бы он начал задремывать. Мистер Перри вышел, надеясь найти его по возвращении окрепшим, но на самом деле то было забытье, предвещающее кончину. Последние слова моего господина довелось мне услышать в 6 часов вечера 18 апреля, когда он вымолвил: "А теперь надо спать" — и повернулся к стене, чтобы уже не проснуться».

* * *

Гарольд Блум (род. 1930) — влиятельный американский литературовед, автор книг «Страх влияния» (1973), «Карта перечитывания» (1975), «Западный канон» (1994) и мн. др. Коллега и друг Краули: благодаря Блуму автор «Вечерней Земли» стал преподавателем Йелъского университета. Романы Краули «Маленький, большой», «Эгипет» и «Любовь и сон» включены в рекомендательный список «Западного канона».

Предисловие

…просьба к читателю на время расстаться с недоверием… — Одно из ключевых понятий английской эстетики — «добровольный отказ от недоверия», который, согласно «Литературной биографии» (1817) Сэмюеля Кольриджа, лежит в основе «поэтической веры»: читатель или зритель воспринимает мир художественного произведения, со всеми его условностями, как реальность.

Дженни Линд (Иоганна Мария Линд, 1820–1887) — знаменитая шведская оперная певица, сопрано. В 1847 г. гастролировала в Лондоне.

Вы осудили, убили праведника; он не противился вам. — Иак. 5:6.

Дитя любви, рожденное в скорбях!.. Мой взгляд, мой слух лишен тебя… — «Чайльд-Гарольд», 3, CXVIII и CXV (пер. В. Фишера).

М. Назаренко

notes

Примечания

1

Судя по имеющимся доказательствам; при отсутствии доводов в пользу противного (*лат.*).

2

Wildman — дикарь (*англ.*).

З

О мертвых либо ничего, либо хорошо (*лат.*).

4

Самолюбие (*фр.*).

5

Уныние, скука (*фр.*).

6

Сладка и красна [смерть за отечество] (*лат.*).

7

Окольный путь, крюк (*фр.*).

8

Гражданин, собрат, товарищ (*фр.*).

9

Ненавистный человек, предмет ненависти (*фр.*: букв, «черный зверь»).

«Госпожа де Ментенон», «Записки» (*фр.*).

11

Опустите вашу шпагу (*фр.*).

12

Я не стану с вами драться — Нет! Нет! — Вы заблуждаетесь — Вы неверно поняли! (*фр.*)

13

В массе, в основном (*фр.*).

14

Антракт (*фр.*).

15

Нет, нет (*фр.*).

16

В дезабилье (*фр.*).

17

«Ясно, что малодушным англичанам приятней ползать по земле, как черви, волоча за собой имущество, скот и повозки, чем встать в полный рост и сражаться. Если их спровоцировать, они вступят в битву, но робко, готовые к отступлению. Таким образом, цель его всемилостивейшего величества Иосифа Испанского, а также Императора, состоит в том, чтобы спровоцировать сражение, которое все решит раз и навсегда» (*фр.*).

18

Малодушный (*фр.*).

19

«Нашей кажущейся слабости, дабы введенный в заблуждение враг, при всей его трусости, решился на вылазку!» (*фр.*)

Merryweather — хорошая погода (*англ.*).

21

Отдельная комната (*фр.*).

22

Предупредительность (*фр.*).

23

Чудо Света (*лат.*).

24

Выпавший из строя, вышедший из борьбы (*фр*.).

25

Утомленный, пресыщенный (*фр.*)

Ах, нет (*нем.*).

Да (*нем.*).

28

Pugilist — боксер (от *лат.* pugnus — кулак, кулачный бой); в англ. языке с 1791 г.

29

Воскресший (*лат.*).

В отсутствие (*лат.*).

31

Романы, любовные связи (*фр.*).

32

Здесь: любовная интрига (*фр.*).

Светское общество (*фр.*).

Верь Сэйну (*лат.*).

35

Верь Байрону (*лат.*).

Ничто человеческое не чуждо (*лат.*).

37

Услужливый кавалер, дамский угодник (*ит.*).

38

Почти 27 °C.

39

Одна (*лат.*).

Piper — дудочник, флейтист (*англ.*).

«Скандальная хроника» (*фр.*).

42

Роман с ключом (*фр.*).

43

Итальянская октава (*ит.*).

Уникум (*лат.*).

45

Домашние явления (*лат.*).

Мы — скопище (*лат.*).

Суженый (*фр.*).

На открытом воздухе (*ит.*).

49

Танец живота (*фр.*).

Смотри (*лат.*).

51

Конец (*фр.*).

Солидность, значительность (*лат.*).

Проносятся годы (*лат.*).

Кушетка (*фр.*).

55

Дормез (*фр., букв.*: соня) — старинная большая карета, приспособленная для сна в пути.

Взбешенные [противники] (*фр.*).

Засада, ловушка (*фр.*).

Светлейшая [Венецианская Республика] (*ит.*).

Бельэтаж (*ит.*).

Светские салоны (*ит.*).

61

Возлюбленная (*ит.*).

Дворец, палаццо (*ит.*).

63

Предмет служения, обожания (*ит.*).

Дружба, знакомство (*ит.*).

Женитьба (*ит.*).

Тяжесть (*ит.*).

Любовная связь (*фр.*).

Сволочь, сброд (*фр.*).

Братья (*ит.*).

Хромец (*ит.*).

Замечательный, исключительный (*фр.*).

«Воспоминания о частной жизни Марии Антуанетты» (*фр.*).

Букв, «девственный воздух» (*англ.*).

Крепкий напиток (*нем.*).

Рассказчик (*фр.*).

Конец (*лат.*).

Benjamin Woolley, *The Bride of Science* (1999). — A. H.

А. Зорин. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века, — М.: НЛО, 2004.-С. 35–36.

79

Аббатство основано Генрихом Ив 1170 г., после того как по приказу короля был убит архиепископ Кентерберийский Томас Бекет.

80

Слова из романа Скотта «Эдинбургская темница».

81

Примеч. Байрона: Об Албании Гиббон замечает, что эта страна «по сравнению с Италией известна меньше, чем внутренняя Америка». Обстоятельства, объяснение которых не имеет значения, привели г. Хобхауза и меня в эту страну прежде посещения какой-либо другой части оттоманских владений; и, за исключением майора Лика, бывшего в то время официальным резидентом в Янине, ни один англичанин никогда не бывал внутри страны дальше ее главною города, как недавно уверял меня сам г. Лик…

Об Албании и ее жителях я не хочу распространяться, потому что это будет сделано гораздо лучше моим товарищем по путешествию в сочинении, которое, вероятно, появится ранее выхода в свет моей поэмы; а мне не хотелось бы ни следовать за ним, ни предупреждать его. Но для объяснения текста необходимо сделать несколько замечаний…

Ни один народ не внушает своим соседям такой ненависти и страха, как албанцы; греки едва ли считают их христианами, а турки едва ли признают их мусульманами; в действительности же они представляют помесь того и другого, а иногда — ни то ни другое. Нравы у них разбойничьи; они все вооружены; и арнауты с красными шалями, и черногорцы, и химариоты, и геги — все ненадежны; прочие несколько отличаются по наружному виду, но в особенности — по характеру. Насколько я их знаю по личному своему опыту, я могу дать о них благоприятный отзыв…

Албанцы вообще (я говорю не о провинциальных землевладельцах, которые также носят это имя, а о горцах) отличаются изящною внешностью… Их походка — совершенно театральная; но такое впечатление происходит, вероятно, от капота или плаща, который свешивается с одного плеча. Их длинные волосы напоминают о спартанцах, а их храбрость на войне не подлежит никакому сомнению. Хотя у гегов и есть кавалерия, но я никогда не видел хорошего арнаутского наездника; мои люди предпочитали английские седла, в которых, однако, вовсе не умели держаться. Но пешие они не знают усталости.

Примеч. Байрона: Так называются греческие монахи.

83

Примеч. Байрона: Прославленный Али-паша.

Примеч. Байрона: Пять тысяч сулиотов среди скал в цитадели Сули в течение восемнадцати лет оказывали сопротивление тридцати тысячам албанцев; наконец цитадель была взята с помощью подкупа. В этой борьбе были отдельные эпизоды, достойные, пожалуй, лучших дней Греции.

85

Примеч. Байрона: Когда автор проезжал мимо реки Лаос, она была полноводна и, сразу за Тепеленом, казалась глазу столь же широкой, как и Темза у Винчестера; по крайней мере, так сочли автор и его спутник. Летом, должно быть, он гораздо уже. Лаос — без сомнения, прекраснейшая река Леванта; Ахелой, Алфей. Ахерон, Скамандр и Кайстер — никто не сравнится с ним ни в ширине, ни в великолепии.

Безвозмездно (*лат.*).

87

По турецкому обычаю (*фр.*).

Роскошные (*фр*.).

89

Персонаж романа Вальтера Скотта «Уэверли» (1814).

90

Примеч. Байрона: Говорят, что накануне сражения при Акциуме на приеме у Антония было тринадцать царей.

91

Примеч. Байрона: Никополь, развалины которого более обширны, находится на некотором расстоянии от Акциума, где сохранилось лишь несколько обломков стены ипподрома. Эти развалины представляют собою значительные массы кирпичного строения, в котором кирпичи были соединены между собой известью, в кусках такой же величины, как и самые кирпичи, и столь же прочных.

92

Эдуард Эллис, друг Хобхауза и дальний родич Байрона, имевший деловые связи с Америкой.

93

Храбрецу вся земля — родина (*лат.*).

94

Королевство из «Песен Оссиана», северо-западное побережье Шотландии.

«Пастух Коридон к Красавцу» (*лат.*).

О Меррее см. примеч. Ады на с. 136.

97

Генри Моссоп (1729–1773) — английский актер, исполнявший роль злодейского мавра Занги в трагедии «Месть» (1721) Эдварда Юнга (1683–1765).

До бесконечности (*лат.*).

Примеч. Байрона: Достопочтенный Джон Уингфилд, офицер гвардии, умерший от лихорадки в Коимбре (14 мая 1811 г.). Я знал его десять лет, в лучшую пору его жизни и в наиболее счастливое для меня время. В короткий промежуток одного только месяца я лишился той, которая дала мне жизнь, и большинства людей, которые делали эту жизнь сносною…

Мне следовало бы также посвятить хоть один стих памяти покойного Чарльза Скиннера Мэтьюза, члена Даунинг-колледжа (Кембридж), если бы этот человек не стоял гораздо выше моих похвал. Его умственные силы, обнаружившиеся в получении высших отличий в ряду наиболее способных выпускников Кембриджа, достаточно упрочили его репутацию в том кругу, в котором она была приобретена; а его приятные личные качества живут в памяти друзей, которые так его любили, что не могли завидовать его превосходству.

100

Поэму Томаса Мура «Лалла Рук» (1817) Пушкин ставил очень невысоко, что не помешало заимствовать из нее в качестве эпиграфа к «Бахчисарайскому фонтану» строки Саади.

101

См.: А. Эткинд. Фуко и тезис внутренней колонизации: постколониалъный взгляд на советское прошлое // НЛО. — 2001. — № 49. Согласно Эткинду, «тюрьма "Кресты" в Петербурге воплощает ту же полезную идею».

102

Ошибка Байрона: семнадцать.

103

Ложного шага (*фр.*).

104

Примеч. Байрона: Вампирические суеверия все еще распространены по всему Леванту. Честный Турнефор пересказывает — а м-р Саути цитирует в примечаниях к «Талабе» — долгую историю об этих «Vroucolochas», как он их именует. В новогреческом языке слово звучит как «Vardoulacha». Я припоминаю, в какой ужас пришла целая семья от криков младенца, вызванных, по мнению родни, страшным посещением. Греки произносят это слово не иначе как с ужасом. Я выяснил, что «Broucolokas» — слово из литературного греческого языка прежних времен; во всяком случае, именно его применили к [архиепископу XVI века] Арсению, в мертвое тело которого, согласно легенде, Дьявол вновь вложил душу. Но современные греки говорят именно так, как я указал выше.

105

Братья Роджер (1762–1834) и Артур (1763–1852) О'Конноры.

Пер. М. Богословской и С. Боброва.

107

«Всеобщее равенство» (*греч.*) — название утопической общины.

108

Разрешение к печати; букв.: «Да будет напечатано» (*лат.*).

109

Честная, искренняя (*фр.*).

110

«Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их» (Числ. 13:34).

111

Герой романа (*фр.*).

112

Погиб вождь! (*шотл.*)

113

Дурной тон (*фр.*).

114

Примеч. Байрона: Вопрос наборщика: «Не следует ли читать "О, Ней!"?» [Мишель Ней (1769–1815) — маршал, расстрелянный за переход на сторону Наполеона; в это время Веллингтон командовал оккупационными силами во Франции.]

115

То есть такого и быть не может (слова Фальстафа в «Генрихе IV», ч. 1, акт 111, сц. 3).

116

Байрон считал Эдмунда Берка (1729–1797) одним из лучших английских ораторов — и справедливо.

117

Джозеф Блэкет (1786–1810) — сапожник и поэт, которому покровительствовала Аннабелла. Не зная этого, Байрон высмеял его в сатире «Английские барды и шотландские обозреватели»:

> Смелее в путь, башмачники-поэты,
> Тачайте стансы так же, как штиблеты!
> Вы музою плените милых дам,
> А кстати, сбыт найдете башмакам.

«Подразумевается бедняга Блэкет, — заметил Байрон в 1816 г., — которого тогда опекала А. И. Б.; но этого я не знал, а то бы никогда не написал четверостишие — по крайней мере, думаю, что не написал бы».

118

«Серьезность и веселость сочетая» (1734) — из «Опыта о человеке» (1711, пер. В. Микушевича) Александра Поупа (1688–1744).

119

Арчер — персонаж комедии Джорджа Фаркера (1677/78-1707) «Хитроумный план щеголей» (1707); в этой роли блистал Дэвид Гаррик.

120

Утенок, Гусочка и Пиппин — домашние прозвища Байрона, Августы и Аннабеллы.

121

«Макбет», акт I, сц. 1.

«Укрощение строптивой», акт III, сц. 2.

123

В оригинале Аннабелла использует слово «wicked» — прозвище «Злого» Байрона.

124

«И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть…» (Лк. 16:26).

«Прости» и «Очерк».

Всегда один и тот же! (*лат.*)

127

Из «Песни последнего менестреля» Скотта. Лыоис умер в море от желтой лихорадки.

128

Если Аннабелла была Клитемнестрой Байрона, неудивительно, что Аду он называл «маленькой Электрой» — будущей мстительницей за отца (Меррею, 7 июня 1819 г.).

129

Примеч. Байрона: Великая ошибка Наполеона, «коль верно хроники гласят», состояла в том, что он постоянно показывал человечеству, что не разделяет его чувств и мыслей, — да и вообще никаких чувств к нему не испытывает; это, может быть, для человеческого тщеславия было более оскорбительно, чем действительная жестокость подозрительного и трусливого деспотизма…

130

Примеч. Байрона: Албанские мусульмане не воздерживаются от вина — да и прочие редко.

131

Примеч. Байрона: Паликар — сокращенное для употребления в единственном числе слово, общее у греков и албанцев обозначение солдата, говорящего на новогреческом; буквально оно переводится как «парень».

132

Из пародийной поэмы Сэмюеля Батлера (1612–1680) «Гудибрас» (1662–1680).

133

Филип де Дре (1158–1214) — граф-епископ Бове, участник Третьего крестового похода.

134

Цитата из мемуаров Мармотеля (1723–2799); в 1819 г. в Англии все ждали революции.

135

Хорошее происхождение (*ит.*).

Любовник (*ит.*).

137

Мимоходом (*фр.*).

138

«И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь: когда дитя было еще живо, ты постился и плакал; а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб? И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо? А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне».

139

Старший сын Джозефа Друри, бывшего директора Харроу.

140

Аарон Хилл (1685–1750) — английский драматург, друг Ричардсона, чьей «Памелой» он восхищался.

141

Комментаторы дневников Байрона пересказывают следующий эпизод из «Жизни Сэмюеля Джонсона» (1791) Джеймса Босуэлла (1740–1795): «Однажды в присутствии большого общества вернувшийся из Парижа знакомый Ричардсона сообщил ему, что видел его роман "Кларисса" на столе брата французского короля. Ричардсон, заметив, что большая часть собравшегося общества занята разговорами, сделал вид, как будто не расслышал, и, дождавшись, когда наступило молчание, спросил, чтобы все могли услышать лестную для него новость: "Вы, кажется, начали говорить что-то о…" Его собеседник, не желая потворствовать непомерному тщеславию Ричардсона, отвечал с напускным равнодушием: "Сущий пустяк, сэр, не стоящий того, чтобы повторять его вновь"».

Эту поэтическую идею Байрон воплотил в мистерии «Каин» и в девятой песни «Дон-Жуана» (XXXVII–XXXVIII).

143

Артиллерист, прибывший на помощь грекам.